

**ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ**

АЛИК ТОЛЧИНСКИЙ







АЛИК ТОЛЧИНСКИЙ

БОСТОН • 2008 • BOSTON

Алик Толчинский *Окончательный вариант*
Final Variant by Alik Tolchinsky

Copyright © 2008 by Alik Tolchinsky
Copyright © 2008 M•GRAPHICS PUBLISHING

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-934881-01-9

Library of Congress Control Number 2008925063

Published by M•GRAPHICS PUBLISHING
www.mgraphics-books.com
info@mgraphics-books.com

Печатается в авторской редакции

Дизайн обложки: А. Толчинский и П. Крайтман

Отпечатано в США

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо пролога	9
Часть первая	
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ	12
Часть вторая	
ОТРАЖЕННЫЙ В ЗЕРКАЛАХ	
Олег	108
Славка	151
Левка	166
Шлемов	184
Орловский	207
Старцев	227
Братик	246
Снова Олег	264
Часть третья	
ПИСЬМА БЕЖЕНЦА	267
Часть четвертая	
НЕВСТРЕЧИ	405
Прощание с читателем	478

**ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ**

*Прожитую жизнь не перепишешь заново...
Впрочем, можно опустить отдельные главы,
особенно если речь идет о невозвращенных долгах...*

Из частного письма

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Я, Олег Трастанецкий, родился за два года до вероломного нападения Гитлера на Советский Союз, которое готовили втайне от меня и всего прогрессивного человечества Гитлер с помощью Сталина и Сталин с помощью Гитлера. Вскоре после этого мы стали называть эту войну Великой Отечественной — из-за того, что Гитлер напал на нас на две недели раньше, чем мы ожидали. Вот если бы мы успели напасть на Германию на две недели раньше, чем она на нас, то мы бы назвали эту войну Великой Освободительной...

Итак, я родился и с 1944 по 1946 год переболел ветрянкой, свинкой, скарлатиной и желтухой. Болезни мне дарила моя любимая мама, которая в те же годы работала детским врачом в инфекционной больнице. Мама любила прийти домой и, не умыв лица, не сняв рабочей одежды, любила, я повторяю, заключить меня в тесные объятия, сюзюкать и целовать, целовать, целовать. Мама всегда любила меня целовать.

В 1947 г. я заболел какой-то болезнью, которую не могли найти в справочнике. У меня раздулись печенька с селезенкой. Кто-то сказал маме, что у меня цирроз печени. Мама много плакала, боялась, что я умру. Мне в больнице было очень хорошо. Там было весело. Мама приносила мне каждый день большое яблоко. Таких больших яблок я с тех пор ни разу не видел. Наверное, это были знаменитые сорта Ивана Владимировича Мичурина. Он умер и его сорта от тоски по хозяину тоже засохли. Жалко. И его, и их. Потом, сам не знаю почему, я выздоровел. И врачи не знали тоже. Самый главный детский врач сказал маме: «Ну, что ж — я не Бог...» и развел руками. И я снова пошел во второй класс, где меня дразнили

евреем, хотя я ни капли не был похож на еврея. И еще мне говорили, что я и мои родители всю войну прятались за русскую ж...

С 1948 по 1954 год не болел ничем. Иногда случались приступы мигрени. Очки начал носить во втором классе.

В 1954 году весь покрылся прыщами с гнойниками. Начиная с 1954 года и по 1962, пока не женился, давил прыщи. В 1956 году поехал с друзьями студентами на целину, где от дурной пищи заболел колитом. Так долго болел колитом, что заработал геморроем. С тех пор и по сей день страдаю геморроем. Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». В 1954 году начал кашлять, чем мешал преподавателям вести уроки. Кашлял сорок лет подряд.

В 1959 году на берегу Черного моря заболел крупозным воспалением легких. Выздоровел.

В 1962 году поступил на работу в институт угольного машиностроения. Через две недели после поступления заболел левосторонним плевритом и проболел два месяца. С тех пор и по настоящее время периодически болею воспалением легких. В 1969 году, накануне защиты диссертации, у меня было самое сильное воспаление легких. Мама думала, что я умираю, и горько плакала. Но я выздоровел.

Регулярно болею каждый осенне-зимний период острыми респираторными заболеваниями. Их я переношу на ногах. Если заболеваю вирусным гриппом, то лежу, не вызывая врача, три дня и иду на работу.

В 1989 году после очередного заболевания ОРЗ потерял обоняние. С удовольствием расстаюсь с зубами. Талантливый протезист Гомбург в давние времена поставил мне три спаренные коронки. При этом он испортил шесть здоровых зубов. Зубы под коронками тоже испортились, и мне их удалили. Заодно выдергивают испорченные Гомбургом бывшие здоровые зубы. В связи с удалением одного из них получил воспаление тройничного нерва, которым страдал с 1974 по 1979 год. Тогда же, в 1979 году, обнаружил у себя левостороннюю паховую грыжу, от которой очень страдал первые годы, а потом привык.

Отложение солей в позвоночнике — остеохондроз — дал о себе знать в 1979 году, что было подтверждено рентгеном. Последствием недуга является то, что я не могу исполнять роль

мужчины сверху — сразу падает эрекция. На левом боку тоже не могу, так как начинает болеть сердце. Остаются лишь положения на спине и на правом боку.

В 1962 году в связи с распределением в Красноярск почувствовал признаки заболевания, которое врачи называют сердечно-сосудистой дистонией. Вначале симптоматика сильно пугала — холодные конечности плюс бешенный пульс, плюс озноб с поносом. Когда в 1975 году к этому добавилась бессонница, я поступил в Клинику неврозов, где прошел курс аутотренинга и трудовой терапии. Кстати, последний заключался исключительно в перетаскивании мусора или крупногабаритной дряни. Когда моя одежда в результате трудотерапии приобрела специфический цвет и аромат (никто ведь не предупреждал, что, ложась в нервное отделение, следует приносить робу и резиновые сапоги) я сбежал из клиники, обманом завладев своим паспортом. Заведующий отделением очень сокрушался. С тех пор пациенты клиники паспорта на руки не получают ни при каких обстоятельствах.

Подскоки давления и связанный с ними дискомфорт в области сердца систематически мешают мне с 1980 года выпивать и работать. Поэтому я придумал и внедрил в 1985 году, в связи с началом перестройки, индивидуальную систему лечения, которую использую и по сей день.

В 1995 году появились регулярные приступы глазной мигрени, которые прекращаются после месячного курса стугерона.

Особенности строения глаз у меня таковы, что я нынче вижу половину первой строчки на табло в кабинете окулиста. Мешает то, что всю таблицу я помню наизусть. В очках вижу левым глазом пятую строчку, а правым — четвертую. Когда хочу почитать, одеваю поверх очков для чтения еще одну пару очков. Поэтому могу читать только лежа. Если сижу, вторая пара очков сваливается с носа.

Сегодня я, Олег Трастанецкий, считаю себя практически здоровым и, кроме того, созревшим для литературной деятельности.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

*...Я всегда старался определить свою суть
с помощью ясных понятий: хотел уяснить себе,
смел я или труслив, жаден или добр,
честен по отношению к женщинам или нет.*

Иосиф Бродский

- Бабушка, а папа высокий?
- Высокий.
- До неба?
- До неба.

Кошка. Она меня не любит. Оцарапала. Красная царапина через всю руку. Сердитый голос мамы: «Я тебе говорила — не лезь к кошке!»

Сию, надеваю носки, рядом стоят ботинки. Мама кричит: «Носки не на ту ногу одеваешь!» Меняю носки на ногах.

Тепло. На дворе пилят дрова. Пила очень вкусно ест бревно. Ветер поднимает пыль с опилками. Голос мамы: «Не подходи близко, глаза засоришь!» Засорил глаз, попала щепочка. Идем в больницу.

Давид Борисович. Очень добрый. Люблю у него бывать. Он работает в аптеке. Всегда мне дает вкусную таблетку, кисло-сладкую.

Бабушка при мне садится на горшок. Вижу, как синееет кожа внизу спины, там где попка.

Кошка поймала мышь и играет с ней. Мы с дедушкой смотрим.

Передача сводок Информбюро. Дедушка становится на скамеечку и прикладывает ухо к черной тарелке радио.

Меня оставили одного дома. Я реву. Высовываюсь в окно. На окне стоит тарелка с растопленным маслом. Вижу сложенные под окном дрова.

Мы с бабушкой перебираем горох. Попорченные зерна я собираю в ладонь и выношу в коридор. Там стоят мальчик и девочка. Я им отдаю горох и они его кладут в рот. Плохого гороха много и я выношу его часто. Удивляюсь, как быстро они съедают горох. Он же очень твердый. Потом догадываюсь — они его не едят, а прячут в карманы.

Летний вечер. Двор покрыт травой. Мама, тетка Лиза и другие женщины гуляют. Кто-то из них находит страшную гусеницу и пугает тетку Лизу. Я тоже боюсь.

На всех кустах вокруг нашего дома поселились очень красивые жучки. Их крылышки отливают ярким зеленым и малиновым цветом. Собираю их в спичечный коробок.

Встречаю знакомую девочку Мару. Она старше меня на целый год. Она что-то жуёт.

— Что у тебя во рту, Мара ?

— Сера. Сера, наверное, серая... Не разглядел.

Ровное поле. Конца полю не видно. Лошади везут нас бегом. Едем в поезде.

Едем на грузовой машине. Приехали. Мама кричит перед домом: Тоня!!

Внизу нас встречает высокий человек в круглых очках. Поднимает меня высоко-высоко. Папа.

Поднимаемся на второй этаж. Какая большая комната. И еще одна! На полу в углу книжки. Красивые картинки. Письменный стол. Открываю ящики. Там непонятные вещи. Папа говорит — это радиолампы. Железная печка. На столе очень красивая лампа. Абажур из стеклянных трубочек. Тяжелая, потому что стоит на блестящем красном камне. Еще на камне стоит страшный дядька в шляпе. Папа говорит — это Наполеон.

Черная тарелка говорит: Наши взяли Белгород. Слышу, как там, в тарелке кто-то хлопает в ладоши.

Закрываю глаза и вижу яблоки, которые лежат в ящике письменного стола. И конфеты, много конфет. Открываю глаза, иду смотреть: в ящиках ничего нет. Бегу во двор и кричу: «Мы богатые!» Вокруг собираются мальчишки и девчонки. Все они выше меня. Я им рассказываю, как много у нас яблок и конфет в ящиках. Вижу, как блестят глаза у одного мальчика, который выше всех.

У меня появились две подружки Валя и Галя. Я им говорю, что моя мама врач и я тоже умею лечить. Идем на лестничную площадку. Галя снимает трусики и садится на корточки. Набираю тополиных листьев и пытаюсь запихнуть их ей в попку. Мама подымается по лестнице, видит меня и Галю. Берет меня за руку и уводит в комнату. Гулять с Галей и Валей мне не разрешают. Сижу дома. Вижу из окна Галино окно. Кричу ей. Она высовывается. Залезаю на подоконник, снимаю трусики и сажусь на корточки, чтобы она меня видела. Кричу ей: «А теперь ты покажи!» Она что-то показывает, но я плохо вижу.

Галя и Валя всё рассказали старшим девочкам — Наде, другой Гале и Люсе, как я их лечил. Поднимаемся на лестничную площадку, нас с Валей ставят напротив друг друга. Мы должны бежать навстречу друг другу и при этом снимать трусики. Потом просят, чтобы я лег сверху на Валю. Обходят кругом нас. Кто-то поднимается по лестнице. Мы все убегаем через черную лестницу.

У меня есть друг Юрка. Окно их комнаты стоит прямо на земле, ну, может быть, чуть-чуть повыше. Юркина мама зовет нас к ним домой. Наливает две тарелки манной каши. Каша горячая, жидкая и не сладкая. Не хочу её есть.

Другой мой друг Борька. Писается по ночам. Когда я выхожу во двор, то всегда вижу, как его мама развешивает на веревке его постель. Юрка говорит, что Борька — зассыха. У Юрки под носом две сопли. Одна короче, другая длиннее. Он их втягивает, но они снова выползают.

Сегодня днем был салют. Я люблю салют вечером. Очень красиво.

Бабушка говорит, что папа, когда жил без нас, ел отруби с рыбьим жиром. Отруби я не пробовал, а рыбий жир мама

заставляет меня пить. Он ужасно противный. Мне дают к нему кусочек черного хлеба с солью и кусочек луковицы, чтобы закусить.

Папа уехал в Донбасс. Перед отъездом мы все вышли во двор, меня поставили на стул и так нас сфотографировали. Я был в матроске. Мама очень сердилась, что я вертелся. Я попросил папу сфотографировать всех моих друзей. Он сделал.

Мама ходит на работу в детскую больницу. Она сразу знает, кто чем болен. Сегодня утром она раздела меня, пощупала живот, велела показать язык и глаза и сказала, что у меня желтуха. Гулять мне нельзя. У меня температура. Мне нельзя есть масло. Мама приготовила себе яичницу на масле. Очень вкусно пахнет. Я прошу у мамы кусочек, но она не дает: Тебе нельзя! Нет, всё-таки болеть плохо.

Наконец-то я выздоровел. Мы с Борькой играем в классики. Потом рисуем кирпичом на тротуаре красные звезды. Потом идем в парадное и там рисуем звезды на стенах. Кричим: Звезда-П...! Звезда-П...! Появляется мама. Она отводит меня в комнату и говорит: П... — это хуже, чем чёрт, хуже, чем дурак. Никогда больше не говори этого слова. Понял? Я киваю головой.

Папа ездил в командировку и приехал в тулупе, но замерз в командировке и заболел. У него была высокая температура и его рвало. Мне тулуп сначала очень понравился, я раздвигал пушистые букетики внутри и вдруг увидел живого темномалинового клопа. Я даже испугался, сбросил его на пол и раздавил ногой. После этого мне расхотелось играть с тулупом. А вдруг в нем еще есть клопы!

День Победы, а я лежу больной. У меня высокая температура. Мама говорит, что у меня скарлатина. Когда я закрываю глаза, я вижу наш белый потолок, но почему-то он весь в трещинах. Потом он начинает кружиться и у меня начинается рвота. Всегда, когда я вижу такой потолок с закрытыми глазами, у меня начинается рвота.

Я очень люблю свою маму. Она меня тоже очень любит, но вечером в воскресенье обязательно уходит с папой то в гости, то в кино. Я хнычу: Мама не уходи, а она поёт мне в ответ: «Не уходи, скажи, что это шутка...» и они уходят. Я остаюсь с бабушкой и дедушкой. Тетка Лиза приходит с работы. Она работает бухгалтером

в школе. Она долго-долго рассказывает бабушке о своих ссорах на работе. Тот, кто с ней ссорился, говорит очень писклявым голосом, а она, тетка Лиза, говорит за себя басом. Бабушка слушает и гремит кастрюлями. Дедушка читает газету. Мне скучно.

Тетка Лиза очень часто болеет. Мама говорит, что у неё хронический бронхит. Она лежит на диване в своей комнате, а рядом с нею стоит баночка, куда она откашливает зеленую мокроту. Еще у нее много платков, куда она тоже плюется, когда кашляет. Платки с мокротой, когда они высохнут, она прячет в правый ящик буфета. Я люблю лазить по ящикам, но тот ящик я открывать не люблю — из него плохо пахнет, и я не люблю прикасаться к тем платкам, хотя на дне ящика есть много интересных штучек. Конечно, левый ящик намного интереснее. Там много разных пуговиц, три наперстка, разные ножницы, булавы. Еще я видел дедушкин ящик, который стоит на шкафу, который рядом с буфетом. В том ящике были очень красивые инструменты, которыми дедушка чинит будильники, и еще там были еврейские книги. В одной были картинки с каким-то бородатым человеком. У него была коза и жена. Дедушка сказал, что его жена сошла с ума, и мне после этого было страшно смотреть картинки с его сумасшедшей женой.

Еще в шкафу лежит альбом тетки Лизы. Там замечательные открытки. Старый граф стоит в длинном до пят яркомалиновом плаще и шляпе и что-то говорит. Еще там открытка, где три рыцаря скрестили свои мечи, а четвертый держит эти мечи. Называется она «Клятва Горациев». Я часто смотрел на эту открытку, когда все уходило. Еще там открытки с замечательными белыми статуями на коричневом. Статуи голые, и мне очень интересно смотреть на девочек и женщин. Девочка играла с лягушкой, а женщины просто стояли. Одна голая женщина целовалась с голым мужчиной, и это называлось «Вечная весна». Еще в том альбоме есть переписанные теткой стихи к песням, которые никогда не поют по радио. Одна из них начинается так: «...Белой акации гроздь душистые Вновь ароматом полны...». Тетка Лиза очень любит её петь. Акация — это такие цветы Я мало знаю про цветы, потому что в нашем дворе они не растут, только по углам жесткая трава и ромашка, но без белых лепестков. Еще там стоят два тополя. Один весь покрыт листьями, а другой уже, наверное, очень старый. У него всего две ветки с листьями... Я всегда боялся, что меня застанут за разглядыванием открыток. Тетка Лиза запретила мне лазить в их шкаф.

У нас в комнате стоит комод, где папин ящик всегда заперт на ключ. Однажды папа с мамой разбирали ящик. Сколько же там было интересных вещей! Особенно я влюбился в маленькую красную отвертку, но мне её даже не дали поддержать. А на дне ящика мы нашли три скатанных в колечки белых шарика. Я очень хотел их надуть, чтобы играть с ними, но мне опять не разрешили. Сказали, что купят на праздник красный и синий шары.

Потом я лежал на своем диванчике и мечтал перед сном об этих шариках, а мама пошла на ночное дежурство в больницу. Папа ходил по комнате и, когда он проходил мимо нашего шкафа, сверху на него свалился штатив, на который он привинчивал свой фотоаппарат. И этот штатив сильно стукнул папу по голове. Но папа не заплакал, а сказал, что черт знает, отчего он свалился. А мне было очень жалко папу, но я не стал ему ничего говорить, потому что он думал, что я уже сплю.

На следующее утро было воскресенье. Я играл во дворе, потом пришел домой, пообедал и снова ушел гулять во двор. Пришел, а тетка Лиза лежала в своей комнате и сердито зыркала на меня из-под прикрытых глаз. Она всегда так лежит и глаза у неё не совсем закрыты, а мне противно, когда люди не закрывают глаза, как следует, вроде бы за тобой подсматривают. А папа спал. Он вообще очень любит спать, когда мамы нет дома. Будить его было нельзя, и я отправился в теткину комнату поиграть с мячиком. У меня есть такой маленький черный мячик. Уж не знаю, как это получилось, но я попал тетке в глаз. Она заорала, как сумасшедшая. Я так испугался, что побежал прямо в постель к папе прятаться, а он сел на постели и положил меня на колени попой вверх и сильно ударил по попе два раза. Это он в первый раз меня так наказал. Вообще меня никто никогда до этого не бил. Я сразу его разлюбил и вспомнил, как ему досталось по голове штативом, и был очень доволен, что ему досталось.

В доме появилась кошка. Я начал с ней играть. Привязал бумажку к нитке и тяну, кошка ловит, потом я поднимаю бумажку на воздух, кошка прыгает, промахивается и делает вид, что ей неинтересно. Я несу блюдечко с молоком кошке, но роняю, и блюдечко разбивается, кошка пугается и шипит на меня. Я пугаюсь её и решаю ей отомстить. В бабушкиной комнате длинный синий половик, который называют дорожкой. Я завертываю кошку в половик и становлюсь на неё. Кошка орёт, а я слушаю. Потом я её разворачиваю. Кошка убегает от меня за диван. Я смотрю, как она

там какает. Я понимаю, что виноват, нельзя было на неё становиться, я ведь такой тяжелый.

Уже целый год, как меня учат читать. Читать я научился давно, но теперь нужно читать вслух разные книжки. Вчера я читал папе книжку про зверей, мне было скучно. Во дворе Борька с Юркой играли в войну. У нас такая игра — мы становимся главными маршалами. Я — Жуков, Юрка — Конев, Борька — Рокоссовский. И мы бегаем и стреляем из пистолетов. Кто громче стрельнет, тот победил немцев. А тут эта книжка. Я читал про бегемота и бабочку. Наверное, я потерял строчку и что-то не так прочел, потому что папа сказал: прочти еще раз. Я прочел еще раз, а папа очень рассердился, вырвал у меня книжку из рук и прокричал мне прямо в ухо, как надо читать, но он так громко кричал, что я ничего не понял и заплакал. Тогда папа назвал меня Балдой и заставил прочесть еще раз. Я закапал слезами страницу, но всё-таки прочел, как он хотел. Потом я ушел гулять во двор. Потом мы пошли к Юрке, его мамы не было дома. Но там на кухне сидели Люся и Галя. Они рисовали цветочки.

— Как зовут твоего папу? — спросила Галя.

— Тоня, — ответил я.

— А как зовут твою маму? — спросила Люся.

— Соня, — ответил я.

Тогда они, продолжая рисовать, запели: «Соня, где твоя Тоня... Нет: Тоня, где твоя Соня...»

У нас две соседки — Марильсанна и Настасья Алексанна, которую я зову тетя Настя. У Марильсанны сын Павлик. Ему скоро идти в армию. Марильсанна очень низенькая, хотя и выше меня, а Павлик ростом с моего папу. Павлик любит со мной играть и я люблю играть с ним. В паровоз. Он — впереди, потом Марильсанна, а потом я. Мы берем друг друга за локти, двигаем их туда-сюда и получается паровоз.

Однажды бабушка и все-все ушли, а я остался один и мне было очень скучно. Тогда Марильсанна позвала меня есть щи. Я никогда не ел такой горячий суп в железной миске. Мне дали еще кусок черного хлеба и я его ел, пока суп остынет. Они все ели из одной большой миски. А у нас у каждого своя тарелка.

Мужчин в нашей квартире всего двое — дедушка и папа. Павлик ещё не мужчина, потому что он мой товарищ. И вот

однажды я лежал еще в кровати, когда услышал хриплый такой и громкий мужской голос. Я спросил у бабушки, кто это, а она сказала, что пришел с войны муж тети Насти. Потом я узнал, что зовут его Владимиром Александровичем и что он работал механиком на военном аэродроме.

Сегодня первое сентября и мы с мамой идем в школу. Во дворе школы много народу. Директор в военной одежде и в очках что-то говорит. Я не понимаю, а мама очень восхищается. Потом нас строят в затылок друг другу и мы идем на четвертый этаж. Нашу учительницу зовут Клавдия Николаевна. Она такая же старая, как моя бабушка. А мама у меня очень молодая. Но очень больная. Прошлой зимой, когда я уже спал, я проснулся и услышал, как она говорила папе: «Тоня, я умираю!». Папа с Владимиром Александровичем завернули её в одеяло и вынесли на улицу, чтобы ей было легче дышать. А я лежал под одеялом и меня трясло от холода. Потом маму положили в больницу и она там долго лежала, но меня к ней не брали, а я любил её больше всех на свете. Потом она пришла из больницы совсем здоровая и веселая, увидела тетку Лизу и обе они почему-то засмеялись. Теперь я думаю, что от счастья, что она не умерла. Я слышал от бабушки, что где-то есть бог, который всё-всё может. Я часто, когда лежу и засыпаю говорю ему, чтобы он не дал умереть моей маме.

Но это я так, к слову. А сейчас мы сели за красивые черные парты. У них посередине дырка, а в ней стоит чернильница, но чернил там нет и они нам не нужны. Мы будем сначала учиться писать карандашами. Я уже все буквы писать умею, а читаю совсем свободно, но Клавдия Николаевна сказала мне, что не все еще умеют читать и писать, как я и потому мне придется учить все с самого начала вместе со всеми.

После второго урока нам принесли бублики, я их очень люблю, но мне их никогда не покупают. Вообще, когда я прошу что-нибудь мне купить, мне всегда отвечают, что нет денег. Мама очень сердится при этом и говорит, что у меня все есть и это плохая привычка — просить.

Бабушка называет меня *солдатской кишкой* и всё из-за того, что я люблю стащить у нее вкусненькое, а вкусненькое — это почти всё, что мы едим. Недавно мне попало из-за того, что я увидел на подоконнике кету с луком на тарелочке. Бабушка приготовила её для папы, когда он придет с работы. Я всё люблю с луком, а

кету — особенно. Я подошел к ней и отщипнул малюсенький кусочек. Потом еще подошел и еще, и сам не знаю, как это получилось, но от двух кусков кеты остался только один. Как же она меня ругала! Потом пришел папа с работы, и бабушка ему пожаловалась, но он не рассердился, а взял меня на колени и я немножко ел с ним суп.

Дедушка всегда провожал меня в школу и встречал после уроков. И вдруг он не пришел. Я ужасно испугался и начал плакать, но никто ко мне не подошел. Тогда я побежал быстро домой и все плакал и плакал. Когда я увидел наш дом, я уже не боялся и перестал плакать. А когда я пришел домой и спросил, где дедушка, бабушка сказала, что он уехал на работу. Больше меня никто не провожал и не встречал, и я понял, что я уже совсем большой.

Я в классе не слабый. Мы вчера поборолись с Вовкой Говором. Интересная у него фамилия — Говор. Когда Клавдия Николаевна говорит: «Что за говор! Прекратите этот говор!», мы все смеемся и смотрим на Вовку. Да, так вот, мы боролись, но никто не победил. А мне было очень приятно потрогать его черную бархатную курточку. Он весь такой приятный и очень хорошо учится.

Мы все приносим в школу завтраки, но больше всех приносит Юрка Козлов. У него завтрак завернут в большую такую салфетку. Когда он разворачивает её, то там пирожки и всякие другие вкусные вещи. Клавдия Николаевна однажды сказала: «О-о, тут целый обед!» и Козлов подарил ей пирожок. И она встала рядом с его партой и красиво так выставила ногу и взяла пирожок двумя пальцами и ела. Мне очень нравится Клавдия Николаевна и мне бывает немножко стыдно, когда она пишет на доске и чешет попу в серединке. Я слышал, что попа чешется, когда у человека заводятся глисты и что они по ночам выползают из попы, а перед утром вползают обратно. Мама сказала, что они похожи на вермишель. Я после этих слов не могу есть ни вермишель, ни макароны.

Мы учимся уже давно. У меня три четверки — по правописанию, арифметике и прилежанию. Папа мне сказал, что я должен учиться на круглые пятерки, потому что я еврей. Все-таки я закончил первый класс с четверкой по арифметике и папа сказал мне, что я всё лето буду решать примеры. Клавдия Николаевна тоже нам дала на лето задание повторять арифметику. А мама опять попала в больницу. Хорошо, что у нас есть бабушка. Она готовит мне и папе. Я целыми днями играю во дворе с Борькой и Юркой в города. У нас есть старый напильник и мы его кидаем в землю.

Когда он втыкается, мы делаем круг и пишем первую букву нашего имени. Мы идем к столице — самому большому кругу, который разделен на три части. Нам нужно захватить чужие части. Игра выиграна, если другие уже не могут стоять на кусочке земли, который у них остался после отрезания. Еще мы играем в догонялки на щелбаны. Эта игра совсем простая. Нужно прицелиться и попасть своей битой близко от чужой биты. Хорошо, когда у тебя первый ход. У нас есть такая поговорка. Первый — на коне военном, второй — на танке золотом, а третий на горе Сталина встретил. Сталин меня узнал и конфетку дал. Но выше все-таки не Сталин с конфеткой, а тот, кто на коне военном.

Вечером я вспоминаю, что забыл сделать арифметику. Папа приходит с работы, ест и спрашивает, сделал ли я арифметику. Если я не сделал, он снимает ремень и один раз стегает меня. Мне не больно и я иду в комнату к бабушке. Разговаривать с ним мне не хочется. Я скучаю по маме.

Лето кончилось так быстро, что я не успел ничего сделать. У меня есть друг в школе — Витя Скопинцев. Они живут в одной маленькой комнате, намного меньше нашей. У нас двенадцать метров, а у них я не знаю сколько. Его отец шофер, а мой — инженер. Я хожу играть в Витин двор. Там много ребят, не то что у нас. Потом у нас во дворе уборная и много гадких мух. Иногда приезжает машина с трубой, её называют говночисткой и когда она забирает из уборной (сами знаете что), то у нас в доме невозможно дышать. А у них во дворе чисто и никто не ходит с других домов, а у нас двор проходной. Борька часто ругается на ребят, которые идут через наш двор с Первого Лесного переулка на Четвертый Лесной. Он говорит: «Идите отсюда, здесь вам не проходной двор!» Но как же он не проходной, если я всегда могу из одного переулка свободно попасть в другой? Да, у них во дворе есть еще Толька Немухин. Он выше всех, но у него такой писклявый голос, что его не любят. Еще у него огромные, как у слона уши. Он очень любит плакать. Дедушка сказал, что у него глупое красивое лицо.

Новый учебный год начался плохо. На первой же контрольной у меня случилась неприятность. Я уже заканчивал писать страницу в тетради, как вдруг у меня с перышка ручки упала огромная клякса и потекла вниз. У нас же парты с наклоном! Я так расстроился, что у меня заболела пиписька. Я её пощупал — и она была твердая, как карандаш. От этого я еще больше испугался и снова

начал быстро-быстро переписывать контрольную, но сделал много ошибок, и потом Клавдия Николаевна поставила мне тройку. Я боялся идти домой, но, как говорит Владимир Александрович, наш сосед, — «Голод не тетка!» И вот я пришел и сказал, что у меня такое несчастье, а мама надулась и не захотела со мной разговаривать. Потом она мне сказала, что я наказан за плохую отметку и буду всё воскресенье делать упражнения. Я так обиделся, что начал реветь, но ей было меня ничуть не жалко. Только дедушка подошел ко мне и сказал мне, чтобы я не плакал и что я, конечно, скоро исправлю эту проклятую тройку.

Клавдия Николаевна иногда, когда она сердится, называет нас безрогой скотинкой или рвотным порошком, но она добрая. Когда кончаются уроки, она должна нас свести вниз с четвертого этажа, а мы начинаем беситься. Тут у каждого терпение лопнет. Крик стоит ужасный. Вчера, например, Вовка Трахтман бегал по классу и кричал: «Залупа конская, п... японская!» Мы уже давно знаем весь мат и потому мы смеялись, что он тоже научился. А Клавдия Николаевна не слышала в общем шуме и это хорошо. У нас дома никто и никогда таких слов не говорит. А у Вити Скопинцева во дворе есть маленький мальчик, ему четыре года и он все время говорит матом и родители его тоже друг с другом и с ним говорят матом. И милиция их не забирает! К нам приходит стирать белье уборщица Юлия. У нее очень красивая дочка, я видел её два раза. И вот Юлия стирала наше белье в корыте и мама сказала что-то про её мужа. А Юлия ответила: «Ну и х... с ним!» А мама вся покраснела и сказала: «Какое ужасное слово!» А Юле хоть бы хны! Улыбнулась и стирает себе, и стирает. Я слышал её рассказ, как она кормила грудью свою дочку и теленка, так у нее было много молока. Интересно бы попробовать, какой у него вкус.

Жить стало совсем неинтересно. Вот только один случай. Папа много работал с мамой и они накопили много денег и купили два килограмма сливочного масла. И держали это масло в форточке, потому что дело было зимой. Ночью, когда мы все спали, мама услышала, что в форточке кто-то шуршит. Мама быстро разбудила папу, он подкрался и схватил вора за руку, но один кусок масла упал вниз. Тогда папа приказал маме открыть ящик комода и достать его большой нож, но пока мама искала нож, вор рванулся и прыгнул вниз и вслед за ним выпал второй кусок масла. И мама целый месяц всем рассказывала, как нас обокрали. Конечно, это

были воры из соседнего дома, где Борька с Юркой живут. Там есть такой страшный парень, его зовут Кара, но это не имя, а прозвище. Он всю жизнь гоняет голубей. Говорят, что у него есть старший брат, который всё время сидит в тюрьме.

Мы поехали в гости к дяде Матвею и тетке Нюсе. Они нам родственники. Я был в белой заячьей шубке, которую очень люблю. В поезде, я перед тем, как сесть, провел рукой сзади — чтобы не мялась. Маме стало очень смешно — так только женщины делают, чтобы не мять платье. Мы приехали и вошли в комнату, а там на полу ковер! А у нас никогда ковров не было. Мы все сняли ботинки. Ковер такой мягкий и теплый. А сын у них маленький, ему четыре года и он не хотел со мной играть. Я играл в его игрушки и слушал, что взрослые говорят. А дядя Матвей сказал, что у них совсем нет денег и он пойдет воровать. И мне стало страшно, потому что он попадет в тюрьму, как брат нашего Кары, который гоняет голубей во дворе. Мне даже плакать захотелось. А потом они стали на нас смотреть и кто-то спросил у папы, любит ли он меня. А папа сказал про меня, что я *«кляйне пынык»*, и я обиделся на него, потому что не знал, что это такое, наверное, что-то плохое. Тут я вспомнил, как дядя Матвей с теткой Нюсей и с сыном в прошлом году приезжали к нам. Их сын тогда тоже был весь сердитый и не хотел со мной играть. А еще у нас была тетя Шура Богановская с дочкой Катей и сыном Милей. Мы всегда с ним хорошо играли, хотя он моложе меня на один год. Он мне сказал шепотом, что когда пописаешь, нужно кончик вытереть чистой бумажкой, а у нас в туалете только старые газеты. А потом, когда гости собрались уходить, оказалось, что сын дяди Матвея наделал в штаны. И тогда мама принесла мою ванну и согрела воду, потом поставили его в ванну и стали мыть, а он начал реветь. Я думаю, что ему было очень стыдно, вот он и ревел.

А со мной тоже был такой же ужасный случай, но не в гостях, а в летнем лагере. Мне тогда уже было пять с половиной лет. Мама повезла меня на поезде далеко-далеко, до станции Пионерская. Потом мы долго шли, и я никогда не видел столько зеленых деревьев и травы, и цветов. Потом мы вошли в калитку, и мама сказала мне, чтобы я шел поиграть. Тут одна тетка в белом халате отвела меня в группу, которая шла на прогулку в лес. А другая тетка, Анна Сергеевна, спросила, как меня зовут, и я сказал —

«Алик». И вот мы шли, и вдруг я увидел маленький и очень красивый гриб с красной шляпкой. Я подбежал и сорвал и показал Анне Сергеевне, и она меня похвалила и всем ребятам показала мой гриб. Потом мы долго гуляли и вернулись за забор, и я спросил, а где моя мама и хотел заплакать, и Анна Сергеевна сказала, что мама уехала на работу и скоро приедет. А потом мне очень сильно захотелось какать, но я нигде не мог найти туалета, как у нас дома и поэтому пошел за дом, присел и покакал. На следующий день, когда мне захотелось, я пошел на то же место, но там меня увидела другая тетка с группой мальчишек и девчонок и строго сказала мне, что здесь какать нельзя. Я ушел и долго-долго ходил, а живот у меня болел, и сам не знаю, как это получилось, наделал в штаны. Потом Анна Сергеевна услышала, как от меня воняет, позвала нянечку и они вдвоем меня помыли. А я все еще не знал, где у них туалет, а спросить боялся. На следующий день со мной случилась такая же история и тут Анна Сергеевна очень рассердилась и кричала на меня, и снова они с нянечкой меня вымыли, а я плакал от стыда и обиды. Так, наверное, было бы со мной до самого маминого приезда, если бы я случайно не пошел гулять и не увидел деревянные домики, куда мальчишки и девочки заходили и выходили. Я тоже туда зашел и увидел дырку в доске, а под ней какашки и еще газету на гвозде, чтобы вытирать попу. Тут все мои неприятности и кончились. А потом, через много-много дней, приехали мама с папой. Мы пошли в лес, там они расстелили клеенку, и мама достала из сумки бутерброды с маслом и огурцы с солью. Это было так вкусно, что не могу даже описать. А Анна Сергеевна пожаловалась на меня, что я делаю в штаны, а мама ей сказала, что очень ей странно такое слышать, потому что дома я всегда хожу в туалет и воду спускаю. И они в лесу смеялись и спрашивали меня, что это со мной приключилось, а я молчал, потому что не знал, как им объяснить такие простые вещи.

У мамы есть одна очень близкая подруга Мара. Она такая красивая, как царевна в сказках и от неё всегда так приятно пахнет, что я всегда стараюсь стоять к ней как можно ближе и нюхать, нюхать. Мама сказала, что это духи «Огни Москвы», но я думаю, что духи тут ни при чем. Это сама тетя Мара так пахнет. Она с мужем, дядей Ёсей и сыном Эдиком живет за городом, в Ховрине. Они богатые. У них свой дом и огород. У них целых три комнаты и кухня. На кухне плита, которую топят дровами, а у нас

керосинки, которые противно воняют керосином. В комнатах у них ковры и красивый шкаф, в котором висят шубы тети Мары. Она в них приезжала к нам в гости. У мамы таких шуб нет, и она, по-моему, завидует тете Маре, хотя тетя Мара работает медсестрой, а мама доктором. Мама мне рассказывала, что в войну дядя Ёся был командиром санитарного поезда, где работала тетя Мара и они были в Румынии, где тетя Мара и купила эти замечательные шубы. И вообще они привезли много вещей из Румынии и у них было много денег после войны, и они купили этот дом в Ховрине. Вот только туалет у них, как в том летнем лагере, во дворе, но там почти не пахнет, потому что тетя Мара каждый день его моет и засыпает какашки золой.

Этой зимой она примчалась с Эдиком из Ховрина к нам домой, страшно испуганная. Эдик проглотил гвоздь. Он очень любит строить, у него даже есть два детских конструктора и все говорят, что он будет инженером. Ну вот, он что-то строил дома, забивал гвоздь молотком, а другой гвоздь держал во рту и сам не заметил, как проглотил его. И пошел к дяде Ёсе и сказал: «Папа, я проглотил гвоздь». И дядя Ёся так испугался, что вскочил с кресла, где он сидел и работал, и упал, и сломал руку. А тетя Мара тоже очень испугалась и приехала к нам. И мама пошла с ней в детскую больницу. Там посмотрели и увидели гвоздь у Эдика в животе, но сказали, что ничего страшного не будет и он его скоро выкакает.

Этим летом тетя Мара пригласила меня пожить у них, и я очень обрадовался. Мы с Эдиком дружили, хотя он был на один год моложе. Мне всё в их доме нравилось, у них даже погреб был, где стояли всякие вкусные вещи. И вот тетя Мара сняла ковер с пола, а там были коротенькие доски. Она подняла эти доски, и оказалось, что там погреб. И вот она спустилась туда по лесенке, а я стоял и смотрел на нее сверху и не знаю, как это получилось, но я туда упал и прямо ей на спину, и мне не было больно ни чуточки. Она ужасно испугалась, но она такая веселая и добрая, что совсем меня не ругала. Потом она смеялась, когда рассказала маме о моем приключении. Мама тоже смеялась и вдруг стала про меня рассказывать такие вещи, что я совсем расстроился. Я думаю, что всё-таки есть вещи, которые рассказывать нельзя. А дело в том, что мама часто говорила со мной так: «Ти мой синоцек, ти мой длюзоцек, ти моя умница» и мне это даже нравилось, потому что я очень её любил. И я ей как-то раз сказал: «А ти моя подлюга». И она это рассказала тете Маре и Эдик слышал и начал ужасно

хохотать, потому что подлюга — это значит подлая, а я, когда говорил на этом птичьем языке, сказал это случайно и мне было очень стыдно, и я подумал, что мама меня предала и я никогда больше не буду с ней так разговаривать.

Когда я жил у тети Мары, Эдик придумал игру. Мы сели на дорожку перед их домом напротив друг друга и вытащили пипсы. И каждый должен был достать ртом пипсыку у другого. А тетя Мара как раз шла с грядок, где она полола траву и увидела нас. Она ужасно рассердилась и запретила нам вместе играть.

Тетя Мара каждый вечер перед сном заставляет нас мыть ноги холодной водой, а у нас дома никто ноги перед сном не моет. Да и негде. Папа любит чистить ноги между пальцами. Раз в две недели мы ходим в баню. В прошлый раз я смотрел на мужиков, а один дядька стал на меня ворчать, что я смотрю, а сам стесняюсь, когда на меня смотрят. А тетка Лиза однажды увидела меня, когда я сидел без трусов и сказала: «Что же у тебя такая пипка маленькая? У ребят должна быть пипка вот такая! — и развела пальцы. Мама начала смеяться, а мне было стыдно.

Еще мне стыдно потому, что я рыжий. Не совсем рыжий. Папин дядя говорит, что у меня золотые волосы, но Генка Шматко и многие другие в нашем классе считают, что я рыжий. Шматко читает мне стишок: «Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, Вся семья моя покрыта, рыжим волосам».

В воскресенье мы пошли с папой на Пушкинскую площадь. Там стояла елка, украшенная игрушками, а вокруг было много-много магазинчиков, построенных из фанеры. И на каждом висели еловые ветки с игрушками. Народу вокруг каждого магазинчика было ужас как много, и все лезли без очереди. Папа тоже полез вперед, а меня поставил подальше, чтобы не затолкали. Я стоял и ждал, а рядом стоял еще один незнакомый мальчик, но мы с ним разговорились и я сказал, что видел на картинке паровоз, который назывался «Иосиф Сталин», а он мне сказал, что видел настоящий паровоз «Владимир Ленин». Я ему не поверил, да к тому же он ужасно картавил. Я тоже в детстве картавил, но папа со мной занимался и я перестал. И это хорошо, потому что у нас в школе говорят, что все евреи картавят и их дразнят, а я не картавлю и значит не еврей. Я спокойно могу сказать: «На горе Арарат растет красный виноград». Еще говорят, что евреи любят брынзу и потому у нас спрашивают: «Абгам, бгынзы хочешь?» А я

даже ни разу не видел, что такое брынза, но спрашивать у мамы с папой не хочу. Зачем их впутывать в наши школьные дела...

Так вот, стоим мы с этим мальчиком, и вдруг я увидел, как папа схватил какого-то молодого дядьку за руку и кричит: «Милиция! Милиция!» А тот молодой испугался и говорит ему: «Дядя, что вы меня держите, я же у вас ничего не взял!» Пришел милиционер и мы вчетвером пошли в отделение. Потом мы с папой незаметно так отстали и пошли домой без всяких подарков. Папа рассказал про наше происшествие и еще сказал, что он так сильно схватил того молодого, что у него рука хрустнула. Папа ужасно сильный. И никого не боится. Он в начале войны был переводчиком с немецкого. Однажды он сопровождал немецкую диверсантку, а она знала приемы борьбы и неожиданно его ударила, и он упал, и потерял сознание, а когда пришел в себя, то оказалось, что у него сотрясение мозга и он стал плохо видеть. И его отправили работать в тыл. А у него после этого начались приступы головной боли, которые называются *мигрень*. Я много раз видел, как папа лежал, завернув голову в подушку, и боялся света.

У меня в классе есть друзья. Один из них Мишка Шамаев, он самый высокий в классе, а другой Эдик Смирнов, он низенький и очень худой. Его зовут «Прищик». Именно «Прищик», а не «Прыщик». Он сидит с Вадиком Шендером за мной, и они всё время веселятся. А я сижу с Широковым Валькой. Мы с ним не дружим, а просто сидим. Он у меня часто списывает. А мне очень интересно, во что они там играют на задней парте, и я всё время оборачиваюсь к ним. Вадим очень сильный и он мучает Эдика, но они всё равно дружат. Вадим не боится даже Генку Шматко, который у нас стал самым главным хулиганом в классе, и они весело гоняются друг за другом и обмениваются ударами кулаков. А я почему-то боюсь Шматко, и он это уже понял, и начал ко мне приставать.

Наконец, снова наступила весна. Тетя Маруся, наш дворник, она очень худая, но очень сильная. У нас во дворе с зимы осталось много льда. Он черный и твердый, как камень. Тетя Маруся приходит к нам во двор и начинает тяжелым ломом колоть лед. Сначала она делает глубокую дырку во льду, потом я слышу, как лед под её ударами начинает глухо гудеть и вот уже откололась большая глыба льда, который кажется светло-голубым или зеленовато-голубым. Потом тетя Маруся беспощадно разбивает

отколовшуюся глыбу частыми ударами на мелкие кусочки и разбрасывает их по двору, чтобы они быстрее таяли. У неё есть сын, но он с нами никогда не играет, а старается ей помочь. Юрка, Борька и я тоже стараемся ей помочь, берем лом и стараемся так же ловко проделать дырку во льду и отколоть кусок побольше, но у нас так не получается. И руки быстро устают держать тяжелый лом. Говорят, что у тети Маруси большое сердце. Значит ей нельзя делать такую тяжелую работу. У нас во дворе жила старая и седая женщина Александра Яковлевна и у неё тоже было большое сердце. Я видел, как к ней приезжала скорая помощь. И вот, я вышел во двор, а Юрка мне сказал, что она умерла этой ночью. Почему-то все умирают ночью... И мы пошли на второй этаж Юркиного дома и там лежала в гробу Александра Яковлевна и лицо у неё было розовое. Я спросил одну девчонку Светку из нашего двора, может быть, её накрасили, а она сказала: «Нет, это заморозка». И я вспомнил, что у меня всегда на морозе щеки становятся красными-красными. Ещё Светка сказала, что когда Александра Яковлевна умирала, она кричала Светкиной маме: «Дай мне пять минут твоей жизни», наверное потому, что Светкина мама здоровая и толстая, у неё руки, как любительская колбаса, которую я видел в гастрономе.

Ну, хватит об этом. Мне потом всю ночь снилось, как Александра Яковлевна кричала мне такие же страшные слова.

Тротуары высохли, и Борька вышел с самокатом на подшипниках. Я давно мечтал сделать себе самокат, но у нас в сарае ничего подходящего нет, не то, что у Борькиного отца-шофера. Наконец, я купил у одного мальчишки два подшипника за сорок копеек, которые стащил у бабушки. Бабушка потом весь день вспоминала, куда она истратила эти деньги, но я не признался. Потом я выпросил у Леньки, который учится в четвертом классе, чтобы он мне взял у отца две досочки и бруски. Мы с Ленькой играли на деньги в расшибалку и пристенок, и он часто у нас выигрывал. Он один раз даже пришел к нам домой, и мы играли в шахматы. Он очень хорошо играл и всегда у меня выигрывал. А отец его был Данила-столяр. В прошлом году он построил замечательный шкаф для одежды с тремя дверцами. Он это делал во дворе и мы смотрели, как он замечательно ловко выстругивал доски рубанком и подгонял их. Потом он повесил дверцы шкафа на петли, и они замечательно вошли куда надо. Все, кто проходил по двору, особенно

взрослые, подходили к дяде Даниле и спрашивали, как он всё это делает, и он не ругался, а отвечал, наверное, ему было приятно, что он так здорово умеет делать шкафы и что людям это нравится. А под конец он покрыл шкаф лаком и вставил в среднюю дверцу большое зеркало. Я никогда раньше не видел такой красоты. Мы все ходили и смотрели на себя в зеркало, которое горело огнем, потому что на него падало солнце.

Пока дядя Данила работал, весь наш двор был покрыт стружками от рубанка. Потом там валялись обрезки досок и брусков, которые ему были, конечно, не нужны. Вот я и попросил их для самоката. Я видел, как устроен самокат у Борьки и решил сделать такой же, но у меня не было никаких инструментов, кроме молотка и кухонного ножа. Дома я нашел старую круглую палку от половой щетки, разметил её и отрезал от неё два куска, чтобы просунуть в подшипники. Это было очень тяжело, так как нож был тупой. Потом я сделал два выреза в досках, куда должны были войти подшипники, и это было самым тяжелым делом, потому что я боялся расколоть доску и должен был срезать дерево маленькими-маленькими кусочками. У меня даже мозоли выскочили на пальцах. Зато потом стало легче. Я прибил круглые палки здоровенными гвоздями и еще один большой кусок палки прибил с другого конца доски — и получился хороший руль. Потом я прибил к доске брусок, а к нему петли, чтобы мой руль мог поворачиваться. И вот я вышел в наш 1-й Лесной переулок и оттолкнулся правой ногой, и покатился по тротуару. А у нас на углу дома сходятся два переулка 1-й Лесной и 4-й Лесной, и там стоит старинная железная тумба. Мне говорил кто-то, что раньше к этой тумбе привязывали лошадей. А сейчас на ней сидел Николай. Ему, наверное, уже шестнадцать лет. И он смотрел, как я катаюсь. И Борька, мой друг, тоже смотрел, хотя у него есть замечательный самокат. И Николай сказал: «Да, сделано не по-русски». И Борька, гад, тоже сказал: «Это точно!» И так мне стало противно, что я не умею делать красиво, как у Борьки, что мне сразу расхотелось кататься на самокате, и я ушел домой.

Потом наступило лето, и мы играли каждый день во дворе в городки, в чижика и в войну. Вот только в футбол играть там негде и потом мы боимся, что разобьем стекла. Один раз Ленька поставил меня на воротах между старым тополем и кирпичами, которые он поставил столбиком. И он промахнулся, и попал прямо в окно, и большое стекло разбилось. И тут же выскочил один

мужик и начал орать на нас и сказал, что пойдет в милицию, а Ленька сказал, что не надо, что он сейчас вставит новое стекло. И он пошел домой и сказал отцу Даниле, и тот дал ему три рубля двадцать копеек и ударил по голове очень больно, и Ленька заплакал. А потом он пошел к нам домой, и мама дала ему еще три рубля двадцать копеек, и он измерил размер окна и пошел в магазин, и привез стекло, и поставил его на место. А я только глядел и слушал, как моя мама его хвалила и ставила мне в пример.

Потом папа с мамой решили отдать меня в водный лагерь. Папа работал тогда в институте речного флота. Работа у него была всегда одна и та же — он чертил чертежи, хотя плохо видел и от этого сильно уставал. Перед тем, как посадить меня на пароход, папа пошел со мной в магазин и купил мне триста штук печенья. Пароход мой назывался «Пестель». Когда мы туда пришли, то уже стало совсем темно. Папа оставил меня в каюте еще с тремя мальчиками и с моим печеньем, а сам пошел относить мой чемодан. Мы сидели и не знали, о чем говорить. Есть мне не хотелось, и я не знал, куда девать печенье. Потом пароход загудел и мы поплыли, а папа, наверное, ушел раньше, потому что уже было поздно. Нам принесли полные тарелки с пшенной кашей, которую я не выношу. Меня от неё тошнит. Один мальчик, Вова съел сначала мою порцию, а потом свою. Еще нам дали по два кусочка сахара, два кусочка хлеба и чай. Это я съел с удовольствием, и мы легли спать.

Утром я проснулся и вышел на палубу. Оказывается, с нами плыло еще два парохода. Один очень большой, больше нашего назывался «Клим Ворошилов». Другой назывался «Красная Пресня», он был еще меньше нашего. У каждого парохода с двух сторон были огромные колеса с лопатками и я понял, что они ими бьют по воде и плывут.

Вообще-то на пароходе отдыхать не очень интересно, хотя нас водили на берег. Главное, что очень быстро нам стало не хватать еды. Самым вкусным был черный хлеб, который нам давали к обеду. Многие уносили его с собой в каюту, чтобы съесть перед сном, но я не мог удержаться и съедал его сразу. Еще мы очень дорожили косточками от абрикосов, которые попадались в компоте. Мы их разгрызали и съедали орешки на закуску. Зерна слив были горькими и не такими вкусными.

Из-за того, что мы всё время были голодными, кто-то из мальчишек начал воровать гостинцы, которые мы взяли из Москвы.

Я помнил про печенье и собирался уже начать его есть, когда вдруг тех воришек поймали, когда они лазали по чужим чемоданам, и оказалось, что моё любимое печенье всё съедено. Я подошел к нашей вожатой и сказал, что у меня тоже украли триста штук печенья, но она не услышала, потому что все кругом кричали и возмущались, но потом она услышала меня и сказала, что у меня было не триста штук, а триста граммов печенья и это не так много, и что без этого можно прожить. Я ушел и очень жалел, что не успел съесть свое печенье раньше. Но я не знал, что можно было попросить вожатую открыть кладовку и взять, что мне было нужно, а те воришки знали и всё время просили пустить их в кладовку за своими вещами, а сами шарили по чужим чемоданам.

У меня отросли длинные-длинные ногти, и я стал ими щипать своего соседа Мишку за щеку. И других ребят стал пощипывать за разные места, а они стали звать меня кошкой, и мне это нравилось. Однажды я довел Мишку до слез, но он не стал драться, а только тихо плакал. Так, наверное, продолжалось бы долго, но однажды к нам в группу привели новых ребят, старше нас и кто-то из наших пожаловался им, что я мучаю своих в каюте. Тогда один из новых повалил меня на кровать и сказал, чтобы я больше этого не делал, а то мне будет плохо. И я сразу испугался и пошел к вожатой и попросил постричь мне ногти. Мишка попросился из моей каюты и на его место пришел настоящий хулиган Петька. Он говорил хриплым голосом, знал очень много песен, которые инвалиды пели в вагонах, и всеми командовал. У меня он отнял мягкие синие шаровары, которые я берёг для лагерного праздника и лежал в них. Он очень любил пукать после обеда, а мы слушали его пуки и боялись сказать ему, что нам это противно.

Многие из нас носили чулки с круглыми резинками, чтобы они не падали. У Петьки тоже были такие чулки, но он снял резинки и стрелял ими в каюте. Я тоже хотел пострелять этой резинкой и попросил её у него. Он мне дал, и я долго стрелял, но потом резинка куда-то улетела, и я не мог её найти. Петька мне тогда сказал, чтобы я заплатил за потерянную резинку хлебом, который давали к обеду. Я знал, что придется отдать, иначе он меня будет бить, а драться я страшно боялся. И вот я прибежал первым к столу, отломил кусок с корочкой и быстро съел, а остальное отдал ему, он и не заметил, что хлеба меньше. В тот день у него было такое хорошее настроение, что он пел после обеда много песен. Одну, про убитого отца я запомню, наверное, на всю жизнь:

*...А вырастут дети и спросят у мамы —
Где наш папка родной?
А мать отвернется
Слезами зальется,—
Отец ваш убит-а на войне.
Убили, убили
В сырой земле зарыли,
Зарыли, зарыли
На чуждой стороне...*

Так он пел в тот день и пукал, не переставая. Когда он мне вернул мои чудесные шаровары, я увидел, что по шву отпечатались его какашки и я их отдал стирать, а после стирки мои шаровары стали, как дедушкины кальсоны, я бы их не узнал, если бы не прочел свою фамилию на метке. Из-за того, что всё время хотелось есть, мы всё время вспоминали разные вкусные вещи, которые ели дома, или спорили о том, что едят люди в других странах. Петька говорил, что немцы едят бутерброды так: хлеба на палец, масла на два пальца, колбасы на три пальца, а русские, наоборот, хлеба на три пальца, масла — фиг, а колбасы на один палец.

Вообще-то я много чему научился в этом лагере. Я научился плевать сквозь зубы, говорить «Скажи!» или «Скажи-ка!» и скалить зубы, запомнил много Петькиных песен и анекдотов про глупых немцев.

С каждым днем всё сильнее хотелось есть. У одного мальчишки Вадика из нашего отряда брат был вожатым в старшем отряде и он, этот брат, однажды подарил Вадикү пряник. И Вадик вышел на палубу и стал его обгрызать такими маленькими-маленькими откусками, и пряник становился очень красивым, будто его накрыли кружевом. И мы стояли кругом Вадика и смотрели, и очень хотели откусить хоть малюсенький кусочек, но Вадик никому не давал и только улыбался. А про одного мальчишку из соседнего отряда говорили, что он не выдержал голода и положил в рот кусочек своего г..., и об этом узнали и стали звать его Тузиком, потому что собаки очень любят есть человеческое г...

Старшие ребята, наверное, ещё больше голодали. Я слышал, как их вожатый говорил одному парню: «Стой и лови рыбу. Поймаешь — будет тебе ужин.» А однажды нам на ужин дали какую-то жижу с какао, совсем не сладкую, похожую на растаявший студень, мы все попробовали и нас затошнило. А Юрка-очкарик

сморщил лоб и сказал прямо, как старичок (а он и был похож на маленького старичка): «Как же можно давать людям такую еду!» А один из наших сказал, давайте все тарелки мне — и начал их сметать быстро-быстро.

Хотя мы живем на пароходе, купаться нам разрешают очень редко. Зато перед ужином мы часто смотрим на Оку, как по ней плывут лодки. Один раз мы видели, как люди в лодках взрывали что-то в реке и водяные фонтаны поднимались высоко-высоко. Это было очень красиво. И кто-то сказал, что это взрывают немецкие мины, оставшиеся с войны. А война-то кончилась уже давно, — три года назад. А Петька сказал, что мы дураки, что эти люди глушат рыбу. Когда он ездил в деревню к бабушке, он видел, как мужики делали взрыв под водой, а потом собирали рыбу, которая всплывает со дна.

Купаться здорово, если ты умеешь плавать. А у нас никто плавать не умеет. Ребята из соседней группы взяли с собой наволочки на реку. Они их намочили, потом набрали в них воздух и закрутили — получилась подушка с воздухом. Потом можно плыть сколько хочешь и держать эту подушку в руках. Когда она уменьшается, можно снова набрать в неё воздух и снова плыть. А я шел по воде и смотрел, как они плавают, и мне было завидно. Потом я пошел поглубже и встал на какой-то большой камень, а потом спрыгнул с него и оказался под водой. В ушах у меня стало булькать, но я не растерялся, потому что знал, где берег. Я пошел к берегу и старался не открывать рот и нос. И вот я вышел из воды, а никто даже не заметил, что я мог утонуть. После этого мне расхотелось купаться и я стал собирать ракушки и цветные камешки.

Вот так проходит лето. Хорошее бывает редко и мало. Вчера нас повели гулять по берегу Оки и мы напали на место, где росла дикая клубника. Она больше земляники и очень сладкая. Одному хватило бы обожраться, но нас была такая куча! Все кинулись искать ягоды, а один из наших Андрей-заика кричал: «Ма-ма-я-ягодка!», и все смеялись, потому что получалось: «Мама, я — ягодка!»

И вот, наконец, мы поплыли в Москву. У пароходов эти лопатки на колесах называются плицами, а колеса крутятся быстро-быстро. Мы проснулись очень рано и даже есть не хотелось. Мы пошли поиграть напоследок в салон, откуда можно смотреть вокруг, и видели, как Москва приближается. Потом я видел двух парней из самой старшей группы, которые украли из столовой огромную

кость с кусками мяса на ней, и они отрывали это мясо и жадно ели, и им было наплевать, что мы на них смотрим. А у меня от волнения, что я скоро увижу маму с папой, совсем пропал аппетит, и мне того мяса совсем не хотелось. И вот, через два часа мы уже стояли в Москве, и я смотрел с палубы на набережную и вдруг увидел маму с папой, и они увидели меня, и мы стали махать руками. И вот что я хорошо запомнил — это был бутерброд с маслом. Пока мы ехали домой на трамвае, я сидел, смотрел в окно и ел бутерброд. Это было лучше всякого водного лагеря.

В этом году мы сильно подружились с Эдиком Смирновым, которого в прошлом году звали «Прищиком». Мы с ним часто выходим вместе на перемену. Я был у него дома в воскресенье. Он живет в самом хулиганском районе, который называется Кудеяровка, рядом со школой. Я, когда шел к нему в гости, боялся, что встречу Генку Шматко или его друга «Самурая», а они могут ни за что дать в морду. У Эдика есть старшая сестра, очень красивая, а мама работает в нашей амбулатории на Лесной улице врачом. Почему наша улица и переулки называются Лесными, я не знаю. Наверное, здесь стояли до революции склады с распиленными деревьями. Не может же быть, что здесь до революции рос лес!

Вообще-то, мне больше нравится Миша Шамаев. Я один раз был у него дома. Они живут в большой-большой комнате на третьем этаже. Пол у них покрыт деревянными дощечками очень красиво и мама у него тоже очень красивая и богато одета. Она нас кормила очень вкусными вещами. А дом у них такой же огромный, как недалеко от нас, который мы называем «серый дом». В нем пять этажей и он очень длинный. Мама часто ходит в «серый дом» звонить. У них телефон прямо в коридоре и бесплатно. Мама часто рассказывает мне, как она бежала со мной на руках в метро прятаться от бомбежек, когда мне было два года, и она пробегала мимо серого дома, а оттуда прямо, как демонстрация, бежали люди. Говорят, что одна бомба разорвалась недалеко от серого дома и выбила все стекла. И я об этом рассказал Мишиной маме, и мне было приятно, что она меня слушает и кивает головой.

Жалко только, что Миша больше меня не приглашает. Не знаю почему, но догадываюсь. Потому что мы евреи. Я сам это узнал недавно, когда папа сказал мне, что я должен учиться лучше всех. Я тогда спросил его: «Почему?», а он ответил: «Потому что ты еврей!» И мне тогда показалось, что это неправда, ведь мне все говорили,

что я совсем не похож на еврея, и нос у меня не длинный, как у дедушки, а курносый. И мне казалось, что если человек похож не на еврея, а на русского или украинца, то он и есть русский или украинец. А евреем быть очень плохо, потому что нас мало в классе, и мы слабые и никогда друг за друга не заступаемся, боимся. Я часто слышу, что евреи всю войну за русскую ж... прятались и подумал, что это правда. Ведь мы уехали в эвакуацию в Башкирию, в деревню Болтачево. И другие евреи тоже, наверное, уехали в эвакуацию. А русские сражались с фрицами и победили их. И теперь русским обидно, что евреи вернулись в Москву и другие города из эвакуации и живут, а много-много русских погибло... Получается, что если я — еврей, то тоже виноват, хотя я был в войну совсем маленьким. Спросить папу о таких вещах я не могу, просто язык не поворачивается. Боюсь, что он начнет на меня кричать. Он и так на меня кричит, когда я делаю ошибки по арифметике. Вчера он мне объяснял, как решать задачи на предположение. Я никак не мог выучить фразу: предположим, что рабочий К. и рабочий М. выточили на станках одинаковое количество деталей. И главное, — я никак не мог понять, зачем мне нужна эта проклятая фраза. Папа на меня кричал и стучал ладонью по столу, а я всё больше и больше глупел. Потом я заплакал, а папа назвал меня Балдой, и мама велела мне идти мыться перед сном.

В воскресенье к нам пришли Богановские. Дядя Миша был на войне капитаном. Вот показать бы всему классу дядю Мишу! Смотрите! А вы говорите, что евреи не воевали! А он еще после войны служил майором в Абхазии. А его жена тетя Шура с детьми жила в Всехсвятском переулке в Москве. У них там очень хорошо, прямо как у тети Мары за городом в Ховрине. Деревья, кусты. Их дом стоит на своем участке и в нем еще живут наши родственники — четыре человека, но мне неохота их перечислять. А дядя Миша недавно вернулся из Абхазии и весь вечер вспоминал про свою жизнь там. Он говорил, что абхазы очень любят насиловать русских женщин, и что он одну спас, а я не знаю, что это значит. А тетя Шура рассердилась и сказала ему, чтобы он перестал при мне рассказывать такие вещи. Тогда дядя Миша стал рассказывать, как он попал в милицию. Он ехал домой с работы и хотел спать, а к нему подошел какой-то пьяный и стал ему говорить то же самое, что мне говорят в классе — что мы не воевали, а прятались за русскую ж... И потом он стукнул дядю Мишу ладонью по голове. Тогда дядя Миша вскочил и схватил того пьяного за горло и поднял в

воздух. И тут другие стали спасать пьяного, и дядя Миша сказал, что три человека не могли разжать его кулак. Пришел милиционер и повел дядю Мишу и того пьяного в отделение. Там посмотрели, что дядя Миша был герой войны и не посадили его в тюрьму, а сказали, что он вел себя неправильно, что он должен был закрыть голову руками и пригнуться «вот так». А дядя Миша сказал, что его родная мама не учила защищать свою честь «вот так». А я думал, почему я такой трус и не могу подраться с Генкой Шматко и другими, и показать им, что я тоже могу себя защищать!

Потом мама достала альбом с фотографиями. Мы снимались всей семьей в прошлом году, когда объявили, что все деньги поменяют на новые, а у кого старые — все пропадут, если они не в сберкассе. А мама как раз собиралась купить себе пальто и вот, не успела. И мы остались с этими деньгами, и только в одном месте, в фотографии, еще принимали старые деньги. И мы фотографировались все вместе, и врозь, и парами. Я был одет в новый костюм, который мне сшила наша соседка Марильсанна из старого папиного костюма. Все получились очень красивыми и потому мы не жалели, что наши деньги пропали. Только бабушка была недовольна своим видом. Она говорила, что похожа на фотографии на Крупскую. А Крупская была женой Ленина, и я не понимаю, что же тут плохого. Все смотрели фотографии и смеялись от радости, а мама опять рассказала историю, как мы потеряли деньги, которые копили ей на пальто. Когда Богановские уходили, я попросил их в следующий раз приехать с Милей и Катей. Они засмеялись и пообещали.

Весной нас принимали в пионеры. Всем классом. Родители заранее купили красные галстуки, но надевать их сразу было нельзя. Весь наш класс пошел в клуб Зуева. Мы выстроились на сцене и хором читали пионерскую клятву: «Я, юный пионер...» ну, вы сами знаете. Мы её выучили наизусть тоже заранее. Потом пропел горн, внесли знамя школы, и мы вытащили наши галстуки из конвертов. Оказалось, что у некоторых мальчиков был не шелковый галстук, а из красной тряпки, потому что у родителей не было денег. Самый красивый галстук был у Козлова. Они, наверное, самые богатые. Потом у нас была художественная самодеятельность. Но самое главное — я видел за столом на сцене писательницу Агнию Барто. А я как раз должен был читать её стихи. Мне её стихи ужас до чего нравятся. «Что болтушка Лида, мол, — Это Вовка

выдумал...» Но я читал очень грустное стихотворение про то, как немцы убили старшую сестру и маму. Агния Барто слушала меня и улыбалась, и я её очень-очень любил. Я, вообще-то, больше люблю пересказывать разные книжки. Поэтому самые мои любимые уроки по внеклассному чтению. Ну вот, а потом мы выскочили из клуба и побежали по домам. Ну, разве можно идти в такой день! Я прибежал, а папа, как всегда, чертил «халтуру». Я ему сказал, что меня приняли в пионеры, а он ответил — поздравляю и даже головы не поднял. И мне так сразу скучно стало, что я снял галстук и положил его в портфель. Папа мой — странный человек. Он почти никогда не смеется. Только однажды, когда Миров и Дарский по радио вечером выступали с песенкой *«Горе парню, просто горе, Хоть ложись и помирай! Ничего, ведь завтра утром Он поедет прямо в рай»*, он очень смеялся, когда Дарский спросил: «В какой рай?», а Миров ответил — «В Рай-жил-отдел». И мне, и маме от этого было так хорошо, но другого случая я не помню.

Дядя Ёся, муж тети Мары сказал мне, что мой папа очень умный. Это когда мы были у них в гостях. Папа придумал игру на проверку памяти, где все слова начинались на одну букву:

*Один отрицательный оригинал.
Два диких добрых дикообраза.
Три трогательных щедеушно трепетных тарантула.
Четыре черствых чародея чесали череп чудака.
Пять пухленьких пигалиц, плотно пообедав, приятно пели.
Шесть шустрых шакалов шаловливо швырялись
широкополыми шляпами.
Семь служащих социального страхования, смутно
соображая, составляли смету.
Восемь взлохмаченных воров взламывали ворота
восьмиэтажного вертепа.
Девять дюжин дураков доили деревянного дракона.*

Мы с Эдиком, конечно, мало понимали в этих словах, но старались повторить без ошибок. А первое место занял дядя Ёся. Потом папа сказал, что в газете «Правда» всегда пишут только правду, а в других газетах не всегда. И тут дядя Ёся засмеялся и сказал, что мой папа очень умный, подтолкнул его локтем и добавил: «И очень сильный. Однажды до войны мы с ним боролись, и он мне руку сломал!»

Мама перешла на работу в детскую поликлинику, которая называлась поликлиникой МВД. Там её начальником стал профессор Берман. Она очень восхищалась, как он умеет лечить детей. Я видел, как её один раз подвозили домой на машине «Эмке». А ещё один раз она меня взяла к своему начальнику. Он был очень строгий, в пенсне и белом халате. Теперь мама рассказывала дома разные истории про свою работу. Однажды они ехали по вызову вечером, и к ним под колеса кинулся молодой парень. А никого кругом не было. Наверное, тот парень хотел, чтобы его убили. И шофер спросил маму, останавливаться или ехать дальше. И они решили ехать дальше, так как они были не виноваты.

А Владимир Александрович узнал, что меня приняли в пионеры, и позвал к себе. У них комната, как половина нашей, но там очень интересно. На стенах много цветных ярких открыток с птицами. Владимир Александрович показал мне свои охотничьи ружья. Он ездит на охоту осенью и однажды привез вальдшнепа. Тетя Настя его ощипала и я потом в их ведре нашел много-много красивых перьев. Я их сложил в свой пенал, но не знал, что с ними делать. Пришел в школу и раздал ребятам, которые их хотели. Потом Владимир Александрович показал, как стреляет его духовое ружьё. Сначала он громко хлопнул воздухом, а потом положил в ствол круглую дробинку, приставил к стенке и выстрелил. Получилась глубокая дырка, которую мы потом измерили гвоздем, и он ушел в неё больше, чем наполовину. С этим ружьем он охотится на птиц. А на зверей он охотится с двустволкой, и он мне показал толстый такой патрон с железной шапочкой. А потом он сказал, что у него есть для меня подарок и достал из нижнего ящика гардероба иностранные монеты. Он ведь во время войны был и в Румынии, и в Венгрии, и в Болгарии. Я ушел к себе с этими монетами и положил их в спичечный коробок, а утром, подходя к школе, открыл его и крикнул: «Смотрите, что у меня есть!» И ко мне подбежало сразу человек двадцать и стали просить монетку, и я их раздавал. И раздал все-все. И мне почему-то было совсем не жалко, только совестно перед Владимиром Александровичем и боязно, что он спросит вдруг: «А где твои монетки?»

Наконец-то наступило лето. Я так его ждал, потому что мне ужасно надоело учиться. У нас во двор приехал экскаватор и вырыл огромную длинную яму. Нам сказали, что будут проводить газ. Я уже видел у знакомых моих родителей, как горит газ, и

мне это очень понравилось. Вот только играть во дворе стало совершенно невозможно. Если мяч или чижик упадет в эту яму, то очень трудно их доставать. И, кроме того, на дне ямы скопилась ужасная, вонючая, зеленая вода, даже смотреть туда вниз было противно. Однажды мы запускали во дворе змея. Потом я ушел домой, а один мальчишка, маленький Юрка, не тот, с которым мы дружили в детстве, а другой, шел задом и натягивал нитку, чтобы змей поднялся повыше. И он не заметил, как свалился в эту яму и прямо в эту ужасную воду. Говорили, что он даже от страха глотнул её. Хорошо, что его мама была дома. Её позвали, и она помогла ему вылезти, а потом отмывала его с мылом много раз, чтобы он не вонял. Лично мне было его совсем не жалко, потому что когда я старался играть с его маленькой сестренкой, она начала капризничать. А его мама мыла в это время полы в коридоре и крикнула мне: «Отойди от Кати!». А я сказал, что я ничего не делаю, а она сказала так грубо: «Отойди, еврей!» Знаете, как это больно, когда тебя обзывают евреем ни за что? И после этого Борька-зассыха, который это слышал, стал меня обзывать всегда на весь двор, когда мы ссорились. Ленька однажды это услышал и сказал ему: «Ну и что, что еврей! А Сталин — грузин!» И за это я полюбил Леньку еще больше.

А Борька в этот день встал не с той ноги и всё хотел со мной ссориться. Мы с ним поборолись, и я его легко положил на лопатки. А потом я пошел домой, а он схватил здоровый кусок кирпича и кинул в меня и попал мне в голову. Я дотронулся до головы, и вся моя ладонь была в крови. Я никогда не видел столько крови. И я заорал и побежал домой к бабушке. Бабушка, как увидела меня в крови, чуть не умерла со страху. Она сунула мою голову под кран, потом вылила мне на голову пузырек с йодом и испугалась, что йод попадет мне в глаза, и закричала, как сумасшедшая: «Закрой глаза!». Потом обмотала мне голову полотенцем и прямо в комнатных туфлях побежала со мной в амбулаторию, где работала мама Эдика Смирнова. Мне там подстригли волосы вокруг раны, еще чего-то сделали, потом укол в попу от столбняка, совсем не больно. А бабушке стало плохо, и ей дали капель валерьянки с ландышем. Потом мы пошли домой, и я был героем с настоящей кровавой раной.

Когда несчастья случаются, они всегда идут друг за дружкой. Через две недели я совсем выздоровел. К нам как раз привезли газовую плиту, установили большой круглый темносиний счетчик и

подключили газ. И мы все собрались на кухне и смотрели на красивые синие огненные цветочки вокруг конфорок. У нас их было четыре, а еще духовка, чтобы печь пироги. И вот, на следующий день я вышел во двор, яму уже давно закопали, и мы стали играть в догонялки. Мы играли вдвоем с Ленькой. Не знаю, как это получилось, но сначала мы играли по копейке, потом по гривеннику, а потом уже по рублю, и я всё проигрывал, проигрывал...И мой долг уже стал тридцать рублей. И я сказал, что я принесу деньги. Пошел к бабушке, вытащил у неё из кошелька красную тридцатку и отдал Леньке. Он так сладко улыбнулся при этом и сложил бумажку в несколько раз. А соседка снизу видела, как я расплачивался с Ленькой и сказала бабушке. Бабушка сразу увидела, что у неё не хватает денег в кошельке и они пошли к Ленькиному отцу Даниле. Отец его как услышал, сразу дал Леньке по морде и, если бы бабушка и соседка не вмешались, он, наверное, убил бы его. И Ленька очень горько плакал. А бабушка вернулась домой злая и пригрозила мне, что всё расскажет папе. Обычно я плевал на её угрозы, потому что она забывала наябедничать, но тут я почувствовал, что меня обязательно накажут, и ужасно трусил.

Папа пришел, поел и хотел уже прилечь на диван, зарыв голову в подушку, как всегда, но тут вышла бабушка из своей комнаты и всё рассказала. И ушла. А папа сказал: «Поди сюда! Ты кто — вор? Я тебе покажу, как воровать!» И он так грохнул кулаком по столу, что я думал — стол разлетится на куски, а потом он так же ударит и меня. И я заревел, как паровоз, и закричал сквозь слезы: «Я больше никогда не буду! Я больше не буду!» Папа меня ругал, а я твердил своё. Наконец он устал от моего рёва и сказал: «Пошел вон, мерзавец! Иди извинись перед бабушкой» Потом я выскочил во двор, а он лег и завернул голову в подушку.

Наконец-то кончился проклятый учебный год. Как это взрослые не понимают, что самое главное — это свобода, когда ты можешь делать, что хочешь целый день, а когда тебя отправляют в пионерлагерь, то это та же самая школа, только на свежем воздухе. Вот, мы с Юркой на следующий день после окончания занятий решили проехать по Москве на трамвае. У нас есть трамвай, который идет по Лесной улице и называется «А», мы зовем его Аннушкой. Денег у нас, конечно, не было, но мы решили, что поедем на подножке. И мы поехали. Вот это было путешествие! Мы стояли на задней площадке и смотрели назад, а люди входили и

выходили... Потом мы доехали до последней остановки и пересели в обратный трамвай, и в конце концов приехали снова на нашу Лесную улицу. Я вернулся домой, а бабушка даже ничего и не заметила. Она когда готовит обед, любит, чтобы ей не мешали. Бывает, что она приходит в комнату из кухни и говорит: «Что же я хотела сделать?» и я сочинил стишок: «Что же я хотела сделать И не сделаю никак! И вот этак, И вот так!»

Мама мне сказала, что я в июле поеду в пионерлагерь МВД и что это замечательный лагерь. Я сначала затосковал, а потом подумал, что у меня еще весь июнь и жизнь еще не кончилась. А после того, как Борька пробил мне голову кирпичом, пришли мужики из их дома и принесли с собой лопаты и ломы, и много-много бревен, и выкопали ямы, и поставили столбы из этих бревен, а потом набили на бревна такую стальную ленту. И всё для того, чтобы я не ходил к ним во двор. У меня после этого остались два старых тополя и лужа перед домом. А я не горевал, потому что у меня уже было много школьных друзей, и я с ними играл в расшибалку на тротуаре в Первом Лесном перед своим домом. И у нас было много других игр, а Юрка всё равно приходил ко мне в гости.

Бабушка принесла с рынка вишню и дала мне попробовать пять ягод. Вот это да! Никогда раньше я не ел таких чудесных ягод. Она меня предупредила, чтобы я больше не брал, потому что она будет ставить вишневую настойку к празднику. Она взяла две бутылки из-под молока, помыла вишню и стала засыпать её в бутылки, пересыпая сахарным песком. Потом она надела на горлышки марлевые повязки и выставила бутылки на окно, чтобы солнце их грело. Прошло недели две, и я увидел, что в бутылках получился темнокрасный сок. Однажды, когда все ушли, я отвязал марлю и попробовал этот сок. Если бы я не боялся, что меня страшно накажут, я бы в один присест выпил бы этот сок до дна. Я ходил вокруг этих бутылок, как кот возле сметаны и, когда никого не было дома, отпивал из каждой бутылки по крошечному глоточку. Так продолжалось бы до тех пор, пока я не выпил бы всё, но на мое несчастье бабушка решила, что наливка созрела и перелила её в большую бутылку, разбавив бутылкой водки. Туда же она пересыпала ягоды, так что мне ничего больше не досталось.

Наши соседи тоже сделали наливку из вишни и, когда она была готова, добавили туда три бутылки водки. У Владимира Александровича был день рождения и Настасья Алексанна пригласила моего папу в гости. Пришла еще соседка по этажу Софья

Ивановна. У неё такой противный злой шпиц, которого я очень боюсь. Она с ним выходит утром на прогулку, и он на всех лает и бросается, а она ругает всех проходящих, что они дразнят собаку. И вот они все сели за стол и стали пить вишневку, и все быстро опьянели, особенно после того, как съели пьяную вишню. Потом они начали петь разные песни — «Хаз-Булат удалой», «Эх полным-полна коробочка» и много-много других. Потом, когда они стали плясать, дверь отворилась и вышел папа. Он пошел в нашу комнату и сразу начал чертить «халтуру». Я тогда понял, что ему неудобно плясать со всеми, хотя он и сидел с ними за столом, но вот прибежала к нам Софья Ивановна и зашептала на ухо маме, что она просит у папы прощения. Оказалось, что когда поставили пластинку в патефон, чтобы танцевать, она крикнула Владимиру Александровичу: «Володя, ну что ты сидишь, как жид! Пошли плясать!» Тут папа встал, и, ни слова не говоря, ушел. Почему-то всегда, когда слышишь слово «жид», принимаешь его на свой счет? Мало ли кого обзовут жидом! Мне это непонятно. И папе нужно было сделать вид, что это его не касается.

Оказывается, что даже в моем бывшем дворе можно развести настоящий сад. Он так быстро вырос, что я и не заметил. Там было столько цветов! И стали разные жуки и пчелы прилетать. Надо же! А тот забор, хоть и казался сделанным на сто лет, очень быстро развалился, потому что все вокруг привыкли, что у нас проходной двор и стали потихоньку его ломать, особенно по вечерам. Так что в начале июля я уже был в том саду и смотрел разные растения. Но всякому счастью приходит конец, и меня повезли в лагерь. Дни шли за днями и ничего не было интересного. Каждый день после завтрака уборка территории, потом пение дурацких песен вроде «Пионер не теряй ни минуты, Никогда, никогда не скучай. Пионерским салютом утром солнце встречай! Ты всегда пионерским салютом солнце Роди-ны встречай!» Ну, вы её знаете... А у нас там был один мальчишка Айзенштейн. Все звали его Айзик. Его выбрали звеньевым. У него всегда был очень чистенький красный галстук и вообще он весь был, как новенький пятак. И он всё время улыбался, а если был чем-то занят, то всё время пел: «Пионер потерял все минуты...» потом снова «Пионер потерял все минуты...», прямо как заевшая пластинка на патефоне. Я его за это не любил и очень хотел его подтолкнуть и заставить допеть: «И всегда, и всегда он скучал. Пионерским салютом никого не встречал!»

А ещё в нашем отряде был один парень, его звали «Седой», никто его никогда по имени не звал. Он ко всем цеплялся. Пристанет: «Ответь за концы!». Вы ведь знаете, что у галстука три конца. Один — пионер, второй — комсомолец, а сзади толстый конец — коммунист. Вот и отвечаешь ему: «За концы воевали братья и отцы». Потом он хватается за трусы: «Ответь за трусы!». Ну что ему ответить? Отвечаешь — «За трусы воевали братья и отцы». — «Нет, за трусы этот ответ неправильный, ответь за трусы, не то стащу их с тебя!» И так вот мучает всех, кто его слабее. Говорили, что его мать работает в нашем лагере уборщицей.

Еды в нашем лагере очень много. Я никогда не ем горячий борщ и особенно кислые щи. Еще я не ем всякие каши, а только хлеб с маслом, сыром и какао, еще яйцо, если оно не жидкое. Еще я очень люблю котлеты и холодную картошку со сметаной и главное — компоты. Иногда я вспоминаю, как хотелось есть в водном лагере и мне не верится, потому что хлеба здесь столько, что никто его не доедает, а ведь прошел всего год. Наверное, мы уже залечили раны, нанесенные войной.

Вчера вечером мы стояли перед столовой, где нам собирались показывать кино, и один парень из старшего отряда Артемьев сказал Николаеву: «Давай пое....ся!». И они вытащили — сами знаете что, и стали ими тыкаться. А у Николаева это самое намного больше и он сделал больно Артемьеву, и тот заорал и спрятал свой в штаны. Значит, Николаев победил. Что это за дурацкое занятие! Мы с Борькой тоже пробовали до того, как он мне разбил голову. Ничего интересного. Но мы тогда еще были маленькими, а этих на будущий год будут принимать в комсомол!

На следующий вечер пошел дождь, и мы стали беситься у себя в палате. Кто пел, кто подушки бросал, кто боролся между кроватями. Каждый придумывал свой фокус. А я решил показать всем, что могу рыпаться за мячом, как настоящий вратарь, хотя ни ворот, ни мяча у меня не было. Я просто рыпнулся в угол, а там был гвоздь и я распорол себе ладонь. И сразу так сильно полилась кровь, что я заорал и выскочил во двор. А тут как раз наш вожатый шел. Он меня увидел, схватил и потащил к врачу. А врач была знакомой моей мамы. Её фамилия была Нехамкина. Она мне быстро-быстро что-то сделала, перевязала руку и дала мою любимую конфетку — изюм в шоколаде. Хорошо, когда после плохого случается что-нибудь хорошее.

Опять наступил учебный год. К сожалению, никуда от этого не деться. Но мне повезло. Уже на третий день я пришел со школы с температурой. Чувствовал я себя хреново, это правда. Мама положила меня на спину и стала шупать живот. Очень расстроилась и пригласила профессора Бермана приехать и посмотреть меня. Он приехал, тоже пощупал живот и сказал, что мне нужно ехать в больницу. Я очень испугался и заплакал, потому что очень боюсь больницы. Вот как получается в жизни — только собрался еще немного отдохнуть, почитать интересные книжки, и вот тебе и раз! Там, наверное, каждый день уколы делают. Но меня никто слушать не стал, а вечером на машине отвезли в детскую больницу и положили в палату, где был еще один мальчик, но очень маленький. Он был веселый и все время что-то говорил и стоял в кровати. Я потом узнал, что он выпил пузырек с йодом. Ничего себе!

А меня на следующий день перевели в общую палату. Там были и девочки, и мальчики, не то, что в лагере. Мы в школе и в лагере девочек почти не видели. Так только если одна пробежит мимо, мы старались хоть как-нибудь её задеть, — кто ножку подставит, кто за косу дернет, а кто и кулаком по спине огреет. Но это без злобы. Просто девочка — это развлечение. А мальчик, который лежал напротив, спросил, как меня зовут. Я ответил — «Алик», а он поддразнил меня: «Алик-чинарик». Я засмеялся и сказал: «Сам ты чинарик». В общем оказалось, что жизнь в больнице не такая уж плохая, хотя я очень скучал по маме. Она всё время приносила мне очень большие и красивые яблоки, которые назывались «Апорт», наверное, они раньше назывались «Аэропорт» в честь станции метро, но чтобы легче было говорить, сократили несколько букв.

Я лежал в больнице целый месяц, и один старенький профессор, но не Берман, сказал маме: «Я не Бог!» Мама потом рассказывала всем нашим знакомым, что у меня был страшный диагноз — «цирроз печени», и я должен был скоро умереть. Так считал этот старичок. А я взял и выздоровел. И тогда-то он и сказал, что он не Бог. Вот только мама очень много плакала дома (а я и не знал), пока ждала моей смерти.

И вот я снова в школе. Чтобы я не отстал, мама с папой начали меня мучить сразу же после возвращения из больницы. Оказалось, что я даже всех обогнал. Теперь я сижу на уроках и скучаю. Иногда я поднимаю руку и отвечаю раньше всех, потому

что я уже всё это читал. У нас в классе таких, как я, не любят и называют выскочками или дразнят отличниками.

Кто-то принес в наш класс дурацкую игру, даже не игру, а черт знает что! На перемене собирается куча и набрасывается на одного и начинаются колотушки, вроде бы в шутку, с приговариванием: *Драки-драки-дракочи, Налетели палачи, Кто на драку не придет, Тому хуже попадет. Выбирай из трех одно — дуб, орех или пшено!* Если ответишь «дуб», то от всех получишь в зуб, если ответишь «пшено», все начнут тянуть за уши и кричать «Но!», а если ответишь «орех», то спрашивают: «На кого грех?». И ты указываешь на того, кто не принимал участия в колотушках. Хорошо, если такой найдется. Бывает, что укажешь, а он отвечает: «А я дракочил!» и всё начинается с начала. Однажды я не выдержал, схватил две ручки с острыми, как иголка перьями № 86 и стал отбиваться, но у меня ручки отняли со смехом — конечно, их много, а я один, и стали снова меня колотить. Это не больно, но ужасно противно.

У нас в классе появились переростки. Открылась дверь и вошло пять огромных парней — Салахов, Цыпленкин, Ежков, Корнаков и Ермаков. А у нас уже был один — Морозов, но мы к нему привыкли, и он никого не трогал. Нам сказали, что они должны кончить начальную школу, то есть четыре класса. И вот, они начали с нами учиться. Им было скучно с нами, они уже все курили, кроме Корнакова. Он был самый младший среди них. Они не хотели учиться, и наша классная руководительница Олимпиада Осиповна не знала, что с ними делать. Ермаков был самый старший. Ему уже прислали повестку идти в армию. Он очень любил на переменке вычесывать перхоть из волос и кидать её кому-нибудь на голову. А вообще-то он был самый спокойный. Мы любили удирать с уроков, но обязательно все, потому что всех не накажут. Тех, кто не убегал, могли здорово избить. Но Ермаков никогда не убегал. Его никто не посмел бы ударить. А Корнаков здорово умел петь и он про Ермакова сочинил песню точь-в-точь, как Утесов про штрейкбрейкера Джона Кейси:

*Однажды раз с уроков убежали мы опять
И только Коля Ермаков решил не убегать.
Зачем же бегать, — думал он—
Не лучше ли сидеть...
Так сидя в классе, думал он*

Дальше шли неприличные слова, и я их пропущу. А мы подхватывали припев:

*Ер-маков из класса не выходит,
Ер-маков свой верный держит путь,
Ер-маков — послушный раб хозяев,
А они ему повесили медаль на грудь.*

Ермаков не обижался, а только улыбался. Сразу видно, что он был хорошим человеком. Не злым.

Наконец Олимпиада Осиповна решила занять переростков самостоятельностью. Я принес в школу стихотворение Маршака «Пришел из школы ученик...», ну, там, как у него в дневнике одни двойки и единицы. И вот ему снится сон про отметки, как будто он неправильно решил задачу и получил ответ — два землекопа и две трети. И стоит бедный землекоп, у которого не хватает одной трети туловища. И вылез из воды бегемот и ищет ученика, чтобы его съесть. Так вот, этот Салахов стоял среди нас — шмакодявок и играл роль бегемота. А я был рассказчиком.

Иногда переростки дрались между собой, и на это было страшно глядеть. Однажды, когда мы шли из школы, Корнаков прицепился к Морозову, и они вдруг кинулись друг на друга, как бешеные собаки и стали бить друг друга кулаками. Это продолжалось полминуты. Потом Корнаков отскочил, и я увидел, что у него разбита губа. Он сказал тогда Морозову, что тот дерется, как баба, но Морозов ничего не ответил и ушел. Корнаков вообще любил задиаться. Однажды он ударил Ежкова коленкой по яйцам, и Ежков от боли упал и катался по полу, и орал так, что на улице было слышно. Но однажды Корнакову не повезло. Он пристал к Баранову и стал его каждый день изводить. А Баранов пожаловался студенту Геннадию, который жил у них во дворе и занимался штангой. И Геннадий пошел с Барановым и встретил Корнакова на улице, и дал ему всего один раз по морде, и Корнаков зачирикал, как воробей, и видно было, что он страшно испугался.

Корнаков просто замечательно пел. Иногда Олимпиада Осиповна разрешала нам послушать его пение вместо урока. Я сам видел, как она плакала, когда он пел песню про убитого партизана: «Он лежит, не дышит и как будто спит. Золотые кудри ветер шевелит.» А его мать сидит возле него и говорит: «Я тебя растила, я и берегла, А теперь могила будет здесь твоя...»

Я уж думал, что учебный год никогда не кончится. Потом учебный год все-таки закончился, и мне дали похвальную грамоту, где были нарисованы Ленин и Сталин. Но меня это не очень-то радовало, потому что мне опять предстояло ехать в пионерлагерь, который я ненавижу. Пока я ждал отправки в лагерь, я однажды подрался с бабушкой на кухне. Бабушка начала кричать и разбудила дедушку, который пришел с ночного дежурства. И дедушка выскочил на кухню в одних кальсонах и стал меня бить и ругать матом. Когда он крикнул на меня «Ё.. твою мать!», я так испугался, что у меня коленки ослабли. Мы все в школе ругались, но я не мог себе представить, что кто-то может дома меня так обругать. И я сказал вечером дедушке, что я пойду в милицию и всё расскажу про него. Мне было очень обидно, потому что я его очень любил, больше чем папу, бабушку и тетку Лизу вместе взятых. А он испугался, хотя и сказал со смехом: «Интересно, что он может рассказать обо мне в милиции?» Но мне было стыдно напоминать ему, что сегодня днем он так ужасно меня ругал.

И вот, я опять еду в лагерь. Сейчас — от 45-го машиностроительного завода. Удивительно, что Ленька-шахматист едет тоже. Я надеялся, что мне с ним там будет веселее. Однако оказалось, что Леньке интереснее играть со своими новыми друзьями. Я тоже нашел себе друзей.

В первую же ночь все стали рассказывать матерные анекдоты, кто во что горазд. А один крикнул стишок: «По дороге в Киев, мужик бабу вы..б!» И тут в палату ворвался наш пионервожатый Виталий Андреевич и как заорет: «Вы где, мерзавцы, находитесь, в пионерском лагере или в Таганской тюрьме? Кто сейчас эту похабщину нёс, сознавайтесь, трусы!» Мы все, конечно, помалкивали. Виталий еще поорал и, хлопнув дверью, вышел. После его ухода все стали вроде бы посмеиваться, но, как мне показалось, нам всем стало немного стыдно.

Потом как-то получилось, что стали по ночам вспоминать разные интересные истории, а я начал им рассказывать книжку про старика Хоттабыча, которую написал Лагин. Интересно, что когда я им всем рассказывал, я как бы листал страницы книжки и читал. Всем ребятам старик Хоттабыч очень понравился, и они стали называть меня Хоттабычем, а потом переделали в Потапыча. В общем, эта смена была для меня очень хорошей.

В нашем лагере была одна девчонка ужас до чего красивая. Все её звали Климкой, потому что её фамилия была Климова. Ребята

из старших отрядов прямо с неё глаз не сводили. Мы тоже мечтали с ней подружиться, особенно я, так как я читал «Приключения Тома Сойера» и был влюблен в Бекки Тэтчер, как Том. Однажды, когда она пробежала мимо меня, я успел хлопнуть её по спине ладонью. Перед сном мы часто разговаривали о ней в палате. У нас был один парень постарше нас, по фамилии Журавлев. Он очень часто ругался матом и был вообще большим грубияном, но мы с интересом слушали его хвастливые рассказы о его знакомых, сидевших в тюрьме или вышедших из тюрьмы. Однажды, кто-то спросил Журавля, нравится ли ему Климка, а он ответил: «Я Климку — в пипирку!» Мы очень смеялись, потому что здорово получилось в рифму. Через несколько дней у нас была репетиция дурацкой песни «Кто в дружбу верит горячо...» Мы выстроились на эстраде и начали мычать и блеять. Мне было ужасно тоскливо и я еле открывал рот, но вдруг заметил, что в первом ряду уселась Климка с подружкой. Тут я начал для неё представление, делая вид, что её не замечаю. Я зевал, качался, пучил глаза, ковырял в ухе. Климка умирала от хохота, а я хоть бы хны!

На следующий день Генка из старшего отряда и Журавль сидели на скамейке возле турников и Генка крикнул мне: «Алик, иди сюда!» Я подошел. — «Это правда, что ты так развеселил Климку, что она прямо падала со скамейки от смеха?» — Я пожал плечами и ничего не ответил, потому что это было моё тайное. А Генка продолжал: «Ты — молодец, Алик, я таких ребят, как ты, люблю.» И тут я припомнил, как про Климку сказал Журавль, и начал смеяться. А они переглянулись и Генка меня спросил: «Ты чего, пацан?» А я, продолжая смеяться, спросил у Журавля: «Журавль, а ты по правде Климку в пипирку?» Тут же я понял, что такую глупость мне повторять не следовало, потому что в следующую секунду я получил хорошего тумака от них обоих. А Генка еще добавил: «Пшел вон отсюда, жидёныш!» Вот ведь странная штука. Пока ты живешь со всеми в мире, то вроде бы все равны. Но стоит с кем-то поссориться или наступить на мозоль, сразу же тебе напомнят, что ты не такой, как все...

И кто этот дурацкий мат придумал?! От него одни неприятности. Я чувствую, что мат мне противен и если бы все перестали ругаться, я бы первый бросил это дело. А если я один брошу, то это вскоре заметят, обзовут маменькиным сыночком и начнут приставать пуще прежнего. Что ни говори, а мат — это оружие для защиты. Мы привыкли, что взрослые (но не папа с мамой, а чужие) не

стесняются ругаться при нас матом. А нам запрещено делать это при взрослых, мы ругаемся только между собой.

Вчера весь день шел дождь, и мы начали беситься в палате, потом выскочили на веранду и стали беситься еще сильнее. Тут кто-то увидел нашу нянечку, которая моет полы и крикнул: «Рёбья! Давайте для тетки Даши споем песню про Садко!» И все начали орать, кроме меня. Мне было стыдно, что мы её совсем не уважаем. Я думал, что она сейчас заплачет и уйдет, а она начала смеяться, как дурочка. Не поймешь этих женщин. Если вы не помните эту поганую песню, я вам её напою.

*Три дня не унимается,
бушует океан.
Как х... в п... болтается
Кораблик по волнам.
В каюте класса первого
Садко, богатый гость,
.....*

Ну что, вспомнили? Эта песня поется на мотив «С утра сидит на озере любитель-рыболов, Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов...», только слова другие. И вот, наши оралы её целый час, потому что она жутко длинная. Тетка Даша не дослушала её до конца и ушла, а наши всё не могли остановиться. Потом про наш отряд написали в стенгазете, что за такие песни надо наказывать зачинщиков, но наши дураки ходили гордые и смеялись — вот какие мы герои!

Я думаю, что это был самый счастливый лагерь в моей жизни. Я участвовал в шашечном турнире и выиграл три партии. И ребята из нашего отряда сказали об этом Виталию Андреевичу, когда мы уже лежали в кроватях. И Виталий Андреевич сказал: «Да здравствует Алик, да скроется тьма!» Тут все засмеялись, а мне было приятно, что я сделал хорошее дело для всего отряда.

Не знаю почему, но после хорошего всегда случается что-то плохое. В родительский день ко мне никто не приехал, а незнакомая женщина передала мне большое яблоко, немного конфет и письмо от мамы. Мама писала, что она не может приехать из-за болезни. После родительского дня я каждый день вспоминал маму и ждал от неё письма, но не дождался, так как наша смена кончилась. Встречала меня одна бабушка. Папа был, оказывается, в командировке, а мама опять попала в больницу. Виталий

Андреевич поцеловал меня на прощание, и мы поехали с бабушкой домой.

Снова начался учебный год. Все переростки ушли из нашего класса и к нам пришли вместо них обычные ребята. Со мной посадили Олега Хоменко. Он жил в 3-м Лесном переулке в кирпичном многоэтажном доме. У него были изуродованы пальцы на левой руке. Он рассказал мне, что однажды вместе с ребятами они цеплялись сзади за машиной, на которой был такой вертящийся столб, который поднимал и опускал рабочих, меняющих лампы в фонарях. А там так было устроено, что столб состоял из железных труб, которые входили одна в другую. И вот, Олег схватился за столб, а труба стала опускаться внутрь и захватила его пальцы. Ну, его сразу же отвезли в больницу, потому что кровь лилась очень сильно. А пальцев не вернешь.

Хоменко всё время хохочет. Чего ему так весело, я не понимаю. Еще он любит пукать на уроках, когда все шумят, и махать руками в мою сторону, приговаривая: «Нюхай, друг, хлебный дух!» Не знаю, какой он мне друг, но я пригласил его в гости. Вот он пришел, а у нас в гостях был папин троюродный брат дядя Шура. Он всегда шутит, иногда смешно: «Солнце, воздух и вода — ерунда! Щи, каша и еда — это да!» В тот вечер мы играли с ним в шашки, а он играл и приговаривал: «Никогда вам у меня не выиграть, потому что я — мастер по шашкам!» Я понимал, что он шутит, но выиграть не мог, а Хоменко с треском проиграл ему несколько партий. Потом, когда я провожал его, он спросил с таким большим уважением: «Это правда, что твой дядя мастер по шашкам?» Я не стал врать и сказал: «Да ты что! Он просто любит шутить».

У нас сменились все преподаватели. Вместо Олимпиады Осиповны у нас классным руководителем стал Герасимов Борис Иванович. Ужасно противный. Он принес журнал и стал записывать про каждого, как зовут отца и какая у кого национальность. Сначала вроде шло нормально, все вставали и говорили отчество — Михайлович, Ильич, Владимирович, Иванович,... русский, русский, русский, русский... потом дошло до Тольки Кацмана и он сказал: «Давидович» и замолчал. Тогда Герасимов спросил: «А национальность?» И тут Толька ответил: «Еврей». Что тут началось! Все начали хихикать, как будто это была смешная новость. А главное было то, что Толька сам себя называл таким словом, которым они все друг друга называют, если злятся. И Герасимов тоже осклабился.

А следующим евреем по списку шел я, Олег Трастанецкий, а после меня сразу Вовка Трахтман. Но у меня-то еще ничего, потому что я хоть и еврей, но отчество у меня Антонович, а у Вовки — Соломонович! А Герасимов, сволочь, помолчал — и весь класс затих! «А отчество?» — спрашивает. Что Вовке делать? — «Соломонович». Тут все прямо с парт попадали от смеха: «Со-ло-мо-но-вич!» А зубы у Герасимова коричнево-желтые, потому что он курит, и лицо все в рытвинах. Когда смеется, похож на старую облезлую обезьяну. Пока все орали и смеялись, прозвенел звонок, так что до Шендера очередь не дошла, он в конце списка. А когда этот гад, Хоменко вызвал, Олег вскочил так весело и крикнул: «Прокопьевич, хохол!» Тут некоторые тоже засмеялись, но совсем по-другому, по-доброму, потому что хохол и украинец — это одно и то же, и они с русскими народы-братья. А Герасимов показал свои грязные зубы и спросил у Олега: «Что это ты с пальцами сделал?» А Олег сразу перестал смеяться и заплакал, и сказал: «Не спрашивайте меня об этом.»

Я чуть не бросил школу, потому что Генка Шматко после того цирка, который устроил Герасимов, совсем озверел и стал приставать ко мне каждый день, приговаривая, что одного жиды он обязательно убьет, пусть, мол, его после хоть в тюрьму сажают. Он стал доводить меня до слез каждый день и не то, чтобы избивал до синяков, нет, но просто доводил меня. И никто из преподавателей за меня не заступался. Вчера, например, Эвелина Николаевна писала во время большой перемены на доске. Я сидел в классе, чтобы Шматко ко мне не приставал, а он пришел в класс и снова полез ко мне. Я просил Эвелину Николаевну: «Скажите Шматко, чтобы он ко мне не приставал», а она мне ответила, что ничего не может сделать, и от этого Шматко совсем обнаглел и сильно стукнул меня по голове несколько раз. Потом начался урок, а я всё плакал и не мог успокоиться, а потом начал реветь громко на весь класс, и все стали надо мной смеяться. И учительница выгнала меня в коридор, чтобы я не мешал вести урок. А я оставил портфель в классе и ушел домой. Дома я сказал, что больше в школу не пойду, потому что Шматко меня бьет и грозиться убить за то, что я еврей. Папа расспросил меня обо всем и пошел разговаривать в школу. С кем он говорил, я не знаю, но только на следующий день Шматко вызвали к завучихе и когда он вернулся в класс, то показал мне кулак и сказал, что теперь он меня точно убьет. И я сидел, и не мог учиться, потому что боялся конца урока.

А когда прозвенел звонок, я вышел быстрее всех и побежал на другой этаж, а когда спускался, то увидел моего папу, который разговаривал с директором, и директор протянул папе руку и папа ушел на работу. Потом я видел, что директор спустился на наш этаж, вызвал Шматко и увел его к себе. Его не было весь урок, а на перемене он ко мне подошел и сказал, что он теперь будет за меня заступаться и чтобы мы пошли вместе к директору и сказали, что мы с ним теперь будем друзьями.

Я всё думал после этого, что же такое папа сказал директору... Всё-таки хорошо быть таким смелым и сильным, как папа. Ему, наверное, стыдно за меня, что я такой трус. Тут я вспомнил, как собралась куча ребят напротив наших окон и с ними молодой дядька. И они стали кричать: «Еврей, покажись из дверей!» А папа был дома. Он вышел из парадного и подошел к тому дядьке. Я не слышал, что папа ему сказал, только тот дядька ударил папу носком ботинка в ногу, а папа тут же ударил его ногой в ответ. И, видно, тот сразу понял, что папа может его здорово отдубасить, и ушел с ребятами с улицы.

Неожиданно в нашей семье случилось большое несчастье. Всё началось с того, что папа пришел с работы и после ужина лег спать. А мама за день до этого с ним поругалась, потому что они никуда не ходят и нигде не бывают. И вот она решила без него пойти в кино с теткой Лизой. И ей нужны были мелкие деньги. Она пошла в коридор, где у нас висели пальто, и когда полезла в карман папиного пальто, нашла фотопленку. Она стала её смотреть, а потом позвала тетку Лизу и они вдвоем в коридоре стали её смотреть. Я слышал только слова «голая женщина». Потом мама пошла в комнату, разбудила папу, показала ему пленку, но не отдала и сказала: «Я иду с Лизой в кино, а когда вернусь, ты мне объяснишь, кто это снят на пленке! Если объяснений не будет, то чтобы духу твоего в доме не было!» Хлопнула дверь. Папа сел на диване и вид у него был, будто его «пыльным мешком из-за угла стукнули по башке». Тут до меня дошло, что мама его выгоняет из дома, и мне стало страшно, как же мы без него останемся.

Я вертелся возле него, и он предложил мне сыграть с ним в шахматы. Я без охоты расставил фигуры, и мы начали играть, но видно было, что ему не до меня. Несколько раз я начинал хныкать: «Пап, чего мама кричала?» А он мне отвечал, глядя на доску: «Не волнуйся, она не будет кричать». Потом он сказал, что он сыграл

партию со мной в другой раз, и стал собирать свой портфель. Тут выползла бабушка из своей комнаты и стала его спрашивать, как же такое случилось, что он собирается уходить, а он сказал, что он болен и в таких условиях ему тяжело жить. Он ушел за полчаса до прихода мамы, а я лег спать и быстро заснул.

Сначала мне казалось, что мы не сможем жить без папы, но выяснилось, что без него даже лучше. Теперь на меня никто не кричал и не стучал ладонью по столу, когда я не понимал задачу. Мама всем рассказывала, что папа не сам ушел, а *она его выгнала!* А потом, когда пришли папины родственники Богановские, мама стала рассказывать, про ту женщину, из-за которой он ушел от нас. Мама встретила её бывшего мужа и он сказал маме, что эта женщина с восемнадцати лет занималась проституцией. А потом он сказал маме, что она такая красивая, и он не понимает, как можно было уйти к этой жабе... И тут мама заплакала и обняла меня, а тетя Шура сказала, чтобы она не плакала и что её красоту никто не отнимет.

А потом маму вызывали в суд, и папа сказал, что мама не хотела ему родить еще одного ребенка. А потом, после суда мама спросила его, как ему не стыдно, ведь он никогда её об этом не просил. А он сказал, что так говорить его научил адвокат. Но самый позор был, когда в газете «Вечерняя Москва» было напечатано объявление, что Антон Маркович Трастанецкий разводится с Софьей Иосифовной Трастанецкой. Я страшно боялся, что кто-нибудь из нашего класса случайно прочтет эту газету и опозорит меня перед всеми. Но мне ужасно повезло — никто ничего не знал. Правда, знакомые нашей семьи говорили, что объявление они читали.

В субботу мама получили по почте письмо со сберкнижкой. Я посмотрел в неё и увидел, что папа перевел нам пятнадцать тысяч рублей. «Ого-го! — закричал я от радости, — какой мой папа добрый!» Но тетка Лиза сказала: «Прочти повнимательней!» И когда я прочел повнимательней, то увидел, что после ста пятидесяти стояла крошечная точка, а два нуля были для копеек... Тут мне стало так кисло, что я убежал скорей гулять, чтобы не заплакать.

Ко всему человек привыкает, как сказала бабушка. Я лично очень быстро привык, мне даже лучше стало. Никто не занимает комнату чертежной доской. Даже веселее стало, потому что стали приходить разные мужчины. Однажды пришли двое военных. Очень весело говорили и смеялись. Потом один из них стал

показывать карточные фокусы. Он взял колоду и стал её тихонько крутить между пальцами и вдруг я увидел, как из колоды получается очень красивое колесо да оно еще и винтом закручивается. Я тоже попробовал, но у меня сорвалась рука, и я нечаянно стукнул этого дядьку прямо по подбородку, и испугался, но он улыбнулся и сказал, что ему не больно. Потом я быстро научился, как закручивать колоду. А бабушка и тетка Лиза сидели у себя в комнате и нам не мешали, а дедушка был на дежурстве. Он уже тогда не работал на втором часовом заводе, а работал сторожем. И вот, мы так замечательно развлекались и ели вкусные вещи, которые эти двое принесли с собой. А потом один военный лег на мамину кровать, а другому постелили на полу, потому что у нас больше не было места, а я лег на свой диванчик. А утром я проснулся и вижу, что они уже ушли.

Потом приходили еще и другие. Один с длинным злым носом пришел в гости, и они с мамой начали смеяться, и мама меня спросила, хочу ли я, чтобы этот дядька стал моим папой, а я промолчал, потому что он мне не понравился. А понравился мне дядя Федя, который стал к нам ходить очень часто. Он был очень веселый, и мы с ним часто играли. Он был знаком с моим папой еще когда они вместе восстанавливали шахты Донбасса. Потом как-то он приезжал к нам по делу, а мы с Юркой чистили картошку, чтобы нам её поджарили. Я ужас до чего люблю жареную картошку с луком. А дядя Федя посмотрел, как мы чистим, похвалил нас и дал дельный совет, как вырезать глазки.

Дни шли за днями, ничего интересного не было. Я подружился со Славкой Дмитриевым. Они жили в том же доме, где жила наша знакомая Галина Моисеевна Плаксина с дочкой Аней. Тетка Лиза с ней дружила больше всего и рассказывала, что они приехали из Риги еще до войны. А Рига — это столица Латвии. И раньше там правили буржуи. А Плаксина там занималась подпольной революционной работой, расклеивала листовки. Её даже в тюрьму за это посадили. Но потом пришла Красная армия и всех освободила. И её тоже. И вот я у них в гостях познакомился со Славкой. И уже на следующей неделе я стащил у дедушки две сигареты «Кино», такие коротенькие, знаете? Их вообще-то курят с мундштуком. И вот, мы со Славкой спрятались между сараями и покурили эти сигареты. А потом пошли играть к нам домой в карты. Игра называлась «Петух». Нас в неё научил играть дядя Коля, который жил в комнате с Плаксинами, но он не был её мужем, хотя называл её

Кися. Мы со Славкой часто приходили к нему днем после школы и играли с ним на деньги. Он не работает, потому что он инвалид.

Со Славкой мы на деньги не играем, а только тренировались, чтобы в следующий раз выиграть у дяди Коли. И вот, только мы сели играть, как в нашу комнату вошла бабушка и сказала, что от нас пахнет табаком, и что мы курили, и что она всё расскажет маме. А потом она пошла на кухню и всё рассказала соседям, и Настасья Алексанна сказала, что тут ничего не поделаешь, потому что безотцовщина. Кстати, у Славки тоже нет отца.

Потом я Славке показывал диафильмы. У меня их много уже собралось, потому что когда приходят гости с детьми, они часто дарят мне диафильмы. Это почти как кино, а кино я люблю больше всего на свете. Тут пришла мама и дядя Федя. Славка сразу ушел, а я стал приставать к маме, чтобы она мне дала денег на новый диафильм, потому что старые я все давно просмотрел много раз. Мама не хотела мне давать деньги, но потом ей стало неудобно перед дядей Федей, и она дала мне пять рублей. А я хотел еще убежать, пока бабушка не наябедничала, что мы курили. Тогда мне ни за что бы денег не дали. И вот, пришел я в магазин и стал смотреть на витрину, какие у них есть новые диафильмы, а какой-то шкет стал ко мне тереться, — ему, мол, тоже надо туда смотреть. В общем, он терся-терся и, наконец, ушел. Тогда я спокойно высмотрел себе новый диафильм про Цурюпу и пошел платить в кассу три рубля сорок две копейки. Сунул руку в карман пальто — а там ничего нет. Тогда я обшарил все другие карманы и тоже ничего не нашел. Тут я понял, что тот шкет у меня украл пять рублей. Пошел я домой в самом плохом настроении. Пришел и рассказал, что меня обокрали. Мама очень расстроилась, потому что денег у нас всегда было мало. Она, наверное, думала еще купить хлеба на сдачу, и вот — все пропало.

Но через неделю жизнь переменилась к лучшему. Мама пришла веселая и спросила меня, нравится ли мне дядя Федя. Я сказал, что очень нравится. А хотел бы я, чтобы дядя Федя стал моим папой? Я сказал, что хотел бы. И правда, мне надоело жить без мужчины в семье. Дедушка не в счет. Они живут в другой комнате. И дядя Федя скоро переехал к нам и уже не уезжал.

Дядя Федя зарабатывает куда больше папы, и я это сразу почувствовал, потому что на завтрак у нас теперь всегда были бутерброды с моей любимой любительской колбасой или с сыром. Мама тоже повеселела, а бабушка и дедушка просто полюбили

дядю Федю, как родного. Но тут у нас произошел позорный случай. Пришла к нам какая-то незнакомая женщина, и мама вышла из дома, и они долго гуляли с ней по улице. О чем они говорили, я не знаю. Но вот, однажды мы сидели с дядей Федей в нашей комнате и проявляли фотографии при красном свете, а он сидел в кальсонах и нижней рубашке, чтобы не испачкать брюки проявителем. И вдруг раздался звонок, и снова пришла эта женщина. Мы зажгли свет, а эта женщина подошла к маме, ударила её по щеке и сказала: «Ах ты, проститутка!» Тут мама попыталась дать ей сдачи, но у неё ничего не вышло, потому что эта женщина была сильнее. А тут дедушка вышел в нашу комнату в белых кальсонах и громко сказал: «Не смей трогать мою дочь!» и ударил её в плечо, но, наверное, совсем не больно, потому что она на него обернулась и удивленно посмотрела — что это за старичок такой выполз! Тут дядя Федя уже успел надеть брюки и увел её на улицу. А бабушка спросила маму: «Это кто же? Его жена?» А мама сказала: «Она ему не жена, а сожительница! Они не расписаны!» Что сказал дядя Федя той женщине, никто не знает, но она больше к нам не приходила. Помню только, что уходя, она крикнула маме: «Жидовка!» Ну что тут поделать, если мы действительно евреи, хотя даже самим себе в этом не признаемся. И вот что непонятно. Язык у нас русский. Ни в какого бога мы не верим, правда, дедушка иногда ходит в синагогу. Как же все остальные догадываются, что мы евреи! Неужели только по фамилии? Значит, если поменять фамилию, то можно стать кем угодно? Так?

Мама очень любит покупать разные вкусные вещи. Вчера она принесла двести граммов осетрины. Богачи, наверное, едят её каждый день. Но я не о том. Я сидел и читал «Овода». Книжка ничего себе, местами читать интересно. Тут мама мне принесла вкуснейший бутерброд с кусочком осетрины и спросила, что я читаю, а потом сказала, что плакала, когда читала про Овода. И я (такой притвора!) тут же начал изображать, что плачу от жалости к Оводу, и при этом ел бутерброд. А потом мне стало так стыдно и противно, что я притворялся, а мама поверила. И я потом подошел к зеркалу и стукнул себя по щеке изо всей силы, и мне стало легче. И я еще мало себе задал! Потому что вспомнил, как врал ребятам в лагере, будто был на шахматном матче между Ботвинником и Бронштейном и что они передвигают фигуры специальными кнопочками. И ребята быстро раскусили меня и стали насмехаться,

а меня взяла тогда досада, что я даже соврать не могу, как следует. А видел-то я на самом деле в киножурнале, как помощники на больших вертикальных досках переставляют большие плоские фигуры, когда ход сделан. Что бы мне тогда и рассказать ребятам, *что я действительно видел!*

Теперь-то я понимаю, что значит получать много денег. Мы едем на юг, в Сочи. Тетя Мара с дядей Ёсей и Эдиком уже там отдыхают, они прислали письмо. Правда, перед поездкой на юг меня услали в лагерь от дяди Феdinой работы. Лагерь очень богатый, но мне с ребятами было совсем не так хорошо, хотя никто меня не бил и даже не придирался. Не знаю, может быть, я очень устал от школы. Я получил похвальную грамоту с Лениным и Сталиным за шестой класс. Это была моя вторая похвальная грамота. Я был так счастлив, что помчался бегом с моим новым приятелем Славкой Ильичевым к нам домой и не заметил, как полетел, ободрал в кровь колени и локти и испачкал рубашку и штаны, но грамоту спас. Потом мама меня всего перемазала йодом, а на грамоту даже не взглянула. А Славка, паразит, потом мне признался, что он мне подставил ногу. Странный он пацан, скажу я вам. С одной стороны, он мне вроде бы товарищ, а с другой — начинает надираться и говорит: «Давай стыкнемся!» А я ведь ужас до чего боюсь драться!

Вот до чего доводит болтовня. Говорил про юг, а закончил черт знает чем... Сели мы в поезд, который шел очень медленно, потому что он был дополнительный. Мама всё повторяла, что она мечтала поехать в цельно-металлическом вагоне, а это, мол, вообще дореволюционный, деревянный. Короче — мы опоздали на шесть часов, вылезли грязные, как черти, потому что поезд очень дымил, а тетя Мара уже отчаялась нас встретить. С вокзала мы сразу поехали к ним домой, они жили в Новом Сочи. Там они нас познакомили с хозяином дома по фамилии Заяц. Дядя Федя заплатил ему, и мы все вошли в нашу комнату, где будем жить почти месяц. Прежде всего, мы все побежали к морю, потому что ради него мы и приехали. Я видел по дороге деревья грецкого ореха и инжира и перепутавшиеся с ними лианы. Раньше я лианы видел только в фильме про Тарзана.

Я в последнем лагере чуточку научился плавать, проплывал метра два, но это мне пригодилось, потому что в море я сразу поплыл. Мама сказала, что морская вода тяжелее, чем речная и поэтому легче плавать. Вот чего я не научился, так это закрывать

рот, когда плывешь. Не понимаю, почему хорошее никогда не обходится без плохого. Не прошло и недели, как я полез купаться и наглотался морской воды столько, что меня рвало вечером. Кроме того, у меня вылез ужасный фурункул на ноге. Сначала это было такое красное место, очень горячее и болезненное, а потом там появилась такая противная бело-зеленая головка. Я все время ходил с мазью Вишневского, и купаться мне запрещали. Потом эта дрянь лопнула, и мама вытащила стержень фурункула из моей ноги. Он был похож на зеленую соплю, только тверже. Потом я еще три дня не купался, чтобы эта зараза не появилась в другом месте.

Чего я не люблю, так это ездить по жаре в город и стоять на солнце в очереди в столовую. Потомходишь в эту столовую, а там еще жарче, и не хочется ничего есть. То ли дело утром на пляже! Мама берет с собой помидоры, сыр, шпроты, хлеб с маслом и сок. Праздник! Едим в прохладе до отвала. Вчера поехали в город, шли по улице. Там пальмы растут и большие красные цветы, канны называются. И мама всю дорогу мне твердила: Алик, смотри как красиво, Алик, смотри, как красиво. Потом пришли в ботанический сад. Правда, там есть что посмотреть, но под брюками прямо вода хлюпает — так жарко! И рубашка противно потная, и пить все время хочется. Когда буду взрослым и поеду в Сочи, то уж конечно не в августе, как сейчас.

Вы можете мне не верить, но я опять чуть не утонул. Мама любит ходить очень медленно и болтать всякие глупости с мужчинами. Поэтому я побежал к морю на наше место и тут же бросился в волны. Я ведь уже плаваю! Но все-таки я люблю проплыть немного и стать на дно ногами. Я пока боюсь плавать на глубину. Мне сказали, что у пловцов судорога иногда сводит ноги в воде и они тонут. А у меня бывает, что в воде начинает сводить пальцы на ногах, и я ужасно пугаюсь и сразу пробую ногой дно. Ну вот, я кинулся в волны и поплыл, и, наверное, отплыл слишком далеко. Стал пробовать дно ногой и ушел под воду. И тут я от страха забыл, что умею плавать. Я знал только, что нельзя открывать рот и нос и глаза. И вот, я стал колотить руками и ногами, а вода все равно надо мной переливается, я слышу, как она булькает сверху. И у меня уже стал кончатся запас воздуха, и я раскинул руки и застонал, и в ту же секунду я почувствовал, как мои ноги коснулись дна, и вода была мне по грудь. Я открыл глаза и увидел тетю Мару. Она стояла прямо напротив меня. Я и виду не подал, что только что тонул. Мне было бы стыдно перед ней признаться. Она

такая красивая, что весь пляж ходит на неё смотреть. Мама тоже красивая, но у неё очень белое тело в родинках и без мускулов, а тетя Мара загорелая и вся словно сделана из шоколада. Мне даже кажется, что она на вкус сладкая, но я ни за что не отважился бы её полизать. Если Эдик узнает мои мысли, он начнет хохотать, как сумасшедший, на весь город. Тут мы вместе переодевали трусы после моря, и Эдик посмотрел на мою пипиську, и стал хохотать и показывать пальцем, и мне было очень стыдно, потому что в воде она стала совсем крошечная. Что мне сделать, чтобы она выросла, прямо не знаю. И в лагере некоторые ребята подходили ко мне в бане и спрашивали, как же жениться будешь? Ну почему я такой несчастный! Если уж я родился евреем, то хоть в остальном был бы, как все! Нельзя же, чтобы одному человеку родители дали всё: и русскую национальность, и всё остальное, а другому ничего, вообще ничего! К черту мою похвальную грамоту, все эти дурацкие пятерки, мамины поцелуи и сюсюканье. Я хочу быть как все, жить без стыда. Не хочу быть маменькиным сынком, хочу драться и чтобы меня боялись.

Опять чуть не утонул. Теперь уж по серьёзному. Помню только, что лежал на солнце, потом пошел в море, а дядя Федя уже там был. Что потом было, не знаю, только очнулся я, когда дядя Федя меня за руку вытащил и сердито сказал, чтобы я шел в тень отдыхать. Оказывается, я у него на глазах упал и скрылся под водой... Жалко, что я не утонул! Всё равно ничего хорошего меня в жизни не ожидает. Я сидел в тени и представлял себе, как мама горько плачет надо мной, а дядя Федя прижимает её к себе, чтобы она не упала. Потом я увидел раскрытую пачку папирос «Казбек» и вытащил две штуки — одну мне, а другую Эдику, и настроение у меня улучшилось. Сегодня вечером мы будем с ним курить.

Приехал я загорелый, но вырос мало. Немухин, который стал выше меня на голову сказал: «Что ж ты так мало подрос?» А Толька Кацман из нашего класса стал таким крепким. Он почувствовал свою силу и стал ко мне надираться с первых дней. Я пытался с ним справиться, но он легко меня припер к стене и больно стукнул кулаком под ребра. И тут я вместо того, чтобы дать ему как следует, разревелся, как маленький. Я ревел и кричал ему, что я его убью, что я его на клочки порву. Он смотрел на меня с удивлением, как на сопливого дурака, а потом махнул рукой и

ушел, а я остался со своими соплями и ревом, и жаждой мести. Значит теперь не только Шматко, но и Кацман могут меня бить и мучить! А Кацман, испробовав на мне свою силу, полез к Эдику Смирнову («Прищичу»). Тот тоже остался хилым, как я. Эдик пытался с Толькой подраться, но крепко получил в морду, заплакал и ушел, пригрозив Тольке, что быть ему битым. И действительно, когда Кацман вышел из школы, к нему подошел Самурай и, ни слова не говоря, так врезал Тольке, что тот чуть не окосел. Я сам видел. А ведь Самурай был не выше и не сильнее Тольки! Но на следующий день Толька подошел к Эдику, размахнулся и дал ему под глаз, добавив: «Удар за удар!» И Эдик больше Самураю не жаловался, хотя и пригрозил Тольке, что убьет его камнем из-за угла. Вот так начался новый учебный год.

Я закончил четверть с одной четверкой по русскому языку, а все остальные — пятерки. Дядя Федя сказал при маме: «Молодец! Так держать!» И мама всем кругом рассказала, что я буду круглый отличник и снова получу похвальную грамоту, как в прошлом году. Потом началась вторая четверть. Пришли к нам мамины знакомые. Тетя Клава с мамой когда-то вместе училась в институте. Её муж, дядя Миша очень приятный и милый человек. Играл со мной в шашки и удивился, как я хорошо играю. И тут вдруг по радио передали, что арестована группа врачей-вредителей, которая уморила товарища Жданова и хотела отправить на тот свет других членов правительства, но их разоблачила доктор Тимашук. Дядя Миша так расстроился, что они сразу ушли домой.

На лестнице в школе на меня накинулся Генка Шматко: «Ты за что, сука, убил Жданова?». «Ты что, сдурел?» — до меня как-то не дошло, что в этом виноваты все евреи, потому что среди арестованных было несколько русских фамилий. Тут Шматко увидел поднимающегося Трахтмана и пристал к нему с тем же вопросом. В классе была настоящая кутерьма, все орало как во время праздника, но орало весело, и никто к нам с кулаками не лез. Но что интересно: когда пришла в класс наша химичка, весь класс стал ей задавать вопросы про врачей, а она совсем забыла про химию и весь урок отвечала с большим удовольствием. И даже после звонка не ушла в учительскую, а еще стояла в коридоре и разговаривала с нашими. А мы, пятеро евреев, сидели в классе и молчали. Нам бы, дуракам, выйти и побегать и сделать вид, что нам наплевать, а так получалось, что мы чувствуем свою вину перед русскими и ждем наказания.

А через день вот что было. Вовка Трахтман, который у нас был почти отличником, подошел после урока химии и сунул свой нос в журнал, чтобы посмотреть, что у него стоит за контрольную. А химичка, которая была злая на всех евреев вместе взятых развернулась и дала ему по сопатке да так, что у него кровь пошла носом. Вы же не видели нашу химичку! В ней килограммов сто, морда накрашена, губы, как у клоуна, красные-красные. А Вовка такой маленький, он пошел в школу с шести лет... Но эта гадина не знала, что Вовкин отец работает начальником Московского телеграфа. И его отец сделал так, что её уволили из школы в один день.

Самое интересное, что случилось в нашей жизни, это, конечно, смерть Сталина. Сначала Левитан сказал, что Сталин очень серьезно заболел. Потом я услышал слово коллапс и спросил у мамы, что это такое. Она сказала, что это означает, что Сталин умирает и его уже не вылечишь. Потом передали, что он умер. Все кругом думали, что сейчас же наши враги на нас нападут, потому что мы остались без вождя. Но ничего такого не произошло. У нас в школе была выстроена траурная линейка. Вовка Иванов, наш круглый отличник плакал, я видел у него на кончике носа каплю. Завучиха Марья Васильевна тоже плакала. Она, кстати, очень добрая. Я помню, мы со Славкой готовились к выступлениям к празднику 1 мая и читали стихи. У меня было стихотворение, которое кончалось словами: «И первого, кому мы рукоплещем, мы называем *Русский человек!*» И Марья Васильевна шепталась с учительницей литературы, что читать его нужно не мне, а Славке, потому что он русский. И я подумал, что она права. А еще, когда я только вступил в пионеры, я на утреннике сочинил рассказ, как наши били немцев. Что я плел тогда, я уже не помню, но мне очень все хлопали, а Марья Васильевна сказала громко, на весь класс: «Где ты прочел такой замечательный рассказ?» И мне, конечно, было стыдно признаться, что я его сам сляпал. А за мной тогда увязался Свиридов, который мне кричал: «Ты, гад, сам сочинил этот рассказ! Слушайте, он сам его сочинил, гад!»

Ну, так вот. Взрослые почти все плакали, и наш физик, который надел даже орден Ленина, тоже слезился. А Генка Шматко кривлялся и тыкал острым карандашом всех в задницу, и все на него смотрели, как на больного. Разве можно в *таких случаях* баловаться! Потом нас отпустили домой. Я пришел, поел и зашел к Витьке Скопинцеву. Там я зачем-то соврал, что мама и бабушка

плачут по Сталину. А мама Витьки совсем не плакала и, по-моему, рассердилась на меня, потому что не поверила. У неё недавно родился второй сын Алешка, и, видно, ей было не до того.

А вечером я вышел на улицу Горького и смотрел, как шеренга за шеренгой люди бежали в центр посмотреть последний раз на Сталина. Я-то лично видел его живым, когда дядя Федя взял меня с собой на парад. Мы стояли как раз напротив мавзолея через Красную площадь, но я видел довольно плохо, потому что было очень далеко, и даже очки мне не помогли. Все сразу закричали и захлопали, и в тот же момент я увидел на мавзолее Сталина в серо-голубой шинели. Мы так долго стояли, что потом, когда пошли домой, у меня ноги совсем затекли.

А вечером я подслушал разговор, где мама спрашивала дядю Федю, действительно ли он хочет ребенка, и он сказал, что да, хочет. Тут мама вспомнила, что у неё больное сердце, но врачи не запретят ей рожать, и потому она согласна. И тут мне стало так нехорошо, что не могу передать словами. Я подумал, что мама обязательно умрет, когда будет рожать. И я даже застонал, а они подошли к моему диванчику и стали меня спрашивать, что со мной, но я притворился спящим.

Прошло два месяца, и вдруг Ворошилов прочел по радио, что врачи-вредители ни в чем не виноваты. А в это время у нас как раз сидели тетя Клава и дядя Миша. И дядя Миша начал плакать. Мне даже странным показалось. Радоваться надо, а он плачет.

Я закончил седьмой класс всего с одной четверкой по русскому языку. В лагерь меня не послали, потому что мама должна была готовиться к рождению ребенка и дышать свежим воздухом. Нам сдали крошечный фанерный домик на станции Строитель. Гулять было негде, так как всё было засажено клубникой, помидорами, огурцами и всякой травой, а хозяйка, живущая одна в огромном доме, потребовала заранее от моих родителей, чтобы я ничего с грядок не ел. Скажу честно, что удержаться было трудно, но я боялся скандала и ждал, когда хозяйка уедет в город. Тогда я выбирал момент, когда никого не было поблизости, быстро-быстро подбегал к начинающей краснеть клубничине или маленькому огурчику, срывал, клал в рот, и быстро убегал.

Наверное, это было самое лучшее лето за всю мою жизнь. За забором начиналось большое поле, которое кончалось болотиной.

Над водой носились или стояли в воздухе огромные сине-зеленые стрекозы. Хотя они летали с сумасшедшей скоростью, их подводило любопытство. С помощью обычного сачка можно было за пять минут поймать двух гигантов. Мне тогда казалось, что они ужасно добрые. Они так крепко держались своими лапками за палец и даже когда их отпускали, не очень-то спешили взлететь. Я пытался их кормить земляникой, но не заметил, чтобы они её ели. А еще там были оранжевые и серые стрекозы с толстым брюшком. Их легко было ловить прямо ладонью, когда они сидели на траве или сухих сучках. Иногда залетали крошечные стрекозы с крыльями, сделанными из темносинего или темнозеленого бархата и с удивительно красивыми светящимися головками. Друзей у меня там не было, местные ребята пробегали мимо меня, у них были свои дела, а у меня никаких дел не было. Только воды принести и отнести помой, да еще пол помыть.

На мое счастье на соседней даче появился парень Валерка. Они заняли большую веранду и две комнаты. Его мама Лидия Александровна была очень красивой женщиной. Она не работала, потому что её муж очень много получал. Она выходила в сад все время в разных очень красивых халатах. Мы очень быстро познакомились, хотя в гости друг к другу не ходили. Валерка закончил восьмой класс. Он был очень высоким, жилистым можно было подумать, что ему семнадцать лет. Кроме того, он был спортивным. У нас там, в Строителе, по вечерам были волейбольные соревнования и он выступал со взрослыми в одной команде. А днем ему было нечего делать. Мама заставляла его читать Бальзака и Драйзера по два часа в день. Он старался сделать это с утра пораньше, а потом я приходил после его завтрака (завтрак у него был огромный, потому что его мама боялась его худобы), мы садились резаться в карты, пока не начинало печь солнце. Тогда мы отправлялись к санаторию. Это был очень богатый санаторий, говорили, что там отдыхают летчики. Сначала мы шли через сосновую рощу. Здесь Валерка доставал две папиросы, и мы начинали курить. Я еще не умел затягиваться, а Валерка уже курил, как взрослый. Потом он садился делать а-а, а перед этим он с удовольствием спускал трусы и любовался своим большим хреном. Я тоже бывало присаживался рядом, вроде бы по делу, потому что стоять и смотреть, как другой гадит, довольно глупо. Валерка видел мой хрен, но не смеялся и не показывал пальцем, как Эдик, а однажды сказал, чтобы я не расстраивался, и что он у меня тоже скоро вырастет.

За это я ему был очень благодарен. Еще он мне сказал, что у меня фигура сильного человека, нужно только, чтобы я свой жир перекачал в мускулы. Да, он мог бы стать моим самым лучшим другом на всю жизнь. А я оказался свиньей. Но об этом позже.

Валерка любил пересказывать книги, и это было замечательно. Нельзя же все лето напролет шлепать картами. Я тоже пытался ему кое-что рассказать, но самое интересное он уже читал. Кроме того, он рассказывал всякие истории из жизни своего класса. Он совершенно не был антисемитом и поэтому, когда он изобразил, как двое из его класса Козлов и Веснин (тот пел с акцентом) пели на два голоса:

К: Смело мы в бой пойдем...

В: И мы за вами...

К: И как один умрем...

В: А мы немного подождем...

Я ничуть не обиделся, мне было даже забавно, даже интересно. Потом он мне рассказывал, что у них в классе есть онанист, который совсем этого не стесняется, наоборот, всем рассказывает, что он чувствует после подъема настроения ужасную слабость. А у нас в школе и во дворе онанизм считается самым позорным грехом и, если кого-нибудь заподозрят, то не отмоешься никогда. Но я не стал с ним об этом говорить, потому что сам был грешен, и я даже помню, что в первый раз это со мной случилось, когда мама кричала, что она умирает от сердца, а я в страхе схватился за..., и он был твердый, как железо. А потом мне стало любопытно, отчего это бывает, и оказалось, что это очень приятное дело — гладить между ног.

Однажды утром Валерка вынес из дома книжку «Самоучитель борьбы самбо». С этого дня мы с ним начали делать упражнения и учить приемы прямо на поле перед нашим домом. Кроме того, у Валерки был трофейный ржавый велосипед, и он предложил мне учиться на нем ездить. Почему-то так получалось, что я ничего не умел в тринадцать лет. Нет, не совсем так. Помню, как мы с дядей Федей кололи дрова у нас во дворе. Я научился орудовать топором еще раньше и для меня колоть поленья было удовольствием. Вдруг к нам подскочила тетка из соседнего дома и сказала про меня, что она долго смотрела на мою работу и восхищается моей ловкостью. Но этим не похвастаешь. Все скажут, что умеют колоть дрова. А вот применить прием самбо! Эх, если бы я умел, я бы всех

своих обидчиков наказал. А то я лежу ночью и вспоминаю свои обиды и мечтаю их всех мучить, довести их до слез, чтобы ревели в голос!

После занятий самбо мы часто лежали на траве и я ему рассказывал разные странные штуки, которые слышал из радиоспектаклей. Память-то у меня до сих пор — ого-го! И рассказал я ему, что в светском обществе, если что-то тебя не устраивает, надо сказать: «Я, кажется, здесь лишний!» и, не дожидаясь ответа, с достоинством удалиться. И эта проклятая, глупая фраза Валерке очень понравилась. Потом прошло еще много дней, я уже начал кататься на его велосипеде, но еще попадал в неловкие положения — то въеду в колючую проволоку, натянутую вокруг картофельных грядок, и упаду там, то поскользнусь в луже, ну, сами знаете... А мы уже не очень-то занимались самбо, потому что я был намного слабее Валерки, и ему было неинтересно меня все время побеждать. И вдруг примкнул к нам какой-то парень, Витька, неизвестно откуда он взялся. И стал с нами играть в карты и болтать всякую чепуху. А Валерке он был интересен, потому что был на год его старше. И я почувствовал, что я больше Валерке уже не главный друг, и мне было очень обидно. Однажды мы ходили к колодцу, и Валерка сказал, что мы изучали приемы самбо. А Витька сказал, что он тоже может показать прием. Я видел, что он хочет его продемонстрировать на мне, и сразу забыл все уроки самбо, встал, как пень, и напрягся всем телом. И Витька кинул меня, как головешку, а я даже не понял, что он со мной сделал. Я поднялся и ушел к себе. Потом, наверное, через час Валерка пришел к нам на участок, а я на него и не посмотрел. Он начал говорить, а я не ответил. Тогда он спросил меня: «Я, кажется, здесь лишний?» И я ответил: «Не кажется!». И он ушел, и мы с ним больше никогда не разговаривали. Что же я наделал! А моя мама и его мама — они просто глупые курицы. Я, может быть, потерял самого лучшего друга на всю жизнь. Неужели они не могли нас помирить!

Увидев, как я тоскую, мама упростила дядю Федю купить мне велосипед. И мы поехали в Москву, и дядя Федя отдал целых 620 рублей за велосипед «Дорожный». Мы привезли его на дачу, и я всё время с ним возился, протирал его, смазывал втулки, потом начал осваивать. У него был первоклассный ножной тормоз. Я катался один по улицам нашего поселка и старался не думать о Валерке. А мама сказала, что она видела, как Валерка сидел на крыльце и смотрел, как я вожусь с велосипедом, и, видно было, что ему

хотелось подойти, но он был оскорблен и, наверное, ждал с моей стороны первого шага. А я ведь еще не рассказал, какой он был талантливый. У него был потрясающий баритон! Он не любил им хвастать, и я случайно об этом узнал, когда Лидия Александровна упросила его спеть арию Ивана Сусанина и эпиталаму Гименея за два стакана вишневого компота. И он встал у стола на веранде и запел. Наверное, на станции было слышно! Потом он сказал мне, что иногда он дома пел, а потом во дворе люди аплодировали...

Потом как-то быстро получилось, что они уехали в Москву, когда я опять отправился на новом велосипеде кататься, так что они попрощались с мамой, и я потерял последний свой шанс продолжить дружбу.

* * *

Наверное, что-то со мной случилось. Я ужасно поглупел. Нет, сначала мама сказала, что хватит нам всем иметь разную фамилию. У нас семья. Но ведь дядя Федя русский, а я еврей. Как же я стану носить его фамилию? Но мама крикнула мне:

— Дурак! Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал! Мы подали документы на отцовство, и ты будешь официально его сыном. Ты уже шесть лет сидишь у него на шее, ешь и пьешь и получаешь в подарок велосипеды, и у тебя хватает совести после этого называть его дядя Федя, а не папа.

— А как же мой папа? — спросил я.

— Антон от тебя официально отказался. Без этого мы не могли бы подать на отцовство.

— Почему же вы меня об этом не предупредили? — спросил я.

— Ты что, совсем дурачок, или прикидываешься? Я тебе русским языком объясняю: твой бывший папа от тебя отказался, никто его силой не заставлял!

И тут я заставил себя поверить маме, потому что мне стало страшно. Я читал разные истории и сказки, как обращались с детьми отчимы. Я вспомнил Давида Копперфилда и похолодел. Нет, дядя Федя, конечно, не такой. И потом, это было в Англии, а в СССР такое невозможно. Но так как я трус от рождения, я испугался и сказал, что согласен называть дядю Федю папой и быть его сыном, и носить его фамилию.

Дядя Федя очень обрадовался, когда я его назвал папой. Оказалось, что это трудно только в первый раз. Я уже понял, думая о жизни, что всё-всё трудно получается в первый раз, а потом

легче и легче. Перед началом занятий родители пошли в школу и попросили, чтобы меня перевели в соседний класс, так как я буду стесняться новой фамилии.

И вот я с новой фамилией Зубков вошел в двери класса 8 «б» и сел на свободное место в среднем ряду рядом с тощим, как скелет, блондинчиком по фамилии Степе. Наша классная руководительница Серафима Израилевна была учительницей немецкого языка. Она начала выкликать нас по журналу и я, замирая, ждал, когда она скажет «Зубков». И вот она сказала, и я поднялся, а некоторые уже знали меня по старой фамилии и закричали: «А почему он Зубков?» и тогда Серафима просто так объяснила: «Ребята, вашего товарища Олега Трастанецкого усыновил Федор Александрович Зубков. Теперь он по закону считается его сыном и должен носить его фамилию. Есть еще вопросы?» Вопросов не было, и через пять минут уже никто мной не занимался.

Не знаю, что со мной произошло. Я ведь хорошо учился, потом очень хорошо отдохнул летом. И вот, как будто меня сглазили. К нам пришел новый молодой математик Володарский. Он рассказывает доказательства подобия треугольников, а я ничего не понимаю. Потом я прихожу домой, читаю теоремы и снова ничего не понимаю. Потом беру задачки и не могу решить. Потом иду в школу, Володарский вызывает меня к доске, и я получаю двойку! Потом Володарский дает задачки на скорость. Кто первый решит, тот получает пять в журнал. Я так хочу исправить двойку, пишу пропорцию, ничего не понимаю и вдруг слышу голос Шмелькина: «Я решил!» — и Володарский ставит ему пять. А я сижу весь потный и злой на свою тупую голову. Через день Володарский снова меня вызывает (а я-то думал отсидеться, пока проклятые подобные треугольники закончатся), и я снова получаю двойку. Володарский меня предупреждает, что если я получу еще одну двойку, то у меня будет стоять два по геометрии в четверти. Я готов плакать от обиды и злости на самого себя. Я иду домой и ничего мне не хочется. Мама в декретном отпуске. Она меня спрашивает, как мои дела. Я отвечаю, что хорошо. Не спрашивали. Пусть меня пытаются огнем, — я не признаюсь, что хожу в школу за двойками. Потом я иду в нашу уборную, сажусь на корточки на унитаз и дрочу. Мне нравится, как он краснеет, распухает, вылезает из ладони, словно живой. А больше радостей в жизни у меня не осталось.

Почему-то после *этого* у меня просыпается волчий аппетит. Я сметаю всё, что мне дают. Потом я сажусь долбить проклятые

теоремы и тут же начинаю клевать носом. Но мне нужно закрыть мои двойки! Нужно! Я сижу уже два часа и зубрю, потому что понять умом не в состоянии. На следующем занятии Володарский делает милость и ставит мне три с минусом. О предстоящей контрольной я боюсь и думать.

Если бы дело было в одной геометрии! Даже по черчению у меня два. Уж здесь-то чего не уметь! Серафима Израилевна думает, что она меня понимает, что мои неудачи оттого, что у меня новая семья. Она мне сочувствует, но говорит, что нужно взяться за ум (а где он, мой ум?), что она знает, как я замечательно закончил седьмой класс...

Четверть кончилась. У меня пять троек и две двойки в дневнике. Я иду домой и тащу ужасно тяжелый груз. Что я скажу родителям? Звоню. Дверь открывает бабушка и сходу кидается меня целовать. Следом за ней тетка Лиза. Оказывается, пока я отсиживал последний день в школе, маму увезли в родильный дом, и она уже родила девочку. Я с облегчением вздыхаю. Теперь им будет не до меня.

Генка Шматко, узнав, что я теперь Зубков, чуть не лопнул со злости. Он пришел в наш класс и сказал, что не потерпит, чтобы жид прятался за русскую фамилию. Я ему, конечно, ничего не ответил, а когда он подступил ко мне, сказал ему, чтобы он шел на х... И как он ни старался меня задеть, я твердил одно и то же: «Иди от меня на х...!» Каждый день он появлялся на перемене с гаденькой улыбкой на роже и приступал ко мне с одним и тем же, но я тупо посылал его и тем дело кончалось. Ему стало со мной скучно. В нашем классе никто его не поддерживал и постепенно он от меня отлип. Кстати, в моем новом классе было несколько евреев. Первым был гигант Шмелькин. Под два метра ростом и килограммов на сто. Если бы Шматко к нему задрался, то Шмелькин раздавил бы его ногой, как паука. Вторым был Мундингер. Тоже здоровый, как бык. Учился он слабо, сидел тихо, совсем не баловался и не смеялся. Однажды к нему стали надираться двое из соседнего класса. Тоже крупные, сильные парни. Они подобрались к нему с двух сторон и давай его лупить, но тут кто-то из наших крикнул, что двое против одного нечестно и оторвал одного на себя. Тогда Мундя так врезал второму, что тот едва уполз, а второй сам убежал в страхе. А третьим был Юлик Либерман, с которым мы сразу подружились. Он был выше меня на голову и тоже очень

крепким. Еще там был Крейнис, худой и длинноносый. К нему Шматко полез приставать, но Крейнис только улыбался, что ему Шматко ни говорил. Я видел, что Крейнис тоже боится Шматко, значит, я был не самый последний трус. Кстати, Шматко за лето очень поздоровел. У него стали такие толстые, мощные руки. А морда стала совсем наглая, с глазами, как у снулой рыбы. Ему даже свои дали кличку «рыбий глаз».

Однажды мы стояли с Юликом на лестнице, а Шматко увидел нас и стал приставать к Юлику, напевая: «Юльчик, Юльчик, с...л на стульчик...», но Юлик даже не шевельнулся, а смотрел на него, как на надоедливую муху. И что-то было в Юлике такое, что Шматко покрутился, покрутился возле него и отпал. Уж очень Юлик был для него здоров. У Юлика шея была, как у борца и кулачищи размером с дыню «Колхозницу», видели такую на базаре? Я спросил у Юлика, отчего он такой мощный, а он ответил, что уже два года каждый день два часа работает с гантелями. Вот он секрет силы! А я — придурок, который даже для своей безопасности не может себя заставить заниматься спортом. Так мне и надо! Еще мало меня-лентяя били.

Во второй четверти мы стали готовиться к приему в комсомол. Это вам не пионерские песни и линейки. Комсомол — это дело серьезное. Я трусил, что меня не примут из-за плохой успеваемости. Мы выстроились перед кабинетом, где обычно сидела дежурная медсестра. Там сейчас сидели Серафима Израилевна, Володарский и секретарь комсомольской организации школы Путилин. Вызывали по одному. Юлик пошел передо мной и через пять минут вышел, потирая руки с довольным лицом. Ему дали положительную характеристику. Я пошел после него. За столом сидели наши учителя и улыбались друг другу. Я еще подумал, что она очень похожа на пиковую даму с игральной карты. У них было хорошее настроение. Они меня пожурили, что я так плохо закончил четверть, но я пообещал, что исправлюсь, и они мне тоже дали разрешение вступить в комсомол. Через две недели мы пошли в райком, где наш класс проходил еще одну проверку. Там тоже вызывали нас поодиночке. Когда я вошел, одна молодая женщина спросила меня, как я учусь, и я ответил, что хорошо и что у меня четыре четверки и замолчал, а они подумали, что остальные пятерки и похвалили меня. Потом наш класс пошел фотографироваться, мы сдали фото, а еще через две недели каждый

из нас пошел в назначенный день получать комсомольский билет. Я раскрыл билет, а там было написано Олег Федорович Зубков, год рождения 1939, русский. Я тогда еще подумал, что никому из друзей свой билет не покажу, особенно Юлику, чтобы он не стал меня презирать. А я к этому времени очень привязался к Юлику, бывал у него дома, познакомился с его друзьями, которые были детьми музыкантов и сами учились в музыкальной школе.

У меня никогда не было подруг. Однажды, правда, когда я со Славкой пошел в клуб имени Зуева заниматься в кружке народных инструментов, я увидел нескольких девчонок, которые здорово наяривали на домрах-пикколо. И среди них была одна, которую звали Зина, и я в неё влюбился сразу, но никак не мог подойти и заговорить. Только когда руководитель кружка Шестаков выгнал меня (а я оправдывался, что пропускаю занятия из-за комсомольской работы), я на прощание подошел к Зине и заплетающимся языком назначил ей свидание в парке ЦСКА через два месяца. Она улыбнулась и согласилась, но я потом быстро забыл день и час свидания, да и любовь моя прошла. А в компании Юлика были две девчонки — сестра Сашки Штильмана, которую звали Таня, и её подруга и соученица по музыкальному училищу — Мирра. Конечно, они были по сравнению с нами еще шмакодявки, учились в шестом классе, но уже здорово играли на фортепиано. Мы с ними танцевали под пластинки. Особенно мне нравилась пластинка «Быстрый танец» Цфасмана. А Сашка учился на скрипача. Однажды он пришел к нам. И я достал из-под кровати старую скрипку, на которой когда-то играл мой папа Антон. Оказалось, что у неё потерян конек, такая штучка, через которую перетягиваются струны, чтобы не касаться самой скрипки. Я помнил, что он был красиво украшен, и кто-то даже сказал, что он был сделан из слоновой кости. Мне было очень жаль, что он потерялся. Тогда Сашка взял спичечный коробок и перетянул струны через него. Потом он мне и моей маме сыграл песенку «Говорят, не смею я, говорят, не смею я С девушкой пройти в весенний вечер селом...». Мы были очень довольны, потому что никто в нашей семье не умел ни на чем играть. А я, честно говоря, очень любил хорошую музыку и знаете почему? Потому что мой бывший папа, когда приносил домой халтуру и чертил, то всегда очень красиво свистел разные вальсы, марши и арии из опер. Я тоже мог свистеть, но не так красиво, иногда пел. Даже тетка Лиза меня иногда хвалила. Правда, однажды я ей спел «Я помню чудное мгновенье...»

и ей ужасно не понравилось, да я и сам понимал, что я не пою, а слабо-слабо так BLEЮ.

Ну вот. В общем, эти девчонки были совсем не то, что мне было нужно. У нас в классе я подружился еще с Толькой Черновым. И мы изголялись, как могли над русской поэзией. «И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская п... рождать», «Кричали женщины *Ура* и в воздух трусики бросали», «П... пользуют везде, Среди народов и в пустыне, В градском шуму и наедине, В покое сладки и труде...» ну и прочая дребедень, и мы втроем — Юлик, Толька и я хохотали на переменках до упаду.

В начале второй четверти к нам в класс пришла группа ребят из другой школы. Двое переростков-хулиганов Акимов и Кирпичев и двое обычных ребят: Жуков с длинными, белыми волосиками и Богуславский — вылитый Пушкин-лицеист. Акимова посадили вместе со мной на передней парте. Жуков и Богуславский пристроились за нами, а Кирпичев в дальнем углу за Мундингером. Каждую перемену Акимов с Кирпичевым устраивали возню, но понарошке. Видно было, что они друг друга уважают. На уроках Акимов рассказывал всякие истории про драки и как он имел баб. Мы все слушали, раскрыв рты. Богуславский тоже рассказывал, что у него есть знакомая, которую он и обнимал, и целовал, и лапал, где хотел. В общем, уроки летели незаметно. На химии Жуков пропел: «Мои ботиночки — тово, Пропускают Аш два О. Мои брючки — товэс, Пропускают Аш два Эс». При этом он очень смешно сводил и разводил коленки. Вообще всё, что мы сочиняли, казалось нам необыкновенно смешным. Я, во всяком случае, никогда столько не смеялся, как в восьмом классе.

Володарский ушел от нас в аспирантуру. Вместо него пришел какой-то странный тип, которого все единодушно окрестили Вшивым Гиббоном из-за того, что он носил очень старый и очень замусоленный пиджак и на лице у него красовались невероятно толстые губы. А мы когда-то смотрели фильм «Тарзан» и там обезьяна Чита выворачивала губы и они становились точь-в-точь, как у нашего нового учителя математики. Когда он приходил в класс, многие начинали орать «Вшивый!» и беситься. Он пытался нас перекричать и напугать тем, что он является секретарем партийной организации, и он нам покажет, но мы мало разницы видели в партийном секретаре и секретарше директора, которая сидела перед его кабинетом. Однажды Гиббон подошел к моей парте и склонился над моей тетрадкой, и я увидел его темноглубые, добрые

и беспомощные глаза, и мне так стало его жалко, что я больше никогда не позволял себе беситься в его присутствии.

Не знаю, что произошло с нашей школой, но учителя начали в ней меняться, как картинки в калейдоскопе, — помните такую игрушку, которую продавали сразу после войны по дворам? Тогда еще продавали мячики на резинке и крутилки, которые жужжали. И все это можно было купить за две-три пустых бутылки. К сожалению, в нашей семье вино и водку почти не пили, лимонад считался лакомством на праздник, а рубль двадцать копеек на игрушку мне не давали — нет денег! Только один раз я выпросил у мамы рубль двадцать и купил калейдоскоп, в который смотрел без конца, пока он не упал со стола и не разбился. И я увидел в нем три полосочки стеклянного зеркала, круглое матовое стекло для задней стенки и кучку цветных стекляшек. И всё! А какое богатство, какая красота!

Но когда учителя меняются, как картинки в калейдоскопе, — это уже не учеба, что, впрочем, меня и многих других вполне устраивало.

Историю нам начал преподавать директор. Он был человеком веселым, даже остроумным. Замечательно рассказывал о Наполеоне Бонапарте. Потом вдруг он перестал быть и директором, и историком. Пришел на его место какой-то плешивый с носом пьяницы и стал рассказывать, что у него был знакомый кореец Ким. А сидевший на задней парте Крутиков крикнул: «Кореец Аким!», и все засмеялись, а Акимов повернулся и на весь класс гаркнул: «Я тебе, б... тонконогая, на перемене голову сверну набок!» И этот плешивый директор даже не прикрикнул: «Что ты себе позволяешь на уроке?» Даже не пикнул! В общем, он постоянно нес какую-то нудятину, а мы его не слушали, развлекались, как могли.

Но самым анекдотичным типом был наш физик. Была у нас до него вполне приличная баба, но почему-то тоже быстро ушла. И вот, пришел он, метр с кепкой. Лысый, как противогаз. Я, вроде бы, начал что-то в физике соображать, даже задачки мог решать в Перышкине. А этот разграфил лист бумаги на клеточки и в каждой клеточке написал наши фамилии. И вместо того, чтобы вызывать к доске, решать задачи, показывать опыты, вместо этого стал заставлять отвечать с места. А тут разве услышишь в общем шуме и разговорах, что он там бормочет? И вот, этот гад дважды поднял меня и, не дав собраться с мыслями, дважды вклеил в

мою клеточку двойки. Только этого мне не хватало. Добро бы я не знал материал! Но я знал. И не меньше, чем на четыре! Короче, как началась перемена и вокруг стола столпились одноклассники, я стянул со стола его таблицу (никто и не заметил) скомкал её, сунул в карман, пошел в туалет, разорвал на клочки и спустил воду. Потом вернулся в класс, а там все ищут её, а у Противогаза прямо-таки истерика. «Так тебе и надо, — думаю, — не будешь порядочным людям портить жизнь». На следующий урок по физике мы с Юликом не пошли, решили проветриться. Идем со школы, а Противогаз нам навстречу. Ну, мы кепки надвинули — и мимо него. А он нас и не заметил, пропилил без оглядки. И мы пошли гулять по Лесной улице, тут дождик закапал, мы — в парадное. И вдруг вваливается Шматко с приятелем. «Какая встреча! Кого мы видим! Сбежал с уроков? — Ну, конец света!» А я ему: «Дай закурить!» Шматко от моей наглости аж зашелся в смехе, но мне и Юлику по Беломорине дал. И видно, прошла у него на меня злость. А, может быть, все мы повзрослели, что-то человеческое появилось в зверёнышах... Не знаю.

В Славкином доме на втором этаже жили сестры-близняшки Оля и Таня. Очень даже неплохие девчонки. Они дружили со Славкой, и через него я с ними познакомился. Они тоже учились в восьмом классе и мечтали стать врачами. Они меня однажды пригласили со Славкой на день рождения. Я всё думал, что бы им подарить. Решил попросить денег у мамы на подарок. Мама дала мне десять рублей. Я всё ходил по магазинам и искал, что можно купить на десять рублей. Самые дешевые духи «Кармен» стоили семнадцать. Я попросил у мамы еще семь рублей, а она возмутилась, что для каких-то соплюшек она должна покупать духи, и ничего мне не дала. Тогда я купил бутылку яблочного сидра за восемь рублей двадцать две копейки, вытащил тайком огромный четвертый том Шекспира и надписал: «Оле и Тане ко дню рождения от Алика», засунул вместе с бутылкой в портфель и стал ждать воскресенья, чтобы пойти на праздник. Родители к книжному шкафу почти никогда не подходили, только мама иногда смотрела свои медицинские учебники, которые стояли на второй полке снизу. А Шекспир у нас стоял еще с той поры, когда мы приехали из эвакуации. Там была страшная картина, где жена Макбета во сне бродит по дворцу (как лунатик) и пытается стереть следы крови с рук. Она ведь с мужем убила старого, короля,

который их любил. Помню, что я прочел «Макбета» и другие пьесы, когда был в шестом классе, и мне долго было страшно. Еще я очень боялся после рассказов Гоголя «Вий» и «Страшная месть», всё мне чудились встающие из могил мертвецы.

Хотя я и подружился с сестрами, они мне казались очень скучными, они говорили совершенно одинаковыми голосами, не смеялись и даже не хихикали, и лица у них были как две горошины из одного стручка. О том, чтобы подурачиться и поцеловаться не могло быть и речи. Рядом с ними всегда сидела их мама, а во дворе не поцелуешься. В это время моей сестренке Катьке взяли няньку Тамару, шестнадцатилетнюю девчонку из деревни, потому что маме пора было выходить на работу. Наша комната в двенадцать квадратных метров была самой большой в нашей квартире, но когда Тамара ставила раскладушку, то даже в нашей комнате было негде повернуться. Мама платила Тамаре сто рублей в месяц за то, что она сидела с Катькой и носила её гулять. Когда Тамара вечером раздевалась перед сном, я всегда из-под одеяла старался что-нибудь углядеть, но она всегда гасила свет перед тем, как лечь. Однажды, когда родителей не было дома, а она сидела и качала кроватку с Катькой, я осмелился и схватил её за грудь. Она не могла бросить качать кроватку и потому только прошептала: «Какой ты нахал, Алик! За такие штуки тебя девушки никогда не будут любить». Но мне это было все равно, потому что главное я сделал — осмелился схватить девушку за грудь. Потом я струсил, подумав, что Тамара нажалуется родителям, но она ничего им не сказала. И потом я много раз тискал её, когда никого не было дома, а она, наверное, меня за это ненавидела. Интересно, что ни разу мне не захотелось её поцеловать. Я чувствовал к ней брезгливость, потому что она во сне газовала с очень неприятным запахом. Все-таки, что не говорите, а для пяти человек двенадцать квадратных метров маловато. А уж что у нас на кухне творится, невозможно и передать. Павлик, когда вернулся из армии, вскоре женился и привел жену в их крошечную комнату. Скоро у них родился мальчик. И по всей кухне были развешаны пеленки на веревках. Теперь на кухне у нас готовили одновременно Марильсанна, Настасья Александровна, моя бабушка, моя мама и жена Павлика. Иногда даже стояли в очереди, чтобы помыть руки перед ужином. Раковина ведь одна.

В это время Славка, который учился в соседнем классе (вообще-то он был старше меня на два года, но сидел во втором и

пятом классе), каким-то образом узнал, что в девчачьей школе организуется драмкружок. Он познакомился с училкой по литературе, Надеждой Николаевной и стал туда ходить, потом пригласил и меня. Там был еще один парнишка из другой школы, ну а девчонок была куча — выбирай, кто тебе по душе! Довольно скоро Славке и мне поручили сыграть один из рассказов Чехова, ну знаете, как там фельдшер дерет зуб у дьячка... Мы выучили текст, но я совсем тогда не понимал, что текст надо играть, стоял и бубнил свою роль, а Надежда разозлилась и закричала: «Не стой столбом, Алик, подойди к нему, сядь на него, рви у него зуб, изображай, изображай, потей от натуги!» Тут я понял, что играть на сцене не так уж просто. А Славка, наверное, был прирожденным актером. Он, как вошел в комнату, стал глазами искать икону, чтобы перекреститься, не нашел и перекрестился на бутылку, на которой было написано «карболка». Потом он из картофелины вырезал огромный зуб и вложил его в рот, а я должен был его доставать клещами. А рожа у него, когда он входил, была такая, что я с великим трудом удерживался, чтобы не захохотать, и старался на него не смотреть. В общем, с помощью Надежды мы сделали хорошую пьесу и выступили с ней перед избирателями в клубе Зуева. Скажу честно, в драмкружке было куда интереснее, чем в школе. Вскоре мы приступили к работе над пьесой «Снежок» (так звали негритянского мальчика). Это уже была настоящая пьеса. Мне дали роль белого бизнесмена, расиста, который ненавидел негров. Когда мы разучили пьесу и сыграли несколько раз, Надежда пригласила настоящего режиссера из театра Юного Зрителя (МТЮЗ). Он посмотрел пьесу и всем сделал замечания, а мне досталось больше всех. Он сказал, что я сыграл не преуспевающего, наглого и решительного бизнесмена, а потерявшего надежду на лучшую жизнь безработного. Тут я понял, что мне не суждено стать актером, нет у меня таланта. Кое-как я домучил пьесу, чтобы не подводить коллектив, а потом слинял. Жаль, конечно. Мне там очень понравилась Галка Семенова, такая добрая, улыбчивая, с такими замечательными веснушками вокруг носика.

Славка всегда был ужасным прохиндеем. Про него можно было бы целый роман написать. Чего мы только с ним не проделывали! Даже попали однажды в научный кружок Минералогического музея. Эх, видели бы вы эти минералы! Мои родители даже и не знали, что такое бывает.

Вообще должен сказать, что мои родители — скучнейшие люди. Весь разговор с ними: какие отметки? уроки сделал? И так изо дня в день, свихнуться можно. Хорошо, что сестренка всё время требовала внимания. Мама все время воевала с Тамарой. Однажды Тамара несла сестренку в одеяле на прогулку, поскользнулась на лестнице, упала и выпустила её из рук. В результате у сестренки выскочила гуля на затылке с куриное яйцо. Мама с ней ездила в детскую больницу, но вроде ничего страшного не обнаружили. На следующий день мама прогнала Тамару, и ей пришлось спать у своей подружки, пока она снова нашла работу.

Потом у меня произошло сразу два важных события. Во-первых, умер дедушка, а во-вторых, нам сократили число сдаваемых экзаменов. Вместо восьми — четыре! Я так обрадовался, что прямо расцеловал Славку, когда он мне показал газету. Что же касается дедушки, то мне его, конечно, очень жаль. Он меня любил, когда я был маленьким, катал на трамвае, гулял со мной, рисовал мне картинки, рассказывал всякие старинные украинские анекдоты и истории. Он ведь до революции жил на Украине. Потом я вырос и, вроде бы, мне стало с ним скучно. У меня были товарищи, комсомольские дела, меня интересовали девочки. А он сначала ремонтировал будильники на втором часовом заводе, потом работал ночным сторожем на базе. Когда я спал, он работал, потом он спал, а я учился. Так вот жизнь и текла.

Однажды он собрался на работу и вдруг начал кашлять, да всё сильнее и сильнее. Через час у него начался сердечный приступ и мама побежала на кухню кипятить шприц, чтобы сделать ему укол. Потом приехала скорая и сделала ему еще один укол. А ночью его разбил паралич. Потом три недели мы все ухаживали за ним, но ему становилось всё хуже. Я бегал в аптеку за кислородными подушками, покупал сливки, однажды не удержался и попробовал — очень вкусная штука. Но если человек распадается на глазах, — кишки не работают, гангрена ног, — разве в таком случае сливки с кислородом помогут? Раньше надо было ему помогать! А то мы живем, как буржуи, бутерброды с колбасой и сыром едим каждый день, а дедушка должен был в семьдесят пять лет работать сторожем! Неужели у родителей трехсот рублей не было? Я, конечно, такого сказать маме не мог, боялся.

В день, когда дедушка умер, я вышел подышать свежим воздухом и зашел к Плаксиным. Дяди Коли дома не было, а Галина

Моисеевна и Анька смотрели телевизор. Я пожаловался, что дедушка умер и хотел заплакать, но не получилось, Анька же сказала, чтобы я не горевал, со временем, мол, всё пройдет. Я стал смотреть с ними телевизор (у нас еще своего не было), но почувствовал, что не могу, тошно, когда мужики и бабы кривляются. Попрощался и ушел домой.

На похороны дедушки понаехала куча народу. Я даже не представлял, что все так его любили или уважали. Когда подняли гроб, бабушка закричала: «Уходит! Уходит!», но мама и тетка Лиза строго ей сказали, чтобы она успокоилась, неприлично, мол, так кричать на людях. Бабушка смутилась и замолчала. Я на похороны не поехал. Мест в автобусе было мало, да я и не хотел. Я боюсь кладбища еще с тех времен, когда читал Гоголя. Но меня поразила одна мысль, что вот так живешь, живешь, учишься-мучишься полжизни, а потом хлоп — и умер! Для чего же вся эта бодяга? Кто мне скажет?.. Зачем меня родили? Я что, просил об этом? Мало мне всяких неприятностей, так еще и умирать на закуску! Вроде бы, ввиду неизбежного конца нужно жить на всю катушку, получать удовольствия и, конечно же, не учиться и не работать...

Девчонки, между тем, занимали мой ум. Толька Чернов ходил со своими ребятами со двора на Пушкинскую площадь, где они гонялись за проходящими девчонками и залезали к ним в трусики. Он так вкусно об этом рассказывал, что у меня слюнки потекли, и я попросил его в следующий раз взять и меня. И вот мы отправились довольно большой компанией и вскоре уже шлепались по бульвару, разыскивая девчонок. Тут произошел неприятный случай. Мимо шла шпана с Бронных улиц и среди них один уже взрослый, лет на восемнадцать парень с папиросой и фиксом. Что-то ему показалось или не показалось, но он схватил одного из наших и так весело спросил: «Это ты мне сказал иди — гуляй?». Наш молчал и мы все молчали, а тот, взрослый дал ему кулаком под подбородок, и тот молча пошел считать зубы, а те, смеясь оглянулись на нас, и мы все-все струсили. И они ушли, а мы вскоре вспомнили, зачем сюда прибыли. Мы разбились на небольшие банды, и вдруг мне повезло. Я схватил одну из девчонок, что шла в паре с подругой, и потащил к скамейке. Она запищала, а все кругом стояли и завидовали мне, но тут подскочила её подружка с тяжелым портфелем, и я понял, что сейчас получу по башке. Я выпустил пленницу, и они упорхнули. Но все равно я был в нашей

маленькой банде героем. О наших похождениях стало известно в классе, и Чернова стали звать «спец по трусикам». Я лично радовался, что прозвище влепили не мне.

Вообще-то с девчонками связаны неприятности. Пока мы со Славкой гуляли с сестрами-близняшками, к нам приклеилась девчонка с соседнего двора Анечка. Она была старше нас на класс, уже крутила волосы на бигуди и любила всякие двусмысленности. Из-за этой Анечки однажды к нам прицепился Дронов из ПТУ, потому что она жила в его дворе и, стало быть, принадлежала и ему тоже. Он стал было приставать ко мне «пойдем поговорим, пойдём поговорим», но я послал его несколько раз и никуда, конечно, не пошел. А он побоялся при всех дать мне по морде. Не знал он, какой я трус внутри, а то бы дал и еще как!

Хотя восьмой класс начинался ужасно, к концу года произошло много хороших событий. Я здорово подружился с компанией Юлика. Мне нравилось бывать у них дома. Его мама не была такой занудой, как моя. Она часто пересказывала «театр у микрофона». Я тоже очень любил эти передачи. Они жили в длинной-длинной комнате вчетвером, у Юлика был младший брат Женя, которого он держал в ежовых рукавицах. Мне казалось, что мама побаивается Юлика, но она прежде всего им гордилась. С юмором она рассказывала, как ребята из класса издевались над Юликом, потому что он был неприветливым евреем. И Юлик решил им отомстить. Он начал каждый день делать гимнастику с гантелями и стал очень сильным. Однажды Степе стал на глазах у всех вязаться к Юлику, но Юлик решил, что его час настал. Он так врезал Степе, что маму Юлика вызвали в школу. Она сказала, что у Степе вместо лица был один огромный синяк. Его компания пригрозила, что убьет Юлика. Тогда он перестал ходить в школу. Однажды отец встретил его на улице с портфелем, и тогда стало известно обо всем. В общем, вмешалась дирекция, тары-бары, за это время у друзей Степе злоба прошла, да им еще и не очень-то хотелось отведать пудовых кулаков Юлика. Уж больно он стал здоров для легкой расправы.

Слава богу, кончился наконец восьмой класс. На закуску нам наше правительство разрешило учиться вместе с девчонками в следующем году. Меня перевели в девчачью школу номер 142 совсем рядом с моим домом, Славку перевели тоже. Начались каникулы. Родители сняли дачу на станции Клязьма. Там моя

бабушка готовила обеды и смотрела за сестренкой. Я в это время гонял на еще не старом велосипеде и играл в расшибалку с местными ребятами. Мама приезжала с работы часам к четырем, мы обедали, потом я уходил гулять или помогал принести воды, а к семи часам появлялся папа. Мы ужинали, укладывали спать сестренку, бабушка оставалась мыть посуду, и мы вдвоем иногда гуляли перед темнотой. Интересно, что мне ни разу не захотелось сесть с книжкой, да и местные ребята никогда не читали. На то и каникулы. Сейчас я вспомнил, как в последнем пионерлагере у нас появилась какая-то тетка и начала спрашивать разные вещи, например, как зовут генерального секретаря компартии Албании или кто читал «Овода». Память-то у меня тогда была отменная! Не то, что сейчас! Я ей отвечал быстрее всех, и она меня заприметила. И спросила, читал ли я книжку «Витя Малеев в школе и дома». Я возьми и брякни, что читал, а на самом деле я её в глаза не видел. Она и стала меня спрашивать, как мне понравилось то, как мне понравилось это... А я — ага! угу! да-да... Потом она принесла эту книжку в отряд и стала нам читать вслух и смеяться, где ей казалось смешно... Ну, прямо детский лепет. Книжка для третьего класса. Но не в том дело. Ну почему я соврал? Сказал бы, что не читал и точка! Когда же я излечусь, наконец от вранья, ведь я же и сейчас продолжаю врать!

В том же доме снимает комнату еще одна семья. Его зовут ужасно потешно — Рувим Еханонович. Работает учителем истории в школе. Оказалось — отличный мужик, рассказывает, как со своими десятиклассниками ездил в турпоходы. Получается, что ребята его очень любят, делятся с ним своими планами на будущее. Интересно, что он им такое особенное может рассказать или посоветовать. У меня Новая история вызывает отвращение. То ли дело История древнего мира. Какие имена! Александр Македонский, Юлий Цезарь... А тут — нудятина про союз рабочего класса с крестьянством. Пока союз не наладили, все восстания кончались поражением.

Вчера вечером по радио Марио Дель Монако исполнял разные песни. Мы сидели с Рувимом Еханоновичем и слушали, открыв рты от восхищения. Вот это песни! Вот это голос! *«Надо мной тихо звезды мерцают...»* Я потом весь день пел её про себя. Потом я спросил у Рувима, как его ученики не спотыкаются на его отчестве, а он сказал, что бывает, что и взрослые люди ошибаются.

Однажды уборщица позвала его из учительской: «Херувим Лихоманович, вас к телефону». Я от смеха свалился со скамейки.

У Рувима очень красивая дочка Танька, ей восемь лет, но она выглядит старше. Когда родители уезжают на работу, на даче остаются две бабки, я и моя сестренка с Танькой. Мне очень захотелось поиграть с Танькой во взрослые игры. Я стал за ней гоняться и попытался снять с неё трусики и погладить там, а она возьми и пожалуись моей бабке: «Алик с меня трусы снимает!» Вот несмышлениш, разве такие вещи можно говорить вслух? И тут меня прямо разбил страх — вдруг она об этом расскажет Рувиму! Я ходил и боялся весь день, но, на моё счастье, Танька об этом забыла.

До нашей речки Клязьмы идти было с полчаса. Я иногда ходил туда окунуться, но плавать там было негде — вода по колено. В одном только месте была глубокая промоина, напротив крутого берега. С него почти всегда кто-нибудь нырял с разбега. В жаркие дни приходили и дети, и взрослые хоть как-то освежиться. Однажды я прихожу, смотрю — местная девушка купается. Я тоже полез поплавать на глубине. И вдруг вижу — два здоровенных парня прыгнули в воду, хохочут. Потом подошли с двух сторон к той девушке, взяли её за руки, а свободными руками полезли ей в трусы. Лапают её и ржут. А она заорала так, что, наверное, в Москве стало слышно. И пока они её лапали, она всё орала. У меня от этого зрелища встал, как кол, даже из воды неудобно вылезать. И потом ночью я увидел сон, что я её, сами понимаете, что... Все трусы измарал. Если бы не грязь, с удовольствием смотрел бы такие сны по пять раз в день. Хорошо еще, что к утру трусы высохли, только здорово видно белые пятна на черном. Я потом пошел снова на реку и там эти пятна смылись. Вообще мне непонятно, почему у меня всего две пары трусов, причем одна почти всегда лежит в куче грязного белья и ждет стирки и я ношу вторую пару, пока первую не постирают. Надо бы попросить маму купить мне еще одну пару, но я боюсь, что она спросит: «А зачем?» И что же — я ей расскажу про свои сны? Нет, я такого позора не вынесу. Лучше буду как-нибудь тайком подстирывать, или даже лучше — пойду и возьму грязные трусы из кучи. Вот так, взрослеешь — и появляются совсем новые задачи, и ты сам должен их решать.

Всё лето, которое я провел на даче, меня не покидала мысль, что я идиотничаю и потому в следующем классе буду учиться еще

хуже. Над каждой страницей «Евгения Онегина» я сидел по два часа и мечтал черт знает о чем. Хорошо было Пушкину — пиши себе и пиши, да еще за это денежки получи. А я тут должен читать и мучиться. В общем, я был очень доволен, когда мы, наконец, вернулись в Москву. Мы пошли со Славкой в девчачью школу и увидели себя в списках, я — в девятом «А», а Славка — в девятом «Б».

Так получилось, что моим соседом по парте оказался Левка Ланге. У него черные блестящие волосы и пестро-зеленые блестящие глаза, как будто кто-то его подсвечивает изнутри. А морда в прыщах и, к тому же, он жутко картавит. Я его знал и раньше. Он жил во дворе по Второму Лесному переулку. Я тогда искал коньки, потому что мне надоело гонять по дороге на «снегурках», прикрученных веревками к валенкам. Левка подошел ко мне и спросил: «Ты ищешь коньки?», я ответил: «Ищу». Тогда он сказал: «Пошли в наш сарай». Там он вытащил из бочки с каменным углем пару коньков, которые назывались «Nurmis» (трофейные, что-ли). Он запросил с меня за них семнадцать рублей. Я сбегал домой, получил от папы Феди денежки, отдал их Левке и через неделю у меня уже были коньки с ботинками, с которыми я много раз ходил на каток «Буревестник» недалеко от парка ЦДСА, пока в один прекрасный вечер у меня их не выдрали из рук. А папа в это время стоял в очереди за билетами вместе с моим знакомым Толькой Немухиным.

Еще однажды я видел, как Левка отважно дрался на перемене в коридоре. Вокруг стояла толпа и все болели за Левкиного врага, потому что Левка был евреем, но никто в драку не вмешивался.

Потом я с завистью смотрел, как Левка в компании ребят катался на велосипеде по нашему Первому Лесному. У него был шикарный легкий велосипед «Турист», полугоночный. А у меня — «Дорожный», неподъемный. Я тогда быстренько стащил его вниз, оттолкнулся, задрал ногу (в первый раз), как взрослый, и покатался вместе с ребятами. Родители меня похвалили, что я сходу научился взбираться на велосипед. Но не мог же я в присутствии таких мастеров садиться на велосипед с приступочки!

И вот, мы сидим рядом на одной парте. В моем отделении был чей-то портфель, но я его вытащил и положил на соседнюю парту. На первой же перемене нашел в парте записочку: «Еврей, не трогай наш портфель!» Да еще и с восклицательным знаком. Но я на ту записку плевать хотел. Тем более, что за моей спиной сидела та самая Галя Семенова с чудесными веснушками вокруг носика, которая мне обрадовалась и я ей тоже.

Первый день мы осматривались, оценивали девчонок. Учителя в это время что-то там вякали по своим предметам, но нам это было всё до лампочки. С Левкиного двора было целых пять человек: Вовка Шанурин, Женька Киселев, Нинка Парамонова, Галка Сизова и Левка. Нинка была племянницей известного вора и голубятника Кольки Парамонова и что удивительно — моя мама в молодости дружила с его сестрой Катей Парамоновой. Они вместе работали в трамвайных мастерских на Лесной улице еще до войны. Тесен мир, тесен.

На первой же перемене Толька Чернов дал мне пинка под зад и идет, как ни в чем не бывало, ну, я ему тоже поддал. Тут меня останавливает старуха с огромной бородавкой под носом и смеется. Оказывается — она директор этой школы и её зовут Екатерина Порфирьевна. Девчонки её страшно боятся, ходят кругом на цыпочках. Что меня удивило — у них был такой порядок: во время перемен девочки прогуливались парами друг за дружкой вдоль стен коридора. Ну, прямо балет! Потеха! Как мы появились в их школе, балет пришлось отменить.

Я сразу влюбился в молодую училку по литературе *Лилию Дмитриевну Яковлеву*. Это ж надо, чтобы такая красота была дана женщине! Особенно меня восхищала её приподнятая нежная губа с легчайшим темным пушком над ней. Я лежал ночами и мечтал перед сном, как я совершаю ради неё подвиги, спасаю от опасности, ношу на руках, целую... Но во сне ни разу она мне не явилась. Были какие-то противные бабы, вонючие, в драных сине-зеленых трико до колен, и я залезал в них и просыпался весь в липкой, пахнущей хлоркой дряни.

Математику вела тоже совсем молодая женщина, прыщавая, как Левка и с нехорошим запахом изо рта. Физик, Анатолий Александрович, высокий и толстый, пудов на семь не меньше, всегда сидел у лабораторного стола, и видно было, что ему ужасно лень заниматься с нами. Классным руководителем у нас была Анна Петровна, которая у нас вела основы дарвинизма. Наше знакомство она начала с того, что у всех новоприбывших парней спрашивала о родителях и, конечно, национальность. Но спрашивала она не так, как Герасимов на потеху всему классу, а подходила и шепотом-шепотом выясняла. Я ей сказал, что я еврей. Потом она на первом родительском собрании она отозвала маму в сторонку и спросила у неё, кто я на самом деле, и мама сказала: «Запишите его русским», а потом пришла домой и спросила меня:

«Ты что, совсем дурачок или притворяешься? Ты, Олег Федорович Зубков, — еврей? Ты знаешь хоть одно еврейское слово, кроме «то-хес»? Заруби себе на носу — твое прошлое никого не касается. У тебя есть настоящее и будущее! Понял?»

Я быстро подружился со всеми, а с Левкой — особенно. Еще мне очень нравились двое на самой последней парте в первом ряду — Колька Латыш и Валька Тышевич. Они, правда, дружили только между собой. Тышевич был настоящим красавцем-ковбоем. Он был высоким, худощавым, загорелым, мускулистым, с белозубой улыбкой. Похожим на моего несостоявшегося друга Валерку Артемьева, но намного красивее. Еще он потрясающе играл в волейбол. На тренировки после уроков ходили мы с Левкой, Вовка Шанурин, Олег Туманов и Латыш с Тышевичем. У меня всё не получался прием мяча, вечно он уходил через пальцы назад. Гнать бы меня вон из команды.., но у нас в классе никто больше не хотел играть в волейбол, и я занимал место, как мебель. А Тышевич был у нас главным забойщиком. Если ему выкидывали хороший пас, он взлетал над сеткой, как на крыльях, и наносил пушечный удар. Благодаря ему наш класс выиграл первенство школы по волейболу. А я, сославшись на болезнь, вообще не вышел на площадку, и они играли впятером и впятером выиграли у всех и получили грамоты! А я — жалкое дерьмо. Спасибо им, что они не стали меня после этого презирать.

А теперь о моем главном позоре. Тот длинноносый урод Дронов из ПТУ за лето вымахал и почувствовал свою силу. И стал ко многим вязаться. Тут как раз выпал снег и он с одним еще парнем стали кидать в проходящих снежки. Ну, я раз иду, а они кидают в меня. Я остановился и непечатно им что-то такое сказал. Тут они подходят ко мне и Дронов мне говорит: «Пойдем поговорим...» А мне на первый урок. Я махнул рукой и дальше, а второй зацепил мне ногу — я чуть не грохнулся. Подхватил я портфель и побежал в школу. А в сердце у меня трусость, чувствую, что в этот раз они от меня не отстанут. Из-за этого весь день плохо учился. Выхожу из школы — так и есть, стоят и меня дожидаются. А рядом никого из наших. Я опять почти бегом домой. Ем, готовлю уроки, гуляю у себя во дворе и со страхом жду следующего утра. Потом решил напугать Дронова ножом. Взял скальпель и положил в портфель для храбрости. Но у меня этой храбрости хватило только до того места, где Дронов мне заступил дорогу. Был он один, но видно было, что

теперь уж он меня не упустит. Я вместо того, чтобы вести равный разговор, начал перед ним заискивать и напомнил ему, что вот, мол, оставил Анечку с их двора, как он велел... А он посмотрел на меня оловянными глазами, плюнул мне в лицо окурком, который обсасывал и сказал: «Что ты трясешься, как жид? Пошли поговорим.» И я, как овца, пошел за ним, и он привел меня в темное место под арку в одном доме, развернул к свету, так что я ничего не видел и влепил мне две таких пощечины по моей румяной роже, что у меня в ушах зазвенело. Я закрыл лицо руками, щеки щипало, как обожженные кипятком, но я не плакал. А тут Шанурин шел в школу, посмотрел на меня, на Дронова, который выходил из-под арки и спросил осуждающе: «Что же ты не отмахнулся?!» А что я мог ответить? Что я прирожденный трус, что в жилах у меня не кровь, а лимонад? Горе и вечный позор трусам! Из-за таких, как я, хулиганы и негодяи правят бал везде и всюду. Я еще подумал, что неужели все евреи — трусы? Говорят, что нас погибло в войне с Гитлером несколько миллионов. В вагонах, в лагерных бараках можно было бы уговориться, напасть на охранников, отобрать оружие и расстрелять фашистов, вырваться на свободу. Да, конечно, много людей погибло бы. Но часть всё-таки ушла бы с оружием в руках! Ведь все равно они были обречены на смерть! И сколько бы негодяев убили бы... Ну что мне стоило размахнуться первым и дать изо всей силы Дронову по длинному носу, а там — пусть будет, что будет.

На том мой позор не кончился. Дронову, видно, понравилось бить меня по морде. А я совсем потерял присутствие духа. Выхожу я на следующий день из школы, а Дронов со своим дружкой подходят ко мне и он говорит: «Разговор еще не окончен...» На моё счастье мимо проходил Толька Шведов. Он боксом занимается, мы с ним не раз болтали на переменах. Я ему и говорю: «Швед, заступись за меня». Толька подошел к нам и сказал Дронову: «Тебя недавно, кажется, били. Еще хочешь?» А Дронов для понта спросил: «Когда это?» Но Швед еще раз сказал: «Могу добавить». И Дронов с приятелем ушли.

Так бы продолжалось, наверное, до окончания школы, если бы не Левка. Идем мы в школу вместе, а Дронов с дружкой опять кидает снежки и попал в Левку. Левка остановился и говорит ему по матерному так и так, мол, что за безобразие. А Дронов уже подходит со своим «пойдем поговорим» — и цап Левку за грудки. Но Левка — это не я. Он — боец. Он бросил портфель на снег

и тоже ухватил Дронова за грудки. Так они стояли, пока Левка не попытался дать подножку, но она не получилась. Я находился сбоку, очень близко, даже слишком близко и в результате, когда они перехватывались, очень чувствительно получил по морде от Дронова. Может быть, он и не хотел, может быть, даже и не заметил, как смазал меня, но я, уже не помня себя от обиды, стукнул его довольно крепко в плечо. Он тут же оттолкнул Левку и пошел на меня. А я уже выпустил свой заряд и вновь был готов к позору и избиению. Но Левка меня не бросил, а с криком «не трожь Зубкова!» снова схватил Дронова за грудки. Тут мимо проходили взрослые и нас растащили. Мы с Левкой пошли в школу, и я всё переживал свою трусость, проклинал своё бабство, что не смог врезать Дронову в морду, а ударил в плечо, как когда-то мой дед ударил ту бабу, бывшую папину жену, которая дала оплеуху моей маме, назвав жидовкой и проституткой. Эта картина стояла перед моими глазами — дедушка, выползший из своей комнаты в кальсонах, его кукольный удар в плечо массивной бабищи и её удивленный взгляд: «Это что ещё за червяк выполз?»

В этот же день историчка Бронислава Мироновна, с которой у нас были хорошие отношения, потому что она не запрещала нам рисовать и писать дурацкие записочки на её уроках, вдруг прицепилась к Левке и выгнала его из класса. Левка был взбешен, ушел из школы и, увидев на другой стороне переулка Дронова с компанией, направился прямо к нему. Наверное, что-то было в Левкином лице такое, что даже Дронов оробел и не стал к нему ввязаться. Они его молча пропустили и даже словечка не молвили.

На следующий день Славка раздобыл два приглашения на вечер в клубе автобазы, что находится в конце Четвертого Лесного. Я купил папиросы «Казбек», закурил и шел в хорошем настроении и вдруг, открыв дверь клуба, в тамбуре увидел Дронова. «Ну всё, теперь мне конец», — только и успел я подумать, но вдруг Дронов миролюбиво попросил у меня закурить. Я понял в ту же секунду, что между нами мир и с радостью угостил его. Что же сыграло здесь роль — мой кукольный ударчик в плечо или Левкина храбрость?

А теперь нельзя не сказать о хорошем. Нас, мальчишек в классе десять человек и все, кроме Тольки Германа учили немецкий, а девчонок с Толькой почти тридцать и они учили английский. Какова же была наша радость, когда к нам пришла Серафима Израилевна. Ей, по-моему, тоже очень нравилось у нас. Валька

Тышевич тут же начинал острить, смешить её, а она с удовольствием улыбалась, отшучивалась и так неприметно, незаметно под «хи-хи-ха-ха» обучала нас языку. Если объявить конкурс красоты, то после Лилии Дмитриевны она, конечно, взяла бы второе место. Но уж очень она крупна. Я никогда бы о ней не стал мечтать. Такая сама себя спасет и вытащит из любой беды.

Самое наше с Левкой любимое занятие — писать на уроках девчонкам стихи, а после уроков — играть в карты. Оказалось, что Толька Герман — самый азартный до игры человек. Но главное — у него всегда есть много денег. Он на них покупает разные вещи у знакомых, а потом где-то перепродает, может быть, даже в комиссионный магазин. Однажды мы шли с Толькой и к нему привязался один парень с Первого Лесного, — куда, мол, он дел его фотоаппарат... Оказывается, Толька дал ему денег в залог под фотоаппарат и тут же его продал. Если бы не мы, тот парень набил бы Толику морду.

Однажды мы играли в петуха, а потом в очко и раскрутили Толика на двадцать пять рублей, и когда он полез в бумажник(!), я видел там кучу денег. Мы тогда решили на его деньги пойти пить соки в магазин на Маяковке, и по дороге к нам примкнул Славка, он любит повеселиться на шермачка. И я там прямо упился томатным и абрикосовым соком. Почему, интересно, у нас никогда не бывает дома соков? Это ведь совсем недорого, а сколько удовольствия!

Плохо, когда нет карманных денег. Ни в карты поиграть, ни девушку в кино пригласить. Помню, еще когда маленьким был, залезу в шкаф и шарю в карманах. Один раз сорок копеек нашел у отца и так рад был... Я вспомнил об этом и подумал, что бабушка прячет сторублевки в платочек в их шкафу, где знаменитый альбом тетки Лизы. И вот, я полез, когда никого не было дома, вытащил сто рублей (а всего там было четыреста), и триста обратно завернул и положил в шкаф. Потом мы со Славкой купили в кондитерском отделе много вкусных вещей. Особенно мне понравились чуреки. Вот, говорят: «Не делай плохих поступков, тебя будет мучить совесть...» Хреновина. Надо, чтобы в жизни хоть что-нибудь веселило сердце. Если родителям жалко денег для сына, пусть хоть научат, как их заработать. Я согласен есть на завтрак черняшку с чаем, но чтобы у меня в кармане всегда были деньги. Левке, кстати, мать разрешила курить. Она, правда, сама всю жизнь курит и сестра его тоже. Сестра старше

Левки на девятнадцать лет. У неё есть дочка от одного писателя — Железнякова. Я, правда, никогда о нем не слышал. И вот, они вчетвером живут в восьмиметровой комнатке. А в уборной у них сверху дверь застеклена, но одно стекло выбито и когда Левка делает там свои дела, в кухне страшно воняет. Левка мне сказал, что его сестра страшная чистюля. Она рано утром и на ночь сидит над тазиком и моет с мылом то самое место.

Левка сочинил замечательные стихи на уроке истории:

*Кто не любил, не воевал,
Кто в карты не играл,
Тот много в жизни потерял
И не найдет, мой брат!*

Я с ним согласен, что карты — это гениальное изобретение. Хотелось бы, конечно, занять девчонку и любить её, а также и повоевать, пострелять, ну хоть поддержать в руках настоящее оружие для начала, чтобы было о чем вспомнить, когда станешь старым. Жалко, что те сто рублей так быстро кончились, и я не успел ничего толкового купить. Вещи купить я не мог. Сразу бы спросили дома — откуда у тебя деньги? Вот и профукал их на папиросы, да на сласти. Бабушка так и не заметила, что ста рублей не хватает. Ей не пришло на ум, что я могу украсть так много. Вот важный вывод для будущей жизни — красть надо сразу миллион. И вообще всё в жизни надо делать по-крупному. Тогда тебя уважают, боятся и не подозревают.

Когда бы я ни зашел к Левке — все читают и особенно любят читать и есть. Правда и книги у них потрясающие — Джек Лондон, О Генри, Марк Твен. У нас дома не книги, а ерунда какая-то — «Молодая гвардия», избранное Юрия Смолича, путешествие Ч.Дарвина на корабле «Бигль», ну и «Война и мир», которую нужно прочесть, потому что мы будем её проходить в школе. Уже поэтому меня заранее воротит от этой войны и этого мира.

Вчера давали рекомендацию в комсомол Левке, Вовке Шанурину, Женьке Киселеву и Толику Герману. Пришла наша училка по физкультуре и стала вести собрание. Каждый из подавших заявление выходил перед классом и слушал, что про него говорят товарищи (в основном говорили подруги). Оказалось, что за полгода, что мы учимся вместе с девчонками, все они очень полюбили Левку, потому что на его голову свалилось больше похвал,

чем всем остальным. Левка стоял красный от смущения и счастливый, весь в женской любви от макушки до пяток, и конечно, его рекомендовали в ряды ВЛКСМ. Шанурин с Киселевым тоже получили «добро». А потом наступила очередь Германа. И тут физручка стала задавать Толику вопросы, правда ли, что он ведет денежные дела, что у него много своих денег и сколько... Толик стоял, улыбаясь, мялся, отвечал — каких денег? какие дела?... Короче, — училка настояла, чтобы пока Толика в комсомол не рекомендовать. Какие мы все-таки скоты! Ведь Толик — наш товарищ, столько раз встречались за картами, даже на день рождения к нему ходили, водку пили, а потом безобразничали. Его мать после нашего ухода снимала кусок арбуза, прилипший к потолку... А Толик, между прочим, — отличный малый, сдержанный, не то, что некоторые. Он, конечно, обиделся, но никому ни слова. Потом, недели через две мы с Левкой встретили его мамашу, и она нам сказала, что её сын был более достоин вступить в комсомол, чем некоторые, которые пролезли туда без мыла. Ну, Левка не дурак, сразу понял, кого она имела в виду.

Она, кстати, считала, что это Левка с компанией затащил её сына в картежные игры. И вот, она подговорила мать Шанурина и старшую сестру Киселева и они подкараулили, когда ребята играли (и Левка с ними тоже), ворвались в комнату Киселевых с щетками и устроили дебош. Порвали карты, схватили деньги со стола и начали лупить ребят так, что те должны были выскочить на улицу. Моя мамаша, кстати, тоже считает, что Левка меня портит, вот, мол, он курит, плохо учится...

Я в тот раз в игре не участвовал, я вообще играл редко, потому что мне не давали денег, а просить... ну, сколько можно просить рублишко у Левки, чтобы сыграть кон в очко? Однажды я решил и сдал в букинистический магазин два первых тома Ромена Роллана. Знаете, наверное, тот магазин недалеко от Красной площади. Они принимали книги у всех, но когда дошла очередь до меня и продавец спросил мой адрес, я так испугался! Адрес я, конечно, соврал — а вдруг кто-нибудь узнает дома про мои художества. А эти тома всё равно никто не читал. У папы на работе была подписка, вот он и подписался. А выкупить остальные тома то ли забыл, то ли не захотел, да и некуда было ставить книги в нашей тесноте. Продав книги, я почувствовал себя богачом и долго играл на них в карты и даже позволял себе пить любимые соки. Когда опять возникает безвыходная денежная ситуация, я нацеливаюсь

на одну из книжек в шкафу, отношу её букинисту и получаю доступ к карточному столу. Еще помогают пустые бутылки, но в нашей трезвой семье они никогда не водились, так что надо искать их на улице Горького или на Лесной, в урнах или в кустах возле лавочек на скверах. Однако это требует массу свободного времени, а уроков задают много, кроме того, надо помогать с сестренкой и по дому, потому что родители работают, а бабушке и так хватает на всех готовить.

Няньки у нас не задерживаются. Мама всё время ведет с ними войну, она ненавидит няnek и называет их «Враг в доме». То ей кажется, что они слишком много едят, то ей кажется, что они её обсчитывают, когда ходят в магазин за покупками, то они ходят в гости с моей сестренкой вместо гулянья на свежем воздухе... Они это чувствуют и вскоре начинают дерзить и хамить, получают расчет и хлопают дверьми.

Они мне тоже не нравились, но по моим особым причинам. Они занимали моё жизненное пространство и моё воображение. Они ведь были молодыми девчонками, может быть чуть-чуть старше моих одноклассниц. Я чувствовал запах их пота, мне приходилось ненароком касаться их рук и ног, и это меня страшно возбуждало — у них были такие горячие тела! Однажды к нам пришла в няньки веселая и красивая Райка. Мне с ней было замечательно. Она была такая ладная, ловкая, смешливая. Сколько раз, оставаясь с ней наедине (сестренка не в счет), я мечтал приблизиться к ней, обнять, поцеловать... но я не смел и не знал, как это сделать. Однажды мы шалили, и я завалил её на родительскую софу, потом схватил за груди и подергал туда-сюда. Она захохотала. Эх, мне бы, дураку, сказать ей: «Раечка, научи меня любви!» Но я бы скорее умер, чем произнес такие слова. А мама говорила, что у неё миллион любовников и что она, мама, опасается, как бы Райка не принесла от них в нашу семью какую-нибудь заразу... Нет, не использовал я свой шанс. Я мечтаю потерять девственность и не знаю, как это сделать. Девчонки в нашем классе меня не очень-то любят, потому что я не строю из себя рыцаря, как Левка, а прямо им говорю, что думаю. И, кроме того, мне нравится только Светка Гонзюк, но она ужасно форсит, может быть, потому, что она — круглая отличница. Я как-то сочинил на всех девчонок эпиграммы, после того как Танька Александрова прочла свои (и про меня тоже, меня там сравнивали с петухом, наверное, из-за моего длинного

шнобеля и рыжих волос, стоящих дыбом). Девчонки посмеялись, а Гонзючка опоздала, хотя я ради неё всё это чтение устроил, и услышала только конец моих куплетов. Тогда она без злости фыркнула и назвала меня паразитом. Никак мне к ней не подъехать. Левке я не признаюсь, потому что он может тоже положить на неё глаз, и тогда у меня вообще не останется шансов её завоевать.

Наконец наступил мой шестнадцатый день рождения. Теперь я получу паспорт. Для начала я пошел в наше домоуправление, но перед этим мама еще раз промыла мне мозги, чтобы я не вздумал записать себя евреем. Когда я пришел туда, тетка за столом узнала про паспорт, вытащила анкету и, глядя в домовую книгу, написала, что там полагается, только спросила меня: «Родители твои *явреи*?» Я ответил, что мать еврейка, а отец русский. «Какую берешь национальность?» — спросила она меня. — «По отцу», — ответил я. И только я это произнес, как увидел стоящую рядом мать Тольки Немухина. Она всё про всех знала, и я подумал, что моя тайна, мой стыд скоро станут всем известны. Не то, чтобы я считал себя изменником народа, я никогда евреев в виде народа не представлял, кругом меня были люди, люди, люди, все они жили почти одинаково, кроме тех, кто сидел в тюрьме. Нет, я как бы предчувствовал стыд перед своими друзьями евреями, что я смухлевал, как в картах, чтобы облегчить себе жизнь в будущем. Потом я отнес анкету и два фото в наше отделение милиции и через две недели стал гражданином Советского союза. *Смотрите! Завидуйте!* Никто на меня не смотрел, никто мне не завидовал.

Пока мы ходили в школу, Берию объявили английским шпионом и расстреляли вместе с друзьями, а на место Сталина сел Маленков. И не успел он сесть поудобнее, как Лилия Дмитриевна уже притащила цитату из его речи, про то, что такое *типичное*. Ну, я эту длинную цитату приводить не буду, вы её и так помните. А про Берию запели: «Берия, Берия, потерял доверие. Приказали на суде оторвать ему м..е.»

На нашей улице живет один парень Олег, а Толик Герман рассказывал, что он чемпион Москвы по самбо. Он сперва был слабосильным, и многие, кто называют себя урками или блатными, относились к нему, как к низшей расе. И толкнуть могли, и с места согнать в кино, и обозвать. Там среди них был один по фамилии Исусов, всё время ходил с голубями, торговал. Он

в последний год так вырос, что стал похож на мужика. А Олег всё ходил и ходил в свою секцию самбо. И тоже вырос, будь здоров как. И однажды Исусов со своим приبلатненным дружкой решили грабануть Олега, в смысле — почистить его карманы. Они подошли к Олегу, и тут он дал такую подсечку Исусову, что тот хряпнулся башкой об землю и еле встал. А дружок подхватил его и они, не оглядываясь, умотали. И с тех пор обходят Олега за километр. И вот Олег пришел в нашу школу к учительке физкультуры и предложил организовать секцию самбо. Мы с Вовкой Шануриным записались и стали ходить по вечерам. А Левка сказал, что он и так умеет бороться и ему не интересно. А я уже, конечно, протрепался, что раньше занимался самбо. Это когда мы с Валеркой Артемьевым занимались по книжке. Олег показал нам для начала три приема, и мы начали бороться. Но что удивительно! Я всегда считал себя намного сильнее Вовки, а на ковре я ничего не мог с ним сделать. Правда, и он ничего не мог показать. В результате борьбы я устал хуже всякой собаки и решил пойти в уборную попить воды. А в дверях стоял дружок Дронова — Женька Логинов. И он вдруг стал ко мне цепляться и не пускать из зала, и говорить всякие обидные слова. А я так устал от борьбы, что не мог даже руку поднять. И вот, вместо того, чтобы применить к этому дураку прием и швырнуть его на пол, я стоял и блеял что-то в ответ на его хамство, и язык у меня еле ворочался, так я хотел пить. А потом, по дороге домой, я презирал свою слабость-хилость, своё поганое бабство и придумывал всякие казни Логинову. Кстати сказать, нашу секцию кто-то вскоре запретил. Так я опять ничему толковому не выучился.

Вчера на уроке историчка рассказывала про план *ГОЭЛРО*, но она все время говорила «гоэрло», и нам с Левкой было смешно, а она не понимала почему и улыбалась нам. Идет к концу девятый класс. Могу честно сказать, что в этом году я был просто счастлив. У меня будут только две четверки — по русскому языку и алгебре, остальные пятерки.

Всё бы ничего, но на меня напали прыщи. Боже мой, откуда они берутся в таком количестве! У Левки тоже вся морда в прыщах. Самое поганое, что они с гноем. У меня не столько на морде, сколько на спине. Я иногда до них дотягиваюсь и давлю, и они лопаются с таким звуком «пук», и кровь с гноем вытекают. Я спросил у мамы, чем я болен, а она ответила, что ничем, что это —

переходный возраст. Еще какие-то шарики образовались за сосками, тоже болят, когда нажимаешь. И почти каждый день сны про женщин — с ума можно сойти. Ну не может быть, чтобы не было лекарства от прыщей. Я ведь стыжусь раздеться в физкультурном зале, в бане. Читал в маминых книгах про венерические болезни — очень похоже на мою. Начал думать, что мама от меня скрывает, что я болен сифилисом или гонореей. Стал щупать нос — проваливается или нет. А все, наверное, из-за того, что я не мою руки, когда иду в уборную, и хватаюсь за хрен и бывает, что дрочу его, и всё грязными руками.

Наступили каникулы. Левкина сестра едет на дачу к Чаковским (есть такой писатель, но я его не читал) учить его английскому языку и ей разрешено взять с собой Левку и дочку Алинку. Всё лето они будут жить в писательском городке. А я еду с мамой и сестренкой в пионерлагерь, где мама будет работать врачом, а я могу заниматься, чем хочу.

Мы все поселились на втором этаже лазарета. Мама уже наняла новую няньку, которую звали Алевтиной. Бабушка готовила еду, хотя мы получали из столовой завтрак, обед и ужин. Ходил в столовую я с тремя судками для первого, второго и третьего. Никаких других забот у меня не было.

Место для лагеря, конечно, шикарное. Огромный пруд, в котором водится рыба, лес кругом. Я быстро познакомился с одним парнем Колькой, его мать работает в прачечной. Потом к нам примкнул один дачник Вовка. Так мы втроем и гуляли вместе и идиотничали. Вовка уже курил, как взрослый, я покуривал, а Колька только начинал. Мы резались в *дурака*, ходили на пруд купаться, по очереди катались на моем велосипеде. Вовка отлично ловил карасей, он все утра сидел на берегу возле нашего дома. Я тоже решил половить, но мне не хватало терпения сидеть с удочкой, да и удочки у меня не было. Однажды мы нашли в пруду чью-то вершу и в ней пять вполне приличных рыбок. Бабушка нам их пожарила — очень вкусно. Тут я решил сделать большой сачок и тоже поймать рыбы на жаренку. Сетки у меня не было, и я пошел в изолятор и попросил у медсестры кусок марли. Из этой марли я сшил нитками мешок, продел через край алюминиевую проволоку — получился кривой, но большой мешок. Длинной палки у меня не было, и я решил, что буду этот мешок забрасывать. Но оказалось, что и веревки у меня нет. Тогда я пошел к медсестре и

попросил еще два бинта. С этим медицинским сооружением я пошел к пруду и попытался закинуть мой мешок, но он планировал не хуже парашюта и никак не желал погружаться в воду. С другого берега пруда на меня молча смотрели два рыбака, и в их взглядах я прочел явную враждебность. Тут я понял, что нужно привязать к марлевому мешку груз, и вскоре нашел увесистый булыжник. Когда моё сооружение с громким плеском погрузилось, наконец, в воду, рыбаки на том берегу не выдержали и стали орать, что они сейчас ко мне придут и оторвут мне яйца. Я не стал дожидаться исполнения угрозы и ушел домой читать «Войну и мир». Утром я вытащил свой невод, который был совершенно пуст, если не считать ряску и глину, которые так изукрасили марлю, что я выкинул всё в мусорный бак, который стоял перед изолятором.

Неожиданно мне повезло. Один мужик, увидев нашу праздно слоняющуюся тройцу, предложил нам поохотиться с волокушей за вознаграждение частью пойманной рыбы. Когда мы развернули сеть, оказалось, что эта конструкция имеет размах пять метров и удерживается двумя колами вертикально, а за нею тянется длинный сачок метра на три длиной. Отойдя от берега метра на два, мы совершали движение с одним колом по кругу, а потом двигались к берегу, стараясь волочить сеть по дну. Первый же заход дал нам четверть ведра чудесных, сверкающих чешуей карасиков. Потом попался один карась граммов на четыреста, вот такой великан. Потом мы еще долго ходили, но улов был небольшой, но все-таки ведро рыбы мы набрали. Потом мы еще прочесали ручей, который питал пруд и поймали двух окуней. Я в первый раз в жизни видел таких нарядных рыб с поперечными синими полосами и ярко красными плавниками. Тот мужик тоже обрадовался и довольный сказал: «О, окуньки!». За работу мы получили целую кастрюлю карасиков, почистили их, и бабушка нам их пожарила. Это была царская еда.

Тут папа собрался в отпуск. Перед отъездом он отозвал меня в сторонку и дал двадцать пять рублей. Я понял, что маме об этом знать не нужно. Я пошел к друзьям, и мы решили для начала купить четвертинку водки, что мы и исполнили. Закусывали мы зеленым луком, который нарвали на чьей-то грядке, без соли. Никакого удовольствия я не получил, хотя потом мы сидели и курили сигареты «Родопи», которые Вовка где-то достал по случаю. Насколько же они вкуснее нашего «Дуката»! Нет, что ни говорите, а за границей всё лучше, чем у нас. Вот взять, к примеру, кожаную

американскую куртку, которую папа мне подарил. Она у него еще с войны. Кожа темновишневая, мягкая, внутри теплая байка, молния сверху донизу, карманы, на рукавах навязаны шерстяные манжеты, чтобы ветер не задувал. Да в такой куртке хоть сейчас на Северный полюс! У нас в магазинах ничего даже отдаленно похожего нет. И не будет никогда. У нас все деньги идут на будущую войну с Америкой — я сам слышал много раз.

Мои денежки скоро кончились, а курить хотелось. Тут Колька вспомнил, что у лагерного аккордеониста Вараздата под окном всегда валяются хорошие бычки «Казбека», потому что они с женой курят. Мы тут же отправились к корпусу, где они жили с другими воспитателями и обслуживающими лагерь, и действительно нашли несколько отличных бычков, почти полпапиросы еще оставалось. Этот Вараздат очень нравился моей маме, а мне — нет, потому что у него было такое, знаете ли, масляное лицо. А Колька слышал даже, что обслуживающие трепались, будто он с моей мамой, сами понимаете что... Я тогда сказал Кольке, что это всё гнусное враньё и что мама всегда спит в соседней комнате с сестренкой, и чтобы тот пришел, он должен пройти через комнату, где спим мы с бабушкой и нянькой. Зачем только люди распускают такие грязные сплетни. Я еще подумал, что когда папа вернется из отпуска и ему расскажут такое, он может уйти от нас, а это будет огромным несчастьем, потому что мы только недавно стали жить получше, а на мамину зарплату мы не проживем. Тогда мне придется бросить школу и идти работать, а потом сразу в армию, а в армию мне ужасно не хочется. Короче, я сказал Кольке, чтобы он намекнул матери, что ничего такого между моей мамой и тем армянином просто быть не может.

Вдруг я подумал некстати совсем, как это люди изменяют друг другу. Например, если мужик целует руку бабе, а она за полчаса до этого держала в этой руке ... у своего мужа. Или еще хуже — пришла баба от любовника и лезет к мужу в постель, а у неё внутри, в том самом месте уже полным-полно. Я как подумал, меня прямо затошнило. Если я когда-нибудь женюсь, то никогда не буду изменять своей жене и ей строго-настрого запрещаю дружить с другими мужчинами.

Да, кстати, у нашей няньки Алевтины появился ухажер Виталий. Он работает рабочим при кухне и прачечной. Несколько раз я давал ему велосипед, и он на два-три часа уезжал кататься по шоссе. Мы с ним стали вроде приятелей, только мне каждый

раз приходилось переставлять после него седло. И вот, он мне сказал однажды, что он нашу Алевтину..., и я тут же понял, что он не врет, потому что от неё последние дни здорово воняло, и мама сердилась на неё за это и говорила, что «у неё *щикны* воняют». Я не знаю, что такое *щикны*, но догадаться можно. Единственное, чего я не понимаю, как Виталий связался с такой уродиной, конопатой заикой. Я с ней в одной комнате сплю, и у меня даже мысли не возникло, чтобы к ней подъехать. Мы с ней были в отличных отношениях. Она всегда помирала со смеху, когда я представлял пьяного и делал вид, что мочусь в угол.

Однако их счастье скоро кончилось. Однажды Алевтина куда-то пошла, а сестренка осталась одна во дворе, и вдруг туда заскочила кобыла, и чуть не задела её копытом. Мама как узнала, в ту же секунду выгнала Алевтину и даже не разрешила ей переночевать у нас. Медсестра за это очень осуждала маму и сама предложила Алевтине постель. Потом у этой медсестры было зло на маму и, когда папа вернулся, она-таки трепанула, что у мамы был роман с Вараздатом. В результате у родителей был очень неприятный разговор, но мама сумела убедить папу, что ничего подобного не было и быть не могло.

В нашей компании появилось новое увлечение. Вовка принес здоровенный кусок свинцового кабеля и мы решили отлить кастеты. Это очень интересное дело. Сначала мы ободрали свинец и измельчили его кусачками. Потом мы нашли консервные банки и достали старый ящик, набили его сырым песком. После этого мы вырезали из куска доски такой профиль, чтобы он совпадал по толщине с ладонью. Мы расплавили свинец в консервных банках на костре, а в песке сделали углубление, куда вставили вертикально ту доску, точно в середину. Потом мы вылили свинец в углубление, и сырой песок зашипел, а доска немного обуглилась. Дальше всё было просто. Мы охладили свинец водой и спокойно сбили почти готовый кастет с доски. Осталось только провести по нему напильником. Получилось прямо-таки потрясающе. Мы еще украсили кастеты, сделав на бьющей стороне по три зубца. Для этого мы в форме карандашом сделали еще по три углубления и зубцы на кастетах стали шестигранными.

Какое все-таки удовольствие носить оружие! Кастет лично мне добавил уверенности в себе. Я попробовал ударить в ствол дерева — ого-го! Будь здоров! Если так дать по морде кому-нибудь, кто будет приставать, то второго раза не понадобится!

С другой стороны, я понимаю, что дело не в кастете, а в присутствии духа. Вот, когда я боялся Дронова, я положил в портфель скальпель для защиты. И что? Увидел Дронова и так испугался, что забыл про скальпель. А если бы достал его, то что? Ударил бы Дронова? Да никогда в жизни! Он мог бы у меня отнять скальпель и меня самого исполосовать, потому что у него была смелость в крови.

Но все-таки кастет — это другое дело. Можно ударить куда угодно и будет очень больно, и человек не захочет повторить эту боль. Вот только носить такую тяжесть в кармане ужасно неудобно... Потом я похвастался кастетом перед папой, а он сказал, что такие штуки считаются холодным оружием и за ношение его могут забрать в милицию и даже посадить на четырнадцать суток для начала, а при повторном нарушении вообще могут посадить в тюрьму.

Вдруг в наш лагерь приехала комиссия и осталась недовольной работой начальника лагеря. В результате на его место пришла размалеванная тетка, которая сразу же стала придираться к маме и прежде всего потребовала, чтобы наша семья очистила второй этаж лазарета. Значит нам предстояло занять комнату в том корпусе, где жил Вараздат, и это очень обидело маму. Она считала, что она имеет право на привилегии.

Потом та тетка стала проверять работу мамы и всё время находила недостатки. А мама разговаривала с санитаркой в лазарете и от неё узнала, что та тетка ненавидит евреев и поклялась, что выгонит маму любыми способами. Мама, когда рассказывала папе об этом, начала плакать. Папа молчал, а я сказал, что не надо обращать внимание, — работай себе и работай потихоньку. Тогда мама, всё ещё плача, сказала, что я ещё не почувствовал на своей шкуре, что такое антисемитизм, а когда вырасту, то узнаю, что это за гадость (как будто я не страдал из-за Шматко и не слышал каждый день в школе «бей жидов, спасай Россию!»).

В общем, настроение у всех испортилось, и родители решили, что надо просто подать заявление об уходе. Так мы в начале августа оказались в Москве. Может быть, оно и к лучшему, потому что я застрял на сто семьдесят седьмой странице в «Войне и мире» и ни туда, ни сюда.

Когда мы вернулись в Москву, наша комнатка в 12 квадратных метров показалась мне такой крохотной, что я удивился, как же мы до отъезда в ней умещались.

Левка вернулся из Переделкина гордый своими новыми знакомствами. Ну, как же! Он подружился с сыном самого Константина Симонова, который написал «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» и «Жди меня и я вернусь», то есть написал отец, а не сын. А сын оказывается очень талантливый механик, сам разбирает и собирает мотоцикл, всё время руки в масле. Еще Левка там научился так здорово играть в пинг-понг, что у всех выигрывал, кроме одного. Я забыл, как его звали, помню только, что он весил почти сто килограммов. Левка с ним боролся и сумел дать ему подножку и завалить на спину, но тот снял с себя Левку, как божью коровку и положил на землю, а потом придавил своим весом. Это еще не всё. Я узнал, что он влюбился в домработницу Чаковских и возился с ней, заваливал на кровать, гладил между ног, правда в трусики не залезал, целовал её, и она при этом смеялась, потому что ей было уже двадцать пять, а ему всего-навсего семнадцать. В общем, он булькал он счастья до самого начала занятий, а я слушал и молчал, ну не рассказывать же, как я из марли сделал рыболовную сеть!

Учителя у нас поменялись. Вместо красавицы Лилии Дмитриевны пришла тетка с мордой городничего из «Ревизора», девчонки между собой называли её коровой. Вместо молодой математички пришел какой-то облезлый пенёк, которого звали или Петюнчиком, или Трапедией, потому что его лысина имела форму трапеции. Екатерина Порфирьевна стала вести у нас историю. Интересно, почему всё наши директора школ преподают историю? Химичка и физик остались те же.

Левка стал ходить в школу с маленьким чемоданчиком с зеркальцем внутри. Сестра подарила. После жизни в писательском поселке Левка стал очень следить за внешностью. Обычно во время урока геометрии с тригонометрией мы должны были писать «объяснение» к задаче, которое Петюнчик диктовал по своей древней тетрадке. Мы с Левкой мигом решали задачу, а потом начинали развлекаться, кто как мог. Левка доставал свой чемоданчик и начинал причесываться, исследовать прыщи и рассматривать зубы. Петюнчика это жутко сердило. Отрываясь от диктовки, он кричал фальцетом: «Ланге, уберите чемодан с парты, здесь вам не вокзал!» Левка хихикал, но подчинялся.

Я снова стал плохо учиться. Всё началось с астрономии. Пришел учитель из планетария, стал рассказывать очень

интересные вещи про всё на свете. Я узнал, что был такой писатель Бруно Ясенский, которого убил темный фанатик. Потом я узнал про систему Птолемея, про судьбу Коперника и Джордано Бруно. Вообще-то я всегда любил смотреть в небо. У меня была книга по астрономии, где были всякие созвездия, но я так и не научился различать их в небе, знал только Большую Медведицу и Кассиопею. Родители ничем не могли мне помочь. Они, по-моему, никогда не смотрели в небо, их всегда занимали только вопросы, что поесть и что одеть. Ну, это я так, просто пришло в голову. Короче — вызвал меня этот учитель к доске, и я ничего не смог объяснить про систему Птолемея. И он мне влепил пару. Особенно мне было обидно, что после меня Гонзюк вышла и все рассказала, и получила пять и похвалу.

Я шел домой и злился, что я вроде бы стараюсь, а отметки хреновые. Родителям я давно перестал рассказывать о своих неудачах, да к тому же им теперь было некогда, большую часть времени они тратили на сестренку. Потом в конце четверти, перед ноябрьскими праздниками, они пошли на родительское собрание и там узнали, что у меня опять замелькали тройки в журнале. Они пришли домой, а я уже лег спать. Мать начала скандалить и обзывать меня разными словами, и это бы я стерпел, но тут подключился отец, и стал меня обзывать еще хуже. И тут я обозлился и забыл всё хорошее, что он мне делал, и вспомнил, что он мне отчим. Я не стал с ними лаяться, просто повернулся носом к стене. Они еще повоняли и легли спать.

Между тем, у нас в классе наметилась вечеринка. Решили собраться у Нинки Тихомировой. С девчонок собирали пятнадцать рублей, а с мальчишек тридцать. Я понимал, что мать мне никогда таких денег не даст, и признался Левке, что пойти со всеми не смогу. Левка сказал, чтобы я не тужил и что он за меня заплатит. Я пошел к матери и попросил пятнадцать рублей, но она сказала, что я своей плохой учебой не заработал, чтобы гулять праздник и ничего мне не дала. Тогда я вытащил из шкафа тонкую дореволюционную книжку про искусство и отнес букинисту. Там её оценили в пятьдесят рублей, на руки мне дали сорок, и я сразу почувствовал себя богачом. Мы сложили деньги и купили три бутылки «Старки», всякого вина и закусок. Это было первое в моей жизни настоящее застолье с девчонками. Хотя у нас была музыка, веселья не получилось. После водки мы расхрабрились и стали говорить всякие глупости, но многие девчонки пили вино

впервые в жизни, и им стало плохо. Нинка не пила, потому что у неё было больное сердце. Возле неё всё время крутился Сашка Струянский, который был влюблен в неё с первого взгляда еще с прошлого года. Они вдвоем обхаживали тех, кому стало плохо. Вовка Шанурин с Женькой Киселевым пошли во двор блевать. Проигрыватель вдруг перестал играть, и как мы его не трясли, молчал, как партизан на допросе. Потом уже стало два часа ночи, и все повалились спать по углам. Часам к восьми утра все пробудились, вид у всех был тот еще. Одна только Светка Гонзюк стояла перед зеркалом и расчесывала свои замечательные волосы. Я сказал ей, что она самая красивая в нашем классе, а она скосила на меня глаз и усмехнулась. Я всё думал, что бы такое ей сказать, чтобы она меня полюбила, но ничего в голову не пришло.

Домой мне идти не хотелось. Надоела мне эта теснота, надоели бесконечные замечания за обедом. Почему-то мать всегда выбирает это время, и мне хочется шваркнуть ложку в тарелку с супом, чтобы капуста разлетелась и залепила им морды, и выскочить из-за стола, и хлопнуть дверью изо всех сил. Я ненавижу их за то, что они мне не покупают новых нормальных вещей, а всё время перешивают на меня свои старые шмотки. Недавно Марильсанна перешила на меня габардиновое пальто. Когда я поднял плечи, и они уехали мне под подбородок, я в нем выглядел, как клоун. Мы все тогда посмеялись, но потом я сообразил, что в таком пальто я не могу пойти с девчонкой. Тут я прочел книжку про Левитана. Он тоже был адски беден и однажды он продал несколько своих картин, и получил достаточно денег, чтобы приодеться. И вот, он пошел гулять на вокзал и почувствовал, что на него смотрят женщины, а одна даже коснулась его руки. Тут я стал мечтать, как стану студентом и буду получать стипендию. Говорят, что студенты Горного института получают по пятьсот рублей в месяц, правда, на старших курсах. Вот мне бы такую стипендию! А что толку, что папина зарплата две тысячи пятьсот? Мне-то ничего не перепадает! Ну, кормят меня. Лучше бы, чем кормить Московской колбасой и разными другими деликатесами, дали бы мне денег...

Вторая четверть, как вы знаете, очень короткая. Пролетела так быстро, что я и не заметил. Пару раз не мог заставить себя пойти в школу и уходил на первый сеанс в кинотеатр «Смена». Билет на утренний сеанс стоил рубль так же, как стакан томатного сока. Я ходил туда и смотрел экранизированные пьесы Островского. Нас в зале было человек десять, не более. Потом я, не спеша, гулял

еще два часа по улицам, хотя было холодно, и возвращался домой. Потом, после еды шел в Левкин двор. Они там планировали под Новый год поехать за елками и заработать денег на праздник. Я почему-то испугался с ними ехать. Говорили, что лесники охотятся за порубщиками и отвозят в милицию. Торговать елками тоже было опасно, милиция встречала электрички, приезжавшие в Москву, елки отбирала, а порубщиков тащила в отделение.

И всё-таки они поехали, когда начались каникулы, 29 декабря. Я пришел в квартиру, где жил Женька Киселев, на следующий день часов в двенадцать. Они уже распродали свои елки прямо на рельсах, не доехав до Белорусского вокзала одну остановку. Сейчас они сидели усталые и важные, пили пиво и закусывали красной икрой, которую навалили в глубокую тарелку. Для развлечения они играли в очко. Рублики так и порхали над столом. Левка говорил мало, но весомо. Ну, прямо-таки золотоискатель из рассказов Джека Лондона. Да, у него были деньги на подарки матери, сестре и племяннице, он чувствовал себя взрослым. А я, как всегда, был с одним рублем в кармане, который я тут же спустил в очко. Единственное, что мне оставалось — примкнуть к семье и с ними встретить Новый год.

Так оно и получилось. Правда, потом мы пошли в дом Плаксиных, угостились там, а потом я зашел к Славке. Там сидела его маманя, моя тетка Лиза и их подружка, про которую говорили, что она поёт в цыганском театре «Ромэн». Все женщины были немного хмельные и с нами обращались фамильярно, что нам со Славкой ужасно льстило. У Славки уже прорезался баритон, и он исполнил куплеты Мефистофеля довольно неплохо, хотя ему до Валерки Артемьева, моего несостоявшегося друга, как Боровицкому холму до Казбека.

Я понял, что Гонзюк меня никогда не полюбит. Эта мысль страшно действовала мне на нервы, но потом я успокоился. К тому же я подумал: ну хорошо, предположим, она ответит на моё чувство, а дальше что? куда я её приведу, — в нашу проходную комнату, через которую туда-сюда шмыгает бабушка с грязными тарелками? или, может быть, я её поведу в театр? Кстати, мы недавно все ходили в театр Образцова на спектакль «Необыкновенный концерт». Она сидела впереди меня на откидном стуле и когда смеялась, оглядывалась на меня. И мне было так хорошо, так сладко. Потом я её проводил до дома, но поцеловать не решился. А зря. Думаю, что

она во мне разочаровалась. Если парень трусит поцеловать девушку, то он не парень, а евнух. Во всяком случае, на следующий день она ко мне была совершенно равнодушна. Но я не закончил мысль. Я видел, как любятя между собой люди, у которых нет в жизни местечка, где приткнуться. Они ютятся по подъездам, где нагажено, и воруют друг у друга поцелуи. Помните, я рассказывал вам про Люсю и Галю, которые были старше нас и понуждали снять трусики и лежать друг на друге. Там еще с ними Надя была. Ну, так вот, эта Галя любилаcь с одним парнем, который работал на заводе. Они всё время стояли вечерами в нашем подъезде и целовались, и обжимались. А потом он засунул ей в стоячку, и она забеременела, и родила от него. А ей только исполнилось шестнадцать лет. И моя бабушка, когда глядела через окно во двор и видела её, всегда говорила: «А вон девочка-проститутка с ребенком». А парня того вскоре посадили за воровство. Что-то там он на заводе украл... В общем, такой любви я не хочу. Когда отец с матерью любятя, мне стыдно и противно, что они боятся пошевелиться, слово сказать, поцеловаться громко. Они как будто воруют, делают что-то недозволенное. И весь народ, который живет, как мы и даже хуже нас, тоже занимается любовью, как воровством. Любая собака, любая кошка счастливее в тысячу раз.

Левка так здорово научился танцевать в Переделкине, что стал самым завидным партнером и когда устраиваются вечера в школе, любая девчонка идет с ним. Я иногда сравниваю себя с ним и вижу, что кроме учебы он во всем впереди меня.

От своей старшей сестры он узнал, что на двадцатом съезде партии Хрущев сделал доклад, в котором наш общий отец и гений Вселенной был назван тираном, нарушившим Ленинские нормы партийной жизни. Почему-то народ не должен был знать об этом, только коммунисты. Но народ всё равно узнал. Оказывается, многие миллионы ни за что сидели в концентрационных лагерях и Левкин отец в том числе. Я как подумал, что в войну, которую мы чуть не проиграли, половина народа сидела, а другая половина их охраняла, вместо того, чтобы бить фашистов, так наполнился ненавистью и презрением к товарищу Сталину. Ненавистью потому, что из-за него все евреи чуть не загремели на Дальний Восток, когда шили дело о врачах-вредителях, и в то же время мы все были обязаны петь в его честь славу и желать долгих лет. А презрением

потому, что он оказался трусливым Говнюком, который боялся своих собственных товарищей, прошедших с ним Гражданскую войну и революцию, и расстрелявшим их. А еще я презирал их всех за то, что ни у одного не нашлось мужества влить ему пулю в лоб, хотя бы ценой собственной жизни. «Бедный Ленин, — думал я, — он столько сделал, чтобы Россия стала самой счастливой страной, а этот грузинский Говнюк всё испортил».

У нас дома тоже обсуждали доклад Хрущева. Тут мать вспомнила, что её двоюродный брат-художник Лева Володарский рассказал в компании анекдот и вскоре попал в лагерь. О его судьбе она ничего не знает. Потом я спросил у отца: «Неужели никто не догадывался, что Сталин и есть самый большой вредитель, из-за которого мы чуть не проиграли войну?» А он ответил, что я ничего не понимаю, что без Сталина мы как раз проиграли бы войну, что у него была стальная воля к победе и что многие, кого он сажал и расстреливал, это заслужили, хотя были и невинные. Но что, мол, поделать — когда лес рубят, то щепки летят. Еще он добавил, что теперь в стране начнется бардак, потому что народ должен бояться власти, а если страха нет, то всё дозволено. Я не стал с ним спорить, тем более что я ничего толком не знал, но мне стало как-то тягостно в желудке, будто я поел испорченную колбасу.

Что бы ни говорил отец, а все-таки жизнь вроде бы стала интереснее. К примеру, один парень из соседнего класса пришел в школу в галстук, как взрослый. Он зашел в туалет почистить носовым платком туфли и делал вид, что ему одеть в школу галстук — просто пустяк. На следующий день Левка, Вовка и Женька опоздали на урок истории. Я уж думал, что они слиняли в кино, но они вдруг появились в галстуках. Девчонки стали ахать и восхищаться, а Левка (хитрый же гад) изобразил, что очень смущен. Бронислава тоже стала смеяться и сказала, что ради галстуков прощает им опоздание.

Наконец-то я понял, кем я хочу стать. Я хочу стать химиком. Училка Валентина Ивановна стала нам читать куски из книги «История великого закона». Оказалось, что на самом деле всё состоит из пустоты, в которой болтаются мельчайшие частички, но в этой пустоте действуют гигантские силы, которые не дают пустоте схлопнуться. К примеру, прижать электроны к положительно заряженному ядру атома совершенно невозможно. Нет такого прессы. А если сжать водород до тысяч атмосфер, то он начнет течь сквозь металл, который его сжимает.

Потом она рассказала, что при реакции углерода и азота получается очень твердый, жаропрочный материал, который называется карборундом. Он обладает колоссальной твердостью и окрашен в зеленый цвет. Тогда я спросил её, можно ли сделать из него изумруд, и она ответила, что, наверное, можно. Я шел домой и мечтал о том, как поступлю в химический институт и буду синтезировать в печи карборунд, очищать его и получать великолепные изумруды. По дороге я вспомнил про чудесную книжку Ферсмана «Занимательная минералогия», которую я купил, когда мы со Славкой ходили в минералогический кружок при музее. Дома я открыл её и с огромным разочарованием прочел, что химический состав изумруда ничего общего не имеет с карборундом. Только потом до меня дошло, что если бы такое было возможно, то давным-давно варили бы изумруды тоннами и продавали бы вместо крашеного стекла.

Тут к Левкиной сестре пришли знакомые физики и стали рассказывать, как создавалась атомная бомба. Левка сидел и слушал. На следующий день был урок химии, и Валентина Ивановна рассказывала про свойства трансурановых элементов. Левка её прямо-таки извел своими подсказками. «Цепная реакция, — шипел он, — цепная реакция...» Я сидел рядом с ним и чувствовал раздражение, что «вода» в нем не держится. Ну, знаешь ты что-нибудь — дай и другим узнать, не правда ли?

Тот гад из планетария, который поставил мне двойку, слинял после зимних каникул, а другого учителя не нашли, так что перед каникулами наша классная руководительница пошла к директору и сказала, что у Зубкова будет два в четверти и за полугодие, а астрономия идет в аттестат. Тогда они поставили мне четыре и вывели три. Если у меня и были мечты выйти на серебряную медаль (а вдруг!), то теперь они окончательно лопнули. Теперь при поступлении в институт нужно будет сдавать все предметы.

Вместо красавицы Серафимы пришла какая-то нечесаная старая мымра, которая и по-русски не могла толком говорить, не соблюдала падежов. Я уж подумал, что она немка, но Левка меня обсмеял и сказал, что она чистокровная еврейка из Бердичева. Для начала она рассказала про то, как они учили русские падежи — я иду по ковру, ты идешь по коврешь, мы идем по ковром. А я слышал эту шутку по радио, когда инсценировали рассказы Чехова. Она, оказывается, еще и дура, которая и соврать-то толком не умеет. Вообще все учителя осточертели хуже некуда. Тут

пришла наша директрисса и стала вести совсем похабный разговор, что мы у неё вроде подопытных кроликов. Вот захочет нам сделать плохой аттестат, если мы ей не понравимся, — и сделает! Струянский вскочил бледный и устроил ей истерику: «Вы не имеете права так с нами разговаривать, мы взрослые люди, у нас паспорта...» А директрисса только ухмыляется: «Вот и видно, Струянский, что ты еще не взрослый человек, не умеешь разговаривать с директором школы...» Эх, скорей бы уж на волю!

Левка в воскресенье утащил меня гулять по улице Горького и два часа рассказывал, как он вчера до двенадцати ночи целовался в подъезде с Богаевской, а потом полночи не спал — яйца болели. Видели бы вы эту Богаевскую. Она сидит на одной парте с Зайцевой, которая выше всех в классе и втрое толще каждого из нас. Только у Зайцевой щеки всегда красные, будто она только что из бани, а у Богаевской лицо белое, как сметана, волос на голове мало и те закручены в крохотную шишечку на макушке. Я бы с ней в голодный год за кило сала не стал бы целоваться.

Идем мы с Левкой по улице Горького, подходим к кинотеатру «Москва». Там на углу стоит компания, и один из них что-то такое Левке сказал, я даже не расслышал. А Левка-то у нас храбрец. Остановился и стал возникать. Тотчас нас окружили, один, самый крупный стал надираться к Левке, а другой встал у него за спиной. «Ну, всё, — думаю. — Сейчас нам надают по сусалам» Не знаю, откуда у меня смелость взялась, но я сжал кулаки крепче и одновременно поддал тому, кто спереди и тому, кто был сзади. Не по морде, нет. По грудям. И чудо! Они испугались и отступили. А я еще эдак пальцами пошевелил, будто кулаки разминаю. Только пацанёнок из той компании спросил со смехом: «Ты зачем кулаками играешь?» Я ему, конечно, не ответил, потому что он пацаненок. Короче, пошли мы дальше гулять небитые. Левка уж так меня хвалил, так хвалил. Сказал, что растерялся, когда нас окружили.

После этого случая я возомнил, что уж теперь-то я точно не хуже других. Однако выяснилось, что хуже и очень скоро. Как-то на перемене один девятиклассник с поросычьим лицом нахально меня обозвал. Я немедленно дал ему в рыло, но не кулаком, а ткнул «открытой перчаткой» и дал ногой по задку, после чего он пригрозил мне расправой после школы. Я сразу струхнул, но вида не показал, развернулся и пошел в свой класс. После этого прошло месяца полтора, уже стоял март. Мы шли с Левкой по Тверской-

Ямской, болтали. Я был одет в ту самую кожаную куртку отца, которая теперь мне маловата. И тут я нос к носу столкнулся с тем парнем. Будь я умнее, я бы прошел мимо, будто его и не заметил, но страх заставил меня пригласить его к бою. Мы тут же нашли подворотню, я встал в позицию и несколько раз попытался достать его, но он холодно и расчетливо уклонялся от моих ударов. Тут я понял, что он занимается (или занимался) боксом. Уж очень ловко он уходил. Вдруг, улучив момент, он кинулся на меня и осыпал градом ударов по голове. Удары были комариные, но я ничего не мог противопоставить ему, я неуклюже разворачивался в своей тяжелой кожаной куртке. После его второй атаки, которая меня скорее удивила, чем потрясла я сказал, что мы отношения выяснили, и он согласился, потому что победил по очкам. Он ушел, а Левка стал пенять мне, как бездарно я проиграл бой, будучи вдвое сильнее. Особенно его раздражало, что я не снял куртки, которая меня ужасно стесняла. Левка не понял, что причина проигрыша сидела в моей трусливой душе, которая не давала телу команды собраться, напрячь мускулы и нанести целевой и решающий удар. Ведь я буквально день назад боролся с Левкой и смог так его скрутить, что он пошевелиться не мог. Он еще тогда спросил, почему я его отпустил, имея такое преимущество. А мне не хотелось праздновать победу над другом. Я думаю, что друзей надо любить и оберегать, ни в коем случае нельзя делать им больно ни физически, ни морально. Для этого есть враги.

Когда я вернулся домой, я стал вспоминать всю свою прошлую жизнь, когда я был трусливым, жестоким, нечестным, жадным. Хотя я не верю в бога, я стал просить его, чтобы он помог мне стать хоть немного лучше. Я теперь гражданин СССР, я отвечаю за свои поступки. Что если я опять что-нибудь украду, и меня поймают, и будут судить, и посадят в тюрьму? Тогда прощай институт, прощай прекрасные мечты. Или вдруг я убью слабого, беззащитного, убью даже не из злости, а пользуясь правом сильного? А я ведь еще ничего в жизни не попробовал. Еще я стал думать, почему девчонки так любят Левку и так равнодушны ко мне, но так ничего и не придумал.

Быстро сказка сказывается, но время летит еще быстрее. Не успели мы оглянуться, как наступили выпускные экзамены. Отец уже поговорил с главным инженером их КБ, который читал лекции в Горном институте, и тот пообещал помочь при поступлении.

Но я не хотел идти в Горный, я хотел стать химиком. Левка мне сказал под секретом, что у него будет справка, что его отец — полярник, а дети полярников имеют преимущество при поступлении в институт, так что ему достаточно сдать экзамены без двоек.

Как я ни желал получить аттестат с пятеркой по химии, ничего у меня не вышло. Материал я знал прекрасно, задачи щелкал, как орешки. На мое несчастье, когда я рассказывал материал по этилену, я забыл сказать, что его используют для ускорения созревания плодов при хранении. Из-за этой ерунды они мне поставили четыре, и четверка пошла в аттестат. Но всё равно пятерок у меня было гораздо больше. Директриса вручила мне его со словами: «Прекрасный аттестат, жаль только, что по астрономии тройка...» В день вручения мы собрались все на первом этаже школы, расходиться не хотелось и группами мы перешли во двор. Вот мимо нас прошептал Петюнчик со словами: «Всего доброго, молодые люди», а Вовка Шанурин ему ответил вдогонку: «Всего наихудейшего!» Меня прямо в пот бросило — как можно такое сказать учителю?

Между тем, наши мамы хлопотали над устройством праздничного стола. Никакого вина и водки, разумеется, не допускалось. Парни из соседнего класса хвастались, что они купили водку и будут пить её в туалете. Их дело. Вечер начался. По школьному радио крутили вальсы и танго. Девчонки облепили теперь уже бывших учителей и объяснялись им в любви. Мы открыто курили на лестничной площадке, и проходившие мимо учителя шутливо грозили нам пальцами. Потом, после двенадцати ночи каждый остался в своем маленьком кружке. Учителя все ушли, кроме Брониславы, которая должна была идти с нами на Красную площадь. Я вдруг хватился Левки, куда это он мог запропасться? Обежав этажи школы, я вышел во двор и увидел, что он стоит с Галкой Кузнецовой. Они оба наклонились, уперев ноги в невысокий заборчик вокруг клумбы, и тихо-тихо беседовали. Только тут, увидев точеный профиль Галки, я понял, как она прекрасна, и обозвал себя слепым дураком. А лица у них были нежные-нежные. Мне прямо плакать захотелось от расстройства и любви к ним обоим.

Рассвет над Москвой стал вытеснять ночь. Мы собрались и толпой пошли к центру. Машин на улице Горького почти не было. Мы шли по всей ширине улицы, пели, танцевали на ходу. Я шел рядом с Галкой и Левкой, моя прежняя любовь, Светка Гонзюк

ушла домой еще до двенадцати. Мне было грустно, но, как сказал Пушкин, печаль моя была светла. Впереди предстояло еще столько лет учебы, и я с тревогой смотрел в будущее.

Возвращались мы с Левкой молчаливые. Хотелось спать. У памятника Маяковскому мы столкнулись с пьяноватым мужиком, который хитро на нас посмотрел и сказал: «Хотите, ребята, я вам погадаю на будущее?» Мы согласились. «Ладони мне ваши не нужны, я и так всё вижу. Вот у тебя жизнь будет веселая и легкая, — сказал он Левке, — всё будет само плыть тебе в руки. А тебе всё будет доставаться упорным и тяжелым трудом, — он ткнул пальцем в мою сторону».

Мы пошли дальше, не попрощавшись с ним и не поблагодарив. Мало ли что придет пьяному на ум... Ложась спать на свой узенький диванчик, с которого на меня время от времени сыпались мамины вазочки, я подумал, что тот мужик, пожалуй, прав. Вот, к примеру, Левка, считай, уже принят в институт, а мне еще пахать и пахать...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТРАЖЕННЫЙ В ЗЕРКАЛАХ

ОЛЕГ

В первом классе мне очень хотелось обладать кусочком мела, который так мягко-бархатисто пишет на чем угодно. В руках нашей учительницы мел быстро таял, и к концу урока оставались жалкие крохи. Взять большой кусок я не решался. Почему-то в памяти осталось, что мела не хватало. Это вполне возможно, потому что шел первый послевоенный год. Я не догадывался тогда, что кроме белого существуют и другие цветные мелки. Помню, уже студентом я пришел в восторг, увидев впервые изумительно яркие тона пастелей в магазине «Художник» на Пушкинской улице. Но тогда, в 1946, я долго томился, пока, наконец, не стал обладателем кусочка мела размером с лесной орех. Я завернул его в бумажку и принес домой.

Мы в то время занимали две комнатки в коммуналке в двухэтажном деревянном домике с наклонными полами. У нас троих была комната в двенадцать квадратных метров, а в смежной, девятиметровой, жили бабушка, дедушка и моя вечнобольная тетка. Наши комнаты считались просторными. У соседей были помещения вроде купе плацкартного вагона, где все пространство занимала кровать. Я тесноты не замечал, так как не имел представления о просторе. Помню только, что возвращаясь из пионерских лагерей, всегда удивлялся мизерности нашего жилья.

Всего нас в квартире номер семь жило десять человек, но мы ухитрялись довольствоваться одним туалетом и одной раковиной! Потом соседкин сын женился, и вскоре нас стало тринадцать, но все равно я не помню, чтобы у нас разгорались скандалы из-за того, что кто-то слишком долго занимает места общего пользования.

Итак, придя в тот день домой, я развернул мел и стал думать, что бы мне такое интересное написать и на чем. Все предметы в комнате, за исключением створок буфета, не давали мне творческого простора, да и створки никуда не годились. Поэтому я пошел в коридор и там сразу же понял, что писать надо на дерматине,

которым были обиты двери у соседей. Тут на меня накатило вдохновение. Я сжал мел и начертал слово из трех аршинных букв на всех дверях. Затем я зашел в туалет и расписал этим словом ржавый стояк. Удовлетворив свой творческий зуд, я отправился гулять. Вечером с работы вернулся отец, увидел мои художества, — а соседи постарались оставить все в первозданном виде, — вызвал меня в коридор и спросил инквизиторским тоном: «Что такое ты тут написал?». По моему безразличному виду он решил, что смысл слова мне неясен. «Это же пипка твоя!» — крикнул он в раздражении от моей тупости. Не увидев на моем лице следов стыда или раскаяния, он приказал: «Возьми тряпку и все сотри сию минуту. Мел давай сюда!» Я покорно исполнил приказ и пошел доделывать чистописание.

Деньги я любил с детства. В семье их всегда было мало. Когда бы я ни просил родителей купить какой-нибудь пустяк, мне отвечали, что денег нет. Счастливые обладатели нескольких медяшек могли играть в «пристенку», или «расшибалку», или «казну» и другие увлекательные игры. Была еще игра под названием «догонялки». Один из играющих далеко бросал битую — тяжелый плоский предмет, скажем, кусок чугунной сковороды, а другой должен был так бросить свою битую, чтобы до нее можно было дотянуться растопыренными пальцами.

Однажды Ленька-шахматист, учившийся в четвертом классе, пригласил меня, второклашку, сыграть в догонялки. Он замечательно метко бросал битую, и мой долг рос столь стремительно, что я и опомниться не успел, как проиграл тридцать рублей. У меня никогда больше двадцати копеек в карманах не водилось, но я знал, что проигрыш надо платить и потому, не колеблясь, побежал домой, раскрыл бабушкин кошелек, достал красную тридцатку, сунул в карман и дунул во двор. С пренебрежением я вытащил крупноформатный денежный знак с пурпурным Лениным и протянул Леньке. Лицо моего старшего приятеля озарилось. Улыбаясь, он разгладил тридцатку, а потом аккуратненько сложил ее в несколько раз и спрятал. К сожалению, его радость оказалась преждевременной. Мои поспешные действия были замечены бабушкой, которая тут же обнаружила пропажу, а соседка видела, как я отдавал деньги Леньке. Ленька был всенародно выдран отцом. Я же слонялся и ждал наказания до вечера. Бабушка, бывало, говорила, когда мои шалости становились нестерпимыми:

«Погоди, вот я тебе подставлю скамеечку». Ко второму классу я уже понимал, что речь идет о скамейке для порки. Хотя меня почти не наказывали, я понимал, что совершил чудовищное преступление, и мне уже виделась огромная тяжелая рука отца, нещадно секущая мой зад.

Надо отдать должное бабушке. Она дождалась, пока вернувшийся с работы отец поест и только после этого доложила о моем проступке. Однако и на сей раз меня не выдрали. Отец назвал меня вором и грохнул кулаком по столу. Я страшно испугался и заплакал. Затем последовал дуэт, в котором я пел, размазывая сопли: «я больше не буду». Выслушав этот несложный припев раз пятьдесят, отец отпустил меня для извинений перед бабушкой.

Как знать, получи я тогда жестокий урок, я не посмел бы восемь лет спустя украсть у бабушки отложенные на черный день сто рублей и без зазрения совести проесть и пропить их вместе с приятелем Славкой. Сумма была настолько велика, что бабушке, видимо, пришло в голову, что она сама их куда-то задевала.

Спустя еще восемь лет я без колебаний взял чужую книгу по химическому анализу и спокойно слушал вопли потерпевшей: «Никто не видел моего Киркенштейна? Никто не брал моего Киркенштейна?» Кто не воровал, тому не понять сладость греха. Увести из-под носа — это, конечно, высший пилотаж, это работа профессионалов. Мы же, ребята, специализировались на вещах, которые плохо лежат. Вот, к примеру, в Минералогическом музее, открытом для зевак, стоят столы научных работников. На столах лежат образцы минералов. Ну как же не подойти и не посмотреть! А если понравилось и никого нет рядом, то как же не положить в карман! Потом, правда, за ненадобностью можно и выбросить.

Если дома воровство считалось страшным грехом, то на улице воровские доблести восхвалялись. В нашем маленьком дворе, замкнутом сарайчиками и общественной уборной, в которую ходили обитатели стоявшего слева полутораэтажного дома, царствовал некто по кличке «Кара». На сухом и жилистом теле, лишенном шеи, сидела гнусная бандитская рожка. Он был недомерком в свои 17–18 лет. С приходом весны он торчал на крыше сарая, где у него была голубятня. Его так и звали: «Кара-голубятник». Он был хулиган и вор и пользовался среди нас огромным уважением. Его боялись все. О его драках ходили легенды. Однажды я видел, как четверо взрослых тащили его, а он бился в истерике — видно, кому-то недодал.

Все старались сделать Каре что-нибудь приятное. Если он свистел и орал на крыше как полоумный, размахивая шестом, то Ленька-шахматист всячески старался показать свое восхищение и смеялся, держась за живот — только бы Кара поглядел в его сторону. Однажды мне подарили трещалку-автомат. Я вышел во двор с этой нехитрой послевоенной игрушкой, и Кара спросил: «Как тебя зовут!» — «Алик», — ответил я. — «Дай, Адик, пострелять.» Я охотно протянул ему автомат, и он подренькал на нем. Он мог бы и не возвращать, я бы не обиделся, счел бы за честь.

Рассказывали, что брат его сидит в тюрьме. Это еще больше вызывало уважение. Мамаша обоих братьев была величественной старухой. Губы ее напоминали сомкнувшиеся тиски. Во двор она выходила в большой пестрой шали, а однажды неожиданно появилась в нашей комнате, прослышав, что моя мама — врач. Не помню, что для нее мама сделала полезного, но та, уходя, оставила на столе огромное яблоко. Мама подношение взяла.

Вдруг я услышал от приятеля Борьки, что старший брат Кары вернулся из тюрьмы. Во дворе у нас стали появляться взрослые парни. Который из них был братом Кары, я не знал. Но пришел день, и я увидел во дворе необычайное скопление народа. Старший брат учил Кару. Что-то они не поделили. Старший брат был красив, как Алеша Попович. Кара казался перед ним еще ниже и еще уродливее. Кара был ужасно зол и жаждал крови. Однако брат быстро с ним управился и, сбив с ног, нанес сокрушительный удар в голову носком сапога. Кара обхватил голову руками и заорал так, что слышно было в Звенигороде. Встать при брате с земли он не посмел и потому катался и выл еще минут пять. Брат, видно, был человеком серьезным. Его вскоре опять забрали за тяжкое преступление. Кара вновь стал безраздельным хозяином двора.

Спустя много лет приятель мой Левка мне рассказал историю своего двора, где хозяйничал вор Парамонов. Кара, оказывается, был с ним в дружбе. Левка описывал, как друзья уделали четверых парней из Барнаула, приехавших покорять Москву в сапогах с сияющими галошами и тросточками в руках. Он, думается мне, врал, но я слушал тогда с удовольствием.

Несколько раз в жизни я наблюдал работу карманников, в том числе и одного из моих знакомых. Мне эта работа показалась неэстетичной. Что-то в остановившемся лице и шарящих руках было бесконечно подлым и жалким.

Очень мы любили блатные песенки. Про «Гоп-со-смыком» пелись бесконечные куплеты, и чего-чего только герой песни не совершал... Особенно по пьяному делу.

И все ему сходило с рук. В конце песенки милиционер получал по морде или был измочален на тонкие ниточки. Вот какие молодцы-молодцы наши воришки!

Ни дома, ни в школе ни один взрослый никогда не говорил нам, что существуют десять заповедей, которые нельзя нарушать. Воровать нехорошо? Да мало ли что еще нехорошо делать! Жевать промокашку и кидать ее в затылок однокласснику тоже нехорошо, и в парадном писать нехорошо, и из рогатки стрелять по птицам и по окнам нехорошо... В организации, где я проработал более двадцати лет, крали все и крали всё, что попадет под руку. Крали даже, я бы сказал, с неким ощущением правоты, потому, мол, что государство нам не доплачивает.

Еще в аспирантуре, в 60-е годы, я близко сошелся с К. Однажды мы поздно возвращались с работы. Стоя на эскалаторе ко мне лицом, К. подмигнул и раскрыл свой огромный портфель. В портфеле лежал наш лабораторный микроскоп.

— Зачем он тебе? — спрашиваю.

— А зачем он лаборатории? На нем никто никогда не работает, — отвечает К.

— Ну, а ты-то что собираешься с ним делать? — спрашиваю. — Орехи колоть, что ли?

— А я буду на нем исследования проводить, — важно отвечает он.

Я пожал плечами. Он пронес свою добычу через два кордона охраны, рисковал. Его дело.

Через несколько дней встретил его в коридоре. Стоит расстроенный.

— Что случилось?

— Паршивые мои дела. Вдруг хватились этого микроскопа, будь он неладен. Сто лет никому не был нужен. А тут от безделья все кинулись искать. И меня подозревают.

— И что собираешься делать?

— Надо теперь по-тихому назад его притащить... Тут такая петрушка вышла. Они меня на тестах поймали... кажется.

— Кто поймал?

— Да мой шеф.

— Каким образом?

— Понимаешь, написал я статью. Ему не понравился стиль изложения. Посадил меня около телефона и стал диктовать. Я, понимаешь ли, строчу, стараюсь. Вдруг Воронцова входит, звонит кому-то: трали-вали-кошки-с...и. Шеф диктует, я стараюсь не слушать Воронцову, строчу. И вдруг она говорит, что у нас работает следователь по поводу пропажи микроскопа. И тут у меня рука словно замерзла. Шеф диктует, а я не строчу, еле-еле по бумаге вожу. Выдал себя с головой.

— Они тебя уличили?

— Нет, конечно. Они ведь высококультурные люди, черт бы их всех побрал. Надо тайно доставить микроскоп в институт...

— Ты что, на меня рассчитываешь?

— Да нет, пожалуй. Вот если бы ты согласился в субботу прийти посидеть в лаборатории. Одному как-то не с руки...

Идти в субботу в институт мне ужасно не хотелось. Но раз он просит... Человек неплохой, умный. К тому же, чего доброго, карьере себе испортит из-за минутной глупости... Я согласился.

К. притащился на работу через час после меня. Я уже изнывал, мне хотелось на волю. К. надел перчатки и, мигом собрав микроскоп, унес его в фотолaborаторию, которую почему-то, в отличие от всех остальных помещений, не опечатывали.

— Фу, спасибо, свободен, — сказал он мне и поставил на плитку колбу с водой. — Чаю со мной попьешь?

— Нет, поеду на книжный базар, — ответил я. — Пока.

— Счастливо.

В понедельник кто-то из лаборатории сунулся в фотокомнату и обнаружил микроскоп. По этому случаю созвали общее собрание, долго и возмущенно кричали. Советовали взять отпечатки пальцев с микроскопа, привести следователя с собакой.

Много чего кричали. Оказалось, что ситуация дошла до заместителя директора по режиму, и тот дал приказ охране следить и изловить злоумышленника. Охрана на этот раз жидко обо.... Наш заведующий лабораторией долго скулил по этому поводу, ибо он заварил всю кашу, написав докладную в дирекцию.

Да, кстати, К. в понедельник на работу не вышел и правильно сделал. Кто-то среди публики в числе подозреваемых назвал и его.

Мои родители никакого участия в жизни двора не принимали. Мамы моих дворовых приятелей, напротив, проводили

там большую часть вечеров. Меня они как-то не замечали. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь из старших ответил на мое «здрасьте» или задал хоть один пустяковый вопрос вроде «Как тебя зовут?» или «Как дела?». Что они были за люди? По рассказам детей они работали на мелких фабричках рабочими или уборщицами. Мать моего приятеля Борьки, с которым я изъездил пол-Москвы на подножке трамвая, нигде не работала и зарабатывала спекуляцией. Муж ее был шофером, пил часто и помногу. Рядом с ними жила дальняя родня, которая регулярно горела (возможно, гнали самогон) и столь же регулярно сидела по тюрьмам. Думаю, что двор и нижний этаж нас ненавидели. Мои родители были единственными интеллигентами в этом рабоче-пролетарском месиве. Я к тому же сдуру, сразу после того как мы вернулись в 1943 из эвакуации, выбегал во двор с ликующим криком «Мы богатые!». Наши две комнатухи с «городской мебелью» казались мне богатством после деревни Болтачево в Башкирии. Я вылетал во двор с воплем «мы богатые!» и вдохновенно врал о ящиках, набитых яблоками и конфетами. При этом я представлял себе три ящика письменного стола, в которых лежат душистые краснобокие яблоки. Вокруг меня собиралась толпа мальчишек и девчонок. Я помню их горящие глаза. Я врал, а они верили и несли мою ложь в нищие, голодные закутки нашего двора. И там, в этих жалких комнатках нам воздавалось сторицей. Ну, как же иначе. Евреи! Мы воюем, а они обогащаются.... Поэтому маленькие происшествия нашего ребячьего мирка приводили иногда к крупным взрослым деяниям. Однажды после ссоры Борька подкараулил меня во дворе и здоровым куском кирпича пробил голову. Я ошалел от вида крови и кинулся домой. Бабушка тоже страшно перепугалась и сунула меня под кран, потом вылила мне на голову флакон йода с истерическим криком «Закрой глаза!» и, обмотав полотенцем, как чалмой, потащила в амбулаторию. Там мне обработали ранку, сделали противостолбнячный укол, успокоили бабушку валерьянкой и отправили домой.

Во дворе в связи со случившимся произошли грандиозные перемены. Несколько мужиков притащили бревна, металлическую ленту и колючую проволоку. В течение двух часов выросла изгородь в человеческий рост — прообраз Берлинской стены, наглухо перекрывшая свободное пространство. На наш дом осталась лишь большая зеленоватая лужа с унылым древним тополем над ней. Меня изгнали со двора.

Строители, правда, не учли, что Время обладает колоссальной разрушительной силой. Про египетские пирамиды они вряд ли слышали, а о древнем Риме лишь догадывались. А жаль. Они узнали бы, что все стареет во времени, все увлекается в огромную ненасытную воронку, именуемую вечностью. Не знали они, что умирают даже камни, выветриваются, истираются в пыль, входят строительными кирпичиками атомов и молекул в нежные тела живой природы...

Поскольку созданная нашими соседями изгородь была сотворена не из грандиозных каменных блоков, а из подручных материалов, то вскоре в ней появились лазейки, через которые, сокращая путь, топали стар и млад. Изгородь хирела и таяла на глазах. Через два месяца лишь мелкие углубления обозначали места, где были вырыты ямы для столбов.

Стрельба, огонь были моей всегдашней страстью. Мы разводили костры во дворе и получали нагоняи от взрослых, мастерили из серных головок спичек «поджиги», которые упоительно бахали, сами изготавливали пистоны. Наши руки тосковали по оружию. Не по тем детским игрушкам-погремушкам, которые тренькали, цик-цикали и ничего не весили. Нет. Нам хотелось иметь массивные стальные пистолеты, тяжелые ножи с большими лезвиями. Настоящее оружие! Однажды кто-то с автобазы украл патроны, маркированные восхитительными фиолетовыми колечками на кончиках пуль. Пули были красноватого цвета и крепились к огромным гильзам, внутри которых шуршал порошок. Наверное, это был порох. Мне досталось целых четыре патрона. Я уже мечтал, как положу в карман тяжеленькие, золотисто-красные пули с фиолетовыми колечками. Необходимо было только освободить их от громоздких гильз. Я стоял и тюкал гильзой по бревну, когда меня застал за этим неторопливым занятием отец. Он мгновенно выхватил патроны из моих рук, а меня взял за ухо и отвел домой.

Страсть к пиротехнике горела во мне до самого конца школы. В нашем стареньком домике было печное отопление, и я любил подкладывать в голландку разные жидкости и порошки из маминной аптечки. Наблюдал, как вспыхивает марганцовка или коптит камфорное масло. При этом я страшил бабушку, что вот-вот произойдет взрыв. Бабушка голосила со страху, а вечером ябедничала родителям.

Мои честолюбивые родители начали учить меня чтению в пять лет. Сначала все шло легко и приятно. Читать «Дядю Степу», водя пальцем по строке и заранее зная текст, — проще простого. Но сложность заданий все росла. Через месяц меня заставили прочесть «Акулу». Никакого интереса этот пресный рассказ у меня не вызвал. Потом отец решил открыть для меня мир животных. Сначала мне предложили стишок «Где обедал воробей?», а потом пошла нудятина про бегемота. Я изнывал от желания слинять во двор и потому постарался как можно быстрее прожевать текст. При этом я пропустил строчку, в результате чего бегемот взлетел в воздух и погнался за бабочкой, которая нырнула в бассейн.

Отец слушал вполуха, но нелепость тотчас его насторожила, и он велел перечитать абзац. Я повторил с теми же ошибками. Отец вспылил и потребовал вновь перечитать абзац. Слезы обиды мешали мне читать, и потому я выдал текст без изменений. Отец рассвирепел. Вырвал у меня книжку и проорал мне отрывок в самое ухо.

— На, читай еще раз, балда! — и книжка больно ткнулась ко-
решком в мои руки. Тут я заплакал навзрыд и в перерыве между всхлипываниями, наконец, прочел, что бегемот нырнул в бассейн, а бабочка, которая на нем отдыхала, поднялась в воздух. В первом классе я уже совершенно свободно читал. Память была отменная. Клавдия Николаевна, наша классная руководительница, часто вызывала меня на уроках внеклассного чтения, и я пересказывал почти дословно рассказы и сказки. Стихи я тогда не любил. Однажды я выдал рассказ Гайдара про горячий волшебный камень, который возвращает людям молодость. Клавдия Николаевна была потрясена. Она погладила меня по голове и поставила в журнал пятерку. В пионерских лагерях я на ночь в палате устраивал литературный час. Особенно нравилась ребятам книжка «Старик Хоттабыч». Тогда она была редкостью. За эту книжку меня стали звать Хоттабычем, а потом переделали в Потапыча.

Сейчас я точно знаю, что независимо от известных литераторов я в восемь лет изобрел жанр устного рассказа-экспромта. После нескольких пробных выступлений на темы Отечественной войны я обнаглел и предложил себя в сольном номере на школьном утреннике. Нисколько не робея, не имея понятия, что буду плести, я вышел вперед и описал историю боя наших с немцами. Кончался рассказ словами: «Наши пошли дальше вперед...» Раздались аплодисменты. Наша красивая завучиха Марья Васильевна,

аплодируя, спросила на весь зал: «Где ты это все прочел?» Я пожал плечами и скользнул в толпу. Толька Свиридов из параллельного класса шел за мной и злобно шипел: «Ведь ты все выдумал, гад! Все выдумал!» Я хранил достойное литераторов молчание. Стыда за содеянное я не чувствовал.

В детстве книг у меня было немного. Я очень любил «Приключения Буратино» и читал их несчетное число раз. В нашей комнате стоял небольшой книжный шкаф с выдвижными стеклянными окнами, которые очень замысловато убирались вовнутрь. Книги там были самые разнообразные. Бог весть откуда заплутавшие тома из довоенных изданий, несколько книг с библиотечным штампом, тяжелые фолианты из технической энциклопедии, толстая книга о путешествии Дарвина на корабле «Бигль», которую я так и не открыл, и всякая всячина в истрепанных бумажных обложках. Две нижние полки занимали книги на немецком и английском языках, технические справочники Hütte и машины медицинские учебники со страшными картинками. Помню, как я ломал голову над английским *the*, который читал, как «тне». Это слово никак не походило на русские слова.

В средних классах чтение было сумбурным. Школьную программу просто страшно вспоминать. Что читали! Что учили! Как сейчас вижу Эдичку Смирнова, который читает вслух в хрестоматии: «Молений, страданий и стонов полна/Катилась еврейских погромов волна./Вздымалась волна, опадала и вновь/Струилась горячая братская кровь». Он тычет пальцем в строчки и хохочет: «Горячая братская кровь! Евреи нам братья? Ах-ха-ха! Ой-не-могу!»

Действительно, «еврей» — это ругательство. Этим словом школьные товарищи обзывают друг друга за неприличные поступки. Еще из разговоров в школе: «Есть русские, которые хуже евреев». Это обычно говорится в присутствии тех «жидков», к которым относятся хорошо, как к своим. Иногда удостоят похвалы — «он ничуть не хуже русского». Короче — в книгах одно, а в жизни другое, и эти вещи смешивать нельзя.

А ведь были и прекрасные сказки Андерсена, был «Робинзон Крузо». Чаше, правда, попадались книжки из профсоюзной библиотеки. Родители не могли меня научить тому, чего не знали сами. Потом, в конце школы, началась пора подписных изданий. Дома появились два первых тома Роллана. Разыгрывали на работе подписку, и папа ее выиграл. Остальные почему-то выкупать не стали, и через несколько лет я те книжки тайком унес

в букинистический магазин. Паспортов тогда не предъявляли, и я придумал фамилию и адрес, боялся, что разыщут и накажут. Появляющиеся в доме классики все еще не были книгами-для-меня. Я в это время потел над очень нужной и полезной книгой, которую все передовые рабочие то ли уже прочли, то ли собирались прочесть. Я уже догадывался о существовании Гамлета, но познавал, как дед Щукарь бегал по нужде во чисто поле.

Позже, студентом, я хохотал над остротами Джерома К. Джерома, шпарил наизусть Ильфа и Петрова и вдруг научился читать книги. Именно вдруг. Я заканчивал «Графа Монте-Кристо». Два дня я не мог от него оторваться. И вот последние страницы. Дантес уезжает со своей прекрасной возлюбленной, уезжает навсегда, и мы не знаем, чем он себя займет в ближайшие двадцать лет. И вдруг я понял, что и Дюма не знает. Человеку, который подчинил всю свою жизнь идее мести, нечего делать в мире после ее свершения. Дюма мог бы убить Дантеса руками одного из его врагов или, что было бы еще лучше, мог показать неуклонную деградацию Дантеса, увеличивающееся сходство героя с теми, кто его предал и преследовал... Это была моя первая самостоятельная мыслишка, не высосанная из учебника.

В школе мы проходили классиков. Но классики писали не для детей. Высокие истины «Войны и мира» часто недоступны и взрослому, а лирические отступления «Евгения Онегина» может оценить лишь читатель с развитым художественным вкусом и склонностью к философии. Не поэтому ли публика холодно встретила вышедшую поэму?

Как-то я спросил у преподавателя литературы, из каких соображений в курс средней школы включены столь сложные произведения. Он мне ответил, что это — традиция еще с гимназических времен. Кроме того, если ученики в школе не познакомятся с классиками, то есть опасения, что многие так никогда в жизни их и не откроют. «Ну, и черт с ними, — отвечал я. — Если человек не читает классиков, значит у него нет такой потребности. А вы так изжевали великую литературу, что в голове остался лишь сюжет и мнение вездесущего господина Белинского, который за нас все давно решил».

Моя сестра в четырнадцать лет прочла «Былое и думы». У нее осталось впечатление, что это толстая, скучная книга. А я прочел ее впервые в тридцать пять и был в полном восхищении. Все хорошо в свое время.

...Как-то осенью с приятелем мы отправились по грибы в Смоленскую область. Утро и день мы проводили в лесах; вечером после обработки грибов приятель читал вслух купленную в сельском магазинчике книгу поэм Пушкина. В спящей деревне, в бревенчатой избушке мой приятель читал, и слезы восторга перед открывающимся чудом закипали у нас на глазах. Боже мой! Сколько грусти, сколько горечи!

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован,
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел её романа...

Трактаты можно писать по одной этой строфе!

Не сосчитать удивительных и радостных встречи с древними и современными авторами. Если мне везло в жизни, то уж, разумеется, не в последнюю очередь на книги. Некоторые заражали меня оптимизмом, от других я впадал в депрессию. Были такие, которые я читал и оставлял с мыслью вернуться к ним в будущем. Я делал закладки на некоторых страницах. Книги спасали меня от мира газетных сплетен и грязной политической возни, от вранья и оглуляющей телеиндустрии, а иногда и от семейных неурядиц.

Однажды я прочел книгу Сент-Экзюпери «Военный летчик» и спустя месяц вновь перечитал ее, отмечая закладками наиболее интересные места. Мне показалось, что я недостойн этой великой книги. Я читал и перечитывал ее, и мне было стыдно за свою мелкую, погрязшую в нелепых и жалких событиях жизнь. Умом я понимал, что Сент-Экзюпери мне не чета, что он — огромный и сильный человек, который ничего не выдумал, а написал правду о себе.

Вот в Евангелии Сын Божий поступает согласно своему великому предназначению. Его величие не принижает меня. Ветхий

Завет мне напоминает учебник, учебник жизни, кодекс правил, которому очень трудно следовать, но стараться необходимо. Если не всегда получается жить по заповедям, то на это есть милость и всепрощение Бога и возможность покаяться... Но военный летчик по фамилии Сент-Экзюпери — всего лишь человек. И я сижу в раздумьях, почему я так мелок и недоброжелателен, почему меня так раздражают люди? Ну да, он силен необыкновенно и потому добр, а я слаб и потому зол. Все свое зло я объясняю проклятым обществом, неустроенностью нашей жизни. То же самое делал в свое время наш великий вождь и учитель, вечно живой мертвец. Он ох как не любил Россию, ее народ и особенно «кхъстьян, из котогых ежедневно выгастает капитализм».

А Сент-Экзюпери, «летя над Аррасом, принял на себя ответственность за толпу, которая была под ним». Он пишет: «Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни совершили. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что его жена потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести. Потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит. И, только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу... Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров, Гийоме, Ошеде. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими».

Я долго размышлял над открывшимися мне истинами и понял:

— правители разочаровали нас, показывая в течение десятилетий дурной пример обращения с народом и страной;

— государство и народ, среди которого я живу, никогда не считали меня полноценным человеком.

Но почему Сент-Экзюпери никого не винит — ни правительство Франции, ни народ Франции, ни даже нацистов? Да потому, что он чертовски свободен. Он свободно выбирает свою судьбу. «Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя, — пишет он. —

Что же я такое, если я не принимаю участия?.. Только выполнение своего долга позволяет человеку стать чем-то». А мы, то есть я и мои приятели, стыдились говорить о Долге потому, что государственная пропаганда беспрестанно о нем толковала.

Государство всегда нас обманывало. Нас учили праведной жизни те, кто сами погрязли в пороках... И все же я чувствовал, что хитрю, лавирую. Спорить с Сент-Экзюпери не о чем и незачем. Он поставил последнюю точку, не вернувшись с боевого вылета в 1944-м, не оставив своим читателям ни малейшего повода упрекнуть его в неискренности.

Как же хороша его книга! Ее конструкция напоминает симфонию с повторением основной темы и постепенным ее усилением, переходящим в финале в мощное крещендо: «Я верую».

Две революции плюс гражданская война уничтожили цвет нации и поставили над всем посредственность. Все, что было чистого и возвышенного, копилось по гранам в течение долгих, мучительных столетий, эти нежные кристаллы доброты, любви и уважения к личности, было изгажено, вырвано с корнем и выброшено. Ежедневно мы проходили школу неуважения к Человеку — в транспорте, который не желает ходить регулярно, в давке за продуктами, когда мерзейшие торгаши играют роль наших благодетелей, на тошнотворных собраниях, где мы были обязаны сидеть против воли... Как можно уважать себя после того, как стоишь и хлопаешь в ладоши в честь партийного истукана, увешанного, как рождественская елка, знаками трудовой и боевой доблести всех стран мира?!

Как-то в начале восьмидесятых у нас на работе было собрание из тех, что проводятся по инициативе райкома партии. Полтора часа сто семьдесят человек ввали друг другу, каким должен быть нравственный облик жителя образцового коммунистического города, то есть нашей заплеванной, наводненной голодными толпами приезжих из провинции Столицы. А говорилось все это в нашей паскудной закрытой организации, где на всех должностях повыше сидят родственники, где безделье сынков, дочек, племянников узаконено, где половина работников — неизлечимые горькие пьяницы, травящиеся казенным спиртом, где профсоюзный комитет занят целиком обслуживанием верхушки и где существуют целые лаборатории, созданные лишь для обработки садовых участков начальства с весны до осени...

В том коллективном кривлянье было что-то особенно мерзкое (шли последние годы правления дутого Генералиссимуса). Это

чувствовали все, и потому выходили к трибуне, не подымая глаз, по записочкам бормотали с десятков стереотипных фраз и спешили на место.

Пастернак однажды заметил: «Мы сами создали себе добавочные пути, мы сами возвели в ежедневный и ежечасный ритуал присягу в верности, которая, чем чаще ее повторяют, тем больше теряет в своей цели».

Только не мы сами их создали. Ни я, ни мои друзья участия в создании этих пут не принимали. Нам они были навязаны властью быдла, воровской малины, которая правила Россией семьдесят пять лет. Эта власть изуродовала наших предков, нас и наших потомков. И поэтому слова Сент-Экзюпери звучат для нас реквиемом: «Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах людей заложено уважение к Человеку, люди в конце концов создадут такой общественный, политический или экономический строй, который вознесет это уважение превыше всего. Основа всякой культуры прежде всего — в самом человеке. Прежде всего это присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к огню».

Сейчас, когда мне за пятьдесят, я смотрю на себя — школьника, и мне кажется, что я был очень подвижным, очень любил бороться, но ни в коем случае не драться. В соответствии с генетическим кодом, заложенным в меня природой, я относился не к альфа-петуху, который клюет всех, и не к бета-петуху, который клюет всех, кроме альфы, и не к гамма-петуху, который клюет всех, кроме альфы и беты... Короче, в классе и пионерском отряде я всегда был ближе к концу греческого алфавита, и рядом со мной паслись тихие обормотки субтильного сложения.

Однако и на меня временами накатывали волны храбрости. Помню, в первом классе я повадился ходить в соседский двор. Там было полно мальчишек моего возраста. Меня не гнали, и вскоре я со всеми подружился. Среди них была и своя Омега — Толька Мухин. Он был рослым, на полголовы выше всех, но слабого характера. Однажды кто-то притащил прекрасно оформленную патристическую книжку о матушке-Москве со стишками. Там был нарисован и описан массовый кулачный бой. Удалой русский кулачный бой. Целую неделю после этого в порядке греческого алфавита Юрка мутузил Витьку, Витька мутузил Сережку и так далее. Все

они, разумеется, мутузили Тольку Мухина. Я появился у них во дворе, когда игра в «наш русский кулачный бой» уже приелась. Всем, кроме Тольки-Омеги. Увидев меня, Толька заговорил-зашипел угрозам басом и начал довольно чувствительно тыкать кулаками мне под ребра. Я поеживался и молчал. Драться на чужой территории, «в гостях» мне было неудобно. Еле-еле я от него отвызался. Позже, что ни день, Толька стал из меня делать «грушу». Однажды, не помню уж, как это произошло, я развернулся и дал ему с размаха по сопатке. Всего один раз. Я услышал вопль Омеги и, не оглядываясь, рванул домой. До-олго я потом получал разрешение прийти на соседский двор. Особенно на меня злился наш Ленька-шахматист, который случайно видел, как я с криком «Мама!» бежал с поля боя. Однажды, заметив, что за мной идет охота, он подкрался сзади и обхватил руками, выдавая меня преследователям. На мое счастье, мама была дома и закричала на Леньку в окошко.

Как-то к нам во двор повадился мальчишка по прозвищу «Ганс». Его лицо действительно напоминало немца, изображаемого в журнале «Крокодил», — узкое, длинноносое, с крохотными злыми глазками. Обликом и одеждой он напоминал крысенка, манерами — бывалого блатняжку. Роста он был незначительного, сложения хилого, но хулиганская слава создавала вокруг него ореол непобедимости. Контачил он в основном с Борькой. Тем самым, который в детстве прошиб мне кирпичом голову. Как-то раз они что-то не поделили, и Ганс отлупил Борьку. Бил он его картинно, как бы ощущая затылком, спиной свет юпитеров, а Борька лежал на земле, спрятав лицо и живот. В общем, выглядела эта сцена впечатляюще — мол, бьют наших, чтобы чужие боялись. Финал, правда, Борька подпортил. Только Ганс повернулся к нему спиной, чтобы величественно удалиться, как Борька вскочил, схватил горсть песка и мелких камней и запустил в обидчика, после чего рванул домой во все лопатки. Ганс пробежал за ним шага три, потом махнул рукой и, криво улыбнувшись, убрался восвояси.

Не помню уж, как это произошло, но в один прекрасный день Ганс решил поточить когти о меня. Наши отношения стремительно ухудшались. Я учился тогда в вечернюю смену и задерживался ради пионерских дел. Однажды в приятный морозный вечер после легкого снегопада я возвращался домой. Мои сверстники играли в хоккей в переулке, и я остановился поглазеть. Рядом со мной стоял Валерка Звездин, розовощекий крепыш из параллельного

класса. Внезапно я довольно чувствительно приземлился на зад. Оказывается, Ганс подкрался и дал мне мастерскую подножку. Мне стало ужасно обидно и особенно стыдно перед Валеркой, с которым я только что вел солидный, равный разговор. Гансик же, не обращая на меня более внимания, стал заискивать перед Валеркой, как собачонка. Видно было, что он уважает и боится Звездина. Тут мое унижение стало невыносимым. Я отозвал в сторону Ганса и заплетающимся языком назначил ему время и место дуэли — в нашем дворе в воскресенье в десять ноль-ноль. Ганс весело махнул рукой: «Ладно, приду», а я плохо спал ночь и все готовился к поединку. Утром, в воскресенье, у меня было отнюдь не боевое, кислое настроение. Злость прошла, и сердце дрожало, как студень. Тем не менее, без пяти десять я собрал себя в кулак и вышел во двор. Ганса не было. Там копался в снегу Борька. Он тоже в последнее время, глядя на Ганса, стал обращаться со мной пренебрежительно, и мы с трудом сохраняли мир.

Ганс не появился и через час. Я уже с облегчением вздохнул и решил, что бескровно выиграл дуэль. Ведь противник не явился и тем самым признал свою слабость. Но вдруг в самый неожиданный момент он возник, веселый и нахальный. Сердце мое упало в бездонный колодец, но отступать было некуда. Я сжал кулаки и поединок начался. Драться я не умел, но очень старался и нанес сокрушительный удар Гансу в голову. Шапка слетела с него, и он едва не упал, однако бойцовский дух ему не изменил. Он весело хмыкнул и пошел на меня. Я закусил губу и приготовился к атаке. Увидев, что голыми руками меня не взять, Ганс скорчил страшную рожу, запустил руку за пазуху и вытащил что-то металлическое. Это было настолько вопиющим нарушением кодекса дуэли, что я растерялся и опустил руки. Ганс мгновенно оценил ситуацию и стукнул меня в грудь металлическим предметом. Удара я даже не почувствовал, но отступил на шаг. Ганс продолжал меня теснить. Скорее всего я потерпел бы позорное поражение, но на мое счастье открылась форточка, и мой папа строго прикрикнул на Ганса. Тот ухмыльнулся, сунул руки в карманы и, как ни в чем не бывало, удалился.

Тут мой воинственный пыл вновь разгорелся, и я решил заодно свести счеты с Борькой, который с удовольствием наблюдал сцену моего позора. Борька вначале струхнул, но видя, что я не перехожу к активным действиям, поступил так же, как Ганс. Он вытащил из кармана здоровенный ключ и встал в оборону.

Я снова сник и едва смог достойно ретироваться. Папа долго после этого распекал меня за слюнтяйство.

Прошло несколько лет. Я жил без конфликтов, уступая сильным и нахальным, но к пятнадцати годам комплекс трусости стал мне мешать жить. В это время девчонки стали завладевать нашими умами. Только-только разрешили совместное обучение и отношения с девчонками приобрели необыкновенную остроту и привлекательность. На почве ревности возникла нешуточная вражда с мальчишками из соседних дворов. Хождение в школу становилось небезопасным.

Как-то раз нас обстреляли снежками. Мы остановились и непечатно выразили свое неудовольствие. К нам тут же подошли и предложили пойти «поговорить». Я наговорил дерзостей противникам, но идти в подворотню отказался, так как торопился в школу.

На следующий день меня подкараулили двое и затащили в подъезд. Там мне так врезали по физиономии, что белый свет померк в глазах в буквальном смысле слова. Встретившийся мне по пути домой Вовка Шанурин осуждающе поглядел на меня и сказал: «Что же ты не отмахнулся?» Он был прав. Тебя могут бить, но нельзя при этом изображать филейную часть. Надо бороться, «отмахиваться».

Моим обидчикам, по-видимому, экзекуция понравилась. На следующее утро, когда я шел с приятелем Левкой, нас снова обстреляли снежками. Левка остановился и громко выразил свое возмущение. Тотчас к нему подошли и предложили пойти «поговорить». Но Левка, в отличие от меня, был опытным и хладнокровным бойцом. Он схватился с одним из моих обидчиков за грудки, и так они стояли, пока Левка не сделал попытку дать подножку. Прием не получился, но в этот момент я неожиданно получил от моего прежнего обидчика по лицу. Он резко взмахнул рукой, может быть, неумышленно, а я не успел увернуться. Тут я довольно сильно стукнул его в плечо. (Как-то всегда получалось, что я не мог бить человека по лицу; с трудом могу и сейчас). Он тут же оставил Левку и пошел на меня. Ну как же! Мясо, которое вчера так славно отбили, взбунтовалось! Но Левка не дал ему уйти и тем самым спас меня. Драки не получилось, и мы разошлись без потерь. Интересно, что один единственный мой удар привел в равновесие сложную систему взаимоотношений с соседским двором. Хотя причиной могло быть и то, что Левку в тот день несправедливо выгнали с истории. Он шел домой злой как черт, и, увидев компанию

на другой стороне улицы, специально перешел туда с намерением подраться и «выпустить пар». Но противники, как видно, почувствовали опасность и, хотя их было трое, молча пропустили Левку, втайне проникшись уважением к его бесстрашию.

Вскоре мне представился случай отплатить Левке добром за добро. Мы гуляли возле кинотеатра «Москва», что на площади Маяковского. Там скучала кучка ребят. Увидев еврейскую Левкину личность, один из компании сделал громкое замечание на сей счет, после чего они все очень развеселились. Левка стал возникать, и тотчас нас окружили. Один из компании стал надираться к Левке, а другой встал сзади, чтобы дать подножку. Тут на меня накатило, и я ткнул обоих кулаками в грудь. Противники наши скорее всего не были храбрецами. Ситуация тут же разрешилась безобидным трепом. Левка потом долго вспоминал мой «подвиг» и признавался, что в первый момент пал духом.

С годами я стал агрессивнее, тверже наощупь, но то, что гнездилось в детстве в глубине души — робость, легкая ранимость, неумение держать себя в руках, — так и осталось со мной на всю жизнь. Хотя я теперь гораздо легче иду на конфликты и чаще всего одерживаю физические и моральные победы, чувствую, что остался по-прежнему трусом. Увеличился лишь защитный барьер, толще стала кожа, но если опасность будет велика, думается мне, я так же, как в детстве, опущу руки и позволю противникам бить и мучить меня.

Отчего один стоек и бесстрашен, а другой, не уступающий в физической силе, — слюнтяй и трус, легко теряющий голову при малейшей опасности? Отчего? Мой знакомый Яша считает, что это заложено в гены природой. У него два сына. Воспитывали их, я бы сказал, на особый манер, не повышая голоса и не применяя силу. Воспитывали совершенно одинаково в условиях полного равенства, а сыновья выросли совершенно разными. Старший — мягкий, непоседливый, улыбчивый, а младший — жесткий, упорный, серьезный. Отец сам удивляется необычной духовной силе, которая сидит в младшем сыне. Благодаря своему непобедимому характеру младший всегда одерживает победу над старшим. «Если ты трус от природы, — говорит Яша, — то как бы ты ни старался, как бы ни воспитывал себя, какие бы мускулы ни наращивал, твоя трусость вылезет в критический момент». Думаю, он прав... Только, может быть, это не трусость, а более широкое понятие — слабость.

Врожденная слабость характера — это болезнь, которая усугубляется презрением к самому себе. Об этом гениально точно сказал Ницше: «На этой болотистой почве презрения к самому себе процветают всевозможные ядовитые растения, такие маленькие, прячущиеся от света, скрытые и нежные и в то же время гниющие. Здесь кишат черви злопамятства и мщения, здесь воздух отравлен тайнами, в которых слишком стыдно признаваться; здесь плетется бесконечная сеть самых низких заговоров, заговоров тех, кто страдает, против тех, кто преуспевает и одерживает победы; здесь ненавистен даже вид людей-победителей, словно богатство, успех, сила, гордость и сознание своего могущества сами по себе уже являются порочными вещами, за которые человек должен нести горькое искупление. О, как эти люди хотели бы стать исполнителями наказания за подобные проступки, как они хотели бы стать палачами!..»

В ненависти Ницше к больным и слабым, конечно, есть что-то патологическое, но их бессильные, томительные, вязкие мечты об отмщении сильным и здоровым действительно существуют. Как знать, если бы слабый мог занять место властителя, не превзошел бы он многократно по жестокости и тонкому, извращенному садизму все, что приносит плохого правление сильного... Сколько раз я сам упивался мечтами мести своим обидчикам; как часто мой мозг затмевали бесконечные картины, в которых я наслаждался властью над своими жертвами. Эта умственная жвачка изнуряет и опустошает душу. Чем дольше это продолжается, тем меньше остается решимости при столкновении с реальной жизнью.

Самое ничтожное столкновение на улице, в транспорте, в любом общественном месте приводит к многократному проигрыванию, как на заезженной пластинке, случившейся ситуации. Умом я понимаю, что причина кроется в моей физиологии, но справиться с этим кошмаром не в состоянии. Единственным моим лекарством является немедленная физическая разрядка. Однажды в овощном магазине на меня без причины наорал какой-то полупомешанный тип. Увидев, что я растерялся, он даже замахнулся. Я почувствовал, что должен сейчас же, чего бы это мне ни стоило, отплатить ему. Я вышел из магазина и подождал его. Он взглянул на меня и все понял. Он не издал ни единого звука. И тут я при всем народе рубанул его сверху вниз наискосок по виску. Он упал и застыл кучей коровьего навоза. На душе у меня сразу стало

пусто и празднично. Никаких картин мести, никаких страданий-переживаний.

А вот другой пример. Два с лишним года меня мучила одна сцена. Я ехал в метро и читал. Было около десяти часов вечера. Внезапно я почувствовал довольно крепкое похлопывание по плечу. Подняв глаза, я увидел очень плотного мужчину моего возраста или чуть старше и молодую женщину. В первый момент мне показалось, что она в положении, и я вскочил, чуть-ли не извиняясь. Женщина села на мое место, благодарно взглянула на своего спутника. Все это было проделано в полном молчании. Меня сдвинули, как мебель! С тех пор в моей душе долго кипела обида. Обида за то, что я как последний дурак позволил, чтобы по мне стучали, как по ящику, за то, что мне даже не сказали спасибо. Я ненавидел бычий загрибок ее спутника и могучий разворот его плеч, ненавидел ее бледное нежное лицо с большими влюбленными оленьими глазами. Сколько раз в мечтах я бил и терзал тушу ее спутника, сколько раз я выволакивал их из вагона...

Не-ет, я далек от христианского милосердия. В моей душе море зла, оно иногда захлестывает меня и душит.

Часто мне говорят самые различные люди, что я добрый. Они не понимают, что доброта моя — от слабости характера. А что, если у меня просто нет сил и храбрости творить зло? Я не верю в христианские добродетели слабых. Слабые вынуждены вести себя безобидно. Многие из них делают добро, причем строго дозированное добро, ни о каком самопожертвовании не может быть и речи — просто из необходимости совершать хоть какие-нибудь поступки.

Истинное милосердие и добро — это не вынужденное поведение, а результат свободного выбора сильной натуры. Таково мое убеждение.

Кажется, создалось впечатление, что я счастливо и насыщенно прожил детство и юность; увы, не все я вам поведал, не все.

Страшный 1952 год. Дело врачей. Для тех, кто не знает: обвинили группу ведущих специалистов страны в покушении на жизнь партийной элиты. «Раскрыла» этот чудовищный заговор простая советская женщина-врач Тимашук. Простую советскую женщину-врача наградили орденом Ленина. Потом, когда широко задуманная великим Сталиным подлость не получилась, эту простую советскую женщину-врача убрали без шума. Думаю, даже сын родной не знает, где гниют кости этой дуры. Но это было потом. А в тот день, когда объявили по радио фамилии врачей,

я, как обычно, спокойно взял портфель и пошел в школу. На лестнице меня схватил Васька Шматко: «Ты за что, гад, Жданова убил?» — «Ты сдурел, что ли?» — ответил я. (Меня ввело в заблуждение то, что в списке было несколько русских фамилий.) Тут Шматко увидел на лестнице Трахтмана, схватил его за шиворот и радостно повторил свой вопрос.

Весь день класс буквально кипел страстями. Мы пятеро чувствовали себя именинниками, ждущими начала аутодафе. А пришедшая в класс химичка, грубо размалеванная баба средних лет, вместо химии с удовольствием отвечала на град вопросов с мест. Она так увлеклась, что после звонка не пошла в учительскую и продолжала консультировать интересующихся в коридоре. Дня через два от избытка патриотических чувств сия дама треснула кулаком по физиономии очкастого маленького Трахтмана, да так, что разбила ему очки. Бедный Трахтман сунулся не вовремя носом в классный журнал поглядеть оценку. К несчастью химички, Трахтман-старший работал начальником Московского телеграфа. Возник скандал. Патриотку уволили, ибо приказа «Бить!» еще не поступало...

Наконец, родной отец, тиран, предатель и подлец отбросил копыта. Народ искренне плакал. Некоторые — от радости. В тот памятный день, когда выяснилось, то он действительно умер, нас собрали в школе на траурную линейку. Обе завучихи держали у покрасневших глаз носовые платочки. Старик-физик с орденом Ленина в петлице прорыдал, кого мы все по-те-ря-ли! Мы хранили суровое молчание. Я видел, как под носом нашего первого ученика Вовы Иванова набухает большая капля. Один Шматко хихикал и тыкал впереди стоящих острием карандаша. Мы его молча осуждали. Молодец, Шматко! Прощаю тебе все мучительства, которые ты учинял надо мной.

Утром в день похорон мы не пошли в школу. Я забежал к Витьке Скопинцеву и зачем-то соврал, что мама и бабушка плачут по усопшему. В сумерках я вышел на улицу Горького и видел, как шеренги желающих попрощаться с вождем неслись навстречу своей гибели. Вы, наверное, знаете, что в давке во время похорон погибло несколько сотен людей...

Потом вскоре самым умным в стране стал товарищ Маленков, который успел высказаться по вопросам литературы и разоблачить товарища Берию как английского шпиона. Наш народ тут же сочинил частушку:

*Берия, Берия
Потерял доверие,
И товарищ Маленков
Надавал ему пинков.*

Вскоре преподаватель физкультуры Виталий Александрович на своем уроке разъяснил нам, что Берия был грузинским евреем. А какую же еще национальность может иметь в России враг народа и английский шпион?..

* * *

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на краткость основополагающих слов-понятий? — Еда, хлеб, жизнь, смерть, труд, ночь, день... Каждая буква этих слов как бы отлита из золота, а само слово словно застыло в изложнице-времени. Вы можете раскопать курганы слов-наслоений, и внутри, подобно скифскому золотому гребню, не подверженному окислению (разве что погнулся немного зубец), — вы найдете слово, которое было сотворено далекими предками наших предков.

Еда. Какое короткое и мощное слово! С ним могут сравниться немногие, тоже являющиеся источником жизни и постоянного наслаждения.

С детства я ощущал гармонию запаха и вкуса съестного. Бабушка готовила мастерски в традициях украинско-еврейской кухни. Праздничный стол был целиком делом ее рук. К примеру, из курицы готовились: паштет из печени, фаршированная шейка, яйца со шкварками и луком, наконец, прекрасно зажаренная до румяной хрустящей корочки сама курица. Отдельно, как лакомство, предлагались сердце и желудок, который почему-то называли пупком. Фаршированная рыба также была выше всяких похвал. Она лежала в красном застывшем, остро пахнущем пряностями соусе, а рядом стояла плошка с хреном, светившимся ярчайшим свекольным соком. До сих пор я помню вкус тающих на языке клецок, которыми заправляли куриный бульон. После праздника еще оставалось немного от яств на денек-другой.

В послевоенные будни мой завтрак состоял из сладкого чая и двух кусков белого хлеба с маслом. Родители обходились без масла. Аппетит у меня был волчий. Стоило бабушке зазеваться, я норовил стянуть что-нибудь съестное. Она приходила в ярость от моих набегов и ругала меня «солдатской кишкой». После голодного

пионерского лагеря министерства речного флота, размещенного на пароходе, я стал относиться к еде с еще большим вожделением. В день моего восьмилетия мама подарила мне два бутерброда с колбасой, купленных в кафетерии на улице Горького.

Что это была за колбаса! Какой от нее исходил аромат! Пласт колбасы лежал на нежнейшем, как пух, куске белого хлеба. Я, кажется, не сжевал, а вдохнул эти два бутерброда, и до сих пор моя память хранит тот чудесный дар.

Помните ли вы, мои современники, жившие у Белорусского вокзала, тот волшебный мир, который так загадочно назывался — «Кафетерий»? Под стеклом лежали десятки бутербродов с черной и красной икрой, благородной рыбой. В левом крыле продавались бисквитные пирожные с цветными кремовыми украшениями, которыми я любовался, как любителю знаток живописи известной, но милой сердцу картиной.

Нет, нет, еда — не только хлеб насущный. Узок и темен мир человека, безразличного к еде, наспех хватающего на вилку столовскую котлетку, в то время как глаза его жадно пожирают газетные новости или любое другое печатное слово.

Грешен, я в детстве очень любил читать и одновременно есть. Но читал я одни и те же любимые «Приключения Буратино». Там так вкусно написано про горячую баранью похлебку с чесноком! Я представлял себе картошку с бараньим жиром и горячим куском баранины в пряном мясном соусе с чесноком. Чеснок я очень любил и люблю до сих пор. Молодец Алексей Толстой!

Помните картину Кончаловского? Бывший граф Толстой Алексей Николаевич сидит грустный над обильной трапезой. Ах, какие там угощения, какая ветчина, свежие огурчики, семга, лафитничек с водочкой! Отчего же грустны вы, граф? Для вас ведь мало что изменилось в жизни после возвращения из Парижа. Вы признаны, сыты и хорошо одеты. Мало того. Даже такой строгий судья, как Иван Бунин написал вам после выхода «Петра Первого»: «Хоть ты и г..., но талантлив». Я бы хотел, чтобы мне так писали. Плохо жить без таланта, ой, как плохо!

А не грустит ли Алексей Николаевич оттого, что сидит один? Вот Рембрандт весел, потому что на коленях у него Саския, а в руке бокал вина...

Сейчас читать и есть я уже не могу. И то, и другое — большое наслаждение, но удовольствие, согласитесь, не должно быть чрезмерным. Опять-таки неэтичным может оказаться. Герой, скажем,

умирает, страдает в темнице, объясняется в любви, а вы в это время жуете...

Одна из первых заповедей в детстве: ешь с хлебом, без хлеба — не обед. Да, хлеб — чертовски важная и вкусная штука. Про хлеб исписаны горы бумаги. Существует институт хлеба и институт зерна, существуют академики, ставшие таковыми на базе исследований хлебных злаков. Хлеб насущный — это значит без которого нет существования, и он же — насыщающий. Хлеб и язык — основа жизни народа. Я — страстный поклонник хлебных изделий всякого рода с самого раннего детства. Какое наслаждение было выбежать с горбушкой во двор и там среди игры сжевать ее на свежем воздухе! Как удивительно ароматен хлеб на улице! Дома его запах слабеет.

Помню, я иду с мамой из булочной. Она очень красива в легком синем в белый горошек платье. Солнечный день. Мы идем по нашим Лесным переулкам и отщипываем куски от свежего белого батона. Та маленькая булочная на углу — часть моего детства. Сначала там взвешивали и резали хлеб. Особенно были вкусны свежие, ароматные, с хрустящей корочкой кусочки ситного, которые назывались довесками. Позже там стали продавать и сладости. Под стеклом сверкали посыпанные сахаром сухари, драгоценными кулонами лежали розовые, голубые, желтые помадки, стояли вазочки с печеньем и разной сладкой мелочью... Спустя много лет я заглянул туда. Кондитерской витрины уже не было, на наклонных стеллажах лежали черствые батоны. Вместо симпатичных молодых продавщиц в крахмальных наколках у кассы сидела пожилая тетка со скучающим и злым лицом. Я увидел убожество давно не ремонтировавшегося зала, его тесноту и неопрятность. Не стоило возвращаться в заветные уголки детства, — подумалось тогда мне.

Мои гастрономические воспоминания могут кому-нибудь показаться слишком потребительскими. Что поделаешь, я сын служащих и уж то хорошо, что в моем представлении булки не растут на деревьях.

...Много лет спустя я прочел рвущие душу произведения Тендрякова и Федора Абрамова, в которых люди мечтают хоть раз в жизни досыта поесть хлеба. Бедные, бедные страдалцы! Голодные и нищие на земле, которая могла бы кормить весь мир. В конце семидесятых годов попался мне сборник статей Бориса Можаяева. Все о том же: почему мы так несчастливо и убого живем? Вывод из

книги следовал один: партийное дурачье развалило вдрызг сельское хозяйство страны, развалило до такой степени, что спасти нас может только чудо. Говорят, что если раздать землю на руки, то все равно это ни к чему не приведет — произошла непоправимая перестройка психологии народа. Возможно, так оно и есть.

Хлеб. Сердце мое равнодушно, когда я вижу колосющееся поле. Однако кое-что рассказать могу. Я не удосужился прочесть забытое теперь великое произведение Л.И.Брежнева «Целина». Знаю только, что споры вокруг целины привели к расколу политбюро ЦК и выводу из него Молотова, Маленкова, Кагановича и Шепилова. Газеты довольно долго возили эту троицу с длинным прицепом из номера в номер, пока московские остряки не придумали: «Какая самая длинная фамилия в Союзе? — И примкнувший к ним Шепилов». Вот она, партийная дурь! Если Шепилов с ними, так с ними, а если отмежевался, то незачем об него вытирать ноги. Молотов и компания были против освоения целины в Казахстане. Они вполне резонно указывали, что под Москвой и в центральной России полным-полно неосвоенных земель.

А Хрущеву, небось, доложили, что целина — штука рентабельная. И чтобы она стала еще рентабельнее, решили зазвать туда молодежь. Ну, и как водится, началась идеологическая обработка, или, как говорят нынче, — рекламная компания.

Машину запустили. И что же? Ехали! Ставили среди дикого поля палатки и осваивали целину. Это подвиг? Безусловно. Эпопея? Безусловно. Независимо от того, ошибались наверху или были правы.

... Мы поехали в Казахстан летом 1957 года в составе студенческих отрядов по комсомольским путевкам. Мне кажется сейчас, что политическая жизнь молодежи пятидесятых годов содержала в десять раз меньше бестолковой и гнусной демагогической трескотни и бумажной отчетности о дутых мероприятиях, и в сердцах моих современников билось нечто вроде чувства Долга. Развенчание сдохшего диктатора настраивало на самый оптимистический лад. Ошибки, перегибы, всякая грязь отдавались прошлому. Горизонт представлялся чистым.

Я смотрю на фотографию, где мы выстроились перед вагоном, в котором должны были ехать в Казахстан. Молодец папашка, что не поленился и взял с собой фотоаппарат. Вот и осталась память на всю жизнь. Стоят в шеренге Толька, Лева, Дэвик, милый мой

Сашка Орловский да я. Гладкие детские лица. Заботы и неурядицы еще не наложили на них свой грим. А вот я стою с мамой. Нет, я и сейчас не нравлюсь себе. Копна волос а-ля Ландау, мягкие, почти женские черты лица. А мама такая серьезная, взрослая.

Моя мама всегда была взрослой. Круг ее интересов составляли фарфоровые статуэтки, тряпки, книги, которые советовали прочесть «культурные люди». Маму всегда интересовало, на сколько лет она выглядит. Я помню ее тридцатый день рождения. Было очень весело. В нашу двенадцатиметровую комнату с косыми полами и сырыми стенами набилось человек двадцать. Ели, пили, танцевали. Мама тоже очень веселилась, хлопала довольно увесисто мужчин по спинам, называла их «поросятами», и весь вечер напролет повторяла, как телефонная трубка, передающая время: «Женщину не втолкнешь в тридцать, не вытолкнешь из тридцати...»

...Я слышу — пропел горн. Мы затолкались в вагон. Уходит Москва. Мы оставляем ее без сожаления в лето Всемирного фестиваля молодежи. Деревянные нары, где мы вповалку проспим пять ночей. Рюкзаки вешаем на вбитые в стену гвозди. Дорога туда: озорство, песни, бесконечные платформы, стоящие среди поля деревянные будки станционных туалетов, которые брались приступом. Томление неопорожденного кишечника... И вот — солнце, домишки, грузовики, набитые сеном. Ехать далеко. Лезем в кузова, падаем в сено, швыряем рюкзаки. Кто-то надрывается в микрофон, приветствуя нас. Два десятка зевак перед импровизированной трибуной, остальным неинтересно. Поехали! Поехали!..

Нас привезли в Кустанайскую область и разместили в палатках недалеко от конторы. Какой предстала перед нами целина? Ровная, однообразная местность с раскиданными там и сям серыми деревенскими домишками. Ни деревца, ни кустика. Разбитый тракторами большак, выкопанное взрывом искусственное озерцо с питьевой водой изумрудного цвета, обладающей к тому же прекрасными слабительными свойствами. Многим из нас эти свойства пошли на пользу, поскольку дневной рацион почти целиком состоял из крупяных и мучных изделий. Столовая наша помещалась в небольшом вагончике, в одной половине которого сутились у котлов местные женщины, а в другой стоял крытый клеенкой стол с лавками по обе стороны.

Еда вызывала отвращение. Мне вообще непонятно, каким образом из вполне съедобных продуктов — картофеля, вермишели,

лука и свиного сала можно изготовить такую непередаваемую даже матерным жаргоном гадость. А процесс принятия пищи! Представьте себе, как вы погружаете сальную алюминиевую ложку в жидкость, именуемую супом, и вылавливаете кусок свиного жира с кожей и неопаленной щетиной. Мы так и называли эти куски зубными щетками. Разжевать их было невозможно. А мухи! Полчища мух! В каждой тарелке по несколько штук. Мухи в картофельном пюре, как изюминки. Мухи на дне поллитровых банок с кипятком, слабо приправленным цикорием и носящим благородное имя Чай.

Первое время мы держались на запасах, привезенных из Москвы, потом стали ходить в универсальный магазин — такой же вагончик, что и столовая, где продавались бобы в томате, рыбные консервы, патроны для охотничьих ружей, а иногда и сливочное масло.

Хлеб. Зерно. Пшеничное зерно. Основа основ, как нас учили. Может ли быть зерно ругательным словом? Оказывается, — может. Ток представлял собой очищенный от дерна кусок земли под открытым небом. Недалеко от этого пространства высились горы отвратительно смердящего коричневого продукта химической реакции, которая началась в конце прошлого лета и успешно закончилась к началу нынешнего. Исходными веществами были: необранное зерно урожая прошлого года, грязь и атмосферная влага. По сведениям аборигенов, в дерьмо было превращено несколько десятков тонн прекрасных пшеничных зерен. Причины? Все те же. «Умелое» руководство сельским хозяйством. Урожай, видите ли, был слишком высок, не успели переработать. Пролило зерно дождем, схватило морозом. Горе луковое! Уж лучше бы раздали зерно людям. На печах бы его просушили и употребили в дело. Но разве это возможно? Это ведь рас-с-хищение социалис-с-стической с-собственнос-сти! За это под суд отдают. Думаете, за последние годы что-нибудь изменилось в коллективных хозяйствах? Как бы не так! Я сам видел, как по приказу председателя колхоза отводили ручей на поле, чтобы он залил необранный картофель — вот, мол, для начальства и объективная причина, почему не убран урожай. Этот гад-председатель с матом гнал старух, пытавшихся спасти для себя хоть несколько килограммов прекрасных клубней.

Так вот, возвратимся к зерну. Осенью следующего года мы уезжали уже из Кокчетавской области, оставляя под снегом валки на площади около шести тысяч гектаров! Опять был высокий

урожай, и опять не успели убрать его вовремя. Теперь уже вонючей массы, которая когда-то была зерном, должно было накопиться куда больше.

* * *

Жизнь и смерть... Я вспоминаю, как умирал мой дедушка, отец моей матери... Нет, сначала о том, как он жил. Он не был героем, он был обывателем. Ах, какая веская причина для презрения!

Боже мой, как он меня любил! Никто и никогда меня так любить не будет. Однажды он сказал мне — я запомнил случайно, по интонации: «за что мы тебя так любим?! что ты сделал нам хорошего?» Когда меня изводили дома за случайно полученную тройку, я ревел от чувства несправедливости: «Почему другие ребята спокойно таскают домой плохие отметки и живут припеваючи, а я?! Почему я такой несчастный?!» Тогда дедушка успокаивал меня, он не хотел вмешиваться в процесс «воспитания» и никогда не выяснял отношений с моими родителями. Он говорил: «Не плачь, ты исправишь отметку, все будет хорошо», — и мне становилось легче.

Он жил когда-то в затерянном среди украинских сел и деревень местечке или городке. В двадцать пять лет он посватался к моей бабушке и женился на ней. Почему-то он боялся жениться на близорукой и перед сватовством предложил бабушке тест — почитать мелкий газетный шрифт. Бабушка читала по слогам, но тест выдержала. Кажется, в это время дедушка работал приказчиком в лавке. Потом, если не ошибаюсь, с кем-то на паях сам держал лавочку. Однажды лавочку обворовали. Это его потрясло до корней. Всю свою жизнь он видел один и тот же страшный сон — воры залезли в лавку. Он кричал во сне «Гвалт!» и просыпался.

Семью он, во всяком случае, обеспечивал. Бабушка мне как-то рассказывала, что у нее было в то время две служанки. Еще у нее была тогда длинная золотая цепь и часики с бриллиантами.

Пережив погромы, революцию и гражданскую войну, в начале двадцатых годов дедушка решил перебраться с семьей с голодной Украины в Москву. Без цепочки и часиков, разумеется. В столице он не смог устроиться и снял квартиру в поселке Ховрино. Тогда это был самый настоящий пригород, где даже снимали дачи.

У деда было шесть или семь братьев. Судьбу их, за исключением Хаим-Герша, я не знаю. Относительно последнего помню,

что мамина двоюродная сестра очень восхищалась его умом и способностями. По рассказу мамы дед, обосновавшийся в Ховрине, вытащил к себе этого брата, и они вдвоем образовали нечто вроде артели.

Они использовали старую киноплёнку для изготовления обувного клея. Клей называли «Геркулесом» и даже выпустили рекламный листок. Мастерские охотно покупали клей, должно быть, он был хорош. Тогда же дедушка купил у застройщиков подвал в двухэтажном деревянном доме недалеко от Белорусского вокзала.

Наверное, артель благополучно скончалась в году 25-м или 26-м, когда власти прикрыли НЭП. Дедушка занялся ремонтом часов уже не как нэпман, а как частник. Вскоре и это занятие пришлось оставить, и он пошел на государственную службу — стал продавать газеты и журналы в киоске. После ликвидации НЭПа с работой и жратвой в стране стало совсем худо, и тут власти решили, что надо купить много-много заводов у проклятых капиталистов и быстро-быстро построить социализм, который они обещали еще в 1917 году. А для этого нужно было достать опять же много-много золота — и сразу. Где же его взять? А у бывших нэпманов и частных.

Деда взяли по подозрению или по чьему-то навету. Правил страной тогда товарищ Ягода. Как водится и как мы знаем из литературы, за дедом приехали ночью. Жена и дочери подняли вой и плач, но им сказали, чтобы они не шумели и что дедушка вернется. Он действительно вернулся, но спустя несколько лет.

Его привели на допрос, и он так волновался, что сломал себе зубной протез и даже напустил в штаны. Золота у деда не оказалось, и тут его пригласили в другой кабинет, где веселый следователь со смехом сказал ему: «Раньше была пословица «На нет и суда нет», а мы говорим: «на нет — суд есть». Дедушку быстренько приговорили к ссылке на север по статье «19Н-а.-Х.-ер» и этапным порядком погнали на новое место жительства. Шел он в жидком осеннем пальтишке и дрянных ботиночках и замерзал насмерть. Потом всех пригнанных распахали в каком-то поселке, где они должны были кормиться и одеваться сами, отчего большая часть вскоре и перешла в лучший мир. Дедушка вспомнил свое часовое ремесло и тем кормился кое-как. Бабушке удалось все же напасть на его след, и она отправилась в тот поселок и привезла ему теплые вещи. Вернувшись в Москву, она, как истинная патриотка,

заменила мужа на трудовом фронте, то есть стала работать в том же киоске по продаже правды в розницу.

Однажды дедушка шел по льду через реку к очередному клиенту чинить часы и провалился под лед. Плавать он не умел и тотчас утонул бы, если бы чудом не уцепился за край льдины. Мало-помалу он выбрался на лед и отполз от страшной полыньи. Местное население при этом безучастно наблюдало его поединок со смертью. Ему многократно повезло: он не утонул, не замерз, оледенев, не заболел горячкой и не умер. К этому времени в нашей плохо отлаженной машине повернулась какая-то шестеренка, и машина выплюнула очередной вердикт: дедушке и ему подобным разрешалось селиться где угодно, но не в Москве. Дед оказался в Ярославле. Глухой ночью он осмелился приехать в Москву за часовым инструментом. Он скользнул в дом тихо, как тень, прижимая палец к губам. Никто не должен был слышать о его проступке, иначе все его муки могли возобновиться.

Так он появлялся потом в Москве время от времени. Приехав однажды, он решил сварить порцию клея «Геркулес». Наверное, хотел сделать небольшой гешефт. Ему страшно не повезло. Клей вспыхнул, начался пожар. Он гасил его один, не смея позвать на помощь. У него сильно обгорели руки, но он боялся пойти в больницу и всю ночь ходил и нянькал их. Утром стало ясно, что ехать в Ярославль в таком состоянии он не может.

Взяв свою младшую дочь для моральной поддержки, он отправился в милицию просить разрешения несколько дней прожить дома, пока руки хоть немного заживут. Они долго сидели в очереди, пока не вошли в кабинет.

Начальник паспортного стола орал на них матом, бил кулаком по столу и выгонял, а они ревели в три ручья, умоляли, умоляли его смиростивиться — и не уходили... Видимо, Бог надумил начальника спросить дедушку, по какой статье он осужден. «По статье «19Н-а. Х.-ер», — ответил дедушка сквозь слезы. Тут начальник взглянул на стол, где под стеклом лежал циркуляр, возвещающий, что все осужденные по данной статье признаются невиновными и могут возвратиться к своим домам, чтобы продолжить работу во славу социалистического отечества. Страной тогда правил товарищ Ежов.

Дедушка пошел работать в мастерскую при 2-м часовом заводе, куда вернулся и после эвакуации. Я помню, он пришел с черными от металлической пыли руками, и я сказал: «Дедушка,

какие у тебя руки грязные», а он ответил, развернув ладони: «Это чистые руки!», и я понял святой смысл его слов.

...Я вижу, как он встает на скамеечку и прикладывает ухо к черной тарелке репродуктора во время передачи сводок Информбюро. «Ша!» — кричит он сердито на женщин, вечно мешающих ему слушать...

Вспоминаю большое застолье в нашей комнате. Все немного выпили, и оттого стало еще веселее. Но вот дают слово дедушке, и он вместо очередной здравицы рассказывает стихотворение о себе самом:

Мы в часы мячом попали,
Со стола часы упали,
Под столом раздался звон,
И пружина вышла вон.

Мы сказали: Дядя Ваня,
Мы давно знакомы с вами.
Неужели в этот раз
Вы не выручите нас?

.....
Всё понятно старику,
Старику-часовщику.
Из окошечка резного
Снова слышится Ку-ку.

Я помню, как дед читал в деликатной тишине, хотя, возможно, кто-то улыбался про себя...

Я любил сидеть рядом с ним, когда он на тетрадном листке рисовал мне чернильным карандашом человечков. Рисовать, как я понимаю теперь, он совсем не умел, но его человечки с раскоряченными ножками мне ужас до чего нравились. Однажды он рисовал женщину и постепенно стал прибавлять ей волос на затылке. Прибавлял, прибавлял — и женщина получилась с вытянутой, как дыня, головой. Я хохотал до слез. Он начал рисовать другую фигурку, и я ждал, что он опять рассмешит меня, но он не догадался, отчего мне было смешно.

Я вспоминаю нежное летнее утро, когда мы с бабушкой отправились в Тихвинские бани на улице Палихе. Мы прошли в почти пустое помещение раздевалки, и солнце сквозь мутные стекла освещало белые покрывала диванов. Мы разделись и пошли в такой

же пустой банный зал, не торопясь, мылись и стояли под душем. Потом, так же, не торопясь, вышли в прохладу июньского утра, и дедушка сказал, что любит сюда ходить утром в будни...

Потом как-то случилось, что он уже не работал в мастерской. Наверное, он работал медленно, ему уже было за семьдесят. Он устроился ночным сторожем. Где и что он сторожил, я не знаю. Помню, его стала одолевать грудная жаба. Ему было трудно ходить, особенно зимой. Он часто останавливался, клал под язык таблетку нитроглицерина и ждал, пока его отпустит. Я приплясывал рядом — никакого беспокойства у меня не было. Вот когда у матери были неврастенические приступы с сердцебиением, и она кричала «Я умираю», я дрожал и покрывался липким потом. Однажды он собрался было на ночное дежурство, но его стал разбирать кашель, да все сильнее и сильнее. Спустя некоторое время он сидел, задыхаясь от кашля, с ногами, опущенными в таз с горячей водой. Мать ему делала уколы, которые не помогали. Он вдруг заметил меня и сказал: «Все, Алик, моя комедия кончена». Я спокойно спал ночь, а утром мама сказала, что дедушку во сне разбил паралич. Потом потянулись недели непрерывных мучений, началась гангрена обеих ног, не работал кишечник, судороги сводили ему бедра так, что он кричал от боли, очень быстро образовались страшные багрово-сине-черные пролежни. Дедушка умирал.

Он был очень тихий, очень спокойный и очень ласковый, но однажды в присутствии мамы и постороннего он закричал, что больше не может терпеть, что он не хочет жить. А я, впервые осознав страшное слово «смерть», закричал, не помня себя: «Замолчи, противный дедка!» и еще какую-то дерзкую ерунду. Дед смешался и замолчал. Кто-то попенял мне, что я так кричу на дедушку, мне было стыдно и горько, но дважды в день я ходил в аптеку за кислородной подушкой и точно знал, что кислородная подушка — это признак приближающейся смерти. И я не хотел, не хотел, не хотел ее прихода.

И вот я вернулся из школы, а дедушка — умер. И мама сидела рядом с его постелью вся красная и зареванная, а бабушка рассказывала о его последних часах. У него ослабли боли и прояснело в голове. Он говорил бабушке, что еще хочет пожить и добавил: «Я ведь еще сильный» и сжал ей руку своей левой рукой. А потом он постепенно, постепенно, как бы засыпая, стал уходить в другой мир, дыхание его сделалось хриплым, и вот оно остановилось.

Я не знал, что делать в комнате, где лежал мертвый дедушка, и пошел к знакомым Плаксиным, что жили рядом с девчачьей школой. Обе они, мать и дочь, были дома. Я сказал, что дедушка умер и хотел заплакать, но не получилось, а моя сверстница Анька сказала что-то вроде: «Потерпи, горе пройдет» и включила телевизор. У нас тогда еще телевизора не было, и он был, как лакомство. Но у меня не было желания смотреть чужую жизнь, и я вскоре вернулся домой.

Жизнь и смерть... Когда-то мальчишка, отдавший здоровье за идеи революции, написал, что самое дорогое у человека — это жизнь. Он ошибался, этот мальчик, так и не ставший взрослым. Самое дорогое у человека — это жизнь его детей.

Сколько сказано и написано умного и трагического на тему «жизнь и смерть» и сколько еще будет написано! Про свою смерть я ничего не знаю до поры, до времени, а жизнь свою воспринимаю, как слабо окрашенный эмоциями способ существования «белкового тела». Хотел бы я умереть красиво, достойно, но не знаю, хватит ли у меня на это душевных сил. Тут ведь тоже зависит и от везения: умереть в собственной постели, обгадившись, потеряв разум и человеческое обличие... или уйти, сохранив хладнокровие, призвав своих близких для заключительных веских слов. Или, может быть, как император Тит (по Фейхтвангеру) встать с постели в последний миг, чтобы встретить смерть стоя... А разве не лучше умереть в походе или в самолетной катастрофе, а еще лучше на войне — сражаясь?

...Однажды весной я был в горах Копет-Дагского заповедника. Мы шли за пробами воды из горных ручейков. Путь туда был легкий и приятен — мы в основном спускались. Обратно я еле дополз. Сердце вылетало из грудной клетки, солнце слепило и прожигало до мозга. Я несколько раз ложился, потом поднимался и плелся дальше, вверх, вверх, а мои более молодые и здоровые коллеги терпеливо ждали меня. Вот был прекрасный момент для смерти... Но я не умер и продолжаю свои записки.

Мне с некоторых пор кажется, что жизнь приобретает особую ценность, когда начинает перед тобой маячить призрак смерти. Пока, по-видимому, моя воронка еще изрядно наполнена временем, потому что у меня нет чувства, что оно иссякает, хотя и течет сильной струей. Я замечаю, что прошла еще одна весна, что близится середина лета, а я мало что успел сделать. Да, с возрастом

замедляется темп жизни, ты уже не плывешь по стремнине, а жмешься к берегу, и в силу принципа относительности возникает ощущение увеличения скорости проносящегося мимо потока.

Как я отношусь к жизни?.. На мой взгляд, жизнь — прескверная штука. Она дарит мне и всем остальным болезни и боли, тяжесть работы и бесконечные обиды, отсутствие душевного комфорта, тревоги за жизнь близких, страхи, комплексы неполноценности и так далее, до бесконечности.

Искупает ли красота мира, свежесть воды и воздуха (которые мы, кстати говоря, толком и вкусить не можем, потому что ходим всю сознательную жизнь на службу), краткое очарование любви и мгновения оргазма, звуки музыки, искусство вообще, дружба, азарт игры и наслаждение победой, — искупает ли все это гадости жизни? Я отвечаю: «Нет, не искупает!» — и потому считаю создание себе подобных тягчайшей виной перед ними, и поэтому считаю, что родительский долг бесконечен. Долг детей перед родителями выдуман с гнусной эгоистической целью — поработить, сделать своей собственностью живое существо и требовать от него в дальнейшем, когда состаришься, помощи и любви. Выгодное помещение капитала, скажу я вам!

Эта мораль, выдуманная нашими недалекими дальними предками, очень выгодна государству, ибо мы все — дети государства и потому должны класть живот свой для его процветания, отдавать ему все лучшее и детей наших. А государство, этот Молох, может по своему усмотрению либо съесть их, либо помиловать.

Дети любят нас и помогают нам инстинктивно, вопреки разуму, несмотря на то, что большинство из нас гнусные, ничтожные, грубые, трусливые твари.

— Какая глупость! — воскликнула мама, услышав эти рассуждения. — Теперь пойд и доложи своему сыну, что ты его вечный должник. И потом, — продолжала она, — если каждый будет рассуждать, как ты, то исчезнет человечество.

— Не исчезнет, — заверил я ее. — Безответственных дураков — подавляющее большинство.

Да-с, господа, жизнь — штука прескверная и жестокая. Как она расправилась с нашей молодостью! Как-то я заметил, что уголки рта моей сестры, те, что всегда победно изгибались вверх, — опустились вниз. И я понял, что это — навсегда. Ушла молодость. Мне теперь все чаще становится грустно. Это не страх смерти, а тихое и грустное сожаление о тех, кто совсем недавно блистал

красотой и весельем. И вот прошло каких-то двадцать пять лет — и все поблекло, вылиняло. Усталость скопилась в углах глаз, лица словно осыпаны мукой — приметы осени.

Какой-нибудь воинствующий лихой оптимист того и гляди поймает меня за руку: «Жестока не жизнь, а смерть!» Диалектика — штука сложная. Родившись, мы тут же начинаем умирать. Часы запущены, они будут тикать, пока не кончится завод.

* * *

Труд. Труд труду рознь. Я не представляю себе, как стоял бы по восемь часов ежедневно у станка и точил одни и те же детали. Тут, наверное, нужна другая психическая организация, другой темперамент, умение отключаться.

Я вспоминаю заводскую практику на «Красном богатыре». Что это была за практика! Накануне первого рабочего дня я спустился по железной лесенке в подвал, в цех подготовки и почувствовал спазм в желудке от вони горячего каптакса — ускорителя вулканизации. Привык я уже через пару дней. Первый рабочий день. Я получил чистенький черный комбинезон, шкафчик в подвале рядом с отопительным котлом, талоны на молоко. После этого меня подвели к группе рабочих и объяснили, что я буду работать на автоматической развеске каучука. На затоптанном полу валялись сотни разнообразных кусков синтетического каучука. Натуральный каучук с красивым названием «Смокед-шитс» пилили двуручной пилой без зубьев две женщины. Третья оттягивала крючком отрезаемый пласт и поливала разрез водой для скольжения.

— Сейчас будем вешать СКБ, — сказал мой шеф, курчавый парень с выпуклыми голубыми глазами. — Бе'ги вот те ва'геники и тащи сюда». Я подошел к груде СКБ, действительно напоминающей гигантские вареники, и один из них взвалил на живот. При этом на меня сыпалось чуть меньше стакана технического талька. Вареник тянул килограмм на тридцать. Раскорячив руки и ноги, я таскал и таскал их на весы, а мой шеф взвешивал и бросал в вагонетку. Через пять минут я был грязней самой грязной свиньи, тальк набился мне во все отверстия, и я сплевывал горькую слюну. Потом настал черед бутыл-каучука. Он был полегче и не так щедро обсыпан тальком. Когда было покончено и с ним, шеф сказал: «Пошли за гене'гато'гом». Я шел за ним и соображал, на кой дьявол нам нужен генератор, пока он не привел меня в закуток, где лежали рулоны регенерата — резины от старых

автомобильных покрышек, пропущенной через вальцы. Когда мы нагрузили с верхом вагонетку, шеф позвал какого-то рассыпающегося от старости человечка, мы втроем впряглись и потащили наш товар к резиносмесителю.

День за днем я грузил каучук и возил вагонетку. Уставал я ужасно. Приходил домой и валился в постель, едва доживая обед. Через две недели я взбунтовался, пошел к мастеру и сказал, что мне нужно осваивать и другие специальности.

«Кстати, — спросил я, — почему вы эту работу называете автоматической развеской каучука, в насмешку что ли?» Мастер ответил в духе социалистического реализма, что в перспективе все эти операции будут автоматизированы, и это время уже не за горами.

Самое ужасное в любом производстве, по-моему, быть наколотке связанным с машиной. Это не та связь, когда человек — хозяин положения. Захотел — нажал кнопку и выключил машину. Нет. Он питает машину усилиями своего тела. Машина не должна простаивать! Это принцип. Для того она и создана. Но человеку нужно перевести дух, перекинуться с кем-нибудь словом, иначе в нем оживут древние разрушительные инстинкты. Он начнет искать пути сведения счетов с проклятой техникой. У нас, к счастью, выпадали перерывы между загрузками вагонеток. Пока я приходил в себя, мой шеф шутил с женщинами. Это были бесконечные вариации на сексуальные темы, которые иногда кончались шутиливой потасовкой. Одна из них закончилась тем, что три женщины повалили моего шефа, и одна из них запустила руку глубоко в его комбинезон и подергала за детородный орган. После этого они еще минут пять громко смеялись и комментировали происшедшее.

Итак, я взбунтовался, и меня перевели на участок термопластикации. Участок находился в самом конце цеха. Мой новый шеф, пожилой мужичонка, на голову ниже меня, с маленьким сморщенным лобиком и жалобными обезьяньими глазами, разъяснил мне, что сначала нужно рубить электрическим ножом каучуковую простыню в «лапшу», а затем загружать ее на противни в вагонетки, последние же завозить в котел. Из котла лапша выезжала в наполовину сваренном виде и так воняла, что, несмотря на мощную вентиляцию, гудевшую над головой, слезы сочились из глаз непрерывно. Кроме этой гнусной вони очень меня удручал адский грохот электрического ножа и частые электрические разряды, которые били по пальцам — каучук сильно электризовался. Загрузив противни «лапшой» и затащив вагонетки в котел, мы скоренько топали

в курилку. В этом чуланчике с плиточным полом прокуренный воздух казался чистейшим озоном. Я спросил своего наставника, что он поделывает после работы, и узнал, что у него едва хватает сил прочесть газету после ужина. В воскресенье он спит, выпивает четвертинку водки, смотрит телевизор, а затем вновь рабочая неделя. Когда добавили еще один выходной, мой бывший наставник, очевидно, стал потреблять на четвертинку водки больше.

Грязная и вонючая работа томила меня ужасно, и наставник мой тоже мне опротивел. Наверное, поэтому однажды я покатил груженные каучуком вагонетки в котел, зная, что он там устанавливает рельсы. Я его изрядно придавил, он заорал, выскочил из котла и обложил меня матом. При этом его печальные обезьяньи глаза стали еще печальнее, а дурацкий овечий голос свел на нет эффект, достигаемый матерной руганью. Мне стало смешно, раздражение улетучилось. В тот же вечер я пошел к начальнику смены и категорически потребовал перевода в ученики вальцовщика. Почти все студенты уже работали на вальцах и зарабатывали огромные деньги.

Нет, это не был труд-для-меня. Я шел к своему труду, оставив позади предназначение, данное мне дипломом, шел через ученичество в одном из лучших институтов академии наук.

Много лет спустя я почувствовал привязанность к своей работе, вкладывая в дело свой ум и нервы, и постепенно стал патриотом той большой комнаты-лаборатории, в которую по штучке носил склянки и реактивы, с великим трудом добывал подержанные приборы и обучал молодых специалистов умению работать и мыслить самостоятельно.

Когда в нашей фирме соорудили новый корпус, как всегда наспех, тяп-ляп, солдатскими руками и «добровольной» помощью сотрудников, настало время въезжать. Начальство торопилось заставить пустые помещения мебелью и оборудованием, а где было их взять? На мое счастье, соседний отдел получил полнокомплектную немецкую лабораторию. Благодаря хорошим отношениям мы взяли у них старые лабораторные столы, выбрали на свалке выброшенные полки и стеллажи и образовали из них интерьер.

Образовали! Мы тащили на себе всю мебель и все наше добро пешком по узким лестницам на восьмой этаж, то есть на обычный двенадцатый. А лифт пустили лишь через два месяца. Тогда явился директор со свитой и грязно выругал всех, кто не успел создать уют.

Через привязанность к работе я почувствовал что-то вроде ответственности за людей и за ту прекрасную и несчастную страну, где родился и вырос, где меня на протяжении всей жизни мучили и оскорбляли.

* * *

Основной урок истории состоит в том, что он не служит никому уроком. Когда мы спрашивали историков-марксистов о причинах какого-либо исторического события, они важно надували щеки и ссылались на классовую борьбу. Ну, что ж, классовая борьба, как частный случай всеобщей борьбы за существование, есть вполне универсальный принцип. Но представьте себе, что вы наблюдаете за бегущим человеком. Вот он споткнулся и упал. Вы подходите к нему и спрашиваете: «Отчего вы упали?» А он отвечает: «Действие закона всемирного тяготения, черт его побери!» Формальная правота оборачивается практической глупостью.

Когда я как-то высказал свои соображения В., он ответил: «Да ведь человек знает, что то-то и то-то делать не следует. И тем не менее он все время нарушает разумные ограничения, выверенные веками». И тут я вспомнил знаменитое высказывание Достоевского о том, что «зло лежит в человеке значительно глубже, чем полагают лекаря-социалисты...» Ну, а если не только зло, а вообще все, что заложено природой в человека — его неустойчивость, противоречивость — привносятся в общество, и общество болеет всеми болезнями индивида? Ясно, что никаких гарантий счастливого будущего и «царства справедливости» никакое общество не даст.

Есть у меня еще одно опасение. Возможно, что законы развития общества формируются одновременно с развитием самого общества, и человечество никогда не поспеет мыслью за своим развитием. Тогда всякая закономерность будет отражать лишь вчерашний день.

Все зыбко и надуманно в философии и морали. А сколько есть дурацких определений понятия «счастье»? Все они претендуют на всеобъемлемость и объективность, хотя годны лишь для реплики героя-резонера в пьесе. Ответить на вопрос, что такое счастье, все равно, что ответить на вопрос, что такое «плюс». Если плюс — это всего лишь антиминус, то и счастье есть всего лишь отсутствие несчастья. Такой ответ, во всяком случае, честнее.

А свобода? Сколько накручено вокруг этого понятия рассуждений великих умов! Свободу расчлениают на мелкие свободишки,

свободу воли, свободу «для» и свободу «от», и, наконец, выясняется, что «свобода есть осознанная необходимость» или, как остроумно заметил Солженицын, — «осознанная решетка».

В данном случае я пошел бы от неживой природы, от физики — наиболее чистой и умной из всех наук. Физика утверждает, что существуют степени свободы, то есть состояния, когда микрообъект совершает определенные движения в пространстве, но вся штука в том, что микрообъект движется или колеблется, вынужденный посторонней силой — поглощая квант энергии. Если уж на таком уровне нет свободного проявления движения, что же можно сказать о более сложной материи! Относительность всякой свободы очевидна, равно как и очевидна абсолютность всякой несвободы.

А равенство? Все люди равны! Равенство! Эгалите! Да в чем они равны? Задумайтесь! Они равны так же, как равны между собой небесные тела. Но Солнце никогда не было равно ни по массе, ни по светимости холодному Юпитеру. Религия умнее. Она говорит: «Все люди равны перед Богом». Здесь все ясно и понятно. Как бы ни был велик или возвеличен человек, все равно он — ничтожество перед Богом, как бесконечно малое перед бесконечно большим.

...В своё время я с рвением ходил на философские семинары. Вел у нас философию некто А.Б. Пришел я на середину третьего или четвертого занятия, и он посмотрел на меня весьма сурово. Однако я успел законспектировать кое-какие материалы из журнала «Вопросы философии» и выступил в конце семинара. Этот важный шаг обрушил хрупкий лед недоверия, и вскоре я стал любимым учеником. Дошло даже до того, что А.Б. стал сманивать меня к себе в аспирантуру.

Семинары заканчивались поздно. Однажды мы шли к метро и я, плохо читавший и еще хуже помнивший Льва Толстого, заявил, что на мой взгляд Толстой — очень слабый философ, что он-де путается в элементарной диалектике, а вот Достоевский (которого я к тому времени тоже очень мало прочел и еще менее понял) — вот это блестящий ум и провидец. А.Б. с жаром поддержал мою точку зрения. Сейчас я созерцаю себя, двадцатишестилетнего невежду и нахала, и мне становится смешно и немного гадко.

Тогда я строил свою теорию свободы и даже начертил «схему» вроде двух проникающих друг в друга множеств, одним из которых был человек, а другим — общество. Несколько месяцев спустя, когда кандидатский экзамен по философии был позади, и

вся эта марксистско-ленинская дурь слетела с меня, как шелуха, я случайно столкнулся с А.Б. на ступенях нашего института.

— Ну, как подвигается дело с проблемой свободы? — спросил он меня.

— Знаете ли, мне кажется, что ее, свободы, как таковой не существует вовсе, — ответил я.

— Во всяком случае, ее очень мало и становится все меньше, — сказал он весело, и мы пожелали друг другу всего самого наилучшего. Шел 1967 год, и мы уже сидели по горло в протухшем брежневском болоте.

Я вспомнил анекдот о том, как заключенного спросили, указав на портрет Брежнева: «Кто это?» и он ответил: «Это главный гражданин начальник всего социалистического лагеря!» И по чистой ассоциации передо мной возникла череда пионерских лагерей, через которые я прошел с шести до тринадцати лет.

...Уже давно слово «лагерь» наполнено для меня жутким грозным смыслом — как место заключения. Да ведь так оно и есть. Как ни велико огороженное пространство, скажем, бывший социалистический лагерь, а суть, то есть решетка, забор — остаются. Внешняя, парадная сторона любого военизированного сообщества всегда привлекательна. Наверное, в силу присущей одинаковым элементам симметрии. Симметрия в человеческом понимании есть неотъемлемая часть гармонии и красоты. Но это для постороннего наблюдателя, для того, который любит с высоты трибун или в телевизор предлагаемым зрелищем.

Для нас же, шагающих, барабанный бой и петушиные выкрики горна ощущались, как неприятный, но необходимый шум. Весь церемониал стояния на линейках, подъем флага и прочая чертовщина воспринимались нами как занудство, которое нужно терпеть, раз уж мы очутились в лагере. Нельзя не отметить практическую хватку власти, очень рано осознавшей, что управлять двумя-тремя сотнями ребят разных возрастов легче всего, организовав их коллектив по военному образцу. Это, кстати, касалось и всей страны.

Однажды я не выдержал и бежал. Это был один из последних дней моего последнего лагеря. С малознакомым мальчиком я ушел сразу после завтрака с огороженной территории. Мы бродили по лесу, собирали орехи, потом вышли к полю. Там у костерка стоял, опершись на палку, пастух и докуривал чинарик. Рядом лежала, положив голову на лапы, собачонка. Был тихий пасмурный день,

и мы с наслаждением грелись у огня, пекли орехи, болтали с пастухом. Время летело незаметно. Мы пропустили обед и вернулись в лагерь во время тихого часа. Весь отряд лежал в кроватях, и мне сообщили, что меня ждут крупные неприятности за самоволку.

Самым приятным воспоминанием из всей лагерной жизни так и остался тот тихий, не потревоженный дурацкими хоровыми песнями и общественными поручениями день.

* * *

Не знаю, от чувства долга ли, или от чего другого стал я делать наброски портретов моих друзей. Так получилось, что первым стал Сашка Шлемов. Я до сих пор питаю к нему глубокое уважение, хотя успех его жизни заключается лишь в том, то он, кандидат наук, обладатель двух высших образований и прочее, и прочее, был выгнан из закрытой фирмы, работал грузчиком в магазине, потом рабочим на заводе и, наконец, не выдержав, уехал в Израиль.

Его суждения, напоминающие монологи Жерома Куаньяра, сделали бы честь многим преуспевающим профессорам, авторам монографий. В день его сорокалетия я преподнес ему свой опус. Прошло довольно много времени, мое авторское самолюбие не выдержало и я, позвонив ему по пустяковому поводу, спросил заодно, как ему понравилось мое сочинение. Сашка ответил: «Я дочитал твою писанину до того места, где ты пишешь, что у меня пенис из слоновой кости. (Я, действительно, написал, что в молодости Сашка был красив, как бог Аполлон, что, мол, даже пенис у него был удивительной красоты) и выбросил твои марания». Далее он дал мне, вспомнив Булгакова, совет Мастера поэту Ивану Бездомному: «Не пишите плохих стихов, лучше ничего не писать». Черт возьми, ну не могут же все быть такими же гениальными, как Булгаков, а царапать пером бумагу хочется — зуд такой творческий существует. Может быть, это и графомания, может быть. Но главное ведь — писать правду и писать то, что знаешь.

Потом моей жертвой стал Левка. Его я препарировал без жалости, и в этом есть загадка, «тайна», как любил говорить Достоевский. Я препарировал друга и при этом получал некую пользу для себя, ибо решал вопрос, почему он ко мне относится именно так, а не иначе. Мы ведь отражаемся в наших друзьях, а они в нас. Левке я тоже подарил свой опус, он возвращался с преферанса, но не утерпел и стал читать. В результате всю ночь

не спал, очень был расстроен моим анализом, не хотел верить, что это именно он. Потом позвонил мне и долго фальшиво смеялся, как Родион Раскольников перед Порфирием. А я, как Порфирий, подыгрывал ему и тоже смеялся, разряжая напряженность.

Сейчас, оправдывая свои поступки по отношению к друзьям и родственникам, я ищу им оправдания. Я заявляю, что моя дружба всегда была требовательной, и поэтому дружить со мной было трудно. Каково! При этом, естественно, не стоит вопрос, кто же дал мне право судить своих друзей. Ведь я же отдаю себе отчет, что намного хуже каждого из них.

Я себе присваиваю заслугу сохранения семьи Старцева. Он, будучи уже в солидном возрасте, влюбился в свою лаборантку и собирался уйти из семьи, покинув жену с двумя подростками. Я сделал все, чтобы он остался. Он несколько лет меня ненавидел, но потом смирился, и многие годы мы с ним были в лучезарных отношениях. Ах, как все просто! Не одеть ли мне поверх пиджака пару-другую белых лебединых крыльев? Черт меня попутал влезть в человеческую комедию и затоптать грязными сапогами святые чувства. Однажды я узнал, что у Старцева с той лаборанткой есть сыночек. Очень похож на отца... Ну что ж, давай. Действуй! Теперь законные дети выросли, пристроены. Отец получает много. Может, поднажать и затолкать Старцева в новую семью? Пусть теперь маленького поднимает на ноги? Я прямо-таки чувствую зуд. Как бы мне удержать себя... Кстати, его законная супруга что-то очень давно со мной не общается, а ведь в свое время говорила: «Какой же ты хороший человек, Алик!»

Я себе ставлю в заслугу то, что, наконец, развел Орловского с нелюбимой женой и затолкал под башмак любимой женщины. Теперь он нянчит ее внуку и чувствует себя вполне счастливым.

Я, кажется, стал спокойнее и добрее. Нередко я одариваю друзей и знакомых книгами и сувенирами. У меня стала пропадать временами жадность к деньгам. Дай-то Бог! Может быть, действительно для меня наступает время разбрасывать камни. Хотя я до сих пор их собираю с увлечением (в прямом и переносном смысле). Как-то мне пришло в голову, что если мой сын устроится в жизни так, как я мечтаю, то неплохо было бы отдать накопленное мною имущество (книги, камни, коллекции) после моей смерти в монастырь. Почему-то, кажется, что там нашли бы ему наилучшее применение... Дурь и маразм, конечно...Почему монастырь?!

В общем, я доволен, что успел написать краткое жизнеописание моих друзей и знакомых... Что-то маловато получается у меня заслуг перед близкими и дальними. А вот, если бы встал бы рядом со мной землепашец и на вопрос, в чем результат его жизни, ответил бы попросту, что всю жизнь в поте лица своего добывал хлеб насущный... А я, если бы мне дали слово, сказал бы, что всю жизнь занимался химией, дышал всякой дрянью и пытался своими статьями и изобретениями увеличить мощь моего неприветливого отечества... Ну вот, завоняло фальшью. Оставим это.

Мир сильно меняется в преддверии двадцать первого века. Быстрота изменений приводит меня в трепет.

Зрелище действительно захватывающее и страшное одновременно. Что будет с нами, со страной, с миром вообще? А сам мир, МИР в глобальном, вселенском понимании — бессмертен ли? Помню, поделился я с Орловским впечатлениями о книге «Вселенная, жизнь, разум» Иосифа Шкловского. Там есть слова о том, что в конце концов наше Солнце остынет, пройдет через фазу красного гиганта, и участь биосферы Земли будет решена. Конечно, это произойдет не скоро, через несколько миллиардов лет... Орловский при этом погрузнел и сказал, что его больше бы устраивала бесконечность. Вот истинный гуманизм! Сейчас я подумал: положим, во Вселенной множество, великое множество обитаемых миров с высокоразвитой формой мыслящей материи. И вот Вселенная, подчиняясь внутренним законам развития, подходит к моменту, когда расширение заканчивается и начинается сжатие. Этот процесс идет десятки миллиардов лет, но какая мне разница. Пусть я не могу представить себе отрезка и в тысячу лет, но разрушение цивилизаций, исчезновение высших форм сознания под действием страшных сил тяготения даже через пятьдесят миллиардов лет кажутся мне величайшей несправедливостью. А перед истинной бесконечностью и пятьдесят миллиардов лет — ничто. Подумаешь — пять на десять в десятой степени!..

СЛАВКА

У многих, наверное, почти у каждого, в детстве был закадычный друг, но немногие донесли эту детскую дружбу до зрелых лет. То же случилось и со мной. Друг мой Славка, вот тебе мой долг памяти, мой поклон через тридцать пять лет. Как я рад, что он

никогда не был уныло положительным. Он не был храбрым и не был принципиальным. Он врал и изворачивался, и фантазировал.

Как я с ним познакомился?.. Не помню, да это и не так уж важно. Где-то в детстве вижу себя и его за сараями, прилепленными к нашему жалкому домику о двух этажах. Я только что стащил у дедушки две сигаретки «Кино», и мы деловито дымим. Славка был старше меня на два года, по два раза сидел в третьем и пятом классах. Он был удивительно предприимчив и увлекался всем сразу. Мы с ним коллекционировали марки, играли на домре, бегали в драмкружок в девчачью школу, увлекались минералогией, потом настало увлечение живописью — и во всем, почти во всем он был впереди. Он был несомненно одарен многими талантами, а я сиял отраженным от него светом.

Мать растила его и сестренку одна. Работала она то ли бухгалтером, то ли нормировщицей, я не помню. Жили они на сущие гроши. Славка мне рассказывал, что в конце войны он буквально сходил с ума от голода. Мать ему оставляла один рубль (!) на день. Тогда он придумал такой финт. Шел в столовую, брал пустой чай и подсаживался к солидным людям, обставленным тарелками. Он прихлебывал из своего одинокого стакана и глядел печальными голодными глазами. Ну кто мог выдержать такое испытание? Тем более, что в годы войны сердца раскрывались легче. Его кормили, кто со своей тарелки, а кто заказывал ему отдельную порцию. Однажды сердобольный гражданин так усердствовал, что объевшийся Славка напустил в штаны.

В четвертом классе он предпочитал вместо уроков постоять в очереди за мукой часов пять, а потом за вознаграждение поставить на свое место старушку. Однажды я пришел к нему домой и увидел на стене забавные ходики, циферблат которых увенчивала кошачья морда. В такт колебаниям маятника морда открывала и закрывала поочередно глаза. В эти ходики Славка вложил свой недельный заработок.

Бог знает, с чего это мы вдруг стали собирать марки. Скажу вам, что подробная страсть может обрушиться на нас в любом возрасте. И мы, охваченные ею, ходим, везде высматривая ярко размаленные квадратики, спешим истратить на них все свободные деньги часто в ущерб куда более важным потребностям, а затем мы несем бережно-бережно конвертик с марочками и, придя домой, еще раз придирчиво осматриваем сохранность зубчиков и

аккуратными, точными движениями вставляем наше сокровище в альбом. После этой процедуры мы чувствуем некоторое успокоение, но ненадолго. Сумасшедшие флюиды снова растворяются в крови, и мы снова ходим, шаря глазами по киоскам, и докучаем своим знакомым бесконечными просьбами подарить или отрезать от конверта. Есть даже психопаты, которые безжалостно потрошат семейный бюджет на свое увлечение.

Остается вопрос, куда девается коллекция, если она не дарится сразу целиком. Как чудно и незаметно по тропинкам случайных отношений марки отправляются в путь. Та, наша первая коллекция пополнялась из фондов магазина «Марки», который размещался на Кузнецком мосту. Марки стоили дешево. Были какие-то странные марки с царскими гербами и надпечаткой латинским шрифтом: столько-то пиастров. Может быть, эти марки служили знаками почтовой оплаты в Турции? Кто знает. Они продавались огромными кучами и очень дешево. Там же продавалась ставшая теперь довольно редкой серия, посвященная 800-летию Москвы, и просто серия, посвященная Москве — разноцветные лакированные квадратики с мавзолейчиком, историческим музейчиком и прочими достопримечательностями.

У Славки коллекция была намного более обширной, поскольку он имел неконтролируемые источники дохода и редко посещал школу. Он раздобыл тонюсенькую клейкую бумагу и с ее помощью крепил марки в бумажных альбомах. Все это выглядело у него очень свежо и нарядно. У меня же марки висели на толстых стеблях и не желали ложиться на лист, да и держались как-то противно вкривь и вкось.

Мы так и не стали заядлыми филателистами, потому что не знали, что самое главное в марках — это возможность меняться. При обмене вы смотрите на марки совсем другими глазами, вы сравниваете их ценность, охотитесь за своей желанной, но делаете вид, что интересуетесь совсем другой. Дурачите новичков и сами оказываетесь одураченными более опытными коллекционерами. Филателия не знает возрастных барьеров. Подчас можно увидеть, как седобородый профессор с интересом лезет в альбом первоклассника и ведет с ним деловые переговоры. Наша тогдашняя марочная страсть продержалась недолго.

Второй раз я заболел этой болезнью всерьез уже после окончания института. Начало ей положила кучка испорченных марок, которые содрала с конвертов моя сестренка. От моей второй

коллекции также остались жалкие крохи, но зато я познакомился достаточно тесно с миром филателистов и должен сказать, что мир этот весь пронизан денежно-спекулятивным духом. Никакой эстетики нет и в помине. Познавательная ценность остается школьникам, а над всем царит цена, определяемая редкостью или конъюнктурными соображениями. О марках никогда не говорят, красивая она или уродливая, какому лицу или историческому событию посвящена. К чему описывать внешний вид, который и так всем виден, и какая разница, какой художник трудился над маркой. Ясно, что не Рафаэль. Марка либо есть у любителя, либо ее нет. Если нет, то к его услугам целая банда спекулянтов, многие из которых нигде не работают, а промышляют тем, что скупают в огромных количествах дефицитную тематику, а затем втридорога пристраивают простакам. Простаки — это мы с вами, то есть те, которые ежедневно сидят на работе от и до.

Такие же спекулянты, но более высокого ранга сидят в правлении общества филателистов. Они безжалостно гонят «чистоган» из всего, что им дано на откуп. Думаю, что не одна машина куплена на «марочки» и не одна дачка построена.

Однажды ветер странствий занес Славку в клуб имени Зуева, и он узнал, что там работает кружок народных инструментов. Он немедленно в него записался и получил огромную домру-бас. Я тоже пленился домрой, тем более, что у нее всего три струны и, стало быть, учиться легче, чем на гитаре или скрипке. Спустя две недели папа пошел со мной в клуб и под залог получил домру раза в два меньше.

Обучение наше проводилось по ускоренной программе. Наставник левой рукой обучал нас нотной грамоте, а правой дирижировал оркестром. В первых рядах оркестра я увидел тупицу Романова, учившегося на круглые двойки, и его младшего брата. Романов-старший легко играл с листа на домре-пикколо, а мы со Славкой потели над бемолями и бекарами. Спустя короткое время мы уже могли играть на одной струне «Как пошли наши подружки...» и «Во поле березонька стоя-ла». После этого наставник решил, что мы созрели для игры в оркестре. Репетировали изящный, порхающий кёхель из «Немецких песен» Моцарта, кем-то переложенный для оркестра народных инструментов. Славке досталась на редкость легкая работа. В конце музыкальной фразы он должен был сыграть соль-до. Мне же досталась совершенно непонятная

партия, и я никак не мог уяснить, где я вписываюсь в мелодию. В течение нескольких репетиций я мужественно пытался считать такты и следить за движениями дирижера, чтобы дергать струну вовремя, но через десяток-другой тактов сбивался и лепил, что Бог на душу положит. В общем гаме оркестра моя халтура не улавливалась. Затем я слышал ликующее Славкино завершение «сольдо», и пытка начиналась снова. Обращаться к руководителю кружка я не решался, родители мне помочь были не в силах, и потому я просто перестал ходить в кружок. На домре я так играть и не научился, а просто дринькал на одной струне, подбирая мелодию по слуху. Бабушка и мама были довольны. Я подтверждал, что у меня действительно есть музыкальные способности.

В раннем детстве у меня была такая же нелепая встреча с музыкой. Родители решили отдать меня в музыкальную школу. Предстоял серьезный вступительный экзамен. Отец решил, что я должен петь романс «Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль...» Сейчас мне при этом воспоминания становится ужасно смешно. Ну подумайте: розовощекий, голубоглазый крепыш восьми лет — и этот романс! А ведь моего отца считали умным человеком... Откуда берется эта провинциальная претенциозность, черт ее дери! Отец долго меня мучил этим проклятым романсом, но когда дошло до испытаний, природный оптимизм взял верх, и я исполнил «Артиллеристы, Сталин дал приказ...» Нет, нет, я тогда еще не был конъюнктурщиком. Далее меня заставили повторить стук карандаша, угадать количество звуков, взятых на рояле, после чего высокий полный мужчина вышел в коридор и спросил, кто родители такого-то. Мама откликнулась. «Ваш сын принят с оценкой «хорошо», — сказал высокий мужчина, и мамино сердце наполнилось гордостью. К вечеру уже все знали, что я — будущий Ойстрах, что меня сразу хотели взять в первый класс, но ввиду полной музыкальной безграмотности решили пока подучить в подготовительном. Обучение стоило двести рублей в месяц. Что это была за сумма, можно представить, сравнив ее с маминым месячным заработком — 650 рублей. Но что такое деньги? Деньги — это вода. Так говорили в нашей семье. А музыкальное образование — на всю жизнь. Укрепившись в этой немудреной философии, родители решили возить меня на занятия. Далее, помнится мне, месяца три меня возили то дедушка, то тетя. Хотя меня досрочно перевели в первый скрипичный класс, о чем впоследствии с гордостью сообщала мама своим знакомым, никаких особых талантов за

эти немногие месяцы я не проявил. Вскоре всем надоело таскаться в музыкальную школу, а в самостоятельные поездки меня еще не пускали. Главное, было жалко денег, которые, как уверяла мама в минуты раздражения, добываются потом и кровью. Такие фразы, услышанные в детстве отбивают в дальнейшем охоту трудиться.

Третью и последнюю попытку научиться музыке я предпринял уже на четвертом курсе института. По знакомству мне нашли преподавательницу. Это была красавица-армянка, сидевшая в декретном отпуске с малышом. Мужа ее я ни разу не видел, но кажется, он был композитором. На письменном столе я видел фотографию Арама Хачатуряна с теплой дарственной надписью и пожеланием музыкальных успехов.

Я приходил после смены с «Красного богатыря» и впервые в жизни пытался играть двумя руками сразу. Учительница была мною недовольна, так как я плохо считал такты, терял строчку и поправлял по ходу исполнения очки, регулярно сползавшие с носа. Вершиной моего мастерства был «Сурок» Бетховена. Я исполнял его в замедленном, солидном темпе, так как быстрее не мог, но учительнице это понравилось. Сломался я на вальсе из балета «Спящая красавица», и ускорила мое падение мама. Она была в то время нездорова и решила себе поставить диагноз «инфаркт». По этой причине она старалась поменьше двигаться. Я же получил бюллетень по уходу и почти месяц не ходил на завод. Жили мы тогда в однокомнатной квартире, где пианино стояло в двух метрах от кровати. Вначале мои экзерсисы нравились маме, но потом она заметила, что я никак не могу преодолеть одно и то же место. Это начало ее раздражать. Когда же я чуть ли не в сотый раз сбился на ми-бемоль, она с досады плюнула и наговорила мне кучу неприятных вещей. К этому моменту мне самому эта дурацкая возня опротивела. Музыка не получалась. Душа просила широты, эмоций, а руки творили нечто безобразное.

Однажды Славка притащил кусок булыжника, в котором блестящие желтые зерна пирита. Что такое пирит, мы еще не знали, но зато были наслышаны о золоте. На следующий день я сбежал с уроков и двинулся с другом к железной дороге, где были свалены кучи камней. Добрых три часа мы кололи камни — белый мягкий известняк, неподдающийся серый базальт, сверкающий слюдой гранит. Мы перепачкались и поранили руки, один из острых

осколков рассек Славке щеку, но все это было пустяками. Нас трясла золотая лихорадка. Вокруг постепенно собирались ребята из соседних дворов. Обстановка накалялась. Вдруг Славка испустил восторженный вопль. В одном из камней сверкнули кубики пирита размером со спичечную головку. Тут напряжение зрителей достигло такого накала, что сразу несколько ребят подошло к нам и стало отнимать добычу. Славка сражался, как раненый медведь, но нам все же пришлось покинуть Эльдорадо, оставив почти всю добычу аборигенам. Я на прощание тоже получил по шее и совет больше не появляться в сих обетованных землях. Мой друг шел, размазывая грязными руками злые слезы, я плелся за ним, бормоча слова утешения.

На следующий день он нашел меня на большой перемене, утащил в угол и, радостно хохоча, сказал, что никакое это не золото. Ему химичка объяснила, что это всего-навсего соединение железа и серы, и в доказательство капнула серной кислотой. Тотчас завоныло тухлыми яйцами, и кристаллик начал шипеть и чернеть. «Представляешь, как мы надули тех дураков!» — ликовал он.

С этого дня нами завладела геохимия. Славка тащил всевозможные камни и калил их на газовом пламени, травил кислотами и щелочами, исследовал через лупу. Через месяц у него уже были ящички с аккуратными ячейками, в которых лежали разные породы и минералы. Тут мы набрали на книги Ферсмана, и перед нами открылся неожиданный мир. Таинственные имена минералов — амазонит, беломорит, лабрадор... Поражающие воображение цветные заставки с сияющими гранями благородных камней и яркими тонами самоцветов. Причудливые узоры дендритов, фантастические пейзажи яшмы и изысканная графика полированных агатов. Нет, словами всего не выразить, это нужно видеть, гладить пальцами блистающие холодные поверхности огромных кристаллов кварца или бархатистую теплоту белоснежного каолина, чувствовать в ладони тяжесть галенита.

Этот неведомый доселе мир открылся нам в зале Минералогического музея Академии наук. Бывали ли вы когда-нибудь в этом зале? Если не были, мне жаль вас, искренне жаль. Поезжайте туда. Вы поедете летом на троллейбусе по Ленинскому проспекту мимо ворот со львами. Сквозь ворота видно приземистое ампирное здание президиума Академии наук. На следующей остановке вы выйдете и направитесь перпендикулярно проспекту к огромным литым воротам, за которыми зеленеет Нескучный

сад. Но вам не туда, вам следует свернуть направо и через пятьдесят шагов вы уже у ступеней Минералогического музея. Здание непривлекательно, с небольшим двором, окруженным глухим каменным забором. Но вот вы распахнули дверь и вошли в музей.

Слева и справа за вешалкой чернеют гигантские каменные и железные метеориты, как мрачные стражи других миров. На витринах под стеклом лежат их младшие и мелкие братья из далеких созвездий. А дальше... дальше разворачивается перспектива огромного зала, и глаза разбегаются. Справа вдоль стены когда-то лежали крупные расколотые кремневые шары из Подольских карьеров. Внутри они были полыми, и в темных полостях сверкали изумительной красоты аметистовые зубы. Потом шли длинной чередой витрины с бериллами, аквамаринами всех оттенков синезеленого, изумрудами, гигантскими глыбами малахита, глядящими на посетителей зелеными бархатными глазами, опушенными черно-зелеными ресницами. А дальше светились лимонным и оранжевым золотом куски аурипигмента, переливались небесной лазурью с прозеленью кружева арагонита. Потом вы пересекали проход, устланный ковровой дорожкой, по обе стороны которой на специальных постаментах лежали гигантские кристаллы горного хрусталя, огромные кусты антимонита, напоминающие застывшие пряди волос Горгоны Медузы. Левая сторона зала тоже поражала диковинками — огромными кубами пирита, медовыми топазами, нежными розовыми оттенками родонита, глубокой синевой лазурита. И когда глаз, насыщенный всем этим великолепием, этим безумным пиршеством природы, казалось, уже не мог ничего более воспринять, вы подходили к витринам с драгоценностями...

Когда мы со Славкой вступили в минералогический кружок при музее, нас допустили в хранилище, где проводилась сортировка и отбраковка привозимых в музей образцов. Мы приезжали сразу после школы и поднимались по крутой деревянной лестнице на второй этаж. У маленького окошечка стояли тяжелые тиски и лежал молоток. Если образец не раздавливался тисками, его разбивали молотком. Наши коллекции стремительно пополнялись. Знания наши по минералогии росли не столь быстро. Правда, мы уже знали шкалу твердости, спайность и всякие другие характеристики минералов, но на химическом составе мы застряли. Нас, изучавших химию по дрянному учебнику Левченко, пугали громоздкие формулы минералов. Они, эти формулы, вроде бы даже переворачивали наши представления о валентности. Мы не

знали, что означают знаки умножения в формулах, почему диоксид кремния, который казалось бы, является индивидуальным соединением (кварцевый песок!), взятый три или четыре раза умножается на двенадцать молекул воды, на двойную соль и что все это означает.

Непонятное отпугивает чаще, чем привлекает. Нам стало неинтересно ходить на занятия кружка. К тому же научные сотрудники музея решили нам устроить контрольную, чтобы выяснить, с кем они имеют дело — с людьми, серьезно увлекающимися минералогией, или с тупыми коллекционерами. Мы явно были ближе к последним. На занятиях кружка редко кто мог членораздельно ответить на вопросы руководителя.

На одном из последних занятий кто-то стянул у наших наставников буквально из-под носа два прекрасных кристалла дымчатого кварца. Такие кристаллы называют пальчиками. Тут же началось расследование, но пальчиков не нашли. Мы подозревали одного противного парня с круглым бабьим лицом. Он всегда приходил с матерчатым мешочком, куда прятал камешки. Мы возмущались, а он помалкивал и глядел масляными глазками сытого сурка. Обыскивать никого не стали, но всем после этого случая стало противно ходить на занятия, да и контрольную писать не хотелось. Так и кончилось наше законное пребывание в стенах Минералогического музея.

Мы решили продолжить образование самостоятельно. Я начал штудировать толстую книгу по истории Земли, а Славка занялся выращиванием кристаллов из раствора. Пока кристаллы были маленькими, они ласкали наши взоры чистотой граней и яркостью цвета. По мере роста внешний вид их становился все менее привлекательным, и под конец, вынутые из раствора, они напоминали куски мутных бутылочных стекол.

Как раз в это время объявили геологическую олимпиаду в университете. Узнал об этом, как всегда, Славка. В большой аудитории сидело множество ребят. Нам дали вопросные листы, по два-три минерала для определения и описания свойств, и работа началась. Первый тур был легким, и мы его благополучно миновали. Однако на втором туре мне попалось совершенно неизвестная окаменелость и такие вопросы, что я даже не понял, что у меня спрашивается. Потев от стыда, я листал под столом справочник по окаменелостям, который пронес какой-то предприимчивый соискатель. Наконец, я увидел рисунок, очень отдаленно

напоминающий мою раковину. Я аккуратно списал латинское название и добавил, что она из мелового периода. Проходившая между рядами студентка увидела мою латынь и воззрилась на меня, как на чудо. Я же скромно опустил глаза. Но латынь меня не спасла. В списках прошедших олимпиаду с положительной оценкой моя фамилия не значилась. Славка был счастливее. Он не пал духом, а пошел в туалет и там получил полную консультацию по всем вопросам, что позволило ему занять сорок шестое место.

В десятом классе мы со Славкой стали встречаться довольно редко. Он кипел на общественной работе, пропадая в школе днем. Во мне же само здание школы вызывало отвращение. Я с трудом тащил себя на уроки. Иногда не в силах преодолеть отвращение я уходил морозным утром к первому сеансу в кинотеатре «Смена». Там в вытянутом, как сосиска, зале я смотрел черно-белые экранизации пьес Островского, а потом, не торопясь, шел к дому. Преподаватели наши, казалось, сошли с экрана. Учителя математики звали Петюнчиком. Он был старый, с удивленно поднятыми рыжими кустистыми бровями и лысиной, похожей сверху на трапецию. Некоторые так его и звали Трапецией. Он приходил в класс и доставал толстую, исписанную крупным детским почерком тетрадь, вызывал к доске одну и ту же девочку Легостаеву, которая славилась мастерством каллиграфически писать на доске и делать чертежи, и все начинали под диктовку писать решение задачи «с объяснением». Мы с Левкой через пять минут начинали томиться и, чтобы хоть как-то скоротать ненавистное время, услаждали себя чепухой. Столь же безрадостными были уроки и по другим наукам. Нас мало чему обучили и еще в меньшей степени заинтересовали живым делом. Мы вышли из школы с ощущением, будто стряхнули с себя пыльную паутину, но открывшийся мир нам был непонятен и незнаком. Многие из нас не представляли себе, чем займутся в будущем. Мы знали только лишь, что поступление в институт спасет нас от армии.

Папа и мама не стали ждать проявления моих талантов. Решено было устраивать меня в Бауманское училище, благо главный инженер папиного института имел там знакомых. Родители сочли нужным представить меня благодетелю на вечере, посвященном Дню шахтера. В холле театра имени Пушкина меня подвели к невысокому человеку с энергичным лицом и насмешливыми умными глазами. На вопрос: «Как дела?», я ответил: «Как всегда», и мы удалились. Мой ответ возмутил родителей, и они

долго и нудно пилили меня с обеих сторон. На мое счастье начался праздничный концерт.

На сцене появился цветущий мужчина и, изображая смущение, стал совать в карман театральный занавес. В нескольких местах в зале раздался слабый смех. Ободренный конференсье разыграл пантомиму под названием «На одном конце червячок — на другом дурачок». Затем где-то после акробатов два студента-албанца спели народную песню «Подснежник», в которой юноша-шиповник объяснялся в любви девушке-розе. Затем вышла толстушка и, взвизгивая, сообщила, что ее Вася вскоре будет первым на Луне. Как это часто бывает, долгосрочный прогноз не сбывлся — первыми на Луне оказались американцы, но идиотская песенка осталась, и я спустя четверть века вновь услышал ее по радио.

День шахтера в том году отмечали долго и пышно. На следующее утро мы поехали в Парк имени Горького, и мама накупила много-много сладкой дребедени в ларьках. Мы бродили по жаре, жевали бездарные сласти и потом долго изнывали в очереди за прохладительными напитками. Наконец настало время представления и мы отправились посидеть и передохнуть в Зеленый театр. Каково же было наше удивление, когда мы вновь увидели цветущего мужчину на эстраде, а он, изображая смущение, стал совать в карман очередной театральный занавес. Давно мы так не смеялись. Но после «Подснежника» нам стало тягостно, и мы, не выдержав, побежали по проходу, преследуемые выкриками:

*Мой Вася! Он будет первым
Даже на-Лу-не!*

Вопреки усилиям родителей я подал документы в химический институт за компанию с Левкой. Мы подали на факультет технологии редких и рассеянных элементов. Название звучало романтично и притягивало. Слово «технология» никак не понималось и тоже было красивым. За ним вовсе не стояли закопченные цеха химических заводов, воздух которых отравлен парами свинца, ртути и других промышленных ядов.

Славка никуда не поступил, и его судьба была решена. Осенью он приехал ко мне стриженный наголо. Он улыбался и был полон надежд. Разговора не получилось. У меня не ладилась учеба, и я боялся вылететь из института. Выяснилось, что химию я не знаю, не знал и, по-видимому, не смогу познать. Задания по

математике, физике, черчению, начертательной геометрии обступили меня со всех сторон, и я не представлял, за что раньше признаться. Я, тоскуя, крутился в этой беспросветности. Дела Левкины шли еще хуже. Он поговаривал об академическом отпуске. У него был стресс: по тем временам — редкое явление. У меня же никаких оправданий не было. Мне нужно было во что бы то ни стало выстоять. Я приходил в химическую лабораторию, как в камеру пыток. Утро начиналось с контрольной. Я писал уравнения, сдавал листочек и мучительно ждал, когда раздастся голос:

— Трастанецкий, подойдите ко мне!

Я шел и уже издали видел исчерканный красным карандашом злополучный листок, источник моего стыда и терзаний. Сейчас мне смешно и забавно вспоминать свою беспомощность. Что там было сложного? Представить себе не могу. Книги Некрасова по химии читаются, как увлекательный роман, и столь же легко запоминаются. Но тогда я сидел напротив желчной и безобразной старухи и дрожащей рукой пытался исправить ошибки, а товарищи мои в это время уже переходили к практической части.

Фамилия старухи была Шнайдерман. За свирепость нрава мы ее звали Шнайдерман-пинчер. Особенно она меня мучила уравнениями окислительно-восстановительных реакций. Я никак не мог справиться с коэффициентами в уравнениях; то справа, то слева у меня возникало лишнее ведро воды, и я, быстро тупея от процедуры уравнивания, все тасовал и тасовал кислороды и водороды, а Шнайдерман-пинчер изливала на меня свой гнев и презрение. Она выхватывала из моих рук листок и восклицая: «Фонтан любви, фонтан печали!», размашисто перечеркивала мои научные находки. «Вот еще один перл!» — кричала она на всю лабораторию, когда я протягивал ей переписанную контрольную. Если бы я не был так забит и напуган, я бы ее ненавидел. Она была на редкость неряшлива. В черном халате, в дырявых чулках. Длинный нос, напоминал наконечник стрелы. Она настолько уверовала в мою тупость, что однажды, когда я собрался и выучил материал по сурьме и висмуту, спросила жестко и нагло: «У кого списал?».

— У Некрасова, — ответил бы я ей сегодня со смехом.

В один из последних дней декабря я изнывал, сидя перед ней в холодной, как морг, препараторской; она грызла яблоки, цыкала зубом, икала и куталась в какой-то дрянной платок. Чтобы не заоченеть, она зажгла и поставила себе под бок две бунзеновские

горелки. Зашел мой однокашник. Она быстро и весело приняла у него зачет, потом ее взгляд обратился на меня и глаза подернулись пленкой, как у снулой рыбы. Помытарив меня еще с часок, мегера наконец дрогнула. Я встал и поспешил в коридор. Там я ощутил одинокое свое счастье. Путь к экзаменам был открыт.

Любовь к живописи вспыхнула жарким костром после прочтения книги Ирвинга Стоуна «Жажда жизни». Ван Гог, целиком отдавший себя искусству, потряс меня. Мы со Славкой раздобыли руководство по рисунку и живописи и принялись осваивать азы. Немыслимая сила вдохновения, исходящая от страниц книги о великом подвижнике и страдальце, бросила нас к листам бумаги. Мы, словно одержимые, рисовали шары, кубы, табуреты, книги и спичечные коробки. Мы учились класть тени, передавать фактуру и прочим премудростям. Славка, как всегда, был впереди. Он уже пробовал технику акварели. Однажды он принес изумительный нарядный этюд: в небольшом обливном глиняном горшочке стоял букетик белой «Ночной красавицы», именуемой в народе «Лесной фиалкой», прекрасной орхидеи Средней полосы. Я увидел эту акварель и ахнул. Я понял, что ужасно отстал от друга. Уже на следующий день я выбрал шаровидную хрустальную вазу и решил исполнить рисунок карандашом, тушью и белилами.

Как часто бывает, первые наши успехи были поразительны. Домашние отмечали несомненные начатки таланта, и это еще более подстегивало. Помнится, я нарисовал верхушку сосны, не прописав ни единой иголки, но это была она — та самая сосна, застывшая в безветренном сером небе, и сосед Семен Романович тыкал пальцем в рисунок и говорил своей жене: «Иди, Рая, взгляни, как здорово парень нарисовал сосну».

Мы бегали со Славкой почти на все выставки. Народ тогда еще не был в Москве настолько одержим престижными соображениями, и на выставки ходили те, кто действительно любил искусство. Мы ходили по залам и принимались к картинам, изучали структуру мазка и технику акварели. Там мы открыли для себя произведения, мимо которых бегали галопом на школьных экскурсиях.

Настоящим откровением для меня стали импрессионисты. Сейчас и не вспомнить, какими путями привел добрый бог Аполлон меня и Орловского в Белый зал Пушкинского музея. Выставка работала уже давно. Эренбург открыл ее и говорил хорошие слова о Франции и ее художниках. Это все мы узнали и

прочли много позже. Случай открыл нам явление, которое нас потрясло, как Кортеса потрясла, наверное, ширь Великого океана. Это было торжество света и цвета над унылыми охрами соц-реализма. В картинах Моне, Сезанна, Сислея цвели настоящие живые цветы, излучали тепло нагретые солнцем леса и горы, пряно пахло убранное в стога сено, густой молочный туман окутывал набережную Темзы, манила прохлада реки, медленно протекавшей под деревянными мостиками. Мы ходили с Орловским по залам опьяневшие, обалдевшие и восторженные. Взглянув напоследок на «Сосну» Синьяка, мы скатились по лестнице вниз в раздевалку перевести дух. Восхищение мешало дышать. Была, конечно, и радость сопереживания. Будь я один, яркость впечатлений была бы не столь сильной.

Я тогда же подумал, что хорошо, что жили когда-то в России вельможи, богатые купцы, и промышленники, которые любили роскошь, скупали предметы искусства, строили картинные галереи и музеи. А также хорошо, что люди сильно верили в Бога и в Его честь и в честь его деяний строили храмы и монастыри, не жалели золота и серебра на иконы. Что осталось бы нам, если бы не было тех людей? Панельный железобетон?

С кем только я не встречался впоследствии в выставочных залах музея, созданного энтузиазмом Ивана Владимировича Цветаева. Мощная солнечная живопись Ренато Гуттузо, картины Эль Греко из Лувра и музеев Испании, голландская коллекция картин Ван-Гога, шедевры Франсиско Гойи — всего не перечесать. Но та, далекая, первая выставка импрессионистов открыла мне глаза. Я зачастил на выставки и в музеи. Увидел, как будто впервые, манящие, немного сумасшедшие сирени Врубеля, его могучего Пана с младенческими голубыми глазами, лирические полотна Левитана, в которых царит тишина. Мне открылись Куинджи, Иванов, Суриков, Поленов, Верещагин. Потом мы ходили на выставки удивительного американского художника и писателя Рокуэлла Кента, певца снегов и скал Гренландии, мы видели огненные картины Святослава Рериха... Сколько их было — этих праздничных встреч! Что-то ускользнуло из памяти, уплыло в Лету, но все равно остался воздух праздника.

Я уж не вспомню, что именно было на первой выставке МОСХа. Тем более, что на последующих выставках многие картины повторялись. Тогда произошло столкновение одного «маленького» скульптора с самим главой огромного государства. И «маленький»

скульптор победил и оказался великодушным, ибо когда рухнул глава, то те, кто униженно льстил ему, стали заносчиво ругать старика, и он умер почти в неизвестности, а «маленький» скульптор увековечил его в бронзе и камне.

Но на первой выставке МОСХа были не только скандалы и анекдоты. Вытащили из запасников картины удивительных художников, имена которых, казалось, покрыты таким слоем пепла истории, что раскопать их было не легче, чем древние Помпеи. Люди, подходя к картинам Фалька, радовались, как радуются друзья, встречая прибывающих из дальних странствий.

Спустя много лет я вновь был на выставке МОСХа и среди множества бездарных картин разыскал уголок, где талантливый Тышлер «висел» напротив талантливого Фалька, и объяснял знакомому, чем хорош портрет гречанки, женщины с усталым и бледным лицом, и чем эта женщина лучше «повешенного» рядом здоровяка-матроса с деревянными, как два сучка в распиле, глазами. А напротив гречанки был изображен усталый, сутулый художник в немного нелепой красной шапочке, сшитой на манер пилотки, может быть, из остатков той материи, что идет на флаги. И улыбался пожилой художник чуть ироничной еврейской улыбкой, и непонятно было, кому адресована улыбка — зрителю или самому себе...

Мне не забыть чудесный апрельский день, который стал позже днем космонавтики. Москва встречала Гагарина. Было холодно, ветрено и солнечно. На Кузнецком мосту в маленьких залах звала к себе выставка латвийских акварелей. Хороша акварель чистотой оттенков, свежестью и интенсивностью цвета. Но это! Это был сверхцвет и сверхсвет. Пылали чешуей рыбы, аромат овощей и фруктов струился из плетенных корзин, с цветов таволги сыпалась роса, текли в зеленых берегах тихие реки, весна взламывала серо-синий лед талой водой, и вода отражала зеркалом небо и деревья. Необычны были имена художников и необычна живопись — тончайшая и точнейшая, как выстрел снайпера, техника по-мокрому, и ярчайшая техника а ля прима.

Я был не один в этот раз. Со мной был случайный человек, которого я пригласил, чтобы разделить радость. Москва встречала Гагарина, и в залах было совершенно пусто. Кроме нас слонялся там небритый, стриженный наголо человек в грязном сером свитере, с нелепой авоськой, в которой болтался газетный сверток. Человек был хмельной и пытался заговорить с нами, но мы его

отшили. Уходя с выставки, мы заглянули в книгу отзывов и прочли горькие слова: «Я, имярек, вернулся сегодня из лагеря для политических. А ведь всем известно, что таких лагерей у нас нет!» Да, ему было не до красоты. Мы, студенты третьего курса, не кинулись за ним, не догнали, не спросили, есть ли у него место для ночлега и не голоден ли он. Он вышел и сгинул в московской толчее.

...После возвращения из армии Славка поступил в авиационный институт, но там не удержался и перешел в педагогический. В армии он вступил в партию, колебался вместе со всей партийной массой и всегда одобрял генеральную линию. За это время я набрался кое-каких знаний и антипартийной ереси, и мне стало с ним неинтересно. Я был молод и беспощаден. Когда он говорил, что у них в педагогическом делаются необычайные открытия, я зло усмехался. Мы все считали, что в педвузы идут только чудаки, женщины и неудачники.

Я был у него на свадьбе. Веселился с его друзьями, по-видимому, не понравился его жене. Мы стали очень редко обмениваться звонками. Однажды я вспомнил, что у него семнадцатого декабря день рождения. Я позвонил и поздравил его. «Заезжай», — сказал он просто. Я сослался на занятость. Ехать мне не хотелось. Больше мы никогда не виделись.

ЛЕВКА

Мне очень повезло с друзьями. Мне приятно так думать. Мне приятно их идеализировать. Работа настолько заполняет их жизнь, что на увлечение почти не остается времени и сил. Хорошо ли это? Это хорошо. Пожалуй, их можно считать профессионалами высокого ранга. Каждый из них — узкий специалист. Узкий, но глубокий. Сказано: специалист подобен флюсу. Юмор мне непонятен. Вообще-то узкий специалист есть скучнейшее существо. О чем с ним говорить?

Мой друг Левка, который недоволен, когда я его называю приятелем, считает, что нам нужно общаться. Часто собираться. По любому предлогу, хоть за картами. Он считает, что общение друзей и есть основная жизненная ценность. Но что нас, узких специалистов, занятых разными делами, может связать? В чем наша общность? Боюсь умствований и анализа. Если сама жизнь

ничего не стоит, то все о ней нафантазировано. Ничего нет в жизни, кроме желания удобства, удовольствий и сохранения привычек. Где-то когда-то мы встретили людей, с которыми вынужденно долго общались. Привыкли к ним, перестали обращать внимание на их неприятные черты... Все это случайно, случайно, случайно... Некто некогда встретил девушку. Она показалась ему симпатичной (потому что в этот день она причесалась, или, наоборот, не причесалась). Вскоре он на ней женился и прожил с ней всю жизнь. А если бы он в тот день остановился купить сигарет, то женился бы на другой девушке, вскоре с ней развелся, спился бы или попал под машину.

Почему мы любим? Не потому ли, что с пеленок привыкаем к виду, запаху, тембру голоса? И к нам привыкают.

Как-то я спросил Левку, почему он не поговорит со мной о проблемах литературы. Мне это очень интересно. Левка сказал, что это ему скучно. Вот, мол, тебе было бы скучно говорить со мной о химии. А я не знаю. Ведь все дело в вопросах, которые задаются. За пределами профессионализма лежат огромные, неоткрытые области, в которых все мыслящие равны, как были равны древние перед теми загадками природы, ответы на которые теперь знает каждый школьник.

Но если говорить друг с другом о серьезных вещах скучно, то отчего же мы, уже пожилые люди, обремененные семьями, болезнями и бесчисленными неисполненными долгами Долга и Совести, ищем общества друг друга? Мы ищем тепла. Оно рождается при наших встречах. Мы образуем, пусть на короткое время, инфраструктуру, некий над-организм, живущий по своей внутренней логике. Напрашивается сравнение с пчелиным роем, который обладает своей собственной температурой и обменом веществ, как единый организм, тогда как отдельная пчела — всего лишь насекомое.

Левка. Мы дружим уже почти сорок лет. Это ужасно много. Ни с кем из друзей у меня не было столь противоречивых отношений, взлетов и падений, полного охлаждения и такого ощущения родства.

Жили мы рядом в узких и коротеньких Лесных переулках. Булыжные мостовые и тесные дворики, сараи, сараи... Спросите у моего сына, что такое сарай. Он скажет: «Это деревянная развалюха, в которой дед на даче держит всякое барахло, которое жалеет выкинуть на свалку». В сараях во времена моего детства держали

дрова и мешки с углем, разводили голубей, курили тайком, спали жарким летом, занимались всякой недозволенной детям пакостью. Крыша сарая была солярием. В середине марта можно было забраться на освободившуюся от снега поверхность и лежать на ней под весенними лучами. В одном из таких сараев состоялась наша первая встреча-сделка с будущим другом.

Я тогда считал себя уже взрослым и не желал кататься на прикрученных веревками к валенкам «снегурках». Однажды я встретился на улице с носатым, чернявым, картавым мальчишкой, который предложил мне «отличные коньки» задешево. Он повел меня в сарай, велел подождать и через минуту притащил коньки «нурмиз» (трофейные, что ли). Запросил он семнадцать рублей. Я заметил, что товар малость ржавый. Тогда мальчишка взял кусок каменного угля, поцарапал конек и сказал, что очистить новые коньки от ржавчины — раз плюнуть. Я кивнул и пошел за деньгами.

Мы учились бок о бок несколько лет, но я его совершенно не знал и не помнил. После продажи коньков я видел его всего лишь однажды в драке на большой перемене. В руке у него была шапка с кожаным верхом, которую он скрутил, как боксерскую перчатку. Это оружие при попадании в противника гулко хлопало. Болельщики стояли кругом и смеялись при каждом хлопке. Болели за его противника, потому что парень, носатый, чернявый и картавый, был евреем, а евреев не любили в ту пору особенно остро, потому что они всю войну «за русскую ж... прятались». Смерть Великого Учителя принесла нам первую радость — нас объединили с девчонками. От сентября 1954 года пахло фиалками и ландышами. Я оказался на одной парте с Левкой. Правда, не обошлось без неприятностей. Кто-то бесцеремонно вытащил мой портфель из парты. Я на правах гостя проделал то же самое. В результате мне прислали записку: «Еврей, не трогай наш портфель». В дальнейшем я антисемитизма ни разу до окончания школы не почувствовал.

На перемене толстая, безобразная баба-директриса делала смотр своим подопечным. До нашего появления в школе девчонки были обязаны в перемену чинно ходить вдоль стен парами. С нами этот кордебалет стал невозможен. Мы проказничали, а директриса смеялась.

Левка просидел со мной рядом два года. У него была красивая шея, на которой сидела дынеобразная голова. Прыщи страшно

заботили и его, и меня. У меня вся спина была покрыта этой гадостью, я стыдился своего уродства, хождение в баню было пыткой. Я не представлял себе, как поеду с девчонками на пляж. Вот у Левки тело было совершенно чистым.

Как он жил! Он в свои шестнадцать лет жил и дышал вольно, как птица. Его умная и тактичная мама не обращала внимания на его курение, а как много это значило в нашей жизни! Он, скорее всего, не ел в те годы осетринку и ходил весь год в линялой лыжной куртке, но вокруг него были интересные книги, он часто бегал в кино и вообще самовыражался, как мог. В то же время я сидел, задавленный родительским авторитетом и учил всякую гнусь, от которой и следов не осталось. Левка учился не ахти как, и моя мама считала, что он может меня испортить. Боже, как наивны и слепы родители! Я страшно любил деньги, потому что мне их никогда не давали, и я их попросту крал у родных. Я курил тайком и с наслаждением разглядывал картинки в медицинских учебниках моей матери.

Левка тоже прошел свою школу детской испорченности. Коммунальный, грязный и пошлый быт делал естественные отправления чем-то привлекательным. Отсутствие половой культуры компенсировалось подглядыванием за тетей-Мотей в щелочку, а если она еще и совокуплялась с проезжим молодцом-шофером, то это становилось темой для разговоров на месяц.

Левка, как я понял из его рассказов, был уличным бойцом. Я же был засюсюканным маменькиным сынком. Что могло быть общего у нас, я не представляю. Я был серым кандидатом в отличники. Читал Смолича, Панферова и другую мразь, которую папа притаскивал из профсоюзной библиотеки. Левка читал Джека Лондона и мечтал о подвигах. У Левки были блестящие, как атлас, очень черные и прямые волосы и сияющие влажным блеском глаза. Он нравился девчонкам и был необыкновенно обходителен с ними. Я же с девчонками совершенно не умел обращаться. Мне кажется, они меня не любили.

Непонятно, что нас связывало и продолжает связывать. Я никогда не был для него эталоном, к которому следует тянуться, совершенствуя себя. Он все делал лучше — плавал, дрался, любил, страдал, нес большую ношу в походах. Загадка лишь в том, почему он выбрал именно меня, а не более достойных и сильных людей.

Школьные преподаватели, за исключением Петюнчика, к нам благоволили. Мы оживали на химии. Двадцатый век стучался

в учебники. Никогда до сих пор путь от великих открытий до школьного курса не был так короток. Мы учили запрет Паули и квантовые состояния Бора, не понимая их суть, как данность, как закон всемирного тяготения. Левка что-то нахватал у знакомых старшей сестры. Его распирала непереваренная информация. «Цепная `геакция» — шипел он непрерывно, явно подзуживая химичку обратить внимание на его эрудицию. Я сидел рядом с ним дурак-дураком, так как не привык заглядывать в учебник далее заданного. Наконец, химичка смиростивилась и стала рассказывать об ядерных реакциях...

Состоялся XX съезд, и Левка опять нахватался от знакомых своей сестры: у него был информационный понос на уроках истории. Боже мой, каким пойлом нас пичкали на истории! Европа уже зализала раны и жила полной жизнью, на всех хватало еды, питья и одежды. Люди смеялись. В быт проникали первые шедевры микроэлектроники. А мы все пыжились, все кричали, что спасли мир, подразумевая, что все они не стоят наших жертв, поскольку не живут, как мы, в скверных коммуналках и гнусных, грязных поселках. Мы сваливали на войну весь наш протухший революционный быт, который накопили по углам за неполных сорок лет советской власти. С зубовым скрежетом в обществе было допущено ношение галстуков и даже в некоторых ресторанах уже без галстука не обслуживали. Проклятая заграница через своих агентов, которые и не догадывались, что они агенты, заслала на нашу территорию неописуемой красоты галстуки с павлинами, обнаженными женщинами и просто буйством, не-нашим-буйством красок. Нашлись в отечестве люди, которые стали носить яркие шарфы, узкие брюки, ботинки на толстой каучуковой подошве и какую-то не-нашу-прическу (не бокс, не полубокс и не наголо). Никогда не дремлющее в народе чувство недоброжелательности к ближнему было умело направлено прессой против тех, кто одевается и причесывается не так, как все. Крупнее проблем в нашей стране в ту пору, конечно, не было. Началась травля «стиляг». Были случаи серьезного рукоприкладства. Однако стремление быть оригинальным мало-помалу побеждало.

Однажды Левка опоздал на урок истории. Я подумал было, что он слинял в кино, но вдруг он возник в дверях класса с Шануриным и Киселевым. И все трое — в галстуках! Самое смешное, что тогда это был почти что подвиг. До этого мы видели в туалете лишь одного парня из соседнего класса в галстук и завидовали ему, а он

делал вид, что носить галстук для него давно привычно. И вот Левка в пиджаке (справили в десятом классе) и в галстуке. Они стояли смущенные, а девчонки громко восхищались. Историчка посмеялась и разрешила им сесть, простив опоздание из-за столь уважительного события.

Я роюсь в золе воспоминаний, и время от времени сердце обжигает уголек, еще не потухший уголек прошедшей, промчавшейся, промелькнувшей жизни. Моя тетка, которой было суждено пробыть на земле почти семьдесят восемь лет, сказала перед смертью: «Вся моя жизнь пролетела так, будто я открыла дверь в комнату и тут же закрыла». Чтобы чувствовать протяженность времени, нужно быть очень мудрым, не расточать себя в словах и суете. Мы этого не умеем. Никакое чтение философии не заменит того, что не дано свыше. Я, Левка, мои друзья и родные — все суетные, легковесные, беспамятные.

У меня давно было желание писать о Левке. Я раздумывал, с чего бы начать. Писать хронику мне не хотелось. Мне было интересно понять Левкин характер. Но как это сделать? Как осознать человека, с которым знаком сорок лет? Ведь каждый пишущий о ком-нибудь претендует на объективность. Почему Левка ведет себя по отношению ко мне именно таким образом? Скорее всего потому, что я даю ему такую возможность. А если бы не давал, он не стал бы так поступать, а поступал бы по-другому. Хотя не исключено, что мы тогда не стали бы друзьями... Значит, дело во мне? Его поведение — лишь слепок с моего? А что же такое есть Я по отношению к Левке?

Вот, к примеру, сидели мы на встрече школьных друзей спустя лет десять после окончания школы. Было скучно. Тут Левка и говорит: «Не подойти ли к англичанке и не сказать ли ей... (далее шел английский текст, который я совершенно не понял). Я запрыгал от восторга и стал уговаривать Левку подойти и сказать. Но Левка уже потух и посмотрел на меня, как на дурачка.

Собрались как-то у меня на старой квартире. Была у нас бутылка дрянного вина. Левка предложил сварить глинтвейн. Как его варить, мы не знали. Просто нагрели вино и добавили ломтики лимона и апельсина. Чтобы не было так скучно пить, Левка придумал церемониал с ножами и клятвами. Мало-помалу все расшевелились, стали смеяться, танцевать. Я был в полном восторге от друга-Левки и прямо-таки повизгивал. После очередного всплеска веселья Левка обернулся ко мне и совершенно холодно

и серьезно спросил: «Веселимся? Да?» Я в полном счастье закивал головой, но через секунду почувствовал себя обгаженным. Он, Левка, умный и серьезный, нас, дураков, веселит столько, сколько хочет. А не хотел бы — не веселил.

Кто же я? Веду себя, как сентиментальная, глупая и мягкая баба. Ко мне привыкают. Со мной перестают считаться. Я ухожу в обиду, долго переживаю, терзаюсь. Потом начинаю вести себя жестко. Это вызывает недоумение. Откуда-то в подушке, которую подкладывали под задницу, родилось и развилось бешенство. На этой подушке стало невозможно сидеть. Даже прикасаться неприятно.

Умом я понимаю: в жизни, вообще, и в дружбе, в частности, надо уметь себя держать в руках. Держаться. Не распускаться. Не хлюпать. Не проливать глупые слезы восторга, чтобы потом не удивлять холодностью. Вот, Левка от природы, а может быть, самовоспитанием достиг прекрасного умения держаться. У него как бы срабатывает охранный инстинкт. В житейски сложной или трудной ситуации он оказывается на высоте. Говорит и движется степенно, холодно, расчетливо. Маска воплощенного достоинства. На стриженной козе не подъедешь.

Был у нас с Левкой один неприятный инцидент. Одолжил я ему на год сто рублей. Подошел мой отпуск, я у него их попросил. Он был оскорблен. Я не то чтобы базарил, но выглядел чуть ли не вымогателем. Я уже был не рад, что попросил уплаты долга. Он, не выполнив обязательства, казался куда как выше. Честно говоря, я не отдавал себе отчета, насколько ему было тяжело материально в то время. Я только знал, что он никогда не отказывал себе в удовольствии взять такси или купить бутылку водки. В результате такого хаотичного ведения хозяйства (а какие наши доходы!) у него за год накапливалось более тысячи рублей долга. Меня это возмущало. Моим принципом было — всегда жить по средствам. Есть деньги — гуляй. Нет — сожмись и жди.

Короче — Левка совсем другой. Жить сейчас! На полную катушку! Его уверенность передается женщинам, которые его любили и любят. Сейчас время брать! Когда-нибудь и как-нибудь отдадим. Выкрутимся. Вот такие мы с ним разные. По самому главному вопросу — как жить. У него двое детей. Но он не беспокоится о том, что после него перепадет им. Он им дает сегодня. Много или мало, не мне судить. Я же думаю, что оставляю сыну. Меня беспокоит, что он будет думать обо мне. Будет ли читать мои

записи и разумно ли растратит собранное мной. А, может быть, и умножит... Я хотел бы быть главой, родоначальником. Не исчезнуть напрочь, не раствориться, жить в памяти моих близких и отдаленных потомков после смерти. А Левке — наплевать.

Я бы назвал этот рассказ про Левку — «Холодное сердце» или «Глупое сердце». Мне кажется, что такое сочетание хорошо отражает основной недостаток его характера. Это не то чтобы эгоизм, но нечто близкое. Это не желание избегать вида чужих страданий, но скорее недостаток сочувствия, жалости. Вот поэтому я боюсь при нем подставляться, раскрываться до конца. Хотя дружба — это прежде всего доверие.

Помню, на Оке мы отдыхали с Д-м. На одной из стоянок к нам подошла пионервожатая, тетка лет тридцати, из фабричных. Очень скоро мы с ней были накоротке и даже приглашали под кустик, но она ссылалась на месячные. Однажды Левка трепался с ней и вдруг подозвал меня: «Подтверди, что ты — еврей». Он смотрел на меня требовательно. Я подтвердил. А должен был послать его к черту. Не пристало мне случайно встретившейся потаскушке объяснять, кто я такой.

Однажды отец привез мне из Швеции кондомы. Я сказал об этом Левке и часть отдал ему. Вскоре за картами Левка без всякого повода сказал: «Отличные кондомы подарил мне Олег, потому что они у него гнутся». Тут же последовал громоподобный хохот моего троюродного братца. Я был уязвлен. С какой стати Левка базарит мои маленькие тайны? Но виноват-то был я. Не раскрывайся. Не подставляйся. Держись.

...Часто бывает так. Некто долгие годы шумно исповедует свой символ веры, борется с противниками, вербует сторонников. Унижает, восхваляет, играет, торжествует победу, становится лидером. Проходит время, и братья по убеждениям в растерянности замечают, что лидера не видно и не слышно. Они навещают его и говорят: «Учитель! Наше дело слабеет. Наше знамя клонится...» А он с гаденьким смешком отвечает: «Бросьте, ребята, заниматься глупостями. Какие там абсурды? Кто там еще экзистировал?» — «Учитель, но ведь вы говорили... Вы ведь учили...» — «Да плюньте, ребята, и разотрите. Жизнь — вот лучший учитель. Я пришел к этому еще десять (двадцать) лет назад и просто морочил вам головы для забавы.»

Вот так. Они думали, что он сжигает себя, а он чадил перед их лицами своим высохшим навозом. Кто-то вроде бы должен

заплатить по счету за обман. Но кто? Да никто! Живи своим умом. Не хлюпай! Не булькай! Не раскисай, когда некто творит театр перед твоими глазами. Не доверяйся. Не раскрывайся. Не подставляйся.

Что же все-таки за человек Левка? Каким он был? Какой он теперь? Уверен, что в нем всегда был и остался бойцовский дух. Ему не приходилось по каплям выдавливать из себя раба, потому что он никогда не был рабом. Хотя никогда не ходил в открытых противниках режима, который мы все скорее презирали, чем ненавидели. Свободная и честная бедность — таков был наш добровольно-вынужденный удел. Никто из моих друзей, слава Богу, не осквернил себя продажей убеждений за тридцать сребреников из нечистых рук власть имущих.

Давным-давно Левка испытал на себе очарование благополучия, когда после девятого класса поехал с сестрой в Переделкино в писательский поселок. Они поселились на даче у Ч-х. Пока сестра учила хозяина английскому, Левка вертелся среди писательских детей, ухаживал за молоденькой домработницей, научился играть в настольный теннис, показывал чудеса ловкости в борьбе с противниками, которые были вдвое толще и мощнее... Природа одарила Левку ловкостью, смелостью, умением нравиться. Его приняли как своего. Думаю, уличная закалка не эпатировала чистеньких писательских детей, а восхищала. Вернувшись из Переделкина, Левка весь сентябрь только и булькал о замечательных писательских детях. Наверное, он много присочинил. Он вообще очень любил присочинять. Это осталось с ним на всю жизнь. Благодаря чтению и общению с друзьями старшей сестры он все время шел впереди нас в духовном развитии. Помню, однажды летним вечером он пересказывал страницы из «Бравого солдата Швейка». Сам хохотал, и мы хохотали. Особенно веселил нас рассказ, как Швейк красил собак, вставлял им между ног распорки, и продавал, как бульдогов с хорошей родословной. Потом выяснилось, естественно, что Гашек такую чушь написать не мог, но это было значительно позже, когда мы сами доросли до чтения великого романа.

Точно так же взалхлеб он сочинял о том, как на Кубани его буквально на руках носили только за то, что он москвич. Сейчас мы все поумнели, образовались, набрались жизненного опыта, и Левкины фокусы не проходят. Помните, в романах Достоевского персонаж врет и смеется, видит, что ему не верят, что его болтовня раздражает, но продолжает врать и смеяться, а за маской

напускного веселья, внутри, совершается серьезная и даже иногда трагическая работа ума.

Я обычно в таких ситуациях не злюсь, я быстро устаю от Левкиного ерничанья, и подыгрывать мне не хочется, а морализировать — тем более.

Не раз я просил Левку обсудить со мной всерьез литературные вопросы, которые меня волнуют. Он отговаривался под разными предлогами. Ему заранее было неинтересно. Он говорил о разных «горизонтах» понимания, подразумевая, что его горизонт залегает много глубже. Он говорил о литературе как о специальности, которой надо учиться, чтобы овладеть, иначе все разговоры останутся жалким дилетантством. Я ему отвечал, что мои представления о произведениях иной раз совпадают с оценкой выдающихся критиков, однако он предпочитал со мной говорить о вещах посторонних. Лишь иногда у него прорывалось нечто вроде: «Как-то прочел «Преступление и наказание» дважды подряд и понял, как Достоевский сделал эту вещь». Что он понял, для меня загадка. Знаю только, что моя оценка совпала с рецензией Страхова на роман. Страхов писал в воспоминаниях, что после выхода этой рецензии Достоевский встретил его в коридоре издательства, пожал руку и сказал: «Вы — единственный, кто меня полностью понял».

Недавно Левка произнес сакраментальную фразу: «Ты и Яшка комплексуете, как несостоявшиеся филологи, я же — состоявшийся филолог, поэтому у меня все в порядке».

...Интересно, что многие переходят из других областей деятельности в литературу и никогда — наоборот. Но все это глубже, намного глубже. Если есть в человеке искра Божия, то это проявляется во многих сферах. Эйнштейн был скрипачом и глубоким философом, Макс Борн — философом, Бородин — химиком. Спустимся на десять ярусов с Олимпа. Если взять Яшу — он великолепно знает музыку, тончайший ее ценитель, блестяще владеет английским, разбирается в литературе.

Но вернемся к нашему состоявшемуся филологу. Без иронии. Он состоялся! Но послушайте его саморекламу: «Я много работаю, я очень много работаю, я очень много курю и очень много работаю, меня очень ценят на нашем семинаре»...

Левка состоялся, как филолог уже в зрелые годы. Но он состоялся, как человек, как мужчина уже тогда — в семнадцать лет. Поэтому на его долю выпали все радости, присущие молодости, а

главная из них — его любили женщины. Мне же пришлось ждать самого себя еще добрых пятнадцать лет.

В отличие от меня он всегда был платежеспособен. В десятом классе мы решили по-взрослому отметить Первое мая. Мама дала пятнадцать рублей, остальное доплатил Левка. Помню, была куплена пропасть вина и водки. Пить мы не умели, а о девчонках и говорить нечего. После первых же рюмок все наше сборище прямо-таки полетело в кювет. Мы быстро обалдели, отупели и пошли во двор тошнить и курить. Некоторым девчонкам стало дурно. Помню, как Сироткина орала, что умирает... Никто, конечно, не умер. Во втором часу ночи все повалились кто куда и заснули. Мы, мальчишки, тогда были настолько целомудренны, что никто даже и не помышлял по случаю праздника залезть под юбку.

В истории нашей дружбы Левка не только поддерживал меня материально, оделяя меня, «неимущего», рублишком на карты, но и защищал. По-моему, он всегда делал себя храбрым, равно как делал себя спустя много лет умным, справедливым, великодушным, щедрым. Иными словами, это шло у него не изнутри, от «пуза», а от осознанной необходимости. Яше очень импонировало в Левке то, что есть вещи, которые он делает и есть вещи, которые он принципиально не делает. Мне кажется, что мир для него всегда существовал и, возможно, сейчас существует в виде зрительного зала, перед которым ему суждено сыграть им самим избранную роль.

Левка соблазнил меня поступать в химический институт. Не знаю, почему он выбрал именно этот. У него была справка, что его отец — полярник (отец отсидел в Норильске пятнадцать лет не по своей воле, а потом был, еще при жизни, реабилитирован). Химию Левка не знал, так же, как и остальные предметы, но ему было достаточно сдать вступительные экзамены без неудов. Я же еле-еле прошел конкурс и потом весь первый курс тряся от страха, что меня выгонят. А Левка не выдержал сессии и был отчислен. Он страшно переживал. У него нашли нервное расстройство, и он получил академический отпуск. Его собирались взять в армию, но нашли паховую грыжу и освободили.

А ведь как празднично начинался первый курс! Беготня по аудиториям и лабораториям. Это было для нас совсем ново. Лекции в огромных по тем масштабам залах. Горячие пирожки с повидлом на переменах, сигареты и газированная вода, в столовой — пиво. Мы были на разных факультетах и потому встречались в

институте редко. Левка хватал меня на лестничной площадке, и мы наскоро обменивались анекдотами 1956 года. Например: «Один парень назвал Хрущева дураком и получил двадцать три года лишения свободы. Три года за хамство и двадцать за приглашение государственной тайны». Или: «За что Хрущев получил очередного Героя Социалистического Труда? За исполнение роли в фильме «Наш Никита Сергеевич Хрущев».

Пока там, наверху, наперебой лизали, студенты уже разобрались в новом властителе России. Сейчас его отмывают, рядят в белые одежды. Как всегда говорят полуправду, то есть врут. Хрущев нам, его современникам, казался личностью анекдотической из-за глупости и невежества. Мы тогда еще не знали, до какой степени падения может дойти власть в России. Мы только знали, что Сталин был тираном, но умным, а Хрущев — просто серый дурак. Не была ли серость Хрущева прологом к восхождению хитрого ничтожества — Брежнева?

...Итак, с большим скрипом я перелез через первый курс и уехал на целину. Левка присоединился к ребятам с филфака МГУ и тоже поехал в Казахстан. После целины меня просто распирало от новых впечатлений и новых песен. Я набрал Левкин телефон и сразу после «П'гивет!» услышал ту песню, которую хотел исполнить: «Я с детства был испорченный ребенок. На папу и на маму непохож...»

...Левка приехал с целины, по уши влюбленный в Нинку В. В редкие встречи со мной он изводил меня бесконечными «Я люблю Нинку!» и восторженными прыжками. говорить с ним о чем-либо ином было невозможно. Он овладел после ряда неудачных попыток своей пассивностью, сделал ей Сережку, рассорился и уехал в геологическую партию. Благо в армию его не брали.

Не помню, по какой именно причине, но у нас наступил период охлаждения. Нас разделяло пространство, разные заботы, что-то еще, не помню. Мы очень долго не виделись. Левка приезжал в Москву, уезжал. Не звонил и не приходил. Однажды он появился, говорил в основном с моей мамой. Из разговора выходило, что я — плохой друг. Но в чем была моя вина, вспомнить не в силах.

Я, кажется, был уже на четвертом курсе и однажды почти случайно решил навестить старого, почти «бывшего» друга. Я поднялся на самый верх коммунального здания, куда пять лет тому назад затаскивали жалкое барахлишко семьи бывшего выдающегося инженера Моисея Ланге. Семья состояла из трех женщин: матери,

сестры и племянницы, и одного мужчины — Левки. Все они были дома. Сильнее всех обрадовалась мне Левкина мама. Левка хмуро улыбался и не знал, о чем со мной говорить. У нас было общее прошлое, а настоящее... У него за плечами был жизненный опыт, он поступил на филологический факультет МГУ, освоив за три месяца программу школы по английскому. Я шел в шорах моей будущей профессии, был зелен, самоуверен и глуповат.

Много позже Левка рассказывал мне кое-что о своих хождениях в люди. Его любили. Он умел очаровывать. Он нравился зрелым женщинам. Он умел быть забавным. Складывалось впечатление, что иной раз он как бы говорил себе: «Хочу нравиться», и начинал фокусничать, развлекать, казался милым, удачливым, остроумным. Описывал, как однажды посрамил отряд рыбаков, вытащив к их зависти великолепную рыбу, которую поймал буквально за полминуты на огрызок червя. Поймал в присутствии нескольких обожавших его девчонок, которых привел на берег развлекаться. Я ему поверил, потому что вспомнил один из наших походов по Оке. Мы плыли на резиновой надувняшке мимо какого-то дома отдыха, и две женщины попросили переправить их на другой берег в прогулочной лодке. Я и Д. взяли по веслу, одна из женщин, удивительно милая, с роскошной грудью, села на корму, ее невзрачная подруга на нос, нашу резиновую лодку с Левкой привязали к корме. Шел легкий, искрящийся смехом и солнцем треп. Мы с Д. усердно гребли, чтобы не опозориться перед дамами, а Левка развлекал красавицу. Не прошло и двух минут, как она рассмеялась и стала мокрой рукой похлопывать Левку, брызгать на него водой. Он ей явно нравился...

Но бывало, Левка как бы говорил себе: «Буду противным!» Он делался невыносимо противным. После расставания с ним становилось легко, как после изгнания козы из дома в известном анекдоте. Однажды я с ним намучился в походе до такой степени, что мы не могли смотреть друг на друга. В то лето он еще не отболел экзистенциальными проблемами, и это отравило нам все величие Десны, обилие фруктов, солнца. Не будь его сокурсника Д., возможно, Левка держался бы в рамках. Но Д. был совершенно им поработан, заискивал и подхихикивал. Тогда же на берегу Десны Левка сказал, бахвалясь: «Могу поспорить, что любого за день сделаю антисемитом». Д. зашелся в счастливом смехе. Мне же и Орловскому было не до шуток. Мы были уязвлены нетоварищескими, надменными разговорами, злы за подкалывание на

мелочах, за грубости. Филологи держали нас за профанов, за статистов. Обычно при нас начинался разговор о высоких материях, но стоило нам высказать свое мнение, как мимикой и жестами, обменом «понимающими» взглядами нам давали почувствовать, что мы — существа низшей категории. А как прекрасна была Десна! Сколько удовольствий валилось на нас, как из рога изобилия! Мы объедались роскошными яблоками и грушами. Наша неторопливая плоскодонка с самодельными веслами тоже влюбилась в Десну и не спешила в Днепр, где мы собирались продать ее с прибылью.

Чувствуя ее нежелание доставлять нас в Киев, мы за две бутылки водки договорились с командой самоходной баржи, везущей лес. Нашу лодку подняли на палубу, и через час мы уже распивали с хозяевами водку, а баржа мчала в Чернигов. Вся команда состояла из механика, двух мальчишек-матросов и капитана. мальчишки, бесхитростные и общительные, мне понравились. Хотя университетов они не кончали и говорили на местном диалекте, общаться с ними мне было куда приятней, чем с Левкой. Один из них часто начинал фразу словосочетанием «Значт-ну» (может быть, он в детстве заикался). Левка тотчас начал ко мне цепляться с этим «значт-ну», причем в присутствии того самого парня, отчего я испытывал изрядное неудобство. В общем, Левка в том походе столь интенсивно «экзистировал» за наш счет, что в Москве при расставанье мы едва кивнули друг другу. Орловский первое время после приезда даже стал нежно относиться к своей сварливой жене, которую уже давно едва выносил.

Должен сказать, что, описывая все это, я рассчитываю на некоторую Левкину благодарность, ибо сам питаю острейшее любопытство к тому, каким я отражаюсь в зеркалах моих друзей. Несколько лет назад я потерпел фиаско на любовном фронте, но совсем не был огорчен поражением, скорее испытывал облегчение, так как предвидел массу сложностей в случае успеха. Однако мне было страшно любопытно, каким я оказался в ее глазах. Что она нашла во мне такого, что воспрепятствовало моей победе.

Про себя я уже кое-что знаю. Я во многом отождествляю себя с «человеком из подполья» Достоевского, часто ловлю себя на сходстве. А Левка? В сознании его друзей он — человек щедрый, широкий. Отчего возникло такое представление? Ну, не оттого же, что Левка приходя ко мне в гости, приносит пару пакетов сока или букетик цветов моей жене. Я не могу вспомнить ни одного «царского» подарка. Никогда я не одалживал у него денег. Мне

это не приходило в голову, потому что всегда у него в карманах было пусто (не то, что в детстве). Ощущение широты возникало, скорее всего, от его отношения к деньгам, к имуществу. Он легко расстаётся с деньгами, спуская их на пустяки, ублажая себя. Нет-нет, я вовсе не собираюсь поджимать губы и фарисействовать. Ну, живет человек в свое удовольствие — и на здоровье. Однажды я спросил его, не хотел ли он когда-нибудь иметь много-много денег. «Зачем? — ответил он просто. — Я и так себе никогда ни в чем не отказывал.»

Свои добрые дела он оценивает очень высоко. Вот, поехал как-то в горный лагерь со своими детьми, истратил, по его признанию, пятьсот рублей. Рассказывал об этом с гордостью. Хотя, если вдуматься, ну что в этом особенного? А сколько тратим мы на своих детей денег и здоровья, мы, живущие с детьми и отдающие им все лучшее? И не раз в году, а ежедневно!

Я не понимаю, как уживаются в Левке широта натуры с мелочной опекой, с которой он может пристать хуже слепня, скажем, при варке борща в походе. Казалось бы — ну что тебе за дело, кто и как готовит. Думаю, так же точно он опекал свою бывшую жену. Опять же, кто ему сказал, что те сто рублей, которые он давал семье на прокорм, вполне достаточны и дают ему право требовать особого пиетета к кормильцу? Да, он нуждался. Нуждался и жил в долгах. Но ведь я тоже прожил почти семь лет на сто рублей, имея маленького сына — и ничего. То есть, конечно, это ужасно! Семь лет ничего себе не позволять. Но такова жизнь!

Интересно сравнить, как относятся Яша и Левка к неизвестному, к новой информации. Однажды во время игры в преферанс кто-то произнес слово «эвфемизм». Яша спросил, что это такое, а затем как-то даже уважительно сказал: «Надо же, какого я понятия не знал!» Левка, когда сталкивается с незнакомым или непонятным, сходу это отвергает или строит насмешки (как бы из принципа: если я не знаю, значит, это не нужно, не интересно). Помню, еще в школе, когда мы от скуки на уроках играли в слова, я из большого слова сделал серию коротких и среди них «боа». Мне известны два значения этого слова: вид удава и форма меховой накидки, воротника. Левка в тот момент был на меня зол и, читая список моих слов начал выдавать: «боу, убоа»... Вовка Шанурин спросил, что это за слова, на что Левка ответил: «А что такое боа?»

Однажды мы были на выставке Лентулова, талантливого мастера начала века. Я заикнулся, что выставка удивительная, яркая. Левка тут же стал иронизировать: «Лентулов? Известный художник? Не знаю, не слышал. Лентулов-Популов...» Ну конечно, ты не знаешь. А кого ты знаешь? Ты что же, серьезно увлекался живописью, читал что-нибудь, сам пытался красить? Когда я открыл для себя импрессионистов, когда я видел сокровища Лувра, Мадридских музеев, со мною рядом были другие люди. В разговорах с тобой мы никогда не касались живописи.

А музыка? К сожалению, и на концертах мы вместе никогда не бывали. Может быть, тебе это не нужно. Вот ты рассказал такой анекдот: «Давид Ойстрах — вторая скрипка в мировой табели о рангах. — А кто же первая? Ну-у, первых много... (смех)» Если бы не вмешался Яша, ты так бы и продолжал оставаться в заблуждении, что великий музыкант — жалкая вторая скрипка.

...Научный прогресс отвергается тобой по той причине, что он никакого влияния на человеческую сущность не имеет. Но ведь это — всего лишь одна из точек зрения. А могут быть и иные. Я согласен, что Ницше может быть кому-либо очень интересен. И Фрейд тоже. Но ведь существует, извини, и изруганный, изничтоженный Маркс. Наш кошмарный образ жизни, как мы с тобой выяснили однажды летом в деревне, есть следствие нарушения простого, но могучего, как всемирное тяготение, правила, выведенного Марксом: экономика определяет отношения в обществе. Это правило работает в системе больших чисел, и поэтому наши с тобой отношения от экономического состояния общества не зависят. А вот если деньги есть деньги, а не бумажки, на которые ничего не купишь без блата, то врачи лечат, педагоги учат, строители строят и так далее до бесконечности, и все делают все как можно лучше. И не надо никаких анкет. Заработал — можешь себе позволить все, потому что все покупается и все продается, а то, что Маркс наблудил про социализм — это можно выкинуть на помойку и не вспоминать.

Забавный субъект мой друг. Мечтал жениться на еврейке, но дважды женился на русских. Когда, наконец, судьба послала ему прелестную женщину из бывших аспиранток его сестры, он забыл, что мечтал о тихой семейной жизни и остался холостяком при отдельной квартире.

Однажды Левка мне сказал: «Я, наверное, был не прав с Милкой, когда изображал из себя кормильца». — «Ну, — подумал

я, — слава Богу, начался процесс обновления «ценностей». Ведь это очень важно — проводить время от времени пересмотр своего багажа. Но мои ожидания не оправдались. Левка опять вошел в привычный образ самого умного, справедливого и прочее. Думаю, что положение преподавателя препятствует реформации его сознания. Ведь он уже много-много лет самый умный, остроумный, обаятельный по отношению к той массе студентов, которым он читает курс английской литературы. Ну, и где они, где доморощенные гении Московской, Владимирской и прочих областей? Подумайте, смогут ли они поставить в тупик или просто задать трудную задачу Левке? Да никогда же, ни при каком раскладе.

Мне все более и более ясно, что Левка — человек, живущий головой, а не сердцем, заставляющий себя совершать действия часто вопреки здравому смыслу, но зато в соответствии с принятой схемой. Нужно ли это?

Помню, у нас на кафедре работал парень, очень активно интересующийся музыкой. Он покупал массу музыкальных абонементов, собирал классику. Однажды я сделал музыкальную пародию к Новому году, и мы решили записать ее на магнитофон. каково же было мое изумление, когда я услышал впервые пение того парня. Мне кажется, он не взял правильно ни единой ноты из известной любому школьнику мелодии. Я подумал тогда, что при полном отсутствии слуха посещение консерватории — пустая трата времени.

Вот так же Левка мучается с поэзией. Здесь тоже — либо есть слух, либо нет его. Я никогда не слышал Левкиных комментариев по поводу тех стихов, которые он прочел. У меня ощущение, что он не слышит музыки стиха. Он заставляет себя читать стихи, как другие заставляют себя через силу заниматься гимнастикой. Человек, тонко чувствующий поэзию, не может не возвращаться к Пушкину. Человек, понимающий в поэзии толк, не может сказать, что, мол, для нас Пушкин величина, но в европейском масштабе — нет. То ли дело Байрон!

Процесс самовоспитания, думаю, начался у Левки очень давно. В детстве он воспитывал в себе храбрость и выносливость, иначе бы его начали бить. Во взрослом возрасте назначал себе вегетарианство по пятницам, аутотренинг, чтение стихов на сон грядущий и прочее.

Мы ко всему привыкаем. И даже забавляемся, высчитывая до долей секунды, когда наш друг, распевая английский куплет,

споткнется на том самом месте, где он спотыкается уже два десятилетия подряд. Я тоже привык к Левкиной манере держаться, хотя не знаю, импонирует ли она мне. Ну да, он — человек, идущий к жизни от ума, от выбранной «позиции» в морали, которая не столько накладывает запреты, сколько позволяет совершать определенные поступки с тем, чтобы потом не терзаться. Человек эмоциональный (вот я, например) почти всегда нерасчетлив и поэтому чаще терзается содеянным, попадает в нелепые ситуации, говорит, не успев додумать до конца.

Для чего Левке самовоспитание? Конечно же, для самоуважения. Что же, ему этого, последнего не хватает? Ну, сейчас, пожалуй, уже хватает. Есть серьезные подтверждения. Это и опубликованные переводы, и приглашение на преподавание в престижный институт, и членство в союзе писателей. А когда-то, возможно, и не хватало. Он цапался, царапался, кусал ближних своих, самоутверждался на них (и на мне тоже). Возможно, что «достижения» нашего бытия, которых у него не было, создавали фон неблагополучия. А в таком случае человек начинает мучиться вопросами: «В чем дело? почему они уже чего-то достигли, а я не достиг? Глупее я, что ли? Нет, конечно. Я умнее.» До встречи с нами (с ними) эти ощущения-мысли давят на психику, но вот встреча состоялась. Кто-то что-то сказал и сказал, разумеется, не так, сказал глупость, и вот, то самое, что сидело глубоко, выскочило, как пробка шампанского. Глупость доказана, наказана сурово и осмеяна! Чаша весов на некоторое время уравнилась.

Мне самому не забыть, как я терроризировал своих родителей за то, что они что-то не так сказали. Да я их просто изничтожил! Я делал из всякой мелочи далеко идущие выводы. Сейчас я пытаюсь разобраться в причинах этих импульсов злобы и неприятия. Кто в этом повинен? Фрейдовские комплексы? А может быть, мои родители?

Что же это я взялся критиковать моего друга? Ведь у него масса достоинств. Надо бы мне сказать, какой он хороший, чтобы восстановить равновесие. Единственное, чего я не знаю точно, так это — кто он мне. Он мне друг. Это понятно. Но какой? У него с языка иной раз срывается: «Олег мой самый большой друг», и я вспоминаю детскую сказку, где Бегемот говорит девочке: «Девочка, я твой самый большой друг, потому что я больше всех». Ох, уж эти мне языковые нюансы! Так Левка мне близкий друг? Ближайший? Или просто друг? Есть прекрасное слово «верность».

Я верю, что он мне верный друг. Бог с ним, пусть играет свою придуманную роль, носит маску, которую уже не снять. Она приросла к его физиономии.

Мы прожили жизнь в условиях страшной, абсолютной несвободы, но Левка все-таки сумел немного расширить свою пещеру и был в ней относительно свободен. Раньше он часто говорил о комплексах, которые мешают жить. Кстати, с годами они чаще всего исчезают. То, что волновало, больше не волнует. Женщины доступны, но их не хочется, деньги на вино есть, но жажды не чувствуешь. Никогда я не был на горнолыжных курортах и черт с ними, туда не тянет. Книжки прочитаны, разговоры отговорены. Смысл жизни в ней самой, надо жить, чтобы не умирать. А ценности — в спокойствии духа. Не завидуй, не лезь, не стой в очередях, обходись малым — и будешь счастлив. Что? Что-то не так? Обходись совсем малым. У тебя, Левка, есть твоя литература, ты в ней что-то смыслишь — и хватит!

Слушай, друг мой Левка! Мне противно так думать. Мне противно спокойствие духа. Меня рвут на части мои неисполненные желания, я до сих пор вижу цветные прекрасные сны. Иногда мои сны настолько яркие, что я встаю с постели с мыслью, что действительно написал акварелью или маслом чудесную картину и поставил ее за шкаф. Я иду и ищу ее за шкафом. Я, пристрастный и несправедливый, жадный до скаредности и умеренно щедрый, проницательный и глупый, способный и бесталанный, написал эти неравнодушные строки для тебя и на память тебе.

ШЛЕМОВ

«Уважаемая редакция. Нас заставила взяться за перо обида за нашего товарища Шлемова Александра Николаевича. Его, кандидата наук, референта Института научно-технической информации, человека с золотыми руками, уволили с работы из-за «низкой квалификации»...

Это было еще в те времена, когда газеты могли помочь в восстановлении справедливости. При везении письмо «ставилось на контроль», по нему заводилось дело, извещали райком партии и т.д., и т.п. Все это — в далеком прошлом, но тогда я перечитал напечатанное на машинке и подумал: «Ничего, Санька, мы еще за тебя поборемся». Я уже собрался на почту, но сестра отсоветовала:

«Поставь Сашку в известность». — «Зачем?» — «Я его характер знаю. Сперва позвони ему.» Она оказалась права. Шлемов на меня наорал. Он, мол, покончил с НИИ, хочет спокойно доработать до пенсии. Все НИИ, а особенно «ящики» — одинаковы. Там сидят бездари, занимающиеся от безделья мелкими подлостями... Я слабо возражал, взывал к его разуму, но чувствовал его правоту. И со мной могла случиться такая же беда, да почти и случилась. Моим прямым начальником стал несколько лет назад пьяница, вор и развратник Березников. Когда я решил уйти от него в другой отдел, он стал меня выживать, издал приказ о размещении на моей площади чужой лаборатории, стал подзуживать сотрудников, чтобы они меня покинули. Был он тогда человеком могущественным, так как по знакомству устраивал на лечение всех замдиректоров и их родню, да и Генеральному оказывал услуги. Если бы Генерального не сняли за разные грехи, быть бы мне на улице. Повезло мне. А Сашке не повезло.

О детстве Шлемова ничего сказать не могу. Познакомились мы лишь на втором курсе. По отрывочным фразам знаю, что рос он без отца. Отец был важным чином в Моссовете, пил как сапожник, имел другую семью, сыном не интересовался. Пил, пил и помер.

Жил Сашка в коммунальной квартире в маленьком двухэтажном особнячке. Говорили, что до революции там был дом свиданий. В просторном темном подъезде было несколько мраморных ступеней, ведущих на полуторный этаж. Две двери из кухни открывались в комнаты с очень высокими потолками. Очевидно, жилая площадь впоследствии была нарезана из одной парадной залы, где когда-то танцевали девушки с заезжими гостями.

Пасли Сашку мать со своей сестрой. Мать не работала, а сестра была уже в те годы на пенсии. Сашка звал ее «пушинкой» за серебряный пух редких волос над добрым морщинистым лицом. Мать была большой охотницей до курения, книг и футбола. Она болела за «Торпедо» и сочиняла нелепые и смешные стихи по случаю побед своих любимцев.

Жили они на гроши, но Сашка был одет по сравнению со мной просто щеголевато. Впрочем, в то время никто из моего окружения не мог похвалиться нарядами. Я в студентах был одет просто карикатурно. Отец был на десять сантиметров ниже меня. В перешитых из его костюмов вещах я выглядел переростком. Чтобы брюки не болтались на мне, как на огородном пугале, мне их сильно

обузили. В результате я неожиданно оказался в авангарде новой молодежной моды. Короткие и узкие брючки носили «стиляги», с которыми в центральной печати шла неустанная борьба. Однажды проклятые брючки сослужили мне плохую службу. На последнем курсе шло распределение. Я тогда был увлечен дипломной работой и уже чувствовал себя исследователем, элитой. Я появился в зале, где сидели представители разных предприятий, не сняв рабочего халата, с озабоченным выражением лица, чтобы всем стало ясно, что они отрывают меня от работы по пустякам. Но брючки меня выдали. Многие из комиссии тотчас узнали во мне по газетным описаниям стилягу и заранее возненавидели. Когда же я отказался подписать распределение в Красноярск, в комиссии поднялся невообразимый шум. Некоторые ответственные товарищи вскакивали с мест и требовали лишить меня диплома, еще не врученного. Нервы у меня тогда были куда крепче, чем теперь. Я пожал плечами и вышел. Я был наивен. Незадолго до распределения декан послал меня на кафедру электротехники в качестве кандидата на аспирантское место. Заведующий кафедрой, доброжелательно глядя на меня через круглые дедовские очки, излагал суть работы — что-то об электрических свойствах резин. Я не вникал в его слова, только кивал головой, как лошадь, но внутри у меня все пело: «Аспирантура! Аспирантура!» И вдруг — Красноярский шинный завод! Много лет спустя я узнал, что все места получше были разобраны и распределены между своими. Я же был ничей.

Шлемов тоже был ничей, но его способности были замечены профессором Кошелевым, представителем старой интеллигенции, человеком умным и справедливым. Я случайно присутствовал в комнате в тот момент, когда Кошелев сказал, что кафедра берет Сашку в аспирантуру. Сашкино лицо вдруг похорошело необыкновенно. Глаза сияли... Да, вначале ему повезло. Он трудился под руководством самого академика А., настоящего ученого.

Я же в это время сидел дома без работы. Диплом мне не давали, пока я не подпишу распределение в Красноярск. Я ходил к разным чинам, но меня ни разу не выслушали. Передо мной была несокрушимая стена из ваты. На мое счастье был жив еще мой дядя, который знал председателя Красноярского Совнархоза. Через него получил я амнистию — такую зелененькую справочку без печати. Пошел я в родной институт, где съел столько пирожков с повидлом, поднялся на четвертый этаж и постучал в обитую жестью дверь. За дверью сидела плешивая крыса по фамилии

Гулидов. Он глянул на меня, как на кровного врага, но узнав, что я пришел подписать распределение, едва не пустился в пляс. И секретарша его заходила кругами, стала меня утешать, говоря, что три года в Сибири пролетят быстро, что я еще молодой, что у меня все впереди. Я расчувствовался настолько, что купил у нее значок с молотком и штангенциркулем за шестьдесят копеек и стал дипломированным инженером, каких уже было чрезвычайно много в нашей замечательной стране.

Поскольку данная мне справочка была без печати, меня с ней все равно никуда не брали. Наконец, папа поговорил со знакомым директором института, и меня со скрипом взяли инженером в отдел полимеров. Отдел занимался пристраиванием дрянных пластмассовых изделий взамен резиновых. После лаборатории, где я делал дипломную работу, отдел поражал убожеством. Огромная комната, где все сидели, как в избе-читальне, была заставлена канцелярскими столами. Все что-то писали. Писатели собрались! Секретарша печатала. Вдоль стен стояли канцелярские шкафы, набитые безликими переплетами. Начальник сидел к нам лицом и непрерывно говорил по телефону. Время от времени он подзывал своего заместителя, и тот выдавал ему необходимые цифры. Мне принесли отчеты по транспортным лентам за пять предыдущих лет. Это был один и тот же, отпечатанный на синьке скучный роман с весьма малыми вариациями. Я начал дремать над ним уже через полчаса. Мне было неловко. Я таращил глаза и пытался усвоить смысл прочитанного. Все было напрасно. На мое счастье прозвенел звонок. Начальник отдела вытащил из портфеля здоровенный сверток, включил кипятильник, опущенный в кружку, и принялся жевать, глядя в пространство между столами. Я встал и пошел искать столовую. Кое-как я домучил первый трудовой день. Начались серые будни.

Постепенно я познакомился с коллективом. Ничего, люди как люди. В конце коридора был отсек, называемый лабораторией. Там стоял самодельный лабораторный стол, в ящиках которого валялась разнообразная и бессмысленная посуда и набор велико-лепных термометров. При всем желании собрать что-либо дельное из этого хлама было невозможно.

Прошло полгода. Уровень, достигнутый мной при работе над дипломом, стал снижаться. Я принялся ездить по командировкам. Учился морочить голову людям нашими разработками. Быть бы мне типичным совслужащим, который весь день напролет

составляет бумажку: «На Ваш исходящий номер... сообщаем, что...», если бы не Сашка.

Один из доцентов кафедры физики, веселый и умный парень спросил Сашку, нет ли у него на примете человека, которого можно порекомендовать в Институт кристаллографии в качестве инженера-технолога. Шлемов назвал меня. Хорошо, что моя фамилия ничего доценту не говорила. В свое время я пытался сдать ему экзамен, и при всей его терпимости за десять минут успел ему надоесть. Кроме ответов на вопросы билета я ничего не мог промывать дельного. «Я тебе тройку поставлю, ладно?» — спросил он меня, исчерпав все возможности выудить из моего серого вещества хоть какую-то дохленькую мыслишку. Я кивнул. Мне было перед ним ужасно стыдно. Мне он нравился, я пытался даже прийти на кафедру и заняться опытами под его руководством...

Да, Сашка дал мне шанс. Это был, как он любил повторять, «Его Величество Случай», который повернул мою жизнь. Я поступил в один из лучших институтов Академии наук. Там еще работал Алексей Васильевич Шубников, именем которого теперь назван институт. Что это были за годы, годы ученичества! Сколько я смог попробовать собственными руками! Помню электронный микроскоп фирмы Хитачи, его изумительные обводы — ни одного угла, светло-серый цвет, красоту снятых на нем микрофотографий и электронограмм.

Шлемов тем временем уверенно шел к защите диссертации. Получал он мизерную стипендию — семьдесят восемь рублей и недостаток витаминов компенсировал подработкой на овощной базе. Кроме того, он приносил домой то роскошные помидоры, то персики, то виноград, пряча их на выходе в шароварах, поддетых под брюки. Мать Сашкина кричала, что его посадят. Он же говорил, что крадут все поголовно и поэтому, мол, опасаться нечего.

Летом Сашка отвез своих старушек в деревню. Он случайно открыл в Подмосковье чудесный уголок. Добираться туда было непросто. Сначала нужно было доехать до станции, потом сесть в автобус и спустя полчаса идти еще пару километров через лес перпендикулярно шоссе. Каждую пятницу к вечеру Шлемов с рюкзаком, набитым продуктами, включая дары овощной базы, ехал на дачу. Там его ожидала трогательная и трепетная любовь двух старых женщин. Сашка был их гордостью и славой. Думается, с ним мама связывала самые честолюбивые мечты. Но когда они

начинали разговаривать, я не мог отделаться от ощущения, что эти реплики я уже когда-то слышал в романах Достоевского, когда два существа, безмерно дорогие и близкие друг другу, бесконечно схватываются в словесных баталиях.

За два сезона он полностью освоил местность, знал, что и где произрастает. А ведь еще каких-то пять лет назад я чуть ли не силой выволакивал это дитя города в лес. Позже, когда он переехал с Арбата в Измайлово, мы с ним очень часто бродили в лесах вдоль Щелковского шоссе. Вскоре он по лесным знаниям оставил меня далеко позади. Он разведал малинники и грибные места, скопировал трехкилометровку у пастуха, нашел посреди леса вблизи Москвы прекрасное озеро. Он меня угощал необыкновенно вкусными и ароматными джемами из лесных ягод... Одно слово — профессионал. Он быстро становился профессионалом в любом деле. Спустя несколько лет я вытащил его в путешествия на Кольский полуостров. Собственно, манило нас не пространство, а сказания об аметистовых горах. Ехали мы с девчонкой из геологического института, которая запаслась письмом, открывающим нам доступ к месторождению.

Человек, отправляющийся на свой страх и риск в путешествие по нашей необъятной стране, действительно может столкнуться со страхом и риском. Все начинается с отсутствия необходимых билетов и места, где можно приткнуться на ночь... Сутки мы слонялись по пыльной и длинной, как пожарная кишка, Кандалакше, ибо мест в гостинце для нас не нашлось. К счастью, чья-то добрая душа посоветовала идти в заповедник и устроиться на базе. Полярный день был в разгаре. Стояла жара. Вода в заливе прогрелась, и все незанятое население блаженствовало в воде и на берегу. Мы тоже искупались, а потом бесконечно долго караулили человечка, от которого зависело, спать нам горизонтально или вертикально. Где-то к двенадцати ночи по Московскому времени нам, наконец, разрешили войти в комнату, заставленную железными кроватями с панцирными сетками без матрасов. Мы живо вытащили спальники и собрались поспать, но в них мы задышались, а все остальное пространство было занято озверевшими от голода комарами. Хорошо еще, что мошка незадолго до нашего приезда сошла на нет.

Говорится, что Париж стоит обедни. Перефразируя, скажу, что южный берег Кольского стоит мук пути, ибо это — красота неописуемая. Белое море. Живое море, полное водорослей, моллюсков,

ползающих и плавающих живых существ. Море, которое само дышит, как живое существо. То долгий вдох — прилив, то долгий выдох — отлив. Лодка отвезла нас на берег, покрытый, словно черепицей, плоскими, окатанными морем плитками песчаника. До цели нашего путешествия — мыса Корабельного — по прямой было километров двадцать пять. Тащить тяжеленные рюкзаки с барахлом, палатками и десятидневным запасом еды нам показалось невозможным. Лично я свой рюкзак мог без остановки протащить от силы километр. Поэтому мы сторговали огромную лодку с жиденькими веслами, которые мотались в веревочных уключинах. Дорога морем оказалась очень длинной. К тому же мы «просохли» — попали в отлив и сели на мель. Девчонка ушла без вещей вперед, а мы от нечего делать принялись играть в «канасту». Тишина, мягкий свет, изумительной чистоты воздух восхищали Сашку. Я был куда менее вынослив и окружающее меня великолепие воспринимал, как сквозь пелену. Нам предстояло еще долго идти на веслах, и я тосковал от этой перспективы. Было уже позднее утро, когда мы прибыли к Корабельному мысу. Нам открылись скалы из красного песчаника, перерезанные фиолетовыми жилами флюорита, кипящая белая кромка прибоя, мелкие приполярные сосны, кружащие над нами с тревожными криками чайки.

Через десять дней мы все возвращались в Москву, нагруженные аметистовыми «щетками» необыкновенной красоты. Моя квартира была пуста, и мы с Сашкой разложили наше богатство и разделили его на две большие кучи. Он ушел домой к матери, а я все бродил вокруг общего богатства, и меня терзали злые инстинкты стяжательства. Мне все казалось, что моя доля уступает по качеству доле моего друга. Не в силах пересилить себя, я решил восстановить справедливость, как я ее понимал в тот момент. В результате несколько отменных образцов перекочевало в мою кучу. Забавно, что меня вообще не мучил вопрос, поступаю ли я по совести. Сейчас я прямо-таки вижу, как Сашка вошел в комнату и, не говоря ни слова, свернул свои образцы в большой мешок и ушел. Выражение его лица показалось мне печальным. Скорее всего он заметил подмену, но как человек широкий и честный, не стал со мной выяснять отношения. Во имя чего я поступил так скверно? Ведь если бы кто-нибудь из моих друзей позволил себе такое по отношению ко мне, я бы его возненавидел. Более того, я бы всем, всем раззвонил, что Н.Н. бесчестный человек. А себя я

быстро простил. И забыл. И вспомнил тридцать лет спустя, чтобы мучиться стыдом и запоздалым раскаянием. Да и не верю я своему стыду и раскаянию. Будет случай — все повторится. И неважно, что потом я разбазарил свою коллекцию, раздал по разным поводам и без повода. Просто — был испорченным ребенком и остался им на всю жизнь!

После путешествия Шлемов буквально заболел «каменной» страстью. Поиски минералов на некоторое время стали для него идеей фикс. Он объездил подмосковные карьеры, привозя оттуда кальциты, агаты, кварцевые щетки и окаменелости. В присущей ему манере он углублялся в одиночку в неизведанные пространства. Он раздобыл книжки по минералам Подмосковья и следовал по указанным маршрутам, каждый раз притаскивая полные рюкзаки образцов. Мама только руками всплескивала. Из разговоров с ним я понял, что нас окружают ошеломляющие богатства. Оказывается, что даже на ничтожной речонке Икше, что протекает в сорока километрах от Москвы, есть золото, правда, одна-две крупинки на ведро пустой породы. Вскоре минералы заполнили всю квартиру, и Сашка стал мастерить шкаф для образцов. Навыков столярничать у него не было. Для начала он обзавелся всевозможным инструментом и сделал для него ящички. Несколько недель подряд все свободное время он пилил, строгал, сверлил.

Нельзя сказать, что его первое изделие поражаало изяществом. Московские мебельные фабрики выпускали тогда серванты качеством получше. Но мой друг на этом не остановился. Он уже погряз в новом увлечении по уши. Все, имеющее отношение к дереву, было переделано и отфанеровано. Он узнал, что мебельные фабрики вывозят на свалку за город некондиционный шпон, разыскал одну из таких свалок и привез уйму великолепного материала: маньчжурский орех, карельскую березу, мореный дуб. Потом он остыл к этому делу, но приобретенные навыки остались. Спустя много лет он провел грандиозную, с моей точки зрения, работу: переделал гардероб в стенной шкаф в коридоре. Он вычертил в деталях будущее изделие, сосчитал требуемую площадь и провел тщательный раскрой фанерованной поверхности. Я просто обомлел, увидя в первый раз Сашкину работу.

Пастернак когда-то сказал: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» Но как дойти? Без способностей нечего и браться. Вот у Сашки способностей хватало, но было еще и адское терпение, умение сосредоточенно работать без суеты.

Как образец философии здравого смысла Сашка приводил часто «Суждения господина Жерома Куаньяра». Нам нравилась тогда эта книга. Интересно было бы вернуться к ней сейчас, хотя боюсь разочарований. Так уже было со мной не раз. Помню, я пытался вернуться к «Жану Кристофу». Я едва осилил первый том и пролистал второй. Я не мог понять, что могло меня увлекать в двадцать два года, что восхищало меня. Передо мной лежала книга, изобилующая нудной болтовней литературных салонов конца прошлого века. Что мне было до них? А ведь Роллан пытался показать жизнь гения!..

Полоса невезения началась у моего друга с женитьбы. Однажды он появился у нас в тревожном и возвышенном состоянии духа и сказал, что познакомился с совершенно необыкновенной девушкой из очень богатого дома. Что его там сразу приняли как родного. Все вызывало у него восторг. Он с умилением рассказывал, что Ирочка пришла к нему в гости, съела враз банку сладкой сгущенки и улеглась спать. А его будущий тесть — известный адвокат, мастер игры в шашки, необыкновенно остроумный человек и такой добрый, добрый...

И вот я увидел Иру. Что ни говорите, а первое впечатление дает верное представление о человеке. Передо мной стояла рослая, раскормленная телка с хитрыми глазками, упрятанными в жирные щеки, с холеными длинными ногтями на пухлых пальцах. Сам-то Сашка в те годы был удивительно красив. Он был строен, мускулист, на коже ни прыщика, на груди, спине — ни волосинки. Даже самый интимный орган его был прекрасной формы и цвета слоновой кости. Словом, это был молодой бог античных времен.

Дом его будущей жены также мне не понравился. Это было нечто, подобное «жилой комнате», выставляемой в мебельных магазинах как образец. Ни книг, ни картин, ни даже живых цветов. Никаких следов духовной жизни. По его словам, будущая теща обеды не готовила, а отоваривалась в ресторанных кулинариях. Вообще, они с Ирой привыкли обедать котлетами и апельсинами.

В самом конце лета мы втроем поехали за город. Мы бродили по перелескам. Грибов не было. Кругом буйно плодоносила рябина. В поле стояли высоченные стога, наметанные из разнотравья. Мы устроились у подножия одного из великанов и с большим аппетитом уничтожили домашние припасы. Плотная еда и свежий воздух подействовали на меня усыпляюще. Ирина между тем стала проказничать. Сквозь дрему я слышал счастливый и

захлебывающийся Сашкин смех. Возвращались мы через безлюдную в этот предвечерний час станцию Барвиха. В тишине поселка сладко мучил сердце ангельский голос Робертино Лоретти...

Свадьба состоялась той же осенью. Тесть взял все расходы на себя. Мы сидели в большом зале и слушали гладкие речи адвокатов. Весной родился сын. Сашка одной рукой стирал пеленки, а другой писал диссертацию. Ира не могла портить чудесные ногти. Срок аспирантуры закончился и он пошел работать. К тому времени некоторые из наших однокурсников успели стать небольшими начальничками. Шлемов оказался в подчинении у одного из таких оборотистых малых. Говорили, правда, что мама этого субъекта руководила институтом из министерства.

Все отраслевые НИИ похожи друг на друга. Обилие женщин. Болтовня. Толпы курящих на лестницах. Бумаги, бумаги, бумаги с опостылевшими аббревиатурами НТО, МУ, ТУ, ВТУ, ТТ... Канцелярские столы, столы, столы... Скука.

После напряженной жизни в аспирантуре Сашке не хватало воздуха. Он начинал рабочий день с библиотеки. Потом в течение часа составлял все письма, над которыми другие сидели весь день, и вновь скрывался в библиотеке. Можно ли ему ставить в вину, что он не нашел себя в тематике института, не попытался работать там, реализовать свой огромный потенциал? Не знаю.

Однажды он пришел совершенно убитый. «Хреновые наши дела, — ответил он на мой вопрос. — У тестя обнаружена опухоль мозга, которая быстро растет. Врачи говорят, что он безнадежен». Сашка заплакал. Семья напротив, весьма спокойно восприняла болезнь и смерть отца. Брат Иры, студент-медик, снял на память киноленту о последних днях папы. В кадре было видно, что пожилой человек просит дать ему покой, закрывает лицо ладонью, но безжалостный глаз камеры продолжает ощупывать грузное тело, застывшее на больничной койке.

После смерти тестя прекратился приток доходов. Сашкина зарплата была мизерной. Ира работать не желала, а теща занималась исключительно собой. Отношения в семье портились катастрофически быстро. Тесть перед болезнью подарил новобрачным паевой взнос в кооператив. Вокруг этих денег начались скандалы, которые кончились разрывом. Я был на бракоразводном процессе. Ирочку и тещу опекал знакомый адвокат, картавивший на все согласные и подвывавший так, словно вчера приехал из отдаленного местечка. Мой друг защищал себя сам. Филиппика против

стяжательства, которую он прерывал патетическим обращением «Уважаемый суд!», не принесла успеха. Развод был утвержден. Шлемов был обязан возместить расходы и отдать пай. Из полутемного зала суда мы вышли в летнее пекло. Сашка сорвал с шеи одолженный у меня галстук. Настроение у него было препоганое. Предстояло нудное, со всеми подробностями объяснение с мамой... Денег у него не было. По дороге домой он заехал к нам и одолжил до получки сто рублей. Прошел месяц, другой, третий. Он иногда бывал у нас, но ни разу не обмолвился, что собирается отдавать долг. Я подумал, что он просто забыл о деньгах в связи со случившимися передрыгами. Спустя четыре месяца я не выдержал и спросил, не может ли он вернуть долг. Шлемов был удивлен и обескуражен. Он, по-видимому, полагал, что наши отношения позволяют ему отдать долг тогда, когда это будет возможно. Он даже спросил, не связано ли мое требование с какими-нибудь экстраординарными событиями. Что я мог ему сказать? Мне уже было стыдно своей скупердяйской мнительности, хотя по тем временам сто рублей были для нас большой суммой. Он привез деньги в тот же день и больше никогда ко мне с подобными просьбами не обращался.

Но вот состоялась защита диссертации. Потом повышение в должности. Рутинная изредка прерывалась командировками на подшефные заводы, на которых «не шла» разработанная в институте технология. Шлемов быстро улаживал конфликты, привозил успокаивающие протоколы начальству и снова исчезал в библиотеке. Отчеты, оформление авторских свидетельств не могли заполнить его рабочего дня. Он раздражался, видя бестолковую суету, говорил колкости. Его не любили. Чтобы хоть как-нибудь скрасить жизнь, Сашка поступил на вечернее отделение механико-математического факультета университета. Перед этим он целый год с упоением решал конкурсные и олимпиадные задачи. Иногда одна из них, особенно заковыристая, занимала его ум на целый день, но в конце концов он ее раскалывал и получал от этого огромное удовольствие.

Я не разделял его увлечения математикой. Я считал, что решение множества задач, придуманных другими людьми, сушит ум. Важнее было бы ему самому найти актуальную проблему в той области, где он был специалистом. Но Шлемов только отмахивался. Он не хотел тратить силы и нервы на улаживание начальства, разжевывание сути, а потом — пробивание, проталкивание, внедрение результатов работы, беготню за визами, униженное

простаивание под дверью дирекции... Нет, это было не для него. Он хотел творить свободно.

Окончание курса в университете совпало с выгодным предложением: его приглашали заведовать сектором в НИИ хлебной промышленности. Некий мудрец экономии ради задумал смазывать формы для выпечки хлеба не натуральным маслом, а кремнийорганикой. Нужен был специалист по кремнийорганике. Им оказался Сашка. Ему дали деньги на приобретение приборов, и он, впервые ощутив свободу действий, начал творить. Под его началом оказались несколько женщин, которые желали только одного — чтобы с них не спрашивали работу.

— Вы руководите своим сектором, не давайте им сидеть, — посоветовал Сашке его прямой начальник.

— Так они же ничего не умеют, — ответил Сашка.

— А вы учите. У вас теперь сектор.

— Да я сам работаю, как сектор, — ответил Сашка.

— Я вижу, — сказал начальник, — но вашей обязанностью является еще обучение и воспитание подчиненных.

«Обучение!», «Воспитание!» Когда я слышу слово «воспитание», меня передергивает. В это милое и полезное понятие наша бывшая власть вложила самую изощренную форму издевательства. Благодаря «воспитанию» в нас выработалась всеобщая тупая покорность к предписанным свыше духовным пыткам. В результате семидесятипятилетней борьбы с личностью власти убили личность. Газетные штампы сидят в нас как штампы вирусов и погибнут только вместе с нами...

Сашка мыкался-мыкался со своими подопечными, и в конце концов они зашевелились. Наиболее способные стали тыкать пальцами в машинку и даже включать и выключать секундомеры. Он же тем временем закупил венгерские приборы и собрался проделать массу работы в новом направлении. Давно я не видел его таким окрыленным.

Неожиданно я узнал, что Ира ищет с ним встречи. Не прошло и месяца, как Шлемов по случаю дня рождения Иры пригласил меня на ее квартиру. Едва я вошел, та подставила мне толстую щечку для поцелуя и промурлыкала что-то вроде: «Ну вот, мы опять все вместе». Но мы были не все. Моя первая жена категорически отказалась встречаться с «этой монстрой», и, как выяснилось вскоре, была совершенно права. Спустя короткое время Сашке вновь осточертело неряшество и лень бывшей супруги. Они расстались.

Прошло еще около года. Ира сошлась с неким музыковедом и стала готовиться к отъезду за границу. Однако она колебалась, кого лучше выбрать в спутники. Шлемов с его способностями казался ей более перспективным. Она позвонила ему и напрямую предложила ехать вместе. Сашка отказался. Тогда она попросила дать разрешение на отъезд сына, и он вновь отказал. Обнаглев, она предложила пять тысяч за разрешение. Сашка швырнул трубку.

Ира не сдалась. Она повела осаду по всем правилам. Были собраны свидетели, которые должны были на суде показать, что Шлемов — плохой отец и потому должен быть лишен родительских прав. Сын под диктовку написал послание, в котором обращался к отцу на *вы* и упрекал в отсутствии родительских чувств. И вот последовал вызов в суд. На сей раз Шлемов взял защитника. Суд шел бурно. Ира двигалась к цели, не выбирая средств. Я не стал дожидаться решения суда и ушел, уверенный в ее победе. Но победил Шлемов! Мы все, присутствующие в зале, не обратили внимания на совсем молодую девушку-прокурора, которая сидела поодаль у окна. Оказалось, что она — главное действующее лицо и от нее зависит развязка разыгранного спектакля. Обжалование постановления в высших инстанциях не принесло Ире успеха. Тогда она задумала блистательную авантюру.

Шлемов был по-прежнему увлечен работой. И вдруг однажды начальник вызвал его и сказал, что сотрудники недовольны Сашкиным руководством, да и начальство начинает сожалеть о сделанном выборе. Надо было, мол, своих сотрудников выдвигать, а не брать со стороны. На фоне явных успехов сектора все сказанное выглядело просто нелепым. Мой друг вспыхнул и сказал, что готов тут же написать заявление об уходе. Сказано — сделано. Начальник буквально выхватил из его рук заявление и побежал к директору. Подпись была поставлена тут же. Спустя несколько дней Сашка понял, что погорячился зря. Он пошел к директору и попросил заявление назад.

— Я не советую вам этого делать, — отеческим тоном сказал директор. — Мы созовем ученый совет, и он проголосует об отстранении вас от должности. Мы все равно добьемся своего, а вы попортите себе нервы.

— Да в чем же моя вина? — спросил Шлемов.

— Вы плохо руководите сектором.

— Ну, так оставьте меня старшим научным сотрудником. Я ведь столько уже сделал полезного...

— Старших научных сотрудников у меня и так предостаточно, — ответил директор, с трудом когда-то получивший высшее образование в периферийном институте. — Единственное, что могу предложить, учитывая лично мое хорошее отношение к вам — двухмесячную отсрочку, пока вы подыщете себе другую работу.

Оказалось, что найти работу по специальности в должности старшего научного сотрудника практически невозможно. Никто не брал «человека с улицы». Истекли два месяца, и его стали выталкивать с работы. С трудом он упросил руководство оставить его еще на два месяца в должности младшего научного сотрудника. Потом кончились и эти два месяца, а он все еще не прибилсь ни к какому берегу. Мы, его друзья, слишком мелко плавали, чтобы реально ему помочь. Наконец, он вышел на своего бывшего дипломника, и тот помог ему устроиться старшим научным в тот самый злополучный «ящик», откуда его выпихнули через восемь лет на улицу с резолюцией «уволен из-за низкой квалификации».

Много позже выяснилось, что Ира дала взятку, те самые пять тысяч, Сашкиному начальнику, чтобы тот под любым предлогом выгнал Шлемова с работы. Она сама со злорадством написала родственникам об этом, находясь уже в Австралии. Пока Сашка болтался в поисках места, они потихоньку выехали из страны, подделав документы о согласии отца на отъезд сына.

Началась работа в «почтовом ящике». Помню, перед распределением мы более всего боялись попасть в «ящик». Тогда еще мы не знали, чем это плохо. Судьба распорядилась так, что один мой знакомый, Шлемов и я в разное время поступили на работу в подобные заведения. Вы можете спросить: «Да чем же плоха закрытая организация?» Ответу: вседозволенностью и безнаказанностью руководителей, прикрытых завесой секретности. За этой завесой подчас вершатся дела, которые на жаргоне называются «беспределом».

Сашка приступил к работе так же, как в свое время и я — не имея рабочего места, без тематики и без подчиненных. Я работал к тому моменту уже шестой год в «ящике», и рассказы моего друга оживляли мои собственные первые впечатления. Вначале большинство сотрудников казалось мне просто придурками. Они изнывали от безделья и скуки и любой ценой стремились удрать на улицу. Но удрать просто так было невозможно. Не пускала охрана. Нужен был клочок бумаги с печатью, который назывался «увольнительной». Увольнительную можно было подделать, украсть,

купить за спирт в типографии. Человек, выдающий увольнительные, был благодетелем. С ним старались поддерживать самые приятные отношения. В «ящиках», как нигде более, сотни людей обременены составлением бесконечных инструкций, отношений, запретов, заявок, планов на год, на пятилетку, на двадцать лет, до двухтысячного года... Сколько прекрасного ватмана уходило на идиотскую стенную печать, на листки «народного контроля», который ничего не контролирует, на объявления «комсомольского прожектора», который ничего не освещает, на стенды дурацких социалистических обязательств, на графики дежурств! Нигде гнет КПСС и ее вонючей идеологии не ощущался так болезненно остро, как в «почтовых ящиках». Первый вопрос, который задавал генеральный директор проходящему по конкурсу на должность начальника лаборатории, был: «Вы член партии?» — «Нет, к сожалению» («к сожалению» рекомендуется добавлять). — «Как же вы, не будучи членом партии, можете руководить коллективом? Чему вы их сможете научить?» — и так далее. Непонятно, за что в «ящиках» платили квартальные премии. Наверное, за горы изгаженной бумаги. Видели бы вы этих придурков, которые носились по коридорам с листочками, на которых от виз разноразных начальников рябило в глазах! Несчастливым жизненно необходимо было получить визу какого-нибудь восьмого заместителя директора, как доказательство, что план квартала (или года) выполнен в срок, и тогда все-все получают через три месяца большую премию за отчет. Видели бы вы эти «отчеты»! Они состояли из титульного листа, списка исполнителей (на отдельном листе), реферата в три строчки (на отдельном листе), введения в десять строчек (на отдельном листе) и нескольких жалких по содержанию страничек, включая убогий список научной литературы двадцатилетней давности. Этот хлам вскоре получал соответствующий номер и, переплетенный в дрянной серо-желтый картон, занимал место рядом с сотнями таких же псевдоотчетов о псевдоработе.

Раз существует решетка, значит есть и стремление удрать. Под любым предлогом. Отгулы брали за все: за дежурства в добровольной народной дружине, за работу на овощной базе, за командировку в подшефный совхоз и так далее, и так далее. Причем брали как на войне — два дня отгула за день «дежурства». Отгулы копили к праздникам. Отгулы — это и есть подлинная жизнь в «ящике». А внутри него — смертное томление. Самое святое в «ящике» — время обеда. Подавляющее большинство сотрудников

в этот час жили интенсивной жизнью: играли блитцы в шахматы, стучали с азартом в домино, резались в настольный теннис. Играли с необыкновенным жаром, вкладывая нерастроченные силы в игру. Обедать шли после часа развлечений. Начальство время от времени издавало грозные приказы, карающие за нарушение трудовой дисциплины. Комитет комсомола отряжал десятка два-три парнишек для дежурства у входа в столовую и буфеты. Молодые люди с красными повязками на руках ревностно исполняли приказ. Но глупо приплюсовывать к охране еще три десятка инженеров. Это даже дирекция понимает. И вот, спустя короткое время, восстанавливается *status quo*.

Начальство в этой жизни, как правило, не участвует и компенсирует многочасовое сидение в кабинете пьянками после работы. Некоторые сочетают это удовольствие сражениями в спортзале с последующей сауной и девочками. Девочки всегда найдутся. Все, естественно, происходит внутри «избы», из которой сор не выносятся десятилетиями.

Ради чего же существовали и существуют эти монстры на теле государства? Они же себя не оправдывают. Нет, вопрос намного, намного сложнее. Во-первых, почти в каждом из таких заведений и сейчас найдется с десяток-другой специалистов экстра-класса. Их все знают. Их продукция показывается проверяющим органам. Это очень крепкие ребята, многие известны во всем мире. Как правило, они командуют сравнительно небольшими подразделениями и сами наводят там порядок. Их, разумеется, никуда раньше не пускали, но держали на хорошей зарплате и премиях, к ним не придирались по пустякам и даже прощали мелкие грешки по нарушению режима. Во-вторых, этот человеческий муравейник давал возможность кое-как жить и кормиться огромному числу людей, вовсе непригодных к инженерному труду. Пользы от них от всех почти никакой, но и деньги, потраченные на них — очень небольшие.

Если человек, не относящийся к элите, начинает что-то мастерить — и не для дома, не для семьи, а для науки, то все незанятое поголовье, вся свора бездельников настораживается. Что ему, больше всех нужно?

Обуреваемый жаждой деятельности Сашка добился постепенно целого канцелярского стола и начал калибровать термомпары. К нему тут же присосался некий субъект, который все-все подробно разузнавал и тут же нес информацию начальству. Кстати,

начальство в «ящиках» никогда никуда не ходит и не смотрит, чем занимаются подчиненные. Единственный способ общения с начальством — вызов в кабинет или получение разрешения зайти в кабинет. Так вот, моему другу прогнать бы этого подонка взашей, но Сашка этого не сделал.

Через некоторое время подонок довел до ушей начальства, что Шлемов мастерит какую-то штуку и собирается получать на ней новые интересные результаты. Начальство вызвало Шлемова и, нахмутив брови, спросило, чем он занимается. Сашка спокойно ответил, что, не получая никаких заданий сверху, он, в силу своей должности, вынужден был проявить инициативу и вот он собрал с большими трудностями установку, которая позволит получить интересные данные по... Тут его начальство прервало и сказала, что эта установка ему не нужна.

— Что же мне делать? — спросил Сашка.

— У нашего предприятия большие трудности с утилизацией отходов. Этой проблемой давно занимается сотрудник Шатрова. Подключайтесь к ней.

— Хорошо, подключусь, — ответил Сашка.

Его покладистость сослужила ему плохую службу. Сколько бы раз его ни посылали на овощную базу или в совхоз, или на стройку, он всегда соглашался. Он боялся, что к нему прицепятся, и ему вновь придется менять работу. Дремлющий в человеке инстинкт зверя тайным путем подсказывает, кто его боится. Боящихся клуют и преследуют. Сашка быстро превратился в коллективе в ту самую курицу, которую зоологи помечают буквой омега.

Товарищ Шатрова была неопрятной старухой пенсионного возраста, она обожала кулинарию местной столовой, обжиралась и долго сопела и пыхтела от распивавшей ее пищи. Застать ее на рабочем месте было весьма и весьма сложно. В послеобеденный час она дремала, положив голову в ладони. В нашем заведении тоже было полно таких старух и стариков. Один такой «доходяга» сидел много лет напротив моей комнаты. Когда-то он был шофером на войне. Где он ездил и кого возил, я не знаю. Знаю только, что много лет он ничего не делал, только без конца тормозил ребят, чтобы шли с ним в коридор курить и болтать. Товарищ Шатрова занимала со своей установкой темную полуподвальную комнату. Сашку она встретила неприветливо. Она считала себя монополисткой в проблеме утилизации, поскольку в институте уже много лет за ней сохранялась эта тема.

Сашка по своему обыкновению засел в библиотеке и стал готовиться к новому поприщу. Поработав месяц с литературой, он стал задавать Шатровой вопросы, которые приводили ее в неистовство. Шатрова начала бегать к начальству и кляузничать. Начальство вызвало Сашку и сурово потребовало наладить нормальные рабочие отношения с Шатровой. Сашка простодушно ответил, что лично к ней ничего не имеет, что просто не может понять, чем она занимается. Установка у нее все время стоит. Она не замеряет ни единого параметра. Какая же это работа? Зря он это сказал. Начальство тут ж вызвало Шатрову и напрямик спросило, правду ли говорит Шлемов. С Шатровой началась истерика. Что пришлось Сашке выслушать, невозможно передать. Оказалось, что он — грязный интриган, который пришел на готовенькое и хочет занять ее, Шатровой место. Шатрова поклялась, что дойдет до директора, но Сашку пожалеть о своих словах заставит. Она вылетела подобно грозной фурии из кабинета, а начальство долго и укоризненно смотрело на «грязного интригана», вздыхало и затем изрекло: «Ну ладно, идите, Шлемов».

В рутине прошло несколько лет, но однажды к Сашке подкатился подонок и, хихикая, сообщил, что, по слухам, «ящик» переходит на «карповскую систему», будут срезать оклады. Сашка сказал, что ему наплевать, но насторожился. Процедура готовилась медленно, сведения просачивались из-за директорских дверей самые противоречивые, но мой друг начал ощущать тревогу. На всякий случай он решил написать директору докладную с перечислением выполненных работ и перспективами исследований и с просьбой помочь и разобраться в ситуации. Зря он это сделал. Он нарушил первую заповедь — не высвечивайся! О директоре говорили, что он — потомственный химик, профессор и сын профессора, интеллигент. От посторонних через много лет я узнал случайно, что он был человеком безвольным, и группировки, воюющие между собой в «ящике», вертели им, как хотели.

...Сплошь и рядом, если мы жалуемся на кого-либо вышеступающему начальству, оно, это начальство, пускает вниз резолюцию, отдающую нас нашему же обидчику. Обидчик должен с нами расправиться и доложить наверх, что все в порядке. Я сам не раз сталкивался с нашей оригинальнейшей системой отношений. К примеру, долгие годы мы жили на первом этаже, над установкой, подкачивающей горячую воду в соседний дом. Сколько раз мы писали в санитарно-эпидемиологическую станцию, газету,

исполком, что жизнь наша невыносима. Ну, ответили бы нам, что таких, мол, как вы, много. Запишитесь в очередь, к такому-то году сделаем ремонт, поменяем вашу квартиру, а пока потерпите, постараемся помочь... Черта с два! Кончалось все тем, что домоуправление договаривалось со станцией о замере шума и проводило срочный ремонт. По окончании ремонта приезжали со станции, замеряли шум и говорили нам, что все в пределах нормы. Я сначала думал, что меня не понимают и пытался объяснить, что их обманывают, что они уедут, а через два-три дня двигатель разболтается и вновь начнутся наши мучения. Я просил их приехать по моему вызову, но оказалось, что частное лицо не имеет права вызывать их на дом. Я спрашивал, где же логика? Но они смотрели сквозь меня, словно я был стеклянным. Так бы и мучиться мне с семьей над рычащим двигателем до конца дней, кабы не сыскалось крохотное знакомство кого-то из начальников сестры моей жены с маленьким начальником из исполкома. Только тогда дело со скрипом, с вымогательствами на всех уровнях стало двигаться...

Сашкина записка с резолюцией «разобраться» попала, в полном соответствии с универсальной схемой, на стол его непосредственного начальника. Начальник был оскорблен в лучших чувствах и начал методически мстить. Шлемов не вылезал из овощных баз. Статьи, которые он подготовил к печати, начальник вернул, сказав, что ему сейчас некогда их смотреть.

Началась аттестация по «карповской системе». Сашка пытался сделать доклад о выполненных работах, но это уже не имело смысла. Заранее было решено, кому дать пряник, а кому кнута. Шлемова понизили сразу на четверть оклада. Справедливости ради стоит сказать, что старуху Шатрову от работы отстранили и сунули в первую попавшуюся щель, где ее ожидала та же зарплата, что и раньше.

Когда я встретился с моим другом, он еще хорохорился. «Главное, что я могу продолжать работу», — говорил он. Он так увлекся проблемой утилизации отходов, что готов был, кажется, работать вообще бесплатно. Начальство же рассчитывало, что он подаст заявление об уходе. Несколько раз к нему подкатывались с «лестными» предложениями занять должность старшего научного сотрудника в других организациях. Ему, мол, уже и местечко подготовили... Но он всех отшивал, говоря, что ему нравится тематика. Увидев, что он по-прежнему корпит над утилизационной

установкой, его стали выживать более грубыми способами. На него ополчился «коллектив», то есть та свора идиотов и бездельников, которой он служил несколько лет немым укором. У него стали отнимать дефицитные узлы, которые он наодалживал у разных лиц, чтобы проводить опыты. Особенно он тяжело переживал, когда потребовали вернуть два платиновых тигелька. Как он ни унижался, как ни упрашивал, хозяин тигельков был неумолим. С треском захлопнулся сейф, и Сашка остался без работы. Неделью другую он жил одной мыслью — воскресить омертвевшие останки установки. Он потерял аппетит, истерзал своих домашних... Потом понял: работать ему уже не дадут. В последнем порыве он засел в библиотеке и за два месяца сделал обзор по ключевой проблеме. Он мне сказал при встрече, что доволен своим обзором. «Из него вытекает, что реакция на заводских установках может идти при соблюдении определенных условий на несколько сотен градусов ниже, чем сейчас. Представляешь, какая это экономия топлива?» — в его голосе я услышал торжество.

Просидев неделю за пишущей машинкой, Сашка передал обзор через секретаря директору и стал ждать. Директор, естественно, читать обзор не стал, а направил своему заму. Зам кинул его вниз по служебной лестнице и, наконец, Сашкин труд оказался в руках какого-то новоиспеченного младшего научного сотрудника, со скрипом защитившего кандидатскую диссертацию. Этот мальчишка аж вздулся от гордости, что ему доверили рецензировать столь объемистый труд. Поэтому он в течение двух месяцев делал вид, что страшно занят и не может выкроить время для прочтения. То, что спустя два месяца Сашка прочел в отзыве, блистало двумя качествами — природной глупостью и безграмотностью. Вздвигнувшись Шлемов направил директору записку, в которой извещал, что посылает свой обзор в Президиум Академии наук для объективного рассмотрения, а на него, директора, будет жаловаться в высшие инстанции.

Вот этого делать ему совсем не следовало. Нам, теснящимся внизу и живущим на одну зарплату, следует быть осторожными и скромными, терпеливыми и терпимыми. Это начальство может себе позволить и позволяет говорить нам «ты» вместо «вы», нецензурно выражаться в нашем присутствии, проявлять нервозность и нетерпение. Я вспоминаю, что бывший мой начальник Березников, важно именующий себя функционером, с восторгом рассказывал мне, как проходят совещания у генерального

директора. Наш директор, такой же безграмотный, как его холуй, интеллигентом себя не считал и этим бравировал. Он расширил свое заведение до невероятных размеров и давно перестал понимать, чем занимаются у него люди и за что они получают зарплату. Он окружил себя подонками, подобными моему начальнику, и обращался с ними, как со скотами. «Идет совещание. Все девять замов и основные начальники в сборе. Выяснилось, что сорвана программа по солнечным элементам. Виноватых нет. Все кивают друг на друга. Генеральный накаляется докрасна, вылезает из-за стола и, стоя, начинает поливать всех матом. Все сидят нахохлившись, никто глаз не подымет, — сладко посмеиваясь, говорил мне Березников. — Ждут, когда главный наорется». Ну хорошо. Положим, Сашкин директор был совсем другим человеком. Внешне. Но внутренне «наш» советский директор не мог быть иным. Он тоже должен был пройти школу рабства и унижений, прежде чем достиг высокого поста. Кстати: знаете, почему Сашкин обзор пустили вниз? Ответ прост: они все там, сидящие наверху, совершенно некомпетентны, чудовищно безграмотны. Они нахвываются по верхам наукообразных фраз и пускают мыльные пузыри. Они даже логарифм взять не в состоянии. А для того, чтобы никто не уличил их в мизерности, эти карлики изображают страшную занятость. Они сидят в кабинетах и без конца трещат по телефонам, у них нет времени выслушать, потому что выслушав, они должны что-то ответить.

Короче — над Сашкиной головой собрались тучи. Он не послушал советов друзей, никуда не перешел и услал в «Литературную газету» длиннющее письмо с изложением безобразий, творящихся в «ящике». Он вынес сор из избы! Глупее поступка не придумаешь. На что он надеялся, на что рассчитывал? На то, что директор пригласит его в помощники для борьбы с злоупотреблениями?

Газета сделала запрос. Районный комитет партии вызвал для открытого обсуждения директора и Сашку. В райкоме директора спросили, правда ли то, что изложено в письме. Угадайте, что он ответил. Правда? Ложь? Клевета? Ничего подобного. Он сказал только: «Шлемова я буду увольнять». И все. А райкому зачем этот, к тому же беспартийный Шлемов? Их тысячи, пишущих о безобразиях. Из этих тысяч есть десяток-другой дураков, которые пишут и подписываются. Сашка вошел в этот почетный десяток. Действительно, ну что может дать эта бесконечная писанина? Ведь она — следствие заблуждения, что сознательность части

граждан способна что-то исправить в хаосе непрерывных мелких и крупных преступлений, начиная с кражи конфетки и кончая гибелью Байкала. Сейчас те же функционеры у власти. Они прекрасно были осведомлены, где у нас еще завалалось кое-какое добро и как только была дана команда «хватай!» они оказались в нужном месте первыми.

...Пришел ко мне однажды мой знакомый Л. Сидим, болтаем.

— Знаешь пять заповедей интеллигента? — спрашивает меня.

— Не знаю.

— Первая заповедь — не думай! Если не можешь не думать, то вторая: не говори!

Если не можешь молчать, то третья: не пиши! Если не можешь не писать, то четвертая: не подписывай! Если подписал, то пятая: пеняй на себя!

Лично я чувствую, что наше общество безнадежно. Никакие лекарства не помогут. Только хирургическая операция. Если прав Бисмарк, то за безответственность политиков-крикунов мы вскоре заплатим своей свободой диктатору, который жесткой рукой задушит разгул бандитизма и вседозволенности. Одно лишь хорошо — эта диктатура скорее всего не будет идеологизированной. Другого пути, к сожалению, нет. А что же останется нам, обездоленным? Нам останется тепло воспоминаний. Что ж, может быть, и это что-нибудь да значит в жизни. А она проходит, проходит...

Недавно я получил Сашкино письмо из Страны Обетованной, куда он решил убежать от самого себя. Но от себя не убежишь.

«...Прошел год, как мы с сыном (от второй жены — А.Т.) в Израиле. Начался второй год. Теперь можно оглянуться назад: ведь у нас здесь уже есть прошлое! С чего же начать? Начну с себя. О здоровье: хвастаться нечем в пятьдесят четыре года. Болит то, что и раньше болело. Настроение: очень мрачное и унылое, но, пожалуйста, не связывайте это с Израилем. Остальные аспекты, связанные с работой и моим положением: здесь мне можно рассчитывать только на «никай ом» — так в Израиле называется уборка улиц, помещений и т.п. И опять-таки это не связано с Израилем. Я и в России не слишком «светился». Здесь же мои претензии на работу осложняются возрастом, отсутствием конкретной научной специализации, отсутствием рабочей профессии, хотя я последние пять лет работал рабочим, а также плохим знанием разговорного английского языка.

О сыне. В Союзе очень много говорили, что дети — привилегированный класс. В Израиле об этом не говорят — это сделали для детей и особенно для детей эмигрантов. Олег закончил учебный год в интернате с общей оценкой «хорошо». Настроение у него тоже нормальное и в Россию (а этот вопрос ему неоднократно задавали) не хочет и даже не хочет слышать об этом. Жизнь в интернате, на мой взгляд, поставлена отлично и даже с каким-то коммунистическим шиком. Олег получает все бесплатно. Пришло письмо из интерната, что он освобожден от платы и на следующий год. Но пора юности скоро кончится, и как там все сложится дальше...

Наше материальное положение. Учтем при этом, что выехали мы из России совершенно нищими. За это время, очень сильно ограничивая себя и отказывая себе во многом (снова подчеркиваю, что Израиль тут ни при чем), удалось накопить за год денег на переезд в караван и покупку домашних предметов первой необходимости, да еще осталось немного.

Следующий вопрос. Мое впечатление об Израиле. Отвечу кратко: в Израиле нет ничего. Ни земли, ни воды, ни полезных ископаемых, и в то же время есть все — калейдоскоп, фейерверк и водопад фруктов, овощей, продуктов, товаров, вещей самого разного назначения и услуг. Причем этот поток продуктов государство все время сдерживает, чтобы не сбивать цену на еду: уничтожают яйца, забивают коров, дающих слишком много молока и т.п. Я хочу еще сказать, что все продукты на рынке стоят дешево, так как их цена соизмерима со стоимостью билета на автобус внутри города (то есть стоят от нескольких долей билета до нескольких билетов), и в то же время все продукты стоят дорого, так как за билет на автобус нужно заплатить около одного доллара.

Недавно по радио сообщили, что Израиль во всех международных статистиках считается «европейской» страной и занимает по уровню жизни девятнадцатое место в мире (Россия — восемьдесят седьмое). Это видно во всем, но в то же время девятнадцатое место не исключает и отрицательных явлений. Можно видеть нищих (правда, их немного), развалины, трущобы, множество мелких и крупных свалок. Страна находится в тисках экологического кризиса. В автобусах можно видеть изрезанные и исписанные сиденья. Но в общем страна тихая и спокойная, несмотря на случающиеся время от времени террористические акты. Внешняя политика сведена к арабо-израильскому конфликту. На мой взгляд,

идет торговля за обладание какими-то клочками территории, да здесь все состоит из клочков и все ограничено, то есть границы проходят рядом.»

Что сказать в заключение? Друг мой постепенно начал всплывать со дна, где находился в течение года. Он уже работает, хотя и не по профессии. Дай ему, Боже, здоровья и успехов. Я бы лично, если бы это было в моих силах, дал, не скупясь.

И совсем уж напоследок я попытаюсь представить, как Шлемов воспринимает меня. Помню, мы играли в шахматы и я применил королевский гамбит. После нескольких ходов Сашка спросил: «Зачем ты так ходишь? Ведь ты не знаешь теории.» Он был прав. Это было подобно высокопарному началу речи, которая заканчивалась бы маразматическим всхлипыванием. Я думаю, он меня видит, как облущенного, но в силу своей широты и философичности воспринимает как поверхностную, не очень приятную, но и не противную букашку, к которой привык, знает, что можно от меня ожидать и чего ожидать не следует.

ОРЛОВСКИЙ

Орловский. Мне легче писать о нем, чем о Левке. С чем это связано? Просто каждый отражается в моих зеркалах по-разному, только и всего.

Мы познакомились на первом курсе. Собственно, это не было знакомством. Дэв Р., разбитной мальчишка, что-то такое мне сказал, «подколол», я парировал, завязался треп. Шли первые часы первого курса. Казалось, все трудности остались позади. Цветными мелками лектор украшал первую лекцию по начертательной геометрии. Довольно быстро я потерял нить рассуждений, перестал понимать, что к чему, и писал в толстенной тетради с надеждой разобраться дома. Первый день учебы длился бесконечно. Через шесть часов я ехал в трамвае, отупев от свалившегося на голову груза знаний. Никакого желания перечитывать написанное у меня уже не было.

В моей группе собрались в основном иногородние. Жили они в общежитии за Дорогомиловской улицей. Я, выросший в Московских Лесных переулках, чем-то отличался от них. Мне было скучно и одиноко с моей группой. Меня тянуло в параллельную, к

Дэву, Орловскому, Сашке Шлемову. В Дэвике было нечто от фокстерьера. Физически он был слаб, но ужасно задирист и необыкновенно общителен. Он нравился девчонкам. Орловский был невысок, строен, широкоплеч, с выпуклой атлетической грудью. Его лицо было прекрасно. Высокий лоб, прямой короткий нос, твердый подбородок. Невозможно передать, до чего он был мне приятен. Это было началом безответной любви. Я сидел в постылой группе и мечтал о перерыве, когда смогу подойти к тем ребятам, с которыми мог бы поговорить и услышать шутки, безобидные подтрунивания... Я подсаживался к ним во время общих лекций.

Орловский, сын профессора, увы, не блистал ни в одной из наук. Мы все, собравшиеся в тесный кружок, еще не были студентами. Вернее — мы были студентами на российский манер, как это описано у Гарина-Михайловского. Народ, привыкший к бестолково-беспабашной российской жизни, с его беспечным отношением к делу, к учебе, к жизни — остался все тем же российским народом. Какая бы ни стояла отметка в пятой графе паспорта, мы все были россияне. Бывали, конечно, и исключения. Вот, Сашка Вексельман был с самого начала и до конца трудягой-отличником — наверное, потому, что генетически был ближе к евреям из местечек, где столетиями самой светлой мечтой среди грязи, вони и сурового талмудизма была мечта об образовании как единственном способе выбиться в люди.

Дом Орловских. Однажды я зашел к ним. В комнатах было сумрачно. Запомнилось старое фортепиано, фотографии в рамках. На стене висели два охотничьих ружья. Ружья! С ума сойти! Их можно снять, потрогать, пощелкать курком. «Откуда ружья?» — спрашиваю. «Отец привез из Германии, — отвечает Орловский. — Одно мое, другое — отца. На охоту ходим.» Ходят на охоту. Чудеса, да и только! Дальше кино или театра с людоедскими пионерскими спектаклями родители со мной не ходили. В девятом классе я был с отцом в филиале Большого театра, где-то на галерке. Давали «Евгения Онегина». Помню, я себе чуть шею не свихнул, пытаюсь хоть что-нибудь разглядеть на сцене. А ведь мы были уже не бедны в то время. Жрали иногда севрюгу, московские полукопченые и вареные колбасы... А вот на билеты в партер денег было жалко. Потом, в десятом классе, я и помыслить не мог о том, чтобы пойти куда-нибудь с родителями, разве что в гости, где все будут обжираться, как свиньи, мужчины налижуются на дармовщину от души, все захмелеют и заголосят идиотские советско-кабацкие песни.

Тогда в моду вошла странная смесь, составленная из перемежающихся куплетов «Из-за острова на стрежень...» и «Цыганочка Ока-Ока, цыганочка черноока...»

Да... А тут, оказывается, отец с сыном ходят на охоту. Вошла мама. Лицо строгое, как на иконе. Одета в черное. Шкафы с пожелтевшими книгами. Научными...

Сейчас я припоминаю, что Орловский был развитее нас (меня, в частности). Незначай я мог услышать от него изысканную мелодию или несколько строк прекрасного стиха. Значит когда-то, до нашего знакомства, он уже многое успел увидеть за оградой школьной программы. И, кроме того, он был спортсменом, у него был разряд по самбо! А ведь у него был врожденный порок сердца. Скомпенсированный. Но порок! А меня моя нежная мама-врач не допускала даже до пошлой школьной физкультуры. У меня был шумок в сердце (или сердца, черт меня подрал бы с этим шумом!).

Орловский в детстве жил в Германии. Его отец работал там после окончания войны экспертом. По-немецки мой друг не говорил. А жаль. Мне хотелось, чтобы он был выше, еще выше. Впрочем, дружбы у нас еще не было. Я завидовал Дэву, который запросто у них бывал. Готовились к зачетам, по очереди читали химию вслух. Орловский мне рассказывал со смехом, как посреди его чтения Дэв нахально громко пукнул. Орловский отбросил книгу и принялся душить Масика (так прозвали Дэва за конфетную красоту). Тогда потный и красный Масик крикнул: «Голос народа не задушишь!» — и пукнул еще громче. После этого Орловский хохотал четверть часа как сумасшедший, и занятия, разумеется, полетели в тартарары. О зачете и говорить нечего.

Они одновременно стали ухаживать за Раечкой С. из Норильска. Все мы были в восемнадцать лет сущими детьми и собирались дружить с девушками на манер Тома Сойера. Но наши ровесницы уже созрели для взрослой любви. Дэву повезло больше. Раечка пошла с ним гулять и, сунув в рот конфетку, попросила откусить половинку. Так Дэв впервые в жизни поцеловался. Его распирала гордость, и он поведал о случившемся Орловскому. Тот сидел и злился. Заметив это, Дэв положил ему руку на плечо и сказал: «Шура, ведь мы из-за этого не поссоримся?» Орловский был так тронут, что чуть не разрыдался. С сентиментальностью юного Вертера он, видимо, стал мечтать о счастье своего друга. Но у Раечки были иные планы, иные масштабы. Вскоре многие бескомплексные парни могли с гордостью утверждать, что держали

ее в объятиях. Она недолго продержалась на институтском небо-склоне. О ее судьбе ничего не знаю.

Проволочив с грехом пополам первый курс, мы решили ехать на целину. Можно ли интересно написать о нашей целине? Боюсь, что нет. Господь сжалился над нами и не допустил опасных болезней, смерти, поножовщины, пустынных смерчей. Из всех бед, что преследуют земледельца на нашей усталой земле, нас настигла лишь совка. Что такое крытый ток, в те времена лишь догадывались. Да и зачем нам это? Что нам хранить на крытых токах? Совку? От этого симпатичного белого червячка все зерно непрерывно шевелилось. Временами налетал дождь, и мы кидались с лопатами строить из зерна бурт, то есть длинный-длинный холм. В результате частых поливов зерно стало саморазогреваться (гореть) и вонять. Вообще, «зерно» стало ругательным словом.

В самом начале уборки было решено устроить праздник — накопилось много дней рождения. Кто-то съездил в ближайшую деревню и привез чемодан приторно-сладкого вишневого ликера «Шерри-бренди» и зеленого, пахнущего мятой «Шартреза». Это был вечер, который потом вспоминали не один год. Орловский в ту пьяную ночь был великолепен, ибо, нарезавшись, стремился вести себя с достоинством.

Когда кончились привезенные из дома припасы, мы начали бедствовать. К счастью, еще оставались небольшие карманные деньги. В поле стоял вагончик, где торговали всякой всячиной, даже патронами к охотничьим ружьям. Была там и тушенка и даже появлялось сливочное масло. Мы воровали картофель на полях, покупали одну-две банки тушенки на ведро картошки и с упоением поглощали эту пищу богов. Для индивидуальных покупок мы были слишком бедны. Боже, как мы были все бедны, как скромны и непритязательны! Нам не приходило в голову, что скверная еда — результат неимоверного, немыслимого в цивилизованном обществе воровства, что за счет нашего здоровья кто-то процветает, что мы имеем право на протест. Впрочем, начини мы протестовать, с нами поступили бы в духе недавнего сталинского времени — исключили бы из комсомола, потом из института... Кстати, теперь стало известно, что примерно в те же годы наша власть расстреляла бастующих рабочих в Новочеркасске. Ай да власть! Мне вспоминается кадр из одного соцреалистического фильма. Изображался микроконфликт группы молодых ребят с начальством, и кадровый рабочий на «сидении» говорит: «На кого,

ребята, обижаются? На советскую власть?» А дальше показано коллективное ржание коммунистов — на советскую власть они обиделись! Так это ж НАША ВЛАСТЬ! Вот так же мерзкий прихлебатель диктатуры пролетариата товарищ Каменев под коллективное ржание зала заявлял, что у нас есть и другие партии, кроме большевистской, но они все в тюрьме!

Вернемся однако к нашему целинному житью. Голод сплотил нас в кучу. Все было на всех поровну. Один единственный Серж Грачев, могучий альбинос, не выдержал и, купив сливочного масла, стал носить его для индивидуального пользования с собой в столовую. Его презирали и пели вдогонку: «Баночка, коробочка со-с-маслом...» В один прекрасный день мы поняли, что тушенка — слишком дорогая для нас пища и перешли на бобы в томате. Лет двадцать назад я случайно увидел этот продукт в одном из столичных магазинов и решил попробовать. Банка бобов стояла смехотворно дешево. Я вскрыл консерву. Вкус и запах был отвратительны. А тогда эта гадость казалась нормальной едой.

Орловский приехал на целину с ружьем. Однажды с благородной целью накормить народ он отправился в сентябрьские поля. Там летали перепела, рыскали лисы, гоготали на озерах, заросших камышом, гуси... Охота не получилась.

Я тоже решил попытать счастья. На следующий день мы с Мишкой В. взяли без спроса ружье и два патрона и пустились вокруг озера. Один выстрел был за мной, другой — за ним. Мы слышали гогот и хлопанье крыльев за камышом, но раздобыть лодку или плот у нас не хватило ума. Обойдя озеро, мы уже не чаяли поднять птицу, как вдруг справа взлетели две водяные курочки. «Стреляй!» — крикнул Мишка. Я выстрелил с бедра, не успев прицелиться и, разумеется, промазал. Теперь ружье нес Мишка, а я высматривал дичь. Уже на подходе к дому Мишка углядел вдали утку, лег на камни и стал целиться. Как я ни напрягал глаза, ничего разглядеть не мог. Мишка же утверждал, что утка плавает в камышах. Я пританцовывал на месте от нетерпения. Наконец, Мишка нажал на курок. Дробь ушла в воду метрах в двадцати от нас. Товарищи встретили нас недружелюбно. Мы зря истратили патроны, да и ружье взяли без спросу.

Сдуру я наказал родителям, чтобы они мне ничего не присылали. Я хотел быть предельно самостоятельным. Однако не все были такими дураками, как я. Поэтому изредка в совхоз имени Богдана Хмельницкого приходили посылки. Что за чудесные штуки там

были! Помню, пришли Сашке Вексельману яблоки. Дело было поздним вечером. В темноте, в тесной палатке мы вскрыли пахнущий вином груз. Яблоки загнили и забродили в пути. Тут же, в темноте мы съели их с червями, гнилью и семечками. Сейчас я задаюсь вопросом, неужели на бескрайних просторах Казахстана не нашлось несколько гектаров под сады? Как коренное население обходилось годами без овощей и фруктов? Что же это за дикость? Ведь даже первобытный человек разводил возле своего жилища полезные растения.

Некоторое время мы держались на молоке, которое продавали нам местные. Мы предпочитали простоквашу. Трехлитровая банка приходилась на шесть человек. Помню, однажды вечером только мы закончили ужин, как кто-то внес посылку Буканову. Мы все сгрудились вокруг ящика. Но тут Дэв, который мнил себя кем-то вроде комсомольского вождя, сказал начальственным тоном Валерке Г.: «Хочешь принять участие в дележе — иди помой банку из-под простокваши». Валерка вспыхнул и послал Дэва далеко-за-мать. Я не мог бросить Валерку в таком положении, так как за минуту перед этим мы вместе допивали простоквашу. Мы сидели в сторонке, прислушиваясь к восторженным выкрикам остальных и делая вид, что нас это совершенно не тревожит. Между тем компания, куда входил и Орловский, без нас прикончила съестное. Очевидно, существует порог, где инстинкт берет верх над нравственностью. Мы все были такими изголодавшимися, что отсутствие двух едоков воспринималось, как благо.

На следующий день я спросил Орловского (а у кого я еще мог спросить!), как же так получилось, что двое были изгнаны из коллектива под пустячным предлогом. «Ну ладно, Масик — дерьмо, — продолжал я, но ты, как ТЫ мог?» — Я получил ответ Джек Лондоновского Морского Волка. Поскольку я был глуп, жесткий ответ меня удовлетворил. Через тридцать с лишком лет я напомнил Орловскому этот эпизод. Он помрачнел и сказал кратко: «Это было подлостью».

Сейчас, анализируя наши разговоры, я начинаю понимать, что в нем генетически заложена некая жесткость, некое «так надо для дела», что неприятно. Что-то напоминающее угол шкафа, на который натыкаешься в темноте. К примеру, в 70-е годы говорили, что брежневская мафия убрала Машерова, первого секретаря БССР, который пользовался огромным авторитетом у народа за честность и справедливость. Я сказал тогда Орловскому, что очень

сожалею о его гибели, а палачей его ненавижу. И вдруг услышал в ответ, что ему совсем не жаль Машерова, что это — сведение личных счетов, и ему на всех них наплевать. И такого за все время нашей дружбы было немало. О некоторых своих поступках он сожалел. Несколько лет назад Шлемов обратился к нему с просьбой помочь достать какую-то пустяковину для своей утилизационной установки. Орловский не очень жаловал Шлемова и, возможно, для этого у него были основания. Они проработали много лет в одном институте и прекрасно знали, кто чем занимается, кто чего стоит. Орловский в течение долгих лет упорным трудом и терпением добивался права работать свободно и заниматься тем, что ему интересно, он сам создал себе условия. Шлемов, придя в этот институт из аспирантуры, не захотел пахать и пробивать свои идеи, занял роль стороннего наблюдателя и критика. Орловского это страшно раздражало. Он не желал воспринимать Шлемова всерьез. Поэтому он очень быстро забыл просьбу последнего, хотя и обещал выполнить. Я узнал об этом случайно. Когда я спросил Орловского, почему он не исполнит Сашкину просьбу, он как-то с неохотой ответил что, мол, это не его трудности, да и вообще он в серьезность Шлемовских опытов не верит, так чего ему куда-то ходить, кого-то просить... «Помилуй, — ответил я, — дело ведь не в Шлемове, а в тебе. Хорош он или плох — это не так важно, хотя он скорее хорош, чем плох. Но ведь мы все товарищи, мы должны помогать друг другу.» Он тотчас со мной согласился. Тем более, что речь шла о работе. Работа для нас для всех — это святое, хотя она редко дарит нам радости.

Я считаю, что каждому человеку дана от природы некая мера способностей и выносливости. Путем длительных тренировок человек приучает себя к выполнению такого объема работы, что даже при недостатке способностей за счет одной выносливости может тянуть лямку чрезвычайно долго. Есть такие счастливые натуры, которые быстро впадают в механический ритм работы. Их психика, нервная система перестают в ней участвовать. Они могут обсчитывать результаты, вычерчивать кривые, кидать лопаты с углем в кажущийся бездонный кузов самосвала... Вот так работать я не могу. А Орловский может, он способен отключиться. Я помню, как он в ночной смене закидывал сырое зерно в сушилку. Бурт зерна был огромен. Казалось, ему конца не будет. Было сыро, холодно. Мой друг работал в нелепой морской фуражке и кожанке. У него болели суставы. Небритое лицо было мрачно. Он понимал, что никто

его от работы не освободит. Да и вообще кому у нас какое дело до чужих болезней! Я сейчас подумал, что во время семейных скандалов, которые ему устраивала довольно часто его бывшая жена, он с таким же мрачным и отрешенным видом шел циклевать полы или стирать вручную белье, спасая самое ценное — свою душу.

Во время дипломной работы, когда ему в одиночку пришлось почти весь срок потратить на расчет и изготовление макета динамических нагрузок, а затем в считанные дни набирать материал, достаточный для диплома, у него было то же мрачно-упорное выражение лица.

Конечно же, мы с Орловским совершенно разные. Я в работе надеюсь на озарение, а он скорее всего на то, что количество вложенного труда со временем перейдет в качество. Оба мы страдаем от недостатка образования, но дело не только в образовании, а скорее в том, что в свои «зеленые» годы мы не сумели взять то, что лежало чуть глубже поверхности. Не сумели по нескольким причинам. Первой была отвратительная школьная подготовка, второй — наша незрелость и, как следствие, неумение работать, третья — недостаточность способностей. Честное слово, нет ничего обидного в том, что человек плохо понимает высшую математику. Он может быть прекрасным цветоводом, журналистом, портным — кем угодно. Но существовавшие в нашем обществе стереотипы сознания гнали молодежь в технические институты. Большинство свежевыпеченных инженеров осело в НИИ, где полностью отупело года за три и далее стало неспособно к творческой деятельности. Небольшая часть рвалась в науку и прорвалась через собственную дремучесть к знанию. И здесь их окружили соблазны. Молодые кандидаты быстро набрали жирок, темп работы упал, интерес к публикациям исчез. Единицы пошли дальше, к докторским степеням. Шли, спотыкаясь и набивая шишки на ровном месте, открывали азбучные истины, но шли, ползли, двигались. Мой друг — из последних. Ему повезло в одном. С самого начала он работал в выбранной им сфере — физической химии полимеров. Хотя не так уж много в смысле везения. Все остальное он добыл упорным трудом.

Мы возвращались из совхоза имени Богдана Хмельницкого бывалыми парнями. В среднем все заработали за три месяца шестьсот рублей — то, что получал жалкий младший научный сотрудник в Москве за две недели. Я заработал и того меньше — триста. Меня считали «сачком». Наверное, я таким и был. Поздним

вечером перед отъездом Буканов лежал рядом со мной на железной матрасной сетке и стыдил меня, что я заработал меньше всех. Мне было действительно немного стыдно, но лишь немного.

Мы вернулись в Москву в конце октября. Пора было приниматься за учебу. В поезде мы предвкушали горячий душ, домашнюю пищу, городскую одежду. Позади был целый курс. Мы стали матерыми студентами. В конце первого курса я взял учебник по начертательной геометрии Гордона, прочел его, и вдруг мне открылась красота этой изящной части геометрии. Я внезапно прозрел, стал понимать ее, видеть. Я пошел на экзамен и получил первую заслуженную хорошую отметку. А на зачете по черчению красавица-преподавательница с торчащей, как заячьи уши, фамилией Вовк сказала обо мне: «Смотрите, как Трастонецкий вырос за этот год!» Нет, мы не были безнадежны. Мы были просто плохо пропечены, сырые.

На втором курсе началась органическая химия, самая божественная из химических дисциплин. Сколько в ней заложено логики и сколько в ней неожиданного! Адская смесь науки и чуда. Вот где бы нам поработать года три, углубляясь в углубляясь, идя по следам Либиха и Бутлерова, постепенно привыкая к современному языку и методам. Да где там! Где взять часы, которые своровала у нас история КПСС, политэкономия капитализма и социализма, марксистская бредятина? А целина? У нас украли три месяца из девяти. Украли, пользуясь нашей дуростью и ложным чувством гражданственности. Каждый должен заниматься СВОИМ ДЕЛОМ. Вот девиз нормального общества. Но мы есть образец, от которого надо отталкиваться, показывая пальцем — так делать нельзя!

Наверное, нас сам дьявол толкнул локтем под ребро, когда мы снова поехали следующим летом в Казахстан. Мы ехали ветеранами. Некоторые уже успели обзавестись постоянными подругами. Большинство ребят из нашей компании томились по Леночке П., но она выбрала Дэва, а Орловскому в утешение досталась ее подруга Рая. Лена была тощей блондинкой с длинным носом, но умела себя подать. Рая была плотна, приземиста, без шеи, с лягушачьим растянутым ртом. Если от Лены исходили флюиды интеллигентности (она была из профессорской семьи), то от Раи прямо-таки несло рынком. Орловский в любовном томлении ничего не замечал. Большую часть времени он проспал в отдельной палатке, но зато рядом с Раечкой. В результате возникла

опасность, что кто-то может появиться на свет. Мы все были настолько идиотично-целомудренны, что мысль о предохранении даже не приходила в голову. Еще в первую поездку на целину ребята со старшего курса как-то случайно заехали на территорию нашего совхоза. Мы их оставили спать в нашей палатке, и один из них спросил: «Ну как, мужики, в городки играете?» Мы со смехом ответили, что нам не из чего делать городки. Тогда те, которые были постарше, поняли, что мы — идиоты и пояснили: «Вы палки кидаете?» Тут до нас дошел вторичный смысл, и мы начали дико хохотать, что утвердило старшекурсников в мысли о нашей неполноценности. Самое забавное, что пока мы трогательно и трепетно ухаживали за своими избранницами, девочки из общежития, наши сокурсницы, умудрялись по несколько раз в год делать аборт. Об этом я узнал позже, курсе на пятом, а тогда... тогда мы были пугливо-непорочны.

Да, мой друг сделал на редкость неудачный выбор. Ясно ли он сознавал это? Я тогда от случая к случаю захаживал к нему домой. Из разговоров я понял, что у него была подруга, милая интеллигентная девочка Кэтрин. С ней он бывал в театрах, на концертах. Само имя вызывало у меня в мозгу видение нежного профиля, что-то гриновское.

Скверные манеры и сварливый характер Раечки проявились задолго до свадьбы. Орловский переживал. Однажды на Зубовском бульваре, куда мы выбегали из института погреться на весеннем солнце, он сказал в сердцах: «А не послать ли мне Раису ко всем чертям?» Но это был чисто риторический вопрос. Мой друг был совершенно беспомощен в житейской реке, он плыл в ней, как деревяшка. То попадет в стремнину и его потащит, то зацепится за корягу и будет стоять до следующего паводка. Что я мог ему ответить? Я забормотал какую-то чепуху, вроде: «Ну как же, ты ведь столько гулял с ней...» Конечно, он зашел в своих отношениях с Раечкой слишком далеко, развязаться без жуткого скандала было трудно. Общественность зорко следила за нравственностью. Да и что дал бы ему мой совет? Я, конечно, не сказал ему, что думал на самом деле, и совесть гложет меня. Сейчас я упомянул Орловского как своего друга. Да, в те времена мы уже могли считаться друзьями. Мы часто бывали вместе. Его родители относились ко мне благосклонно.

Вторая целина прошла у нас веселее. Мы заработали огромные деньги (за три месяца 1500 рублей). Я уже не был таким

дураком, как год назад, и наказал отцу и матери слать мне посылки. Получил две крохотные посылочки, где даже были сигареты «Астра». К сожалению, впоследствии оказалось, что Лева Крутиков тоже любит эти сигареты и он без зазрения совести почти все их и выкурил. Дэв перед началом работы подошел ко мне и предупредил, чтобы я не был сачком, как на первой целине. Я оскорбился и заявил, что я и на первой работал не хуже других. Меня возмутил начальственный вид Масика, который плотно вошел в роль комсомольского лидера. Были случаи после целины, когда он грозил «рассмотрениями» мне и Орловскому.

Между тем место первого бездельника занял Лева Крутиков, получивший должность учетчика. Я переместился в благополучную середину. Прошел слух, что ветеранов будут награждать медалями. Это нас здорово воодушевило. Именно это, а не возможность заработать. Масик подкатился к Лева, который гордо возлежал на бурте зерна рядом с завтоком Гаврилой, рассказал о медалях и добавил, что теперь надо бы поработать от души. «Мы-то потрудимся, — ответил Лева, не подымаясь с бурта, — а вот как другие?» Масик посмотрел в ясные Левины глаза и понял, что потерпел поражение как воспитатель.

Орловский в это время был так занят Раисой, что на остальной мир времени у него не оставалось. Он уже чувствовал себя главой семьи. Как-то ребята начали поговаривать, что девчонки отлынивают от работы, разговор шел рядом с вагончиком, где мы все спали вповалку на нарах. Девчонки все слышали и молчали. Одна Раиса орала нам в раскрытые двери: «Гады, сволочи!» Орловский ее тихо урезонивал: «Не базарь, кончай базарить». Эти слова надолго вошли в его лексикон.

Их свадьбу играли зимой. Набилась полная квартира студентов. Родители Орловского держались бодро. Что ели и пили, не помню. Танцевать было негде — квартирка была мала. Играли в шарады. Одна шутка мне запомнилась. Александр Александрович, отец моего друга, составил рассказик, в который нужно было наугад вставить прилагательные. Мы наперебой предлагали. Раиса тоже участвовала и подавала малоприветные слова вроде «бесстыжий, грязный, глупый» и прочее. Потом произошло чтение, которое нас очень развеселило: «В доме Орловских собрались грязные и бесстыжие гости. Праздновали глупую свадьбу. Тонкий Дэвик и толстая Лена сидели рядом с красными новобрачными...» Мы хохотали до слез.

Мы были детьми при родителях, и самосознание у нас было детское. Да и у всей страны было детское самосознание. Все делали то, что велели дяди и тети, сидевшие наверху. Само положение власти определяло ее непогрешимость. Нам не могли приказывать делать плохое или глупое!

Вдруг однажды ни с того, ни с сего пришла из райкома комсомола в институт разнарядка обсудить коллективно и составить общественное лицо каждого студента. Вы представляете? Во имя галочки о выполненном приказе каждый должен был раздеться догола перед группой. Сейчас я вспоминаю этот стриптиз и кулаки сжимаются от возмущения. Руководил этой гадостью наш комсомольский секретарь Коврига. Он потом далеко пошел и даже был долгое время директором крупного объединения. Да, так вот, мы все, словно бараны, набились в аудиторию. Пришел Коврига, сел и предложил выбрать секретаря и председателя собрания. Кто-то выкрикнул Орловского. И тут мой Орловский встал и сказал, что затеваемое дело противоречит его моральным принципам и поэтому он отказывается принимать в нем участие. Вот это был поступок взрослого и зрелого человека!

Раиса была инородным телом в семье Орловских. Это чувствовалось во всем. Как много значит воспитание — тонкая защитная пленочка, позволяющая нам жить, не раздражая друг друга непрерывно. Помню один из вечеров у Орловских. Мы сидели за обеденным столом и беседовали. Раиса стояла коленками на стуле и вдруг легла на стол, почти весь его покрыв своим полным телом. Александр Александрович сказал чересчур спокойно: «Рая, поднимись, пожалуйста», и я почувствовал его неприязнь к невестке и, наверное, поэтому запомнил этот крошечный эпизод.

Да, человек не виноват в том, что он родился на свет, что он такого-то роста и такой-то толщины, что от него пахнет так-то или что во сне он храпит, что он умен ровно настолько, насколько умен. Но в чем тогда он виновен? Он виновен в тех поступках, которые совершает против христианской морали и нравственности, сознавая, что это — безнравственные и аморальные поступки, и виновен в том, что не совершает те поступки, которые должен был бы совершать в соответствии с моралью и нравственностью. Если это не христианские категории, а мусульманские, то суть дела остается той же.

Друг мой дорогой, согласись, что уступка злу и безнравственности — тоже поступок и поступок плохой. Долгие годы ты уступал Раисе, отдавая ей на откуп все житейские мелочи жизни. Она

получала ежемесячно твою зарплату и распоряжалась ею бесконтрольно. Долгие годы ты жил на рубль в день, ухитряясь, словно бедный студент, экономить, чтобы сходить в кино с любимой женщиной. Ты не хотел скандалов и платил страшную цену покорности человеку, который был ниже тебя на несколько ступеней. А ведь в ней, в Раисе, были и хорошие черты. Она была хорошей хозяйкой, вкусно готовила (когда хотела), хорошо вязала, увлекалась художественной литературой (настоящей литературой, а не детективами). Пожалуй, у нее были начатки хорошего литературного вкуса, она покупала стоящие книги. А ты, весь скрученный и издерганный только из-за того, что не любил эту женщину, тянул и тянул лямку с тем отрешенно-мрачным лицом, как тогда возле зерносушилки. И вся семейная жизнь твоя напоминала бесконечную рабочую смену у той проклятой зерносушилки, когда не видно конца постылой работе.

Ты оживал только в институте. Весь распорядок жизни у тебя изменился так, чтобы скорее уйти из дома и вернуться попозже. Пока сын был мал, еще существовала ниточка, связывающая тебя с женой, а потом... Нет, разумеется, были и светлые, святые минуты, проблески взаимопонимания и счастья, но вновь и вновь психические и физические несоответствия омрачали ваши отношения.

Ну можно ли, скажи, можно ли прожить жизнь по принципу «делайте, что хотите, лишь бы было тихо». Не слишком ли велика плата за тишину? Ох, и дорого же ты за нее заплатил! Одно время ты перешел на чтение детективов, «чтобы отвлечься», чтобы не думать о своей жизни.

Родители вскоре после свадьбы купили вам кооперативную квартиру. Постепенно раздельная жизнь примирила твоих родителей с Раисой. Как-то, прощаясь после очередного твоего дня рождения, Александр Александрович расцеловался с тобой и засмеялся: «Целоваться начали!»

В конце пятидесятых годов вышла книга Ирвинга Стоуна «Жажда жизни». Притащил ее мне Славка. Воздействие книги на нас было столь сильно, что мы начали рисовать. На наши жалкие студенческие гроши мы стали приобретать учебники по рисунку и живописи, стали частыми посетителями выставок, присматривались, принимались к картинам. Мир расширился.

Каким-то образом Орловский втянулся в эту орбиту и тоже стал пробовать красить. Больше всего ему пришлась по душе техника

пастели. Конечно, техникой это было назвать трудно. Рисунок ему совершенно не давался, но чувство цвета ему было присуще. Он был им одарен, как бывают одарены люди музыкальным слухом. Его родители были очень довольны нашим увлечением. Помню, мы как-то писали натюрморт из овощей. Мне удалось картофелины, а Александр Александрович сказал что-то вроде: «Есть у Олега искра Божья». Милый моему сердцу Александр Александрович, слышите ли вы меня? Если слышите, то знайте, что я помню вас и вашу доброту и надеюсь помнить до конца жизни.

Наше увлечение совпало по времени с открытием первой (после революции!) выставки импрессионистов в Пушкинском музее. Мы сбежали с лекций и отправились туда. Народу в музее было мало. Москва еще не проснулась от многолетней спячки. В залах нам открылось такое, что мы совершенно обезумели от восторга. Мы полюбили импрессионизм весь целиком. Оставалось лишь непонятным, как его могли ругать и отрицать современники. Что же возмущало парижскую публику? Думается, публика тут ни при чем. Просто в Академии сидели старые пердуны, которые ничего нового создать не могли, а тут хлынули, «как световой ливень», картины одна другой талантливей. От зависти родились злоба и подлость. А если титулованный мэтр с розеткой ордена Почетного легиона начинает топтать ногами и орать о попрании молодыми художниками авторитетов и устоявшейся морали, то средний человек, образованный настолько, что способен лишь влиться в агрессивную настроенную толпу, тоже начинает орать и топтать ногами. А разве у нас на протяжении семидесяти пяти лет было иначе? «Мы, рабочие (колхозники) не читали вашего «Доктора Живаго», но твердо знаем, что ваши антисоветские высказывания нам чужды и потому убирайтесь из нашей страны!»

...На выставку акварелей латвийских художников на Кузнецком мосту Орловский повел отца. Тот был в полном восторге. Через некоторое время в командировке в Риге он купил папку акварелей этих мастеров.

Я всегда немного завидовал духовной близости Орловского с родителями. Мои были настолько «приземлень», что обсуждать с ними книги, картины, скульптуры было совершенно невозможно. Когда, собравшись компанией, мы говорили, что наше общество ужасно, мои родители сердились, и начинался форменный скандал. Они созревали до сознательности вместе с нашим обществом,

которое лишь теперь, на грани краха, начинает понимать, в каком свиньячем болоте мы жили и живем. Помню, как в году пятьдесят девятом я в разговоре с Александром Александровичем сказал, что, возможно, у Сталина все же есть что-нибудь положительное в деятельности. Орловский-старший помрачнел и сказал, что у этого кровожадного бандита нет и не может быть хороших дел, и нет ему никаких оправданий. А мой папаша в это время... Впрочем, что тут сравнивать. Мы все не святые, но оправдывать гнусное насилие высшими соображениями или просто от нежелания думать — это значит быть скотиной, которая скучает по хорошему удару кнута.

Да, много мы успели повидать в золотые студенческие годы. Незабываемая первая выставка Святослава Рериха. Символические картины полыхали огненными красками. Меня поразило полотно «Трудимся». В черной ночи в горах движется вереница носильщиков, факелами освещающих себе путь. Интересно, что до этого я не замечал никогда, что вокруг пламени глаз видит как бы сгущение темноты, а за ней освещенный круг. На той выставке мы встретили и престарелого профессора Кошелева из нашей альма-матер. Орловский увидел в простенке небольшой портрет девушки и совершенно в него влюбился. Елеле я оторвал его и потащил дальше по залам.

Все-таки нам здорово повезло: перед брежневским тухлым правлением мы успели высунуть голову в едва приоткрывшуюся форточку и хватануть свежего воздуха. Это нас поддерживало еще много лет. Как удачно схвачена суть нашей жизни в коротеньком анекдоте тех лет: «Что такое Культпросвет?» — «Это такой ма-а-ленький просвет между двумя культами».

После окончания института пути наши на короткое время немного разошлись. У меня возник конфликт при распределении. С моим вечным везением я вскоре оказался совершенно один, все остальные нашли способ отбояриться. Я застрял без диплома, без денег, без работы. Я ездил в какие-то инстанции, попусту терял время. Меня, как говорится, в упор не видели. Если бы не жалкая бумажка в четверть листа с зелененькой шапкой Красноярского Совнархоза, добытая моим дядькой, царство ему небесное, еще неизвестно, чем бы все кончилось. В эти тяжкие времена и навестил меня Орловский. В нем было что-то от натертого до золотого блеска медного пятака. На пиджаке сиял значок, подтверждающий его высшее техническое образование. Ого-го, передо мной сидел ни много ни мало, а целый младший научный сотрудник

в окладом девяносто восемь рублей в месяц... Что-то было в этом младшем, не дотянувшем до ста рублей, сотрудники противоречащее давней интеллигентской традиции семьи Орловских, какой-то оттенок фатовства, дешевого фанфаронства, нечто от поручика Ржевского, героя скабрезных анекдотов. Впрочем, жизнь вскоре надавала нам всем без разбора по мордасам, и тот, кто с гордостью носил значок за шестьдесят копеек, вскоре с безразличием бросил его в пыльный угол к игрушкам детства.

После моего вступления в должность инженера весы уравнились. Я получал аж на два рубля больше. Как мы ухитрялись жить на эти гроши, ума не приложу. О развлечениях, поездках на юг и говорить не стоит. Жили при родителях. Мой друг жил в отдельной, купленной отцом квартире, но ему было еще труднее. У него уже рос Андрюшка.

Однажды я встретил у него Дэва с женой. Дэв рвался в аспирантуру и таскал с собой толстенный том по органической химии. Я сидел и остро завидовал, хотя сам уже работал в академическом институте. Дэв разглагольствовал о том, как будет применять электронный парамагнитный резонанс, а я сгорал от зависти. Орловский надо мной посмеивался. Действительно, чего я кипел? Мне нужно было работать, усердно работать. Учить то, что я благополучно прохлопал в начале института, штудировать журналы, осваивать новые методы. Но я был ленив. Дэв уже умудрился сдать два кандидатских экзамена, а я и не принимался готовиться. Сдуру я пошел в университет марксизма-ленинизма и долго слушал ахинею, от которой ужасно хотелось спать, но впереди маячил обещанный экзамен со справкой о сдаче кандидатского минимума по философии...

Однако вернемся к Орловскому. Помню, поехали мы с ним в подмосковный дом отдыха. Самый что ни на есть затрапезный приют жителей России, напоминающий ночлежку тем, что отдыхающие живут по трое-четверо в одной комнате, а нужду справляют в общем туалете, рассчитанном на этаж. К концу отдыха мы познакомились с девушками. Лыжная прогулка сблизила нас. Но вот наступил прощальный вечер. Мы распили бутылку вина и в прекрасном расположении духа пригласили девушек прогуляться. Директор дома отдыха поступил вполне в советском духе, пригрозив закрыть в двадцать три часа спальный корпус. «Все опоздавшие будут ночевать на улице, — заявил он. — Я лично закрою корпус». Все сделали вид, что плевать хотели на директора.

Однако у меня остался пренеприятный осадок в душе. Гуляя, я посматривал на часы. Хотя ночь была мягкой, стояла оттепель, ночевать во дворе у меня не было никакого желания. Моя подружка была печальна, но я совсем бедняжке не сочувствовал. Она мне ничуть не нравилась. Прошло менее месяца после нашего возвращения в Москву. И вот в Измайлове я встречаю Орловского с его пассией из дома отдыха. Видно, в поисках тепла он был готов искать утешения у кого угодно. А она, краснощекая, с блестящими черными глупыми глазами, моложе его на добрых пятнадцать лет, напоминала грубо раскрашенную матрешку.

Когда бы мы с Орловским ни встречались, мы говорили о его работе. Нет-нет, ни о каком покровительстве речь не идет. Это была болтовня на темы достаточно интересные для нас обоих. Дело в том, что он продолжал совершенствоваться в области полимеров, где я еще что-то помнил, да к тому же первые три года тоже занимался строением полимеров, а в моей новой области исследований он ориентировался недостаточно свободно. По ходу работы ему приходили в голову совершенно неожиданные мысли, которые пугали и отталкивали его коллег. Некоторые упрекали его в безграмотности. Но Орловский стоял на своем. Он никогда не изменял себе. Его стойкость, граничащая с упрямством, и есть тот элемент жестокости и мужества, который вызывает мое восхищение и недовольство. На его счастье, к его идеям почувствовал любопытство один из крупных специалистов в теории полимерного состояния, некто В. Он уже неоднократно взрывал устоявшиеся представления и его боялись как опаснейшего оппонента. Познакомившись с В., Орловский притащил ему целый воз полученных экспериментальных результатов, которые они вместе разбирали и сортировали несколько лет. Потом В., взяв Орловского в соавторы, дал жестокий бой противникам. Враги бежали с поля боя. Звезда Орловского поднялась на недостижимый для институтского начальства уровень. От него отстали и дали полную возможность работать так, как он желал. Как это часто бывает с людьми, и как это неоднократно бывало со мной, Орловский постепенно стал забывать, чем он обязан В. В результате между двумя коллегами, почти друзьями, образовалась пропасть, которая все углубляется с годами.

Со свойственной Орловскому жесткостью он заявил, что у нас наступила эра капитализма, и никакие сантименты не заставят его поступать вопреки интересам дела. Под делом он понимает изготовление и реализацию резиновых уплотнений для автомобилей.

Несколько лет назад он еще говорил о необходимости обобщения полученного материала, о будущей диссертации. Теперь же я слышу лишь, что с каждым годом оборот его акционерного общества растет, и когда-нибудь он станет богатым человеком.

...Мы все оказались рассыпанными, как бусины ожерелья, лишены одной из самых главных радостей — научного общения. В свое время Орловскому повезло с В., а я и по сей день продолжаю маяться со своими проблемами один, выступаю с докладами в пустых аудиториях, пытаюсь заинтересовать.

«Какие теперь вопросы у вас в голове, нравственные, что ли... Шиллер-то в вас до сих пор возмущается...» Обрывки фраз Свидригайлова, обращающегося к Раскольникову, убившего старуху и ее сестру, то и дело приходят в мою бедную голову. Ужасно я мучаюсь иногда нравственными вопросами, поскольку нарушил девять заповедей из десяти. А сколько раз я нарушал первую заповедь — и не сосчитать. Уверен, что Орловский не нарушал и не нарушает. Потому что ему с самых ранних дней прививалось чувство человеческого достоинства. Чувство исторической преемственности. Он, внук дворянский и сын интеллигента, мог ошибаться, но по большому счету всегда отличался нравственной чистотой. Помню скверный случай на военных сборах. Не успели мы приехать, принять баню и лечь в койку, как стоявший в наряде солдатик всунулся в дверь и позвал: «Ребята, там в сарае наши девок портят, не хотите принять участие?» Эта фраза произвела в наших умах страшное брожение. Все заговорили, стали друг друга подначивать. А мне, девственнику, страсть как захотелось посмотреть на это дело. Ведь читал я об этом и у Шолохова, и у Мопассана. «Чего трепаться? — крикнул я в глубину казармы. — пошли!» И вдруг услышал шипящий от ненависти и презрения тихий голос Орловского: «Я тебе сейчас в морду дам!» Покорно скинул я сапоги, которые натянул прямо на кальсоны, и тихонько скользнул в койку. Орава студентов между тем теснилась на выходе. Все желали «принять участие».

Как сейчас, я вижу фигуру Орловского у окна казармы. У него обычно в руках была книга и сигарета. Домино и шахматы его не интересовали. Он стойчески переносил одиночество. Я же не мог преодолеть соблазна и играл все свободное время. Мы с ним разные, очень разные. Я до болезни азартен, раздвоен, неспокоен. Он по сравнению со мной — монолит, памятник непобежденной русской интеллигенции. Что ж, есть в кого. Он не раз говорил, что с годами

ощутил необыкновенную духовную близость с отцом. Александр Александрович почти до самой кончины вел научную работу. Ему была свойственна высокая культура мышления, которая своей основой имела высокую общечеловеческую культуру. Думаю, что общение с отцом давало сыну больше, чем чтение книг.

По моим впечатлениям, Орловский-старший был выдающимся практиком, чувствующим технологию, как говорится, кончиками пальцев. Он, разумеется, был эрудитом в своей области. Думаю, он не мог похвастать математическим моделированием процессов (может быть, я ошибаюсь). Вал поголовной компьютеризации до него не докатился. Однако в силу своего образного мышления он добивался высоких результатов. Должен сказать, что мне приходилось сталкиваться с физиками, которые предпочитали идти к результатам именно таким, образным путем.

Было время, когда я сравнительно часто виделся с обоими Орловскими. Этому предшествовало горькое событие — смерть Ольги Владимировны. Раиса согласно своей свинячьей этике считала, по-видимому, что не обязана помогать нелюбимой свекрови. Орловский не отходил от матери. Отсутствие мужа в течение долгих месяцев Раю не трогало, его зарплату она получала исправно. После похорон Орловский совсем переселился к отцу. Жили они очень хорошо. Ладно жили. Оба умели готовить и обслуживать себя. У моего друга к этому времени была любовь, которую он выстрадал. Сын вырос и служил в армии. Я приезжал к ним в маленькую двухкомнатную квартирку на первом этаже. В комнатах царил сумрак. Ветви деревьев касались окон. Было тихо, как в музее. Мы отправлялись гулять в большой лесопарк. Однажды, выходя из дома, Александр Александрович показал на группу зеленеющих берез во дворе, сказав: «Их посадила Ольга Владимировна». Светлая старость была дана ему как награда за праведную, лишнюю эгоизма и гнусных излишеств жизнь. Удивительное ощущение тепла уносил я после общения с ним. Наши беседы я не стану предавать бумаге. Так много было переговорено обо всем на свете, о прошлом, настоящем и будущем. Орловский говорил мне, что после отца остались дневники. Надеюсь, что потомки бережно к ним отнесутся.

Мы пытаемся успеть посадить дерево, написать книгу, повторить себя по возможности в не худшем варианте. Что нам дано еще? Поддерживать друг друга, когда мы станем немощными. Но с возрастом наступает расхолаживание, отдаление. Каждый

остается один на один со своей старостью и болезнями. До друзей далеко. Рядом жена и дети, дай им, Боже, столько дней жизни и здоровья, чтобы они проводили нас в последний путь и помнили как можно дольше. А нам, Господи, дай силу воли умереть достойно и спокойно. Позади более пятидесяти лет жизни. Хороша она или плоха — она прожита и ничего в ней не изменить. На весах лежат тяжким грузом наши большие и малые грехи и проступки, а на другой чаше — наши мизерные заслуги. Ибо кого мы сделали счастливыми? Кстати, о заслугах. Кроме той желтенькой медальки за освоение целинных земель у меня ничего нет. Может быть, я плохо работал всю жизнь?.. У моего друга есть медаль «За доблестный труд», которую он получил за участие в космическом эксперименте «Союз-Аполлон». Я прекрасно помню его рассказы о центре космических исследований и работе с американцами. Он с ними вел себя так же упрямо-жестко, как с сотрудниками родного института, хотя и восхищался американской техникой. Есть, есть в нем стержень, который не дает ему сгибаться!

У Булата Окуджавы в романе «Путешествие дилетантов» главный герой, князь Мятлев, этакий шуплый очкарик, оказывается сильнее характером всемогущего царя Николая Первого. Царь чувствует жесткость, что-то вроде несносного угла шифоньера, раздражается, но ничего не может поделать с упрямым интеллигентом. В моей голове Орловский и Мятлев часто меняются местами. Кажется, они и внешне похожи.

Хотел бы я написать историю жизни русского интеллигента года рождения тысяча девятьсот тридцать восьмого. Это был бы прекрасный роман.

Я смотрю на тебя, перевалившего через полстолетия. Ты сильно изменился, друг мой. Особенно за последние год-два. Ты неожиданно для самого себя обрел цену. Из полунического старшего научного сотрудника ты вознесся к материальному уровню заместителя директора крупного объединения. И это не могло ни сказаться на всем. Даже костюм стал на тебе сидеть иначе, более щеголевато, что ли... Мне кажется, что изменилось у тебя даже выражение лица. В нем появилось некое усталое достоинство. Резче проступила древняя благородная порода. Но характер твой остался таким же, каким и был. Хоть ты и похож на Мятлева, но тебе до него далековато. Многовато в тебе необдуманного фанфаронства, упрямства на пустом месте. Но пленяет меня в тебе отзывчивость на тепло и жажда тепла.

Я не люблю абсолютно здоровых людей. Человек, мне кажется, должен порой испытывать недомогания и боль, чтобы знать и полнее сочувствовать боли и страданию. Точно так же я не приемлю абсолютную честность и порядочность. От них пахнет хлоркой. Мне лично ничто не чуждо. Живое требует сосуществования добра и зла, а не уныло-стерильного добра. Я бы чувствовал себя ужасно в обществе бескомпромиссно-порядочного человека. Да и есть ли такой на свете? Ведь если он сейчас есть, то уже через минуту он станет нашим (моим) судьей и тут же возомнит себе как о Судье.

Мне кажется, что все дело в соотношении добра и зла. Его может быть или меньше, или больше...Весы. Колебания маятника. Пульсирующая вселенная и пульсирующая в жилах кровь. Равновесие дня и ночи. Вот наши учителя. Застывший камень, совершенный кристалл, бесконечный холодный космос, гордое одиночество — это не для нас. Мы слишком мягки, слишком теплы. Совершив насилие над другими, мы, даже зная свою правоту, мучимся страданиями существа, наказанного нами.

Недавно Орловский поразил меня признанием. Оказывается, он с неприязнью прежде относился к людям, которые покидают Россию, зная, что она им мачеха. А вот теперь он их понимает, потому что чувствует стыд за страну, которая так низко опустилась. Помилуй! Сейчас, сидя по уши в грязи, мы кажемся миру куда привлекательнее, чем десять лет назад. В наших глазах появилось что-то осмысленное. Мы становимся сообществом людей, а не скотов. Мы проявляем индивидуализм, а не единоклубное самопожертвование. Жертвы — плохое удобрение для великого сада будущего.

СТАРЦЕВ

С чего начать рассказ о Старцеве... Не с того ли утра, когда мы шли по аллее вернисажа, и он грел в кармане тысячу рублей (огромные по тем временам деньги), жалея выкинуть десятку на финтифлюшки своим девчонкам и стареющей жене. Есть такая присказка: богатый человек, если вдруг разорится, все равно еще десять лет ведет себя, как богатый; бедный же, если внезапно разбогатеет, все равно еще десять лет будет жить, как бедный.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Старцев стал богат как Крез. А был он беден, очень беден. Я вспоминаю его жалкий серый

свитерок, который он носил в свои тридцать лет. Примерно тогда мы с ним и познакомились. Он в тот день пришел сдавать кандидатский экзамен по английскому на кафедру, которая обслуживала все академические институты. Через день должна была состояться защита его диссертации, и он нервничал. Еще бы ему не нервничать. Я никогда не стал бы доводить свои дела до такой критической точки. Нынче Старцев кажется внушительным, как гардероб, а тогда серенький свитерок облегал довольно скудное, хотя и длинное тело, увенчанное на редкость круглой физиономией.

Домом заправляла Надюша. Я навестил их впервые в Большом Козловском. Как мне знакомы эти полуподвальные коммуналки, черные от копоти и освещаемые грязными лампочками, ввинченными, наверное, еще до угара НЭПа. В одной из конурок и находился «дом», которым управляла Надюша. Бледные, диатезные городские дети, не вылезающие из простуд. Дрянная мебель. Бедность! Бедность!

В зарубежных романах герой, попавший в такую обстановку, идет на преступление или кончает счеты с жизнью. В нашей стране молодой кандидат наук, только начавший получать в свои тридцать лет сто семьдесят пять рублей, приносит из института спирт, разводит «по Менделееву» и кидает туда для запаха лимонную корочку. Тот славный, кубической формы графинчик хорошо нам послужил! Мы закусывали бутербродами с вареной колбасой и селедочным маслом.

Я уже был в аспирантуре, получал сто рублей и мечтал о ста семидесяти пяти, очень любил разбавленный спирт с лимонной корочкой и ученые разговоры. Мы обсуждали нашу первую совместную статью. Незадолго до этого я выучился нажимать кнопки на пульте ЭВМ и испытывал настоящее наслаждение, когда, помигав мне неонками, машина вдруг как бы наклонялась, и из нее лилась река девятизначных цифр подобно тому, как из конвертора медленно и торжественно льется сталь. Эти цифры, цифры, цифры завораживали.

Химия, огромная, как Азия, жила своей внутренней жизнью. В ее глубинах рождались и умирали теории, возникали десятки тысяч новых соединений — лекарств, полимеров, ядов, красителей. То одна, то другая математическая модель вонзалась в ее разрыхленную поколениями неизвестных и гениальных тружеников почву, чтобы связать, сгруппировать, объяснить мириады

фактов. С отвагой неопита я бросился штурмовать этот материк, не представляя ни природы избранного для атаки района, ни противоречивого характера самого метода исследования. Повальное увлечение квантовой химией началось у нас в стране незадолго до моего поступления в аспирантуру. Информация казалась уникальной. Многие ставили ближайшую цель — рассчитать и опубликовать, рассчитать и опубликовать. Быстрее, быстрее! Наши допотопные ЭВМ только кряхтели. Мы со Старцевым выходили в ночную смену и мотали рулоны цифр. Машины барахлили. Утром мы убеждались, что в их кишках произошел сбой, и они насчитали чепуху. Рулоны бумаги летели в корзину, а мы вновь ждали своей очереди.

Несмотря на скудость наших познаний, мы явно подвигались вперед. Старцев варил красители, добавлял соль металла — краситель менял цвет. Положив пробирки с растворами в карман халата, он неторопливо шел через все здание в мою комнату, показывал мне результат. Нашей мечтой было найти краситель, который в присутствии металла изменил бы цвет с красного на зеленый. Но чудеса свершаются редко. Сейчас я, разумеется, рассматриваю прежние наши искания, как детские игрушки. Смешна и наша эйфория от бесконечных рядов цифр. Сначала должна была бы возникнуть продуктивная мысль, хорошая дебютная идея.

Мы были адски честолюбивы, а я еще и закомплексован. Боялся, что не сделаю диссертацию в срок.

Вскоре мы здорово подружились. Ходили вместе в столовую, задерживались допоздна. После работы мы частенько позволяли себе пройтись от Воробьевых гор к парку через разрушенный ныне метромост. В то время я гнал еще одну тему с шефом. Я поставил на двух лошадок с надеждой, что хоть одна из них придет к финишу. Меня жгла моя никчемность. Я обязан был уложиться в три года.

Семья Старцевых казалась мне солнечно-идеальной. Они так мужественно и бодро несли крест неустроенности и бедности. Он все время прирабатывал на рефератах. Куда бы ни ехал, всюду с ним было это нехитрое бумажное хозяйство. Подошла очередь на портативную пишущую машинку, но у молодого кандидата не оказалось ста шестидесяти рублей. Мы им одолжили денег.

Что за волшебство эта наша молодость! Ведь мы были счастливы. Сейчас это звучит кошунственно, ибо мы были счастливы в стране, в городе, где почва была пропитана кровью невинных

жертв. Останки храмов буквально зывали к нам из каждого угла. Мы были слепы и фантастически глупы. Мы были уверены, что Хрущев рассказал нам почти все. Что все преступления против человечества были вскрыты и им дана была верная оценка. А вот Хрущев зазнался — его и сбросили. Не нужен нам новый культ личности. Мы спорили о марксизме-ленинизме и находили в нем много мудрости. Других учений мы, естественно, не знали, но десятки томов сочинений вызывали уважение. Даже сейчас, когда читаешь трактат «Бунтующий человек» А.Камю, где он со спокойной иронией вскрывает нелепости учения Маркса, не оставляет мысль: «Неужто наши философы не видели всех этих противоречий и натяжек? А почему мы не видели алогизмов? Может быть, мы все остались безнадежно глупыми, но, может быть, Камю сам ошибается?» Вот, скажем, «электрон так же неисчерпаем, как атом...» и прочее. Честное слово, очень приличная мысль для начала века. Или: «Бытие определяет сознание», ну, не индивидуальное, а общественное, что-то среднестатистическое. Вот, жили мы, как свиньи, и идеология у нас была свинская. У пролетариата идеология свиней, а у пахаря-собственника должна быть иной, больше человеческого достоинства...

Старцевы отличались редкой мягкостью в обращении. Я же был противно колючим и нервным. Помню, я их напрасно обидел и потом долго переживал. Приближался мой день рождения. Такого рода праздники мы гуляли самозабвенно. Продукты были, спирт тоже, бутылка сухого вина для женщин стоила недорого. Сидели мы на бульваре возле университета. Старцев сказал: «Скоро нам гулять у Олега», а я возьми и брякни: «Если я вас позову». Ну что за дурацкий язык! И ведь ни одной секунды я так не думал, а наоборот, полюбил их всем сердцем.

Каков был Старцев в те годы? Мне казалось, что он очень одинок, что Надюша и ребятишки — это все, чем он дорожит в жизни. Однажды он сказал мне, что не мыслит изменить Наде, так как боится, что Бог покарает его болезнью детей (что-то в этом роде, хотя имени Божьего он не упоминал). Меня, правда, несколько озадачивало полное отсутствие друзей по школе и институту. Может быть, так было заведено, что к ним не ходили. Ну, скажем, в Большой Козловский ходить было невозможно. Но вот случилось «счастье». Через институт Старцевы получили прекрасные три комнаты в четырехкомнатной квартире. Далеко от центра, с перекладными от метро, но вполне нормальное жилье. Они еще

колебались, брать или не брать. Вдруг в другой раз предложат отдельную квартиру... Но я их уговорил, и они переехали. Но и на новой квартире я не встретил его друзей. Может быть, нас просто не знакомили?.. Вряд ли. Новоселье совпало с праздником, мы налопались до отвала и потом, подхватив детей на руки, отправились смотреть салют и кричать «ура!»

Старцев после защиты посolidнел. Его вес приблизился к девяноста. Была в нем какая-то странность, почти изъян. Он был скрытен всегда, но в нем бурлили неведомые, думаю, не вполне добрые силы. Помню, пришел он с детьми на день рождения моего сыночка. Были там еще два мальчика-близнеца лет около двенадцати. После праздничного стола пошли гулять в парк, поиграть в футбол. Мы тоже участвовали в ребячьей возне, и вдруг я увидел, как матерый, грузный Старцев «взял на корпус» одного из мальчишек. У того, бедного, перехватило дыхание, и он еле удержался от слез. В футбол он, конечно, больше не играл. Я еще тогда подумал, как же можно так с мальчишкой, притом не в запале, не случайно, а намеренно. Такая расчетливая жестокость... О, он всегда был чрезвычайно расчетлив, он никогда никому не доверял.

Я совсем не представляю себе как текли его детские годы, студенчество. Мне кажется, что в студентах он был неким человеком толпы и был движим интересами такого вот среднего человека — этакий среднестатистический футбольный болельщик. Не знаю, опекали ли его старшая сестра и мама, а, может быть, он воспитывался улицей. Достатком в семье, скорее всего, и не пахло. Ну, разумеется, были святые идеалы, которые вбивались в голову вопреки жизни, скорее по принципу: чем гаже снаружи, тем чище и возвышенней внутри.

Маленькие радости нашей жизни так малы, что впоследствии приходится запасаться мощной подзорной трубой, чтобы разглядеть эти скудные цветочки среди серых барханов однообразных лет. Как-то незаметно прошел обмен трех комнат на трехкомнатную отдельную квартиру на Палихе и спустя несколько лет еще один переезд — на тихую московскую улицу вблизи стадиона Динамо. Я обычно шел к ним проходными дворами. В одном из дворов на двери гаража яркой краской ребячья надпись: «улица Валерия Газаева». Был такой футболист. Кстати, однажды Старцев меня затащил на матч «Динамо»—«Нефтчи». Сам он — верный болельщик «Динамо». Когда-то, очень давно я сказал, что симпатизирую «Спартаку», хотя для роли болельщика слишком ленив. С тех пор

Старцев регулярно обсуждал со мной игры «моей» команды: «Твои сегодня переиграли конюшню (ЦСКА)». Я не знал, что при этом следует говорить, наверное, нужно было оценить действия игроков, но я никогда не мог запомнить фамилий.

И вот мы сидим рядом на стадионе. Никогда не представлял, что Старцев может быть таким своим-в-доску-парнем. Вскоре вокруг нас сплотилась компания, включая даже болельщиков «Нефтчи», а эпицентром был он, Старцев. Квалифицированно и тонко он реагировал на все ничтожные перипетии на поле, а я сидел полным болваном и наслаждался его неожиданной популярностью. Вот это самое умение работать в толпе на толпу, думаю, является наиболее распространенным даром среднего человека.

Я часто сталкивался с тем, что Старцев в наших общих компаниях с явным удовольствием «играл» против меня. Добро бы, когда я побеждал, но он любил именно помочь «затонуть». Если кто-нибудь, к примеру, лучше меня играл в шахматы, то вскоре я обнаруживал, что мой приятель уже держит сторону противника. Эти слабые штрихи позже, во времена более драматических событий, сказались куда как резче, определеннее.

Кривая моей карьеры пошла вверх, к относительному благополучию. Я защитился, работал у шефа на кафедре и довольно скоро с его помощью получил должность, а затем и диплом старшего научного сотрудника. Старцев все еще сидел младшим научным в академическом институте и добывал недостающие гроши редактированием рефератов. Опубликовав около пятнадцати статей, мы решили, что достаточно умны и можем писать книгу. Надо отдать должное Старцеву — литературы он припас предостаточно. Я заказал ее копирование, и вот на кафедру, где я работал, стали прибывать увесистые бандероли.

В это время обстановка вокруг меня на кафедре сильно накалилась. Партийные ведьмы, которых шеф страшно боялся, захватили власть. В начале семидесятых годов партийное воспитание достигло, по-моему, апогея. Всех тошнило, но все боялись раскрыть рот. Бесконечные уступки партийным демагогам со стороны нашей тощей интеллигенции назывались Соблюдением Правил Игры. При этом старались не думать, что Игра — сплошное жульничество. Когда я однажды возмутился против общественных поручений (я-то, дурак, думал, что моя работа кому-нибудь нужна), мне устроили форменное аутодафе, и шеф тоже пошевеливал угли под своим любимым аспирантом. Одним словом, монстр разинул

пасть — спасайся, кто может! Будь на дворе тридцать седьмой год, меня тут же спровадили бы в лагерь, а может быть, и шлепнули у стенки. Спустя год представился случай, и я сбежал в закрытую организацию. Что ж, другого выбора у меня не было. Я поднялся еще на одну ступеньку материального благополучия.

Наконец повезло и Старцеву. Его вспомнил старейший химик страны и пригласил управлять большим, человек в двадцать, коллективом. Не без колебаний мой приятель согласился. Уж очень приятно работать в академическом институте, сам знаю. И вот он поселился в отгороженном книжными шкафами уголке, наедине с телефоном и многочисленными книгами, которые успел накопить на свои гроши. Тогда книги у нас стоили смехотворно дешево. Я часто навещал его. У нас продолжались совместные исследования, к тому же мне было ужас до чего приятно выскользнуть из своего заведения. Я, с позволения сказать, начальник сектора, сидел в проходной комнатенке, выкроенной из куска коридора. У меня, экспериментатора, не было даже раковины. Я приносил с собой в колбочке выпрошенную на стороне дистиллированную воду. Как бы в компенсацию я получал ежемесячно три с половиной литра спирта, треть которого, как налог, тут же отбиралась руководством. Эксперименты я проводил в институтах своих аспирантов или у Старцева. У него было большое и крепкое хозяйство. Люди свое дело знали, оставалось только их направлять. Там у него возникла довольно быстро теплая, почти семейная обстановка. Регулярно пили чай со сладостями, бывали и общие обеды.

В те годы мы часто бывали в гостях друг у друга. Играли с азартом в шахматы, бродили по улицам. Женщины наши нам не мешали, не ныли, не требовали внимания. Спасибо им, нашим неприхотливым лошадкам! В один из летних сезонов Старцевы сняли дачу в Удельной на Казанской дороге. Глава семьи настолько разбогател, что купил себе велосипед. Держаться на нем он еще не мог, а весил уже около центнера и, когда валился на бок, удержать его было чрезвычайно сложно. Выучился ездить он на редкость быстро и очень увлекся прогулками с домашними. Сейчас кажется удивительным, сколько простых удовольствий он не знал. Со мною он впервые в жизни вышел по грибы и вскоре стал заядлым грибником. До сих пор он с увлечением ходит за грибами, ходит один и не боится заплутать. Сильная личность. Я всегда считал, что только сильная личность легко переносит

одинокость, особенно в незнакомом пространстве. Я вот не могу ходить в незнакомом лесу один. Мне каждую минуту кажется, что я заблудился. Даже компас не успокаивает. Тревожно мне одному. Боязно пространства.

На даче в Удельной царил идилизм, неустанно поддерживаемая Надюшиными руками. Нельзя сказать, что еда поражала изысканностью, но была обильной. Надюша — из тех здоровых натур, которым необходима уверенность, что они живут хорошо. Вернее, что та жизнь, которой они живут, и есть достойная, хорошая жизнь. Поэтому наши нападки на режим воспринимались ею всегда в штыки. Тут ее позиция почти совпадала с ретроградными взглядами моих родителей. Должен признаться, что и я, и все мои друзья отличались крайней степенью нетерпимости к инакомыслящим (благо, за примерами далеко ходить не надо было). Если бы кто-нибудь из знакомых стал всерьез защищать режим, не сомневаюсь, что наши отношения с ним очень быстро прекратились бы. Поэтому, думаю, Старцев ощущал досаду от Надюшиных выступлений, которые сводились к тому, что мы все безоглядно охаиваем, ничего хорошего не видим, а сами работаем плохо и потому лучшей доли не заслужили. При этом, естественно, вопрос о том, заслужили ли хоть кусочек счастья наши родители и, в свою очередь, их родители, даже не приходил ей в голову. Впрочем, у Надюши было немало достоинств. Она пела, у нее был вкус к классической музыке. Старцевы часто ходили в консерваторию. В лаборатории Надюша считалась тоже не последним человеком. Уже была соавтором двух книжек. Конечно, она осталась девчонкой из Подмосковья. Никакого воспитания-образования родители ей дать не могли, и потому, естественно, пустое место было занято нашей первобытно-людоедской идеологией. Кто станет ее судить? Уж не тот ли мальчик, дитя асфальта, которого она взяла в мужья, прельстившись ростом и богатой шевелюрой? Ну, кто мог знать, что от шевелюры через четыре года ничего не останется?..

Недостатков у каждого из нас масса, но некоторые из них особенно раздражают. Меня, в частности, всегда чрезвычайно раздражало актерство, причем дурное актерство Старцева, и его дешевое, прямо-таки копеечное тщеславие. Помню, как-то съездил он в Румынию с докладом. Там, на румынском языке, его в числе прочих, издали. И вот Старцев сидел потный и счастливый на

ученом совете и без усталы подписывал и презентовал свой опус высокопочитаемым членам совета. Я досадовал, потому что вся эта сцена с вручением румынского текста была глупа и фальшива до крайности.

Так хорош Старцев или плох? Честно говоря — не хуже меня. У каждого из нас свой букет недостатков и, как ни странно, он не мешает установлению отношений между людьми — в этом секрет природы.

Мне всегда казалось, что источник тепла их жилища, — жар Надюшиного сердца. Как бы она ни ворчала на нас, как бы ни пилила мужа, в ней я вижу основу того человеческого и человечного, что примиряло меня с ними обоими. Я вспоминаю, как пустел и холодел их дом, когда Надюша с детьми уезжала в отпуск.

Что толку в умных словах, вычитанных из книг или сочиненных на досуге! Сердцем своим мы оправдываем жизнь. Это оно, сердце (а правильное — душа) заставляют нас мучительно краснеть от стыда. Это оно болит от раскаяния, когда мы незаслуженно причиняем боль нашим близким. Это сердце заставляет нас совершать поступки вопреки холодному расчету разума. Эти поступки высвечивают нашу истинную сущность и мы предстаем перед окружающими, словно обнаженные. Корыстолюбие или бескорыстие, безмерный эгоизм или самопожертвование — поступок, как проявитель, выявляет наш символ веры. Слова, которые говорятся постфактум, чаще дают лишь возможность спасти лицо.

...В тот день я приехал к нему, как обычно, попользоваться приборами и заодно поболтать, посплетничать. Он сидел в своем уголке, окруженный шкафами. После нескольких общих фраз он сказал: «Олег, со мной произошло несчастье». И хотя я уже знал от Надюши и еще одного малоприятного субъекта, в чем дело, я соорил участливую физиономию и спросил: «Что случилось?» — «Я влюбился», — ответил Старцев. Я знал в кого, но опять спросил, изображая полное неведение и изумление: «В кого же?» — «В Леночку», — ответил он. Ах, как был наивен мой приятель, этот великовозрастный мальчик, который воспринял неожиданно поразившую его любовь не как дар неба, а как несчастье. Я вспомнил, как давным-давно у меня был паскудный адюльтер и меня распирало от желания хоть кому-нибудь поведать о своей внеплановой победе. Я долго намекал Старцеву на это и почти силой вырвал у него вопрос, на который мечтал дать утвердительный ответ. Когда же я, в свою очередь, спросил про его успехи, то

услышал: «Я никогда не изменял Наде». Теперь же он первым делом пришел к своему ангелу-хранителю, к своей утешительнице и признался, что влюблен. В Лену. Он рассчитывал, что Надюша его, бедного, пожалеет. Но тут уж Надя не смогла преодолеть свое женское, бабье начало. Я думаю, у нее свет померк в глазах. Она мне потом говорила, какой была душой, что хранила верность этому неблагодарному. И какие предложения были! А этот вообще был никудышный мужик, и она терпела ради семьи, и прочее, и прочее... Кто, как не она, вертелась словно белка в колесе, стараясь накормить и ублажить семью. И стирала, и посуду мыла, и шила, и убирала — и вот тебе подарок! Семейный скандал тихо разрастался. Старшая сестра Старцева не преминула с высоты своей девичьей морали пнуть братца. Узнала обо всем и мама. Та, попросту, набрала мой телефон и с ходу потребовала: «Товарищ Трастанецкий, поговорите с моим сыном!»

Честно говоря, мне его поступок показался совершенно идиотским. Ну, влюбился и, кажется, взаимно. Ну, так спи с любимой женщиной, глядишь — страсть остынет, все встанет на свои места. Отработанный поколениями вариант. Злило меня то, что он не принял во внимание двух вещей. Во-первых, у него были еще совсем маленькие дети-школьники, которых предстояло растить и растить. Во-вторых, что за садизм — рассказывать обо всем своей жене, да еще обсуждать с ней, когда и как уйти из дома. Поэтому, когда я услышал из его уст о «несчастье», я уже был готов вправить ему мозги. Он, видимо, не ожидал такой реакции. Особенно меня возмущала Лена. «При чем здесь Лена?» — спросите вы. Лена была христианкой. Говорили, что в веру ее обратил работавший у Старцева Алексей Иванович. Этот милостивый государь, очень неглупый человек, но явно не вполне нормальный, всем и каждому тыкал в нос свою активную диссидентско-христианскую позицию. Он демонстративно в открытую читал журналы, изданные «там», слыл вольнодумцем, увлекался серьезной музыкой и философией, ненавидел сквернословие и великодушно позволял своим престарелым родителям содержать себя и свою семью. Старцева он считал посредственностью, а пришедшего в лабораторию физика П. просто дураком. Его не смущало, что каждый из них уже состоялся как кандидат наук и что-то произвел на свет в области своей узкой специальности.

Благодаря Алексею Ивановичу идеологические сражения в лаборатории не затихали ни на минуту, тем более что П. был

ретроградом. В поведении диссидента-христианина все время чувствовался некий вызов. Он как бы повторял каждому: «Я выше тебя, потому что я — христианин». Вот этот малоприятный субъ-ект имел сильное влияние на Лену. Я с нею не раз общался во время своих наездов в лабораторию. Она держалась с достоинством, проявляла ум и такт. Однажды я спросил ее совершенно беспричинно, как она относится к адюльтеру. Она ответила односложно: «Отрицательно».

И вдруг в последний мой приезд меня перехватывает Алексей Иванович, отводит на лестничную площадку и спрашивает, честный ли человек Старцев. Я ответил, что честный, но мне непонятен вопрос. И тут мне этот тип начинает изливать душу, рассказывает, как дорога ему Лена, рассказывает, что он был близок с ней, но всего раз шесть или семь... Меня, признаться, затошнило. Я представил себе, как он ее совращал, как плел ахинею, что берет грех на себя, что замолит, и прочее, и прочее. Ах, ты, думаю, сволочь! У тебя же двое детей, о которых заботятся твои родители, пока ты душу свою спасаешь. Это, пожалуй, легче, чем детьми заниматься, идеолог вонючий!.. Я вспомнил, как он однажды приехал ко мне домой за симфоническими пластинками. Мы с женой пытались с ним поговорить о музыке, об искусстве (как-никак единомышленник). Он же этак умненько улыбался: «Болтаете, мол, чепуху, ну болтайте, болтайте». Я-то, признаться, думал, что христианство, принятое во взрослом возрасте (он мне рассказывал, что почувствовал при крещении), обязывает человека к примерному поведению, доброте, самопожертвованию. А тут случился просто какой-то гадюшник.

После моего отпора Старцев резко ко мне охладел. Ситуация дома оставалась накаленной. Он вроде бы дома не жил, но и не уходил. Приходил домой, ложился, часами лежал молча. Он любил, но любил так, как любят эгоисты. Я говорил Наде: «Раз он так мучается, отпусти его». — «Что ты Олег, — отвечала мне Надюша, — ведь он начнет делить имущество и разденет нас догола. Это, — скажет, — мое, и то — мое». Вот уж не думал, что родная жена таким представляет себе дорогого муженька.

Перед всеми описываемыми событиями я сделал книгу по материалам, собранным Старцевым. Заказывал статьи, читал, переводил, комментировал, выписывал таблицы, копировал рисунки. Потом отдал приятелю в работу. Он долго-долго мусолил материал и, наконец, сказал, что сначала будет писать диссертацию, а

потом уж займется книгой. Я согласился. И вот, вместо того, чтобы писать диссертацию, он занялся сердечными делами. Я должен был сидеть и ждать, пока у него пройдет хандра.

Наступил день рождения Старцева. Надюша очень просила меня прийти. Я пришел после работы. Стол был накрыт, но кроме меня и его сестры гостей не было. В воздухе висела тоска. Мы выпили по рюмке. Сестра Старцева родила глупо-многозначительный тост за благополучие семьи, которое зависит от «одного человека». Этот человек вскоре лег на супружеское ложе и устремил мученический взгляд в потолок. Я сидел как на иголках. Меня жгла обида за полное пренебрежение к моей собственной особе. «Ладно, — думал я, — ты разлюбил свою жену. Тебя не трогают печальные глаза твоих детей, которых ты, а не сосед, произвел на свет Божий. Но я-то за что должен страдать и терпеть твое хамство? Ты ведь мне никто. Случайно встретились. Ты ведь был мне дорог и становился все дороже только потому, что я вкладывал в тебя, в твою семью свои душевные и умственные силы. Это я выучил тебя ходить в лес, кататься на велосипеде. Это я систематизировал материал для книги и выдал его тебе на блюдечке. И ты теперь третируешь меня за то, что я решительно восстал против твоего предательства».

Распаляемый этими грустными мыслями, я почувствовал, что сидеть в обществе унылых женщин больше не могу. Я встал и попрощался. Надюша всполошилась, забила крыльями-руками, стала меня удерживать, я стал вырываться (все-таки отсутствие тонкости в женщине — большой изъян). Получилась шумная и некрасивая, почти скандальная сцена, закончившаяся истерическим криком: «Сеня, пойди проводи Олега!» Старцев с трудом преодолел себя, оделся и вышел. Я шел быстро, он следовал за мной, не говоря ни слова. Тут я произнес несколько резких слов, пытаясь возбудить в нем по крайней мере злость, которая могла бы его подвигнуть хоть к какой-нибудь деятельности — созидательной или разрушительной, все равно. «Посмотри на себя в зеркало, — сказал я напоследок, — кому ты такой старый и лысый нужен? Скажи спасибо Наде за то, что она тебя такого любит». Почему-то именно эти слова особенно сильно задели его. Между нами все было кончено. Я сжег мосты. Забавно, но он, придя домой, стал осматривать себя в зеркало и спрашивать у Надюши, действительно ли он такой старый.

Временами мы встречались — Надюша слезно просила приехать, — но наедине не оставались. Ситуация порой получалась

анекдотическая. Аспирантка Старцева пригласила меня на свою защиту. Я не мог ей отказать и приехал. Институт, заочный педагогический, произвел на меня самое удручающее впечатление. Старцев потом хвастался перед Надей (они как-то примирились с ситуацией, которая никак не разрешалась), что Олег, мол, пришел, а он сделал вид, что не узнает. Естественно, что он получил «дурака» от Надюши.

Нельзя сказать, что я особенно переживал по поводу пренебрежения ко мне Старцева. Но во мне явно совершалась какая-то работа. Что-то мне не давало покоя. И дело было не в нем, а в Лене. Порою я думал с досадой: «На кой черт связался я со Старцевым, с его дурацкими красителями! Я полимерами должен был заниматься. Сколько бы я мог сделать интересных работ по полимерам! Зачем мне нужно было тратить столько времени и сил на обработку материала для книги? Ведь у меня есть прекрасный друг Орловский. Вот достойный человек, которому я мог бы помочь стать доктором. Зачем я стал опекать этого нудного эгоиста?» Однако загвоздка была в Лене. Она полюбила. Это было главным. Внезапно на меня обрушился удар. Позвонила наша знакомая Т. и прямо шваркнула: «Наташка Я. умерла». Натка? Милое жизнерадостное существо, мать двоих детей, погибла от удара автомобильного прицепа. Я решил, что Бог меня предостерегает и стал подумывать о том, чтобы принять христианство и как-то начать искупать свои грехи... Старцев к тому времени уже немного оттаял, мы встречались по семейным праздникам. Он пришел, видимо, к компромиссу: оставаясь в семье, много времени проводил с Леной, поздно приходил домой. Надю, наверное, такое положение устраивало. В один из дней рождения, захмелев, я сказал ему, что прекращаю вмешиваться в его личную жизнь. Старцев ответил, что я уже и так все, что мог, совершил. Тут я ему признался, что мне было знамение (не сказал какое) и что я решил принять христианство. Разговор получился ужасно глупым, но отношения наши стали наполняться теплом.

Надюша, конечно, не успокоилась и не простила, но и не прилагала больше усилий разрубить неразвязанный узел. Со временем Старцев настолько оправился, что принялся, наконец, за диссертацию. Тут был момент, когда я, пожалуй, пересолил. Пока мне не было ясно, останется ли он в семье или уйдет, я не желал помогать ему в защите. Однажды он позвонил и попросил дать литературные ссылки по тексту. Я-то знал, что без списка

литературы, вся моя писанина, которую Старцев прилежно перенес в диссертацию, не стоит и гроша в базарный день. Не помню, под каким предлогом я стал тянуть время и когда, наконец, отдал список Старцеву, он сказал, что уже обошелся без него (скорее всего, разыскал по рефератам).

Мало-помалу диссертация начала двигаться. Для своей работы он позаимствовал материал моей кандидатской и ободрал книгу, которую я написал для нас обоих. В общем, это была не совсем его диссертация. Я сознательно не раскрывал ему смысла своей работы, так как надеялся самое существенное оставить для себя. Очень часто, разжевывая Старцеву суть наших исследований, я задавался вопросом, почему я работаю с этим, далеким от меня и далеко не симпатичным мне человеком, а не с дорогими моему сердцу друзьями. Пару раз он звонил мне и консультировался по теории. Я объяснял, но не распространялся вглубь. Я считал, что кусок работы, связанный с теорией, должен быть моим заделом.

Состряпав объемистый труд, Старцев начал гастроли. В бывшей нашей альма-матер мучили его недолго. Ему пришлось, кажется, всего два раза доложиться, и после ряда замечаний было решено, что вскоре состоится предзащита. Путь был открыт. Если на первых докладах Старцева я плевался, глядя на его беспомощность и неумение подать материал, то справедливости ради надо сказать, что на защите он держался уверенно, шутил, отвечал на вопросы даже с некоторым блеском. Он вырос, вырос! Злые языки, правда, утверждали, что в его диссертации нет ни единой мысли, кроме выдранных десяти страниц из моей кандидатской... Не знаю, не уверен. Новые вещества он синтезировал сам. Я принимал участие лишь в болтовне вокруг синтезов. Он получил прекрасный результат, но не понял, почему его вещества оказались хорошими, однако победителей не судят, а он победил. Его соединения были приняты в повседневную практику заводских лабораторий.

После триумфальной защиты было несколько вечеров с хорошим коньяком и отличной закуской. Я был неременным гостем. Уже тогда у меня было ощущение, что он со мной «расплачивается», но я уже вновь его любил, как в старые времена, и прошедшее больше меня не тревожило.

Казалось бы, Надюша должна была успокоиться. В семье царил согласие. Мужики полигамны по своей природе, что тут поделаешь. На некоторые вещи следует закрывать глаза. Но есть женщины, беспокойные натуры. Им непременно нужно знать все

о своих ближних. Некоторые, вроде моей мамы, способны вытягивать информацию, как клещами. Иные распространяют свой контроль даже на такие мелочи, как содержимое карманов мужа или переписка малолетних детей. Эта страсть к мелочной опеке, патологическое любопытство, не оставляющее живым существам необходимой свободы, часто является причинами тяжелых семейных скандалов и даже разводов.

Надя однажды мастерски подловила Старцева, который якобы один уехал отдыхать на Юг. Она вычислила, что Лена тоже должна быть в отпуске, позвонила ей на работу и убедилась в этом. Потом она легко рассчитала рейс, после того как Старцев предварительно позвонил и заведомо дал время более позднего рейса. Она не поленилась поехать и встретить несчастную пару и, разумеется, поймала мужа с поличным. Потом была некрасивая семейная сцена, детям было сказано, что у папы есть другая женщина и пусть, мол, они решат, нужен ли им такой отец... Дети переживали, но предоставили решение матери. А что оставалось ей делать? Попереживала, погрустила — и привыкла. Восстановленный спустя короткое время мир оказался еще прочнее, чем прежде. Так сломанная нога иногда становится крепче в месте перелома, чем здоровая.

На последнем праздновании защиты Старцева жена шефа подначила меня, что я засиделся в кандидатах. Материала, вроде бы, хватало. Мне хотелось найти общую идею, стержень, на который я мог бы нанизать несколько десятков своих публикаций. Многое я уже придумал. Были и трудности, связанные с убожеством моего математического аппарата. Толкнулся я к нашим китам, но никто не желал напрягаться, чтобы вникнуть в суть моих затруднений. Шеф смотрел на меня, позевывая и давал бессмысленные советы. Ларчик же открывался просто. В одной из чудесных книг, которую на заре нашей работы подарил мне Старцев, я нашел простенькие дифференциальные уравнения, которые с хорошим приближением решали мою задачу. Оставалось только найти и обосновать некоторые параметры. Уже через полгода я отправил большую статью в журнал. Но все же чувствовал, что в работе не хватает перца. Набивать диссертацию распечатками с ЭВМ для увеличения числа страниц я считал неприличным. Хотелось выдать что-нибудь, отличающееся новым качеством, свежестью идеи. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Однажды Старцев подсунил мне статью Петькина. Человек шесть в ней участвовало.

Я сунул ее в карман и только спустя несколько дней прочел — раз, потом другой и понял, что у меня появился шанс с успехом дописать диссертацию.

У меня были огромные молекулы-осьминоги, которые, как щупальцами, выхватывали из раствора ионы металлов. Мне было интересно решить, можно ли придумать молекулу-осьминога, которая любит один единственный металл, а другие — не замечает. Эту статью я обдумывал целый год. Тогда я, к сожалению, слишком поздно понял, что только так и нужно писать статьи. Помните — «служенье муз не терпит суеты...»? Мне не хватало фактического материала, да и взять его было негде. Старцева я расшевелить уже не мог. Оставалась литература, справочники, отрывочные сведения. Я тогда же поразился, насколько ничтожны по масштабам и отрывочны самые толстые справочники. Из сотен тысяч важнейших соединений, используемых в науке и практике, в справочники попадают по прихоти случая единицы. Но и в этом случае информация о них ничтожна.

Наконец, статья была готова. С примерами приложения теории было не густо, но я решил застолбить тему. Поразмыслив, я понял, что предложенный мною подход к решению задач напоминает плоское зеркало, в котором можно увидеть только часть тела. Нужно было срочно соорудить трельяж. Я снова погрузился в раздумья, читал и конспектировал книги, выписывал таблицы из справочников, строил кривые и чувствовал блаженство и самоуважение. Результатом моих усилий стала полновесная «докторская» статья, которую я опубликовал без соавторов.

В это же время наша знакомая В. решила защитить диссертацию, но у нее не было в работе изюминки. Я с энтузиазмом применил свой метод и вскоре получил красивое и гармоничное объяснение, почему ее молекулы-осьминоги в кислоте любят золото и серебро и не обращают внимание на медь и кобальт. Это был маленький триумф. Я великодушно отказался от соавторства, чем поверг ее шефа в благоговейное изумление. Потом я сделал на закуску еще пару статей и, не дожидаясь выхода их из печати, сел дописывать диссертацию. Работа меня захватила. Многое я теперь схватывал масштабнее и глубже, чем раньше. Факты выстраивались в красивые непротиворечивые ряды, они смыкались в плотные шеренги. Общее понимание вопроса позволило мне пристегнуть к материалу еще несколько работ, которые я вел параллельным фарватером...

Помню, что перед моим злосчастным докладом я выступал на московском семинаре с попыткой предложить коллегам то, над чем работал несколько лет. Зал был пуст. Я и следующий за мной докладчик из глубинки глядели на жалкую группку моих друзей и знакомых и на полдюжины выживающих из ума старушек и старичков. Позволительно спросить организаторов семинара, какого дьявола вы не несете ответственности за вашу деятельность? Неужели результат в виде птички в списке мероприятий вас вполне устраивает? Если тема доклада неинтересна, не ставьте его в повестку дня. Это можно понять. Но, сопоставляя этот случай с пустыми залами во время наших теперешних защит, могу уверенно сказать, что наступил глубокий кризис науки. За последние годы возведенное поколениями здание науки стало рассыпаться буквально на глазах. Это уже не отставание. Это крах. Мы превратились за пять последних лет в банановую республику без бананов.

А что же Старцев? Разумеется, на моем провалившемся докладе он не был. Зачем ему себя компрометировать? А вдруг заставят высказаться! После защиты докторской он еще более посolidнел. Его вес перевалил за сто. Первое время он активно оппонировал, проявлял себя в новой ипостаси. За это время его большая группа совершенно развалилась. Уходил он на новое место со скандалом. Дирекция была уверена, что Старцев за восемь лет ничего не сделал, того же мнения придерживался и Алексей Иванович. Однако меньшая часть коллектива считала, возможно, вполне справедливо, что Старцев работу не разваливал, а напротив, что-то там этакое создал. Мне он говорил, что стал большим человеком в комиссии по воде. Он вообще всегда любил представлять в разных комиссиях. Наиболее важным результатом стало то, что он обрел известность. Я до сих пор восхищаюсь обширнейшим кругом его знакомств.

Уходя, он оставил после себя несколько хороших импортных приборов, которые, я надеюсь, исправно послужили удовлетворению чьего-нибудь любопытства. Как ему удавалось выбивать приборы, я не знаю. Мои попытки добиться самой малости никогда ни к чему не приводили. Вы никогда не замечали, что крупные мужчины инстинктивно вызывают чувство доверия?

На новое место Старцев прошел по конкурсу, хотя претендентов поблизости не было. Это наша специфическая, отработанная десятилетиями система конкурсов. Итак, он стал заведовать лабораторией. Честолюбие его было удовлетворено. Я вспомнил в

связи с этим один эпизод. С кафедры шефа я бежал от затравившей меня партийной сволочи в закрытое заведение, так называемый «ящик», на место начальника сектора. В нашей фирме время от времени начальство, почувствовав административный зуд, начинало осуществлять реформаторскую деятельность. На этот раз оно решили, что у нас не будет секторов, а только лаборатории. По этой причине я неожиданно стал начальником одной из лабораторий. В одну из встреч я сказал Старцеву, что получил повышение. Сам он тогда руководил группой в чине старшего научного сотрудника. Услышав эту новость, он буквально перекосялся. Никогда доселе я не видел, чтобы зависть так скрутила человека. Я даже спросил с участием, что с ним стряслось. Потребовалось несколько минут, чтобы он пришел в себя и мы могли продолжить общение.

Я спокойно переношу возвышение моих друзей и их успехи. Иногда чувствую ревность, но не зависть. Мне хочется быть не хуже, хотя бы внешне, в моих делах, чем тот же Орловский. Мне кажется, что некое равенство здесь должно быть. Старцеву же мало знать свое превосходство, ему мало жить материально лучше. Ему важно знать, что его знакомые живут хуже — вот тогда он получает максимальное удовлетворение. Думаю, что не злословлю, хотя хочется. Думаю, что прав. Вот совсем свежий пример. Я со своим сотрудником пришел к нему на кафедру. Сотрудник мой заключил выгодный договор, по которому трое человек, включая меня, могли заработать достаточную сумму в наступающем году. В наше беспокойное и тяжелое время подрабатывать необходимо, чтобы на склоне лет не отказать себе в элементарных удобствах и питании. Когда Старцев увидел сумму договора, он стал «выкручивать нам руки» и утверждать, что нам следует на руки не восемьдесят процентов, а гораздо, гораздо меньше. Что нужно купить на эти деньги то-то и то-то... И весь этот прессинг он затеял, пользуясь тем, что государственный чиновник разрешил ему открыть собственное предприятие, а у нас такого предприятия не было. Через некоторое время его вызвали к проректору, и он с радостью убежал, сказав на прощанье: «Подумайте еще раз, как нам быть с деньгами». Что нам было думать? Нам нужны были наличные на жизнь! Он отсутствовал битый час. Вернулся он уже совершенно спокойный и сказал: «Я понимаю, вам хочется заработать». — «Разумеется, — так же спокойно ответил я. — Что в этом противоестественного?» В конце концов мы решили с этим жлобом не связываться и нашли другую «крышу», как теперь говорят.

Но вернемся на несколько лет назад. Старцев уже работал на новом месте и получал большие деньги. Он очень любил ездить в командировки и почти ни с кем этой обязанностью не делился. Лаборатория жила своей жизнью. Как он ею руководил, не представляю. Я бывал у него несколько раз за прошедшие годы. Он показывал мне новые приборы, незнакомые люди суетились возле них. Я у него спрашивал с удивлением: «И ты это все постиг?» Мне казалось, что руководить работой может только тот, кто знает ее лучше подчиненных. В те времена я еще бегал со своей диссертацией и хотел, чтобы Старцев посмотрел ее, благо объект исследования ему был знаком даже лучше, чем мне. Он очень долго тянул с прочтением и вернул мой труд после долгих напоминаний. Никаких замечаний он не сделал, сказав, что все в порядке. Однако по отсутствию пометок в тексте я понял, что он не читал. Я попросил у него его собственную диссертацию, и он дал ее мне на два дня опять-таки после многих напоминаний, добавив, что она ему скоро срочно понадобится. Я обнаружил, что в моем тексте обсуждается десятка два работ со ссылками на работы Старцева. Я этих ссылок так и не получил. Он помнил как я тогда, в минуты семейного кризиса, держал его «на крючке», и теперь он мне мстил. Я вымарал текст, чтобы и следов от его работы не осталось. Заодно я вымарал текст в последнем варианте книги, которую он пять лет пристраивал, да так и не пристроил...

Прошли годы и я как-то пришел в его контору получить некоторые гроши, которые он мне выплачивал из милости, и поздравить с наступающим Новым годом. В кармане у меня была стограммовая бутылочка коньяка. Он вытащил рюмки и я наполнил их. Затем я сказал, что очень ему благодарен за все, что он для меня сделал и хочу выпить за его здоровье и благополучие. А он протянул руку и взял мою рюмку. Я только и смог добавить, что я не Сальери, а он не Моцарт, и потому ему-то опасаться нечего.

У всякого читающего эти строки возникнет вопрос, на кой черт сдался мне этот человек? Но позвольте вас спросить: среди ваших родственников, друзей или знакомых нет ли таких же, к чьим недостаткам вы притерпелись, в чью жизнь и благополучие вы вложили немало сил? Почему вы с ними не расплюетесь? Да потому, что и вы, и я не слишком сильно отличаемся от них. Помните? — Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. А вы не пользуетесь услугами людей, чей нравственный облик вас не вполне устраивает? Пользуетесь. И идете на компромиссы

ежедневно. Чтобы жить, чтобы что-то делать. Иначе ваша жизнь превратится в непрерывную борьбу за справедливость, где процесс борьбы вытеснит в конце концов ее смысл. Так уже бывало в истории. Кто хочет, чтобы житейская грязь к нему не прилипала, пусть идет жить в пустыню.

Когда я в третий раз переписал книгу, которую готовил для нас обоих, я решил, что если удастся ее опубликовать, то Старцев в ее авторах фигурировать не будет. Вот и моя маленькая месть. Правда, ныне я сам за эту книгу не дал бы и трех копеек. На научные труды в стране нет бумаги. Интерес к публикациям нулевой. Сейчас текст валяется у одного заведующего кафедрой. Я жду с некоторой надеждой, что он не захочет возиться ради соавторства. Я тогда с большим удовольствием выброшу этот хлам на помойку и поставлю на освободившееся место хорошие книги. Их много сейчас выходит. Еще есть время собирать.

БРАТИК

Я столкнулся со своей двоюродной теткой на станции «Измайловская». Через секунду в черноволосом, худощавом парне я узнал своего брата, которого не видал лет десять. Тетка давно прекратила отношения с моей мамой. Умер их общий родственник и тетка Соня очень горевала. Мама навестила ее, но ей быстро наскучила траурная атмосфера и она заговорила с теткой о тряпках, обуви и другой житейской дребедени. Тетка была оскорблена. Мама впоследствии напрочь отрицала обвинение дорогой сестрички, приговаривая, что Соня все выдумала, что у нее всегда было предостаточно ума и такта в отличие от Сони, которая вечно не умела прилично одеваться, ходила в мужских ботинках на босу ногу, да и вообще у нее не все дома.

Однажды, не помню уж по какому поводу я с родителями приехал к тете Соне. Она ютилась с сыном в жуткой комнате где-то за Крымским мостом. Бедность и отсутствие элементарного уюта глядели из всех углов. Разломанный шкаф был забит книгами. Книжки валялись везде. Тетка угощала нас чаем. На столе стояла бутылка дешевого крепленого вина. Домашняя выпечка была отвратительна. Папа накинулся на дармовую выпивку и охотно поддерживал любую ахинею, которую с апломбом несла матушка.

Она в тот вечер изображала генеральшу, явившуюся из милости к унтер-офицерской вдове. Братик тоже был занят. Он зорко следил, чтобы тетя Соня ненароком не сделала глоток вина (а папа настойчиво пытался угостить хозяйку), и с постоянством хронометра прикладывался к щечке любимой мамочки, не стесняясь нашего присутствия. На коленях у него лежал журнал «Пионер». В разделе «Шутки» (не поручусь за название раздела) он прочел: «Ума Палата Пухи пошел на базар. Навстречу ему попался прохожий.

— Угадай, что у меня в узелке, — сказал Ума Палата Пухи, — угощу яичницей.

— Яйца, — ответил прохожий.

— Правильно, — сказал Ума Палата Пухи. — А скажи сколько, и я весь десяток отдам.

— Десять, — ответил прохожий.

— Ты, я вижу, мастер отгадывать загадки, — со вздохом сказал Ума Палата Пухи, передавая прохожему узелок с яйцами...»

— Почему он отдал яйца? — спросил Братик у мамы.

— Потому, что он — Ума Палата Пух-хи! — крутя пальцем у виска воскликнула тетя Соня.

Тут до братца дошел юмор, он хмыкнул и опять приложился к щечке милой мамочки.

Контакт с братиком у меня не вышел. Я не представлял, о чем с ним говорить. Улучив момент, я брякнул, чтобы разбить лед молчания:

— У тебя ж..., как персик.

Это была часть какого-то паскудно-примитивного школьного анекдота про армян. Братик не прореагировал. Правда, как выяснилось через много лет, он сильно на меня обиделся.

И вот теперь передо мной стоял совершенно незнакомый молодой человек с большими выпуклыми глазами, длинным носом и волнистой черной шевелюрой. Оказалось, что он недавно в Москве. Работал в Орджоникидзе внештатным сотрудником республиканской газеты. Учился на заочном факультете местного пединститута. Я понять не мог, какой черт понес его в провинцию из Москвы. Потом догадался, что тетя Соня отправила его на родину своего бывшего мужа, ибо там были крепки родственные связи. Так брат сумел избежать армии и поступил учиться. В Москве десятилетку он не закончил и был определен мамочкой в ремесленное училище. С ребятами в училище он не ладил. Они его дразнили то

армяшкой, то жидом. В результате он не приучился ни пить, ни сквернословить.

В нашем доме двери не закрывались; я тут же пригласил его в ближайшие дни к себе, представил родне, и вскоре он стал у нас совершенно своим человеком.

Для меня в те годы звание внештатного корреспондента газеты звучало весьма внушительно. Я почти благоговейно произносил это словосочетание, знакомя братика со своими друзьями. При этом я представлял себе целые газетные полосы, подписанные братом. Однако вскоре я был совершенно разочарован, увидев несколько жалких газетных заметок. Было еще у него в активе интервью с Борисом Спасским, которое он так и не пристроил на тот незначительный промежуток времени, пока Спасский был чемпионом мира по шахматам. От всего газетного творчества веяло ужасной скукой.

Когда я расположен к кому-нибудь из знакомых или родных, я напрочь забываю об изъянах своих ближних. Любовь слепа. Отсутствие видимых талантов у братика я воспринимал совершенно спокойно. К тому же он меня вначале очень забавлял провинциальными замашками. Так, увидев смазливое личико, он делал вид, что завязывает шнурок на ботинке, и смотрел вслед женщине. При этом он всячески «показывал» как он смотрит ей вслед. Он обладал очень хорошей памятью и бесконечно цитировал Ильфа и Петрова. Мы оставили это еще на третьем курсе. У него, как я теперь понимаю, внутри жила неудовлетворенность, которая не давала ему покоя, и он в кругу моих друзей и родных пытался стать некой величиной, отличающейся от других то ли количеством, то ли качеством. Оказалось, что он прекрасно играет в «ладошки». Суть состоит в том, чтобы успеть хлестнуть ладонью по тыльной стороне руки партнера; партнер же должен успеть убрать руки. Этой чудесной игрой мамы и бабушки забавляли нас в самом нежном возрасте. Они гладили наши ручонки, приговаривая: «Рыбочка, ры-ыбочка...» При восклицании «Судачок!» нужно было так же убрать руки вовремя. Реакция у братика была хорошая, бил он по рукам больно, так что многие из нас, относившиеся к допотопной затее с улыбкой, вскоре вынуждены были сосредоточиться и играть в полную силу своих возможностей.

Было у него на вооружении несколько шарад, с которым он неоднократно выступал с успехом среди наших. Вот одна из них:

— Сколько пальцев на руках?

— Десять.

— А на десяти руках?

— Сто...

(Иронический взгляд)

— А может быть, пятьдесят?..

— Ну, разумеется, пятьдесят.

— Эх ты, математик!

Брат приехал из провинции совершенным оборванцем. В правом ботинке у него была прореха от нестриженного ногтя большого пальца. Братик заботливо заклеивал всякий раз неприличную дыру синей изоляционной лентой. На его счастье, у меня нашлась пара вполне приличных туфель, мне немного тесноватых. Денег у него не было. Перед отъездом из Осетии он продал собранную за несколько лет библиотеку за бесценок, чтобы добраться до Москвы. И вот теперь он собирался завоевать себе в столице место под солнцем, но пока никто не желал даже бросить взгляд на заметки внештатного корреспондента провинциальной газеты. Почти полгода он болтался без работы, проводя у нас почти все вечера. Если мы шли в гости, братик шел с нами.

Мы с ним были заядлыми картежниками. Моя первая жена не протестовала. Во время наших игр она усаживалась читать. Приход третьего партнера воспринимали, как праздник. Мы расписывали пульку, которая, как правило, заканчивалась небольшой вечеринкой. Было достаточно весело и тепло. Сейчас я вспоминаю ушедшее и думаю: «Боже, как мы были счастливы нашим глупым овечьим счастьем! И не осознавали этого.»

Наконец, братику повезло. Через знакомых чьих-то знакомых его приняли в «Гудок» на мизерную зарплату. Однако режим его жизни почти не изменился. Все с той же регулярностью он появлялся у нас, ужинал заливной треской и домашней квашеной капустой, потом закуривал, рассказывал мелочевку из жизни вышших чиновников, потом мы шли вдвоем погулять в парке, потом пили чай. Он всегда долго-долго прощался. Видно было, что ему очень не хочется домой к маме, но тут уж мы держались крепче скалы и ночевать его не оставляли.

В кругу наших друзей он со временем совершенно освоился. Подчеркнуто громко хохотал, сильно хлопал парней ладонью по колену или промеж лопаток, любил напоказ крепко прижать одну из наших подруг и при этом хитро посматривал, как реагируют мужья. Его поведение казалось всем вполне естественным. Чувство

юмора (а может быть, и жалости) пересиливало раздражение от амикошонства. Ведь мы сами недавно были нахально-веселыми студентами. Ну, задержался человек немного в своем развитии, но зато подает надежды...

Братик хорошо и очень правильно говорил и мигом замечал неудачно составленное предложение или невпопад употребленное слово. Тут он становился ядовитым, как кобра, и долго терзал свою жертву еще и демонстративно напоказ всем присутствовавшим. Наверное, братик подсознательно желал, чтобы его больше уважали и, главное, побаивались. Но его просто любили или не любили, нисколько не смущаясь его нападками.

Наконец и ему повезло. Его взяли в отдел писем центральной газеты. Первые месяцы брат ходил гордый, на вопросы о работе отвечал сдержанно, с внушительными паузами. Я в это время впал в очередной филателистический маразм, и братик приносил мне ворох гашеных советских марок, но не просто приносил, а как-то по-особенному, торжественно вручал. У него был несомненный талант акцентировать внимание на своих добрых делах, как бы мизерны они ни были. Часто он меня поучал, как нужно строить отношения с людьми. «Никогда никому не обещай что-либо сделать, — говорил он, — всегда говори, что постараться. Уходи от ответственности.»

Его раздражала наша готовность приходить на помощь, бросив все дела, и наши твердые обещания помочь, устроить, сделать. И действительно, я не припомню, чтобы он всерьез пожертвовал своим временем или финансами. Денег, правда, у него никогда не водилось. Все пожирали книги.

Однажды я пришел к нему на день рождения. Мы сидели с тетей Соней, ели отвратительный на вкус пирог с капустой и пили крошечными рюмочками водку. Мебель после переезда в новую комнату осталась той же. Письменный стол служил основанием книжной пирамиде, которая держалась только чудом. Один братик знал тайну этого сооружения. После праздничного ужина он стал выуживать из пирамиды брошюрки «Политиздата» времен правления Сталина. Это были славословия Косыгина, Хрущева и других дорвавшихся до власти в честь Великого Учителя. Заглядывать в брошюрки мы не стали, смотрели только названия. Конечно, это было забавно — ведь XX съезд состоялся восемь лет назад. Первоклашки уже не могли отличить на стендах «отца народа» от других деятелей революции.

Кроме брошюрок в пирамиде были и книжки. Обо всем на свете, без всякой системы. Учебников и книг по специальности, правда, не было. Затем братик достал папки, в которых много лет складывал газетные вырезки. Тоже на тему о том, кто что сказал и по какому поводу.

— Для чего тебе все это? — спросил я мотнув головой в сторону папок.

— Ты — дурак, — ответил он. — Это досье, которое я собираю.

— Но нельзя же собрать досье на всех-всех... — попытался понять я.

— Опять же ты дурак...

— Но почему я дурак? — спросил я.

— По определению, — ответил братик и довольно засмеялся.

О чем бы мы ни говорили, наш разговор всегда заканчивался последними двумя репликами. Иногда братик не выдерживал и говорил: «Не знаю, может быть, в химии ты что и понимаешь, но во всем остальном ты — полный дурак». Очень ему нравился анекдот, в котором жена говорит мужу: «Ты такой дурак, что даже на конкурсе дураков занял бы второе место!» — «Но почему второе?» — удивляется муж. «Да потому, что ты — дурак!»

Братик цитировал этот анекдот около года и каждый раз по отношению ко мне. Скажи я братику, что мне надоела такая форма обращения, он тут же воззвал бы к моему чувству юмора. Получилось бы, что я не понимаю шутливого обращения, что, разумеется, я вовсе не дурак, и в результате я действительно оказался бы круглым дураком, да еще и оплеванным.

В жизни всякого рода амикошонство следует пресекать в зародыше, чтобы потом не расстраиваться. Стоит пропустить мимо ушей нелестный комплимент, пусть сказанный в шутку, несколько раз — и кончено. Потом не отмоешься. Или придется потом, в конце концов, дать по морде. Тоже решение не из лучших.

Дать братику по роже я не хотел, да и слишком я был крепок по сравнению с ним. Получилось бы избиение. В общем-то я его любил и желал ему добра. Его эскапады я воспринимал с кислой улыбкой, платя дань за свою привязчивость, за свое вялое бабство. Моя жена занимала нейтральную позицию. Если я не протестовал против того, чтобы меня звали наедине и при всех дураком, то это было лично мое, а не ее дело.

Называя меня дураком, братик был в каком-то смысле прав, хотя и не подозревал этого. Мне адски повезло, когда с подачи

Шлемова я поступил в Институт кристаллографии. Мне много приходилось делать руками и я делал, но шеф требовал еще и роста научного потенциала. В соседней комнате работал выдающийся физик, которого академик В. называл интеллектуальным центром института. Этот физик был простым и доступным человеком. Он был не только «интеллектуальным центром», но и нашим старшим другом. После общения с ним я чувствовал себя сосудом, наполненным до краев новыми, необыкновенными знаниями, и хотелось лишь не растерять, не расплескать по мелочам то, что открылось каких-то пятнадцать минут назад. Именно на его примере мне стал понятен древний афоризм: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». В его интерпретации это звучало примерно так: «Любую, самую сложную теорию, если ты ее ясно понимаешь, можно объяснить на пальцах».

Однако, к глубокому сожалению, мой эмоциональный подъем редко подкреплялся успехами. Из-за ограниченности ума, плохого образования и природной лени я редко генерировал интересные идеи. Короче — я был в те времена еще изрядно глуп. Помню, как-то однажды после очередного семинара наш друг предложил мне и Павлу Сотникову проработать и доложить книгу по квантовой химии, по главам. Для него, выпускника университета, это было легкой и приятной задачей. Мы с ним оставались после работы и рассказывали друг другу содержание очередной главы перед тем, как пойти на семинар. Павел с энтузиазмом излагал теорию, а я следил только за тем, чтобы не заснуть и не свалиться со стула. Глаза мои закрывались помимо воли. Когда наступал мой черед рассказывать, я, глядя одним глазом в книгу машинально зачитывал текст, ни хрена не понимая. Павел кивал головой и, к счастью, не задавал вопросов. Потом мы шли на семинар и по очереди выступали. Квантовую химию я стал понимать только года через три и то не в полном объеме. Да, мне еще долго предстояло умнеть...

Однажды братик пропал. Уехал в Орджоникидзе сдавать очередные экзамены и исчез. Я не на шутку встревожился. Я привык к его присутствию за столом, к его нападкам. Мне было скучно. Наконец, он появился на работе, но к нам не зашел. И не звонил. Прошло еще два месяца. Я не мог понять причины охлаждения. Причина же оказалась проста. Мой братик впервые в жизни влюбился. Поведал он мне об этом в редакции газеты, куда я прошел к нему по пропуску.

Жесткое, все состоящее из острых углов армяно-еврейское лицо его похорошело, когда он рассказывал о ней. Он уже был принят в доме ее родителей. Отец скончался два года назад от шестого по счету инфаркта. В доме остались одни женщины — мать и две дочери. У старшей был неудачный брак с кубинцем, она вернулась недавно в Москву с сынишкой. Сын — вылитый негр...

— Когда же мы познакомимся с невестой? — спросил я.

— Теперь уже скоро, — ответил братик.

— Приходите...

— Придем.

Действительно, недели через две они навестили нас. Лупоглазая, в очках, с толстыми губами, смуглая Зойка говорила басом, неожиданным для своей несолидной комплекции. Училась она в том же педагогическом институте, тоже на заочном отделении. Подобно братику, училась уже много-много лет и никак не могла закончить. Ведь жить так интересно. Так много интересных книжек, не по специальности, разумеется, а художественных. Покойный отец в течение многих лет, с тех пор как стали выходить подписные издания, закупал книги прямо по спискам, ничего не пропуская. Денег он получал много.

— Кем же он работал? — спрашиваю.

— Он был заместителем начальника контрразведки.

— Ничего себе! Наверное, и квартира у вас в Москве приличная?

— У нас четырехкомнатная. На улице Чайковского. А вы приходите к нам. Посмотрите наши книжки.

Вскоре мы у них были на свадьбе. Народу в генеральскую квартиру набилось немыслимое количество. Я все думал, что бы такое надеть поскромнее, чтобы не оказаться наряднее жениха, однако братик был в новом с иголки костюме, и я пожалел, что вырядился, как бедный родственник. В зале, где сидели пожилые и солидные люди, мне показали отца жениха. Тот держался свободно, веско говорил о литературе, и можно было подумать, что он действительно чего-то стоит.

Но я знал со слов мамы, что он был никчемным студентом-медиком, ни одного дня не работал врачом, а пошел по административной лестнице, хотя и там не преуспел. Работал мелким чиновником в местном горздраве, имел еще двоих детей от второго брака. И вот он сидел и разглагольствовал с великой важностью, а армянская родня подобострастно внимала его речам. Восточные

люди очень любят устраивать представления с тостами и почитанием старших, но я считаю это сплошным лицемерием. После недолгих тренировок я и сам легко наострился нести с бокалом в руке гладкую и примитивную околесицу, которую потом легко вывернуть в очередную здравицу или прославление добродетелей, которыми тостуемый никогда не обладал и обладать не будет. Такое впечатление, что застольные речи явились прообразом метода социалистического реализма, когда объект изображается в том виде, в котором мы хотели бы его видеть.

В пространстве вокруг отца братика все было пропитано фальшью, и я отправился в другую комнату. Там сидели газетчики и было интереснее. Братик сидел молча. Он всегда умел молчать, когда чувствовал свою уязвимость. К нему, кажется, относились благожелательно. Скоро меня втянули в разговор о тестах и я подвергся тестированию. Меня спросили, какой ключ я представляю себе. Я ответил, что вижу огромный, тяжелый ключ от храма. Дальше меня понесло и я наворотил что-то о духовности. Спрашивающий посмотрел на меня и сказал, что со мною все ясно, что во мне горит жажда духовной цельности и физического совершенства, потому что мне их не хватает. Он был прав.

Нас познакомили с мамой невесты. Смуглая, маленькая, с вывернутыми губами, очень подвижная, она трещала, как пулемет, быстро переходя с русского на испанский, когда обращалась к внуку. Я узнал, что она родилась и выросла в Аргентине. Потом судьба привела ее в Испанию, где она сражалась за республику и вступила в ряды коммунистов. Там она познакомилась с «полковником Ксанти», который женился на ней и привез в СССР. У нас она вступила еще и в ВКП(б). Долгие годы работала в разведывательном управлении в испанском секторе. Запреты на сношения с иностранцами ее никогда не касались. Помню, вскоре после нашего знакомства приехал из Аргентины прямо к ней на квартиру высокий, с длинными патлами, длинноносый еврей нашего возраста. Он только-только был выпущен из тюрьмы и сразу был принят в нашу «академию», где готовились революционные кадры для всех стран мира. Он звал маму невесты Паулиной и они орали друг другу через четыре комнаты какие-то смешные истории, потому что время от времени оба раздражались громоподобным хохотом. Мы с братиком сидели болванами и бледно улыбались, так как не понимали ни слова по-испански. Впрочем, тот еврей прекрасно говорил по-русски с легким акцентом. Он уехал

из Аргентины не спеша. Побродил по Европе. Видно, наши неплохо его профинансировали. Был он и в Стокгольме. Рассказывал, как зашел в самый престижный супермаркет, взял с вешалки роскошные вельветовые джинсы, переоделся в кабинке и ушел, не заплатив, оставив хозяевам на память свои протертые революционные портки. Вполне в духе коммунистов, не так ли?

В комнате, где нас тестировали, был накрыт огромный стол. По стенам стояло несколько застекленных шкафов, набитых фарфоровыми уродцами — отец привез с войны немало трофеев. Вообще дух отца витал в комнатах. Вот его фотография с делегатами XX съезда, а вот — его золотое оружие, а вот боевая, тяжелая, как топор, сабля. А вот он снят с Хемингуэем. И к тому же он был героем Советского Союза. Получил за то, что выследил Пеньковского. Да-а, семейство решилось на мезальянс. Братик безнадежно проигрывал по сравнению с мужчиной, который здесь жил до него.

Зойка оказалась отличной компанейской девчонкой. К жизни на гроши она совершенно не была приспособлена. И хотя брата вскоре перевели с повышением на должность «свежей головы» (он должен был вычитывать опечатки и двусмысленности), все равно это были жалкие копейки, а пробиться со своими материалами он не мог. Не было у него никаких материалов.

Время от времени у братика возникали совершенно нелепые идеи. Однажды он вполне серьезно обсуждал со мной вариант, предложенный ему коллегой, поставить пьесу по апрельским тезисам Ленина. Он нес безнравственную ахинею, а я согласно кивал головой, потому что жалел его. В долгие летние месяцы, когда моя жена уезжала в экспедицию, братик приходил с Зойкой. Мы брались за карты, а Зойка рисовала пастелью. Я тоже баловался рисованием, и у меня было много бумаги и разных красок. Временами она не выдерживала. Она не ругала нас, а смотрела долгим взглядом, говорившим: «Ну, сколько можно развлекаться картами. Я устала сидеть.» Тогда братик вставал, закуривал очередную сигарету из кубинского табака и они уходили.

Какие бы прочные часы вы не купили, в конце концов пружина лопнет. Какие бы прочные узы вас не связывали, если что-то в отношениях не устраивает, в конце концов это выскочит, как чертик из табакерки. В отношении брата ко мне меня многое не устраивало. И то, что он произносил слово «кандидат» с каким-то презрительным ожесточением, и то, что он мог приехать в

отвратительном настроении, а я вроде бы должен был его развлекать, водить в парк, кормить, утешать, а он огрызался. Я начал уставать от него. Однажды он заикнулся, что хотел бы купить то ли гарнитур, то ли книжные полки, да вот, мол, денег нет. Я тут же выдал ему триста рублей под обещание вернуть через три месяца. Куда он дел деньги, я не знаю, ибо ничего не купил и спустя полтора года, сокрушенно вздыхая, вернул мне двести девяносто. Я не стал возражать, так как давно уже распрощался с надеждой получить долг. А спустя неделю братик резко отозвался о толстосумах, сидящих у них в газете, которые никогда не одолжат ни копейки, не то что остальная нищая братия. «Ну да, — подумал я, — если ты им возвращаешь, как мне, то я их понимаю».

Изредка он давал волю своим насмешкам, цитируя ляпсусы, выуженные им и его коллегами из газет: «Под Новосибирском пустили птицефабрику. Заметка в местной газете: «Первый самолет с яйцами!» Автора на другой день стали звать генеральным конструктором.» Или заметка в мартовском «Труде»: «В Крыму уже сажают...»

Братик всегда тщательно выбирал паузу до и после своих шуток. Чувствовалось, что он дорожит находками. Недостаток внимания и понимания сурово карался. В основном доставалось мне. Я получал очередного «дурака», подтвердив лишний раз, что не в силах оценить юмор. Неприятие распространялось и на мои литературные вкусы. Когда я однажды прочел «Последний поклон» В.Астафьева и признался, что совершенно покорен его талантом, братик со злостью меня высек: «Что ты всякую дребедень читаешь!» — «Да ты сам посмотри, а потом уж суди,» — ответил я.

— «И не подумаю.» — «Ну хорошо, а кого же мне можно читать из современных? — спросил я с деланным смирением. — Нагибина можно?»

— «Нагибина читай», — ответил он и покривился.

Его самоощущение всезнайки происходило, скорее всего, от массы прекрасных книг, которыми он обладал. Он доставал их через девчонок-продащиц, подбирал крохи за высоким редакционным начальством, которое получало дефицитные книги по спецраспределению. Он прилежно изучал «Книжное обозрение» и ловил выходящие новинки. Он никогда не говорил, что прочел книгу и составил свое мнение. Нет. Он торжественно говорил: «У меня она есть!» Я изнывал от желания приобрести Булгакова, Ахматову, Шварца, но брат лишь советовал мне: «Иди, купи с рук

у спекулянтов». Это была его страсть, его преимущество над остальными. Он не продавал, не спекулировал, не менял. Он тратил все деньги на приобретение престижных книг и царствовал над ними, как скупой рыцарь.

Между тем он становился скупчен окружавшей его семье покойного генерала. Пятилетний сынишка Зойкиной сестры, подслушав однажды разговор взрослых о братике, выдал информацию заключенную в два слова: «Еврей и книги. Книги и еврей». Семья, уезжая на курорт, запирала на ключ все комнаты. Братик жил в своей, дальней. Да, невысоко он котировался на фоне огромной тени «полковника Ксанти».

Книг действительно скопилось чертова пропасть. Братик сумел договориться на работе, и ему напилили по дешевке длиннющих досок из древесностружечных плит. Эти доски были тяжелыми, как чугун и обладали одним чудесным свойством, присущим всем изделиям из ДСП — шуруп в них можно было ввинтить только один раз в жизни. А вообще-то лучше ничего к ним не прибавлять и не привинчивать — держаться не будет.

Я, как родственник, естественно, прибыл помогать брату тащить доски наверх, на шестой этаж. Выяснилось, что они не влезали в лифт. Сперва мы вместе взяли аж две доски и потащили. После третьего этажа выяснилось, что лучше было бы взять одну. На шестой этаж мы влезли совершенно измученными. Ровно через минуту показался шофер, который приволок на себе две доски в одиночку. Мы снова спустились, взяли вдвоем одну доску и снова с трудом доставили наверх. Братик закурил и, когда шофер показался в дверях с очередной парой досок на спине, сказал ему: «Слушай, старик, мне нужно срочно на работу. Ты тут потихоньку затащи доски, а я тебе заплачу». «Старик» кивнул головой в знак согласия, и мы с чистым сердцем отправились по своим делам. Вечером Зойка позвонила нам и сказала, что на шофера после работы (а он перетаскал сорок досок) было жалко смотреть, но она накормила его и дала двадцать пять рублей. Эта сумма потрясла беднягу. Он ушел, рассыпаясь в благодарностях.

К этому моменту мое отношение к брату окончательно определилось. Я почувствовал, что форма нашего общения меня больше не устраивает. Я не желал, чтобы меня называли дураком ни в шутку, ни всерьез. И вот я сочинил и отправил ему по почте длинное-длинное письмо. Привожу его целиком.

Дорогой Брат

Я чувствую себя несколько неловко из-за того, что вынужден перейти к письменному способу общения с тобой. Мне свойственно иногда выносить торопливые суждения в разговоре, но когда я пишу, мне удается более глубоко и всесторонне обдумать интересующую меня ситуацию.

Позволю себе на несколько минут завладеть твоим вниманием и без торопливости высказать то, что я думаю о нас с тобой и наших отношениях. Трудно не согласиться с тем, что человеческие отношения динамичны по своей природе: они меняются соответственно с изменением характера, привычек, внешних факторов. Если же стиль этих отношений искусственно консервируется в течение длительного времени, то есть они перестают соответствовать личным особенностям, то в результате назревает конфликт. Его разрешение либо ведет к разрыву, либо к созданию новых, качественно новых отношений. Впрочем, очень часто люди идут на компромисс и поддерживают видимость хороших отношений сколь угодно долго, причем столь же часто они бывают вознаграждены за терпимость, ибо ситуация может резко улучшить действительное содержание отношений. Весь вопрос в том, до какого предела можно идти на компромисс.

В семьях часто можно наблюдать такую ситуацию: родители не успевают перестроиться, понять, что дети взрослеют, меняются, выходят из-под контроля. Возникает отчуждение, которое потом очень трудно преодолеть. Среди друзей конфликты должны возникать, по-видимому, значительно реже, поскольку контакты между друзьями реже и слабее. Однако разрешение таких конфликтов чаще приводит к разрыву отношений, чем в семье.

Теперь о тебе. Все мы в той или иной мере закомплексованы. Наши комплексы неполноценности приносят нам массу переживаний и неудобств. Однако твой комплекс приносит неудобства другим — он делает тебя чрезвычайно агрессивным. Сознание (может быть, и ложное), что ты, который значительно умнее других, не обладаешь теми благами и преимуществами, которыми обладают живущие рядом, менее развитые интеллектуально, портит тебе жизнь. Некоторые личные качества, которые я не хочу квалифицировать как хорошие или плохие, позволяют тебе завышено оценивать собственные достоинства.

В болтовне, которой мы не придаем большого значения, в пятиминутных спорах мы находим пищу для последующих глубоких

размышлений наедине и не ищем побед над своими друзьями. Могу напомнить безудержное хвастовство победами над сотрудниками твоей газеты. Не думаю, что они принимают их всерьез (так же, как и мы). В кругу моих друзей не принято топтать ногами заблуждающихся, ибо, во-первых, каждый может какое-то время заблуждаться, и, во-вторых, каждый разумный человек сознает шаткость «доказанных» истин, а в споре на уровне болтовни за бокалом вина нужный довод «за» или «против» может и не прийти во-время.

Теперь обо мне. Считаю ли я себя умным (не в химии, а вообще! Я не признаю умных ремесленников)? Да, я считаю себя достаточно умным и образованным, чтобы вести творческую работу и участвовать в дискуссиях на отвлеченные, но интересные меня темы. Я очень люблю дискуссии и не боюсь показать свою неосведомленность или глупость, так как в дальнейшем всегда надеюсь додумать и решить интересующий меня вопрос. Это стиль научной работы, которой я занимаюсь пятнадцать лет и меня он еще ни разу не подвел. Я — слабый человек и могу некоторое время идти за мнением человека с более сильным характером, соглашаться с ним вопреки собственной позиции и терпеть от этого большие неудобства. Из-за своей слабости я плохо держусь на людях и в общем мне противопоказан азарт. Я не умею скрывать своих чувств. Всем сразу видно, что я умею и чего не умею. Однако, не все знают, что я могу учиться и схватывать все ценное и рациональное. Я — человек с неустойчивой психикой, мне случается иногда невольно обидеть человека (о чем я впоследствии глубоко сожалею), но я почти никогда не делал этого специально.

Я ненавижу хамство и фамильярность, и в то же время, как слабый человек вынужден их часто переносить.

К сожалению, твое поведение в отношении меня, особенно в последнее время, я вынужден квалифицировать как фамильярно-хамское. Отчетливо понимая подоплеку твоих стремлений сделать мне больно, я не собираюсь в дальнейшем играть унижающую меня роль. Я добр, но не настолько.

Если ты найдешь в себе силы и мужество открыто признать свою полную неправоту (в чем я, зная тебя, сильно сомневаюсь) я согласен продолжить дружеские отношения на основе полного взаимного уважения.

Перед тем, как отослать письмо, я показал его Левке.

— Хорошее, умное письмо, — сказал Левка, — Но ведь твой брат, извини, глуп. Он надуется, и мы потеряем партнера в преферанс.

— Лучше с умным потерять, чем с глупым найти, — парировал я.

— Делай, как знаешь...

Я послал письмо, но ни ответа, ни звонка не получил. Братик затаился. Недели через две мы собрались у Левки на очередную пульку. Братик сидел, как ни в чем не бывало. Началась игра. В перерыве между сдачами я спросил:

— Получил мое письмо?

— Получил, — ответил братик.

Комментариев не последовало. Я уже начал жалеть, что отстегал его. С той поры он мне ни разу не позвонил. Дела его шли не ахти как. Семья жены третировала его за никчемность. Тетя Соня причитала, что ее бедный сын ходит в уцененном пальто уже восьмой год (когда-то мы купили по дешевке одинаковые пальто, и я давно увез свое на дачу, а тетя Соня утеплита братику его одежду на зиму). Вообще от эйфории, что сын вошел в такую знаменитую семью, ничего не осталось. Тетя Соня считала невестку дрянью и бессердечной бездельницей.

Еще задолго до нашего разрыва мы были у них в гостях. Зная, что братика ужином не кормят, мы прихватили на всякий случай вареной колбасы и бутылку вина. Я тогда же спросил брата, как же это можно, чтобы мужик пришел с работы и ему не дали поесть.

— Я это скоро поломаю, — ответил братик, но уверенности в его голосе не было. После моего письма мы встречались изредка у Левки, но, хотя я делал попытки вовлечь его в объяснения по поводу сложившейся ситуации, он, как мне кажется, все сильнее переживал нанесенное ему «оскорбление». Он, по-видимому, так и не понял, что я ставлю ему в вину. Единственное, что проскользнуло, — недоумение по поводу того, что вот, дескать, два дня до этого я помогал ему таскать доски, и ничто не предвещало моего ультиматума, — и вдруг это письмо!

Зойка продолжала нам звонить и даже была пару раз. От нее и от Левки я узнал, что они подали на развод. Неделью спустя после развода Зойка позвонила мне и с горечью сказала, что братик ограбил ее. Увез, пользуясь ее отсутствием, все свои книжки, да еще прихватил несколько дефицитных подписных изданий.

Мама, узнав о моем разрыве с братиком, встревожилась.

— Напрасно ты с ним поссорился, — сказала она. — Он может тебе навредить.

— Каким образом?

— Ну, у него связи в газете...

— Бредовая идея, — ответил я, но мне почему-то тоже пришло в голову, что братик жил долгие годы с нами столь тесно, что знал все наши маленькие тайны и при желании и умении мог, пожалуй, придумать какую-нибудь гадость.

У мамы сложилось мнение о нем как о человеке опасном из-за его скрытной манеры держаться и склонности к жестоким насмешкам. Как видите, в отношении моей матери он достиг желаемого. Ей, кстати, тоже от него изредка доставалось. Мама любила «культурное» общество и «культурные» беседы. Однажды у нее на даче, куда мы приехали с братиком, зашел разговор о только что вышедшей тогда повести Трифонова «Дом на Набережной». Мама неосторожно похвасталась, что уже прочитала ее и тут же попала в капкан.

— Что это за дом, тетя? — спросил он с ехидством.

— Дом как дом, — ответила мама, не представляя о каком доме идет речь.

— Нет, ну все-таки, что это за дом? — продолжал въедаться братик.

Я не люблю мучительства и потому встал между ним и мамой, подсказав ей: «Да ты его знаешь — огромный серый дом на набережной Москвы-реки». Мама тотчас повторила мои слова.

— А где он находится? — не отставал братик.

Мама не знала. Ну, что бы ей не признаться честно: «Не знаю». Ей бы спросить у него невинно так: «А в чем там соль? Что хотел сказать автор?» — Тут бы ему и конец пришел. Не привык он отвечать на серьезные вопросы.

В тот самый день рождения, о котором я рассказывал, случайно зашел разговор с тетей Соней о первой выставке МОСХа. Оказалось, что у тети свои, интересные суждения о живописи. Она очень увлеченно и убедительно говорила о работах Фалька.

— Ты помнишь автопортрет в красной феске? — спросила она. — Как нелепо выглядит на нем сшитая из материи, что идет на флаги, шапочка. Это же символ!

Сынок слушал с неудовольствием, хотя и без комментариев, и когда она вышла на кухню, сухо сказал, что мамочку заносит. Если

ее и заносило, то это было, по крайней мере, любопытно. Мысль была! Братик же, как правило, оперировал банальностями.

С годами я стал тяготеть к восстановлению связей с остатками родни, проживающей в Москве. Как потом выяснилось, делать этого совершенно не следовало, потому что долгие годы, раздлавшие нас, не позволяли мне войти с ними в душевный контакт. Сохраняя видимость прекрасных отношений, они не испытывали потребности в общении со мной, и потому как только я переставал звонить, приезжать, приглашать, наш хлипкий союз тут же растворялся в мелочах ежедневной суеты.

Однажды у кого-то из родни я увидел братика с новой женой. Увидел и поразился меткости наблюдения, что мужчина выбирает всю жизнь одну и ту же женщину. Это снова была Зойка, но еще более лупоглазая и уродливая. Только кожа у нее была не смуглая, а неприятного бледно-белесого оттенка. Братика с женой нам подали как гвоздь программы. Они только-только вернулись из Праги, и хозяин ждал, по-видимому, потрясающе-интересных подробностей поездки. Но, как я и предвидел, это оказался пирожок с ничем. Было скучно и нудно. Зато когда, соблюдая традицию, после ужина мы стали ругать советскую власть, наше пищеварение было испорчено резкими выпадами новой жены против злопыхателей, которым ничем не угодишь. Солженицын, оказывается, получал огромные деньги, чтобы чернить нашу распрекрасную жизнь. И в том же духе, до полнейшего маразма... Мы сидели, временами переводя глаза с бесновавшейся ведьмы на братика, но он делал вид, что всё в порядке. Я не мог понять, как его не тошнило. Я бы и пяти минут не выдержал под одной крышей с подобной «мымрой». Значит, она его устраивала? Он даже сделал с ней первенца. Это в пятьдесят-то лет!

Мало-помалу мы вновь стали встречаться за картами на моей квартире. После недолгой пухляки мы устраивали вечеринку с песнями. Яшу всегда поражало знание текста моим братом, а орали мы, в основном, песни сталинского времени. Не потому, что они очень хороши, а, скорее, потому, что их легко и приятно орать хором. На то и рассчитаны.

На одной из таких встреч братик после третьей рюмки почувствовался и посетовал, что вот, мол у него сын родился, а никто из сидящих за столом не поздравил его...

Какие могут быть претензии, дорогой братик? Ты мне не звонил, не приглашал. Я узнал, что ты стал отцом через год от Левки.

Твоя жена произвела на меня жуткое впечатление, и я не уверен, что пришел бы к тебе в гости, даже получив приглашение.

Однажды Левка, который терпеть не может гостей, так как ненавидит уборку с мытьем посуды, все же раскололся и устроил празднование дня рождения. Мы встретились с братиком, который с таинственным видом тащил тяжелый саквояж. Придя к Левке, он выдержал паузу и торжественно извлек одну за другой массу книг. Как выяснилось позже, он отдавал Левке карточные долги книгами. Пока я с жадностью рассматривал принесенное добро, он царским жестом извлек книжицу в жестком блестящем переплете. «Подвойский» — значилось на обложке. Было объявлено, что материалы подобраны дорогим братом. Фыркнув, я шлепнул книжицу на принесенную кучу макулатуры. Может быть, я должен был похвалить его? Не знаю. Между тем отношения наши вроде бы стали теплеть. Однажды во время отсутствия моей жены я устроил мальчишник, пригласив заодно и братика. Еды и выпивки хватало. Было весело и свободно без дорогих подруг. Братик до того раскис, что сказал многозначительный тост за возвращение к прежним отношениям. Понимай, мол, так, что обиды более на тебя не держу.

Спустя год ему крупно повезло. Он обменял две квартиры на одну большую в самом центре Москвы. По этому поводу намечалось новоселье. Я уже был, можно сказать, загодя приглашен, еще до ремонта. Но шли недели, месяцы, а обещанного праздника все не было. Ну, что ж — нет и не надо. Потом как-то позвонил Левка. Братик приглашал его в гости.

— Олега позвать? — спросил Левка.

— Нет. Олега не надо, — ответил Братик.

— Почему?

— Лена на него сердита. Он, когда звонит, никогда с ней не здоровается.

Подумать только! Какая низкая ложь! Эта злобная дура-стукачиха из АПН ничего лучше выдумать не смогла! А братик хорош, нечего сказать, хорош...

Левка говорил, что однажды встретился с ним случайно в кинотеатре на дневном сеансе — тот сбежал отдохнуть от семьи. Занялся бизнесом в ассоциации «Петр Великий». Хвастал, что процветает. Тут Левка не удержался и сказал ему, что принят в союз писателей, а я защитил докторскую.

СНОВА ОЛЕГ

Тот маленький мальчик, что выбегал во двор с криком «Мы богатые!», и тот школьник, что ревел, получив тройку, и тот студент, что изнывал на зачете по химии, и многие, многие другие — инженер, аспирант, профессор, — все они выстроились за мной в цепочку, которую я веду, веду, веду по жизни... Все кругом меняется — то быстрее, то медленнее, меняюсь внешне и я.

В самом конце восьмидесятых не по моей вине, как я считаю, лаборатория опустела. Кого-то сменили тематикой, кто-то погнался за деньгами. Я остался почти один. Ничего не делал целыми днями. Тех денег, что платил мне институт, мне хватало на еду. Я приходил в свою комнату-лабораторию, в которой совсем недавно кипела жизнь, не торопясь, ставил воду на плитку, заваривал чай, читал газеты, ждал времени обеда. Обедал. Мой обед был подстать моему тогдашнему состоянию — я варил себе суп из пакетика. Затем я спускался на третий этаж и играл в настольный теннис. Потел. Поднимался к себе, сидел — остывал. Принимал таблетки от повышенного давления. Потом слушал радио, пил чай. Брал книги, листал. Читать не хотелось. Хотелось спать. Сидя спать не мог — деревенели руки, болел позвоночник. Лечь бы — да нельзя: в комнате сидел мой единственный сотрудник, я его стеснялся. Когда он уезжал в командировки, я где-нибудь часа в три-четыре после полудня раскладывал стулья крестом и ложился, накрывшись курткой. Полчаса дремоты освежали меня. Я вставал, допивал остаток чая и размышлял.

Что же изменилось с тех пор? Да ничего, не считая, что я сменил работу. Еду домой в тесном вагоне, дышу испарениями тел, боюсь заразиться гриппом. С каждым разом мне все труднее выходить из простуды. Инфекция очень быстро проникает в легкие, и мне приходится дней по десять пить антибиотики. К врачам не обращаюсь. В последние годы стало резко ухудшаться зрение. Страдаю спазмами головы и глаз. Что меня ждет в ближайшем будущем? Слепота? Маразм?

Социальный эксперимент, слава Богу, закончен. Но последствия его, думаю, будут еще ощутимы многие десятилетия. Издох ли окончательно ненавистный монстр? Извращенная идея равенства и деления общего пирога «по справедливости» жила, живет и будет жить всегда. Потому что всегда будут рождаться и жить люди,

которые не хотят или не умеют работать, но не осознают этого и требуют своей доли. Будут всегда и негодяи, сознательно идущие на насилие ради легкой наживы. Благотельная для всего человечества катастрофа обернулась духовной пустотой нашей мыслящей прослойки. То, с чем боролись, что ненавидели, лежит теперь в руинах. Сколько совсем недавно было апологетики и проклятий! Сколько было аргументов, что модель социализма неверна. Начиная с Достоевского и Мечникова, только и твердили об этом. И вот они оказались правы. И мы, думающие одинаково с ними, тоже оказались правы. И вот, спорить более не о чем. Пора подсчитывать убытки. Ох, как дорого обошелся эксперимент! Сколько предстоит работы по расчистке и дезинфекции зараженной территории и людей! Только бы не рвануло где-либо по чьей бы то ни было халатности или злему умыслу... Нам еще долго не дадут свободно дышать и работать. Много, очень много еще придется претерпеть. Как бы безвластие не превратило нашу страну в зону Смуты. Было уже Смутное время в нашей истории. Страшно...

Я обращаюсь к своим запискам и вижу, что моя личная война с режимом окончена. Мне лично достаточно, что власть перестала тыкать в нос зловонную идеологию. Но что делать дальше? Жить или доживать? А что, интересно, делают сейчас бывшие ярые защитники режима? Помните — от тяжести бесчисленных томов прогибались раньше полки в библиотеках и магазинах. Эту макулатуру словно волна слизнула. На какие средства они теперь живут? Разлюбезные идеологи коммунизма, за что вам нынче платят денежки? Если судить по моему братику, то большинство подвизается в различных фондах и коммерческих компаниях, выкачивающих обманном путем деньги из населения.

Что за странная наша судьба! Мы прожили семьдесят пять лет в призрачной атмосфере идей и идеалов, и гордились этим. Мир окружающих вещей был ужасен, но мы привыкли не замечать его. Мы старались не замечать грязи, убожества, цинизма власти, нашего полного бесправия. Однажды брат моей второй жены приехал из США — он там родился и вырос. Собралась родня, и одна из наших стала на дурном английском языке объяснять, что вот, она проработала всю жизнь и осталась нищей. Я же с некоторой гордостью сказал: «Мы работаем не за деньги.» И это было правдой. Нас учили презирать деньги, быт.

Так что же нам делать теперь? — типичный русский вопрос. Жить — это значит активно участвовать в демократизации

общества, чувствовать ответственность за будущее... Видите, какие штампы из прошлого я притащил в сегодняшний день? Ну, давайте добавим немного юмора, вспомним Вольтера. Жить — это значит просто жить. Что мы делали в основном раньше? Ходили на работу, встречались с друзьями, растили детей. Писали статьи, ставили эксперименты. Продолжайте, ребята, в том же духе. При чем тут высокие материи? Те, кто наверху, надувают щеки и делают вид, что знают, как вытащить нас всех из ямы. Ничего они не знают, уверяю вас. Все это — шаманство. Больше степеней свободы для тех, кто честно трудится, друзья мои. Нас выведет наверх, к свету сама природа вещей, если это вообще суждено.

С наукой я почти закончил. Еще несколько статей и все. Надоело. Сажу на берегу реки Времени и жду случая. Пора уходить на более оплачиваемую работу. А дальше — ничего. Что еще остается? Покаяться? Покаяться глубоко, до самого дна. Попытаться очиститься? Но ведь это касается только меня. А что будут в это время делать мои ближние?

А вообще-то, стоит ли копаться в душе, взвешивая добрые и злые дела свои? Ведь это в самом скором будущем сделают те в присутствии Того, в чьем существовании я уже очень давно уверен. А потомки, друзья, знакомые тоже подведут черту под суммой, дадут оценку, кто заниженную, кто завышенную, а потом забудут. Им тоже вскоре придется собираться в дорогу.

...Интересно, какой самый первый, самый важный вопрос вы зададите, случись вам встретить пришельцев из космоса? Ответ не прост, тем более, что важно еще и правильно сформулировать.

Пока вы раздумываете, я, с вашего позволения, тихонечко притворю за собой дверь, так как не хочу шумного прощания. Разумеется, я не все сказал, что хотел, не все получилось гладко в моем повествовании, но если я вызвал у вас сочувствие, то буду считать, что в значительной мере достиг своей цели.

Вновь и вновь в моем мозгу всплывают слова Верховенского-старшего, сказанные им перед смертью: «Петруша, я всю жизнь лгал. Даже когда говорил правду...» Как это глубоко и верно замечено Достоевским! Правда должна быть выстраданной. Тогда она становится нашей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПИСЬМА БЕЖЕНЦА

Дорогие друзья!

Итак, мы вот уже полтора месяца на новой земле. Все течет под уклон и впадает в Лету. Все наши маленькие и большие печали. Говорят, что горчит хлеб эмиграции. Здесь он скорее слишком, приторно сладок.

После того, как «группа товарищей» проводила нас до таможни, мы все перецеловались и помахали ручками, я остался наедине с женой Линой и четырьмя неподъемными сумками. Я храбро схватил их и потащил на какой-то контроль, потом еще раз схватил и потащил в очередь на сдачу. Потом выяснилось, что зря я так торопился, поскольку лайнер из США опаздывает на 6 часов. Я кинул сумки на весы и, получив спазм в сердце и талон на 24 доллара в Айриш-Бар, поплелся с женой перекусить. К счастью, таблетки у меня всегда с собой, но все же два часа с лишним я боролся со своим сердцем, пока смог немного двигаться и созерцать окружающий меня мир вещей и денег. Внутренняя часть Шереметьева-2 вся нацелена на купи-меня-купи-поскорее. Все сверкает. Изобилие. Сидели мы, сидели, два раза в Айриш-Бар наведывались, а всё 24 доллара никак не можем потратить. Наконец, Лина придумала купить на оставшиеся доллары бутылку Мартини и две бутылки пива. Сунули их в ручную кладь, отчего она сильно потяжелела. Мы сидим, сидим, а на посадку нас не зовут! Лина отправилась гулять. Нашла время. Тут идет мимо меня служащий и спрашивает, не собираюсь ли я в Нью-Йорк. «*Of course*», — отвечаю. — «Объявлена посадка» — Я хватаю коляску с ручной кладью и бегу искать Лину. С трудом нашел, и мы побежали к выходу. Никаких трапов нет, прямо из залаходишь в самолет. С двумя кошмарно тяжелыми сумками ручной клади на последнем издыхании я влез на свое место и расслабился. Взлетели.

Тут ко мне обращается мелкий и тощий мужичонка с вопросом: «Как дела, как здоровье?» Я, конечно, вежливо так отвечаю, что все О'К. А он меня по фамилии имени отчеству... (в ранние времена — все! попался кролик!). Что за черт! Откуда он меня

знает? Даже лицо его показалось мне знакомым. Наконец, он кончил темнить, и выяснилось, что он тот самый врач, которого послали сопровождать меня в полете. Я ведь лечу санитарным рейсом! Где вы все были, благодетели, когда я багаж туды-сюды кидал?!

Летим. Кормят на убой. Каждые два часа. Принесли к обеду вино в маленьких бутылках (по 250 мл). Я взял красное, а Лина — белое. Сидим, едим, толстеем. Места от этого становится все меньше. А вино стоит в дурацких полиэтиленовых стаканах. То ли самолет трянуло, то ли неловкое движение — все белое вино пролилось Лине в трусы (индейка в белом вине по-французски), так что до конца полета у нее был кайф.

Наконец, приземлились. В Нью-Йорке — темная ночь. В Бостоне дожди и аэропорт не принимает. По этому случаю — извольте получить багаж! Я стою и тоскую — опять кидать тяжелые сумки. Но ничего, ничего. Разыскал тележки и погрузился. Одну тележку везу я, другую Лина с доктором, который должен охранять мое здоровье. Доктор присосался к моей жене, всякие шуры-муры, а она — хи-хи-хи! Каково это мне — больному, слушать!... В связи с нелетной погодой везут в гостиницу переночевать. Ждем автобуса. Приехал, наконец. Набралась толпа послепенсионного возраста — сплошной антиквариат! Сил у них кидать багаж нету, а сумок до хрена... Вот тут я поработал на славу. Доктор залез в автобус принимать груз, а я кидал ему снизу. Потом целый час ехали в темноте и сырости до отеля. Доехали. «Теперь быстро-быстро сгружайте багаж в подвал, — говорит шофер, — а мне надо быстро-быстро в аэропорт за оставшимися пассажирами» Делать нечего. Я, как говорится, в первых рядах.

Входим в маленький, паршивенький отель и тут выясняется, что нас по принципу *едете в один город, — значит, родственники* поселяют в один номер с семьей Алхазовых (отец, мать и сын 13 лет). На дворе два часа ночи. Принесли нам в утешение пять огромных порций курицы с рисом. Какое там есть — поспать бы. Подъем без четверти пять. Быстро-быстро в аэропорт. Мы бодро вскочили (что значит молодость и здоровье!) и кинулись в подвал. Как вы уже догадались — грузить проклятые сумки в автобус. А вы что думали — швейцар нам вынес к такси? Когда я с Алхазовым заканчивал погрузку, появился зевающий доктор и спросил меня, как я себя чувствую, и не нужно ли мне чего-нибудь этакого... Я к этому времени так окреп от непрерывного перетаскивания, что прямо-таки ощущал потребность в физической работе.

Доктор тем временем давал мне ценные наставления, как бы мне побыстрее сделать операцию на сердце и начать новую (в небесах или под землей, он не сказал) жизнь.

И вот мы снова в NY. Опять нет самолетов на Бостон. Доктор смылся обратно в Москву, заработав на мне 500 долларов. Ходим по аэровокзалу в сопровождении неимоверно жирного парня из Одессы, который есть преуспевающий *self-made-man* и потому учит нас жить и правильно питаться. И вдруг нам повезло — есть два места в Бостон! Алхазовы остаются, а мы летим. Я хватаю ручную кладь (откуда только силы берутся!) и мы бежим по аэродрому на посадку в маленький самолетик. Ручную кладь с Лининой коллекцией фарфоровых чашек у меня отобрали и поставили в багажное отделение. После посадки проклятый черный кинул сумки на асфальт, после чего от чашек мало что осталось. Стоило всю дорогу корячиться?..

В Бостоне нас быстро разыскала Люба и мы без багажа (который потом сутки выуживали из Нью-Йорка) отправились на свою квартирку. И вот у нас двухкомнатная квартира в центре Линна (какое совпадение с именем моей супруги!), с очень широкой постелью (Любин подарок). Шестой этаж, последний. Виден океан. Все, что нужно для проживания, уже есть. Осталось только жить. Мебель вся подарена. Леон, наш милый кузен, подарил нам в связи с приездом телевизор с огромным экраном (42x57 см) и видеоманитофон. Смотрим и ничего не понимаем. То же самое с разговорной речью. Сказать еще туда-сюда, но понять — как об стенку горох. Русский канал не смотрю принципиально. Объялся нашими новостями еще в Москве. Купили факс для переговоров с сыном и родней. Свободных квартир нет, Люба нам случайно сняла за 700 долларов! Сейчас голова болит, где поселить приезжающего сына с семьей. Дефицит жилья — ситуация для Америки нетипичная, но у нас с Линой всегда было свое маленькое «еврейское счастье». Это не случайность, а Судьба. Карма.

Пока мы в жутком дефиците. Помощь правительства штата Массачусеттс (зачем столько двойных букв, не понимаю, если уж быть последовательным, то надо писать Массаччуссеттс) составляет 486 долларов в месяц. Получаем талоны на питание, которых хватает с избытком, но расходы в деньгах намного выше наших доходов. Думаю, что пока нам дадут пенсию и дешевое жилье, мы здорово растратимся. О работе пока нет и речи. Бегаю по врачам и собираю личное дело, на основании которого могут

дать льготы. От занятий языком пока никакого толку. Без языка никакой квалифицированной работы не будет. Слова в голове не держатся. Возраст, возраст! У Лины те же проблемы. Уже выяснилось, что в России учат не тем словам, не тем выражениям, а учат какому-то несуществующему мертвому языку, который только мешает пониманию, равно как и правила грамматики. На самом деле нужно только слушать и говорить, говорить и слушать. Всякая писанина потом.

Кажется, я изложил подробно, что было в самом, самом начале.

Итак, мы оказались на берегу Атлантического океана. Здесь он очень смирный, так как наш город Линн выходит в бухту. Береговая линия сильно изрезана, что мешает океану обрушиться на берег. Приливы и отливы могучие — не то, что на Балтике или Черном море. Уходя, океан оставляет на сером песке раковины, скелеты крабов и огромную массу водорослей. Водоросли, прибитые к берегу, разлагаются и оскверняют свежесть ветра. Толпы чаек, среди которых разгуливают крупные, с хорошего петуха. Вдоль прибоя бегут наперегонки мелкие пичуги с клювами, вытянутыми в трубочку.

На берегу обильно цветет и плодоносит шиповник. Ягоды очень крупные. Такие же, размером с небольшой грецкий орех, я видел на Балтике, под Кёнигсбергом. Вообще же растительность напоминает среднюю полосу России, разве что береза здесь встречается редко. У дубов листья не округлые, а резные и желуди также отличаются от наших — они более солидные, бочкообразные. Масса ягод в лесу (леса здесь богатые и очень живописные, потому что расположены среди скал), но все они гнусного вкуса. Грибов масса, но они не такие, как у нас. Очень яркие шляпки, другого цвета мох и тонкие ножки. Правда, должен оговориться. Любин сын Борис ездил за двести километров на *Cape-Cod* и набрал там великолепных подосиновиков — в точности, как наши.

Первоначально прогулки по берегу доставляли массу удовольствия своим разнообразием. Шлепали босиком по воде. Лина с Любой купались, несмотря на то, что океан здесь довольно холодный.

Сразу же после приезда мы подали на так называемый, *Social Security Number*. Этот номер присваивается любому человеку в США раз и навсегда. Он учитывается при выдаче пособий, устройства на учебу, работу, при съеме квартиры, покупке автомобиля и

проч., и проч. Короче говоря, — все люди, проживающие в Америке легально, пронумерованы, и Америка о них заботится. В офис мы пошли с Любой, так как сами ничего не могли — ни сказать, ни понять. Подали заявление (*Application*). Потом пошли в *Jewish Family Service* («Джуйка», как говорят русскоязычные). Эта организация заботится о приехавших беженцах от лица еврейской общины. Там я заплатил 300 долларов от имени Любы, которая нас вызвала и «спонсировала». После этого нам сказали, что мы получим помощь на один месяц, а затем еще 7 месяцев нас будет содержать правительство штата. Что будет по истечении 8 месяцев, я не представляю. Потом нас записали в спортивный клуб, и мы поехали туда с родней. Там за двадцать долларов мы стали членами клуба на год. На самом деле, взнос растёт с годами (это для вновь прибывших такая мизерная плата) и достигает семисот пятидесяти долларов в год. Вначале я стал довольно активно ходить в гимнастический зал. Богатство спортивных снарядов меня поразило. В Москве едва ли найдется десяток таких залов, притом для избранной публики. В огромном комплексе бассейн, залы для баскетбола и тенниса. Кроме того, ресторан, детский сад, залы для хореографии и т.д. Всего комплекса я не обошел. Всё это утопает в зелени и цветах. Модерновое здание синагоги, куда я еще ни разу не зашел. Огромная парковка для машин. Лина тоже ходила в зал, но сейчас мы поостыли, да и машины нет, а без машины здесь нет жизни. Сиди и жди, когда родня подвезет.

Многэтажные дома в Линне и других, окружающих Бостон городках, весьма редки. В них, как правило, дают квартиры престарелым и малоимущим. Американцы и те, кто достиг успеха, селятся в отдельных домах, чаще всего двухэтажных с крошечным зеленым участком, которому уделяется масса внимания и потому весь жилой комплекс выглядит очень живописно. Цветы в изобилии. Все это мне напоминает маленькие городки Польши, Чехии, Словакии. Только в Америке дома строят в основном не из камня, как в Европе, а из фанеры. И здесь, и там входные двери часто стеклянные, и никто их не бьет булыжником, как в России. Да и булыжник, кирпич отыскать на улице весьма трудно. Чистота. Голая земля почти везде присыпана специально пропитанной щепой, так что пыли практически нет.

Улицы, на которых живут белые, очень опрятны. Напротив, улицы, где живут черные и латиноамериканцы, как правило, грязны из-за массы разбрасываемых пакетов, коробок, оберток,

собачьего помета. И это несмотря на то, что уборка улиц проводится регулярно через день. (Должна проводиться, не исключен элемент халтуры). Если вы пойдете поздно вечером во вторник по улицам, то увидите массу полезного и бесполезного хлама, в том числе мебель и электронику. Мне показывали одного русского, который наловчился ездить и подбирать то, что люди выбрасывают, а потом он выставляет на барахолке хлам на продажу. Говорят, что он на этом бизнесе накопил денег на покупку дома.

Кстати, вы обратили внимание на слово «черный»? Слово *негр* здесь запрещено в обиходе. Оно равносильно слову *жид*. Лучше даже говорить: афро-американец.

Обращает на себя внимание, что мало кто плюет и харкает, даже цветные. О том, чтобы пописать у забора, не может быть и речи. За это полагается большой штраф. Зато и туалетов полно. Можно зайти в любой офис или магазин, или кафе — и никто даже косо не посмотрит. На пляже летом было много туалетов. Ни один не воняет. Во всех бумага (мягкая и белая) и полотенце для рук. Поэтому расстаюсь с российской привычкой таскать в кармане туалетную бумагу.

Пора думать о собственной машине. Родня, надо отдать ей должное, по всем инстанциям нас возит. Автобусом здесь можно успеть проехать туда-обратно раза два. Тут и день кончится. В магазинах надо уметь ориентироваться. Люди заранее читают газетки, что и когда будет на распродаже. Закупают оптом. В результате экономится не менее одной трети денег. Мы пока ориентируемся плохо, но Люба — прямо ас! Конечно, если вы имеете работу и получаете на руки пару тысяч долларов в месяц, вам особенно беспокоиться об экономии незачем. Однако миддл-класс в Америке очень хорошо считает деньги и не пренебрегает экономией. Тут есть также оптовая база. Мы там были с родней. Производит впечатление огромным выбором. Платишь небольшой ежегодный взнос и пользуешься скидками. Все набирают огромные тележки и катят их к машинам. Качество продуктов прекрасное. Хотя после нашей русской кухни целый ряд продуктов кажется безвкусным. Страшно дорогая рыба. До десяти долларов за фунт!

Итак, нас возят. В том числе и в госпиталь, где принимают специалисты. Возили на сдачу письменного экзамена по вождению в другой городок. Не хотелось бы испытывать терпение родственников и поэтому нужно срочно сдать экзамен по вождению и сесть за руль. Америка создала автомобиль, и автомобиль создал

Америку. Это банальность и в то же время святая правда. Видели бы вы этих древних старух и стариков, которые уже и стоять не в силах, а с рулем не расстаются. При изобилии машин воздух остается чистым. С Россией и сравнивать нечего. Правда, автобусы и грузовики пованивают.

Немного о Линне. Когда-то, не очень-то давно, он был центром обувной промышленности и курортным местом. Стояла масса гостиниц, куда приезжали отдыхать богатые люди. Здесь, как я говорил, очень зелено и живописно. То-ли в 50-х, то ли в 60-х годах был здесь страшный пожар на обувных фабриках, после которого обувная промышленность захирела. Евреи, которые все это развивали, разъехались. Гостиницы тоже время от времени горели, и никто их не восстанавливал. Город стал наполняться черными и цветными, которые постепенно вытесняют белое население. А ведь Линн является одним из тех мест, откуда начиналась Америка. Он основан в 1629 году!

Всё же кажется, что для Линна ещё не все потеряно. Говорят, что он постепенно становится одним из крупнейших компьютерных центров. «Дженерал Электрик» имеет здесь свой огромный завод. В связи с промышленным ростом в Бостоне резко возросли цены на жилье. В результате, люди побежали из Бостона в пригороды и в том числе в Линн. Мы, как говорится, все делаем не во-время. Целый месяц мы мыкались в поисках квартиры для сына с семьей. Очень нервничали. Никаких квартир не было — ни дешевых, ни дорогих. Все нас опекали и в результате мы все-таки ухитрились снять квартиру за девятьсот долларов в месяц. Цены сумасшедшие! Так что неимущим вообще нечего делать. Правда «Джуйка» дает деньги в долг. Но ведь их нужно возвращать! Поэтому всякий стремится как можно быстрее устроить свои дела и либо начать работу, либо получить постоянное пособие по инвалидности.

Жизнь здесь совсем другая и люди совсем другие. В доме, где мы обитаем, масса стареньких. Они получают, по нашим понятиям, огромные деньги (более шестисот долларов в месяц), а за квартиру платят только сто пятьдесят. Их опекают, привозят продукты, убирают в квартирах — все бесплатно. Они еще ухитряются ходить по церквям и получать продовольственные пайки и хлеб. Куда они девают всю эту массу продуктов — ума не приложу. Детям своим отдают, что-ли... Мы среди стариков самые бедные, так как у нас отрицательный баланс из-за квартиры.

Решить квартирный вопрос окончательно можно, если удастся получить официальное признание, что ты — придурок и работать не в состоянии. Дело это кропотливое, могут послать на испытания, нужно заполнять дикое количество справок. Если все эти справки исполнены правильно, то есть надежда, что дадут субсидальное жилье, которое оплачивается одной третью доходов, как бы малы они не были.

На этом заканчиваю писать. Целую всех и обнимаю. В следующем письме расскажу о медицине, путешествиях и других занимательных вещах.

Итак, продолжаю...

Дома здесь практически не запираются. Есть парадная дверь, часто застекленная, с замком, который способен взломать семилетний школьник, а вторая дверь (она здесь обязательна), как правило, только прихлопывается. Я подумал — а чего им страшиться! Деньги у них на карточках и в банке. Если украдут карточку, все равно воспользоваться невозможно, надо знать секретный код. Драгоценности хранят в банковских сейфах. А мебель и остальная дребедень, никому, кроме владельца дома, не нужны. На улицу выкидывают такую же мебель и такие же тряпки. Продать что-либо с рук невозможно. В сухое время года по субботам и воскресеньям устраиваются так называемые ярд-сейлы. Хозяева дома берут разрешение муниципалитета и два дня торгуют во дворе вещами, которые им надоели. Большинство вещей стоимостью до двадцати долларов, но продаются чаще за один-два доллара. Можно купить целый мешок одежды в отличном состоянии, а иногда и совсем новой за два доллара. Лина и Люба преуспевают в этом бизнесе — очень практичные тетки!

Улицы очищаются от мусора, который включает и надоевшие хозяевам телевизоры, холодильники, телефонные аппараты, мебель и прочее. Одним приятным вечерком мы поехали с Любой погулять в лес. Недалеко от леса мы увидели перед одним из домов три прекрасных деревянных кресла. Я подошел к хозяевам и спросил, можно ли забрать. — Да, можно. С трудом зачихнули кресла в машину и привезли домой. Дома их помыли и поскоблили, и вот я сижу в одном из них на специальной подушечке (совершенно новой), которую тоже выбросили, блаженствую своей нижней частью и пишу вам письмо.

Кроме ярд-сейлов в конце недели работает еще и блошинный рынок. Это тоже барахолка, наподобие нашей в Измайлове. Почти все «русские» стремятся там приобрести на грош пятаков и преуспевают.

Мебель в магазинах очень дорогая и странная. Письменные столы убогие, узкие с двумя неудобными глубокими ящиками. Очень распространены низкие столы, тумбочки — на уровне колена. Полки и книжные шкафы встречаются редко и, в основном, в русских квартирах. Серьезно читающих людей мало. Жизнь не способствует этому занятию. Стараются больше быть на людях, а дома общаются с русским телевидением. Молодые люди вообще ничего, кроме газетной рекламы и книг по специальности, не читают, так как работают очень интенсивно и в выходные дни должны набраться сил для новой трудовой недели.

Как я уже говорил, многоквартирные дома, в которых прошла наша жизнь, не являются пределом мечтаний для американцев. Напротив, каждый стремится жить в собственном, хоть и небольшом доме. Но независимо от типа жилья в Америке все люди входят в дом через парадную дверь с улицы, а не через черную лестницу со двора. Думаю, что до революции так было и в России, но пролетарская сволочь, включая ее вождей, которую хозяева всегда принимали с черного хода, установила привычный для нее порядок, который утвердился в России, по-видимому, навсегда. Во всех домах, в которых мне приходилось бывать за прошедшие три месяца, имеется холл на первом этаже, где всегда чисто и *за чистой следят*. В холле цветы, низкие столики с журналами, кресла. Часто выделяют большие помещения на первом этаже для проведения общественных собраний и праздников. Эти помещения напоминают залы хороших ресторанов. Характерно также отсутствие вони от мусоропроводов. Кстати, я воспользовался мусоропроводом в квартире Бориса. Это гладкая, как пушечный ствол, никелированная труба огромного диаметра. Она находится в особом помещении. Когда тудаходишь и включаешь свет, одновременно включается приточная вентиляция. Страшно вспомнить вонючие наши лестничные площадки, где вокруг трубы мусоропровода еще валяется всякий гниющий мусор.

Труд создал Америку. Американцы очень много работают. И в этом простой секрет изобилия. Мы, приехавшие из России, даже не представляем, как можно так упорно работать. Я ходил в Москве на работу, как на праздник. Мой последний начальник

начинал рабочий день с разговоров о последних событиях в стране часа на полтора и всегда удивлялся, что я к его приходу уже что-то успел сделать. Потом нас посещали соседи, потом был чай в пятнадцать часов и прочие штучки. Вот если бы работать, как в России, а блага иметь, как в Америке! Но чудес такого рода не бывает. И это справедливо. Русские сказки отражают мечту народа иметь всё, ничего при этом не делая. Причем чаще всего фортуна помогает дураку и бездельнику. Ученые филологи убеждают нас, спасая лицо нации, что Иван-дурак вовсе не дурак, а наоборот, — самый умный. Но это не так. Скорее — он хитрый бездельник. Английские, немецкие, французские сказки не такие. Но, может быть, дело не в психологии народа, а в географии (климате), сформировавшей эту психологию... Это я косвенно цитирую Ключевского.

Думаю, что американский образ жизни есть результат удачного устройства общественных отношений. Пишут, что независимо от генетических особенностей людей Америка, как гигантская плавильная печь, переплавляет и перепрофилирует всех — черных, белых, желтых, создавая новый тип человека, смысл жизни которого — высокопродуктивное создание материальных ценностей. Американцы всем, что они имеют, обязаны самим себе, но великодушные заставляют их ходить в храмы и благодарить Бога за процветание страны и семьи. Мой знакомый сказал мне недавно, что у него была тяжелая неделя — он был вынужден проштудировать за пять рабочих дней почти две тысячи страниц компьютерной документации. При этом обучающий их специалист позаботился о том, чтобы они тут же применили новые технологии на конкретных примерах. Вот это темпы!

Так как продуктов производства полный избыток, Америка щедро раздает излишки, не заботясь о том, как одариваемые их потребляют. В России, например, всё подаренное разворовывают и распределяют в узком кругу. В результате жирные толстеют, а худые худеют.

Я обещал рассказать о медицине. Общее мнение большинства опрошенных из приехавших, что американская медицина никуда не годится. И дело здесь, как и во всем, в системе. Нет поликлиник. Если у тебя выскочил фурункул, ты должен записаться к лечащему врачу, а он тебе даст направление к хирургу. Но хирург тебя примет только через полтора месяца, так как у него есть окошко только в четверг такого-то месяца. К этому сроку либо ты

весь покроешься фурункулами, либо выздоровеешь. Зато если у тебя сердечный приступ, то по телефону 911 ты вызовешь помощь и она будет у тебя ровно через пять минут в лице пожарных, полиции и скорой помощи. Умереть тебе не дадут! Во всяком случае, сделают всё возможное.

Кабинеты специалистов — это нечто особенное. Театр начинается с вешалки, а госпитали начинаются с грандиозных коридоров с холлами и помещений для справочных служб. Кондиционеры, компьютеры, стеллажи, автоматизация... В холлах удобные кресла, журнальные столики, вентиляция, масса журналов и все свежие. Но вот ты попадаешь в крошечную комнату без окон, где стоит кресло. Кушетки нет. В другом углу крошечный столик с двумя-тремя стаканчиками, в которых стоят инструменты. Ни раковины, ни ванночки для дезинфекции инструментов, ни стола, где пишут историю болезни, ни стеклянных шкафов с лекарствами и препаратами. У врача вместо стула или кресла — вращающийся табурет, и он, не слезая с него, может дотянуться до любого предмета в комнате. Иногда и табурета нет.

Я пошел к ларингологу промыть гланды раствором пенициллина — пустяковая процедура, которую тысячи раз проделывала моя мама в своем кабинете в пятьдесят седьмой больнице. Какое там! Пришел хлыщ, сунулся в ухо, в нос... Открой рот — А-а-а. Переводчица сидит в углу: У вас зубы плохие... Хорошо, что сказала, а то я не знал! — У вас гнойничок на правой гланде... Хлыщ достал палочку из стаканчика, прижег гнойничок ляписом. Палочку выбросил. В горле саднит, плюнуть некуда. Сажу, поджав колени, в кресле. Хлыщ выписал мешок антибиотиков. Все! Придешь через месяц. И это называется «врачебная помощь!». Антибиотики я, разумеется, взял про запас, благо они для меня бесплатные. Но травить желудок и кишечник ради гланды я не собираюсь. Придется заняться полосканием самостоятельно.

Еще пример. Решил воспользоваться бесплатным медобслуживанием (у меня медикейт на восемь месяцев) и удалить часть родинок. В России для этого давно используют лазер, выжигают эту дрянь из тела. Но за это нужно платить. Нет уж, я лучше в Америке сделаю. Бесплатно. Опять получил приглашение явиться через полтора месяца в госпиталь где-то у черта на куличках. Два часа сидел в холле и читал журналы. Узнал, в частности, что принимать виагру лицам, потребляющим нитропрепараты, нельзя. А жаль. Самое время сейчас посмотреть бы, как выглядит полная

эрекция. Кстати: если эрекция длится более 4 часов, то нужно вызывать врача... Через два часа меня повели в каморку с креслом. Принесли бумажную жилетку и бумажную юбочку. Потом постучала врачиха — можно войти?.. — Входите. (Что она — голых мужиков никогда не видела?) Вошла молодая женщина. Лицо глупое. Спрашиваю — не может ли удалить родинки. — Покажите.... Показываю: под мышкой, на ноге, на животе, в паху (юбочка слетела) — Смотрит. — Можете удалить лазером? — Лазера нет, могу отрезать ножом... — Спасибо, ножом или ножницами я и сам могу. — Гуд бай. — Ба бай. Вот тебе и американская техника! Больше к специалистам записываться не буду. Бездари и халтурщики. Да и что толковое можно сделать в этих каморках без оборудования. Чему их учат столько лет — не знаю. Хирургия, как говорят, у них потрясающая. А терапии, как таковой — нет. Все в компьютере. Если жалобы на сердце — смотри анализ крови. Ага! У вас высокий холестерол.... Доктор, у меня спазмы, грудная жаба. — Вот вам нитроглицерин. Спасибо, у меня есть нитросорбид. — Гуд бай. — Ба-бай.

Как и в России, большинство врачей — идиоты. Мыслящие и грамотные доктора встречаются очень, очень редко. Поэтому мой девиз: Помогите себе сам! — действует и здесь.

Продолжаю...

Жена сына Дашка сильно заболела. Ужасные боли внизу живота. Ничего не помогает. Нечто похожее было и раньше дома. Там специалисты смотрели и ничего не нашли. Потом само собой прошло. И вот, новый сильный рецидив. Настолько сильный, что она редела в голос и даже согласилась, чтобы вызвали скорую. Дальше — как в кино. Через пять минут приехали пожарные, потом полиция, потом врачи. Народу-мужиков набилось тьма. В суматохе отдали пожарным карточки медикейта — и с концами. Никто с тех пор этих карточек не видел. А без них ни к одному врачу не попадешь. Сейчас сын заново оформил медицинскую страховку, но тогда мы все были как в угаре. Сел я в машину, Дашку внесли на носилках, повезли в *Юнион Госпиталь*. И что вы думаете? Ее сейчас же приняли? Ведь острая боль — не шуточки! Как говорит Задорнов — Щасс! Битых два часа она просидела в кресле-каталке, и ни одна сволочь не подошла. Я пять раз обращался в ресепцию: «Помогите, человек с острой и сильной болью!» — «Сейчас, отвечают, — очередь

подойдет, и ее посмотрят». Такого, извините, я в России ни разу не видел.

Не получив никакой помощи, приняли свое обезболивающее и отправились домой. Благо сын подъехал после работы к госпиталю. Это равнодушие, граничащее с тупостью, вы можете наблюдать и в обыденной жизни. Вот пример. Сыночек лет трех-четырёх разгоняется на велосипеде и падает, сильно стукнувшись головой. Молодая мама сидит рядом и читает книжку. Увидев упавшего сына, она спрашивает: «Джимми, ар ю О'К?» И все! Однажды видел, как молодые родители в студёный октябрьский день везли двух-трехлетнюю крошку, ангелочка, в тонюсеньком сарафанчике. Сами эти гады были в теплых куртках, а детеныш уже практически еле дышал. Наверное, Господь пожалел крошку и шепнул дураку-отцу: Мол, так и так, посади её в машину.

Теперь о важном. Сын прибыл с семьей и с десятком огромных чемоданов, которые еле влезли в две машины. Нанервничались, потому что без нервов у нас ничего не бывает. Около двух часов они там получали багаж, а мы никак не могли узнать, куда они подевались. Сын появился злой, как черт на ленивых итальянцев.

Квартира, которую мы сняли, нам к счастью, не досталась. Американец не хотел выезжать. Полтора месяца дети жили у нас, а мы уходили спать к Боре. Сейчас сын уже снял двухкомнатную квартиру и все обставил, забил холодильник продуктами и фруктами. Дети пошли в школу, а тут и Христмас. Так что десять дней каникул.

Сын еще не решил, где будет работать. Пока немного подрабатывает на разгрузке-погрузке в русском магазине. Даша ходит на три часа в день в библиотеку. Зарботки никакие, но работать ей нужно, чтобы иметь медицинскую страховку. Это здесь главное. Сын стал очень энергичным и деловым мужиком. Все основные моменты, включая телефон, у него уже есть. Вот меня все страшит, все волнует, я не знаю что и кому сказать, а он — идет напролом и чаще всего получает, то что просит. Квартирка досталась ему в запущенном состоянии, но он пошел в магазин, купил разных очистителей, залил все этими жидкостями и ушел. А на следующий день почти все отошло. Сейчас плита, холодильник и санузлы прямо блестят.

Внуки регулярно ходят в бассейн. Хотя с ними пришло много хлопот, но зато и радости много. Борис подарил им огромного синтетического черно-синего тигра. И вот, наши бойцы взяли в

руки по израильскому флажку, за спину закинули зонтики (один красный, другой синий), на голову надели роскошные соломенные шляпы-сомбреро и в таком экзотическом виде принялись скакать по нашей постели верхом на тигре. Пружины в нашей постели сильные, и они подсакивали на полметра. Зрелище умомирительное, тем более, что они все это исполняли с полной серьезностью.

Наши взаимоотношения с детьми хорошие, но неровные. Наверное, так и должно быть. Добрые советы никому не нужны. Свои взгляды на то, как надо воспитывать, надо держать при себе, чтобы не напарываться на грубость. Проще всего не ждать воздаяния за добро, ибо нас никто не неволит.

Ходил я тут с внуками и Дашей в *Джуйку*. Там был детский утренник с раздачей подарков. Наши ныли и капризничали, что им скучно, но потом выступила очень талантливая актриса и хотя она говорила на английском, все оживились, подпевали ей и всячески «помогали» вести спектакль. Потом наши получили подарки — прекрасные игрушки. Крестик, старший, шел злой, так как считал, что у него плохой подарок. Пришел домой и пустил нюни. Я бы у него отобрал подарок и дал по заднице за свинство. Но ведь Даша на страже. Не дай Бог обидеть ребеночка! Зато сама может треснуть по мордасам под настроение.

Кстати, в этой еврейской организации царил полный интернационал, пришло очень много черных и латиноамериканцев. Была даже эстонская семья.

Сколько же у наших детей игрушек! Можно открыть магазин. А тут еще и Христмас. Опять пошли и купили игрушки и сласти. Прямо как в сказочном королевстве. Когда всего так много, дети перестают ценить то, что имеют. На сегодня всё. Поздравляю всех с Новым Годом! Здоровья и благополучия! Целую.

Привет из глухомани, которая очень далеко от Москвы.

Продолжаю.

Начальное образование в США — это нечто особенное. Все знают, что детей первые четыре года практически ничему не учат (в обычных государственных школах). Подавляющее большинство приезжих — люди безденежные, а если и есть какие-то деньги, то мы (наше поколение) избалованы бесплатным образованием и не торопимся раскрыть кошелек. Поэтому дети приезжих ходят в общедоступные *элементариз* *скулз*. Непонятно лишь, зачем

рассчитывать программу школьного обучения на 12 лет и при этом заниматься чепухой 4 года в самом начале, в самом активном возрасте.

Я тут прочел один дидактический рассказик про господина Раппопорта, сына российского большевика. Очень забавный рассказик. У них, бедненьких Раппопортов, был домик площадью всего-навсего 100 квадратных метров. А мы-то, имея 4-х комнатную квартиру такой же площади, считали себя богачами. И все, кто приходил к нам, говорили: какая у вас огромная квартира!... Так вот, у них, несмотря на *бедность* в одной из комнат была устроена библиотека (какое совпадение! У нас тоже, да на 2500 книг!). И Раппопорт-сын учился, учился и учился, как завещал великий Ленин, а потом женился и, одолжив у тещи двадцать пять тысяч долларов, основал страховую компанию. Он знал какое-то волшебное слово (ноу-хау) и потому его компания много-много лет процветала, а он стал мультимиллионером. А после этого он стал бесплатно один час в неделю учить школьников читать! (Вот тут начинается непонятное. Вроде бы, читать учат в школе. Зачем же такому занятому человеку, как мультимиллионер Раппопорт, тратить свой драгоценный час на такие пустяки?). Глядя на этот потрясающий пример бескорыстного служения обществу, многие люди тоже стали бесплатно учить детей читать один час в неделю. Господин Раппопорт при этом подсчитал, что все они произвели совокупную работу стоимостью в миллион долларов.

От таких рассказиков ушки сами собой свертываются в трубочку. Но дело не в рассказике, а в том, что описана правдивая ситуация. Нелепая ситуация для столь богатой и могущественной страны, которая имеет наглость поучать весь мир, как ему жить. У нас, в нашей тощей, грязной и вонючей России, в самой захудалой школе дети в третьем классе бегло читают и пишут (пусть с ошибками), знают все действия арифметики. А здесь! Срамota, да и только. Спрашивается, кто же эти идиоты, составившие программу для элементарной школы, которая ничего не дает ученикам и лишь развращает их бездельем. А ведь именно в эти школы идут дети из неблагополучных семей, где их и дома никто не воспитывает и не учит.

Зато очень постарались дать малолетним гражданам максимум прав (при полном отсутствии обязанностей). Наказывать нельзя, ставить отметки нельзя, ругать нельзя. А что же можно? Можно смотреть на гнусное, свинячье поведение — а оно в

условиях вседозволенности иным быть и не может — и стараться развлечь и отвлечь детей от безобразных поступков. Видели бы вы, как они ведут себя в школьных автобусах, как они безобразно ругаются, не стесняясь ни взрослых, ни шофера. Дети, они же не дураки. Они прекрасно усваивают, что все права на их стороне. Кто-то сказал, что ребенок может пожаловаться на взрослого в полицию и взрослого обязательно заберут и предадут суду за жестокое обращение с ребенком, даже если это родители. Как будто подросток не может соврать со зла!...

Если существует законодательство, пресекающее жестокость по отношению к детям, то я целиком на стороне закона. Но если закон не различает жестокость и строгость, то тем хуже для общества. Еще никогда вседозволенность не приводила к добру. Вот вам примерчик. Пошли в гости к Любе. Она живет в огромном доме. Посидели, собрались уходить. Вызвали лифт, а он идет еще выше. Ладно, спустимся. Входим. Там два подростка лет тринадцати. Когда мы уже вошли в лифт, я заметил, что все этажи задействованы. Это значит, что стоять нам и ехать десять минут. Я выскочил из этого лифта, как ошпаренный и вызвал другой. А эти два придурка, естественно, выскочили за мной. Тут я и сказал одному из них, что он дурак и идиот, и повторил это много раз. Видели бы вы, как он изображал, что ему смешно. (Смеяться-то по человечески не умеют). Он выл, как кот, которому поставили скипидарную клизму, и царапал граблями стену. А черные ехали со мной и с ними в одном лифте и молчали в тряпочку. Потом мне наши пытались объяснить, что я не имел права «оскорблять» ребенка и что это могло для меня кончиться плохо. Каково!

Когда-то в молодости я прочел роман Мартти Ларни «Четвертый позвонок». Сейчас, наверное, мало кто его помнит. Так вот, там описан урок в американской школе именно такой, какой он есть на самом деле. А европейцам и нам он казался шаржем.

Удивительно, как после такого, никуда не годного обучения в элементарной школе, они все же ухитряются дать нормальные знания потом, в старших классах. Более того, в американских университетах преподают и работают специалисты очень высокого уровня (может быть, приезжие профессора?). И выпускают они прекрасных специалистов. Мне этот процесс превращения уродливой куколки в прекрасную бабочку совершенно не понятен.

Родня, готовая хвалить все американское и бранить все Российское, утверждает, что американцы — очень воспитанные люди.

(Конечно, это взгляд туриста, а не исследователя). Что вам сказать... Если сравнить, как с нами обращались при советской власти и как обращаются сейчас, то и мы, вроде бы, сделали большой шаг вперед в уважении прав личности (хотя бы пока только в сфере обслуживания). И в этом плане Америка и Европа колоссально отличались и отличаются до сих пор от России. Хамство должно стать невыгодным. Всё, абсолютно всё зиждется на материальной заинтересованности. Человеческие отношения должны быть четко стимулированы деньгами в том плане, что заранее должна быть известна цена услуг. Безобразия государственных чиновников как раз возможны из-за отсутствия четкости в этом вопросе. А вот почему полицейские в США не берут на дорогах взятки, а в России вымогательство — основной промысел? Да потому, что полицейский получает много и, следовательно, дорожит своей работой, а взятка, которую может дать водитель, ничтожна, чтобы из-за нее рисковать местом и будущим. Разумеется, когда в деле крутятся огромные деньги, то кто только не становится взяточником (и в США в том числе), ибо игра стоит свеч.

Итак, о воспитанности. Скажу честно, что доброжелательность совершенно посторонних людей испытал на себе уже множество раз. Если на прогулке встречаешь пешехода, как правило, он поздоровается и улыбнется. Пусть это чисто внешне, но отрада сердцу есть. При этом американцы терпеть не могут, если им жалуются на дела или на здоровье, так как это портит им настроение. Они начинают избегать таких людей. У нас же жалоба — это повод проявить сочувствие и к тому же — это прекрасная тема для разговоров. Вроде если у всех все прекрасно, то и говорить не о чем и незачем. И все-таки, хотя я не очень верю доброжелательности американцев, мне приятно говорить и слушать любезности, просто потому, что так заведено.

Всё-всё пока еще мне непонятно в новой жизни, и это может быть хорошо, ибо горек плод познания.

Теперь я хочу рассказать вам, как я участвовал в исполнении девятой симфонии Бетховена. Борис привез нас в Кембридж, что рядом с Бостоном, и мы вошли в здание странной архитектуры, где уже стояла масса народу. Холл этого здания напоминал неф средневекового собора с высочайшим потолком, терявшимся в сумраке, плиточным полом и разными раритетами, прикрепленными к стенам. Весь народ смиренно стоял в очереди, хотя концерт был бесплатным. В отличие от московских билетов, которые

печатаются на бумаге из вторсырья, эти отличались изысканной графикой на блестящем белом полукартоне.

Пока мы, безбилетные, стояли сиротливой кучкой, отделенные цветным шнуром от остальной очереди, Борис помотался туда-сюда и принес ворох билетов. Вскоре мы уже сидели в концертном зале. Зал меня поразил. Нет, не величиной, не пышностью, хотя он был не намного меньше нашего Большого Концертного Зала Московской консерватории на бывшей улице Герцена. Поразила меня архитектура. Он напоминал огромный цилиндр, отделанный изнутри резным деревом приятного коричневого оттенка. Партер служил основанием цилиндра, а амфитеатры, балкон и сцена напоминали выдвинутые из этого цилиндра плоские ящики огромной вместимости. По краям сцены стояли две мраморные скульптуры мужского, весьма приятного вида. Судя по костюмам, один мужчина родился и умер очень давно, а другой этак в веке восемнадцатом, не позже.

Зал наполнялся медленно. Так как гардероба не было, все входило в верхней одежде и клали её куда придется — кто на колени, кто под ноги, а кто вообще у стены. Практичные американцы не любят стоять с номерком в очереди. Кроме того, многие приезжают на машинах без пальто... Но вот, прозвенел очередной звонок. Оркестр собрался, подудел ноту Ля на разные голоса. Я поискал глазами дирижера, но не нашел. Правда, перед оркестром маячил какой-то седоватый, худой господин в кроссовках и темно-синем спортивном костюме. Внезапно он обратился к публике. Я, разумеется, ничего не разобрал, но понял, что это и есть дирижер. Публика захлопала. Первым номером был *«Кориолан»* Бетховена. Дирижер взмахнул рукой, оркестр сыграл первые такты, после чего дирижер сказал что-то вроде: «Ну, дальше вы уж сами, а я посижу, послушаю», — спрыгнул со сцены и уселся в третьем ряду. Наша чопорная московская публика, особенно старички и старушки в седых кудельках, были бы шокированы таким поведением, но здесь никто и бровью не повел. Оркестр, как ни в чем не бывало, продолжал дудеть *«Кориолана»*, и я уж подумал, что это — американский способ исполнения, как вдруг дирижер с легкостью козы спрыгнул на сцену и прервал мелодию. Теперь он заставил оркестр начать с самого начала и стал энергично размахивать палочкой. Пока он махал, курточка на нем лезла вверх и вверх, и он левой рукой все время оттягивал ее вниз. Однако музыка была прекрасной, и я уже собрался было ей отдаться, как вдруг он остановил

оркестр и принялся объяснять нам красоту сыгранного фрагмента. Это вызвало у меня ассоциации с прерванным половым актом. Так мы дошли с перерывами и объяснениями до самого конца. Затем дирижер сказал, что, мол, подождите, я сейчас вернусь, и скрылся за кулисами. Вернулся он при полном параде, и его седина великолепно сочеталась с черным фракком. Он стал выглядеть строже, выше, величественнее. Вот он взмахнул палочкой и повел оркестр, уже не прерываясь. Ощущалось, что он владеет малейшими нюансами Бетховенского сочинения. Я получил огромное удовольствие и присоединился к аплодирующей публике.

Следующим номером была симфоническая поэма П. Чайковского «Ромео и Джульетта». Музыка настолько выпуклая, выразительная, что вы буквально видите панораму старинного итальянского города, сумрачные замки-крепости, ветреное небо в тучах, вооруженных и враждующих людей, расхаживающих по улицам. Остановив оркестр, дирижер обратился к нам, объясняя, что означают партии отдельных инструментов, потом он продолжил музыку, еще и еще раз прерывая ее после особенно выразительных мест. Потом он заставил оркестр исполнить поэму полностью. На мой взгляд, исполнение было совершенно безобразным. Оркестр в его руках вдруг развалился и левое крыло повело себя так, словно не было правого. Не исключено, что вещь была плохо отрепетирована. Может быть также, что сказалось непонимание стиля русской музыки. Не знаю. Могу и ошибиться в оценках. Впрочем, публика опять бурно аплодировала... То, что публика в массе своей дура — ни для кого не секрет. Толпа не есть мыслящее существо, а есть существо, движимое инстинктами. У нее свои ценности — ценности установившихся, неподвижных и общепризнанных мнений и решений, отклонение от которых считается ересью и сурово карается этой же самой толпой. Но толпа, к сожалению, является основным потребителем духовных и телесных ценностей. Не могу же я или кто угодно другой принять у себя в крошечной квартирке симфонический оркестр! А театр может. И исполнитель должен угождать толпе, а не мне лично или лично вам. Вот и все.

Подхожу к финалу. Аллегро Моцарта, кёхель 136 они исполнили хорошо, потом неизвестного мне Эдварда Элгара «Нимрод» еще лучше. Потом оказалось, что лекции дирижера съели время, необходимое для других вещей, после чего нам всем раздали красивые такие книжечки под названием «Классическая лихорадка», откуда я узнал, что дирижера зовут Бенджамен Цандер. На

обратной стороне обложки был напечатан по-немецки с разбивкой на темпы текст первого куплета знаменитой оды Шиллера «К радости». Удивительно, но на всех, абсолютно на всех хватило этих книжечек (богатая страна!). Цандер пригласил всех встать и петь вместе с оркестром, благо специального хора в зале не было. И вот, мы завопили, что всех призываем слиться с нами в объятьях (обнимитесь, миллионы):

*Froy-der, sher-ner getter-foon-ken,
Tochter 'ouse e-lyse-ium,
Veer be-tray-ten foyer troon-ken,
Himm-lee-she, dine high-lish-tomb!*

(Excuse them please for English spelling of German text)

По-видимому, в нашем коллективном блеянии было мало торжества, что не соответствовало накалу страстей в финале девятой симфонии. Поэтому, не давая нам сесть, Цандер попросил исполнить куплет еще раз, но дружнее и громче. Если около тысячи человек, повинуясь палочке дирижера начинают петь одновременно, то в результате получается весьма сносная музыка, этакий мерный, музыкальный грохот прибоя. Я тоже хотел слиться с поющей массой, но что-то мне мешало и потому я лишь тихонько подвывал в тональности *До-минор*, как мне казалось.

По дороге домой я узнал у Бориса, что Б.Цандер дирижер не простой, что он считается одним из лучших исполнителей симфоний Гюстава Малера. В моих глазах он сразу значительно вырос. Дома я узнал из книжечки, что родина Цандера — Великобритания, что музыку он начал сочинять в девять лет, но деревенское окружение не встретило его сочинения с пониманием, что оскорбленная мать направила его к великому Бенджамену Бриттену, и маленький Цандер играл с композитором в крикет и брал уроки композиции. В пятнадцать лет Цандер уехал во Флоренцию, где учился у знаменитого Гаспара Кассадо искусству игры на виолончели, но болезненное состояние кожи на пальцах рук не позволило ему стать виолончелистом. Цандер вернулся в Лондонский университет, где занимался английской литературой, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты Америки.

Дирижером он стал совершенно случайно. Попробовав однажды свои силы с одним из оркестров, он нашел это занятие столь приятным и увлекательным, что остался ему верен навсегда...

Здравствуйте, дорогой Иван Иванович!

Вот я пишу вам письмо и слеза катится, потому что скучаю без вас и наших дорогих девочек ужасно. Здесь я живу на строгой диете, никого, кроме родни не посещаю. От этой вегетарианской жизни совсем пропала эрекция. Страшно подумать, что меня ожидает в недалеком будущем. По причине отсутствия приличного общества не выпиваю даже той малой порции, к которой привык в России.

За моё подвижничество и долготерпение, а также самоотверженность в отношении жены и детей не мешало бы на родине установить бронзовый бюст с надписью: «А ведь он мог еще иметь детей!» Даже рассказы, которые крутятся в моей грешной голове не могу написать — все время, как придурок, учу английский. Но, наверное, он у меня уходит с мочой, потому что то, что с вечера вызубрил — утром не помню наотрез. Что же эти проклятые американцы сделали со своим языком! «Гимми бак. Ай гонна бай кэнди» означает: «Дай мне доллар, я собираюсь купить конфетку». Ну не суки ли они... А ведь я считался у нас в лаборатории знатоком английского языка.

Сижу без языка, без работы и без денег. На работу меня, такого старенького никто не возьмет, тем более, что когда меня спрашивают о чем-либо по телефону, я не могу толком понять, чего от меня хотят. Если бы я был знаменит, как Нильс Бор (прости меня, Господи, за нескромность), я мог бы наплевать на них всех и говорить на том языке, на котором мне удобно. Но так как я из тех редисок, которые хозяйка не может выделить в пучке, купленном на рынке, то и судьба моя, как у той редиски.

От того, что еды навалом и задешево, большинство жрет и обжирается хуже свиней. Бабы ходят с попами, которые растут прямо от шеи и не помещаются в автомобиль. У мужиков сало свешивается над ремнем, как тесто. Тьфу! Если видишь человека худощавого или просто нормальной комплекции, то это или больной раком, или аристократ с бешеными деньгами, или профессиональный спортсмен.

Книги здесь валяются везде, потому что после прочтения многие их бросают, но, к сожалению, все на английском языке. А в магазине они стоят сумасшедшие деньги.

Ну, ладно. Что-то я все о глупостях. Вот если бы вы нашли способ посылать мне информацию о ваших исследованиях, я постарался бы быть вам полезным. Кстати, у меня есть факс и компьютер.

Есть еще и телевизор с огромным экраном и видеомэгнитофон и много-много еще всяких вещей, которые мне надарили. Единственное, что я купил — это приемничек с мэгнитофоном, чтобы слушать проклятую аглицкую речь за девятнадцать долларов, и факс. Когда подучусь, приобрету интернет и смогу дешево общаться с вами. Но пока я еще только осваиваю основы компьютерной техники.

Что вам еще сказать... Впечатлений у меня вагон и маленькая тележка. Я уже накропал страниц двадцать и озаглавил «Письма в Россию». Я бы с удовольствием их переслал вам, чтобы вы посмеялись и поплакали вместе со мной, но ведь если я отправлю толстое письмо к вам, то ваша (наша) почта обязательно выпотрошит конверт в поисках долларов. Говорят, что по-прежнему письма из США и других развитых стран доходят очень плохо. Это стыдно! Все же надеюсь, что это письмецо вы получите. Сложите в складчину и пошлите мне письмецо от лаборатории. Какая будет отрада душе! Пойду после этого и помолюсь за ваше здравие в храме. Мой адрес на конверте.

Всем моим любимым женщинам огромный привет и поцелуи. Всем здоровья и счастья.

Попробую позвонить мистеру Даймонду и спросить, не могут ли они мне сделать бесплатное пребывание в Орландо с оплаченным проездом туда-сюда. Если да — то поеду. А так — нет. Пока с деньгами у меня туго.

Нежно и бескорыстно любящий всех вас:

Олег Трастаницкий

Здравствуйте, дорогие мои родственнички!

Недавно тут у нас разразился шторм. Не просто непогода, как говорят у нас в Москве, а именно шторм. За день до этого телевидение многократно предупреждало население. Предсказывали толщину снежного покрова от двенадцати до двадцати дюймов, говорили, что школы и государственные учреждения будут закрыты. Все это было мне в новинку. Во-первых, в Москве прогнозам не очень-то и верят, уж больно часто они ошибаются — то раньше на день, то позже на два. А вот здесь шторм начался буквально час в час, как и предсказывали.

Началось все с этакого миленького, маленького снегопадика, который шел всю ночь, постепенно усиливаясь, и превратился к утру в снежный шквал. Утром я выглянул на улицу. На нашей пожарной лестнице и на пляжном стуле, который мы туда

выставили до поры, до времени, лежал снежный бисквит толщиной сантиметров в пятнадцать. К двенадцати дня ветер набрал неимоверную силу, порывы швыряли охапки снега почти горизонтально и он прилипал к столбам, стволам деревьев и стенам домов. Многие из неработавших из-за шторма отправились на берег океана смотреть игру стихий. Телевидение, как всегда, было в центре событий и всё-всё показывало, так что мы, сидевшие по домам, тоже всё-всё видели. Огромные волны перехлестывали через бетонную набережную, так что часть улиц оказалась под водой. Бешеный ветер срывал гребешки волн и уносил их за сотни метров от берега. Стемнело. Ветер и снегопад продолжались. Снегоочистительная техника работала непрерывно. Все машины, оставленные хозяевами у обочины, оттаскивались на специальные площадки, откуда хозяева могли их взять, заплатив сто долларовый штраф.

К следующему утру небо совершенно очистилось. Солнце освещало гигантские сугробы, наметанные техникой на тротуары. Гулять пешком стало совершенно невозможно, разве что по мостовой, но и мостовая стала на четверть уже — машинам не разъехаться. Зато внуки наши были в восторге. Они разбегались и летели, расставив руки, в мягкие, как перина, сугробы, приземлялись кто на спину, кто на голову, кто на живот. Потом они измеряли глубину снега. Хорошо, что сын позаботился и раздобыл комбинезоны. Верхняя синтетическая ткань быстро намокала, но воду держала, так что утепленная подкладка оставалась сухой.

В последующие дни с крыш потекло. Это добавило радости. Стали лепить снеговиков. Однако нам, старикам, снег доставил массу неудобств, поскольку тротуары здесь не убирают. Домовладельцы почистили немного перед крыльцом, чтобы дойти до машины — и все. Пляжи обнажились только через три недели и до сих пор вся территория, прилегающая к океану, представляет собой жуткое зрелище. Весь человеческий мусор, который мирно затягивался песком в течение года или, может быть, нескольких лет, благодаря шторму вылез на поверхность земли. Банки, бутылки, пакеты, детские игрушки, непарные кроссовки, резиновые перчатки, шары для гольфа, теннисные мячи, обрывки веревок, проводочные ловушки для омаров, куски дерева и целые доски — и все это перепутано гигантской массой водорослей. Водоросли висели на кустах, на скамейках и на поручнях лестниц, ведущих от набережной к океану. Одновременно с водорослями океан выкинул

огромное число раковин и живых моллюсков. Теперь они, разумеется, все погибли от сухости или расклеваны чайками. Кстати, то здесь, то там попадаются погибшие птицы. Я приподнял одну из них за крыло. Ничего себе! Весом с хорошую курицу. Шторм перешвыривал через набережную и камни. Может быть, птиц побило камнями... А песок отнес метров за двести от кромки прибоя. Сейчас пешеходная дорожка, по которой мы прогуливались из Линна в Нахант, совершенно похоронена под массой наметенного мусора. Бродить по нему, впрочем, можно. Я как раз гулял там в прошлую субботу и подумал: «Если бы люди сейчас ушли из этих мест, сколько потребовалось бы времени, чтобы все дороги у океана заплыли песком и заросли сорняками?»

Меня этот разгул стихии весьма опечалил, так как я собирался в теплую страну с крошечной зимой и длинной-длинной-теплой-теплой весной. И вот уже начало апреля, а конца холодам не видно. Приходится гулять в свитере и куртке.

Сейчас, спустя почти месяц, тротуары постепенно очистились от снега, и я решил прогуляться до башни, которая стоит на возвышении и, наверное, является наивысшей точкой в Линне. Я поднялся по длинной лестнице, которая начиналась на улице и шла по краю красной скалы, местами покрытой растительностью. Я был полностью вознагражден за восхождение, ибо открывшаяся предо мной панорама города и залива, пересеченного островами, была великолепной. Башня, ради которой я поднялся, опиралась на красную скалу и была сложена циклопической кладкой подобно тому, как сложены стены Соловецкого монастыря на Белом море. Металлическая табличка извещала, что передо мною High Rock Tower, воздвигнутый в 1905 году. С высоты не видно мусора, которым усыпаны улицы Линна. Летом прошлого года, когда я приехал сюда, я как-то не замечал этого пластиково-бумажного кошмара. Может быть, все скрывала зелень. Сейчас засыпанный мусором город производит отталкивающее впечатление. Улица, по которой я спускаюсь к океану, покрыта собачьим дерьмом. Возле каждого дерева — свалка. Если бы не уехали отсюда после пожаров (о которых я говорил выше) богатые евреи и не понаехали черные и латиноамериканцы, то, видимо, у города был бы другой вид. Я хожу по улицам и вижу покинутые дома, из которых ушла жизнь. Еще сохранились вывески магазинов, ресторанов и мастерских, хозяева которых повесили таблички «сдается» или «закрыто» или уехали, не повесив табличек.

Теперь немного о себе. Я продолжаю грызть английский остатками своих зубов. Наверное, зубы совсем стесались, ибо я сам себе напоминаю Сизифа, который тащит, тащит камень в гору и никак не дотащит до вершины.

Упомянув про зубы, я невольно вошел в ручей воспоминаний. Не могу не упомянуть некоторые зубные эпизоды прошедшей жизни. Левка потерял зубы гораздо раньше меня и одел протезы, которые, естественно, очень натирали ему десны. Посему он предпочитал носить их в сумке с книжками и надевал лишь во время лекций или принятия пищи. Однажды он поехал в гости к племяннице Алине пообщаться и пообедать. Алина перед этим завела щенка-фокстерьера. Левка пришел, поставил сумку на пол, стал общаться с племянницей и упустил момент, когда щенок, почуяв запах протезов, вытащил их из сумки и полез с ними под диван. Все попытки выманить его из-под дивана кончились неудачей. В ответ на половую щетку он только рычал и грыз протезы еще решительней. Обед, естественно, был испорчен, так как Левке нечем было кусать. Когда щенок наигрался и убежал, отодвинули диван, под которым в десятилетней пыли и хламе валялись злосчастные протезы. Лева вымыл их горячей водой с мылом, вставил в рот, наскоро что-то перекусил и пошел домой.

Другой случай мне когда-то рассказала наша Наташа. Однажды Гомбург поставил маме очередной мост и этот мост доставлял маме ужасные страдания. Поэтому мама решила его немножко приподнять и передохнуть. И вот, во время манипуляций мост громко щелкнул, встал во рту вертикально и дальше — ни туда, ни сюда. Мама оказалась в неприятнейшей ситуации, так как не могла закрыть рот, а о том, чтобы поесть, или попить, или сказать пару слов не могло быть и речи. Дело было в воскресенье, Гомбурга дома не было, и вставал вопрос, как дожить в таком ужасном положении до понедельника. Как мама ни старалась вернуть мост назад в горизонтальное положение, проклятая конструкция уперлась — и ни в какую! Вот тут сказались мамины лучшие качества — усидчивость и настойчивость. Три с лишним часа мама непрерывно покачивала мост и когда уже казалось, что конца этой работе не будет, мост вдруг ожил и с громким щелчком встал на прежнее место. Вот так упрямая материя покорилась духовной силе. Ощущение счастья, испытанное при этом мамой, можно сравнить только чувствами евреев, вызволенных из вавилонского плена.

Что касается зубных радостей вашего покорного слуги, то они уже живут на первых страницах моего романа. Как известно, история романом не кончается, а продолжается. Поэтому докладываю, что сейчас мне удалили остатки четырех верхних передних зубов, и я чувствую себя по этому поводу прекрасно, хотя немного постарел лицом. Однако, для кого мне молодиться? Лина требует повесить искусственные зубы. Может быть, удастся уговорить зубного врача. У них, у американцев свои правила игры. Сначала подают первое заявление, чтобы разрешили пройти рут-канал. Потом подают второе заявление, чтобы разрешили поставить одну коронку. Процедура растягивается. Если хочешь быстро — плати по восемьсот долларов за каждую коронку и через неделю ты как огурчик. Но в мои планы вовсе не входит кормить своими муками какого бы то ни было преуспевающего зубного врача. И они это уже поняли, так как разговаривают со мной холодно. В результате мы соблюдаем вооруженное перемирие, хотя вооружены по-настоящему только они — клещами, а я — только своим лукавым языком. А язык мой заявляет, что жизнь — это болезнь, которая заканчивается смертью. А если это так, а не иначе, то я считаю, что человек должен износить своё тело до такой степени, чтобы не было мучительно больно отдать его червям. Эти причитания над телом: Он был еще такой моложавый! У него были прекрасные зубы и орлиное зрение! У него был поразительно острый слух! Он никогда ничем не болел! — кажутся мне необычайно комичными. Нет, господа! Надо так прожить свое тело, чтобы в свой срок, получив сигнал извне (или изнутри) оно рассыпалось, как картонный домик. И не надо мучиться стыдом за бесцельно прожитые годы, и не надо дурацкой патетики, ибо жизнь — это дорога в никуда. Начало и конец дороги скрыты туманом бесконечности. Тот, кто верит в Бога, в бессмертие души, тот стоит на крохотном участке дороги и смотрит, куда показывает стрелка компаса. Но куда она показывает? — вот в чем вопрос. Мы знаем лишь, что движемся от младенчества к старости, и нам ли судить по этому крохотному расстоянию в шкале времени о направлении гигантской спирали времени, охватывающей миллиарды лет...

В плане бренности жизни мои занятия английским языком являются бесполезной тратой отпущенного мне времени. Никогда я не смогу выразить себя на английском с той полнотой, с какой выражаю себя на русском. Но эти занятия как-бы заместили мою работу, интересами которой я жил последние годы.

Работа придавала смысл моему существованию. На фоне работы и отдыха получал свою долю смысла. Честно говоря, я побаиваюсь забросить свои занятия и превратиться в полноценного пенсионера, читающего провинциальные газетенки и живущего новостями Российских каналов. Постепенно хождение в магазины и неторопливые прогулки вдоль океана могут заменить все активные виды деятельности. Суровый закон жизни гласит: *Если не карабкаешься вверх, то сползаешь вниз!* Уму нужна гимнастика, да еще пуще, чем мышцам или позвоночнику. Можно прожить прошлым багажом годик-другой. А потом все кончится. Ты станешь неинтересен. У меня, правда, есть что-то вроде второй специальности — передавать бумаге свои мысли. Но нужно привыкнуть делать это систематически. Вот я и стараюсь по мере сил и возможностей.

Я не зря написал о своих опасениях. Дело в том, что я получил официальное признание властей Массачусеттса, что я неспособен работать — *disability* и пенсию. Это не такие уж большие деньги — 457 долларов, но зато постоянные. Работать при этом не рекомендуется, так как вычитают соответственно заработанному из пособия. Если же работаешь неофициально (на карман), то можешь нажить большие неприятности за обман, если кто-нибудь на тебя наступит. А добровольных стукачей здесь полно. Стучат по любому поводу — или машина не там припаркована, или мебель не донес до помойки, или ребенка оставил одного на часок. За все провинности полагается штраф, а штрафы надо платить, иначе по суду заплатишь вдесятеро больше.

Теперь немного о семье. Даша работает по четыре часа в день — нянчит младенцев в еврейской коммьюнити. В откровенном разговоре со мной она призналась, что больше четырех часов работать не в состоянии физически. Так что основной добытчик, шофер и мальчик на побегушках — наш сын. Работает он по ночам с трех до семи, не высыпается, а по вечерам три раза в неделю ходит на платные компьютерные курсы. Надежды на получение квалифицированной и хорошо оплачиваемой работы весьма малы, а сейчас он зарабатывает просто гроши. Не хватает на оплату квартиры и курсов. Внуки постепенно привыкают к школе. Даша их еще таскает на танцы, гимнастику и плавание. За все приходится платить, а толку от этих занятий — ноль. Они еще малы для серьезных занятий в спортивных секциях. На этом пока заканчиваю. Всех обнимаю, желаю здоровья и удачи.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сейчас в Линне май. Достаточно холодно и солнечно. Я предпочитаю такую погоду. Неделью назад прорвался к нам жаркий южный ветер. На третий день наша квартира, которая находится под плоской крышей, раскалилась до такой степени, что просто невозможно было дышать. Я включил вентилятор и под его жужжание заснул, но встал с чугунной головой и весь день чувствовал себя плохо. На счастье пришла перемена погоды и вот уже более недели мы спим спокойно, а прогулки вдоль океана дают импульс бодрости.

Настала пора обильного цветения. Красота. Многие деревья, как гигантские букеты. Очень много оттенков красного, малинового, алого, карминного, свекольного, пурпурного, вишневого. Есть и желтые цветы, не знаю, как они называются. Даша говорит, что в Словакии их называют Золотым Дождем. На маленьких участках возле домов цветут тюльпаны, нарциссы и всякая другая цветочная мелочь. Короче — пиршество для глаз. К сожалению, большинство цветов не имеют запаха. Да и насекомых не видно. Редко-редко пролетит шмель.

Здесь в Линне я нашел удивительное дерево. Бук. Он очень широк и ветви его огромной толщины начинают ветвиться не очень высоко над землей. Он покрыт гладкой темно-серой корой, которая собирается складками у основания ветвей, напоминая шкуру гиппопотама. Дерево разделено на две неравные части. Более мощная часть как бы теснит менее мощную, отчего возникает иллюзия подвижности, причем первая часть явно ассоциируется с самцом, а вторая с самкой. Удивительное впечатление производит место сращения веток меньшей части — прямо-таки расставленные ноги женщины. Я демонстрировал это дерево многим нашим знакомым, и оно производило на них впечатление застывших на секунду живых существ. Я его сфотографировал несколько раз. С лучшего кадра я сделал ряд ксерокопий, которые затем долго обрабатывал лезвием и белой гуашью. Затем снял новые ксерокопии на тонированной бумаге. На мой взгляд, получилось хорошо.

Не знаю, может быть, это чисто субъективное, но мне кажется, что здесь есть, что фотографировать. Вот, к примеру, вчера поехали в Марблхед позагорать на пляже. Ничего, вроде бы особенного. С нами была Дашина знакомая с работы. Она сказала, что в конце пляжа, в камнях в прошлом году они набрали массу

превосходных морских звезд. Мы загорелись, бросили свои вещи на произвол судьбы и пошли за звездами. Хотя ни одной звезды мы не нашли, я поразился необыкновенной красоте водорослей, которые выбросил океан. Узорчатые кружевные листочки самых разных цветов и оттенков. И все это в комбинации с окатанными камнями пестрых расцветок, среди которых попадаются и снежно-белые. Красота — глаз не отвести. Жаль, что не было фотоаппарата.

Месяц назад или чуть более дети взяли меня в музей науки. На первом этаже — кафе, где посетители с охотой подкрепляются. Поскольку все приезжают на машинах, а стоянки платные, то тут же киоски, где вы платите за стоянку и получаете штамп на входном билете, иначе со стоянки не выпустят. Музей огромный и от него у меня остался сумбур в голове. Все рассчитано на развлечения — крути, верти, бегай на время, кидай шары... но есть какая-то неполноценность во всех экспонатах — никто ничего не объясняет и не демонстрирует. В результате дети и взрослые ходят, давят на кнопки, дергают за веревочки, крутят колеса, смотрят на стрелки приборов, как обезьяны. На цокольном этаже — кузнечик величиной с грузовик, зачем — непонятно. В ящиках валяются кости скелетов — что-то вроде конструктора, в других ящиках — разные минералы и горные породы. В зале, объясняющем строение и функции человеческого тела, все расписано досконально, но нет действия и потому скучно. Скучно. В одном из закутков крутят фильм — рождение человека. Весь процесс от укладывания беременной женщины на постель до выхода ребенка между ее ног досконально, без пропусков показан, с кровью, с отделением вод. Мы с внуком Кристиком смотрели этот фильм, и мне было немного неловко. Кристик уже видел этот фильм в прошлый раз вместе с братом Филей, после чего Филя замучил Дашу вопросами, где у нее дырочка, через которую он появился на свет. Покажи, и всё тут!

Когда я был в Москве, я получил заказ написать что-то вроде сценария, как должен был бы выглядеть музей науки, расположенный в национальном парке. То есть так, чтобы павильоны с экспозициями чередовались с парками, вольерами для животных, площадками для развлечений и т.д. Я такой сценарий сделал, но, как оказалось — напрасно, так как заказчица ничего мне не заплатила. А сейчас я думаю — не перевести ли его на английский и не предложить ли руководству музея...

Сдал я зачеты по английскому, теперь свободное время нужно посвящать освободившимся от учебы внукам. Родители должны ходить на работу и добывать хлеб насущный в поте лица своего.

Здравствуйте, дорогой Иван Иванович!

Просто удивительно, как неожиданный «привет» от родины может излечить от ностальгии. Конечно, березки, холмистые дали, Пушкин и прочее — это то, что вызывает слезы на глазах уехавших. А вот люди российские нет-нет да и напомним, почему их часто за границей не очень жалуют. А дело в том, что туда, за границу в совсем недавние времена ездили лишь начальство и особы, приближенные к начальству. Все они вместе вели себя там по-скотски и, в частности, давали обещания, хапали денежки под *честное* слово, а так как *чести* у них никогда не было, то они вскоре забывали об оказанном им доверии и даже смеялись над простаками-иностранцами. Мне кажется, что этот разгул бесчестия начался в 1917 году и конца ему не видно. Протягивая правую руку Америке в знак мира и согласия, Россия левой рукой продает запрещенное к распространению оружие и технологии. И кому продает! Самым одиозным и агрессивным режимам в Африке и Азии. Ну, ладно, об этом вы сами всё прекрасно знаете. Вернемся к нашим баранам, то есть ко мне.

Лежу я однажды с женой и смотрю с интересом третий сон, как вдруг мой телефон взрывается оглушительным звонком. Вскидываю, хватаю трубку, зажигаю свет. Смотрю на циферблат — два часа ночи. Наверное, что-то случилось у детей! Алло! — Пренебрежительный голос Галины Сергеевны, секретаря нашего директора Смирнова: «Примите факс!» Принимаю и читаю: «Предлагаю принять участие в конференции, которая состоится в Нью-Орлеане 20-23 июня. Наш доклад принят и будет опубликован. Смирнов».

На конференцию я не поехал, так как номера в гостинице очень дорогие, язык я еще не освоил, опять же за дорогу нужно платить и все из своего кармана. Но все же было приятно. Вот уж скоро год, как я уехал из Москвы, а мои разработки еще идут и приносят результаты... И захотелось мне побыстрее получить *грин-карту* и навестить родную лабораторию и поработать еще годик-другой с симпатичными мне людьми. В этих детских мечтах я уснул до утра.

Прошел месяц, потом другой и вдруг меня опять будят среди ночи (они ведь о часовых поясах учили в школе давно и всё-всё

благополучно забыли). Звонит мой заведующий лабораторией, то есть Вы, и весело так говорит, что у вас там возникла острая необходимость меня уволить в связи с сокращением штатов, а если я откажусь подать заявление об уходе по собственному желанию, то они создадут комиссию и уволят меня за прогулы по статье такой-то. Я, как был в одной майке, сел голый задницей на холодный стул, накатал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу и отправил им факс. После этого лег в постель, но приятных мечтаний не было, а был какой-то нехороший привкус, будто в ординарной российской столовой хватанул я тухлятины с голодухи и нечаянно проглотил.

Сегодня, почти месяц спустя, я позвонил моему бывшему аспиранту Юрию Павловичу и он объяснил мне причину такого свинского со мной обращения. А причиной оказалась та самая Галина Сергеевна. Трудовая биография подобных дам весьма типична. Работала она диспетчером в гараже и ничего ей не светило, кроме ежедневного мата и грубых шуточек трудового коллектива. Но фортуна в лице заместителя Смирнова по хозяйственной части ей улыбнулась и она была приглашена исполнять обязанности секретаря директора. Она была неприхотлива и услужлива. Бегала за покупками, организовывала фуршеты и серьезные застолья в задней комнате за кабинетом директора. Ее благодарность не знала границ и директор стал её очень ценить. Постепенно она забрала власти так много, что смогла уволить человека, устроившего её на работу. Ей привезли новенький компьютер, и она научилась нажимать клавиши, посылать почту и прочее. Она стала решать, кого из подчиненных пускать в кабинет директора, а кого отваживать (конечно, с благословения Смирнова). Себя она стала с важностью величать секретарем-референтом.

И вот эту могущественную даму я осмелился не позвать на празднование моего шестидесятилетия. Мосты были сожжены мгновенно. Я стал персоной *нон грата* в её предбаннике, она перестала со мной здороваться, и с большим трудом я принудил её отвечать на моё приветствие. Мой отъезд и трогательное прощание с коллективом, видимо не давало ей покоя. И вдруг она вспомнила, что помимо своих женских и секретарских обязанностей она отвечает за секретность в нашей конторе на неполных две сотни сотрудников. Она внушила дирекции, что ваш покорный слуга в Америке торгует секретами фирмы, имеющими стратегический интерес. От меня, стало быть, необходимо срочно избавиться. Вот

от меня и избавились сразу же после приглашения к сотрудничеству.

Цена директору, как человеку, всем известна в нашем коллективе. То, что он выстроил себе и своим детям хоромы за наш счет, ни для кого не является секретом, все известно даже его покровителям из Газпрома. Он набрал в свою тесную компанию алкоголиков и придурков, которых выгнали из высших эшелонов за непригодностью, с дальним прицелом, что связи-то у них остались. Он обеспечил их прекрасными окладами. Любой из них получал в месяц в пять раз больше, чем я со своими научными и профессорскими регалиями. Но я директора не корю. Он такой. Я с ним работал более пяти лет и мирился с его бесчестностью, потому что я был наемным рабом. А вот, коллеги, с которыми я сделал столько нового и интересного, что моих разработок хватит еще на пять лет, они-то почему не вступились. Ведь с работы их бы за это не выгнали. За что такая черная неблагодарность?! Есть, на мой взгляд, одна крайне неприятная черта у среднего россиянина — равнодушие к творимым несправедливостям. «Бойся равнодушных! — предупреждал Бруно Ясенский. — Именно с их молчаливого согласия враги убивают, а друзья предают». Но сколько таких в России, я не берусь определить. Судя по Афганской и Чеченской войнам, их — подавляющее большинство, и это страшно.

Здравствуйте, дорогие друзья.

Как вы понимаете, тема России у нас неисчерпаема. Вся активная жизнь осталась там, за бугром. Но поскольку жить прошлым тяжело и бесперспективно, то организм сам за нас решает, что пора получать положительные эмоции, чтобы не рехнуться и не загнуться окончательно. Это и означает, что время — лучший лекарь. Инстинктивно ищешь отвлечений и находишь. Недавно прошла целая серия выставок в Марблхэде (городок рядом с Линном), в которой участвовали американские и российские художники. Конечно, уровень ниже Московского, но все же были не только профессиональные, но и просто интересные работы. Одна из выставок шла неделю в Еврейском общественном центре (JCC), и мы пару раз там дежурили, заодно внимательно посмотрели экспозицию и прекрасный фильм об Эрмитаже на английском языке. Всё было узнаваемо и потому доставляло дополнительную радость. Помните у Мандельштама — «...выпуклая радость узнавания». На обратном пути из Марблхэда сестра моей жены зацепила

чей-то автомобиль, а в таком случае уезжать нельзя. Но хозяин как сквозь землю провалился. Ждали, ждали и наконец написали ему с извинениями телефон и адрес, засунули бумажку под двери и поехали домой в скверном настроении. Но все обошлось. Владелец позвонил, поблагодарил за чуткость и, кажется, это все обойдется минимальной суммой за ремонт.

А у меня произошло знаменательное событие. После недолгого хождения со справками в разные дома нам стали присылать приглашения посмотреть предлагаемые квартиры. Вначале это были крохотные помещеньца в достаточно удаленных от центра кварталах, но однажды пришло приглашение из дома, куда я мечтал перебраться. Мы отправились смотреть, но квартира нам активно не понравилась. Мы сказали администраторше, что она слишком мала, и я думал, что на этом все кончилось, ибо здесь второй раз могут не предложить ничего или предложить через годик-другой. Кстати, в уведомлении нам было сказано, что квартиру мы можем ожидать не ранее, чем через год. И вдруг звонок из домоуправления — приходите смотреть еще один вариант. Второй вариант был значительно лучше. Правда, основная комната состояла из множества каких-то закутков, но был холл и темная комната впридачу. Мы согласились. Через несколько дней получаем письмо: «Не можем заставить вас по телефону, зайдите». С нашей российской привычкой думаю: «Что-то не склеилось, а жаль, очень жаль». Иду, повесив нос. Прихожу — «Я вам подобрала превосходную квартиру, но там еще живут. Можно посмотреть». Мы с женой идем и видим — квартира, вроде бы, неплохая. Жильцы собираются переезжать, потому все вещи вылезли со своих насиженных мест и сгрудились на полу. Шагу ступить невозможно. Никогда не думал, что у людей столько может быть барахла. Короче — до конца июня они не съезжали, а потом несколько дней шел ремонт. Так что ключи я получил только 6 июля. Но ремонт нам сделали на пять! И тут мы увидели, что квартирка прекрасная, больше той, где мы жили раньше и в три с половиной раза дешевле.

Сейчас продолжаем её благоустраивать. Повесили семь картин из десяти, стало нарядно, даже празднично. Улетая из Москвы, я прихватил огромный портрет Ленина работы Кравченко. Люблю, знаете ли, иногда пообщаться с прошлым. Вытащил я его, а внук Филя спрашивает: Кто это? Я отвечаю: Это главный разбойник и злодей России. Тут Филя принялся бить вечно живого Ильича по морде, а жена по этому поводу сказала что-то нелестное в

мой адрес. Я же считаю, что внуки должны знать, через кого мы столько страдали.

За несколько дней перед нашим переездом на новую квартиру мы участвовали в праздновании Дня Независимости. Собственно, празднование началось вечером накануне торжественной даты. Я впервые увидел открытые окна и распахнутые двери всех-всех домов. Люди высовывались из окон, выходили из дверей и весело общались друг с другом. Дети играли во двориках и на улице. Движение автомобилей на дороге вдоль набережной было остановлено. Больше всего народу скопилось на участке, который уходит в океан метров на двести-триста. Там полиция города Линна развернула киоск, где одаривала всех детей синими и белыми шарами. Между тем публика комфортно устраивалась на траве, раскладывала шезлонги и складные стулья в предвкушении салюта. Салют должен был происходить с баржи, которая стояла метрах в трехстах от берега. Мы с сыном и внуками погуляли среди людей, получили несколько шаров, сфотографировались. На деревянных подмостках уже ожил оркестр. Буфет торговал напитками по страшным ценам. Я заплатил за крошечную бутылку фруктовой воды для Фили два с половиной доллара. Поскольку до салюта оставалось более часа, мы пошли к Боре на квартиру. С балкона прекрасный вид на океан. Мы расселись на балконе, и вот — салют начался. Должен сказать, что всю жизнь проживая в Москве и наблюдая салюты в честь праздников, я никогда не видел столь пышного зрелища, как здесь. Салют продолжался больше часа. Фили был в восторге, хотя и вздрагивал, если залп был особенно силен.

Пока мы развлекались, в Линне отключилось электричество. Все дома стояли темными, лифты не работали, холодильники, разумеется, тоже. Внизу под нами кипела толпа. Народу на набережную наехала тьма-тьмушная. Почти все на автомобилях. Разъезд продолжался не менее двух часов. Электричество дали только утром, но никаких происшествий, вроде бы, не произошло. Как видите, и в Америке бывают сбои.

Хотя квартира у нас хорошая, но выходит она на проезжую часть. Эта дорога находится уже год в состоянии ремонта и конца ему не видно. Асфальтовые ухабы на ней не хуже, чем в Измайлове. А поскольку машин в Линне не меньше, чем в Санкт-Петербурге, то можете представить себе, какой грохот мы слышим день и ночь.

Идет к концу моя зубная эпопея. Наконец-то я избавился от всех верхних зубов. Однако должен сказать, что три последних зуба дались мне тяжело. Вчера мне их удалили, а сегодня я сижу с отекающей мордой и пью антибиотики. Надеюсь, что выживу. А если выживу, то буду продолжать свои письма. Сегодня второе августа — день рождения Шлемова. Долго и безуспешно пытался дозвониться к нему в Израиль. До Алика Зильбурга дозвонился легко. Уж не приключилась ли с Сашкой какая-нибудь неприятная история... Он ведь такой незащищенный.

*Дорогие родственнички,
вот вам письмо с последними новостями.*

Сегодня первое сентября. Календарное лето кончилось. Здесь в Линне еще тепло. Давно не было дождя. Вчера мы с детьми и внуками отправились в лесопарк под названием Линнвуд. Эта уже не первая наша вылазка. Собирали грибы, но большинство пришлось выбросить, так как или засохли, или изъедены червями. По дороге в Линнвуд завернули в овощной магазин, где по слухам продавалась голубика по пятьдесят центов за коробку. Действительно она там была и мы взяли сразу по десять коробок. Так с ягодами в руках и отправились в лес, где еще на редких кустах осталась черника. Линнвуд расположен на берегу водохранилища, которое питает Линн. Место очень красивое — лес, скалы и гладь большого озера.

Я уже настолько осмелел, что возил Лину с нашими новыми знакомыми туда же неделей раньше, и мы там набрали уйму грибов, с помощью которых Лина украсит стол, когда придут меня поздравлять с шестьдесят вторым днем рождения. Подумать только, сколько мне лет! Я помню, как в возрасте лет тридцати пяти я высчитывал, как долго еще надо прожить, чтобы перевалить через двухтысячный год. Года скрывались за горизонтом. И вдруг я оказался в новом тысячелетии и в таком почтенном возрасте. А может быть, это не я, а какой-нибудь мой двойник? Щиплю себя за разные места — чувствую боль. Не-ет, все-таки это я. Старый, беззубый, как новорожденный младенец. Но покрытый густой шерстью на груди и спине, как какой-нибудь шимпанзе.

Да... лето прошло и лето моей жизни тоже прошло. Наступила осень. Что же я успел за истекший год? Ведь мы уже год как в Америке! В смысле работы — ноль. Напрасно я рассчитывал, что устроиться работать с моими знаниями будет легко. Виной всему,

разумеется, отсутствие языка. Но судьба уже решила иначе. Проще. Судьба подсунула мне с Линой вариант получить инвалидность, что я и сделал за себя и за нее. Пришлось заполнять множество бумаг, ходить к докторам, жаловаться на здоровье (что я терпеть ненавижу). И вот, наконец, результат — мы получаем вдвоем почти тысячу долларов в месяц и четверть платим за квартиру. В результате нам остается вполне приличная сумма на прокорм и другие траты. И светлое будущее впридачу, так как мне дали инвалидность на семь лет. Если удастся прожить еще три года, то мы окажемся уже в другой категории — пенсионеров по возрасту.

Итак, дешевая квартира у нас есть и пенсия есть. Машина есть и водительские права у меня уже есть. Лина сдавала экзамен на вождение три раза. Наконец ей повезло. Бог троицу любит. После каждого провала она приходила в таком подавленном состоянии и так долго не выходила из него, что я подумал: «Что ни говорите, а инвалидность зря не дают!» Но вот и она сдала экзамен. В общей сложности обучение и сдача экзаменов вылилось в полторы тысячи долларов. Но что такое деньги?! Если не знаете, спросите у Маркса. А то некоторые понятия не имеют, что такое деньги и говорят: деньги это *вода*. Так говорят те, у кого деньги никогда *не водились*. Деньги в сочетании со здоровьем способны дать ощущение, которое мы называем счастьем. Помните формулу: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны?» А вот другая, более приземленная формула: «Счастье есть деньги плюс здоровье!» То, что обе формулы глупые, легко доказать, проверив сложение вычитанием. Получится, что *здоровье равно счастью, из которого вычитаются деньги*. Поскольку такое счастье никого не устраивает, мы приходим к очередной народной мудрости в виде идиотской формулы: «Не в деньгах счастье»... Я бы добавил, когда их мало или нет совсем.

Однако вернемся к нашим баранам, или как говорят англичане, — к нашим соляным копиям. На всём перечисленном наши достижения не кончаются. Мы уже приобрели диван. Хорошей конструкции и широкий. Можем принять на ночлег супружескую пару. Купили столик под компьютер. Очень удобный. Вот я сейчас сижу за ним и сочиняю вам очередное письмо. Все десять привезенных картин уже вставили в рамки, которые купили на местной барахолке и на ярд-сейлах. В результате вся работа по обрамлению картин нам стоила по двенадцать долларов за штуку. А если бы мы заказали это дело в мастерской, то заплатили бы по сто

пятьдесят долларов за одну рамку, ибо здесь труд ценится чрезвычайно высоко и облагается очень высокими налогами. Чашка кофе, которую вы завариваете сами, стоит вам пять центов. Эта же чашка кофе в кафе может стоить в зависимости от престижности кафе до пяти долларов.

Для того чтобы стимулировать работу мозга, я поехал в город Нахант, который расположен рядом на полуострове, и предложил себя волонтером в научно-исследовательской морской лаборатории. Но пока, несмотря на мое внушительное резюме, мне никто не звонил. Может быть, считают, что я уже выжил из ума по старости и не стоит со мной связываться... Я, признаться, и сам не знаю, хочется ли мне работать. Но боюсь лени ума. Неработающий ум стимулирует маразматические старческие явления и способствует преждевременному старению и одряхлению организма. Это не мои домыслы, а доказано наукой. По этой же причине мы с Линой продолжаем учебу в колледже. Хотя успехи в языке более, чем скромные, будем карабкаться вверх, пока хватит сил. Начало занятий пятого сентября. Три раза в неделю по три часа вечерами. Плюс один-два урока с волонтерами или за деньги с утра. В целом получается неплохая нагрузка. Нужно только больше смотреть телевизор. Пока без подстрочника дело идет хуже некуда.

Закончил два рассказа, которые планировал написать еще в России. Не могу сказать, что я от них в восторге, но читать, вроде бы, можно. Послал часть моих материалов в журнал «Вестник». Кое-что уже не приняли, но я еще тешу себя надеждой, что хоть что-нибудь напечатают. Мне это здесь очень-очень важно. Тогда бы я отважился устроить вечер поэзии и прозы.

Какие самые яркие воспоминания о лете? Как говорят в Одессе, чтобы особенно яркие, — таки нет! Вот теперь, дорогая мама, можно и описать наше жилье. Пятый этаж. Из окна виден океан и плывущие по нему корабли, но до океана далеко. Однако бриз часто пахнет водорослями и рыбой. Прямо под нами прекрасная площадка со скамеечками и растущими вокруг них деревьями. Через узенькую улицу современное здание колледжа. Вокруг него разбит парк, растут даже сосны и опять-таки есть скамейки, так что можно посидеть в жаркий день в тени с книжкой. Дом наш имеет форму утюга, почему его все русские и называют утюгом. Мы живем в острой части утюга, выходящей на площадь, из которой устремляются и в которую вливаются два потока машин. Грузовые машины производят неимоверный грохот, который не смолкает даже

поздним вечером. Небольшое затишье наступает часа в три ночи. Я думал, что Лина будет психовать из-за шума и портить мне и себе нервы. Ведь в Москве стоило скрипнуть полу или уронить соседям ложку на пол, как начинались разговоры, что её разбудили и она всю ночь заснуть не могла. А здесь в этом адском грохоте она вставляет пробки в уши и дрыхнет без задних ног с двенадцати до шести-семи. Потом она встает, и так как пол у нас покрыт ковром (ковром для тех, кто не знает английского), я не слышу её шагов. Зато унитаз у нас по принципу действия и шуму напоминает миномет. Ты давишь на гашетку — и он стреляет. Поскольку попадание в отверстие для слива точное, то пока мы выходим из туалета чистыми и сухими. Я тоже привык к шуму довольно быстро. Интересно, что днем, если удастся завалиться поспать (ах, какое это блаженство — поспать днем!), весь этот шум не угнетает.

Внуки два месяца провели в лагере, который здесь устроен своеобразно. Их отводили на автобус в восемь утра, потом автобус ехал час до лагеря. Около четырех автобус вез их обратно, и кто-нибудь из нас их обязательно встречал. А стоило это удовольствие тысячу долларов на двоих. Учтите, что при этом Даша получила скидку вдвое. Как я уже говорил, все услуги в Америке стоят дорого. Поэтому каждый из нас, прибывших, старается, насколько это возможно, делать всё самому. Поначалу внуки возвращались домой голодными с полоумными глазами, ни на что не реагировали и вели себя возбужденно-безобразно. Потом все-таки приучились немного есть из сумки, которую Даша снаряжала каждое утро, и процесс пошел. У Кристика было две ночевки в лагере, так для него это было *Событием, к которому тщательно готовились*. Для Филиппа конец лагерной жизни был омрачен. Он стоял рядом с мальчиком, который размахивал металлической битой (я еще плохо разбираюсь в американских играх; знаю только, что битой нужно отбить сильно брошенный в тебя мяч) Так вот, этой битой Филя получил по голове. Брызнула кровь, и его отправили срочно в госпиталь. Там наложили швы и вызвали Дашу. Даша примчалась в бессознательном состоянии. Ей много не надо, чтобы впасть в психопатство. К счастью, кровь уже остановили и она отвезла сына домой.

Дней десять в августе оказались неприятно жаркими. Одну ночь я вообще пролежал под дверью в коридор. Кондиционер мы не купили во-время, а в жару за ними стояли очереди. Кстати, по условиям проживания в нашем доме мы не имеем права

пользоваться кондиционером, который высовывается из окна и портит внешний вид исторического памятника. В начале века здание принадлежало обувной фабрике, но, как я уже упоминал, фабрика сгорела, а каменный остов восстановили и внутри оборудовали под жильё. Как следствие перестройки из заводского помещения, в доме все квартиры разные, потолки у стен на метр выше, чем внутри комнаты, геометрия помещений может быть самой разнообразной. Но у нас настоящая стандартная квартира с большими шкафами, куда упрятали барахло. Сервиз, вернее его оставшаяся после путешествия часть, разместилась в кухонном шкафчике. Так что *«горкой»* здесь и не пахнет. Да и не принято выставлять посуду, если только она не музейного уровня, напоказ. Кстати, я не знаю, какой посудой пользуется средняя американская семья. Судя по тому, что я вижу в магазине армии спасения, на ярд-сейлах и в отдельных неспециализированных универмагах, — это гнусного вида и качества глина. Тарелки тяжелые, как чугун. Роспись убогая. Чашки, как в пионерском лагере. Какие там китайские церемонии с чаем! Все покупают чай в пакетиках, которые заливают кипятком, а если вы хотите попить хорошего чая, то милости просим в Бостон, в специализированное кафе, где с вас за чашечку приличного чая с пирожным сдерут более десяти долларов. Но мы нашли кафе недалеко от нас, где недавно угостились разными пирожными по полтора доллара за штуку (довольно вкусные) и разными сортами кофе, которые можно было налить в чашки размером с детский ночной горшок. Заплатив полтора доллара за чашку можно было упиться этим кофе, так как на столе стояло пять кофейников с разными сортами кофе и несколько бутылок со сливками, молоком и прочим. Но сколько может нормальный человек выпить кофе с молоком или со сливками? Я лично, выпил три раза по полчашки и больше не смог. Лина позволила себе напиться до отвала. То ли сливки были слишком жирными, то ли печень стала у меня реагировать на еду, но мне пришлось, придя домой, выпить активированного угля. Только после этого я себя почувствовал лучше. Как и в России, домашняя еда самая вкусная и самая безопасная.

Чтобы не заикливаться на еде, а это — тема неисчерпаемая, скажу, что наши мальчишки заговорили по-английски. Как же отрадно слышать, как они щебечут между собой и с приятелями! Нам уже никогда их не догнать, ибо они говорят бегло и столь же быстро понимают.

Если у маленьких детей успехи налицо, то про взрослых детей этого не скажешь. Даша со стонами ходит в ясли, нянчит младенцев, терпит унижение от коренных американок и потом выплескивает свое неудовольствие и обиды на мужа. Мы в их отношения не влезаем, хотя Лина иногда не удерживается от острых комментариев по поводу Дашиных высказываний. Дашино тщеславие не дает ей и нам покоя: ей нужно водить детей во все кружки, во все секции, ни один учитель не достоин талантов Кристика, школы плохие, дети тупые, муж зарабатывает мало денег. Отдали детей в Хилель-Академию. Там, видите ли, контингент почище, чем в городской школе. Она добилась перевода детей и теперь недовольна, что Кристика не учат математике, а учат ивриту и торе.

Сын потянул спину на работе и пошел к врачу. Врач его держал на бюллетене два месяца. Он получал восемьсот долларов ежемесячно и явно не спешил приступать к своим обязанностям. А там не стали его ждать и отдали его место другому. Теперь он снова будет работать в ночную смену. Знаете, есть люди, которых жизнь учит, учит, а им не идет впрок учеба. Их жизнь — сплошная цепь ошибок и разочарований, в которых всегда виноваты другие.

Я прожитой жизнью вполне доволен. Много, что я хотел сделать, мне удалось. Я не добился известности, меня не знают ни в России, ни в Америке, но ведь я не обладал никогда способностью к каторжному труду. Характер у меня мягкий, почти женский. Я сентиментален и слезлив. Не наделен храбростью, физической силой и выносливостью. Жадноват, недостаточно честен. Ни во что по-настоящему не верю, и потому разрешаю себе совершать неприличные поступки. А хотел бы быть честным, великодушным, щедрым, сильным, талантливым. Но одного слабого желания недостаточно. Теперь, на закате жизни я требую у своих детей и внуков проявления качеств, которыми сам никогда не обладал. Ну, не смешно ли? А справедливо ли, что другие, обладая всеми положительными качествами, которые я перечислил, тоже никому не известны ни в России, ни в Америке? А кто сказал, что успеха всегда добиваются достойные? Как раз наоборот! Бесчестные, жадные и хитрые, интриганы и прохвосты, ворующие интеллектуальную собственность у простодушных гениев и выдающие её за свою. У кого самый толстый денежный мешок? — У человека, умеющего получать незаконную прибыль и уходить от налогов... Вот какие мысли приходят на ум на исходе лета.

И вот наступила осень. Отнюдь не унылая пора. Бесконечное бабье лето и очей очарованье. Осень здесь мягкая, как любовница, которой лет под пятьдесят, которая мудра и задумчива, многое прощает и ни на что не претендует, с которой приятно проводить время, и сердце твое купается в легких и спокойных волнах любви перед тем, как совершенно успокоиться.

Как я ни старался устроить что-нибудь интересное на свой день рождения, все равно ничего не вышло. Конечно, собрались не мои дорогие друзья, а люди случайно встреченные в этой новой жизни. При отсутствии особенного выбора и то не плохо. Однако когда я решил прекратить болтовню ни о чем и прочесть небольшой рассказик, чтобы позабавить гостей, моя любезная жена сделала всё, чтобы отравить мне эти несколько минут. Пока я читал, она непрерывно парила над столом и без конца потчевала гостей. Как будто слушая меня, они были обязаны непрерывно жевать. Я бросил читать и расстроился. Получилась глупая сцена, потому что кто-то из гостей стал упрашивать читать дальше. А мне уже было противно. Противно, что я выглядел надутым дураком, насильно сующим людям свою писанину. Но, честное слово, я уже не мальчик и способен отличить хорошую прозу от плохой. И ответственно заявляю, что моя проза — *неплохая*, а местами и очень даже хорошая. Главное, Лина даже не понимает, (или не желает понимать) что своим отношением к моему творчеству она ни мне, ни себе чести не делает. Неужели текст, над которым я думал, который я анализировал и шлифовал, хуже праздной болтовни о вещах и событиях, которые мои гости и моя жена даже не потрудились мало-мальски осмыслить?

Окончилось застолье, как всегда, стоянием перед раковиной и мытьем бесконечной посуды под аккомпанемент едких замечаний милой супруги, что я суюсь с никому не интересным рассказом о своей жизни (нашей жизни!) в бывшем «почтовом ящике» и не даю людям поесть. Я покорно мыл посуду и думал о своем, чтобы не взорваться и не наговорить ей резкостей и тем самым оказаться неблагодарным по отношению к ней, которая столько трудилась, готовя еду.

Здесь, как и везде, *все хотят, чтобы ты был как все!* На то есть американский стандарт. Плохое настроение нужно скрывать и всегда всем улыбаться. Как бы ни были плохи твои дела, ты должен отвечать, что всё у тебя О'К. Нужно обязательно путешествовать и при этом много фотографировать. Нужно приглашать

«друзей» и делиться с ними впечатлениями о поездке. Если ты прочел книгу, находишься под впечатлением прочитанного и хочешь об этом серьезно поговорить, то ты болен и тебе надо идти к психоаналитику.

А если ты недоволен чем-то в США, то ты — просто дурак и должен сидеть и слушать тех, кто прожил здесь десять лет и всё-всё знает лучше тебя. Лекарства здесь самые лучшие, врачи самые лучшие, продукты самые лучшие и самые вкусные — смотри какие все ходят толстые! Америка настолько богата, что она не может позволить семье из четырех человек жить в двухкомнатной квартире (одна спальня) — всю эту хренотень вещал нам Любин мужик, и мы, как олухи слушали его и искали для сына с детьми трехкомнатную квартиру (две спальни) и не могли найти. В результате после приезда они жили у нас полтора месяца, и никого не заботило, что в двухкомнатной квартирке живет шесть человек. А потом сын нашел опять-таки двухкомнатную квартиру, в которой живет уже год, и никому нет дела, что у него проблемы с жизненным пространством.

Я познакомился здесь с одной интересной судьбой. Крепкая, высокая старуха восьмидесяти пяти лет. Была репрессирована и жила с мужем в Казахстане. Потом, накануне войны ей было решено вернуться в Ленинград. После начала войны она по совету хорошей женщины покупала сухари и тем спасла трех своих детей от голодной смерти в течение блокады. После окончания войны она однажды из-за плохой работы транспорта опоздала с мужем на двадцать минут на работу. За это им присудили по пять лет тюрьмы. Детей при этом отправили в спецраспределитель, откуда они должны были быть переведены в детский дом. Её дети прошли через страшный детприемник-распределитель. Её старший сын, который стал доктором наук и читает лекции на английском языке по термодинамике в Бостоне, написал о своем страшном детстве книгу, которую частично опубликовали в журнале «Октябрь» — *Песни Задрипанного Дэнээровца*. Это мудрое название придумали придурки из редколлегии журнала. Я читал этот роман и мороз продирает по коже. И это несмотря на то, что всё, касающееся антисемитизма и остальных советских прелестей, было вырезано. И это было сделано в 1990 году, когда мы наблюдали по телевизору триумфальное шествие перестройки! Ну, как тут не поверить, что перестройка — всего лишь маскарад, жалкий маскарад! Но я еще не все сказал. Её сын сам перевел эту книгу, уже без купюр на

английский язык и издал за свой счет. И что? Да ничего! Один из его коллег купил книгу, прочел и спросил со слезами на глазах: «Неужели всё это правда?» Вот весь итог. Стоит задуматься о роде человеческого, о сочувствии, о всеильном зле и малодушном и слабом добре, о том, что Бог забыл нас, махнул на всё рукой — разбейтесь сами. А когда поумнеете — приходите ко мне, поговорим.

Дорогая Мария Иосифовна.

Настало время, когда я могу говорить о случившемся страшном горе и выразить жалкие слова сочувствия. Во-первых, я прошу прощения, что не смог дозвониться к Вам сразу после получения этого страшного известия. В том не моя вина. У нас тоже случилась страшная трагедия, хотя никто из близких не пострадал. В результате террористических актов и разрушений вышла из строя телефонная сеть нашего штата. Я мог лишь послать телеграмму, но знаю, что телеграммы тоже не доходят. Поэтому я послал письмо Сереже с надеждой, что он вам расскажет о ситуации в США.

Но всё это мелочи, а главное, что Людочки больше с нами нет. И мое сердце ноет, потому что я очень любил её. Мне так нравилось, как она смеется, улыбается. Для меня всегда поездка к вам была праздником, потому что я знал, что увижу её. Если бы я не был женат, я непременно просил бы её стать моей женой. И вот, ничего не осталось, кроме сладких воспоминаний о ней.

Жжет меня одна мысль, что всего этого могло бы не быть, если бы она не пошла на удаление меланомы. Я узнал от знающих врачей здесь, что удаление меланомы в пятнадцати процентах случаев дает ураганное развитие рака, в то время как с меланомой можно жить и жить долгие годы.

Но что теперь сожалеть, когда дело сделано и итог известен.

Дай вам Бог сил и здоровья вынести всё и поставить на ноги внучку Наташеньку.

Я очень прошу Сережу передать Вам мое письмо и надеюсь, что Вы меня простите.

С искренним уважением и любовью

Олег

Здравствуйте, дорогие мои!

Сегодня первое ноября. Светит ласковое осеннее солнце, океан спокоен. Приметы осени только лишь в пестром уборе кустов и деревьев. На берег океан вынес массу водорослей и всяческий

человеческий мусор. Запах разлагающихся водорослей неприятен, но картины, которые отлив оставляет на песке — потрясающая графика, исполненная сепией и коричневым соусом. Гулял с фотоаппаратом полтора часа, фотографировал. Размышлял о жизни. Недавно кто-то слушал новости из России. Погода там отвратительная, снег с дождем. Я живо представил грязь, которую все тащат с улицы в подъезды, вспомнил нашу лестницу с испанскими стенами, неделями не моющиеся лестничные площадки, лифт, в котором регулярно мочатся, и порадовался впервые за много месяцев, что живу в чистейшем доме, где ковер в коридорах ежедневно моют и чистят, где на стенах ничего не пишут, а комната, куда сносят мусор, почище иных апартаментов в Москве, не говоря уж об остальной России.

Теперь, пожалуй, можно рассказать, как мне хотели сделать операцию на сердце. Обходительный и молодой доктор Майский провел меня по всем испытаниям и так как я плохо ходил по дорожке, поставил меня в очередь на операцию. Мне должны были засунуть катетер через тазобедренную артерию в аорту и оттуда в сосуд, который зарос ржавчиной. Когда мне делали операцию, я ничего не чувствовал, но был очень рад, когда она кончилась. Однако финал был неприятным. Доктор Майский сказал, что у меня заросли ржавчиной целых три сосуда. Поэтому он решил не расширять ни одного, а послать меня на серьезную операцию с заменой трех сосудов. Сами понимаете, настроения это мне не прибавило. После осмотра сосудов с помощью катетера меня отдали на попечение медсестре, которая прикладывала к ране на бедре лед и всем весом зажимала её, чтобы кровь не текла. Так она на мне лежала около часа, развлекая разговорами. Потом она вместо себя положила на рану мешочек с песком и позвала двух черных. Они подняли меня вместе с простыней и положили на каталку, потом перевезли меня на четвертый этаж и скатили с простыни на кровать. Шевелиться мне не разрешали, чтобы не пошла кровь. Поставили мне литровую банку с физраствором и ушли. Я лежу, таращу глаза и жду, когда можно будет начать шевелиться (через шесть часов после операции, не меньше). Физраствор благополучно в меня перетёк и раздул мне мочевой пузырь. Чувствую — сейчас лопну. Надавил кнопку. Пришла сестричка. «Пис-пис», — говорю ей на смеси русского и английского. Поняла и принесла утку литра на три. Вставил я туда свой мальчик-с-пальчик, а водичка из него не течет. Никогда не думал, что писать лежа на спине так трудно.

Нет гидростатики. Как это младенцы ухитряются писать лежа, да еще с задранными вверх ногами? Короче, эта нехитрая операция заняла у меня минут десять, не менее. Поскольку я джентл-мэн, я не осмелился просить сестру принять от меня сосуд. Кое-как я свесился на левый бок и постарался поставить его под кровать. Так эта чертова посуда опрокинулась, а в неё я нажурчал не менее литра! Сам не знаю как, я ухватил её и поставил вертикально, но при этом сделал себе очень больно справа, где у меня была дырка. Сестричка пришла, я извинился, что напачкал, а она мне — ничего-ничего, не расстраивайтесь. Хорошая девочка. Не ругается. Лежу. Два часа дня, в животе у меня вакуум, так как было велено приезжать на операцию на тощий желудок. Слава Богу, я догадался взять с собой немного кураги. Залез медленно-медленно в сумку, которую черные бросили под кровать, достал курагу и сосу. И тут началось. Каждый час стали мне измерять давление, брать анализ крови и определять температуру. Принесли обильный обед из четырех блюд. Такой обед, скажу я вам, пальчики оближешь. Но всё сожрать я не мог и оставил на потом. К тому же спать захотел. Но разве это сон, если тебя каждый час будят. Половина больницы приходила ко мне смотреть, как заживает моя рана, другая половина брала анализы. Искололи руки до ужаса. Причем белые делают вполне прилично, а черные тыкают иглой, как будто перед ними не вена на руке, а верблюжья задница. Мало того, поставили мне монитор, чтобы он всю ночь записывал моё сердце. Утром я встал с дурной головой, пошел в туалет, и там, как ты мама уже догадалась, мне стало дурно. Я обычно заранее распознаю признаки приближающегося обморока. Поэтому, не доделав своих дел, я быстренько-быстренько метнулся к постели и уже на угасающем сознании коснулся головой подушки. Через минуту мне полегчало, я покрылся холодным потом, голова стала необыкновенно ясной (похоже на приступ эпилепсии, правда?) и я пошел отдавать свои долги в туалет. Потом был завтрак и опять бесконечные отборы крови и измерения давления. Чувствую — пора смываться, пока на самом деле не заболел серьезно. Пришел Майский с девкой-хирургом: «Не желаете ли, не выходя из больницы сразу на операционный стол, вот эта дама — замечательный хирург, я вам советую не откладывать...» Я ему говорю, что не готов, что у меня куча дел, предстоит переезд, нужно окончить семестр по английскому. Вижу, он впадает в раздражение. «Ну, смотрите, — говорит, — придется вам снова все анализы повторять!». Девка-хирург ушла, а я

ему говорю, что очень плохо спал, ослаб и вот, обморок случился. А этот чудаковатый отвечает мне, владельцу обморока, которым я страдаю с детских лет, что это у меня была остановка сердца из-за заржавевших сосудов. Я ему толкую, что это у меня с детства, когда сосудики были чистые-пречистые, и вижу, что он накаляется от злобы и снова мне толкует, что это мои сердечные проблемы. Как говорил Пушкин, — не оспаривай глупца. Я кивнул головой, он успокоился и ушел. Кое-как я дотянул этот бесконечный день. Опять меня мучили со взятием крови и давлением, но на завтра светила свобода, и я решил терпеть. Утром я позавтракал и быстро-быстро стал собираться. Но, как выяснилось, поспешил. У них была пятиминутка, потом сессия, потом Майского куда-то вызвали. Пришел он в час дня и, наконец, где-то там расписался, и я расписался, что претензий к ним не имею, после чего я отбыл на вызванном такси домой. Две недели я не мог смотреть на свое правое бедро — это был сплошной черный синяк (или синий черняк). Болело в низу живота долго. Руки тоже все были черно-синими. «Господи, — думал я, — если такая пустяковина вызывает столь тяжкие последствия, то как же чувствуют себя больные после вскрытия грудной клетки, вытягивания сосудов из ног и рук, замены сосудов и прочего? Нет уж! Буду лечиться изо всех сил и тянуть до последнего! Еще столько незаконченных дел!»

И я начал лечиться. Сестра Лины прислала мне целый ящик лекарств с наставлениями, как их принимать. Самое главное лекарство — адская смесь, которая чистит сразу все сосуды. Как она чистит, не знаю, но после приема её вовнутрь в виде водного раствора, сразу бежишь в туалет, так что с запорами проблем не было все три месяца, пока я её пил. Остальные лекарства гомеопатические — по двадцать капель под язык два раза в день. Как я понимаю, при таких дозировках изготовители ничем не рискуют. Не знаю отчего, скорее от отчаяния, я стал жить активнее и почувствовал себя значительно лучше, чем до операции. Я даже стал ходить по пять километров с гантелями и очень окреп. Я многое понял о себе. Мне нельзя много есть, и нельзя часто выпивать, особенно после физической нагрузки. Все остальные недомогания, в том числе мигрень остались при мне, но сердце явно стало работать лучше. Правда было несколько тяжелых дней, когда я, как раньше в Москве, не мог начать двигаться без нитросорбида, но общий фон был благоприятным. Когда кончилось зелье, естественно встал вопрос, продолжать или прекратить курс лечения. Изготовители утверждают,

что следует пить их набор лекарств до полного исчезновения симптомов плохой пропускной способности сосудов. Я взялся за изучение рецептуры главного зелья и обнаружил, что тупые фармацевты и тупые медики рассчитывают на тупых потребителей. Оказалось, что главное зелье это смесь лошадиной дозы витамина С и панангина, куда для отвода глаз добавляют немного селена и других микроэлементов. Когда я это понял, то долго смеялся над своим легковерием, а когда отсмеялся, то заказал в Москве «Аспаркам» — аналог панангина и выписал себе минералы и поливитамины. А эти деятели заставляли меня поглощать такие дозы панангина, что я удивляюсь стойкости моего организма.

Я позвонил в Москву подруге Лины, которая всю жизнь поддерживает себя разными народными снадобьями, и она мне сказала, что спасается чесночной настойкой, которую добавляет по каплям в молоко. И это самое лучшее средство для чистки сосудов. Это я тоже взял на вооружение. *Человек, помоги себе сам!* Так написал поперек одной из рукописей великий Бетховен, когда увидел на ней надпись автора: *Да поможет мне Бог!*

Однако вернемся к нашим занятиям английским языком. Нам в известной степени повезло в этом году, так как вместо косноязычного мексиканца нам сейчас преподает миловидная толстушка килограммов на сто с гаком, школьная учительница. Её пышные формы возбуждают меня и вдохновляют. Вместе с юными латиноамериканцами мы учимся читать и понимать тексты, приведенные в учебниках. Некоторые из этих текстов написаны бывшими учениками американских колледжей. Они признаны лучшими и поэтому помещены в наши учебники. Люди пишут о случаях из жизни или о своих ежедневных трудностях и, читая их незамысловатые сочинения, начинаешь лучше понимать суть американской жизни. Одно из таких сочинений мы прочли недавно. Написала его женщина лет сорока, родом из Венесуэлы, которая вышла замуж за американца из штата Айова, прожила с ним в мучениях двадцать лет, родила трех детей и потом была оставлена этим человеком на произвол судьбы с плохим знанием языка, без специальности, без денег и с детьми, которым предстояло еще долго учиться в колледже. Она не сдалась. Она поступила в колледж, где ей было очень трудно учиться. Она решила стать медсестрой, чтобы помогать другим людям. Эта мысль её поддерживала. Чтобы платить за дом и за еду, ей пришлось наняться на две работы. Дальше она описывает свой обычный долгий-долгий день.

Она встает перед восходом солнца, принимает душ, одевается, готовит завтрак для всех и ланч для себя, выполняет массу мелких и неприятных дел, затем едет сорок пять минут до колледжа, где ей нужно понять материал по химии, а в голове вертится, что у неё протекает водонагреватель и, не дай Бог, потребуетеся его замена. Потом она вспоминает, что вызвала санитарного работника, чтобы извести термитов, поселившихся в фундаменте. После напряженного утра в колледже она мчится в свой офис, чтобы разобраться с горой почты, ответить на вопросы босса о местонахождении контейнеров с товаром. К пяти часам вечера она снова мчится в колледж и нервничает, так как негде запарковать машину. Она учится до десяти вечера и едет домой, прикидывая в уме, сколько у нее будет посетителей, желающих сделать прическу — это её вторая работа, когда нет вечерних классов. Когда она приезжает домой, её ждет голодный сын. Когда она заканчивает домашние дела, уже полночь, и она еле добирается до постели. И эта мука не на один год!

Когда я сказал нашей милой толстушке, что сочувствую этой бедной женщине, то узнал, что почти такую же жизнь ведет и она, наша учительница. У нее тоже трое детей и она хочет, чтобы они закончили колледж. И она работает на двух работах — в школе с детьми и с нами в колледже. Муж её бросил и детям не помогает, он болен раком, у него еще и другие болезни. У неё миллион забот с домом и т.д. Тогда я спросил, почему же Америка считается такой богатой и счастливой страной, если люди работают до полного изнеможения и не видят просвета. Уж не лучше ли наша отсталая и грязная страна, где люди живут в квартирах, а не в своих домах, где у многих нет машин, мобильных телефонов, компьютеров и прочей техники, но есть свободное время, чтобы погулять в парке, почитать книжку, пообщаться с друзьями? Да, мы жили бедно, но были духовно богаты. Мы платили за билет в консерваторию два рубля, а не пятьдесят-сто долларов. Если бы не партийные вожди, наша жизнь, честное слово, была бы не столь уж жалкой. Это они довели страну до полного развала, это по их вине и злему умыслу мы были вынуждены стать беженцами, потому что до сих пор антисемитизм не рассматривается в России, как государственное преступление, и толпы вырождаков с бритыми лбами объединяются в отряды погромщиков.

Ну, ладно. Бог их рассудит. Расскажу о другом. В процессе обучения английскому я то и дело сталкиваюсь с литературой, которую совершенно не читал и не знал в России. Здесь очень

популярны короткие рассказы-эссе, которые иному читателю покажутся слишком примитивными, слишком дидактичными, но мне лично некоторые из них кажутся достойными внимания и, кроме того, они возбуждают мой ум и понуждают его к творчеству. Один из таких рассказиков в немного сокращенном варианте я сейчас для вас переведу. Итак...

«Миниафоризмы для моего крестного сына»

Дорогой Сэнди,

Твоя записка с благодарностью за подарок по случаю твоего окончания колледжа только что пришла, и я похихикал над твоим постскриптумом, в котором ты говоришь, что подарок очень хорош, но ты хотел бы, чтобы кто-нибудь дал тебе полдюжины *умных* советов, как согнуть окружающий мир в баранку.

Ну, Сэнди, я должен признать, что у меня нет особенно оригинальных собственных мыслей, но спустя годы я оформил несколько идей подобного сорта — не общих мест, а достаточно остро отточенных, чтобы остаться в моей голове навсегда. Эти концепции освобождают энергию, облегчают решение задач, обеспечивают кратчайший путь к достойным целям. Никто не передал их мне в чистеньком пакете. Просто они передавались мне время от времени от людей, вовсе не занимающихся раздачей мудрости. По сравнению с проверенными временем правилами они могут показаться весьма ничтожными, но каждая из концепций помогла мне сделать свою жизнь значительно легче и счастливее, и даже более продуктивной.

Вот они. Я надеюсь, что ты найдешь их полезными тоже.

Если ты не можешь изменить обстоятельства, то попытайся изменить своё отношение к ним. Без сомнения, самый мрачный период моей жизни был с зимы 1942 до 1943. Я был с Восьмой воздушной армией в Англии. Мы сидели в сырости среди моря грязи. На земле был холод, сознание ничтожности и тоска по дому. В воздухе люди становились мишенью. Замены не предвиделось, моральный дух был низким.

Но был один сержант, командир экипажа, который всегда был приветлив, с хорошим чувством юмора, всегда улыбающийся. Я наблюдал его в один из ненастных дней, когда он боролся за спасение летающей крепости, которая соскальзывала со взлетной полосы в трясины. Он посвистывал словно жаворонок. «Сер-

жант, — сказал я ему кисло, — как вы можете насвистывать в таком жутком положении?» Он усмехнулся: «Лейтенант, когда нельзя изменить обстоятельства, вы должны изменить своё отношение к ним, приспособиться к ним. Вот и всё»

Отметь это для себя, Сэнди. Ты со временем увидишь, что столкнувшись с рядом проблем, один берется за них с умом и мужеством, а другой может реагировать с негодованием и горечью, третий же может вообще убежать. В любой жизни обстоятельства имеют тенденцию оставаться непоколебимыми. Но отношение к ним является предметом выбора — и этот выбор в основном является твоим делом.

Не подходи к сетке, не имея ничего за спиной. Однажды на вечеринке мой друг адвокат, частый партнер по теннису сделал предположение, с которым я не согласился и в вызывающей манере к тому же. Но когда я заключил, что привел решающий аргумент, мой друг выставил защиту и начал разрушать мой довод. Там, где у меня были мнения, у него были факты, там, где я имел теорию, у него были статистические данные. Он, совершенно очевидно, знал намного больше моего о предмете спора. Когда мы прощались, он подмигнул мне и сказал: «Ты должен лучше знать предмет, о котором споришь, а то ты подходишь к сетке, не оставляя ничего за спиной».

Это правда. Игрок в теннис, который следует своей собственной слабости или плохо подает подачу под сетку, — безнадежно уязвим. И это справедливо, когда ты бросаешься во что-то без серьезной подготовки или планирования. В любой важной попытке ты должен провести домашнюю работу, выстроить свои факты и отточить своё умение. Другими словами — не блефуй, потому что в случае блефа с вероятностью девять из десяти жизнь нанесет тебе сильный удар в левый угол.

Когда бал окончен, снимай свои бальные туфли. Ребенком я часто слышал эти слова от моей тетки, и это меня сильно озадачивало, пока я не услышал, что означает этот жизненный урок. Моя сестра вернулась домой после очаровательного уикэнда, полного блеска и обаятельных людей. Она оплакивала контраст с её рутинной работой, её скромной квартирой и её ежедневными друзьями. «Юная леди, — сказала моя тетка нежно, — никто не живет на вершине горы. Туда хорошо пойти ради вдохновения, ради новых перспектив. Но ты должна спуститься после этого вниз, потому что жизнь идет в долинах, то есть там, где фермы, сады

и угоды и где пашут и работают. Вот где ты можешь применить твоё вдохновение, которое ты получила на высоте».

Это простая, но ценная мысль: когда приходит время (как это всегда бывает) ты должен сменить свои бальные туфли на рабочую обувь.

Освещайся сиянием твоего соседа. Однажды воскресным утром я дремал на задней скамье маленькой деревенской церкви и смутно слышал, как старый пастор понуждал свою паству «перестать беспокоиться о собственном сиянии и освещаться сиянием своего соседа». И это подбросило меня на скамейке с широко раскрытыми глазами, потому что это поразило меня так, будто в формуле из нескольких слов была вся мудрость взаимоотношений с людьми.

Она мне нравится за её вовлечение каждого, потому что каждый на каком либо отрезке жизни имеет своё сияние, за которое его ценят и выражают признательность. Я люблю эту формулу за достойный путь, которым она смещает ударение с собственной персоны на интерес и отношение к другим. Наконец, я люблю её потому что она отражает глубокую психологическую правду: люди имеют тенденцию становиться тем, что вы ожидаете от них.

Будь внимателен к закону эха. Я очень хорошо помню обстоятельства, когда я слышал этот остро отточенный совет. Возвращаясь из интерната домой, некоторые из нас, молодых были в вагоне-ресторане поезда. Как-то сам собой зашел разговор об обмане экзаменаторов, и один из парней быстро сообразил, что он обманывал их всегда. Он сказал, что нашел это занятие легким и выгодным. Вдруг приятно выглядевший мужчина, сидевший особняком — он мог быть банкиром, бухгалтером, кем угодно — наклонился вперед и громко сказал, обращаясь к апостолу обманов: «И всё равно я бы на вашем месте был внимателен к закону эха».

Реальная ли это вещь, закон эха? Действительно ли вселенная так устроена, что честь или бесчестье, доброта или жестокость — обязательно вернутся к тебе? Трудно быть уверенным. И однако, с начала письменной истории, человечество имело подтверждение, основанное частично на интуиции, частично на наблюдениях, что в длинном забеге, именуемом жизнью, человек пожинает то, что он посеял.

Ты знаешь так же хорошо, как и я, Сэнди, что в этой туманной области нет окончательных ответов. Однако, как сказал тот

мужчина, «Я думаю, что я бы на вашем месте был бы внимателен к закону эха!»

Не носи дождевик под ливнем. В давние дни, когда я был бойскаутом, у нас был наставник, который был горячим поклонником жизни в лесу и натуралистом. Он обычно брал нас в молчаливые длительные прогулки, а затем вызывал нас описать, что мы наблюдали: деревья, растения, птиц, лесную жизнь, всё-всё. Неизменно мы не видели и четверти того, что видел он. «Кругом вас везде творения, — кричал он обычно и разводил широко руки, — но вы не подпускаете их к себе. Не будьте людьми, застегнутыми до подбородка. Перестаньте носить дождевик под ливнем!»

Я никогда не забуду нелепый образ человека, стоящего под ливнем в дождевике, застегнутом до подбородка. Лучший путь — скинуть тот дождевик. Я обнаружил, что лучше всего открыть себя новому жизненному опыту в твоей жизни.

Все эти фразы, которые я пересказал тебе, преследуют одну цель — большее участие и более глубокое вовлечение в жизнь. Это не произойдет само собой, любым способом. И ещё — с изумительным беспристрастием каждый из нас получает одинаковое количество минут и часов каждый день. Время — сырой материал. Что мы вылепим из него — зависит от нас.

Один мудрый человек сказал однажды, что трагедия не в том, что мы страдаем, а в том, что мы теряем. Держи это в уме, Сэнди.

Твой любящий крестный отец Артур Гордон.

...Ну, как вам рассказик из английского учебного материала? По-моему, не так уж плохо! Он отличается живостью изложения, что укрепляет мысль о его достоверности, тогда как от пословиц типа «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» веет русским бездельем и тупостью. В свое время я читал целый сборник русских пословиц и поговорок, но ничего, абсолютно ничего существенно не осталось в памяти. То ли память плоха, то ли нечего было и запоминать.

Здравия желаю!

Сегодня пятое декабря. День Сталинской конституции. Я помню пятое декабря 1957 года. В Москве стоял мороз — тридцать градусов ниже нуля, и светило солнце. Мы незадолго до этого переехали в Измайлово, тогда еще не было станции «Измайловская»

и можно было встать во дворе на лыжи и уехать в лес, что я и сделал. Как сейчас помню свой убогий лыжный наряд — синий свитерок и поверх него ставшая мне маловатой байковая коричневая лыжная куртка. День был безветренным и мороз не ощущался, только на плечах быстро росли карликовые кустики снега, как доказательство, что мы выделяем воду не только через большие отверстия, но и через кожу. Был еще один день Конституции пятого декабря, когда мы с Левкой гуляли по Москве, лил дождь, температура была пять градусов тепла. Мы зашли в ресторан «Нарва», который стоит прямо на Садовом кольце. Народу было мало. Мы сели, раскрыли меню и ахнули — такого изобилия дефицитных блюд мы никогда не видели, притом всё стоило гроши, но у нас в карманах и этих грошей было немного. Поэтому мы заказали чуть-чуть красной икры и, конечно, водочки, остального не помню. А в меню были паштет из гусиной печени в горшочке, утиные ножки и прочие соблазнительные яства.

Да... А здесь в Линне в этот день стоит роскошная теплая погода. Сейчас двадцать два градуса тепла. Я прогулялся до библиотеки в соседний городок Свамскотт, где взял книгу А. Солженицына «Двести лет вместе». Это о том, как евреи жили бок-о-бок с русскими. Я прочел эту книгу по диагонали, но в наиболее интересных местах делал закладки. Завтра я скопирую на ксероксе то, что меня заинтересовало. У меня сложился вполне определенный взгляд на подход Солженицына к такой болезненной теме, как жизнь евреев в России, и я хочу изложить его со всеми за и против. Но сейчас я хочу вам предложить концовку своего очередного рассказа, который я только что закончил. Называется он «На задворках шахматного королевства». Итак — нашему старшему внуку Кристику, как вы знаете, исполнилось девять лет, и я стал понемногу побуждать его к шахматной игре. Первые полгода он у меня всегда выигрывал — я следил за тем, чтобы у него всегда после шахмат было хорошее настроение — и результат не замедлил сказаться. Он увлекся игрой и даже поступил в детскую шахматную секцию при *ЖСС*. Я не сказал бы, что обучение шахматам поставлено там на высоте. Теорию, как мне кажется, детям пока не преподают. Зато большое внимание уделяется игре и турнирам. Для ребят до десяти лет турнир заключается в том, что каждый участник должен сыграть по четыре партии. Затем определяется чемпион по числу побед в этих четырех партиях.

Мы ехали по хайвэю полтора часа до городка Вестборо, нашли там школу — длинное двухэтажное здание в очень живописном месте, зашли внутрь — народу масса. Участников человек сто, не меньше. На столе в холле уже стояли призы. Все проверяли, есть ли он (она) в списке. Кристик нашел себя и успокоился. В огромном, как самолетный ангар, зале все, наконец, расселись и турнир начался. Родителям в зал, где проходит турнир, вход запрещен и поэтому я отправился гулять со знакомым. Прихожу с прогулки, а наш Кристиан уже одержал первую победу. Стою и тихонько горжусь им. Он поставил себе единичку в таблице и снова рвется в бой. Опять ушел играть, а я походил среди болельщиков и родителей. Все привезли с собой шахматы и резвятся. Один я привез только еду и питье. Проходит еще полчаса — появляется мой внук и быстро ставит себе еще одну единичку. Тут уж я совсем загордился и стал думать о том, как хорошо, что я с ним играл и занимался шахматным просвещением. Вот, думаю, будет здорово, если он все четыре партии выиграет... Не тут-то было! После перерыва, когда он перекусил, выпил сок и сходил в туалет, он играл с соперником посильнее прежних и зевнул ему на шестом ходу ферзя. При их уровне игры — это еще не смертельная потеря. Потом мы разбирали партию и я ему показал, что он мог бы разменять ферзя за две легкие фигуры, а затем постараться выиграть несколько пешек и, глядишь — его соперник с ферзем оказался бы побежденным. Однако у Кристика не хватило мужества бороться дальше. Он сдался. Медленно-медленно он подошел к таблице и нарисовал свой нолик. Оставалась еще одна партия, и он очень на нее надеялся, потому что говорили, что все, набравшие три очка, будут премированы призами. И действительно, после окончания последней партии оказалось, что четырех очков не набрал никто. Судьи приняли во внимание разные критерии мастерства — кто, мол, у кого выиграл. Если у слабого соперника, то третье место, если у сильного — то второе. Так что чемпионов набралась почти половина играющих. Все они получили по кубку с финтифлюшками. Все, кроме моего внука, который четвертую партию тоже проиграл. На сей раз он не посчитал число ударов на пешку и отдал за неё легкую фигуру, а противник был опытный и реализовал свое преимущество до полной победы. Кристик выскочил из зала, как ошпаренный, и всё бегал и бегал, как броуновская частица. Я его не трогал — пусть успокоится, а сам думал, что турниры в таком юном возрасте есть

вещь не бесспорно полезная, поскольку здорово треплет нервную систему детей и чревата стрессами. По дороге домой я думал о том, что лично моя шахматная партия идет к концу и конец известен. Мне будет поставлен мат. Но я не расстраиваюсь этим, а желаю лишь, чтобы мои внуки, будут они играть в шахматы или оставят это прекрасное занятие, сыграли свои партии в самой большой Игре достойно, не делая непродуманных поспешных ходов, чтобы они знали радость побед и горечь поражений, но оставались оптимистами.

Чтобы не заканчивать письмо на грустной ноте, скажу вам, что теперь я стал намного красивее, чем прежде. У меня появились зубы. Мне повезло со стоматологом. Умный, образованный, руки замечательные. Это вам не Гомбург! В Днепропетровске был челюстно-лицевым хирургом. Приехал сюда и поступил на первый курс медицинского университета. Получил диплом и, разумеется, лицензию. Если бы вы знали, какая у него техника! Всё продумано до мельчайших мелочей. Паста, с помощью которой он делал слепки с моих челюстей, была изумительного фиолетового цвета и очень приятна на вкус. Ел бы её вместо каши. Когда он мне делал удаления, я обратил внимание, как искусно он накладывает швы. Были у меня безобразные, кривые, желтые зубы с ярко оранжевыми пломбами. Из-за патологического прикуса я то и дело прокусывал себе щеки, язык. И как прокусывал! Кровь лилась! А теперь у меня белозубая нахальная улыбка. Имеется даже, я бы сказал, некоторое несоответствие между старой, изжеванной физиономией и красивой, белозубой улыбкой. Эх, если бы еще поменять старые гениталии на новые, свежие — не было бы отбоя у Линнских красавиц! Мечты, мечты... А ведь есть кобели, которые в шестьдесят два женятся на молоденьких и делают им детей! Но, как у вас в неметчине говорят: *Jedem das Seinem*. Не знаю, правильно ли написал, ведь прошло сорок пять лет, как окончил школу, где учили немецкому языку. Старикам в утешение вместо острых ощущений даны воспоминания. Помните, как у Беранже в переводе Курочкина стихотворение «Чердак»:

Я снова здесь, где приходилось тугу,
Где нищета стучалась мне в окно.
Я снова юн, со мной моя подруга,
Друзья, стихи, дешевое вино.
В те дни была мне слава незнакома.

Одной мечтою радостно согрет,
Я так легко взбегал под кровлю дома.
На чердаке все мило в двадцать лет.

В следующем письме я вам расскажу, как мы с Линой присутствовали на школьном празднике в честь Хануки. Ведь внуки учатся в еврейской академии. А сейчас я хочу поздравить всех вас с наступающим 2002 Новым Годом и пожелать вам здоровья на весь год и удачи.

Шолом алейхем!

Итак, Даша нас пригласила на День Песни в честь Хануки, который состоялся в соседней Марблхэдской школе. Билеты были платными. Огромный зал школы (не меньше, чем в кинотеатре «Первомайский») был забит под завязку. Однако духоты не чувствовалось. Даша заняла нам место, а дети уже стояли на сцене. Нас агитировали купить лотерейные билеты, но мы отказались. И вот, перед началом концерта началась лотерея. Назывался ряд и место, после чего счастливый обладатель ряда и места шел к сцене и получал выигрыш. Эта процедура заняла битый час. Поскольку мы были без билетов, то мы сердились и негодовали, что такое скучное мероприятие поставили перед концертом, да и дети устали.

Но вот на эстраду поднялась пожилая дама, одетая в заношенный синий спортивный костюм — хуже, чем нянечка в нашей школе в послевоенные годы. Оказалось, что это — учительница музыки. Она очень лихо дирижировала хорами, составленными из детей разных возрастов, причем те дети, которые не участвовали в исполнении, садились на пол, а когда наступала их очередь, они поднимались. Но в самом начале все-все стоя пели сначала гимн Соединенных Штатов Америки, потом гимн Израиля, потом «Алейнем шолом алейхем». У меня и у Лины глаза на мокром месте, — я так прямо слезами обливался от умиления. Потом мы слушали массу песен и удивлялись, как быстро учительница музыки подготовила такую грандиозную программу. Наши мальчишки пели без энтузиазма. Младший всё время вертелся и, по моему, неохотно открывал рот. Старший, хотя и пел, но руками выделял что-то несуразное — то в нос залезет, то в карман, то почешется. Но самое интересное было потом, когда все преподаватели во главе с директором стали полукругом и под управлением всё

той же учительницы музыки исполнили несколько песен, причем некоторые молодые женщины пели с большим воодушевлением, даже азартом. Это мне было в новинку. А в заключение выступил хор родителей, которым дирижировала молодая, энергичная, нарядно одетая чья-то мама.

От этой всеобщей музыки и всеобщего энтузиазма мы пришли в экстаз и аплодировали, не жалея ладоней...

Сегодня 13 января 2002 года (компьютер мне подсказал, не надеясь на мою память) мы ждем гостей, и по этому случаю Лина готовит утку. На обертке птицы написано, что процесс приготовления займет три часа. Так как сегодня воскресенье и идет густой-густой снег, то торопиться нам особенно некуда. В утку воткнут датчик температуры, который выскочит, когда она будет готова к поеданию. Кроме того, внутрь положен пакетик с апельсиновым соусом. И как мы только жили без всех этих китайских церемоний! Вы помните, — в Москве продавались замороженные утки по цене один рубль тридцать копеек за килограмм? Утки были расплюсчены, словно по ним проехал асфальтовый каток, и покрыты густой растительностью, особенно подмышками. Вначале я тратил бесконечное время на косметическую операцию по удалению остьев и пуха, используя даже плоскогубцы (потому что ногтями из утки остьев не вытащишь), но потом оказалось, что при жарке всё это благополучно растворяется и не влияет на вкус птицы. Покупали мы сразу по три-четыре штуки и, должен сказать, они были удивительно вкусны, не говоря уж об экономичности. Сейчас в Москве утки стоят сумасшедшие деньги и они покрыты толстым слоем жира, а те были постными... Вот такие гастрономические воспоминания...

Сейчас принимал душ и вспомнил анекдот середины сороковых годов. Собрались главы четырех держав и стали нахваливать свои страны. Рузвельт сказал: «Моя страна многочисленная, как трава» (ударение на первом слоге), Гитлер сказал: «А моя страна крепкая, как штык», Черчилль сказал: «Моя страна — это слава!». А Сталин сказал: «А наша страна — это бык! Бык ломает штык, съест траву и обос... славу!» Этот анекдот сопровождался энергичной жестикуляцией, что усиливало эффект от мощи Быка.

Как вы помните, сын собирался стать домовладельцем. Всё-всё он делал, как надо, нанял адвоката, заплатил за инспекцию дома и прочее. Однако, когда настала пора брать кредит в банке, оказалось, что ни один банк не соглашается дать ему кредит при

отсутствии кредитной истории. Не помогло даже участие Леона. Короче говоря, — всё благополучно лопнуло с потерей 2700 долларов. Но я, так же, как ты, мама, считаю, что всё к лучшему. У сына нет опыта эксплуатации большого дома с жильцами. Тут нужно иметь железные челюсти и связи с полицией и администрацией города. А если жильцы поймут, что он еще щенок и перестанут платить, что он будет делать? А банк ждать не будет! Отберет дом и весь сказ! Конечно, он был очень расстроен, да и потерянных денег ему было жаль. Он собирался посвятить свою дальнейшую жизнь управлению домами... Думаю, что это от него не уйдет. Сейчас у нас сильный спад в экономике. Дома должны, в конце концов, подешеветь. А к тому времени, глядишь, он устроится на приличную работу, появится у него кредитная история... Сейчас мы живем ожиданием лучшего. Я ходил в Джуйку и там записали сына на трехнедельную учебу банковскому делу. Более того, после учебы они будут его трудоустраивать в банк. Дай Бог, чтобы не сорвалось. Учеба бесплатная, но её стоимость — 3000 долларов.

Мои дела потихоньку идут. Напечатали стихи в журнале «Бостонский Космополит» и рассказ в журнале «Вестник». Это самый первый рассказ, который я написал много лет назад. Те, которые лежат сейчас в редакции «Вестника» куда сильнее. Надеюсь, что постепенно их опубликуют. Сейчас замыслов никаких нет, а жаль. Я уже втянулся в писательскую деятельность.

Здравствуйте опять, или опять здравствуйте!

Сегодня 12 февраля 2002 года. Завтра утром я отошлю вам экземпляр своей статьи, которая называется «Открытое письмо Александру Солженицыну». Это по поводу его книги по истории русско-еврейских отношений. Все евреи, которые прочли эту книгу, считают, что от неё несёт антисемитским духом. Пересказывать статью не стану — сами прочтете.

Какие у нас новости... Сын принят на работу в банк. Сейчас он проходит учебу. Дай-то Бог, чтобы у него пошло дело. Сейчас ему очень тяжело. Он работает без выходных. Утром в субботу и воскресенье развозит газеты по двум городам, наматывает километров по триста за день, а вечером развозит пиццу. В будние дни с утра до шести часов в банке, который находится в полутора часах езды от дома, а вечером — три раза в неделю занятия в колледже. А ещё надо закупить продукты для семьи и сделать кучу домашних дел. Даша вести хозяйство не умеет. Деньги утекают

между пальцев, а даются тяжелым трудом. Когда он приступит к работе в банке, это будет, как я надеюсь, близко от дома и ему будет легче. Кроме того, если ему дадут полный рабочий день, то он сможет отказаться от развоза газет.

Меня очень расстроило известие, что мама проворонила у себя воспаление легких. Надо внимательнее относиться к здоровью в твоём возрасте. Ты должна жить ещё много лет. Пока ты жива, — я остаюсь твоим сыном Аличкой и, вроде бы, не так уж стар. Я очень надеюсь, что ты поправишь здоровье.

Сейчас у нас разгар гриппа. Дети болеют тяжело, температура под сорок. Кристик уже стал выбираться, а Филип пока сильно температурит. Даша тоже заразилась и лежала сегодня с высокой температурой. Я отвез Лину с утра ухаживать за всеми. Разразимся мы или нет, не знаю, но помогать-то надо!

Я тут постригся наголо — давно мечтал, но разочаровался. К лысой голове хорошо было бы прибавить мощную бороду для противовеса, а так получился футбольный мяч с усами. А тут, как назло, прислали письмо из конторы по натурализации, где требуют прислать фотографии для получения *green*-карты. Вот теперь тяну время, а то они сопоставят мои старые фотографии с новыми и скажут: Это другой человек, оформляйте документы заново. Правда, сейчас в связи болезнью внуков некогда идти фотографироваться.

Ходим на английский с отвращением. Надоело. Да и преподаватель глупый. Но перестать ходить нельзя — вычтут из нас деньги, которые запланированы на семестр, а так глядишь — ещё и стипендию дадут. Деньги крошечные, но приятно.

Письмо получилось куцее и глупое. Но не всегда же рождать шедевры! Надо и о быте рассказать на бытовом уровне.

На сегодня всё. Целую.

Привет из Линна!

Три дня назад наступили короткие весенние каникулы в колледже. Спасибо за передышку. Что-то в этом году английский стал слишком тягостным. Наш умник-преподаватель, который рассадил нас с Линой, чтобы мы не общались на русском языке, решил обсудить с группой проблему человеческих ценностей. Что, по мнению группы, самое ценное в жизни. Он начертил на доске — Любовь, Деньги, Труд и Здоровье. Я сразу же ответил, что главная ценность — это деньги, так как с ними можно рассчитывать поправить здоровье и завоевать любовь. В нашем классе больш-

инство составляют молодые девушки и женщины из Доминиканской республики. Естественно, они меня осудили и сказали, что главное — это любовь. Этот бессмысленный спор был остановлен моей мудрой женой, которая высказалась в том духе, что каждый возраст имеет свой идеал: в двадцать лет главное — любовь, в тридцать — работа, в сорок — деньги, а в пятьдесят — здоровье. Согласен с нею полностью.

Время от времени, занимаясь кухонными делами, осознаю, в каком средневековье мы жили в Москве. У меня на кухне в раковину вмонтирована мясорубка, которая размалывает все органические остатки и уносит с водой. Поэтому и засоры крайне редки. О том, как мы сражались с русской сантехникой, я написал рассказ «Страсти по Трастанецкому». Жалко, что он длинный, а то бы можно было переслать по факсу. Опять же, сравним холодильники. Всю свою сознательную жизнь я оттаивал морозильную камеру. Для этого нужно было сначала её выгрузить, потом нужно было налить в камеру горячей воды, чтобы лед поскорее растаял. Потом нужно было осторожно отделять лед от тонких стенок камеры и сбрасывать его в унитаз или раковину. Как правило, независимо от марки холодильника, в камере было место, где было трудно добраться до льда. Тогда нужно было ждать, пока лед сам обвалится. Когда лед обваливался, он падал на продукты, которые находились под морозильной камерой и его нужно было своевременно убрать, пока он не растаял и не замочил их... Наконец, мы избавились от примитивного холодильника и купили самый новый ЗИЛ. И что же! Нет-нет! Это был безусловно более прогрессивный вариант. Стенки камеры не зарастали льдом, потому что специальное устройство плавило лед и вода стекала в поддон под холодильником. Но если вы забывали вовремя опорожнить поддон, то на кухне образовывалась лужа и иногда довольно большая. Начинало вонять сыростью. Этот климатический режим очень любили тараканы, которые начинали буйно размножаться... Ничего такого в Америке нет. Образующаяся из тающего льда вода испаряется путем подогрева. И никакой возни с холодильником. Положил продукты, взял продукты. И всё! Мне интересно, как я буду воспринимать Московскую действительность, случись мне побывать на родине. Не исключено, что мой приезд будет первым и последним. Трудно после цивилизации возвращаться к варварству.

Поехали мы тут с Линой на концерт в Симфонический Холл. Мы достали студенческие абонементы по десять долларов за 23

концерта! Однако абонементом это назвать нельзя, так как на лучшие концерты нам билетов не достается, и мы едем каждый раз в Бостон без уверенности, что будем слушать музыку. Удивительно, насколько высока здесь посещаемость симфонических концертов. У нас представления начинаются в час тридцать — и зал почти всегда совершенно заполнен. Очень высока концентрация стариков и старух, но оно и понятно — младший и средний возраст пашет на работе в поте лица и всех остальных мест человеческого тела. В Бостоне масса концертных залов, многие из которых не уступают по размерам Московской консерватории. А народу в Бостоне около 700 тысяч, и вот такая впечатляющая заполняемость зала. Не то, что в Москве с её одиннадцатимиллионным населением. Вы, наверное, слышали, что Бостонский симфонический оркестр является одним из известнейших в мире. В этот раз мы с Линой опять не попали на представление, но я не жалею, так как мы совершили чудесную прогулку по центру Бостона. Должен сказать прямо — Москва со всеми своими историческими достопримечательностями не дотягивает до Бостона. О Нью-Йорке, думаю, и говорить нечего. Удивительно, что при такой непомерной площади России, в её столице нет таких больших ухоженных парков, как в Европе и Америке. Измайловский или Филевский парки представляют собой просто прирезанное и плохо обустроенное пространство сельской местности и их размеры ни о чем не свидетельствуют. В парках Бостона вы увидите памятники, обелиски, фонтаны, пруды. В Санкт-Петербурге Летний сад, задуманный и исполненный по воле Петра, являет собой пример, каким должно быть городскому парку.

Так вот, гуляли мы по Бостонским паркам, кормили белок, разглядывали небоскребы. Они здесь не очень высокие, этажей по 40-50, но образуют необыкновенно красивый ансамбль. В конце парка мы зашли в туалет, где, как везде, чисто, не воняет ничем, в изобилии туалетная бумага — и все бесплатно. По ассоциации вспомнил, как после начала перестройки, некоторые предприимчивые люди взяли на откуп общественные туалеты. В один из них я попал, встречая поезд из Ленинграда. Разумеется, туда была очередь. Всё внутри было выложено новым кафелем, но нормальных европейских унитазов не было. Вместо них были использованы те же дыры в бетоне, что и при коммунистах, и сидеть можно было только на корточках. Публика не очень старалась попасть в дырку, вследствие чего моча непрерывно поступала с возвышений, где

восседали клиенты, на мраморный пол. Молодой парень со шлангом метался среди кабин и пытался смыть дерьмо перед началом обслуживания следующего изнывающего клиента. Если предыдущий клиент промахивался мимо дырки, парень горько и громко причитал на весь туалетный зал. Слово «засранец» в различных модификациях не сходило с его уст. Невзирая на адскую работу, в отделанном цветным кафелем зале стояла обычная русская вонь. Этому способствовало еще и то, что парень смывал дерьмо горячей водой... Ну, хватит неприятных воспоминаний. Ассоциации заводят, черт знает, куда. Ведь говорили о музыке и вот, на тебе!

Кристик начал делать первые успехи в шахматах. Его возят на турниры, а он занимает призовые места. Игру он еще толком не понимает, признаков гениальности я не обнаруживаю. Многие начинают играть в шахматы лучше с возрастом, то есть, когда мозг созревает. Турниры здесь платные, хочешь играть — плати. Так что у сына дополнительная статья расхода. Два раза я ездил с внуком, вез с собой еду и питье. Надо же будущему чемпиону подкрепляться в перерыве между партиями. Но на одном из турниров детей кормили за счет устроителей, привезли очень вкусную пиццу и много, так что и мне достались два прекрасных куска, которые я с большим аппетитом съел, запивая пепси-колой. На турнир уходит почти весь день. Начало в одиннадцать, но нужно приехать к десяти, а конец в пять. Кристик играет по четыре партии с противниками и очень устает и нервничает, особенно, когда проигрывает. Учить теорию шахмат он пока не желает. Конечно, ведь это же трудно и потому скучно!

Тут нас повели на встречу с чиновником, который желает стать сенатором от штата Массачусетс. Джуйка обещала поддержать кандидата, вследствие чего наши активисты и Люба с мужем, в первых рядах, уговорили нас и других знакомых пойти присутствовать на встрече с избирателями, благо всё должно было состояться в довольно дорогом ресторане на центральной улице Линна. Я вообще-то не хотел идти, но пошел и теперь не жалею. Нас очень вкусно кормили. Выставили горячие тефтели в подливке, морские продукты в виде шашлычков, обернутых тоненьким слоем грудинки, был очень вкусный пирог с сыром и шпинатом и стояло две больших головки мягкого маслянистого сыра, который мазали на слоеное печенье. Запили всё чашкой кофе, после чего кандидат сказал свою короткую речь, представил нам своего старшего сына и поверенного в делах и стал ожидать вопросов.

Наши евреи стали жарко выступать, чтобы он пообещал вернуть нам бесплатное зубное лечение. Он сказал, что постарается. На эту тему выступило человек шесть. Потом одна дама сказала, что у нас велика преступность, но её не поддерживали. Наконец выступила еще одна дама и сказала, что в Линне очень грязно, на что кандидат ответил, что денег на уборку пока не хватает. Тут я тоже попытался выступить и сказал, что денег особенно много не нужно, а нужно закрепить участки улиц за домами и придумать систему штрафов для тех домовладельцев, которые не убирают мусор. К моменту моего выступления все уже наорались, так что мое — единственно ценное предложение пролетело мимо ушей кандидата. Все выступали через переводчика, так что время было растрачено неэффективно. Но не беда. Зато мы хорошо угостились. Нам еще вручили по гвоздике, выкрашенной в зеленый цвет в честь дня святого Патрика, и липучке с именем кандидата. Собственно, мне то что... Голосовать могут только граждане США, а мне до гражданства еще три с половиной года. Может быть, в России тоже теперь подкармливают население перед выборами, но уверен, что в ресторан их не водят. Рестораны для избранных. На моей памяти на каких-то выборах кандидат раздавал бутылки водки тем, кто будет за него голосовать. Народ с охотой продавал свой голос за бутылку, причем «свои люди» зорко смотрели, чтобы получивший бутылку не вздумал проголосовать за другого кандидата. Этот случай неожиданно попал в газету, но, думаю, злоупотреблений на выборах в России куда больше, чем в США. Должна же Россия хоть в чем-то занимать первое место! А наш-то, американский кандидат вежливо нас так обслуживал за три недели до выборов и даже не спросил после кормежки, согласны ли мы за него подать голос. Какие все-таки, американцы доверчивые люди, ну прямо, как дети. Конечно, у них есть хитрые злодеи, но, слава Богу, мы их видим только в кино, а в кино порок всегда наказан, и добродетель всегда торжествует.

Здравствуйте, дорогие родственники!

Ну вот, настала новая Пасха, или «Passover», если говорить по-американски. Здесь этот праздник празднуют всерьез и долго, все звонят и поздравляют друг друга. Нас пригласили знакомые, мы пришли, но вся процедура напоминала обычное московское застолье. Мы пили водочку с красной икрой, а дамы и сын знакомых пили сладкое вино. Была маца на столе. Хозяйка

сготовила куриный бульон с клецками. На том обрядная часть праздника кончилась.

Скажу честно. Лично мною, получившим атеистическое воспитание и пришедшего к мысли о существовании Бога самостоятельно, ритуальные процедуры, замедляющие процесс принятия пищи, ощущались, как досадное замедление темпа жизни. Я считаю, что хорошо жить с Богом в душе, а всё остальное ничем не отличается от недавнего партийного прошлого с бесконечными восхвалениями Правителя. Однако должен оговориться. Здесь во время прошлой пасхи я был в синагоге и взял почитать, что там такое написано в связи с праздником. Кроме того, что я немного образовался в религиозном смысле, чтение этой тонкой книжки с выдержками из толстых книг насторожило меня и заставило с вниманием прочесть некоторые места. Своими наблюдениями я хотел бы поделиться и с вами, мои дорогие.

В повествовании об Исходе я нашел, что евреям надлежит считать себя не только избранным, но и возвеличенным народом: ***...Благословен Ты, Бог Всесильный Наш, Король вселенной, Который избрал нас из всех народов, возвысил нас над всеми языками и освятил нас Своими заветами...***

Евреи могут быть свободны только в Израиле. Нужно по обычаям праздника обязательно приглашать «постороннего» и делить с ним трапезу: ***...Вот скудный хлеб, который ели наши предки в земле египетской. Всякий, кто голоден, пусть войдет и справляет Песах. В этом году — здесь, на будущий год — в Земле Израильской. В этом году мы рабы, в будущем году мы будем свободны.***

Следующая мысль меня потрясла. Как смогли евреи того времени «догадаться» о космогонии Бога, что он больше вселенной?!: ***...Почему Всевышнего вместо Его Собственного Имени называют именем Маком (пространство, место)? — Потому что Он является Вместилищем вселенной, а не наоборот.***

Получается, что Бог ответственен за всё, что происходит во Вселенной — рождение новых звезд, образование черных дыр, разбегающаяся Вселенная, немыслимое количество звездных галактик, планет и сгустков материи, немыслимые расстояния. И вот, Бог среди этого своего имущества находит нечто, напоминающее соринку, то есть нашу Землю, и на этой соринке выращивает крошечный народ, который с Альдебарана или Сириуса не

разглядеть в самый сильный телескоп, и, бросив все дела, занимается вопросами обрезания, всесожжения, наставляет иудейских царей и прочее. Удивительно! Прошу прощения за комментарии.

Еда представляется высшей ценностью: *По великой благодати Его никогда не доставало нам и не будет доставать еды во веки веков... Благодарим мы Тебя... за снесь, которой Ты питаешь нас непрестанно: ежедневно, ежевременно и ежечасно... питай, обеспечивай, содержи нас в достатке, Боже Всесильный Наш, и избавь нас от всех наших бед. И не принуждай нас, Боже Всесильный Наш, прибегать к подаркам смертных и к их займам...*

Удивительна сила веры, заключенная в следующих строчках, ибо ни один из живущих не дожил до пришествия Мессии. Некоторые утверждают, что у евреев нет бессмертия и рая, но строчки приведенные ниже опровергают это: *...Да удостоит нас Всемиловитый дожить до дней пришествия мессии и до жизни грядущего мира... Блажен человек, уповающий на Бога, ибо Бог будет твердыней его.*

Из тесноты взывал я к Богу, ответил мне в просторе Бог. Бог за меня, не боюсь я. Что сделает мне человек? Бог был мне в помощь — увидел я, как месть настигла врагов моих. Лучше быть в тени у Бога, чем довериться человеку. Лучше быть в тени у Бога, чем довериться благороднейшим. Все народы меня окружили — я Именем Бога сокрушу их. Обступили меня, но именем Бога я сокрушу их. Окружили меня, как пчелы, погасили пламя мое, как огонь в терне, но именем Бога я сокрушу их... Не умру я, буду жить — возвещать о делах божьих. Карал меня Бог, покарал, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, я войду в них, буду Бога благодарить. Это врата Божьи — праведные войдут в них...

Вот такие мысли и чувства по случаю Пасхи. В христианской религии, так же, как и в других религиях мира, я уверен, вы найдете семена Правды и Мудрости необыкновенной. Нужно только преодолеть лень ума и не замыкаться на сиюминутном. Не каждая минута спасает нашу жизнь. Есть время работать и есть время отдыхать. Есть время задумываться над тем, ради чего мы живем...

Вместе с Филиппом учится мальчик из американской семьи. Мама этого мальчика пригласила всю семью в гости на Пейсах.

Даша по этому случаю купила мальчишкам новые джинсы и рубашки. Дети быстро устали на празднике и заснули, поскольку религиозная процедура утомительно-долгая. Даша боялась, что она будет пьяной, так как ей сказали, что евреи пьют четыре обязательных тоста, а дальше, кто как может. Оказалось, что на столе было всего две бутылки вина, одну из которых принесла Даша. Она в полном восторге от праздника.

Завтра сын приступает к работе в банке на полную ставку да еще с дополнительными часами. Всего он будет работать 50 часов в неделю. Я за него переживаю. Боюсь, чтобы он не срезался на какой-нибудь чепухе. Какая все-таки разница отца и сына! Я в 36 лет работал начальником сектора, получал весьма солидную зарплату и не доставлял своими проблемами лишних волнений родителям.

Не знаю, как вам в Германии удалось адаптироваться настолько, чтобы не грустить о прошлой жизни. Я, лично, при том, что всячески пытаюсь оживить своё существование, чувствую себя в тюрьме, которую создал собственными руками. И дело здесь не в Америке и американцах. Мир замкнулся, сузился до крохотного еврейского местечка, которое живет слухами о большой и полноценной жизни, которая где-то далеко-далеко. Да, есть семья и дети, дай им Боже здоровья и долгих счастливых лет жизни. Но я! Я замкнут в двух комнатах с женой и мне некуда деться. У меня было ДЕЛО в жизни. У меня были ДРУЗЬЯ и ЗНАКОМЫЕ. Я видел вокруг себя массу симпатичных и неприятных лиц, и я был счастлив с одними и избегал других. Я ходил на работу. А здесь малейшая шероховатость в отношениях разрастается до космических размеров и требуется масса времени и нервов, чтобы сгладить эту шероховатость. Да, я могу одеться и выйти на улицу. А дальше? Да, я могу пойти в библиотеку. Но я никогда не любил сидения в библиотеке, мне там неудобно. Я никогда не думал, что 24 часа в сутки с любимым человеком могут оказаться пыткой. Ей, наверное, всегда было со мной неинтересно, но у меня была отдушина. Я мог делиться мыслями с друзьями, с коллегами. А теперь я могу поверять свои мысли только бумаге и ждать по году, пока капризный редактор что-то возьмет для публикации. А хочется истинного тепла и общения!

Пишу я эти горькие строки не ради жалости ближних моих. Я уже пережил первый стресс после приезда, когда мне было действительно плохо, я всего боялся. Письмо в почтовом ящике,

которое я не мог понять, приводило меня в отчаяние. Я боялся что-то где-то не заплатить, что-то забыть. Я вставал утром и с тоской смотрел в окно, не зная, чем заполнить день. Я с яростью занимался языком, думая, что в нем мое спасение. Ничуть не бывало! У меня нет никакой потребности искать на старости лет американских друзей, ибо мы прожили разную жизнь и пришли к разным итогам. Несчастные, приехавшие из России, все похожи друг на друга, все они представляют собой удобрение для подрастающего поколения. Они погрузились в эту жизнь, у них есть обильная еда и крыша над головой, чего же еще желать?! Почти все они были людьми с высшим образованием, с теми или иными духовными запросами. Теперь они дышат последними новостями из России и Израиля, бегут, сломя голову, на концерты стареющих знаменитостей, не замечая, что они сами себя предали. С ними абсолютно не о чем говорить. Они легко впадают в раздражение, когда пытаешься их расшевелить, доказать им, что статья в газете «Форвертс» не есть истина в последней инстанции. Я тут было строил планы выступить со своими стихами и рассказами перед русскоязычной аудиторией. А теперь думаю — перед кем же я собираюсь выступать! Ведь я их уже видел в Москве, в Еврейском культурном центре. Это всё те же старики и старухи, которые плетутся через весь город, чтобы послушать лекции по еврейской истории. Что им мои стихи! Моя боль и моя любовь! Как будто пришел в музей мадам Тюссо. С таким же успехом можно стараться развлечь мумию фараона.

Дорогие друзья, здравствуйте!

В Линне снова весна. Вот скоро уже два года, как мы в Америке. Слушаю вести из России и радуюсь, что меня там нет. Недавно вернулись оттуда знакомые. Настроение у них от всего увиденного и услышанного весьма мрачное. Дороговизна страшная. Возросли несоразмерно доходам квартирные услуги. Пенсии повысились, но они все больше отстают от цен. В Москве возводят все новые шикарные здания для банков и других финансовых институтов, жулики застраивают виллами Подмоскovie. Народ в массе своей бедствует. Молодые содержат пенсионеров. Специалисты, окончившие престижные университеты, вынуждены уходить в бизнес или уезжать за рубеж. По признанию самих властей из страны уехало 250 тысяч специалистов. На фоне арабо-израильского конфликта страшно усилился антисемитизм. Молодых людей привлекают в

отряды штурмовиков. Все громче слышится призыв: Россия — для русских! Путин ведет тайную политику запугивания, а в открытую изображает доброжелательного отца народа. Люди стали бояться открыто критиковать президента. А между тем и сегодня на многих предприятиях по полгода не платят зарплату.

Послушаешь такие вести и пропадает желание туда поехать. А ведь там друзья. Левка мой стал уже четырежды дедушкой. Наконец-то, его сын, который поп, родил мальчика. Я его поздравляю, говорю ему, что видишь, мол, как Господь умножает твое семя, а он отвечает, что это не его семя, что все они Шуруповы. А я его убеждаю, что неважно, как они будут называться. Короче — особой радости он от этого не испытывает (а это то, о чем мечтают все нормальные люди), однако летом поедет с дочкой Ленкой в деревню пасти своих внуков.

Орловские всё еще работают. У Саши был приступ желчно-каменной болезни, вызывали скорую. У Жени нашли полипы в кишечнике. Хорошего мало. Пора бы начать следить за здоровьем, но когда его уже нет или оно на исходе, то следить особенно не за чем и незачем! Надо сменить образ жизни, но бросить работу и сидеть на пенсии они пока не согласны. Кстати, у Жени двое внуков, так что посидеть спокойно им не дадут. Сашкин сын Андрей никак не заведет семью, а ведь ему уже сорок лет! Увлечения его, как у молодого студента — катание на роликовых коньках, современная музыка и прочее. Задержался в развитии, не стал взрослым.

Звонила Ирма из Израйля. Дочка Рая работает, её ценят. Но как сложится жизнь у родителей? Пока им сняли дорогую квартиру на полгода, а там нужно будет где-то подрабатывать или даже работать всерьез. У Ирмы перспективы нет, но Фима является крупным специалистом по сталям и, возможно, что он найдет работу. Тетка Вера в хорошем состоянии, бодра и весела, чего я желаю маме от всей души. Всё было бы хорошо, если бы не война. Похоже, что мир в Израйле становится всё менее вероятным. Удивительна реакция Западной Европы. Они всё-всё позабыли. Они проводят такую же политику умиротворения арабов, как когда-то умиротворяли Гитлера. Сейчас в Европе живет около двадцати миллионов арабов и, думается, настанет день, когда европейцы дорого заплатят за свою тупость и мягкотелость. Нельзя находиться в нормальных отношениях с людьми, которые посылают своих детей на самоубийство ради денег. Должен сказать, что 25 тысяч долларов, которые Саддам Хусейн выдает за каждого самоубийцу,

являются для бедных палестинских семей невиданным богатством. Так что пока есть такой стимул, самоубийцы-взрыватели будут продолжать свое грязное дело.

Помните Эйдельманов? Инна собралась тут удалить желчный пузырь, который у неё забит камнями. Легла на операцию и чуть не померла. Врачи устроили ей перитонит и еле вытащили. Сейчас уже, слава Богу, все позади. Но какова американская медицина! Не говорил ли я, что всё дело во врачах, а врачи везде одинаковы. Среди них есть гении и дураки, а дураков, как известно, всегда намного больше. Люба уже учла этот печальный опыт и не торопится лечь под нож со своим желчным пузырем. А ведь так решительно собиралась до этого прискорбного случая!

Сын понемногу втягивается в работу в банке. Как я понял, его продвижение зависит от того, кончит ли он колледж по банковской специальности или нет. Так что процесс роста затяжной, не менее, чем на два года, а ведь он еще даже не поступал. Теллер — это нижняя ступень. Что ж, пусть пройдет свой путь наверх. При упорстве он к сорока годам может выйти на вполне удовлетворительный уровень. Дашины планы я не знаю. Думаю, что ради детей и ради уменьшения платы за школу ей нужно сидеть в еврейской коммьюнити.

Тут по случаю дня свадьбы Даша принесла букет роз. Букет красивый, но нужно ли было выбрасывать такую кучу денег? Пройдет три дня и я отнесу его на помойку. Ощущения праздника в связи с годовщиной нет. Все молодые заняты, а с Любой мы видимся почти каждый день. В Москве мы собрали бы гостей, Лина готовила бы, неделю не выходя из кухни, я бы мыл тарелки и стаканы до двух часов ночи, но было бы ОБЩЕНИЕ с друзьями. Было бы ощущение праздника. Лина очень резко реагирует на мои предложения что-либо сделать или куда-либо пойти. Тут же мне затыкает рот: «Что ты там **бубнишь?**» Это гнусное слово она начала произносить в каждом случае, когда я ей не угодил. Сегодня мы поехали на машине с Любой погулять по берегу океана. На обратном пути Люба предложила посмотреть садик, который устроили жители окрестных домов за один день. Я сказал, что мы могли бы пойти туда пешком, это близко. В результате я опять услышал: «Что ты там **бубнишь?!**». Я озверел и сказал, чтобы она ко мне с этим словом больше никогда не обращалась. В результате она надулась и весь вечер со мной не разговаривает. И некуда мне от дорогой супруги деться! От этой ситуации, которую никак

невозможно решить, можно свихнуться. Комнат у нас всего две и одна из них проходная...

Вчера решился, позвонил в один толстый русскоязычный журнал «Слово-Word» предложил свои рассказы. Девчонка из редакции сказала мне, чтобы я послал. Ну, я и послал целых десять рассказов. Если повезет, они что-нибудь напечатают. А если не напечатают? Даже не знаю, что тогда делать. Посмертная слава мне ни к чему, да никто и не будет копаться после меня в моих бумагах. Выкинут всё в мусорный ящик. Вот дилемма: мой архив, моя корреспонденция остались в Словакии. Не знаю, как их оттуда выскрести. А если бы даже и удалось перевезти мои материалы сюда, то кому я мог бы доверить распоряжаться архивом или хранить его? Сыну наплевать, Даша — чужой человек, внукам это не нужно, а Лина ... Завидую Орловскому. У них есть преемственность. Документы его отца хранятся, как реликвия. Сам Орловский ничего после себя не оставляет, поскольку он есть человек не пишущий. Ему легче.

Несколько слов о том хорошем, что есть в нашей жизни. Время от времени на нескольких каналах телевидения передают необычайно интересные для меня передачи, связанные с исследованиями природы или Космоса. Слава Богу, я уже в состоянии многое понимать, когда слушаю и одновременно прочитываю подстрочник. Эти передачи долго вертятся в моей голове и побуждают к мыслительной деятельности. Вот, к примеру, недавно была передача о вулканах и вулканической деятельности на Земле. Оказалось, что извержение вулкана Санторин в Средиземном море, в результате которого погибла Атлантида и возникли мифы о всемирном потопе, — всего лишь семечки. Даже извержение вулкана в Индонезии, в результате которого климат Земли похолодал на несколько лет (тучи пепла и газов не давали пробиться солнечным лучам), еще не предел. Но раз в 600 тысяч лет происходит извержение супер-вулкана, который находится под долиной, в которой расположен Йеллоустоунский парк в Америке. Ученые обнаружили, что после его извержения в океане выпало 35 сантиметров пепла. Подсчитано, что среднегодовая температура на Земле упадет примерно на пять градусов и это будет продолжаться много лет. Ясно, что большая часть суши будет в замерзшем состоянии и все живое погибнет. Никто не знает, когда начнется это извержение, но знают, что под долиной находится озеро расплавленной магмы размером 30х50 километров.

Если в нашем распоряжении имеется хотя бы тысяча лет, то человечество за эти годы найдет способ нейтрализовать чудовищную разрушительную силу предстоящего извержения, а если в нашем распоряжении только сто лет, то мы можем не успеть. Наши успехи в науке и технике еще недостаточны для нейтрализации столь грозных явлений. Так что наша Земля вовсе не старушка. В её нутре еще кипят гигантские силы, способные в один момент расправиться с высшими формами органической жизни, которые она сама и породила.

Время от времени я гуляю с младшим сыном Любы. Иногда среди пустых разговоров, как он спал или как он играл тремоло на гитаре, он дарит меня замечательными наблюдениями, свидетельствующими об его остром уме. Так, недавно, говоря о том, что в Москве собираются поставить памятник Булату Окуджаве, он сказал, что тому *повезло с друзьями*, которые организовали это дело. И действительно — великим нашим поэтам-современникам пришлось ждать более полсотни лет, пока им воздвигли памятник, а многие никогда этой чести не дождутся.

На закуску привожу вам две выдержки из школьных сочинений. «Добрый доктор Айболит отрезал ноги богатым и пришивал их бедным...» и «Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там они не работали...»

Герой одного моего рассказа говорит о себе: «Я человек грустный». Тут мама в разговоре посетовала, что письма мои печальны. Что ж, буду стараться впредь писать о чем-нибудь веселом, если жизнь подкинет сюжетик. Но пока... Кстати, среди массы пошлых анекдотов, которыми пичкают нас местные русскоязычные газеты, наткнулся на один, который близок мне по мироощущению. Вот он. «Невозможно двигаться быстрее света... Да если бы это и было возможно — зачем? Всё равно никто не увидит, никто не оценит...»

Здравствуйте, дорогие мои родственнички!

Теперь о нашем путешествии в Калифорнию. Возможность путешествовать в последние десять лет стала как бы индикатором успеха, как ранее, при коммунистах признаком успеха были хорошая квартира, плюс машина, плюс дача. Как будто возможность провести лето на даче, купаться в озере или реке, загорать, собирать ягоды и грибы, является отдыхом второго сорта. Ох уж эти мне стандарты благополучия! И ведь многие, очень многие

чувствуют чуть ли не ущербность, если не могут съездить на неделю в Париж.

Скажу честно, я уступил пожеланиям жены и согласился на длительную поездку вопреки своей натуре, потому что я по природе домосед. Многие вещи, ради которых люди едут за границу, я видел в кино, по телевизору, читал о них в книгах. Я достаточно нафарширован информацией. Многое, конечно, испарилось из бедной головы в силу преклонного возраста. Тут Люба с мужем слетали на неделю в Италию, пробежались по нескольким городам, включая древние Помпеи. Восторги-восторги... Когда же я стал у Любы расспрашивать разные подробности о Помпеях, то выяснилось, что я, никогда там не бывший, гораздо больше знаю и «видел», чем они.

Но давайте съездим в Калифорнию. Леон дал нам возможность лететь бесплатно в оба конца. В Америке многие авиалинии предоставляют своим постоянным клиентам такую льготу — один раз в год вы или ваши друзья, родственники могут бесплатно лететь куда угодно при условии, что вы налетали так называемый майлидж (по нашему, километраж). Разумеется, рейс вам предоставляют не самый удобный, с пересадками в пути туда и обратно.

За неделю до отлета Лина начала паковать огромный чемодан на колесах, который одолжили у Бориса. Чего только она туда не сложила! Этот чемодан впоследствии был самым моим лютым врагом, потому что каждый раз запихивая его в багажник машины и вытаскивая его из багажника, я сознавал, сколько в нем лежит невостребованной одежды и обуви. Если в следующий раз я отправлюсь путешествовать, то возьму только одну смену белья и две рубашки, чтобы путешествовать налегке. В Бостонском аэропорту мы вели себя, как растерянные провинциалы из глухомани. Слава Богу, что Америка — страна эмигрантов и туда приезжают даже такие, кто и самолет увидел первый раз в жизни. Так что персонал аэропорта ничему не удивляется и ничем не раздражается, напротив, старается помочь и успокоить. Ведь мы вначале даже не знали с какого терминала будут нас сажать в самолет, а терминалов в Бостонском аэропорту около десяти. Ко дню отлета я уже знал, что наши авиалинии отправляются от терминала «В». С хорошим запасом времени Люба привезла нас и даже довела до очереди где сдавали багаж. Мы нервничали, поскольку нам предстояла пересадка в Филадельфии и в случае запаздывания рейса

мы не успевали на рейс в Сан-Диего, где нас должен был встречать Леон. Наш следующий терминал был под номером 20 и Борис предупредил нас, чтобы мы, сидя в самолете, изучили схему аэропорта в Филадельфии. Ничего похожего в информационных материалах, лежащих в кармане кресла передо мною, я не нашел и положился на русский «авось». К счастью, уже подруливая к зданию аэропорта я увидел, что нам предстоит пройти каких-либо сто метров. И вот мы в Сан-Диего. Поздний вечер. Леон — человек обязательный. Мы еще не получили проклятый чемодан, а он уже разыскал нас. Машина у них высокого класса, так что едешь и чувствуешь себя словно на коленях у Господа Бога. И вот мы у них дома.

Что за дом? Обычный дом, мало отличающийся от стоящих на отдалении пятидесяти метров других домов. Белые стены, черепичные крыши. Окружены зеленью со всех сторон. Так что у них за дом? Честное слово, стоит прожить жизнь и трудиться в поте лица своего, чтобы в конце жизни стать хозяином такого дома! Восемь огромных комнат с высотой потолков пять метров, если не больше. Потолки наклонные, под крышу, белёные. Кухня метров на тридцать со всеми приспособлениями, с коридора вход в бар, где сотни бутылок всяких вин. На стенах яркие плакаты, картин мало. Много удобной мебели в каждой комнате, книжные полки. Ничего особенного, сверхъестественного, ни золота, ни серебра. Просто адски удобно жить. Телевизор с экраном метр на метр. Хорошая аудиотехника. Из кухни выход на участок. На участке пальмы, кактусы размером с пивной бочонок, агавы, масса цветов. Вы, наверное, подумали, что Леон с женой Соней возделывают свой участок... Ничуть не бывало! Для этого есть латиноамериканцы, которые каждое утро работают на нем. Во дворе стоит джакузи. Попробовал я, что это такое, и мне не понравилось. Да и сидеть в горячей воде в двух шагах от других людей, хотя и родственников моей жены, мне было неприятно. Сразу за участком начинается «дикое поле», иссушенная солнцем земля, черные кусты, одним словом — пустыня. И вот, в этой пустыне человеческий труд создал сказку. Я всё смотрел и удивлялся обилию зеленых деревьев вдоль улиц, автострад. Ведь здесь не бывает дождей в течение десяти месяцев в году. Где они берут воду на орошение? Говорят, что это всё — воды реки Колорадо, которая не доходит до океана, разбирается по пути на хозяйственные нужды. Близость Тихого океана определяет умеренный климат этой зоны. Сильной жары не бывает. Однако местность, по которой мы неоднократно проезжали, покрыта черным

кустарником и кажется безжизненной. Еще одной особенностью являются бесчисленные камни, которые лежат на вершинах и склонах гор словно орехи на торте. Я обратил внимание, что некоторые из них напоминают морскую гальку — гладко обточенные, но размером с бывший советский цветной телевизор «Рубин» и даже больше. Некоторые камни нависают над дорогами и кажется, что вот-вот упадут на проезжающие машины.

В первый раз в жизни я увидел цветущие бугенвиллеи — сочетание пурпурного и кроваво-красного необыкновенно красиво.

Развлечения у нас были в Сан-Диего в основном на природе. Леон повез нас в зоопарк, в котором мы сели в вагон и поехали мимо разных животных по кольцевому маршруту. Животные паслись себе и не обращали на нас никакого внимания. Очень много было носорогов. Потом мы пошли немного пешком и я с удовольствием наблюдал вблизи семью горилл. В отличие от других обезьян они совершенно черные и вид у них страшноватый. Самец, отец семейства поражал своими размерами и производил впечатление крайне угрюмого человека, который целиком поглощен своими нерешенными проблемами. Сходство с человеком умопомрачительное.

Поскольку Леон и Соня уже перевалили за 75 лет, им трудно долго передвигаться пешком, впрочем, пешком по Калифорнии никуда не дойдешь. Так что мы всё время ездили в машине, изредка вылезая для осмотра ландшафта. Смещение графика на три часа сильно мешало мне распределить свои возможности к приему пищи. Наши хозяева нагуливали аппетит к 7 часам вечера, что по нашему было 10. Дома я ем последний раз в 5 часов, а тут я наедался до отвала и через час умирал от желания спать, ложился на полный желудок и плохо спал. Из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания я за четыре дня у Леона прибавил не менее двух килограммов и совсем перестал влезать в брюки, которые привез из России.

В один из дней мы отправились в Коронадо, на берег океана. Прогулка опять у нас вышла короткая с последующей едой тут же на берегу в старомодном отеле. Вода в океане холоднющая, никто не купается.

Последняя прогулка чуть не обошлась нашим хозяевам очень дорого. Не зная, куда нас потащить, Леон повез нас в один из живописных уголков с озером посередине. Берега озера страшно заросли, причем тропинки для пешеходов крутые и покрыты сухим песком, который едет из-под ног. Наши умники-хозяева одели

совсем неподходящую для похода обувь. Короче говоря, я не столько гулял, сколько страховал Соню и Леона, которые без конца соскальзывали с крутых тропинок. Один раз я успел поймать Соню в воздухе, когда она летела с высоты вниз. Я уж думал, что наши опасности позади, как вдруг Леон поскользнулся на песке и упал. Сердце у меня оборвалось. «Ну все, — подумал я, — конец нашему путешествию». Однако, к счастью, Леон упал не очень сильно и на следующий день он нас повез в Лос-Анджелес.

Собственно, это был еще не Лос-Анджелес, а маленький городишко вблизи этого огромного мегаполиса, насчитывающего более пятнадцати миллионов населения. В небольшом городке с романтическим названием Монровия живет младший сын Леона. Зовут его Джимми. Он очень умный и очень симпатичный человек, женат на мулатке, детей нет и не будет. Дом у него интересный, один из самых старых в городе. Во время землетрясения в 1992 году у него упала веранда и еще кое-что посыпалось, но, к счастью, в это время никого не было дома. Сейчас уже дом восстановлен. Там внутри жуткий беспорядок, но, думаю, что жить в нем этой паре удобно. Фантастически прекрасная растительность пустыни перед домом и во дворе. Поскольку эти растения регулярно поливают, они выросли гигантского размера и цветут. Для Леона и Сони возможность повидать сына — праздник, он их не балует вниманием. Соня — женщина с твердым характером и немного деспотическими наклонностями. Она не удерживается, чтобы не делать замечаний, в результате — обиды невестки и охлаждение межсемейных отношений. Невестка у нее — очень приятная женщина, совершеннейшая калекa, вся изрезана, еле-еле ходит. Но что-то Джим в ней нашел и любит её. Зовут её Карен. Джим в первый же день повел нас к себе на фирму, которая располагается на одном из этажей шикарного здания, принадлежащего банку.

Затем у Леона и Сони было несколько часов счастья, когда любимый и наиболее удачливый сын *«не побрезговал»* обсудить с родителями свои проблемы, а теперь у него этих проблем больше, поскольку он стал вице-президентом фирмы и он обязан в силу своего положения принимать не только инженерные, но и финансовые решения. Леон, как бывший вице-президент текстильной фирмы, консультировал Джима не менее 4-х часов. Они сидели на первом этаже и говорили, говорили, говорили... Соня сидела сбоку и внимала им вначале с благоговением, она буквально вдыхала ароматы этого долгожданного свидания отца и сына и была

счастлива и горда. Мы ушли на второй этаж вместе с Карен, чтобы не мешать их счастью. Между тем, разговор не иссякал, а Соня уже устала слушать и вообще устала. Мы же, чтобы не мозолить глаза, отправились с Карен на машине посмотреть Монровию. Должен сказать, что ничего интересного я не обнаружил. Очень маленький, аккуратный и скучный городишко, упирающийся в горы. Американская провинция. В горах расположен обширный парк, куда мы заехали. Было очень жарко и скучно. Спустились вниз, еще поколесили по городку и вернулись в дом. Было решено пойти в кафе. Еда, на мой взгляд, была ужасной и дорогой.

Должен сказать, что вкуснее всего мне показалось в так называемых буфетах, в том числе, в ресторан-буфете. Вы проходите с подносом мимо двух-трех десятков глубоких лотков и выбираете всё, что вам по вкусу, причем порции неограниченны. Сначала идут лотки со свежайшей нарезанной зеленью, потом куски курицы, сыр, крутые яйца, макароны со специями, рис и прочее, и прочее. Все набирают огромные порции, и вы тоже не можете удержаться. Потом вы подходите к отделу, где берете горячие супы. Я, помню, взял горячий и густой грибной суп-пюре — объедение. Можете взять еще и пиццу, и горячие макароны с сыром или другой подливкой. Они здесь называются *«паста»*. Наконец, вы набираете сколько желаете сладкого в любом виде, с чаем или кофе, или пьете воду. И все-все это стоит около семи долларов на человека! Но это было в Сан-Диего...

Поздним вечером мы распрощались с Леоном и Соней, и они укатили домой, а мы остались у *«молодых»*. Джиму и Карен, между прочим, тоже сорок с большим хвостиком. Наши планы в Лос-Анджелесе были невыясненными до конца. Джим, когда узнал, что мы собираемся провести у них четыре дня, аж побелел от испуга. К счастью, в Лос-Анджелесе живет родная сестра Леона — Алин. Карен созвонилась с ней и на следующий день она нас повезла в большой Лос-Анджелес миль за пятьдесят от Монровии. Однако перед этим мы совершили потрясающую экскурсию в ботанический сад в городе Аркадия. Гигантский участок был завещан городу богатым человеком, имени которого я не знаю. На этом участке нашлось место интереснейшим растениям, собранным со всего мира. Мало того, мы прогуливались среди многочисленных павлинов, красующихся своими «глазастыми» хвостами и огненно-синими фигурами, увенчанными маленькими царственными головками. Их мяукающие крики до сих пор стоят у меня в ушах. Это

удивительное ощущение близости к дикой природе, которое нам не было дано в нашей прошлой жизни. Хищники здесь вытеснены за пределы человеческого безопасного обитания, а все безобидные представители животного мира собираются вокруг человека и он может входить с ними в контакт. Скажу, кстати, что и в нашем холодном штате я вначале поражался обилию разнообразных птиц, белок, скунсов, бурундучков. Правда и крысы попадают часто, особенно вблизи домов. Но крысы — это проблема всех стран и она далека от решения.

...Потом мы посетили павильон с орхидеями. Два вида из них обладали потрясающим ароматом. Я стоял и вдыхал этот божественный запах и не хотел уходить. Вот так же, наверное, благоухала пища бессмертных богов на Олимпе. Меня покорило именно сочетание утонченной графики и аромата. Другие виды орхидей, тоже весьма красивые, но без запаха не остались в памяти.

Я бы ходил и ходил по ботаническому саду, но Карен быстро устала и потому мы часто присаживались в тенистых местах, возле водоемов, наблюдая диких гусей и уток, цветение неизвестных нам растений, слушая отдаленный крик павлинов.

Во второй половине дня Карен повезла нас к Алин, которая нянчила двух своих внуков. Мы провели более восьми часов в их обществе, пока не приехала молодая мама. За это время мы зашли в очень приличный итальянский ресторан, где за гроши нам принесли вкуснейшие салаты, причем порции были огромными, и мы не смогли с ними управиться. Тогда нам принесли коробочки, в которые мы упрятали недоеденное и взяли с собой. Впрочем, попользоваться салатами еще раз нам не пришлось, поскольку наша программа с Алин оказалась насыщенной и дома мы не сидели. Её дом расположен на горе, куда мы долго взбирались на машине. Разница в часовых поясах всё ещё мучила меня и я ужасно хотел спать. Лина и Алин пустились в длинные разговоры, а я тем временем мечтал улечься и, чтобы заполнить время, стал рассматривать многочисленные работы, украшающие стены жилья Алин. Её жильё совсем не похоже на дом её брата. Двухэтажная квартира. На первом этаже — огромный зал, в котором даже рояль теряется. На стенах — графика в рамках под стеклом. Есть даже одна работа Шагала. На мой взгляд, вся эта графика отличается уродливым, искривленным и лишенным эстетики отражением действительности. То, что называют *«модерном»*, скорее скрывает отсутствие способностей творить Прекрасное. И даже у Шагала, на

мой взгляд, есть гениальные работы, а есть просто мазня, но слава гения заставляет его почитателей безоговорочно принимать все без остатка. И в литературе, я вам скажу, тоже появились *«модернистские штучки»*, лишенные не только эстетики, но даже самой что ни на есть дохленькой мыслишки. Набор слов, связанных не логикой мысли, а грамматикой и то не всегда. Я не хочу им быть судьей, а лишь выражаю свое собственное отношение. Мне, воспитанному на кристально чистом и ярком языке Пушкина, претит всякая муть, которая затмевает понимание смысла. И было бы еще ради чего надрываться, разгадывая *«ребусы»*. Такого рода произведения искусства, как образно выражается Лина, представляют собой *«пирожок с ничем»*.

И еще одно, последнее соображение. Гении, которым мы поклоняемся в современной живописи, скажем, Кандинский, Пикассо и другие, начинали свой путь блестящими работами в стиле реалистической школы. Уже тогда было ясно, что им предстоит великое будущее. Они искали свои пути в искусстве и нашли, но даже поиск их был поиском гения (хотя, опять же с моей, личной точки зрения, в процессе поиска случались и неудачные, малохудожественные работы. А почему, собственно, мы допускаем слабые, ошибочные работы у крупных специалистов, работающих в области науки и техники, но должны отрицать наличие слабых, ошибочных работ у мастеров искусства!)... А тайнами ремесла они овладели еще на заре своей деятельности. То же самое мы наблюдаем и в других областях искусства, например, в музыке. Тот, кого не устраивает что-либо в музыке Прокофьева, не может сказать, что он не владеет мастерством. Есть вещи общедоступные и одновременно гениальные — музыка к кинофильму «Александр Невский» или «Классическая симфония». Но когда мы слушаем сочинения Пригова или смотрим адекватную по качеству мазню, то невольно думаем, что сотворенные *«шедевры»* есть выражение умственного бессилия и отсутствия школы ремесла, ибо даже глиняную кошку нужно уметь слепить, обжечь и раскрасить... Но вернемся в дом Алин. Под роялем у Алин лежали разные пластиковые (кожаные) змеи, которых она давно коллекционирует. Оттого, что они все лежали вытянувшись параллельно друг другу, они напоминали огромных дождевых червей или глистов, и меня затошнило от этого зрелища. Еще у неё в этом помещении стояли разные тумбочки с побрякушками из разных стран. На верхнем этаже располагалась библиотека — великолепные книги по

искусству, некоторые даже не распечатаны. Там же в шкафах стояло много приятных для глаза вещей — сувениров. Кроме того, посередине комнаты-мансарды (с тремя стенами) стоял рабочий стол с компьютером и диван, на котором мы и провели ночь. Утром я проснулся, услышав странное жужжание за балконной дверью. В окнах еще стоял туман и в этом тумане я увидел в первый раз в жизни живых колибри, которые мне напоминали маленьких серых мышек с длинными-длинными клювами. Они подлетали к кормушке, в которую был налит сахарный сироп, и это было их пищей.

В планы Алин не входило долго с нами нянчиться и потому мы созвонились с родней, которая, к счастью, также живет в Лос-Анджелесе, и они согласились нас приютить до дня нашего отлета в Сан-Хосе, где живут обе сестры Лины — Мэри и Аня. Однако перед тем, как передать нас очередной родне, Алин устроила нам царское зрелище. Мы с ней поехали в новый музей Гетти, который был сравнительно недавно воздвигнут на холме.

Должен сказать, что ничего подобного я никогда в жизни не видел. О том, как строился этот музей, даже снят документальный фильм. Называется он «Концерт Воля» в смысле, что воля многих людей была объединена, чтобы сотворить это несравненное чудо.

Миллиардер Пол Гетти оставил в своем завещании много сотен миллионов долларов на развитие культуры и искусства Америки. Для управления этим огромным состоянием был организован Трест его имени, который тратит деньги на приобретение произведений искусства и на строительство объектов культуры. В 1983 году трест приобрел 750 акров земли, включающей гору и на этой горе, над городом было решено построить новый музей Гетти. В качестве генерального проектировщика был выбран всемирно известный архитектор Ричард Мейер, известный своим вкладом в архитектурный модернизм. Стиль Мейера объединяет лучшие традиции Европейского и Американского стилей начала двадцатого столетия (см. работы Richard Neutra, Frank Lloyd Wright, Rudolf Schindler). В архитектурном комплексе музея, состоящего из семи зданий, связанных между собой в ряде случаев галереями, поражает сочетание легкости и простоты форм, образуемых пересечениями прямоугольных и круглых тел. В солнечный день на фоне синего неба создается впечатление невесомости зданий, так как они облицованы светлым камнем с легким

кремовым оттенком и в эту оправу вставлены огромные окна-стены, через которые видны интерьеры. Отражение неба в стекле создает прекрасное сочетание сине-голубого и кремового. К слову сказать — остеклено шестнадцать тысяч квадратных метров поверхности! И как остеклено! Это вам не российское оконное трехмиллиметровое стекло, которое кривое и косое и так искажает всё, на что вы смотрите, что у вас появляется впечатление, что вы находитесь в комнате смеха.

Мы поднялись к музею на маленьком и уютном электропоезде типа фуникулёра. Постепенно город уходил вниз, а музей вырастал в небе, как воздушный замок. Прибыв ко входу в музей, мы оказались на высоте около 90 метров над уровнем моря. Можно было подняться и на автобусе, но так было романтичнее. Алин работает волонтером в музее и поэтому мы развлекались бесплатно. Она сама решила, что нам показать и это правильно, потому что мы запутались бы одни и, скорее всего, пропустили бы массу интересного.

Перед тем, как начать строить, гору отутюжили и подготовили, чтобы заложить площадь под выставочные павильоны и сад. По периметру сада высадили восемь тысяч дубов. В саду произрастают семь видов кактусов и множество цветущих растений. Есть цветок, который называется *«райская птица»*. Действительно, в профиль он напоминает летящую птицу с ярко-красной головой и желто-оранжевыми крыльями.

Предстающая перед глазами панорама с четырех сторон света настолько привлекает, что забываешь о сокровищах музея, не хочется входить в здания. Там, на высоте удивительно легко дышать, масса затененных мест, где можно отдохнуть от солнца.

Примерно в центре комплекса — необыкновенной формы и красоты фонтан. Поверхность воды почти сливается с поверхностью зеркальной чистоты каменного пола. Посередине фонтана находится несколько очень крупных камней голубовато-серой окраски. Алин сказала, что эти камни Мейер нашел на вершине одной из гор, и по его настоянию эти камни осторожно отделили от горы и спустили вниз, чтобы затем поднять и установить посреди фонтана.

Напоследок я скажу, что весь комплекс облицован камнем под названием *«Травертин»*. Римляне и итальянцы использовали травертин из того же самого карьера для строительства Колизея и колоннады базилики святого Петра. Общий вес плит травертина, использованных в строительстве музея Гетти составил

шестнадцать тысяч тонн! Интересно отметить, что эти плиты крепятся к стенам зданий специальными болтами. Всё предусмотрено в выстроенном комплексе на случай землетрясения.

В фильме, о котором я говорил, показано, как была использована машина, работающая по принципу гильотины, которая откалывала от блока ровные плитки травертина. Это было сделано специально, чтобы сохранить структуру поверхности плит, на которой сохранились отпечатки древних раковин и всяких других существ, живших и умерших во времена мелового периода, то есть около ста сорока миллионов лет назад.

Как я ни стараюсь донести до вас красоту увиденного, я понимаю, что старания мои напрасны. Можно ли передать словами музыку? А ведь архитектура, по выражению Виктора Гюго, есть застывшая музыка!

В архитектурном комплексе целое здание принадлежит научно-исследовательскому институту, который, как я понимаю, занимается искусствоведческими проблемами, а также вопросами сохранения и реставрации экспонатов. К примеру, музей Гетти по договору с Германским музеем (не помню его название) взялся реставрировать античную статую императора Марка Аврелия. Это была колоссальная и ответственная работа. Статуя была сильно повреждена, часто её осколки были размером в несколько сантиметров. Нужно было восстановить их поверхность и скрепить с другими осколками. Железные болты, скреплявшие, когда-то части статуи, проржавели и окрасили камень (мрамор). Специалисты, используя достижения науки и техники не только блестяще реставрировали статую, но и засняли в мельчайших деталях фильм о проделанной работе.

Вот это умение передать пафос труда я встречал уже неоднократно за два года жизни в Америке. Труд есть истинный бог Америки, и ему поклоняются. Никто не называет труд героическим, но всякий труд уважаем. Не существует «грязных» профессий. Некий российский остроумец назвал Америку трудовым лагерем с усиленным питанием. Пусть так оно и есть, но техника и наука идут вперед и тяжелые, грязные работы всё чаще выполняют машины. Вспомните годы нашего детства и юности — сколько сил и времени затрачивалось на стирку, сушку, глажение. Потом появились прачечные, мы стояли в очереди, чтобы сдать бельё, потом — чтобы получить. А здесь, в нашем доме для малообеспеченных, так же, как и в других подобных домах размещены

стиральные и сушильные машины. Вы поднимаетесь на восьмой этаж, бросаете пять квотеров, заливаете моющий раствор и через полчаса получаете выстиранное белье. Желаете сушить — бросаете еще пять квотеров и через сорок минут получаете свежее, сухое белье. А чтобы оно не мялось, перед сушкой бросаете два листочка специальной ароматизированной бумаги. И всё! Можете это белье сразу застилать в постель или одеть на себя чистые джинсы, или кроссовки (которые также многие стирают в машинах).

...Разгуливая по залам музея я с особенным интересом осмотрел отреставрированную статую и другие предметы античности. Конечно, сокровища музея Гетти скромнее сокровищ Лувра, Музея Пушкина и других выдающихся хранилищ мира, но, тем не менее, и здесь есть, что посмотреть. Просто-напросто у нас было мало времени и сил на осмотр. Перед уходом мы зашли в кафе. Что мне нравится в Америке — так это система ресторан-буфетов. Ты платишь несколько долларов и набираешь то, что тебе нравится в неконтролируемом количестве. Посадочных мест более, чем достаточно и никто не станет тебя торопить — освобождайте, мол столик! Хоть целый день сиди и ешь! И всё самое свежайшее и очень вкусное. Надо только ориентироваться и спокойно пробовать одно, другое, третье...

После осмотра музея и плотного перекуса мы были доставлены на машине Алин к родственникам. Это было непросто, но Леон по интернету нашел и сделал распечатку участка Лос-Анджелеса, где они проживают. Алин водит машину на бешеной скорости с совершенно невозмутимым видом. Я, сидя рядом с ней на переднем сиденье, восхищался её реакцией, а ведь ей уже исполнилось семьдесят!

Родня — очень милые люди. Сестру Любиного мужа я запомнил, хотя видел один-единственный раз лет тридцать назад. Она приезжала в Москву и мы вместе ходили в ресторан. Она была в те времена очень красивой и эффектной женщиной. Любин муж шел с ней по центру Москвы впереди нас и прямо-таки лопался от тщеславия, а бедная Люба, которая казалась столь невзрачной по сравнению с его сестрой, шла с нами, отстав на пару шагов, и, возможно, питала не самые лучшие чувства к гостю. Но сейчас, по прошествии стольких лет чувства притупились, да и наша красавица, увы, превратилась в осанистую старую женщину с необъятным бюстом. Она с мужем — обычные врач и инженер, но простота и теплота общения создали такое ощущение уюта и родства,

что мы прожили у них почти четыре дня с огромным удовольствием. У неё еще жива мама, ей только что исполнилось девяносто. Мама сохранила ясность ума и выглядит вполне импозантно. Её любили мужчины, она три раза была замужем, несмотря на то, что воспитывала двух дочерей от первого мужа. У неё сильный характер и она помыкает своими состарившимися дочерьми, как прислугой.

Нас возили по Лос-Анджелесу, центр которого застроен великолепными зданиями, в которых размещаются банки, страховые общества и разного рода конторы. Нет двух одинаковых зданий. Каждый проект — своё маленькое открытие. В один из вечеров посетили, так называемый, «Молл» — место, где размещаются самые различные магазины, что-то вроде торговой площади. Моллы в Америке — явление типичное. Они есть и у нас в Массачусетсе и в большом количестве, но тот, который мы посетили, отличался особенной красотой. Под молл была отведена целая улица, по которой двигался по круговому маршруту старомодный трамвай (наподобие того, который ходит сейчас в Москве вокруг Чистых прудов). Многие магазины работали, несмотря на поздний час. Мы зашли в один из них, торгующий картинами. Этакий маленький музей: хочешь — смотри, если понравилось — купи! Работы были очень хороши. Имелись подлинники Пикассо и Шагала. Рисунок Пикассо в прекрасной раме стоил 1500 долларов. Если вдуматься — не так уж и дорого для врача, адвоката, программиста.

На трамвае мы кататься не стали, прошлись пешком и дошли до музыкального фонтана, который играл освещенными струями в унисон с музыкой. Очень понравилась мне эта *«музыка на воде»*. Не хотелось уходить.

На следующий день мы посетили городской музей изящных искусств. Я с большим удовольствием осмотрел несколько залов. Лина, правда, быстро устала. Во дворе музея стояли статуи великого Родена. Мне кажется, я их не видел раньше даже в репродукциях, хотя у меня был объемистый альбом Родена в Москве. Должен заметить, что в Америке очень много французских импрессионистов и Родена.

Когда закончилось наше пребывание в Лос-Анджелесе, Алин отвезла нас в аэропорт и посадила в самолет. Мы приземлились в Сан-Хосе, где нас встретил Валерий, муж Мэри. Напомню: Мэри — двоюродная сестра Лины по материнской линии. Они жили в Одессе и выехали в США через Италию. Тогда еще переезд в

США был чуть ли не уголовно-политически преследуемым деянием. Ах, милые вы мои! Вспомните, вспомните, через какие унижения нужно было пройти, чтобы уехать в Израиль и особенно в США! Вспомни, мама, как в ваших врачебных кругах порицали Гришу Скурковича за то, что он осмелился подать заявление о выезде в Израиль. Его вызывали в райком партии, где *«давили на гланды»*, чтобы он им выложил, почему он уезжает. А он ответил, что ему надоело считаться человеком второго сорта и он хочет, чтобы его дети выросли свободными людьми. А твоя начальница Валентина Ивановна имела наглость осуждать с *«партийной позиции»* его проступок. И это происходило не на профсоюзном собрании, а в твоей квартире, куда она была приглашена в качестве гостя! И все евреи, сидевшие за столом, чувствовали себя *«неудобно»* за своего коллегу по нации, якобы совершившего предательство по отношению к Советской Родине и Валентине Ивановне! А Советская Родина-Мачеха в лице руководящей партии, профсоюзов и начальства почему-то не чувствовала себя неудобно перед человеком, который виртуозно провел тысячи операций и тысячам людей вернул здоровье, но был и остался инвалидом *«пятой группы»*.

Когда Мэри с семьей вылетала из Одессы в Италию, даже таможенница в аэропорту, глядя на их немногие чемоданы, прониклась к ним жалостью: «И это все, что вы нажили за всю свою жизнь?!» Через что они прошли и как тяжело им давалась новая жизнь в Америке, — предмет отдельного рассказа. Никто не собирался им оказывать помощь. Они привезли с собой лишь долги в *Джуйку* и могли рассчитывать только на свои небольшие силы. Да, Америка им недешево досталась.

Но сейчас нас встречал на прекрасной белой машине немного постаревший Валера. Прошло более десяти лет со дня их отъезда. Он встретил нас очень сердечно. Увидев их дом, я был счастлив, что их жизнь настолько изменилась к лучшему. Они вдвоем зарабатывают в год не более семидесяти тысяч, из которых на жизнь остается едва ли половина, но и этого вполне достаточно, чтобы жить в прекрасном двухэтажном собственном доме, выплачивая пожизненную ренту. Потом, когда их не станет, их сын будет выплачивать ренту и, в конце концов, станет полным собственником этого дома. Их дом является составной частью таунхауза — одного длинного дома, так что у них соседи и справа и слева. Но весь этот жилой комплекс окружен металлическим забором, внутри

которого масса зелени, гараж у них на две машины свой. У дома два входа (выхода) и один из них. — в маленький собственный садик, где они посадили розы и всякие другие цветущие растения. На первом этаже две спальни, кухня, гостиная — всё хорошего размера, не тесно. На втором этаже две спальни с очень приятной ванной комнатой. Туалеты на обоих этажах. И вот, они живут вдвоем в этих хоромах. Сын снимает отдельную квартиру. У них есть всё, что может пожелать нормальный человек. И у них есть то, чего нам всем не хватало там, — человеческое достоинство. Скажу честно, что мне, доктору наук и профессору, приходилось часто идти на компромиссы, держать свое мнение при себе, создавать видимость хороших отношений с подонками, включая генерального директора. И все для того, чтобы получать жалованье, получать, как милость, потому что любое моё выступление против воровства дирекции кончилось бы моим изгнанием из института на улицу с перспективой безысходного нищенства.

Мы прекрасно провели время с Мэри и Валерием. У него была пара отпускных дней в запасе, и он нас повез в совершенно уникальное место на берегу Тихого океана — государственный заповедник под названием Пойнт Лобос. Я давно мечтал опустить руки в воды Тихого океана, и вот моя мечта свершилась. Погода была теплой и безветренной, а ведь в этих местах бывают такие волны, что уносят зазевавшихся туристов в океан с роковым исходом. Галька на берегу океана удивительных окрасок и точно отполированная. Я прихватил горсть на память, хотя в буклете сказано, что ничего трогать нельзя, чтобы не нанести ущерб природе.

Мы пошли по дороге, постепенно сужающейся в тропу и шли мимо кипарисов Монтерей — очень древних деревьев, встречающихся только на полуострове Монтерей, на Пebbл Бич и здесь, в Пойнт Лобосе. Живые деревья имеют ярко-зеленые ветви, а засохшие — черные, покрыты красными водорослями, что придает им необыкновенный, сказочный вид, как тот лес, где по сказке спала юная красавица. Скалистый берег, вдоль которого мы прогуливались, почти отвесный и для страховки от падения вдоль троп поставлено ограждение. Виды на океан открывались с высоты один краше другого, со скалами, выходящими из воды на десятки метров, лагуны были окружены лесом, на близком расстоянии можно было наблюдать лежащих на берегу тюленей, морских львов, плывущих выдр. Некоторые скалы были сплошь покрыты птицами, другие были покрыты изумительными цветами, напоминающими наши

речные белые лилии, но называющимися довольно забавно — Bluff Lettuce, что в переводе означает Салат, растущий на Утёсах, и везде мы встречались с достопримечательным цветком, олицетворяющим природу Калифорнии — калифорнийским ярко-оранжевым маком. В путеводителе говорилось, что посетители заповедника могут наблюдать игру китов и стеллеровых коров, но нам не посчастливилось. Мы провели в заповеднике часа четыре, а потом, после легкого перекуса, поехали в знаменитый город Кармел, который славится своими картинными галереями. В каталоге указано, что в городе находится шестьдесят три галереи. О том, чтобы обойти все, не могло быть и речи. Сюда надо было бы приехать на два-три дня, но у нас не было ни времени, ни сил. Однако даже то, что мы успели посмотреть бегло, по диагонали, впечатляет выше всякой меры. Может быть, не все экспонаты, выставленные на продажу, соответствуют меркам, придуманным в виде шкалы талантности или гениальности, но наряду с обычными работами я увидел массу работ высочайшего уровня и в живописи, и в скульптуре, и прикладном искусстве. Русские художники тоже выставались в ряде галерей и, кстати, были вполне узнаваемыми среди других, но не из-за тематики (матрешки, церкви и прочая расхожая дребедень), а из-за особого восприятия мира, характерного именно для русского видения окружающего мира. Я набрал несколько буклетов и с большим удовольствием смотрел их по приезде домой.

Как ни странно, но две поездки в Сан-Франциско, сначала с нашими хозяевами, а потом без них не привели меня в состояние восхищения этим, с общепринятой точки зрения, красивейшим городом Калифорнии. Набережная показалась мне грязной и запущенной, толпы жующего народа раздражали, Чайна-таун мог бы быть интересен своими магазинами, но я не особенно увлекаюсь ширпотребом, а покупать всякие безделушки я терпеть не могу. Если бы я попал в Сан-Франциско тридцать лет назад, то, наверное, у меня глаза бы горели и я жрал бы одни советские консервы, запивая водой из-под крана, только купить бы еще одну, еще одну недорогую вещьцу... Красота Сан-Франциско открылась мне, когда я наблюдал этот город с другого берега залива, через который перекинут известный на весь мир мост. Но это было уже после того, как нас встретила и развлекала в течение последних трех дней Инна Эйдельман. А пока мы еще находились у Мэри. В один из дней мы отправились в одно очень странное место, находящееся недалеко от города Санта-Круз. Вез нас сын Мэри. Мы летели на

скоростной машине по живописнейшей дороге среди гор и после некоторых блужданий все-таки нашли это *место* о котором я вам сейчас и расскажу.

Итак:

THE MYSTERY SPOT

Калифорния — это огромная страна и о ней написаны сотни книг, но я не собираюсь ставить своей целью очередной обзор, тем более, что я в США иностранец, без особых надежд вззирающий на своё будущее и весьма мало разбирающийся в настоящем. Я собираюсь поделиться со своими читателями бессистемными впечатлениями, опирающимися, тем не менее, на достаточный базис естественно-научных знаний.

Меня, как исследователя, чрезвычайно заинтересовало одно местечко в Калифорнии, называемое «The Mystery Spot», что по-русски означает «Загадочное место». Это место расположено сравнительно недалеко от города Санта-Круз, и вы едете к нему по очень живописной дороге среди гор, покрытых густым лесом. Я заранее обзавелся компасом и линейкой в надежде прояснить (хотя бы для себя), есть ли в этом месте магнитная аномалия. Был у меня с собой и плохонький фотоаппарат, у которого было два несокрушимых достоинства — он почти не занимал места и ничего не весил. Климат в Калифорнии весьма своеобразен. Вы можете катить по дороге и обливаться потом из-за палящего солнца, затем въехать в горах в полосу тумана — и вот уже солнца нет, тянет ледяным ветром, как из могилы, и вы дрожите от холода и проклинаете свою нерасчетливость, из-за которой вы не озаботились прихватить с собой в дорогу свитер. То же случилось и со мной, когда мы въехали на площадку среди скал, покрытых винтообразными искривленными «red-woods», которые в нашем большом словаре именуются калифорнийскими мамонтовыми деревьями.

Теперь немного истории. Это место было обнаружено в 1939 году во время геодезических изысканий и затем уже в 1940 году было открыто для свободного посещения. Это загадочное место имеет всего лишь 150 футов (45 метров) в диаметре. Согласно буклету в этом месте неприменимы законы физики. (Дойдя до этой строки в буклете, я пожалел, что не взял с собой секундомер, чтобы проверить ускорение свободного падения, которое, как известно, равно 9,81 метра в секунду за секунду) Буклет утверждает, что закон гравитации не работает в этой зоне. Какие-то непонятные

магнитные явления опрокидывают все наши представления о равновесии. Люди стоят на поверхности или висят на руках, отклоняясь от вертикали на значительный угол. Два человека, стоящие на цементном блоке напротив друг друга, кажутся наблюдателю то больше, то меньше ростом в зависимости от того, на каком краю блока они стоят.

Говорится, что за прошедшие годы с момента открытия загадочного места выдвинуто немало теорий, пытающихся объяснить как само его существование, так и природу неизвестных сил, действующих в данном месте. Поклонники уфологии считают, что куски неизвестного нам металла были зарыты здесь экипажем летающей тарелки для навигационных целей. Некий Дж.Хаббард провел анализ атмосферы в загадочном месте и обнаружил избыточное количество углекислого газа (диоксида углерода), который выделяется из трещин в скалах и способен вызывать головокружение у людей и даже чувство слабости. Господин Дж.Хаббард считает также, что наблюдаемые оптические эффекты могут быть связаны с изменением коэффициента преломления света в воздухе, обогащенном углекислым газом подобно тому, что мы наблюдаем над разогретой поверхностью. (Тут я пожалел, что не взял с собой хорошего термометра, чтобы проверить температуру вблизи поверхности земли в разных точках. Погода, кстати, благоприятствовала измерениям, так как вся площадка находилась в тени.)

Далее я прочел в буклете, что доктор Оскар Бранлер, один из изобретателей электрокардиографа обнаружил **высочайшую ди-электрическую биокосмическую радиацию** (?) известную, якобы везде в мире. Чтобы не пугать читателя до обморока, скажу лишь, что это бессмысленный набор научных терминов, подобный тому, которым пользовался Панург в разговоре с оппонентами в бессмертной книге «Гаргантюа и Пантагрюэль». Авторы буклетика тоже были озадачены, что бы это могло значить... Наконец, Британское Общество метафизиков тоже решило приложить свои усилия в расшифровке неизвестного явления вообще без применения законов физики.

Одним словом, случилось то, что случается всегда, когда настоящим ученым некогда заниматься **посторонними делами**, и проблема попадает в руки безграмотных спекулянтов, которые ищут, так называемое, **простое** объяснение чрезвычайно сложному явлению. Но об этом мы еще поговорим, а тогда я начал систематическое (как мне казалось) обследование загадочного места.

Первое, что меня резануло, — ужасное состояние перекошенного во всех углах помещения, в которое нас привели. Пол был сотворен из двух площадок неравной величины, которые почему-то сходились под углом одна к другой. Если у вас нет под рукой отвеса, вы никак не можете установить, под каким углом все элементы конструкции деревянного домика сходятся друг с другом. (Тут я пожалел, что не взял с собой еще плотницкого уровня и отвеса). Однако мой скепсис постепенно улетучивался по мере пребывания в загадочном месте. Я обратил внимание на тяжеленную, килограммов на двадцать гирию, которая висела на цепи, прикрепленной к потолку, и висела явно не под углом в девяносто градусов к воображаемой горизонтальной поверхности. Не доверяя собственным глазам, я попытался сдвинуть гирию из положения равновесия в двух противоположных направлениях. В одном случае гирия послушно пошла вверх по радиусу, постепенно повышая нагрузку на руки, во втором же случае я едва смог сдвинуть гирию с места!! Такой вот перекосяк силы тяготения.

На выходе из домика лежала длинная бетонная плита, врытая в землю. Человек, стоящий на ней справа от вас неизменно казался вам выше, чем тот же человек, ставший слева от вас. Я заставил свою жену и племянника встать на плиту и дважды их сфотографировал. Когда, вернувшись из путешествия по Калифорнии, я сделал фотографии, измерил рост жены и племянника на двух снимках, снятых с одного положения (я стоял на равном расстоянии от них в вершине воображаемого треугольника), то оказалось, что в одном случае соотношение их ростов составило 0,75, а в другом 0,93, тогда как реальное соотношение их ростов составляет 0,84. Интересно, что среднее из первых двух значений точно соответствует третьему. Ну как тут было не изумиться! Кстати, перед домиком также лежит короткая бетонная плита, врытая в землю. Посередине плиты укреплен пузырьковый уровень, свидетельствующий о горизонтальном положении плиты. На обеих плитах измеренные мною эффекты подтвердились снимками в буклете. Движение компаса по линии вдоль короткой плиты показало, что стрелка отклоняется от своего положения в обе стороны от нуля (Север) на 10 градусов. Вращается ли магнитное поле по мере подъема с поверхности земли и удаления от плиты мне не удалось установить ввиду дефицита времени, массы туристов и отсутствия необходимых приспособлений. Молодая девушка-гид сказала лишь, что приезжали какие-то люди из ближайшего

университета, померили что-то и уехали. С тех пор о них ни слуху, ни духу.

Ну-с, теперь, после получения некоторых, пусть неполных, экспериментальных данных, как в хорошей научной статье, следует подвести итоги. Аномалии, подобные описанным, известны в мире. Так, в научно-популярных журналах, выпускаемых в Москве, я читал о существовании загадочного места на Урале то ли в Челябинской, то в Свердловской области. Там все явления осложнялись еще и галлюцинациями, как мне помнится. Хотя авторы статей, журналисты утверждали, что наблюдаемые ими движущиеся тела были вполне реальны, неясно лишь было, на каком расстоянии они находятся. Потом, после перестройки вышла даже отдельная книжица о локальных областях на поверхности Земли, где происходит выход некоего поля, искажающего все мыслимые связи между объектами в этих зонах.

Однако самым загадочным в связи с загадочными же явлениями оказывается косность и инертность человеческого мышления.

Есть чудесные вещи, о которых беспрестанно говорят, но которые на поверку оказываются ординарным жульничеством. В частности, это касается телекинеза. Человек, якобы, способен двигать небольшие предметы силой воли. По этому поводу много лет назад выходила книга одного то ли шведского, то ли датского писателя, который скрупулезно рассмотрел все чудеса знаменитых к тому времени фигур **чудесников** и в ста случаях из ста показал, что в основе всех **чудес** лежат более или менее сложные цирковые трюки. Известный в недавние времена в России артист оригинального жанра Юрий Горный однажды показал в узком кругу, как с помощью длинной ворсинки (волоконце) двигать игральную карту. Естественно, что на расстоянии даже двух метров увидеть невооруженным глазом ворсинку совершенно невозможно.

Однако если мы перейдем к проблеме передачи мыслей на расстояние, дело окажется куда сложнее и вызывает куда больше доверия. Особенно, если вам об этих примерах говорят люди, непосредственно участвующие в эксперименте, или наблюдавшие его с близкого расстояния. К примеру, у брата моей жены, серьезного физика, автора 70 изобретений в области электроники, был приятель того же уровня, жена которого могла читать текст совершенно неизвестной ей технической книги, не заглядывая в нее, причем с любой страницы. При этом ей было достаточно держать руку своего мужа, глядящего в книгу. И примеров такого рода можно

накопать не один десяток. Решение такой масштабной проблемы, как передача информации на расстояние с помощью мозга произведет переворот в жизни человечества, уйдут в прошлое новейшие системы передачи и приема сигналов, вместо них возникнут другие, превосходящие по своим возможностям все, что сегодня кажется величайшими достижениями научно-технической мысли. Не исключено, что при этом, как это часто бывает, в первую очередь будут обеспечены военные ведомства, но такова уж природа человечества, что самое передовое в области науки и техники сначала апробируется на пригодность в военных целях.

Возьмем еще один пример. Уникальные способности йогов во владении собственным телом очевидны. Овладение их приемами позволило бы человечеству стать гораздо более сильным физически, неподверженным массе заболеваний, не находиться в столь сильной зависимости от перемен погоды и стихийных катаклизмов.

Далее, в газетах и журналах время от времени мелькают сообщения о чудесах, происходящих в буддистских монастырях. Приводятся даже снимки парящих в воздухе монахов. Иллюзионистам такие штуки давно знакомы. Но если это не иллюзия! Господа, преодоление сил земного тяготения за счет внутренней энергии тела есть самая древняя и самая заветная мечта человека. Если это не иллюзионистские штучки, то именно этим следовало бы заняться, пригласив лучшие умы человечества. Ведь об этом написаны десятки фантастических романов — летать и обмениваться мыслями на расстоянии!

Игорь Губерман в одной из своих книг упоминает о приятеле, который способен усилием воли расплавить мельхиоровую ложку, причем сам Игорь видел, как с кончика ложки капает металл. Приятель Губермана не может объяснить, как он это делает. Ученый из Германии приехал, посмотрел, не нашел достойного *научного* объяснения и уехал. Невыразимо жаль, что столь близко и ярко проявляемые способности не побуждают исследователей взяться за эти действительно достойные исследования проблемы.

Теперь мы возвратимся опять в наше загадочное место в Калифорнии. На всё в Америке есть деньги — на бездомных кошек и собак, на содержание прибывающих и стремительно размножающихся жителей отсталых стран, на развлечения подростков, склонных к потреблению наркотиков, на бесконечное

строительство транспортного кольца вокруг Бостона, куда деньги проваливаются, как в черную дыру, и прочее, и прочее. А вот на исследования, открывающие бесконечные, потрясающие перспективы всему человечеству, денег не находится. И боюсь, никогда не найдется. Что ж, будем ждать, пока не родится, по воле случая, гений, который в одиночку, на собственные гроши соорудит макет действующего устройства или на кончике карандаша выведет частный случай уравнения электромагнитного поля для условий передачи мысленной информации мозгом. Сейчас думается, что это должна быть не собственная частота (длина волны) излучения, а некая гармоника, переносимая несущей частотой подобно тому, как доходят до нас радиоволны, несущие нам разговор или музыку. Основной вопрос тогда состоит в том, какая частота пригодна для передачи мысли на расстояние и всегда ли она есть в наличии...

В те дни, когда Валера работал, мы с ним гуляли по вечерам по Фремонту и близлежащим местам. Если латанные-перелатанные дороги в нашем городе Линне и окрестностях и отсутствие названий улиц на перекрестках иногда напоминают Московские ухабистые дороги, то здесь их качество выше всех похвал. Они широкие (не менее 4-х полос в каждую сторону), совершенно гладкие и на каждом перекрестке вы имеете полную информацию о том, где находитесь. Правила перехода улиц здесь соблюдаются неукоснительно, ибо скорость движения высока и потому нарушения чреваты серьезными травмами.

Мы посетили японский парк, украшенный буддистскими каменными изваяниями вокруг небольших искусственных водоемов. В воде плавали многие десятки здоровенных карпов или сазанов, некоторые из которых были очень ярко окрашены подобно золотым рыбкам. В других парках очень много дикой водоплавающей птицы, но это для нас уже не было новинкой, поскольку и в нашем регионе масса разных пернатых. Вот чего у нас нет, так это страусовых ферм, где огромные африканские страусы столь же привычны, как коровы в средней полосе России с той разницей, что хотя все процессы выращивания происходят на открытом воздухе, но нигде не видно навозных куч. Правда, и климат здесь благодатнее, чем в России — сухо, тепло почти десять месяцев в году. Валера возил нас в ботанический сад Сан-Франциско. Я заметил, что природные красоты дарят мне куда больше впечатлений, чем созданные руками. К тому же я не устаю в садах и парках, а в музеях

довольно скоро начинают болеть ноги и происходит довольно быстрое насыщение коры, так что большую часть времени ходишь и смотришь, но уже не видишь.

Мы прожили у Мэри и Валеры почти неделю, а затем нас бережно передали в руки Инны (теперь уже сестры по отцовской линии), которая встретила нас и повезла в свой дом, к которому мы ехали по знаменитому мосту через залив.

Из нескольких маршрутов, по которым мы ехали с Инной, мне наиболее всего запомнилось восхождение (на машине) на очень красивую гору высотой около километра. На самой вершине есть прогулочная кольцевая тропа, и мы могли любоваться совершенно очаровательными видами на окрестные горы, океан и парящих под нами орлов. Мне кажется, что именно благодаря парящим птицам и высокой крутизне горы усиливалось ощущение высоты, и это было прекрасно.

Посетили мы также несколько маленьких городков с остатками испанской культуры восемнадцатого-девятнадцатого столетий. Стоявшая жара не располагала к подробному обзору достопримечательностей. Не обошлось без казуса. Инна показала мне на плодоносящий кактус. Это было действительно красивое растение, я взял в руки блестящий зеленый плод, чтобы рассмотреть его повнимательнее и, к сожалению, не заметил, что весь он покрыт тончайшими и острейшими иголками. За ту минуту, что я держал его в руках, он вонзил в меня десятки иголок. Я почувствовал это лишь когда согнул пальцы. Особенно неприятное ощущение было между пальцами, так как там кожа нежнее. Увидеть эти иголочки не было никакой возможности, только в отраженном свете. Инка сжалась надо мной и вытащила ногтями несколько штук. Остальные сидели во мне и причиняли страдания еще двое суток, пока не растворились в моей крови.

Вернулись мы в Массачусетс в разгар жары, которая длилась почти без перерыва месяц с лишним. Если бы не приобретенный во-время кондиционер, мы просто сдохли бы. Но вот, лето кончилось, кончается и осень. У меня в кармане билет в Германию. До скорой встречи, мои дорогие, до скорой встречи!

Дорогая мама, здравствуй!

...Вот уже прошел месяц с момента моего возвращения домой. До сих пор голова набита впечатлениями от поездки и, хотя я не побывал в Париже (или Риме), я ничуть об этом не жалею. Не хочу

торопиться рассказывать вам, как выглядит со стороны гостя ваша жизнь. Об этом как-нибудь позже.

Сейчас я вам расскажу, как мы снова съездили в казино. Нас было шесть человек: я с Любой и еще две пожилые пары. Лина ехать отказалась, сказав, что азарта она не чувствует, а обжираться деликатесами ей не хочется. К тому же придется четыре часа просидеть в автобусе... Короче — не поедет.

На выходе из автобуса мы вновь получили купоны на питание и два купона на игру. Кроме того, мне прислали специальную игральную карту, чтобы я попробовал свое счастье в лотерее. Мои попутчики получили такие же карты в казино. Все мы провели эти карты с шифром через щели в автоматах, после чего компьютер пожелал нам удачи и пригласил повторить эту операцию на следующий день. Как говорится: «Слишком хорошо — тоже нехорошо!» Неужели найдется такой дурень, который будет ездить в казино каждый день лишь для того, чтобы провести картой в щели автомата!

У нас ритуал уже устоялся. Сначала — ресторан. Нас усадили за большой, круглый, сервированный стол, официантка, молодая и стройная француженка, спросила, кто и что будет пить, и удалилась, а мы двинулись к закускам. Я уже многое попробовал в этом царстве еды и потому взял сначала всяческие овощные блюда с сыром Мазарелла — это такие небольшие шарики сыра, обработанные разными пряностями. Это было очень вкусно. Потом я не спеша выпил чай и двинулся за рыбой. Люба к этому времени уже развела отличную дорогую рыбу, приготовленную на пару. Я наполнил большую тарелку и добавил самую чуточку брокколи. После рыбы, которую я уже ел без всякой жадности, я опять выпил стакан чаю и лениво наблюдал, как мои партнеры ужираются мясом и всякой другой снедью. Тут мне на память пришли дедушкины анекдоты, и я их пересказал своим соседям по столу.

Приходит мужчина в ресторан и спрашивает у хозяина: «Могу ли я у вас пообедать за свои деньги?».

— Разумеется, прошу вас, садитесь.

Он садится и заказывает лучшее вино и деликатесы. Пообедав, он достает один рубль и кладет на стол.

— Вы съели на пятьдесят рублей, а даете один рубль!

— Вы меня простите, но я же спросил у вас, могу ли я пообедать у вас *за свои* деньги, и вы ответили, что, разумеется, я могу.

Так что я не понимаю ваших претензий. Поняв, что посетитель прав, хозяин говорит: «Вы знаете, напротив меня конкурент тоже держит ресторан. Прodelайте с ним тот же фокус». — А я у него уже был, — отвечает посетитель.

Вот такой незатейливый анекдот... Странная вещь — ассоциация. Я стал вспоминать дедушкины анекдоты, байки одни за другими. Вот, к примеру:

— А кажи мне, Голопупенко, як треба стояты на *h'оружейном* посту?

— Як пробця ув бутылке!

Или сценка, как два бродячих музыканта — скрипач и барабанщик идут на деревенскую свадьбу. Скрипач надеется заработать денег и поест, а барабанщик под стук барабана повторяет: «Як приидем, дак побачим, як приидем, дак побачим». На свадьбе все напились и, ничего им не заплатив, побили. Они возвращаются со свадьбы. Скрипач, хромая, жалуется на жизнь, а барабанщик, отбивая такт, повторяет: «Що дак буде, я казав, що дак буде, я казав!»

...Наш пир, между тем, продолжался. Взяв третью тарелку, я, преодолевая отвращение к еде, пошел за рыбными деликатесами и нашел котлету из крабьего мяса и тушеные баклажаны. Поковыряв еду, я понял, что для сохранения здоровья лучше отложить еду на следующий визит и потому пошел в отдел десертов. Там я взял тарелку клубники в сиропе и пирожное из творожной массы. Это было очень вкусно, и я запил еду третьим стаканом чая. Вы, наверное думаете, что у меня мог лопнуть мочевого пузыря... Ничуть не бывало! Роскошные туалеты на каждом шагу.

Отвалившись от стола, мы пошли играть на наши купоны. Мы уже отработали тактику и ходим играть на вращающееся вертикальное колесо с цифрами. Я в паре с Любой поставил на четыре цифры — 1, 2, 5, 10, а на 20 поставил один доллар. Эти цифры соответствуют множителям, и вы получаете сумму в зависимости от множителя. Выпала цифра пять, и мы получили пятьдесят долларов. Наши знакомые тоже выиграли по пятьдесят долларов. Играть со *слот*-машиной не хотелось, и мы отправились наверх в просторные холлы, где развалились в креслах и улеглись на диваны, сняв обувь.

Надеюсь, что ваша поездка в горы также принесла вам массу удовольствий. Всех вам благ и здоровья.

На закуску хочу позабавить вас шуткой:

Известный русский исследователь Пржевальский встретил в степях Центральной Азии лошадь, которая год спустя взяла его фамилию...

Здравствуй, дорогая мама!

Моё пребывание в Аугсбурге дало мне много новых впечатлений. Я всегда осторожно приглядываюсь к новому месту и стараюсь расширять свои маршруты постепенно. Это связано с моей психикой. Я боюсь заблудиться и, попав в незнакомое место, начинаю психовать. А зачем мне лишние стрессы? Поэтому я сначала научился подходить к центру города, стараясь не переходить улицу, приглядывался к маршрутам трамваев. И вот, наконец, наступил момент, когда я ушел по маршруту второго трамвая далеко-далеко и увидел здание пятнадцатого века, сквозь арку которого проходил трамвай, сворачивая влево к высокой черной башне и далее в новые кварталы города. От этого здания отходила стена старой кладки. Скорее всего, пять-шесть веков назад эта стена была границей средневекового города и несла оборонительную функцию. Я дошел до конца стены и остановился перед жилым кварталом. Я вернулся и прошел влево до высокой черной башни, которая стояла на арочных опорах и повернул к дому. На обратном пути я прошел мимо дома, где жил отец Моцарта, осмотрел памятник у Домского собора, зашел в три-четыре узкие улочки и прошел их до конца, отмечая про себя красоту мостовой, старой жилой архитектуры и внезапно открывающихся планов с вонзающимися в небо шпилями собора, увенчанными крестами. В этих одиноких прогулках есть особое очарование, ибо вы не отвлекаетесь на пустые разговоры, а стараетесь запомнить увиденное.

Постепенно накапливая опыт в прогулках с Наташей, я затем старался повторить и расширить эти маршруты, имея при себе фотоаппарат. Я всегда испытывал страсть к древностям. То, что Аугсбург был заложен во время правления императора Августа и носит его имя, было для меня приятнейшей неожиданностью. Я узнал, что перевернутая и нераскрывшаяся шишка итальянской сосны является символом Римской империи. Я видел на подворье Домского собора результаты раскопа древнего города и сфотографировал прекрасные барельефы. На одном из них изображена работа по увязыванию кипы хлопка под присмотром приказчика (а, может быть, хозяина), на другом — водовоз на телеге с бочкой воды. Интересно, — одно из раскопанных надгробий украшено

горизонтально положенными винными бочонками. Латынь я, как и подавляющее большинство моих современников-россиян, совершенно не знаю и потому был лишен удовольствия перевести, хотя бы приблизительно, тексты, вырезанные на каменных таблицах.

На том же подворье стоит роскошное здание, где размещается нынешняя мэрия. В середине здания удивительной красоты орнамент с гербом и часами. Двор здания огорожен изящной чугунной решеткой, а во дворе стоит величественный памятник воина в античном шлеме, который вкладывает меч в ножны. Этот памятник посвящен победе в битве под Седаном. Немцы в той битве как бы взяли реванш за унижения, испытанные в сражениях с армиями Наполеона Бонапарта.

В один из последних дней моего пребывания в Аугсбурге я вышел сквозь арку в здании, о котором я говорил, и прошел всю длинную улицу, в конце которой я вновь встретил ту самую высокую черную башню.

Здание ратуши и церемониальный зал, который мы посетили вместе с Наташей, также произвел на меня огромное впечатление. Я смотрел на фотографии разрушенного в войну здания и восхищался мастерством реставраторов и упорством народа, который поднял город из руин. Что ж, немцы заплатили дорогую цену за то, что дали себя вовлечь в бесовское предприятие бесноватого фюрера. Мне нравится в Аугсбурге почитание Августа, его бюсты на первом этаже ратуши, фонтан с его фигурой напротив здания. Его личность вызывает у меня уважение, поскольку я сужу о нем по книге Гая Светония Транквилла. Август не только сохранил завоевания своего великого родственника Гая Юлия Цезаря, но расширил и, главное, укрепил государственную власть. Порядок в стране есть вещь первостепенной важности! Примечательно, что при всем своем величии он был человеком скромного поведения и скромного потребления. О нем известна забавная деталь. При разговорах со своей женой он всегда держал под рукой вошеную табличку, на которой был написан план его беседы, и он не позволял жене отвлекаться от намеченной для разговора темы.

Золоченая лепка под потолком, расписной потолок зала и роспись стен вызывают восхищение. Интересная деталь: когда присматриваешься к росписи плафонов, то обнаруживаешь что художник изобразил нечто бесовское — какие-то грифоны, хвосты которых уходят в вазы, а днища ваз уходят в пасти каких-то

богомерзких существ, беременная женщина сидит причинным местом на языке дракона, входящем в неё, как нож и т.д. и т.п.

Потом, когда я уже гулял самостоятельно, я много раз проходил мимо ратуши и осмотрел её со всех сторон, в том числе и из-под арок в зданиях, через которые вы можете попасть на торговые улицы с ратушной площади. Однажды, в пасмурный день я вышел из-под арки и увидел массу горящих электрических гирлянд и лампочек на огромной елке, стоящей посередине этой площади. На фоне башни в приглушенном сером свете сочетание темной зелени еловых лап с золотистыми огнями украшений было удивительным. Я сделал несколько кадров, но, увы, фотография не передает того, что видит глаз. Гуляя по центральным улицам, я зашел в церковь святой Анны. Там я обнаружил роскошные медальоны на внутренних стенах церкви, в которых происходило захоронение выдающихся церковных людей. На узкую улочку, мощеную черным прямоугольным камнем выходит одна из оштукатуренных стен церкви, на которую крепится кремового оттенка мраморная доска с графическим плоским изображением Мартина Лютера, повествующая, что он здесь был в октябре 1518 года.

Шатаясь по храмам, я понял, что ничего не смыслю ни в архитектуре, ни в оформлении. Речь идет не об архитектурном наборе слов-терминов (всякие там пилястры-шмилястры, контрфорсы-шмофорсы и прочее) а о системе религиозных символов, которая для каждого храма своя и связана с эпохой и посвящённостью тому или иному подвижнику веры. Однако моё эстетическое чувство было вполне удовлетворено. Величественность храмов и их декор меня поразили. Я не увидел большой разницы между собором святого Ульриха и знаменитым на всю Европу собором святого Вита в Праге. Если бы я был искусствоведам, да еще и специализирующемся на храмовом искусстве, я бы мог квалифицированно оценить шедевры религиозной живописи, утонченную красоту золоченых решеток, отделяющих пространства небольших нефов от основного молебельного помещения, саркофаги и могильные плиты отцов церкви, смог бы объяснить геральдику на стенах храма и многое другое. Но увы!

На меня большое впечатление произвело другое — обилие храмов и их превосходное состояние, которое поддерживается постоянной заботой. Как же силен до сих пор институт Веры, если учесть, сколько требуется средств для их содержания, а государство

не дает на это дело ни копейки. Кстати, то же самое и у нас, хотя наши храмы далеко не столь огромны. На наш небольшой Линн, я думаю, наберется не менее полутора десятков на 80 тысяч человек.

Конечно же, я очарован Мюнхенской пинакотекой. Я и представить себе не мог такого богатства живописи средневековья и эпохи ренессанса. Должен сказать, что пинакотека Аугсбурга в этом смысле тоже выдающаяся, особенно в той части, где экспонируются работы Ханса Хольбайна старшего и не уступающего ему в таланте Бургкмайера. Последнего я для себя открыл именно в Аугсбурге. Опять-таки оговорюсь, что я не искусствовед и что я дохожу до понимания прекрасного животом, *«тузом»*. Поэтому я не могу объяснить, почему мне нравится одно и не нравится другое. Я не могу понять задачу, которую ставил себе художник, равно как и не могу расшифровать символику цвета, отдельных деталей и композиции.

«В поте лица своего будешь добывать ты хлеб свой», — сказал некогда Господь согрешившему Адаму. Однако выяснилось, что за этими словами таится гораздо более глубокий смысл. Это *«проклятие»* распространяется на все сферы деятельности человека и особенно на процесс познания, обучения. Я сознательно выделил это слово курсивом, потому что на самом деле труд — это великое благо, которое придает смысл человеческому существованию. Да, когда-то, давным-давно, когда не было мыла, металлической посуды, инструментами служили каменные топоры, не было газа, света, тепла, зато были кишачие на теле паразиты, болезни, вонь, грязь, когда требовались колоссальные усилия, чтобы добыть огонь, ежедневную пищу, укрыться от холода или дождя, тогда труд был невыносимо тяжел и казался древнему человеку проклятием. Тогда и возникла сказка, что труд дан человеку в наказание за грехи. До сих пор во многих отсталых странах (и в России) труд большинством народа ощущается, как наказание, как проклятие. А в Америке труд — величайшая ценность, основа для уважения и самоуважения.

...Но вернемся в Мюнхенскую пинакотеку. Для меня лично встреча с грандиозными работами Дюрера, Рубенса, Боттичелли, великих Малых голландцев и других мастеров была необыкновенно приятной. Тут было Сергей Михайлович фыркнул, что в пинакотеке одна единственная работа Леонардо да Винчи. Но дело в том, что во всем мире едва ли наберется с десятков его полотен. Так

что наличие такого шедевра значительно повышает статус Мюнхенского музея.

Да, Аугсбург мне очень понравился. Понравилось и ваше жилье. У тебя, мама никогда не было такой большой и удобной квартиры с прекрасным видом на церковь, которая, правда, звонит каждый час, что может беспокоить ночью, особенно при открытых окнах. Но разве можно это жилье сравнить с тем, на Первомайской пыльной улице с выходом на грохочущий трамвай и воющий троллейбус, с солнцем, бьющим в окна летом и раскаляющим квартиру так, что дышать нечем? А размеры квартиры? Разве эта квартира, которую еле-еле пробили при поддержке главного врача, отдав еще в придачу квартиру в Малаховке, — разве эта квартира могла быть предназначена для проживания четырех человек, да еще и разнополых детей?! А ведь мы были почти счастливы, получив за доблестный и долголетний труд наших родителей этот курятник! Да нас просто-напросто обокрали, заявив при этом, что Советская власть нам всё-всё дала! У нас практически украли нашу жизнь, заставляя жить в дерьме и одобрять всё это безобразие, украли возможность видеть мир. И вот, теперь, на закате жизни мы получили из чужих рук всё, о чем раньше не осмеливались и мечтать.

Конечно Сергею с Наташей не мешало бы иметь еще одну комнату, учитывая большую нагрузку, которая ложится на него в связи с бесконечными деловыми переговорами, но и то, что у них есть — выше всех похвал. Хотя должен заметить, что их последняя квартира в Москве тоже была не из плохих. Но они её получили, когда уже прожили половину жизни! И сколько трудов и денег они вложили, чтобы довести её до кондиции!

...А дворы ...Какая чистота во дворах, как всё разумно устроено для утилизации отходов! У вас на Первомайской двор был еще относительно чистым. А у нас, вследствие того, что мы жили над овощным магазином, всё время воняло гнилым картофелем и сгнившим луком. Пока не сделали уродливую пристройку к дому для хранения использованных ящиков и всякого барахла, вся дрянь, перемешанная, как в кислых щах, лежала прямо под окнами, и вы могли наблюдать жизнь крыс, вольготно устроившихся среди бела дня на мусорных кучах.

Вспоминая прошедшее, — а я ох как часто его вспоминаю! — я иду вдоль реки Лех вверх по течению. Я иду этим путем уже не первый раз, постепенно удлиняя маршрут. Я прохожу под красивыми

мостами, перекинутыми через Лех, и каждый из них — строительное чудо. Я пересекаю путь узкоколейки и подхожу к очередному водопаду. Я не понимаю, зачем на реке сделаны эти каскады, да и неважно. Во всяком случае, это красиво. Проходит еще час и я поднимаюсь к третьему водопаду, самому высокому. Теперь, кажется, понятно — эти каскады держат уровень воды в озере. На озере — зона отдыха. Чистейшее и приятнейшее место. Уютный ресторан на берегу озера. Функционирует. В зале три человека. Не спеша, обхожу окрестности. В принципе, можно было бы дойти до зоопарка, но тогда придется идти еще четыре километра, а мне еще возвращаться... Нет, не пойду...

Удовольствием встречи с Пушкиным я обязан моей дорогой племяннице. Взявшись написать для неё нечто вроде выжимки из «Бориса Годунова», я неожиданно нырнул в океан его творений и много-много раз перед сном читал божественного «Евгения Онегина» и стихи. Все-таки чтение для меня и моих ближайших друзей является, пожалуй, самым изысканным удовольствием. Мы здесь, в Линне порядком одичали, поскольку в основном читаем всякую дребедень на английском, включая газеты, а это занимает слишком много времени, глаза устают и на настоящую литературу уже не остается ни сил, ни времени. А она, эта литература — здесь, рядом. Нужно только руку протянуть и взять, если знаешь, что тебе требуется. Не то можно напороться на современную гадость, которая буквально захлестнула Россию. К счастью, я у вас прочел Патрика Зюскинда. «Парфюмер», безусловно, пока является его лучшей вещью. Те две его книжки, которые я прочел вдогонку, уже рассматриваются в свете талантливо написанного «Парфюмера» и невольно уважаешь его литературные изыски по принципу: *гениальный писатель не может написать слабое произведение!* Уверяю вас — очень даже может. И у Пушкина есть слабые стихи. И у обычных поэтов встречается иногда гениальное стихотворение, в крайнем случае, четверостишие или строка. Добавлю, кстати, что прилагательное *гениальный* является скорее не мерилom совершенства произведения, а результатом его общественного признания. Если общество не понимает произведения и раздражается, когда о нем говорят хорошо, это еще не значит, что оно слабое. Может быть, еще не пришло его время. Есть и обратная ситуация, когда мода на модерн затмевает глаза читающей публике, особенно молодым людям, и они спешат создать себе нового кумира, забывая, что талант проверяется временем.

Мой принцип приятия или неприятия прозы заключается в требовании ясности и прозрачности изложения, какой бы уровень сложности мысли ни достигался. И точка отсчета находится в ряду Шекспир, Вольтер, Пушкин, Толстой, Достоевский, Томас Манн, Камю, Голдинг, Маркес, Гашек... В этот ряд можно поставить еще несколько десятков талантливых и гениальных писателей, но ни один из россиян, ныне получивших премию Букера или Антибукера, никогда не войдет в этот ряд, голову даю на отсечение. Есть вечные истины, открытые еще в древности. Одна из них: *кто ясно мыслит, тот ясно излагает*. И пренебрежение этой истиной приводит лишь к имитации литературы.

С поэзией, равно как с музыкой, больше оттенков, связанных с эмоциональным воздействием и потому я не хочу писать на этих страницах диссертацию о том, что в поэзии приемлемо, а что неприемлемо ни при каких условиях. Да и читают поэзию лишь единицы. К тому же я в поэзии никакой не специалист, хотя с огромным интересом читаю критическую литературу о поэзии и изучаю великих поэтов. Разговоры о поэзии, в которых даже участвуют великие мастера, не представляют собой надежного пособия к пониманию поэзии. Все их умные изречения носят чисто декларативный характер. Я уверен, что если бы любому из них предложили бы защитить логически то или иное положение, то это ничего, кроме обиды и злости, не вызвало бы. Знаю также, что поэты бывают очень несправедливы в оценках своих собратьев по перу.

Вернувшись в Линн, я решил снова почитать серьезную литературу и взялся за Голдинга. Нет, не зря ему дали Нобелевскую премию! Если вы никогда не читали «Повелителя мух», обязательно прочтите и заодно прочтите его маленькую статью под названием «Притчи». Там он поясняет, что он хотел сказать в этом романе. Я же только что закончил его «Свободное падение» и нахожусь в состоянии восторга и преклонения. Вот как надо писать!

Дорогие друзья, здравствуйте!

Сегодня 23 февраля, день Советской (Красной) армии. Обычно в этот день в дни нашей молодости и зрелости мы приходили на работу в возвышенном настроении, и женщины, работавшие с нами, устраивали нам застолье с выпивкой, которое в нашем почтовом ящике плавно перерастало в пьянку с танцами-обжиганцами. Я вам не скажу за всю страну, но в Москве интеллигенция жила ох как не слабо! Не в смысле денег, или там свободы слова, или передвижений... Нет, — в смысле свободы от работы, от дум о

том, что мы будем завтра кушать. Мы на работе буквально жили! Мы искренне веселились, играли в шахматы, ругали Советскую власть, которая разрешала нам всё, кроме критики существующих порядков, халтурили, писали дутые отчеты о работе, копили отгулы для поездок за город или даже в дом отдыха и т.д. и т.п. Мы ходили на военные сборы раз в три года и слушали военно-политическую ахинею, которую нам вещали не нюхавшие пороха войны толстопузые полковники, уютно устроившиеся на военных кафедрах Московских ВУЗов.

Только сейчас, столкнувшись с суровым миром капитализма, я понимаю, насколько серьезно и сосредоточенно они живут, как они ценят свое рабочее место, как скрупулезно они считают копейку, как они обеспокоены своим будущим, которое в отличие от нашего *бывшего светлого будущего*, часто представляется им мрачным, как они тревожатся за судьбу своих детей. Большинство из нас, взрослых, имело детское самосознание: власть, мол, за нас всё решит, власть за нас несет ответственность. А здесь ты сам за себя отвечаешь, никто за тебя твоих проблем не решит, разве ты уж совсем упадешь на дно общества, и тобой займутся благотворительные организации... Может быть, поэтому они не очень-то склонны к чтению романов, как были склонны когда-то мы, а больше ценят возможность развлечься, посмеяться над глупыми шутками, уйти, пусть хоть на час, от суровой действительности...

Вчера мы были у нашей знакомой, я выпил три рюмочки водки «Абсолют» и плотно закусил, а потом я почитал им немного из Бродского. Я сейчас очень увлечен его творчеством и надеюсь написать небольшой труд на тему «Время и пространство в стихотворениях Иосифа Бродского». Буквально два дня назад я начал делать выписки.

Вы уже, наверное, знаете из телепередач, что у нас был чудовищный снегопад. За два дня намело более 50 см снега, а в закутках и до метра доходило. Так как в нашем городе тротуары не убираются, то прогулки стали практически невозможны. Я, вообще-то, снег не люблю ни в каком виде. Я «наелся» им еще в России. Поэтому всякий снегопад воспринимаю с досадой. Тут еще подкинули нам внуков в связи с каникулами. Так что мы с Линой несколько дней работали в три смены — кормить, развлекать, мыть попки перед сном. Крестик перенес очень тяжелый вирусный грипп и пришел к нам, как живой скелетик, но, слава Богу, благодаря нашим усилиям, он поправился и даже немножко

пополнил. Филя тоже болел, но в более легкой форме. Чтобы занять их, нам пришлось обучить их играм в карты — в «девятку» и «подкидного дурачка». Крестик сказал, что это даже интереснее, чем шахматы. Кстати, наконец-то, до родителей дошло, что платить 140 долларов в месяц за четыре занятия по шахматам есть непозволительная роскошь, учитывая, что Крестик не обладает феноменальными способностями к игре, а учить шахматную литературу он ленится. Он еще не понял основного принципа: успех приходит к тем, кто не жалеет сил для достижения мастерства. Я ему то и дело об этом напоминаю, но пока результатов моего воспитания не видно.

В поисках места, где можно было бы прогулять нашу команду, мы забрались на крышу нашего пятиэтажного гаража и там обнаружили огромное снежное поле. Нас никто не трогал, и дети с восторгом лепили снеговиков, валялись в снегу под теплым солнцем, играли в снежки, а я только покрикивал, когда они в азарте начинали совать снег друг другу в лицо или за шиворот.

Но вот, каникулы закончились. Завтра им идти в школу. А вчера и сегодня, в воскресенье, льет дождь, небо серое. Никуда особенно не выйдешь. Вот я и сижу, пишу вам очередное письмо и желаю здоровья и хорошего настроения. На закуску три анекдота.

— Если бы дети всегда слушались родителей, то мы до сих пор жили бы на деревьях.

— Уж сколько веков прошло, а один палец у человека до сих пор безымянный...

— К восьмидесяти годам знаешь всё, но не можешь вспомнить...

Здравствуй, Валера!

Брат мой дорогой, вчера, 14 марта я получил твоё письмо. Что тебе сказать... Время притупит боль, но она никогда не пройдет. Аналогичный случай был в нашей семье. У родного дядьки Лины был сын, который сторел от саркомы легких в двадцать четыре года. Первые годы после смерти сына дядька приходил с работы, садился напротив телевизора и выл, выл, не раскрывая рта. Каждое воскресенье он ездил на кладбище к сыну. Сын был не вполне адекватен, у него были явные отклонения в психике. Непонятно, как бы он жил после смерти родителей. Наверное, попал бы в психушку...

Я понял из твоего письма, что Сережа погиб не в результате нападения, а это был суицид. Золотой мой братик! Понимаешь ли ты, что в таком случае он был обречен со дня своего рождения, и ты не мог ему помочь никак, потому что это могло случиться в любой момент. Поэтому ты не должен мучить себя, обвинять себя в недостатке внимания к нему. Скажем прямо — ты делал всё, что было в твоих силах! Это судьба. Если бы мы с тобой были верующими людьми, религия утешала бы, суля встречу после смерти. Но я, прожив в Америке два с половиной года, понял бессмысленность веры в Бога-Утешителя и Бога-Спасителя. Если он и есть, то Ему нет дела до каждого из нас в отдельности. Просить и искать его нечего. А ведь в России, когда мой сын долго не возвращался ночью, и мне мерещились всякие кошмары, я умолял Бога пощадить моего сыночка, забрать мою никчемную жизнь в обмен на его здоровье и благополучие.

Дорогой мой. Я словно вижу твоих родителей твоими глазами и не знаю, большое ли это счастье прожить девяносто с лишним лет. Когда человек живет так долго, то очень велик шанс, что он переживет не только своих друзей и знакомых, но и близких, родных. Кроме того, в таком возрасте человек как бы возвращается назад в младенчество, потому что становится беспомощным, а часто и глупеньким. В этом смысле моя мама представляет собой приятное исключение. Хотя ей исполнилось 87, она еще активна, способна ходить в магазин и покупать продукты, гуляет одна или с Наташей, к ней приходят знакомые, которые моложе её на тридцать-сорок лет. Семья Наташи процветает благодаря Сереже. Дочка Катя вышла замуж по любви за курда, безумно его любит. Оба учатся. Живут пока не ахти как, но перспектива есть.

У меня с сыном мало что хорошего. Он никак не впишется в американскую действительность, кидается из стороны в сторону. Сейчас его уволили из банка, он безработный. Подрабатывает ночами на развозке газет за гроши. Даша — никакой ему не помощник, не успевает ничего сделать, почти не зарабатывает. Дети худые и болезненные, откармливаем, когда они у нас появляются. Заработанные гроши утекают сквозь пальцы. Сейчас сын купил два спальных предмета стоимостью более тысячи долларов. Безобразные и ненужные вещи. Меня он совершенно не слушает. Решил сэкономить на доставке, поднимал эту страшную тяжесть вдвоем со своим братом Леней и надорвался. Подскочило давление, плохо

себя чувствует. Вместо того, чтобы направить силы на учебу, старается ухватить грош и теряет время. Психует и переживает всё внутри себя, а наследственность у него не самая лучшая. Брат его Леня — вообще человек со справкой, да и в нашей генеалогии не всё благополучно. Потому боюсь, как бы у него не поехала крыша.

Я себя на этом фоне чувствую отвратительно, хотя материальные проблемы полностью решены и, как говорится, птичьего молока не доставляет. Мы получаем 1.000 долларов в месяц, платим четыреста за машину и квартиру и на всё хватает. Даже помогаем разным благотворительным организациям. И, тем не менее, сижу нервный, раздерганный, забываю сделать то, что запланировал, и от этого еще больше нервничаю. Не хочется принимать успокаивающие таблетки, а надо. Тебе, кстати, для того, чтобы прийти в равновесие с жизнью (а жить-то надо, растить Машеньку), тоже не мешает пить что-нибудь успокаивающее.

Как это ни горько, но должен тебе сказать, что твоя невестка со временем выйдет замуж, и Гоша будет расти в другой семье. Потому не рви себе сердце, а моли Бога (это не я, а язык мой меня подводит), чтобы он был здоров физически и психически, а ты будешь ему помогать, когда он войдет в разум, и пусть он помнит, что в его жилах течет и твоя кровь. И чтобы невестка тебе не препятствовала, относись к ней по возможности хорошо.

Золотой мой. Всё проходит. Уходят навсегда и самые счастливые и самые несчастные. Тот дядька уже давно в земле, рядом с сыном. Жена дядьки озабочена текущей жизнью (они, кстати, жили на проспекте Смирнова в Питере). У нее две внучки от дочери, так что она не одинока. Наверное, самое страшное для семейного человека — это одиночество. Есть счастливые эгоисты, которым никто не нужен, но мы не из их числа.

Теперь о моих занятиях. Пишу рассказы, но публикуюсь редко. Тут предложили мне издать книжку, но где взять деньги на издание? Да не в том дело, деньги есть. Однако моя жена не считает мои рассказы серьезным занятием и, следовательно, я не могу истратить пару тысяч долларов с тем, чтобы остаться в памяти потомков (хотя бы ближайших). Мне кажется, что если бы Лина меня любила и уважала, то с радостью предложила бы мне издать мои труды. Но этого нет и уже, увы, никогда не будет. А я не настолько гениален, чтобы всем хотелось читать мои описи...

Дорогой брат, спасибо тебе преогромное, что ты откликнулся на мое письмо. Люблю тебя и буду любить до самой смерти, а

увидимся ли мы, сказать не могу. Если поеду в Россию, постараюсь заглянуть на огонёк, но для этого нам с тобой нужно прожить еще пару-другую лет.

Обнимаю твоих девочек и желаю им здоровья и процветания. Кланяйся родителям от меня. Я всегда с большим уважением относился к твоему отцу. Мир вам всем.

Твой брат и племянник

Олег Трастанецкий.

Добрый день всем вам!

Сегодня первое апреля. В США его называют днем дураков. Особого веселья по этому поводу я не заметил. Сегодня на занятиях по английскому, который у нас ведет прекрасный преподаватель-волонтер, отсутствовала половина «учеников». Возможной причиной является резкое похолодание со снегом. Погода является здесь неисчерпаемой темой для общения, о ней с вами говорят все сословия и во всех местах, где люди силой обстоятельств собираются вместе. Сегодня к ночи Лина с Любиной семьей возвращается из Лондона. Боря будет их встречать. Я провел семь дней в одиночестве, когда *«лишь сердце мое было моим другом»*. Так написал о себе один египетский вельможа, убежавший в страхе от своего хозяина-фараона четыре тысячи лет назад и прятавшийся неделю в тростниках на берегу Нила. Но я, в отличие от того вельможи, наслаждался покоем и не заметил, как промелькнула неделя. Правда, вчера Даша привезла рано утром Кристика с насморком, и я его лечил и кормил, пока сын не забрал его, но перед этим я снова покормил уже обоих и дал сыну возможность еще часок подремать. Он ведь опять нанялся на ночную работу по развозу газет. Теперь его планы снова переменились. Теперь он хочет заработать денег за лето (Даша на два месяца снова едет с детьми в Словакию) с тем, чтобы осенью пойти учиться на физиотерапевта. Это два года учебы, но у него будет на руках лицензия, разрешающая практику.

Кристик сообщил мне, что президент Буш — дурак, так как меняет кровь на черное золото. Я попытался ему разъяснить, что если Буша выбрало сто миллионов человек, то вряд ли он является дураком. И он — благородный человек, потому что хочет освободить иракский народ от бандита Хуссейна. И Америке наплевать на иракскую нефть, у неё достаточно других поставщиков. Тогда он у меня спросил: «Почему же американцы не освободили русских,

когда был жив Сталин?» Чувствуете, откуда ветер дует? — Дашина работа. Я ему объяснил, что в те времена Россия была сильнее США и они никак не могли помочь русскому народу. А то, что русский народ был так же оболванен Сталиным, как иракский народ оболванен Саддамом, я ему не сказал из-за языковых трудностей.

Даша вообще испытывает неприязнь к Америке и всему американскому. Это проявляется везде и во всем. Я избегаю вступать с нею в разговоры на эту тему. Пусть её муж с ней спорит. Но, к сожалению, она свои недодуманные мысли да еще и в порыве раздражения преподносит детям, как истину в последней инстанции. А у них пока еще своего мышления на все не хватает, вот они и повторяют, как попугаи, мамины глупости.

Война началась, но почти все постарались помешать Америке начать её вовремя. Теперь на Америку будут списывать все грехи. Если найдут химическое оружие, то будут орать, что Америка сама его привезла в Ирак. Если убьют много «мирных» жителей, которыми садисты Саддама будут прикрываться, как живым щитом, то начнут орать, что Америка воюет с женщинами и детьми и т.д. А то, что террористы переодеваются мирными жителями и устраивают засады на союзников — это, разумеется, нормально. Самое же главное, о чем я хотел бы сказать, это то, что среди мусульман существуют фанатики, готовые взорвать себя лишь бы погубить как можно больше врагов (или тех, кого они считают врагами). Обратите внимание, что в Израиле они считают (как это следует из их действий) врагами малолетних детей, учеников, женщин, стариков, а не только призывной возраст. Как все похоже в истории и как всё повторяется каждый раз по-новому, и поэтому никто никого ничему научить не может. Вспомните, как преклонялись мы сами перед подвигом Александра Матросова и Николая Гастелло! Но истина всегда конкретна. Там, в России, ведущей войну с гитлеризмом, который поставил своей задачей истребить мирное население и освободить землю для немцев, жертвы были оправданны. А здесь, в Ираке, Америка несет освобождение народу от тирании, но народ в массе своей этого не понимает. Америка усвоила уроки второй мировой войны и считает, что усиление военной мощи Саддама в конечном итоге приведет к созданию военной мусульманской сверхдержавы, вооруженной человеконенавистнической идеологией, поскольку она оправдывает и поощряет убийства немусульман. Этот мусульманский конгломерат будет искать выход в Европу и терроризировать весь цивилизованный мир, и

прибирать к рукам все новые и новые государства. Не исключено, что он стакнется с коммунистическим Китаем и они поделят весь мир, кроме Америки, между собой. В погоне за мировым господством они не преминут прибегнуть к оружию массового уничтожения. Ведь подавляющее большинство мусульман сегодня — оболваненные и совершенно необразованные люди. И наличие в их рядах сотен, если не тысяч, самоубийц — это отличный индикатор общего уровня культуры (вернее бескультурья), ибо самопожертвование во спасение других есть подвиг, а самопожертвование ради убийства невинных есть крайняя степень тупого озверения.

В одном из писем в наш местный журнал я писал, что третья мировая война уже началась и начал её международный терроризм, и пусть люди не обманываются тем, что военные действия ведутся пока далеко от их дома. Война придет к ним домой, как она пришла в Америку, убив сразу около трех тысяч человек! Это ли не достаточный повод к началу войны с терроризмом! Что же вы, соотечественники, устраиваете марши мира в защиту Саддама, который питал и питает эту тысячеголовую гидру терроризма?! Неужели трех тысяч невинно убиенных недостаточно для вашего ожиревшего мозга? Вам нужно, чтобы убили ваших родителей, детей, друзей. Тогда лишь вы проснетесь, так, что ли?

Сегодня Америка пытается вести войну, сохраняя кодекс чести, заботясь о воде и пище для мирного населения, но завтра, когда ей навяжут войну на истребление, Америке придется снять белые перчатки, и этот день не за горами. Солдаты союзных войск скоро озвереют, и тогда вся мировая пресса начнет хором обвинять Америку в грязной войне, в войне против иракского народа. Скорее всего так и будет. А не хотелось бы. Ну почему всегда в реальности разыгрывается самый плохой сценарий! Или вся правда заключается в нескольких словах: **насильно никого счастливым не сделаешь!** Но в конечном итоге ведь Америка ведет войну за всех нас, за наше спокойное будущее. Как можно этого не понимать!

Мне казалось, что опыт Вьетнамской и Афганской войн должен был все-таки научить политиков ведущих стран чему-то существенному. И генералов тоже. Как это может быть, чтобы серийные вертолеты разбивались один за другим! Где же необходимая проверка критериев надежности? Далее, союзники так торопятся подойти к Багдаду, что оголяют тылы, и там может начаться такая партизанская война, что им придется возвращаться бегом!

И, наконец, третье. На террористические акты следует отвечать с максимально возможной жестокостью, которая оправдана законами военного времени. В противном случае победят террористы с Саддамом во главе.

Вот мои не очень-то сложные мыслишки. Скорее всего, вы придерживаетесь противоположного мнения. Ведь лично вам Саддам Хусейн ничего плохого не сделал, не так ли? А теперь вот, еще и доллар упал. Вот так же рассуждали люди перед тем, как Гитлер напал на Польшу, а затем вошел в Чехословакию. А Румыния, Турция, Италия и Испания стали его союзниками.

Совсем я отвлекся с этой политикой от семейных дел. Возвращаясь к Кристику. Выяснилось, что он совсем не знает географии. Где Кувейт, где Ирак — полная темнота. Я ему показал карту Месопотамии, приведенную в газете. До чего же противно жить без нормальной библиотеки! В Москве я мог в течение нескольких минут получить информацию обо всем интересующем меня, потому что дома была куча справочников по многим отраслям знаний. Говорят, что всё можно скачать с интернета. Но у меня пока нет интернета, а специальная информация меня интересует, как в разговоре с Кристиком, в исключительных случаях. Он не знал также, что Ираку принадлежит всего три процента мировых запасов нефти и он не определяет нефтяную политику в мире. Не знаю, убедил ли я его, а вас я наверняка не убедил. Что ж, подождем, посмотрим, чем вся эта заваруха окончится...

Завтра буду звонить, узнавать как прошла операция у мамы. Так ли уж необходимо было её делать? Вам виднее (дурацкий каламбур). Пусть мама не обижается, что я не позвонил раньше. Вспомнил сегодня, но уже было поздно звонить. Во всяком случае желаю здоровья и здоровья. А всё остальное у вас уже есть.

Дорогие родственнички, здравствуйте!

Сегодня 30 апреля. Было у меня чувство опасности в отношении мамы, и вот, Наташин звонок, что она в больнице. Дай Бог, чтобы она выкарабкалась. Невольно думаешь о том, что жизнь идет к концу и все болезни еще впереди. Не те, которые мы перемогам на ногах, а другие, устрашающие и неизлечимые... Мама всегда говорит, что надо молить Бога, чтобы он пугал, но не карал.

Меня на склоне лет стали всё больше интересовать вопросы вечные и то, как люди их трактуют. Если я нахожу материалы по этому поводу, то с удовольствием прочитываю и обдумываю. Вот вам, к

примеру, материал из нашей местной газеты «Jewish Journal». Одна страничка в этом журнале печатается на русском языке.

...В одной старинной восточной притче умирающий везирь напутствовал своего шаха, как тому выбрать преемника на освобождающееся место: им может быть только тот из претендентов, кто пронесет, не пролив ни капли, полный кувшин молока по стене дворца от башни до башни. Первый, едва ступив на стену, отшатнулся от просвистевшей перед его лицом стрелы — и пролил несколько капель, второй вздрогнул, когда над его ухом взревели трубы — и молоко выплеснулось... И только один ни разу не дрогнул, когда у самого лица свистели стрелы, гремели трубы и барабаны. Пораженный шах спросил его — почему он ни разу не дрогнул. И человек с кувшином ответил — потому что я нес молоко.

Вспоминается Тевье-молочник, который *просто* развозит изо дня в день молоко, напоминая нам, суетливым и вздрагивающим от каждой неприятности, спотыкающимся от самого страха споткнуться, что самые высшие ценности, которые мы несем к последней башне своего пути, просты и бесхитростны, но именно в них истинный смысл нашей жизни.

Как вы знаете, к нам приехала погостить Наташа Сретенская. Поскольку мы люди неработающие, для нас нет проблем с тем, чтобы поводить или повозить по ближайшим городкам и по Бостону. Сегодня были в нашем самом большом Fine Art Museum. Хотя я уже бывал там два раза, оказалось, что я почти ничего не видел (кстати, каждый раз забываю очки для чтения). Наташа, как человек опытный в путешествиях (а она была во многих странах), взяла путеводитель по музею и благодаря ей я осмотрел греческий зал с великим множеством древних расписных сосудов краснофигурных, чернофигурных и пестрых. Должен отметить отменное качество реставрации. Долго рассматривать вазы мне не дали, да и в зале, где они выставлены, страшная духота. Потом выяснилось, что я не знал о существовании экспозиции Европейской живописи, в частности, я увидел в первый раз шесть великолепных картин Рембрандта и ряд картин других известных мастеров. Так что, если надумаете приехать, я теперь могу быть вашим гидом. Кстати, я тут недавно пролистал огромный том с картинами Рембрандта и поразился его плодовитости. При всём этом, обилие портретов ничем не примечательных людей, пусть даже исполненных великолепно, наскучило мне, может быть, потому, что я не профессионал...

Все-таки наибольшее впечатление на меня производят рисунки на древних вазах, меня волнует их *«тоющая»* линия, то что называют *«изысканной графикой»*. Хотел бы я иметь альбом с распечаткой этих гениальных рисунков. Еще там, в музее, я обнаружил витрину с миниатюрной японской скульптурой *«нецке»*. Там же в зале лежали толстенные книги иллюстраций этих скульптур.

Перед музеем я заехал в Хилель академию, где учатся внуки, и присутствовал на чтении торы. Это что-то вроде открытого урока. Так просто я бы не поехал, но Даша сказала, что Кристик будет публично читать тору. Должен признаться, я очень рад, что поехал. Сначала я видел, как старшая группа резвилась, пока учитель старался направить их внимание к божественному. Потом они разбежались, а Даша с фотоаппаратом, я и еще человек пять взрослых вошли в зал вместе с младшей группой. Урок вела улыбочивая и симпатичная женщина, которая преподает иврит. Большинство детей с удовольствием распевало тексты, а она ходила по залу, подсаживалась то к одной, то к другой группе, особенно если дети отвлекались. В отличие от синагоги, где молитвы проходят в сосредоточенном молчании и чтении про себя с редкими взрѣвываниями и раскачиваниями тела, здесь, среди малышей царила обстановка подобная спевке в пионерском лагере. Это сравнение навеяно совершенно *«пионерскими»* мотивами исполнившихся песен.

Сначала два мальчика читали по очереди тору в книжке, время от времени запевая дуэтом, потом они повернулись к шкафчику, где хранилась тора, и тут все мы встали. Потом вышла девочка и долго читала и пела в сопровождении хора. Потом вышел Кристик и очень чистым голосом пропел речитативом небольшой фрагмент, глядя в тору. Перед выступлением он очень волновался и всё время щипал свои пальцы. Он вообще очень легко возбудимый и ранимый. Надо бы сходить с ним к психологу, да родителям всё некогда. Сейчас у них идут экзамены в колледже. Итак, после выступления Кристика одна из преподавательниц подошла ко мне и наговорила мне про него комплименты (на английском, разумеется). Я её поблагодарил, хотя не вполне её понял. Потом дети с помощью учительницы вытащили из шкафчика свиток торы на двух длинных деревянных роликах в красивом футляре синего бархата с украшениями. Тору раздели, но читать прямо со свитка не стали, а разложили вокруг неё книжки и еще попели и почитали. Потом тору одели и под звуки известной словацкой

песенки «Тан-цуй, тан-цуй ви-круца, ви-круца...» положили обратно в шкафчик. На этом урок закончился и я поехал домой. Я подумал, что песни, которые исполняли дети, по логике вещей должны быть намного старше тех пионерских и советских песен, которые мы в детстве пели в пионерских лагерях. Интересно, каким путем происходит заимствование музыки у народов...

Здравствуйте, дорогие!

Вот уже и май идет к концу. Я очень рад, что мама выбралась (выбирается) из своей болезни. Человек в общем-то очень похож на автомобиль. Пока он молод — езжай себе на здоровье, куда заблагорассудится. Хочешь — заливай экстра-бензин, а хочешь — обычный. Мотор всё сожрет. Потом проходит время и в кишках начинается сбой. То одно меняй, то другое. Выхлопная труба прожавела (это вроде прямой кишки), — глушитель рычит, как реактивный самолет. Генератор загнулся (сердце отказало) — меняй генератор, аккумулятор надо менять (мозги не работают). Потом шины стираются (хромота) и прочее, и прочее.

Решил почитать разные книжки. Поехал в библиотеку в Свамскотт и взял Л.Улицкую, Эдварда Радзинского про Распутина и Анатолия Наймана (друга и наставника Иосифа Бродского). Рассказы Улицкой просто замечательные. Эх, мне бы так писать! Вот что значит «дар Божий». Правда, многие герои её рассказов обладают избыточной половой свободой и иногда создается впечатление, что находишься в обезьяньем питомнике типа Сухумского заповедника, а не в цивилизованном обществе. Но всё равно и секс она описывает очень вкусно. Такое впечатление, что она в этом деле знает толк.

Что касается книги о Распутине, то все, что рассказал на 550 страницах Радзинский, сказано в поэтическом отрывке Александра Блока (им же и приведенным):

*Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.
Три раза поклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.*

*Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад...*

Честно говоря, я никогда в церквах заплеванного пола не видел. Скорее всего, Блок имел в виду затоптанный или даже вытертый сапогами, но рифма вечно подводит поэтов. Красота требует жертв и ради красоты жертвуют смыслом. Но это частности, а в главном Блок перекликается с положениями Бердяева, что в российском народе всегда почиталась святость, причем в пике честности. Честность считалась буржуазной добродетелью. В результате знаменем стало положение *грешить и каяться*. Поскольку человек грешен от рождения, то стараться исправиться, встать на путь истинный не стоит и стараться. Нет, надо жить, как живется, а потом покаяться, благо поп всегда отпустит грех.

Наступил июль. Даша с детьми с невероятными сложностями добралась-таки до отчего дома. В самом начале она хвасталась, что благодаря предусмотрительности заранее заказала дешевые билеты домой через Лондон и Будапешт. Сын купил эти билеты через интернет. И вот, уже в аэропорту Бостона оказалось, что у Даши должна быть проставлена в паспорте транзитная Британская виза! Идиотизм налицо! Для того, чтобы покинуть здание международного аэропорта ты обязан предъявить паспорт и, если там нет визы, ты из терминала не выйдешь. Зачем же пассажиру, который через час летит из этого же аэропорта в Лондоне, выходить в город и нарушать пограничные правила? Короче, в результате бюрократического идиотизма им пришлось вернуться домой со всеми чемоданами. К счастью, их случай был не единственным и это сыграло свою роль — им предоставили билеты на следующий день через Париж. По дороге из Парижа потерялись все пять чемоданов и сын вызванивал через Эйр Франс, где их разыскать...

Дети закончили учебу с весьма посредственными оценками. Филип настолько несобран, что его с трудом перевели в следующий класс, а Кристик, несмотря на большие успехи в математике и прочем, до сих пор не знает, что домашние задания нужно выполнять. В результате, несмотря на отличные оценки на контрольных, он получил «С» (тройка) за год. Все были расстроены, и я среди первых.

Начальное и среднее образование в США на отвратительном уровне. В высшую школу (с 9 по 12 класс) поступают те, кто обладает способностями или с кем работают платные преподаватели. А в университетах учеба требует сумасшедшего напряжения и не всем это по силам.

Меня лично раздражает, что вместо географии, физики, химии, биологии Кристику дают какие-то дебильные материалы, в которых нет ни настоящей логики, ни реальных знаний. Вмешаться в учебный процесс я не могу, поскольку мой английский примерно такой же, как у Наташи немецкий, и даже хуже. И всё-таки, несмотря на очевидные недостатки начального образования, я рад, что они здесь и английский будет у них первым языком. Для того, чтобы овладеть им так, как они уже сейчас владеют, им пришлось бы потратить пять лет в высшем учебном заведении в Чехии или России.

Кристик перед отъездом уплатил 18 долларов за книжку Гарри Поттер на 800 страниц и в три дня почти её закончил. Как я ни уговаривал его подождать, пока книжка подешевеет, он — ни в какую. А тираж книжки 8 миллионов экземпляров! Через пару месяцев её можно будет купить за пять долларов.

Вы знаете, много было забавных мелочей в нашей жизни, и я всё собирался сесть и написать вам, но был недосуг, а теперь, вот, сижу и ничего не могу вспомнить. На закуску анекдотик.

«Когда Бог создал человека, он не запатентовал своё изобретение. И теперь каждый дурак может сделать то же самое.» Пока, до следующего письма.

Дорогой мой Левка, друг мой бесценный!

Дурные вести меня просто поразили. Я-то думал, что у нас с тобой впереди еще годы и годы, хотя твои болезни всё больше угнетали тебя. И вдруг оказалось, что счет твоей жизни пошел на месяцы (про себя еще пока ничего не знаю). Не стану мямлить бессмысленные слова утешения, ибо реально помочь я тебе не в силах. Мне без тебя будет сиротливо на этой прекрасной и поганой планете.

Раз уж наступило время подвести итог, то знай, что ближе тебя у меня не было в жизни человека и, наверное, если во мне есть что-то хорошее, то им я обязан, прежде всего, тебе. Я прошу у тебя прощения за все неприятности, которых, быть может, много накопилось за прошедшую жизнь, и надеюсь, что ты простишь меня.

Конечно, я буду тебе звонить до самого конца, пока ты сможешь со мной говорить. Пусть Господь, в которого ты не веришь, разрешит тебе без особых мучений доплыть до того берега. Еще раз прости.

Искренне любящий тебя, *Олег*

Здравствуйте все!

Итак, сегодня 17 августа 2003. Уже несколько дней стоит жара. Очень влажно. Спасаемся с помощью кондиционера, но отсутствие подвижности расслабляет и ухудшает самочувствие. Как вы там переносите жару? Стоит ли экономить на здоровье? Особенно маме.

Сочетание жары и дождей вызвало буйную растительность, обилие комаров и всякой другой мошки и множество грибов в лесу. Мы уже всю едим грибы и угощаем знакомых.

Скоро у нас наступит волшебная пора — долгая и теплая осень. Главное дожить до неё и чтобы дети и внуки были здоровы. С тревогой жду их возвращения. Два месяца не было с ними никакого общения. Вся информация шла через сына, который звонил им. Но как трудно вырвать у него информацию, вы, наверное, знаете.

Лето было, слава Богу, небогато событиями. Прочел несколько хороших книг. Особенно понравилось «Бессмертие» Милана Кундеры (Чехия). Не очень-то разобрался в этом романе, попробую где-нибудь разыскать предисловие... Поглупел я что-ли? По-прежнему занимаюсь творчеством Иосифа Бродского, хотя уже не с тем пылом, как раньше. Я всегда был бездельником, бездельником и остался. Пенсионная жизнь расслабляет. Как подумаешь, как мало осталось времени и как много накопилось всяких недоумоганий... Хочется каждый прожитый день отмечать, как праздник — с вином, женщинами, смехом и песнями, потому что Завтра уже под вопросом.

Хоть и трудно говорить, но пожаловаться надо — кому же я пожалуюсь, как не самым близким? Нет больше на свете моего дорогого друга Левки. Как бы он ни жил, как бы ни ошибался, но жил он мужественно и встретил смерть, как мужчина. Никто, даже Лина, не понимает, как мне больно. Где-то я читал, что сочувствие нам дается, как Божий дар. Но мало его носить внутри, нужно, чтобы он в виде утешений, в виде ласковой, нежной речи исходил от сочувствующего. Ведь мы все такие в сущности слабые, так быстро проживаем свой век, ведь даже в самом мускулистом

и здоровом теле девяносто пять процентов воды. Мы — живые носители воды и всю жизнь возвращаем её планете Земля, а после смерти и недавно. Мы все достойны жалости, кроме злодеев, не правда ли?

Ну, ладно. Теперь о веселом. Заметка в газете: «Сегодня в 7 утра в больнице Святого Патрика миссис Хуанита Гонсалес родила пятерых девочек. До семи вечера врачи боролись за жизнь мистера Педро Гонсалес»

Недавно в Америке произошло очередное событие, заставшее всех врасплох (в том числе и террористов), — отключилась подача электричества в нескольких штатах и, в том числе, в Нью-Йорке. В прошлый раз, лет двадцать пять тому назад, это привело к массовым беспорядкам и грабежам. В этот раз полиция была на высоте. Беспорядков не было. Однако одновременно встали все поезда метро. А температура в Нью-Йорке была в тот день 33 градуса по Цельсию. Вентиляция, естественно, тоже отключилась. Я думаю, что люди с сердечными проблемами вполне могли погибнуть, пока к ним пришла помощь. Однако власти утверждают, что погибло всего пять человек. Я думаю, что это — ложь. Электричества не было почти сутки. Думаю, что экономика штатов понесла значительный урон. Все замороженные продукты испортились, все промышленные процессы, идущие с помощью электричества и охлаждения (подогрева) выдали брак. Но в прессе об этом ни слова. Ищут виновных. В общем, — всё, как было у нас в России, но с той разницей, что я не помню ни одного такого происшествия за все года, которые там прожил. Значит, система подачи электроэнергии в России лучше, чем в США! Кстати, в нашем Массачусетсе остановки подачи электричества не было.

Теперь о моем дне рождения. Захотелось мне пригласить гостей, захотелось мне праздника! Я всё думал, что же такого особенного в дате «шестьдесят четыре года» и с помощью знакомого придумал — да ведь это два в шестой степени! Насколько интереснее цифры шестьдесят пять, которая делится лишь на пять и на тринадцать! Кроме того, не хотелось мне праздновать второго числа сентября, потому что оно приходилось на понедельник, а люди, которых я хотел видеть, все работают. И тут другой мой знакомый навел меня на мысль, что час ночи второго сентября в Москве то же самое, что пять часов вечера первого сентября в Бостоне.

Я готовился к празднику с большим воодушевлением. Попросил у Бори его квартиру, так как у него большая комната

и большой стол. Стулья я организовал. Поджарил баклажаны и намазал смесью петрушки и чеснока со сметаной. Нашинковал свежую редиску и залил соевым соусом (это очень вкусное моё изобретение), нарезал цветочки цветной капусты и воткнул в них сельдереи — получились такие съедобные букеты, а к ним подал соус «Ранчо». Лина, видя мои приготовления, заявила, что такого позора она не стерпит и уходит домой. Тут я встал, как скала, и сказал, что праздник мой и что она может идти, куда угодно. Тогда она осталась, но ненавидела меня весь вечер. В результате, я встречал гостей, улыбался, шутил, а на сердце было тяжело. Очень тяжело. А гости принесли чудесные подарки, мы хорошо выпивали, много было разговоров и все друг друга любили (кроме моей жены). Мои баклажаны все хвалили. Ни одного не осталось. Добавлю еще две детали. Я почистил картошку, приволок на себе всё вино и воду, закуски и картошку, вилки и рюмки, фужеры и чищенные дыни, арбуз на десять кило и прочее, и прочее. Я бы спокойно заранее нарезал овощи к столу, но Лина уперлась, что они вытекут. В результате я едва успел все их нарезать перед приходом гостей. Борис и я сделали массу снимков. Когда я их отберу, часть pošлю вам, чтобы вы разделили мою радость.

Всего сидело за столом двадцать человек. Был там и сын Лины. Ни одного доброго слова, даже не подошел. Ну и хрен с ними, со всеми. Я отдал им всё, что заработал. Мне ничего не нужно. Может быть, только пару сотен любимых книг, которые застряли в Словакии. Пытаюсь хоть что-то передать внукам, но они заблокированы дурацкими мультфильмами по телевизору и компьютерными играми. Я терзаюсь, терзаюсь, а потом думаю: «Но ведь меня никто и ничему не учил. Пришло время и я стал интересоваться музыкой, книгами, живописью, минералами. Каждый должен прожить свою собственную жизнь, а не придуманную своими родителями». Когда я так думаю, мне становится легче.

Ну, хватит об этом. В остальном жизнь прекрасна. Еды пока хватает. В следующем письме расскажу вам об увлекательном путешествии в Беркширские горы, в маленький город, который является, тем не менее, крупнейшим культурным центром нашего штата.

Еще раз сердечно поздравляю сестричку с 50-летием. Здоровья и благополучия!

Ну, здравствуйте еще раз!

Пока не забыл, спешу рассказать о своих впечатлениях о недалеком путешествии. Как я уже говорил вам, мне подарили кучу забавных подарков, но были среди них и целевые. Люба с семьей и наша знакомая сбросили по 20 долларов с тем, чтобы я поехал в однодневную экскурсию (за 80 долларов) в Беркширские горы, хотя официально они называются холмами. Действительно, наивысшая точка в них составляет всего 1200 м.

Ехали мы на «Форде» в точности таком же, какой сын купил для Даши. Комфортабельная машина, которая везла семейную пару — экскурсовода и водителя плюс четверых туристов. Я сидел сзади со стариком по имени Моня, а впереди сидела его жена Циля и разваливающаяся от старости и слабости женщина Хиля. Чтобы Хиля могла войти в машину или выйти из машины ей давали скамеечку, которая всегда наготове в этом чудесном экскурсионном бюро. Обе женщины оказались на редкость симпатичными созданиями, чего не могу сказать о своем соседе Моне, хотя лично мне он ничего плохого сознательно не сделал. От него просто плохо пахло. Я мучился мыслью, что мне предстоит его обонять три с лишним часа, и от этого немного грустил. Потом меня осенило и я попросил водителя подать мне побольше воздуха, что и было тотчас исполнено. Вскоре вонь стало быстро уносить из салона. Моня заснул и начал храпеть, но я был даже рад этому, потому что у меня не было никакой охоты с ним общаться, тем более, что он несколько раз чихнул, не закрываясь, а потом, за неимением носового платка стал сушить свой нос пальцами и втягивать сопли. Как все-таки много означает при тесном общении элементарное воспитание! Для того оно, наверное, и дается, чтобы люди друг друга не раздражали.

Между тем поездка началась. Мы миновали Бостон, пользуясь тоннелями и каждый раз оплачивали проезд через них, направляясь в дальний западный угол Массачусетса. Через полтора часа езды мы остановились в приятном месте, где при желании могли купить еду и питье, а также оправиться. Мы отдали предпочтение только последнему, так как в программе было указано, что нас будут кормить. Затем мы снова погрузились и поехали в город Вильямстаун, где предполагалось сначала посетить музей новейшего искусства, а затем музей Кларка, где хранится богатейшая коллекция Ренуара. Экскурсовод Наташа так увлекательно пела об искусстве Модерна, что я решил

попытаться постигнуть, в чем там соль и чем оно отличается от всего, достигнутого ранее.

Я всегда считал, что в искусстве, как и в науке важна преемственность. Наивно думать, что некий новый закон или закономерность можно установить, не зная или пренебрегая тем количеством знаний, которое уже накоплено. И вот, там, где чувствовалась связь с человеческим опытом, я находил для себя нечто более или менее интересное, а в случае пустых, дутых концепций я чувствовал себя в роли одураченного голого короля, которому подсовывают несуществующее платье. Вот, к примеру, приходим мы в первый зал. Там висят в воздухе надутые гелием спальные мешки разного цвета. Из каждого мешка свисают рыжие, черные, белые женские волосы («художник» давал понять, что внутри мешков спят женщины. К каждому мешку ведет черная трубочка от баллона с гелием. Автор — мексиканец. Зрелище, прямо скажем, малоэстетическое. Или вот, еще. Большой зал. В одной части скульптура одного немца (о ней речь особо), а в другой части — висящий на проволочках Тадж Махал (помните, папа из Индии привез мраморный макет?). Такой же макет сляпан из плохо покрашенного в свекольный цвет целлофана. Посетителя ведут внутрь этого сооружения и объясняют, что свекольный Тадж Махал воплощает мечту автора о рае, или о чем-то весьма возвышенном. Но самое удивительно-гадкое — это «скульптура» того самого немца. Вас подводят к некой конструкции высотой в два этажа. Эта конструкция имеет вид длинного совка, расширяющегося книзу и заполненного чем-то, напоминающим почерневший навоз. А вокруг этого совка на прекрасном паркетном полу валяются куски увеличенного в пять раз человеческого кала. Имитация настолько удачная, что почти чувствуешь запах! Хотя уже настала пора поесть, я почувствовал, что меня замутило. Вся эта гадость названа очень претенциозно: «Молния, отражающаяся во взгляде самца-оленья». Этот «скульптор» по имени *Joseph Beuys*, как сказано в проспекте, занимается проблемами исторического символизма Северной Европы, христианством и присущей животным некой духовной силой (Каково сочетание! Прямо, как объяснение непонятных сил, действующих в *Mystery Spot*). Его работы, по его собственному мнению, преследуют цель показать «победу социалистического тепла и самоопределения над материалистической решеткой и отчуждением». Не ругаюсь за абсолютную точность перевода, но то, что это гнусная

абракадабра, ручаюсь. Вот такими заморочками потчуют неискушенного зрителя, а искусствоведы разводят вокруг этой бессмыслицы глубокомысленный туман. В России тоже есть такая личность — полупоэт-полускульптор, шахер-махер от искусства, господин Пригов. Видели бы вы, как с этим деятелем носятся девочки от литературы, называют его только по имени-отчеству, а он, взгромоздясь на сцену, не стесняется выдавать перлы типа: « ...Если написать слово Х... на спине загорающего на солнце мужчины,... » Мы с женой тогда присутствовали в зале и, услышав это замечательное слово в четвертый раз за три минуты, поднялись и ушли.

В следующем зале нам демонстрировали заводные игрушки. Окна были заделаны цветными стеклами, что создавало праздничный пестрый фон, а на полу было расставлено несколько композиций. Одна из них представляла собой пять детских деревянных колыбелей, внутри которых было постлано белое одеяльце. Вокруг этих колыбелей по замкнутой кривой путешествовала кушеточка, на которой возлежала кукольная кошка в натуральный размер. Наташа объяснила нам, что кошка оберегает покой этих колыбелей. В другом углу стояла полуторная кровать, в которой лежали обнявшись две кукольные мыши, одна серая, а другая черная, обе размером с шестилетнего ребенка. Вокруг этой парочки по другой замкнутой кривой путешествовала гигантская домашняя тапочка, на которой сидел здоровенный омар. Всё это напоминало бред сивой кобылы в лунную ночь, но чувствовалось и что-то бесовское...

Потом мы прошли в зал, где стояла обычная этажерка, в которой были разложены снимки старых вещей, обнаруженных на каком-то Богом забытом складе. Каждый снимок стоил доллар и рядом с этажеркой стоял совершенно прозаический прозрачный ящик, наполовину полный долларовыми бумажками. Потом в темном зале мы посмотрели немой фильм о двух женщинах, которые делали макияж и туалет. Одна изображала семнадцатый век, а другая — наше время. Первая принесла кувшин и тазик, налила воду в тазик, намочила в ней тряпочку, отжала и стала протирать руки, шею и лицо, изредка обмакивая тряпочку в воду и отжимая. Другая использовала современную косметику. Эти действия они исполняли одновременно, так что вы имели возможность сравнивать...

Но самый-самый аттракцион нам был подан на закуску.

Роберт Вильсон, американец 1941 года рождения, специалист в театральном искусстве, как нам объяснили, художник и дизайнер, воплотил идею о крестном пути Христа на Голгофу. Церковники подсчитали, что Христос на своем последнем пути остановился 14 раз. Вот этим 14 остановкам и посвящен огромный зал (с американским размахом!). Пол зала устлан светлым гравием, посередине которого положены деревянные мостки. На гравии справа и слева стоят 12 садовых домиков с одним окошком, но без дверей. Вы идете по мосткам и заглядываете в окошки. Но перед этим вы должны миновать некий колодец, напоминающий унитаз, в котором плещется красная жидкость. Из унитаза доносится латынь — это Понтий Пилат произносит приговор Христу. Время от времени слышен звук спускаемого унитаза. По замыслу автора всё это означает смертный приговор Иисусу (а, может быть, Понтий Пилат умыл руки и спустил воду). Внутри домиков изображены всякие страшилки. В первом слева из гравия торчит очень реалистично сделанная рука из красного воска. Стало быть, всё остальное уже под землей. Называется это: *Иисус несет на плечах крест (?)*. В домике направо виден ягненок, больше похожий на здорового эрдель-терьера. Из его бока тоже торчит рука, но уже желтоватая. Это называется: *Иисус падает под весом креста (?)*. В следующем домике слева висит огромный камень и две абстрактные фигурки лицом друг к другу под ним. *Это Иисус встречается с матерью*. Что было в четвертом домике я не помню, но автор считает, что *это Симон помогает Иисусу нести крест*. Что-то брезжит мне, будто бы там в воздухе висела какая-то мебель. Дальше я совсем не помню, но был там домик, где опять висел огромный камень, а под ним по черной дорожке полз, как ящерица мультипликационный человечек. В одном из домиков сидело 6 кукол, изображающих женщин в монашеской униформе и держащих в руках спицы. Взгляд у них был совершенно отсутствующий, хотя по замыслу они должны были оплакивать Христа. Содержимое двух последних домиков я запомнил. В одном из них стояла большого диаметра стеклянная труба с зеленым раствором, через которую пробулькивался пузырь воздуха. *Это означало, что Христос распят на кресте*. А в другом домике стояла в очень натуральных позах стоя ярко-красных безглазых волков с великолепно сделанными зубами. Означало это, что *Христос умирает на кресте*.

В конце зала висело нечто вроде очень высокого вигвама, разрезанного пополам и в нем головой вниз опять же висел белый-белый манекен. Называлось это *Воскресение*.

Это было любопытно, но не с точки зрения искусства, а с точки зрения человеческих заморочек, когда зрительные образы пытаются выдать за музыкальные. Ведь правда, ничего абстрактней музыки не сыщешь!? Ведь если бы не расшифровка, данная автором, мы бы в жизни не догадались по этим ужасикам, что происходит. Ощущение чего-то мрачного есть, но это и всё... Кстати, время от времени в зале возникал звук, будто самосвал разгружает кузов с гравием.

Старички выходили из музея с усталым и грустным видом. Еще бы! Натрудили ноги, глаза, уши, — и всё зазря! В холле музея была масса витрин с альбомами современного искусства по сумасшедшим ценам. Были еще и сувениры, столь же безвкусные и глупые, как альбомы и столь же дорогие.

Словно в утешение, нас повели в чудесное кафе, которое содержит литовская семья, и там нас бесплатно покормили очень вкусным супом и пирогом с рыбой и мясной начинкой (по выбору). На закуску дали кофе, шоколадки и пакетик с чипсами. Старички приободрились и даже помолодели. Меня предупредили перед поездкой, что кормежка под вопросом, и я взял с собой бутерброд с черносливом, который умял по дороге, чтобы он мне не мешал. А Моня тащил здоровенный пакет и до него не дотронулся. Жена Мони Циля, не могла осилить всего обеда и Моня заботливо упаковал с собой половину пирога с индейкой и чипсы. После чудесного обеда мы поехали к желанной цели — в музей Кларка.

Музей расположился на зеленой лужайке. Новое здание музея не гармонирует со старым в том смысле, что архитектурный комплекс не получается, однако интерьер музея прекрасен. В холле (как и повсюду в Америке) идет бойкая торговля сувенирами и прекрасными альбомами. Торгуют дорого, но публика берет охотно. Сейчас в продаже новинка — плоский, как пудреница фонарик с очень яркой лампочкой для освещения содержимого сумки или замка машины. Фонарики украшены репродукциями из Ренуара. Очень мило. Стоит эта фитюлька восемь долларов (!).

Экспозиция начинается с американского искусства. Несколько впечатляющих работ Сарджента, есть и другие художники. Прекрасная скульптура итальянского маньеризма. Там же работы французских художников эпохи классицизма (академиков).

Работы прекрасные. Публика, которая вечно ищет идолов, которым бездумно поклоняется, вначале топтала импрессионистов, а потом возвеличила без меры, отбросив, как хлам прежнее великое искусство. Публика — дура! Это знают все художники, но у публики есть деньги, а у художников их нет.

В следующем, светлом и большом зале — Ренуар. Сразу вам скажу, что ощущение праздника возникает сразу, но после первого приступа радости начинаешь осознать, что не все работы равноценны. Есть шедевры, но есть и работы просто хорошего уровня. В том же зале представлены работы Моне, Дега и других импрессионистов.

А в следующих залах я просто испытал шок. Я не был готов к восприятию великих мастеров, которые так скромно и уютно расположились в левом крыле музея. Какие картины, какие имена! Диву даешься, что во времена Кларков (начало XX века!) еще можно было свободно купить такие вещи. Я-то думал, что всё значительное давным-давно хранится в государственных музеях. Тут я вспомнил, что у меня с собой фотоаппарат и принялся без разбора щелкать кадр за кадром. Так, наверное, ведет себя заядлый грибник, напоровшись на полянку с белыми грибами... Тут ко мне подошла служительница музея и сказала, что фотографировать в этом зале нельзя. Я извинился и ушел в другой зал. Там я увидел фантастически прекрасный пейзаж Писарро, выполненный в пуантилистической манере. Трава, листва деревьев, небеса сияли невыразимой красотой. Я сделал два снимка, но уверен, что камера не сможет передать всё очарование картины.

На закуску мы пошли на выставку Тёрнера. Там была масса народу, поскольку шел предпоследний день выставки. Это был поздний Тёрнер, который экспериментировал с цветосветовой гаммой при передаче переменчивости моря, тумана над ним и воздуха. Описывать картины не стану. Они достаточно беспредметны. Они скорее суть некая музыка, чем краски. Я рад, что познакомился с ними. Кстати, я думаю, что репродукции скорее всего дадут искаженное впечатление о картинах. Есть, наверное, такие картины, которые не проигрывают от уменьшения или увеличения (мы с удовольствием смотрим детали картин великих мастеров, выявленные крупным планом), но в случае Тернера это не так. Его живопись диктуется еще и размером сотворенного.

Мы покидали музей Кларка усталые, и я думал о длинной обратной дороге. Оказалось, что экскурсия наша еще не окончена.

Нас повозили по Уильямстауну. Городок примерной чистоты и ухоженности. Основное население — студенты и преподаватели. Стоимость квартир ошеломляющая, но студенты берут их для совместного проживания, так что на каждого приходится не очень много.

Домой мы ехали другой дорогой. Уже смеркалось, когда наши гиды завернули в крошечный городок (большую деревню) под названием Шелбёрн Фоллз. Через городок протекает горная речка, она течет по камням, образуя петли и водопады (отсюда и название «*фоллз*»). Через речку перекинут мост, по которому некогда ходил трамвайчик, а теперь там высажено множество самых разнообразных цветов, и мост теперь называется мостом цветов. Вечерняя прогулка по этому мосту была удивительной. Потом мы подошли к плотине и увидели потрясающее природное явление: дно бывшей горной реки, покрытое плоскими каменными плитами, было проточено, словно гигантским буром, огромным количеством почти идеальных цилиндрических отверстий диаметром не менее метра. Гиды сказали, что одним из объяснений является тысячелетняя работа воды, перемешанной с песком и мелкими камнями, которые крутились и крутились в водоворотах, постепенно углубляя каменное ложе. Когда-то, до прихода европейцев, индейцы очень ценили эту речку из-за обилия в ней лосося. Действительно, с точки зрения метания икры эти цилиндрические ямы в камне, наверное, идеальны.

Напоследок мы посетили магазин изделий из цветного стекла, при котором находилось кустарное производство. Всё это было, с моей точки зрения, недостаточно эстетично, но забавно. Цены на изделия были сумасшедшие, куда там Сваровскому!

Это была наша последняя остановка. Гиды посоветовали нам сходить в магазин перед дорогой и прикупить еды, если мы голодны. Однако у всех что-то было (кроме меня), и мы поехали на сей раз с одной лишь остановкой по просьбе Мони, который хотел еще раз полюбоваться видом с горы на вечеряющий пейзаж. Мы еще раз вышли из машины, и Моня долго и картаво восхищался. Я успел заглянуть в магазин сувениров, где купил роскошный охотничий нож с кожаными ножнами за 11 долларов (задаром).

Уже в сумерках мы двинули домой. Я было приготовился подремать, но у Мони проснулся бешеный аппетит. Он развернул недоеденный пирог и стал настойчиво пихать его в Цилечку. Жена защищалась, как могла, переходя на крик: «Я не хочу! Я не хочу!

Я не хочу!!!» Наконец Моня успокоился и съел пирог сам. Видно горный пейзаж здорово пошел ему на пользу, потому что затем он вытащил двойной бутерброд и долго-долго уничтожал его. Я сидел с закрытыми глазами и ненавидел его за то, что он так сопит. Но вот, хотя и бутерброду пришел конец, ужин Мони еще не кончился. Он вытащил из мешка что-то рыбное (или овощное) — в темноте я не увидел — и снова стал жевать. Это было что-то сильно пахучее. Я вновь попросил прибавить нам воздуха в салон, потому что почувствовал неприятный спазм в желудке. Между тем, запах усилился. Когда я приоткрыл глаз, я увидел, что Моня вытирает рот и руки клочком бумаги, которая напивавшись маслом и специями, издает в десять раз более сильный запах, чем поглощенная еда. Я почувствовал, что сейчас попрошу Моню убрать подальше бумажку из-под моего носа, но в это время он полез за водой и уронил бутылку на пол, когда он её водрузил на место, заодно бросил туда и вонючую бумажку. Теперь я мог закрыть глаза спокойно. Воздух быстро очистился. В окно светила полная и яркая луна. Моня заснул после плотной еды, уронив голову на грудь. Мы уже подъезжали к Бостону, когда машину тряхнуло и он пробудился. Пробудился и начал зевать, да не как-нибудь, а с долгими завываниями. Если незнакомый вам человек зевнет в голос, вы, может быть, не обратите внимания. Ну что поделаешь, не все так хорошо воспитаны, чтобы зевать беззвучно. Однако Моня зевнул в общей сложности раз двенадцать. Уже на третьем зевке я наизусть знал все модуляции его голоса и мечтал его прикончить. Чтобы развлечься, я стал придумывать комбинации из слов Цилия и Моня и нашел уникальное слово «*Милиционер*», которое вмещало оба имени. Помните нашу игру на уроках в школе? — нужно было придумать слова, используя буквенный материал материнского слова. Я усложнил задачу. Мои слова должны были быть связаны в фразу. Я же сочинил целый стих:

— *Мирон ел лимон.*
 — *Це номер!*
 — *Цел ли Мирон?*
 — *Не, он омер...*

И ещё:

Лимон не мне и не Циле. Лимон — Моне!
Милиционер, не рони лицо Цилия и Мони!

На закуску я сочинил совсем в духе рассказа Ираклия Андроникова слово Цилемония и полностью удовлетворился. Умственная деятельность встряхнула и освежила меня.

Наконец, мы приехали в Бостон. Симпатичную старушку почти на руках вынесли из машины, я тут же отсел от Мони и мне стало совсем хорошо. В Бостоне Наташа вновь оживила микрофон и стала что-то рассказывать, но я уже был переполнен впечатлениями и ничего не запомнил.

Вот так закончилась наша экскурсия в Беркширские горы, продлившаяся четырнадцать часов — с восьми утра до десяти вечера. Она была бы еще прекрасней, если бы не...

Спустя почти полгода я спрашиваю себя, ну что я к нему пристал и испортил тем самым и своё удовольствие, и воспоминания о путешествии. В результате получается, что я сам себя обгадил, ибо показал полное отсутствие терпимости. Наверняка, кто-нибудь тоже держит меня за пренеприятного типа, который шумно сморкается или чихает, обладает скрипучим голосом, часто говорит глупости или банальности с умным видом, не умеет держать себя за столом, много ест, не знает чувства меры и прочее, и прочее. Право, иногда посмотришь на себя в зеркало и быстрее отводишь глаза — смотреть противно. А иногда бывает, что побреешься, оденешься, подумаешь о чем-нибудь стоящем и ненароком глянешь в зеркало — на тебя смотрит умным взглядом вполне симпатичный пожилой мужчина. Интересно, кто это такой... Может быть, он автор широко известного романа или сборника рассказов, или стихов. А, может быть, он преуспевающий бизнесмен?

Какое счастье быть богатым и здоровым! А если совсем не богатым и совсем не здоровым? А если не совсем богатым и не совсем здоровым? А если чувствуешь, что давно уже едешь с ярмарки и не держишь зла на тех, кто идет тебе на смену, просто подчиняешься потоку времени и вяло так ждешь, не клюнет ли золотая рыбка? Знаете ли вы, что это глупое и вялое ожидание чуда я ощущаю, как ежедневное счастье! Мне приятно, купив билет за доллар, помечтать о миллионном выигрыше. А вдруг! А почему бы и нет! Ах, скольких бы я порадовал! Какой бы я был граф Монте-Кристо!

Послушайте, а я ведь сейчас на одном дыхании написал вам роман под названием «Рождение романа» объемом в полстраницы. Завидуйте! Аплодируйте! Попробуйте повторить, если сможете!

Дорогие Боречка и Юлечка, здравствуйте!

Многочисленные попытки связаться с вами по телефону не приводят к успеху. Вникать в причину этого нет никакого желания, потому что надо связываться с нашими телефонными службами, говорить на английском языке, что я терпеть ненавижу... Короче — вот вам моё письмо.

Я узнал, что Люба говорила с вами, когда звонила Елене. Она мне передала, в частности, что ты, Боря, давал читать мою книжицу знающему человеку и она ему понравилась. Это мне очень лестно и хотелось бы узнать, что это за человек и не может ли он порекомендовать кому-либо еще прочесть мой роман.

Кстати, хочу вам сказать, что мой роман, недавно сделанная повесть, сценарий и десятка полтора рассказов находятся в библиотеке Интернета в разделе *«Библиотека Машкова, журнал Самиздат»*. С публикациями здесь туго, журналов на русском языке мало, а желающих опубликоваться — тьма. Пока удалось лишь опубликовать два рассказа, *«Открытое письмо Солженицыну»* (и то в разделе писем), несколько стихов и всё. Сейчас висит рассказ, который всё недосуг закончить.

Я вас помню и люблю, и хочу чтобы мы все дожили до встречи, которая уже на за горами, и порадовались друг на друга.

Маме моей третьего февраля исполнится 88 лет! Вот так держать, мои дорогие! Есть у неё куча болезней, но ум светлый. В старости это очень важно.

В нашей американской жизни, так же, как и в вашей российской мало примечательного, поскольку и вы, и мы — пенсионеры. Читаем книжки, я регулярно читаю американскую бесплатную газету. Изредка ходим на музыку в Бостон. Родни много, но рядом только Люба с семьей. Сама-то Люба — чудесная женщина, привлекательная в свои семьдесят три года и общительная, активная в хорошем смысле слова.

Вообще же, наш Линн напичкан старыми евреями, которые ведут себя, с моей точки зрения, не всегда приятно. Да не в этом дело. В Москве я с такими никогда не сталкивался, а эти... как будто их вытащили из глухого еврейского местечка середины девятнадцатого века. Они все такие самодовольные, так страшно интересуются всем на свете... В этой жаждущей толпе, рукоплещущей всем проходимцам, приезжающим сюда в Америку на халтуру, я просто физически не могу находиться. Вот такой я индивидуалист!

Я люблю потреблять искусство (книги, картины, музыку) в очень узком кругу или в одиночку.

Потом эти идеи всемирной гегемонии еврейства, этот скрупулезный подсчет процентов гениальных евреев... Дети этих новообращенных стали американцами, а внуки уже и русского языка не знают. Большинство хорошо и очень хорошо устроены. Российская система обучения дала очень много тем, кто хотел учиться. Американская система школьного обучения безобразна. Есть даже такой анекдот: «Что такое американская наука? Это когда русские профессора читают в Америке курсы лекций китайским и индийским студентам...»

Из нашей глубинки я смотрю в свое прошлое и уже не чувствую интереса к событиям в России. Это уже не мое. Вот только культура, величайшая культура, к которой нынешние хозяева России не имеют ни малейшего отношения.

В одном из роскошно изданных и бесплатных журнальчиков на русском языке я прочел забавное наблюдение, которое после сокращения и правки привожу ниже.

«До и после еды в ресторане к деньгам относишься по разному. Когда голодный садишься за стол, чувствуешь себя повелителем империи, который за ценой не постоит. Цель одна — максимум еды в минимальные сроки. Наевшись, уже не можешь вспомнить, что вообще когда-то чувствовал голод. Смотришь на жующих и думаешь: «Как они могут столько есть?» Ты расстегиваешь пуговицу на брюках, отодвигаешь с неприязнью кусок ростбифа с неаппетитно торчащим окурком в картофельном пюре. Ты смотреть не можешь на еду до конца дней своих... И вот тут-то приносят счет. Он вызывает недоумение. «Что это? Как это возможно? Неужели всё правильно и мы проели за полтора часа такую кучу денег?»

Вот фразы из того же журнальчика, которые мне понравились:

Жизнь — это смертельная болезнь, передаваемая половым путем.

Пришел — спасибо, ушел — большое спасибо.

Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.

Она приехала в Сибирь и испортила ему всю каторгу.

Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.

Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».

Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.

Приятно, когда замечают, что ты сказал умное. Вдвойне приятно, когда не замечают, что ты сказал глупость.

Если сможете, напишите мне. Я буду счастлив получить от вас весточку.

Ваш Олег Трастаницкий.

Дорогие мои, здравствуйте!

С огромным удовольствием вспоминаю нашу встречу. Для неё характерны искренность и доброжелательность, по которой я давно соскучился. У меня давно не было такого теплого ощущения родства. Несколько слов о поездке. Гостиница оказалась на редкость приятной. Скромная обстановка, тишина, отличный душ, туалет и биде. Свежие простыни и свежие полотенца каждый день. Очень приятный завтрак — апельсиновый сок, чай, кофе, молоко плюс булочки, джемы пяти сортов, мёд, сухарики и плавленый сыр. Можно было и набрать с собой на ужин, что я исправно и делал. Очарование Флоренции в том, что при своем первостатейном статусе города-музея она остается тихим провинциальным городом в пределах своего исторического центра.

Должен признаться, что я — не такой уж крупный специалист в искусстве, и потому, созерцая бесконечные божественные сцены на полотнах великих мастеров, я откровенно скучал. Ну, подумайте сами, сколько можно созерцать вариантов Мадонны с младенцем! Когда я вернулся домой, то в голове у меня была каша, и я уже вообще не мог вспомнить, что же меня восхищало до поездки во Флоренцию и что я мечтал увидеть в оригинале. Вернувшись домой, я открыл книгу о Флоренции, купленную в Линне, и нашел, что в книге всё гораздо красивее и интереснее.

Впрочем, это касается в основном живописи. А вот скульптура и архитектура действительно поражают. Флорентинцы разумно, с точки зрения экономики, разместили Микеланджело в разных музеях. В каждый музей купите-ка по билету. Но то, что я увидел, выйдя на площадь «*Пьяцца Веккио*», было для меня, как удар молнии.

Я ещё продумаю и, может быть, напишу вам более подробно о своем путешествии, в котором я, несмотря на тяготы пути и проблемы со здоровьем, был отчаянно счастлив и молод, как студент.

Как передать очарование момента, когда вы идете неширокой улицей и вдруг она впадает в огромную площадь, и вам открывается божественная перспектива с архитектурным ансамблем палаццо Веккио, который стоит на одноименной площади, и перед ним фонтан, украшенный гигантской фигурой океанского божества, окруженного всякой морской живностью, а рядом божественный Давид работы Микеланджело. Но мой взгляд, как зачарованный, идет вправо, туда, где стоит мой кумир — Бронзовый Персей, держащий в левой руке голову Горгоны, а в правой — изящный меч. У каждого любителя изящных искусств должен быть свой «личный» мастер, который ему ближе всех остальных. Так получилось, что мне ближе всего Бенвенуто Челлини — воин, храбрец, ювелир, скульптор, художник, писатель и поэт. По разнообразию талантов он не уступает Микеланджело, уступает только, пожалуй, масштабом содеянного. И ведь он прекрасно понимал это и не терзался, потому что был человеком гармоничным и самодостаточным. Это вам не пушкинский Сальери, который, будучи гением музыки, остро завидовал Моцарту, потому что Моцарт был еще сильнее (правда, это Пушкинская трактовка, как оно было на самом деле, я не знаю). Что же касается судьбы, то она у Челлини необыкновенно богата событиями.

Как гениально сказал о них, титанах эпохи Ренессанса всеми обруганный Маркс: «Эта эпоха нуждалась в титанах и она создала титанов!»

И вот на фоне этих великих и недосягаемых я сушу под солнцем свою старую шкуру и думаю:

— А ведь и мне даны зачатки творчества! Я могу рисовать, красить, писать стихи, рассказы, сочинять музыку, ставить опыты... Просто мои дарования в каждом из перечисленных направлений очень скромны, но, может быть, в каком-то колене они проявились бы с неожиданной силой, если бы я решился оставить потомство, и тогда о моем отдаленном потомке кто-нибудь сказал бы или написал, как о человеке энциклопедически широком, о его титанизме..., но я ведь никогда об этом не узнал бы. И мой отдаленный потомок тоже не узнал бы, что его пра-пра-прадед предвосхитил рождение гения, несущего бесценный ген гениальности, поскольку ген еще не гений...

И ещё об одной недалейшей поездке на закуску.

Как вы знаете, я не такой уж любитель экскурсий. Я не то что мизантроп, но в большом коллективе мне неуютно. И вот, как я не

отнекивался, Лина с Любой затащили меня в автобусную экскурсию по Бостону. Устроитель экскурсии, некто М.М., разжег наше любопытство тем, что вечером нас повезут на встречу с мэром Бостона — Томасом Менино, который будет всех угощать барбекью. Я представил себе что-то вроде ранчо, где под открытым небом будут раскинuty столы, где будут обносить вином и прочее...

Экскурсию с концовкой у мэра назначили на девять тридцать утра. Мы с Линой, естественно, построились за полчаса до срока, но зря. Автобус опоздал на час, так как количество желающих превысило число мест и водителю пришлось воротиться и взять другой автобус — повместительней. И вот мы залезли, гид оказался прекрасным и пока ехали к Бостону, развлекал всякими историями. Потом оказалось, что водитель (женщина лет пятидесяти) не знает Бостона и, кроме того, никогда не водила таких огромных автобусов. Поэтому каждый поворот я отслеживал с замиранием сердца (мы сидели прямо за водителем), а гид всё время отвлекалась от главной темы и говорил ей, где и куда поворачивать.

Сначала все шло гладко. Мы вылезли возле библиотеки Дж.Кеннеди (каждый президент по традиции оставляет после себя библиотеку). Здание библиотеки поражает воображение. Архитектор — китаец. К сожалению, из-за задержки на старте гид дал нам всего десять минут на вылезть-посмотреть-и-влезть обратно в автобус, так что увидел я мало. Потом мы поехали по историческим местам Бостона и зашли в старую церковь, на которую один парень повесил фонари, чтобы дать сигнал началу военных действий против англичан. Это было двести с лишком лет назад, когда США, состоящие из 13 штатов, начали войну за независимость от Англии. Ну, церковей я повидал на своем веку немало и куда старше этой. Пошли мы на автобус, сели и поехали смотреть другие достопримечательности. И тут выяснилось, что какая-то старуха отстала от экскурсии. Автобус встал и наш гид вместе с М.М. побежали назад к церкви её искать. Они вернулись ни с чем минут через сорок. Тогда решили объехать весь квартал на нашем автобусе. Если поставить наш автобус на попу, то получится четырехэтажный дом. Развернуться с ним в итальянском квартале, где мы были, просто невозможно. Да еще и квалификация нашего водителя та еще! Короче — залезли мы в одну узкую улочку, захотели повернуть — а не получается. С двух сторон на этой узкой улочке стоят припаркованные машины. И вот мы ни туда, ни сюда. Советчиков сбежалось до сотни. Все машут руками, кричат. Наконец,

она приняла единственно правильное решение — дала задний ход, и мы пропилили две улицы задом, а наш гид дирижировал её действиями. Когда она ухитрилась выехать, не зацепив ни одной машины, мы наградили её аплодисментами. На все эти маневры ушло еще около часа. А той старухи нет и не предвидится. М.М. кричит: «А документы с ней или нет?» Соседка старухи отвечает, что документы лежат в сумочке, а сумочку она оставила в автобусе. Наконец сообразили и позвонили в полицию. Так и так, мол, нас пятьдесят четыре, а она одна и пропала. И что вы думаете?! Через две минуты эта старая перечница нашлась. Сидит в полиции. М.М. говорит нашей шоферке: «Пусть старуху (Руфа её зовут) привезут в китайский буфет, где мы будем обедать». Тут ей в полиции дали трубку и первое, что она сказала — «я хочу кушать».

Привезли нас в буфет и мы хорошо подкрепились, но на это ушел еще час. Тем временем старуху привезли, и она тоже приняла участие в общей трапезе. По-моему, мы сожрали в буфете всё, что было съедобно. Уходя, мы оставили «выжженную землю». Ох, сильны наши евреи! Ох, сильны!

Мы снова залезли в автобус и поехали смотреть *«Конститушн»*, по нашему *«Конституция»*. Но в том месте, где надо было сойти, всё было перерыто. Поэтому мы сделали полукруг и увидели на развороте три мачты легендарного корабля. Мне-то, впрочем, этого было вполне достаточно. Потом мы поехали в Гарвардский университет смотреть статую основателя, портрет которого никто не знает и потому для памятника выбрали парня посмазливее. Однако встать поблизости мы не сумели и потому удовлетворились описанием на словах. Гид нам попался очень словоохотливый. Мы объехали Гарвардский университет за пять минут и пошли в местный музей природы, в котором я уже был пять раз. Я зашел, купил пару минеральчиков и спустился вниз к автобусу. Через полчаса вся наша толпа вывалилась из музея (они там смотрели коллекцию растений, которую сделали много-много лет назад два чеха, сделали из цветного стекла, неотличимо от живых растений). Тут наш гид сказал, что времени на экскурсию не осталось и мы поехали на встречу с мэром Менино.

Я так плотно закусил у китайцев, что не чувствовал ни малейшего аппетита к барбекью, хотя бы и с вином. Между тем, мы остановились возле дорогого магазина, где должны были следовать в паре со школьным автобусом, на котором должны были ехать бostonские евреи. Наш активист договорился, что к Менино поедут все

приглашенные плюс наша экскурсия. Время уже приближалось к семи часам, а мы всё не ехали. Я чувствовал, что экскурсия не удалась, но ждал, что прием у Менино искупит потерянное время и деньги (за это «зрелище» мы с Линой заплатили 80 долларов!).

Наконец, мы пристроились в зад к школьному автобусу и поехали с черепашей скоростью по длинной, как коровьи кишки, улочке под названием Гайд парк. Я всю дорогу думал, что вот-вот откроется вид на роскошную усадьбу с прудами и лебедями, а под деревьями огромного сада обнаружатся столы со всякой вкусной снедью... Черта с два! Мы пилили и пилили по этой бесконечной кишке, подбирали по пути еще и других евреев и вдруг впереди увидели толпу, над которой вился синий дым. Нам сказали, что мы приехали.

Среди неказистых двухэтажных домиков стоял крошечный домик Менино. На улице перед домом стояли мангалы, на которых жарились сосиски и гамбургеры. А толпа оказалась очередью, которая стояла за этой «едой». Сбоку через улицу стоял прилавок, с которого подавали ситро со льдом. Люди выносили из очереди булочки с сосисками и с аппетитом их пожирали. Самого Менино я не видел, но мне сказали, что он скромно стоял возле своего дома. Наш М.М. хотел ему подарить бутылку армянского коньяка, русский чай и итальянские конфеты, но не подарил, потому что обстановка была неторжественной. Короче говоря, мы с Линой топтались среди жующей толпы, Лина жаловалась, что у неё после китайского буфета болит желудок, а я проклинал свою доверчивость, что позволил втянуть себя в это дурацкое мероприятие. При мысли, что нам еще надо возвращаться по этой же узкой улице, мне было кисло. Как я и ожидал, наша шоферка при развороте зацепила-таки чью-то машину. Вызвали полицию, то да сё, оформили протокол, а мы всё сидим, всё ждем, когда же нас повезут домой. Наконец поехали. И тут оказалось, что шоферка не знает, как нам ехать через Бостон в наш любимый Линн. К счастью, в автобусе оказался один еврей, который приблизительно знал, куда ехать. Когда мы увидели номер своей дороги, нашему ликованию мог позавидовать сам Робинзон Крузо, увидевший корабль. Больше всех радовалась шоферка, которую звали Линда. В конце путешествия она нам стала совсем родной, и ей подарили огромную коробку конфет, которая вначале предназначалась Менино.

Мы вывалились из автобуса в Линне и с радостью вдохнули свежий, пропитанный океаном воздух.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Вот как мы говорили раньше — всё течет, ничего не меняется. Потому что вся система, несмотря на крайне неприятные стороны, создавала впечатление необыкновенной стабильности. И впечатления наши не менялись. А тут — первые впечатления, потом вторые, потом третьи. На ходу происходит развенчание мифов об американской жизни, а чтобы появлялись новые, так нет. Секреты успеха тщательно скрываются и каждый прокладывает дорогу к процветанию в одиночку. Здесь слово «*МЫ*» в нашем понимании, не котируется вообще. Как говорил когда-то мой сокурсник: «Мы-ы-ы в хлеву стоят!»

Но я вернусь к развенчанным мифам и разочарованиям. Когда я читал раньше в местной бостонской газете «*Метро*» о ежедневных насильственных преступлениях, то относился к этому философски-отстраненно. Мало ли кто там что-то с кем-то не поделил! Стрельба в метро? Расстрел учителей и учеников в собственной школе? Массовые изнасилования, похищение и насильование детей? Расстрел прохожих из снайперской винтовки? Всё это отменялось сознанием, так как не укладывалось в миф о благополучной стране. Наверное, еще действовала марксистско-ленинская утопия, что преступления порождаются нищетой и голодом. Я вам уже писал, что Америка завалена продуктами питания. Сейчас стало вроде-бы поплосше, но когда мы приехали из вечно голодной России, бесплатные раздачи великолепных продуктов просто ошеломляли. Какой там стимул к работе! — Ходи по церквям с большим рюкзаком и можешь ничего, кроме вина и водки, не покупать. В Thrift-Shop'e, то есть в магазине подержанных вещей, или на блошином рынке, или на ярд-сэйле можно за доллар купить джинсы (часто с ярлыком), несколько рубашек за другой, пару отличных кроссовок или туфель за пару долларов и т.д. На помойке можно взять исправный телевизор, мебель, книг везде валяется навалом. Короче, — всё есть и на этом фоне — ужасающая статистика преступности. Как неправ я был, восхищаясь американскими дорогами, которые оказались совершенно разными и в том числе такими же, как в Измайлове. И витрины здесь бьют булыжниками, и в общественных лифтах мочатся.

Воистину прав Достоевский: «Зло сидит в человеке гораздо глубже, чем полагают лекаря-социалисты...».

Отмечу, что когда преступление совершается против твоих знакомых, с которыми почти каждую неделю встречаешься,

а бывает, что и за одним столом сидишь, то воспринимаешь его совсем не так, если потерпел некий Иван Иванович или Хаим Моисеевич.

Грабители и хулиганы — в основном латиноамериканцы и черные. Нападают на одиноких женщин и вырывают сумки, в которых те упрямо продолжают носить деньги и документы, вернее, кошельки с тем и другим. Само ограбление длится секунды. Если жертва начинает кричать и цепляться за сумку, её сваливают с ног и удирают с сумкой. Подкарауливают также одиноких женщин, берущих деньги в банке через автомат и также носящих всё-всё ценное в кошельке. Наряду с этим очень стало популярным избивание подростками немощных стариков. Подростками они считаются до семнадцати лет и некоторые весят по сто килограммов. Последний случай меня особенно возмутил. В три часа дня по улице на велосипеде ехал мальчик четырнадцати лет, ехал он по Ньюхолл стрит, на которой мы жили в год нашего прибытия в США. К нему подошли три «подростка» — громилы и сказали, чтобы он слезал с велосипеда. Он не понял, что они хотят, и они тут же посреди улицы стали его зверски избивать. Они полопали ему всё лицо, потом забрали велосипед и ушли. Мальчик с тяжелейшими травмами был доставлен в больницу. Думаете, стали искать хулиганов? Ничего подобного. Старший брат мальчика подал в суд, дело заведено, но никто, кроме самого потерпевшего, не станет этим делом заниматься. При мне одна авторитетная гражданка-американка посоветовала, чтобы мальчик сам искал обидчиков и если найдет, то пусть даст знать полиции. Я рассвирепел и накатал письмо на имя мэра нашего занюханного Линна и губернатора нашего штата, где спрашивал: «Вам что, для наведения элементарного порядка на улицах нужно получать санкции президента Буша?» Письмо перевели на английский и разослали по инстанциям. Нам же предложили создать некую волонтерскую службу, в которую будут звонить все, кому не лень, и сообщать о совершаемых преступлениях или о попытках совершения таковых. Толку, думаю, не будет, но писать, долбить, жаловаться нужно, потому что в конце концов кому-то из чиновников наши письма надоедят и он скажет, чтобы навели порядок. На пару месяцев порядок наведут, а потом всё начнется сначала, потому что, увы, сознание этих «подростков» определяет их бытие. Они знают, что общество считает их бедными и потому будет кормить и поить до пенсии, а полиция не хочет связываться с цветными, потому что

в газетах тут же начнут орать о притеснениях на расовой почве. Кстати, тот избитый мальчик очень одарен. Он получал первые места на музыкальных конкурсах, когда они жили в Узбекистане, он очень хорошо рисует. И вообще он из очень дружной, работающей семьи...

Борькина дочка поступила в университет Мак-Гилл в Канаде. Я тут тоже приложил немного усилий — помог ей в кратчайший срок подучиться по химии. В результате она получила вполне приличный балл по предмету, который не знала совершенно. Спустя четыре месяца после её поступления выяснилось, что она совершенно не знает многие разделы математики — сплошные дыры и прорехи. Так что мечты Любы, что теперь, после поступления внучки в университет она может отдохнуть, не сбылись. Она уже дважды приезжала консультировать Юлию. Вот вам ещё одно доказательство бездарности американской школьной системы. И они учат детей двенадцать лет! Чему? Оказывается, именно в России нас действительно учили. Есть много способов улучшить положение с образованием, но меня никто не выслушает, да и не нужно. Такие вещи исправляются только многолетними сосредоточенными усилиями больших групп людей.

Кстати, перевалив за сотню исписанных страниц, я заметил, что начинаю ходить по кругу. Наверное, всё что я мог, сказать существенного, я уже сказал и не хочу более испытывать ваше терпение. И вообще, стоит ли будировать вопросы, решение которых совсем не в моей компетенции. Предположим, я на сто процентов прав в оценке политики США в отношении Ирака. И что? Вот именно, ничего!

Когда-то я мечтал бросить шумную столицу и поселиться в чистом маленьком городке, и Господь внял моим мольбам. Ах, если бы мы понимали, что мы просим! Наша русскоязычная община наводит такое уныние, что хоть иди и вешайся. Бесчисленные старухи все, как одна одеты в беретки и тряпичные куртки с искусственным мехом. И ходят все они, переваливаясь как утки. Мужья, которые их сопровождают, напоминают выражением лица Бенито Муссолини. Видели бы вы, как эти господа ведут себя при раздаче *бесплатного церковного хлеба*! (Синагоги хлеб не раздают и вообще только берут, берут, берут и просят еще дать денег, еще дать — на воспитание малолетних в духе еврейства, на содержание синагоги, и прочее, и прочее) А эти, из бывшего СССР, приходят за два часа до раздачи и хапают хлеб, словно месяц голодали, набивают

огромные корзины на колесах. И пока они не *удовлетворяют* свой аппетит, все остальные (многие десятки людей) должны смотреть на этих грифов-стервятников и ждать жалких остатков. Как же им, не верующим в Христа, не стыдно брать заказы в Христовой церкви?!

Они очень любят гулять компаниями. Если идешь навстречу им, они буквально сжирают тебя недружелюбными взглядами, в отличие от американцев, которые всегда, встретившись глазами, улыбнутся и даже поздороваются.

Тут в нашем городке состоялась художественная выставка-продажа, в которой я выставил два десятка работ. Реклама прошла в местных газетах, радио и телевидении, был даже листок на русском языке. Если бы у меня купили хоть одну работу (за сорок долларов), я сделал бы еще много других работ, которые у меня копятся в виде фотографий и набросков. Однако похоже, что никто ничего не купит и не только у меня. Акция, скорее всего, провалилась. Народ обеднел за последние пять лет очень заметно. Но и в благополучные времена художники долго живут в нищете, пока не получают всеобщее признание, а оно чаще наступает после их смерти. Исключения есть, но их мало. Так что спасибо Америке, которая нас содержит. Прощаясь, по традиции, желаю вам здоровья. Как выяснилось с годами, это и впрямь — очень большая ценность.

С любовью ко всем, ушедшим и еще живым.

Ваш Олег Трастанецкий.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НЕВСТРЕЧИ

Олег летел в Москву через Цюрих ночным рейсом. Спать сидя в кресле он не мог из-за боли в шейной части позвоночника, так что выйдя в терминал «А» из самолета, он пошел искать место, где можно было бы прилечь. Некий приют радушно приглашал провести несколько часов в неге и комфорте, но когда Олег показал дежурной на *ресепшн* свой билет, оказалось, что забота рассчитана на пассажиров бизнес-класса, никак не ниже. Олег поплелся в залы ожидания и вскоре нашел почти пустое пространство, уставленное прекрасными стульями, обтянутыми кож-заменителем. Он поставил сумку на подставку и лег, не снимая пальто. Сумка оказалась оптимальной высоты и послужила отличной подушкой. Недалеко от него спала, уткнув лицо в цветастые тряпки, индийка с бесчисленными браслетами на руках и ногах. Голова тяжеле-ла, но сон не шел. Люди шли мимо, разговаривали, дети шумели. Его беспокоило, что он сильно измял выходной пиджак, надо было сразу снять его и положить наверх с ручной кладью, но он боялся выронить паспорт и деньги. Сейчас, пока он лежал в пиджаке — куда его денешь, он прикидывал, что в Москве отдаст его сразу в химчистку. Потом, чтобы скоротать время, он вытащил вчетверо сложенный лист, карандаш и принялся неторопливо составлять список лиц, с которыми хотел повидаться. Поставив маленькую аккуратную единичку, он написал: Шеф.

Семь лет он его не видел и не звонил. Жена Старцева, бывшего коллеги и приятеля, год назад говорила, что шеф уже пять лет, как стал заместителем директора, что подавал на академика, но не получил достаточной поддержки и не прошел, остался членкорром. Теперь шансов пройти совсем мало, ему семьдесят четыре в мае.

Семь лет назад, перед отъездом, Олег послал шефу две книжицы. Одну по специальности, с которой он долго мучился, готовя её для совместной публикации со Старцевым. Посередине мучений Старцев сказал, что будет сначала защищать докторскую, а книгой займется потом. Олег тогда страшно на него обиделся,

выкинул его из авторов (да тот ничего и не сделал для публикации), а потом вообще остыл. Спустя пять лет, Олег сам решил защищать докторскую, но оказалось, что в дипломатии, где лижут ниже пояса, он не силен. Шефа он уже давно не интересовал, поскольку ушел с кафедры в почтовый ящик, да и характер у Олега был неровный и строптивый. Таких не очень-то любят. Потом, когда объявили начало перестройки и научные люди разбежались кто куда в поисках пропитания, у Олега появилась возможность защититься и, кроме того, нашлась одна энергичная дама, жена усопшего к тому времени космонавта, которая клюнула на приманку и согласилась устроить публикацию книжки в обмен на соавторство. Так появилось на свет божий творение, которое пошло под эгидой «Химия природных соединений», хотя к природе это никакого отношения не имело.

Пока Олег маялся в своей закрытой конторе от безделья, ему пришла в голову одна неплохая мыслишка. А что если бы ученые открыли способ воссоздания умерших гениев по микрокусочкам-фрагментам бывшей живой плоти? Тогда еще термин «клонирование» не был в ходу. Эта мыслишка постепенно-постепенно привела его к другой мыслишке — а что если попытаться написать об этом рассказ?.. На дворе стоял 1976 год, близился 60-летний юбилей Советской власти. По поводу пенсионного юбилея с газет не сходили восклицательные знаки. От суеты впередсмотрящих возникало желание плеваться. Олег изливал свое отвращение в медленных строчках фантастического повествования с советскими, бьющими вонюю реалиями. Торопиться ему было некуда, да и советская власть казалась поставленной на века. Большинству народа так казалось. Даже песню сложили: *«Будет людям счастье, Счастье на века! У Советской власти Сила велика»*. Правда, интеллигенты переиначили: *«У Советской власти Длинная рука»*, что, впрочем, тоже соответствовало истине. Её рука дотягивалась даже до Южной Америки, где по её наводке проломили башку Троцкому. Вполне, кстати, согласно с ментальностью российской. Как в народе говорят Васе, перед тем, как пришить его? — «Тесно нам вдвоем, Вася, на этой земле.» — Как будто есть другая замля, где всем просторно. Кропал Олег этот рассказ не рассказ, повесть не повесть лет десять. Много за это время воды утекло. А с водой заодно и Советскую власть смыло...

Как-то незаметно для окружающих Олег защитил докторскую диссертацию на одном весьма скромном Ученом Совете и очень

скромно отметил это событие в кругу друзей. Духовный контакт с шефом к этому времени совершенно пропал, а ведь после окончания аспирантуры они были доверительно близки. На кафедре регулярно устраивали праздники, где приближенные (и Олег в том числе) внимали с почтением мыслям шефа о русской истории, о взгляде на жизнь с точки зрения физики и на будущее России.

Шеф в молодости был парнем строптивым и принципиально не вел никакой общественной работы, что осуждалось даже в системе Академии Наук, и если бы не покровительство Академик-директора института, шефа сожрали бы за милую душу. Партбюро, состоящее почти сплошь из научных ничтожеств, мстило шефу тем, что в анкетах, которые он заполнял для поездок за рубеж на конференцию или читать лекции, ему постоянно писали — общественную работу не ведет. На этом, собственно, процесс поездки останавливался вплоть до следующего приглашения из-за рубежа.

Однажды шефу стало до того обидно, что он пожаловался Академику. Тот вызвал на ковер секретаря партбюро и наорал на него при всем случившемся рядом народе. Надо сказать, что Академик был фигурой заметной даже в ЦК, так что красный от сознания своего ничтожества секретать, привыкший исполнять приказ «Ату его!», наклонил послушную голову и пошел исполнять приказ «Фу!».

Шеф вернулся из Парижа, кафедра устроила угощение с показом слайдов, смотрели Триумфальную арку, художников на Монмартре, площадь Звезды, магазины с прилавками на улице, где зеленели и краснели всякие овощи-фрукты, столики под тентами, где сидели в свободных позах парижане и парижанки. Потом, когда расходились, Шеф доверительно сказал Олегу: «Жизнь у них, конечно, красивая, но я не раз видел бездомных, которые спали на решетках метро. У нас такого нет!»

В другой раз на праздновании защиты Старцева шеф стал двигать идею, что русские испокон века обладают высочайшей выносливостью и силой духа, так что, к примеру, на атомную подводную лодку берут только великороссов, так как нацмены не выдерживают перегрузок. Годы спустя Олег поднабрался ума и житейского опыта и вспоминал высказывания шефа с усмешкой. Шеф в Российской глубинке никогда не бывал и всё знал из книжек, а книжки пишут люди всякие, в том числе и несведущие.

Покидая родину, Олег отдал последний поклон шефу, последний знак внимания со стороны вечноблагодарного ученика,

потому что тот никогда не лез с мелочной опекой, давал возможность каждому переплыть реку, подбадривая теряющего присутствие духа ссылкой на адмирала Макарова, согласно которому от затраченного труда, пусть неудачного, остается опыт, а от безделья, подкрепленного самыми веским аргументами, — не остается ничего. И вот, Олег отправил шефу почтой две книжицы — одну по химии красителей, которая уже никого на свете не интересовала, и другую — выношенную и рожденную фантастическую повесть. Шеф живо откликнулся на подарок, позвонил и весело так удивился: «Вот уж не предполагал у вас писательского таланта!» Олег ему про свой отъезд говорить не стал...

Он и раньше подумывал навестить шефа одним из первых и даже решил привезти ему новые, уже вышедшие в Бостоне сборники рассказов, но потом, собирая вещи в дорогу, понял, что больше трех книг ему не упаковать, да и те предполагались друзьям...

Олег с трудом повернулся на другой бок и взглянул на часы. Прошло всего десять минут, а ему показалось — два часа. Надо подумать о следующем визите. Следовало бы навестить Старцева. Как они тогда вместе работали — любо-дорого вспомнить. Старцев варил разного рода органику, а Олег пытался понять, как проявляются различные свойства веществ в зависимости от структуры. Тогда — не то, что сейчас. За сутки можно рассчитать структуру. Всё на компьютерах. Раньше год тратили на определение структуры молекулы рентгеновскими методами. Тогда-то шеф и дал им программы по квантовой химии. Иди и считай, где электронов больше, где меньше, где плюс, где минус. Диаграммы молекул, увешанные цифрами, производили на химиков большое впечатление — еще бы, вместо черточек и условных *дельта-плюс*, *дельта-минус* были числа, а когда есть числа и все они разные и с различными знаками, появляется работа по интерпретации результатов расчетов. Главное — засунуть в компьютер правильные параметры атомов и связей между ними. Почему-то тогда компьютеры чаще называли вычислительными машинами. Говорили: «Я пошел на машину», а машина занимала огромный зал в отдельном корпусе. Сейчас и ходить никуда не надо. У каждого на столе по компьютеру, а вот, идей мало. Поэтому сидят и играют кто в пасьянс, а кто в преферанс.

Шеф объяснял, что машина — дура. Что в неё положишь, то она и посчитает. Правильнее, конечно, считать дураком себя.

Думай, что заносишь в машину. Но для мужского самолюбия лучше считать себя умником, а машину душой еще и потому, что она грамматически соответствует женскому роду.

Старцев так увлекся разгадыванием загадок, которые сам себе задавал, что бегал с Олегом на машину во всякий час, даже ночью. Бережно несли распечатки с результатами и тут же начинали строить диаграммы. Так неисправимый азартный игрок в лотерею торопится домой с таблицей выигрышей сравнить поскорее номера билетов — уж не свалилось ли ненароком на него счастье!

...Собственно, со Старцевым они уже давно разошлись. Тот стал удачливым бизнесменом. Его жена с восторгом говорила: «Ты не представляешь, Олежек, какое это удовольствие, когда в доме много денег!» Потом, после отъезда он не раз звонил им на квартиру, но Старцева было невозможно застать. Он решил жить отдельно. Не то, чтобы у него завелась молоденькая козочка, нет, он всегда был хладнокровно расчетлив. Купив детям по квартире, обеспечив жену участком и садовым домиком под Можайском, приобретя пару грузовиков для перевозки сырья и продукции, он посчитал, что вложил достаточно и снял однокомнатную квартиру подальше от родни исключительно для себя. Когда ему исполнилось пятьдесят пять, он сказал Олегу, что планирует работать до семидесяти. Сейчас ему семьдесят два, но уходить на отдых он не собирается. Два года назад он организовал собственное чествование, тряхнул мошной. Жена его говорила Олегу, что поздравительные адреса шли нескончаемым потоком. За десять лет до того ему дали звание заслуженного деятеля науки и техники... Вот, рос, рос и дорос. Прожил хорошую, заполненную трудом жизнь. Олег хотел посидеть с ним вечерок, принять рюмочку настойки на лимонных корочках, посплетничать о знакомых, да и разбежаться в разные стороны теперь уж навсегда. Ему-то он книг своих дарить не собирался. Не поймет и осудит, посчитает пустышкой. Конечно. У него одних аспирантов штук тридцать. Статей опубликовано сотни три-четыре. Жена его что-то говорила про книги. Какие-такие книги он мог написать? Ах, да! Он увлекся проблемами экологии. Но ведь сам он ни одного прибора для измерения загрязнений окружающей среды не создал. Сделал, наверное, компиляцию двух десятков книг, да пары сотен статей. Всю жизнь до перестройки он подкармливался рефератами, так что дело знакомое. Олег для себя лично давно решил, что больше пачкать бумагу не станет. Было у него около сотни статей, которые писал

он сам, и есть одна бесполезная книга по красителям, которую в эмиграции даже показать некому. Хватит. И половины бы хватило. Другое дело — рассказы. Отличное занятие для пенсионеров. Кто нынче не пишет? Только совсем ленивый. Одних поэтов, как они сами себя называют, несколько сотен в Новой Англии. Издали антологию поэзии, — Олег кисло усмехнулся. — Наряду с приличными поэтами — Лосев, Коржавин, еще несколько прилично пишут, насовали совершенных графоманов, какой-то Сериков, какая-то Мизина. В примечаниях в конце книги Сериков пишет про себя, что печатал стихи в «Пионерской Правде» пятьдесят лет назад. Маразм с разжижением мозга!

...А все-таки здорово, что в их жизни была аспирантура в академическом институте. Случались иногда счастливые летние вечера, когда после работы они неторопливо спускались с Воробьевых гор вниз к реке и потом долго шли по набережной через стадион, оставляя слева Новодевичье кладбище, к станции «Парк культуры». Москва возвращалась домой в переполненном транспорте, а они шли и шли, не чувствуя усталости, обсуждая результаты своих опытов или решая мировые проблемы. Они никогда не обсуждали женские стати или амурные дела. Познакомились, когда им обоим было под тридцать и, наверное, поэтому их начавшиеся приятельские отношения не переросли в дружбу. Не было у них общих воспоминаний и не было взаимной проверки на стойкость.

Олег глубоко вздохнул и сел. Опять вспомнил, про помятый парадный пиджак. Интересно, дотянулись ли московские химчистки до европейского уровня... А сколько сейчас времени? Стрелка сдвинулась еще на десять минут. Что-то творится со временем. Эх, заснуть бы. Голова стала прямо-таки свинцовой. Как бы не началась мигрень. Она часто у него бывает от недосыпания. Олег полез в нагрудный карман пиджака и убедился, что не забыл на случай мигрени *Никошпан*. Как это противно, когда начинают мелькать световые блики в глубине глаз, особенно заметные при сомкнутых веках. При этом возникает ощущение, что в глаза на-толкали ваты, а потом разливается страшная боль — в каждом глазу по гвоздю, и это мучение продолжается долго-долго, а после пропадает, слава Богу, что не навсегда, элементарная память. Все равно, как если бы выбило фазу на щите...

Перед отлетом он позвонил маме. Сначала он получил укоризну, что редко звонит, а потом последовали указания, кого он должен навестить в Москве. Список возглавил двоюродный

братик Гена. Олег еще жил с родителями в однокомнатной квартирке, когда впервые Гена заехал из Питера повидать родного дядю и заодно переночевать. Гостинцев он не привез, так как был свежееиспеченным инженером и денег у него было в обрез. Но зато он привез с собой двоих друзей. Все трое отлично устроились на полу в кухне, где легли на тряпку, брошенную хозяйкой. Спальные места в квартире строго соответствовали числу жильцов. Сестренка шести лет спала в кроватке, придвинутой вплотную к самодельной широкой тахте с двумя огромными ящиками, куда упикивали все постели. Папа очень гордился конструкцией тахты, которую вычертил сам для местных умельцев с опытного Малаховского завода угольного машиностроения. Умельцы взяли с главного технолога-папы очень по-божески.

Олег спал на раскладушке, которую убирал сразу после подъема, так что в дневное время вроде бы даже было куда присесть, поесть, почитать и поделать уроки. У окна стоял письменный столик, а обеденный стол занимал центр комнаты, но на ночь все приходилось сдвигать к окошку, причем мама требовала столы переносить и плавно ставить на пол, чтобы не попортить паркет. Она была очень недовольна визитом племянника, который свалился, как снег на голову, и ходила с неприветливым лицом. Гости дальше кухни размером шесть квадратных метров не выходили. Ранним утром быстренько сделали свои дела в туалете и к тому времени, когда Олег поднялся, уже перехватили по куску батона с жидким чаем. Папа настойчиво рекомендовал всем избегать крепкой заварки, ибо каждый может пристраститься к чефиру и поломать себе жизнь. На Олега гости даже не взглянули, лишь коротко попрощались с мамой. Мама кипела, что не получила ни слова благодарности за приют и жестко выговаривала папе за племянника, которого она знать не знала и знать не хотела.

Между тем, племянник Гена получил распределение в Москву на оборонное предприятие, вскоре женился на однокурснице и мало-помалу втерся в семью. Так же постепенно-постепенно он полз по служебной лестнице и через двадцать лет стал главным инженером предприятия. Естественно, он вскоре получил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, в чем обскакал дядю. Олегу Гена был совершенно неинтересен. Он был жуткий жмот и даже на юбилей свадьбы любимого дяди пришел с пустыми руками. Увидев в руках одной гостьи поздравительный букет, он вытащил из него несколько цветков и поднес, как свои.

Годы шли. Гена крепчал, как хозяйственник и руководитель. Мама, которая ревниво следила за карьерой родни, стала говорить о племяннике с уважением, тем более, что раза три-четыре он приезжал к дяде весной и осенью, чтобы доставить на садовый участок рассаду и увезти яблочно-огуречный урожай. Олег ненавидел садовый участок, на котором папа всегда находил ему черную работу, сопровождаемую поучениями о полезности физической нагрузки в сочетании со свежим воздухом. Воздух отнюдь не казался ему свежим, потому что с четырех сторон света стояли деревянные будки уборных над выгребными ямами, и из них густо и постоянно воняло. Потом папа умер, и мама стала очень дружить с Геной, который ежегодно возил её на кладбище. Свою приязнь она пыталась внедрить в душу Олега, но тот был плохим, неблагодарным сыном, звонил редко, а появлялся еще реже, а уж родственником был вовсе никаким. Мама же с годами превратилась в ангельски доброжелательную старушенцию, которая, правда, очень любила почитание и строго следила, чтобы ею интересовались. «Бери пример с Эрика! — восклицала она. — Вот это сын! Нет дня, чтобы он не позвонил Феничке и не спросил об её здоровье!»

Когда вся оставшаяся в живых семья разбежалась из России, мама наладила связь с Геной и поручила ему следить за могилой дяди. А так как рядом с папой лежала мамина еврейская родня, то заодно память воздавалась и ей. До выезда Олега в Америку мама два раза появлялась в Москве и тащила его на кладбище вместе с Геной. Там она разворачивала большие немецкие свечи, зажигала их, Олег накрывал их колпачками, вырезанными из пластиковых бутылок, чтобы дольше горели. После этого Олег с Геной отходили метров на десять, а мама стояла перед могилами и разговаривала с ними. Умиротворенная, ни дать, ни взять — голубица на яйцах, мама садилась в машину Гены и начинала пытливно интересоваться семьей и делами племянника... А теперь мама стала совсем старенькая, сил ехать в Москву не осталось и вот, Олег должен был созвониться с Геной и ехать с ним на кладбище. Олег заранее тосковал от этой перспективы. Всякое общение с далеким человеком обреченно фальшиво. Он хранил память о папе, бабушке, дедушке, тетке в душе и знал, что там, на глубине метра никого нет и быть не может, тем более, что всех сожгли в крематории. Когда-то он встречался с Геной в Москве раз в два года, с его взрослыми детьми вообще виделся раз в жизни на новоселье. Чужая жизнь, чужие люди. Что он им? Что они ему? Не

лучше ли утешить тех, кого любил в далекой молодости, согреть их своим сочувствием и самому согреться воспоминаниями? Для чего же еще он летит в Москву?

Как он ни старался, мигрень все-таки подкралась к нему. Как всегда, началось с нечеткости переднего плана. Всю жизнь, сколько он помнил, перед приступом мигрени он чувствовал тоску и почти панический ужас перед ожидающей его длительной болью. Если удавалось перехватить спазм в самом начале, он мог и не развиться. Олег быстро собрал вещи, накинул пальто и поспешил на первый этаж, где уже хлопотала миловидная девчонка. Он заказал большую чашку и буквально через двадцать секунд получил большой пластиковый стакан кипятка и пачку зеленого чая. За пакетик с него содрали пять долларов, но сейчас было не до экономии. Он развернул фольгу, вытащил две таблетки никошпана и сглотнул их с чаем. На тощий желудок никошпан подействовал очень быстро и уже через несколько минут зрение прояснилось, вата ушла из углов глаз и даже дышать стало легче. Как хорошо, что он взял большой стакан. Неторопливо прихлебывая, он ощущал блаженство от бодрящего напитка и от того, что так быстро победил мигрень.

Он планировал оживить свои связи с издательшей и её бойфрендом Костей, которые помогли ему с его первой книжкой. Покойный друг Левка нашел ему художественного редактора Т.К. Несмотря на то, что Олег оплачивал все расходы по книге, издательша не хотела терять реноме и ждала рецензии кого-нибудь из литературной братии. Одним из печатающихся и выступающих на радио поэтов, некто В. пролистал рукопись и дал добро. Олег отдал две тысячи триста долларов и вскоре пять сотен экземпляров в семнадцати увесистых коробках заняли пол-комнаты в его кабинете. Издательша помогла ему пристроить две пачки в три магазина, славившиеся прогрессивным направлением. Из одного вскоре позвонили и радостно сообщили, что некое лицо, пожелавшее остаться неизвестным, взяло сразу пятнадцать экземпляров, и посему магазин ждет от автора еще двадцать. Но на этом бизнес и прекратился. Олег дарил свою книжицу всем подряд и на поэтических тусовках, и в выставочных залах и даже в дом-музей Цветаевой, где был книжный киоск. Лишь бы согласились взять. Милая женщина из музея Цветаевой сказала, что книжку прочла с интересом, так как там очень ярко дан срез времени. Девчонка, служившая в музее младшим научным сотрудником, напротив,

полиставши, объявила, что это совершеннейшая мура и читать такие опусы она не будет никогда. Один раз Олегу повезло. Он познакомился с одним из учредителей издательства «Гешарим» в Израиле. Тот почитал книжку и сказал, что возьмет шестьдесят экземпляров за сто долларов. Это был прямой грабеж, но всё же лучше, чем ничего. Олег привез тяжеленные коробки на тележке по указанному адресу и получил за них древнюю, замусоленную стодолларовую купюру, которую московские банки отказывались брать и которая через два года приехала с Олегом в Америку.

Сейчас он выпускал пятую книжку рассказов и чувствовал, что мастерство его неуклонно растёт, он начинал входить в моду на Восточном побережье. Теперь он рассчитывал выбрать лучшее и издать книгу в твердом переплете в Москве. Перед этим он хотел заказать работу Т.К., той самой, которая редактировала его первый опус. Они тогда славно поработали. Подобно многим тысячам филологов она оказалась в результате перестройки на грани голода, но гордость не позволяла ей брать за редактирование «лишние» деньги. Олег приходил к ней в запущенную квартиру, приносил с собой большие бутерброды с ветчиной и свежие огурцы и просил её составить ему компанию, поскольку он не успел поесть на работе...

На его звонок ответила незнакомая женщина, которая сообщила, что Т.К. по данному адресу почти не бывает, а когда бывает, то к телефону не подходит, что у неё было горе, что сейчас к ней очередь желающих отредактировать свои книги и что можно лишь передать его телефон. Если она захочет, то позвонит, а не захочет — увольте. Что-то подсказывало Олегу, что на другом конце провода ему врут всё, что на ум взбредет. Естественно, вплоть до отъезда ему никто не позвонил, и он решил на этом поставить крест.

...— Надо бы повидаться с Вовкой Лебедевым, — подумалось сквозь легкую дремоту. После окончания аспирантуры Олег прикнулся на кафедре у шефа. Он был вторым по счету аспирантом, его защита прошла на ура, и он ходил в любимчиках. Шеф поручил ему освоение программы по расчету спектров молекул. Работа была непыльной. Нужно было, ориентируясь на разные справочники, строить корреляции с рентгеноструктурными данными и результатами квантовых расчетов электронных оболочек. Вовка, в отличие от Олега, кончал химфак Университета и знал и умел куда больше, но комплексовал. Шефу он явно не нравился, но шеф

тогда еще был молодым доктором наук, и аспиранты были ему нужны. На одном из кафедральных застолий шеф поручил Олегу опекать Вовку и научить быстро и эффективно рассчитывать спектры. Но Вовке эти расчеты казались скучными. Вскоре он поссорился с бабами из команды шефа, которые не желали влезать в физику расчетов, а просто гоняли программы с почти случайными наборами чисел и потом, раздуваясь от важности, делали «великие открытия», которые противоречили элементарным истинам в учебниках. Вовка презирал их недалекость и вскоре ушел от шефа к своему другу, который работал с известным академиком. Там он состряпал диссертацию и защитился. Однако с Олегом у него остались вполне теплые отношения, потому что Олег никогда не залупался, а наоборот, всегда искал ценное зерно в чужих исследованиях, которое можно было бы потом применить и для себя. Вовка сильно поднаторел в расчетах у своего друга и сам стал писать программы на Фортране. Потом он освоил еще более изощренные методы, и Олег потянулся к нему с предложением совместной работы.

Олег работал, как говорится, с крестьянской сметкой, и если удавалось что-либо ухватить из разговоров с Вовкой, он тут же предлагал попробовать на решении новых задач. Так они сляпали вместе с десяток статей и опубликовали их в журналах Академии Наук. Вовка считать умел, тонкости программ знал до мелочей, но идей не генерировал. Зато у Олега их хватало на двоих.

Было у Вовки увлечение. Умельцы смастерили ему циркулярный нож и продали за спирт пресс, так что теперь он не на шутку увлекся переплетным делом. Сначала он перепечатывал на своей «Эрике» известных, но всё ещё запрещенных поэтов, а затем одевал картонные обложки в старые цветастые юбки времен маминой молодости и, обрезав ножом страницы и замазав торец белым синтетическим клеем, ставил книгу под пресс. Так у Олега ко дню рождения появился Гумилев. Книжка получилась в формате машинописного листа, но главное — это был настоящий Гумилев, спечатанный с дореволюционных и ранних советских изданий. Олег с восторгом тут же на дне рождения прочел друзьям «Заблудившийся трамвай». На своей работе Вовка появлялся два раза в месяц, в день полочки и, засунув в пистончик восемьдесят семь рублей пятьдесят копеек, со спокойной душой шел домой читать что-нибудь этакое или ловить по магазинам недорогие альбомы репродукций, которые изредка поставлялись в Москву из стран соц-содружества. Однажды, когда Олег был у Вовки в

гостях, тот с важностью показал ему картотеку своих сокровищ, где каждому мастеру предшествовала аннотация о жизни и деятельности. Архив хранился в глубоком ящике письменного стола и извлекался по случаю приема гостей для назидания, как следует воспринимать великую живопись.

Вовкина жена Наташа была существом исключительно добрым и мудрым. Он её обожал и безумно ревновал, о чем она и поведала Олегу на встрече в школе по физической химии в Звенигороде. И правда. Если бы он её не сторожил и не берег пуще глаза, милую супругу увели бы, Бог свидетель. Таких добрых, лучистых глаз и такой милой улыбки Олег никогда более в жизни не встречал. Она любовалась увлечениями своего мальчика-мужа, который не умел пробиваться наверх, но сидел день и ночь над рефератами и выбивал-таки сотни три в месяц.

Несколько раз Олег заезжал к ним, и Вовка, видимо почувствовав со стороны жены несколько увеличенное любопытство к Олегу, перестал его приглашать и в дальнейшем они встречались только вдвоем или в мужской компании.

Было в Вовке некое пижонство новичка, который недавно общился к Высокому и совсем не предполагает равных духовных интересов в коллеге. Поэтому, когда однажды Олег зачитал ему и Наташе поэму «Цветы» Аполлона Майкова, она лишь молчала и улыбалась, потому что была умна, а Вовка стал журить Олега за низменность вкуса. Так оно потом и пошло — Олег, конечно, парень хороший, но в стихах и живописи не смыслит.

Олег терпеть не мог споры по поводу искусства, особенно среди мужиков, потому что из споров всегда устраивали турнир, где должны быть победители и побежденные. Ему вообще были ненавистны споры среди мужиков (не по науке, не по работе, а празднословие), где могут взять на глотку или с долей хамства указать на «ошибку», а потом, уходя еще вытереть ноги об оппонента, добавив: «А ты давай, имярек, учись, пока я жив...» Эти тихие нахалы, окончившие университет или заочный педвуз в городе Орджоникидзе, почему-то часто считали себя элитой. Выпускник ординарного химико-технологического института по определению не мог мыслить широко и глубоко. Олег давно заметил, что комплексированные и не преуспевшие мальчишки, приходя в общество, ищут еще более комплексированную, но безответную овцу, чтобы утвердиться на ней и потоптать. Они не прощают даже крохотных ошибок и склонны раздувать их, и напоминать о них бесконечно.

В пылу спора они забывают, кто они сами есть, и если их поставить на место, они усмеются через силу и корчат оскорбленную в лучших чувствах невинность.

Нет, они никак не могли быть друзьями, потому что Вовка боялся откровенности, а Олегу его ползания по книжным полкам были малоинтересны, хотя он относился к Вовке с сочувствием. После двадцати лет прокисания в должности младшего научного сотрудника Вовке, наконец, засветило стать старшим научным. И он тут же стал хвастать, что собирается писать книгу — он уже видел в мыслях своё переплетенное творение, пока даже не начатое, и заранее напускал на себя важность.

Перед отъездом Олег послал ему по почте первый свой роман. Потом позвонил. Наташа стала восторгаться и благодарить, но ревнивый Вовка трубку у неё отобрал и проямил нечто вроде: «От тебя такого даже ожидать не мог...». Получилось точь в точь, как в Набоковской «Лолите» — все привыкли, что окружающие люди не меняются со временем, как не меняются литературные герои, и если некий сосед-парикмахер издает венок сонетов, вы этого ему не можете простить, поскольку он нарушает ваше представление об окружающем мире.

Олегу хотелось посидеть с ними за бутылкой хорошего коньяка, хотя он слышал, что в России нормального вина не осталось, сплошные подделки, часто опасные для жизни. Ему было любопытно взглянуть на них и похвастать новыми книжками. Вовке, скорее всего, это будет неприятно, но уж слишком он задирает нос и считал только себя великим ценителем литературы. А как можно доказать, что ты разбираешься в поэзии? — Да никак. Прочти хоть миллион стихов, а написать ни одного стоящего не сможешь. Вот, вроде, бы с музыкой легче. Если повторишь без ошибок мелодию, значит есть музыкальный слух, а если еще и сыграешь на скрипке или рояле по нотам, то по нашему скромному воспитанию ты вовсе гигант. А в поэзии понимают по-настоящему только мастера. Во всяком случае, так они пишут в своих профессиональных журналах. Так и в музыке то же самое. А в строении вещества, в науке ты просто обязан хорошо разбираться, иначе ты пустышка, никто. Если собрать кучу праздного народа и рассказывать о строении электронных оболочек, никто не поймет и слушать не станет. А на поэтические вечера ходят разные люди, с образованием и без, и каждый что-то своё понимает, и злятся, когда им говорят, что на самом деле они в поэзии, музыке, живописи ничего не смыслят, потому что они не мастера.

Вот, говорят, что Мандельштам — гений. А один мальчишка-актер, когда выпили на тусовке с молодыми талантами, крикнул: «Если Мандельштам — гений, то кто тогда Лермонтов? Он слово позабыл, что он хотел сказать — трагедия Вселенского масштаба! Какие-то ласточки с отрезанными крыльями, кузнечики с оторванными ножками, чтобы не стрекотали — безмолвствовали! И что вы все хлопаете по поводу этого стишка? Я вам сейчас экспромт прочту!»

И выдал, нужно признать, блестящий стих-эпиграмму

Ты слово позабыл, что ты хотел сказать...
Ну, позабыл, так что же здесь такого,
Чтоб к древним грекам с воплями взывать
И бредить видом табуна ночного.

Нашел из-за чего трагедию ломать.
Забыл, так вспомнишь выпавшее слово,
И в высохшей реке пустой челнок пускать —
Забава для ума воистину больного.

Ты болен. Болен ты. С рожденья, так сказать.
Живи на пастбище и рифмы жуй коровой,
Лови кузнечиков, чтоб ноги отрывать
И крылья птицам режь за найденное слово.

Величия болезнь. Великий, но больной.
И древней Греции отжившие руины,
Как декорации, где прячется мужчина,
Нам демонстрируя души зловонный гной.

— А действительно, чем мы так очарованы? — подумал Олег. А может быть, это и есть таинство гения, которое невозможно определить ни на вес, ни на вкус, а сердце от него щемит...

— Что-то я совсем запутался, — подумал Олег. — Кого бы мне еще внести в список?..

Справившись с мигренью, он вернулся в пустой зал и снова лег, подложив сумку под голову. Впереди сидеть еще три с половиной часа в темноте и духоте авиасалона. Надо дать отдых спине и заду.

Полгода назад он получил по почте диск с песнями Миши Приходько и Гали Пуховой. Хорошие ребята из Архангельска.

В начале девяностых Миша работал в театре по музыкальной части, сочинял музыку к спектаклям, она преподавала музыку в школе. Встретились, полюбили друг друга и соединились, оставив прежние семьи. Бывает, бывает. Приехали завоевывать Москву.

Олег встретил их тогда же в литобъединении «Красные Ворота». Руководила им совершенно нелитературная дама, которая давала приют всяким непризнанным гениям. Некоторым из них просто негде было преклонить голову. Она их всех жалела и даже подкармливала. Молодые поэты, музыканты, драматические актеры часто навещали туда показывать свои работы коллегам, таким же вполне талантливым, но еще не пробившимся на большую сцену. Миша и Галя тоже бывали среди них. Они выступали в молодежных кафе, клубах, дворцах культуры, завлекали праздную денежную публику. На взгляд Олега, их исполнение было ничуть не хуже, чем у Никитина с разными его женами, но Никитин был первым, пробившимся вопреки официозу на большую сцену. Миша с Галей однажды удостоились большой чести быть выслушанными мэтром. Он их похвалил, но мир искусства хоть и огромен, но тесен. От похвал кошелек не потолстел. Приходилось подрабатывать сторожем, рабочим котельной, посудомойкой. Они скитались по негостеприимной Москве, снимали то комнату, то летнюю дачку, остро нуждались в телефоне. Тогда еще мобильники были лишь у избранных. Олег не был уверен, всегда ли у них есть деньги на ужин. Миша играл на ужасной гитаре, которая стоила в универмаге пятерку. Олег однажды подошел к ним после концерта и предложил в подарок свой вполне приличный инструмент, доставшийся в наследство от племянника, который стал профессионалом и играл теперь на элитных, сделанных известными мастерами. Так началось их знакомство. Он пригласил их отужинать и тут узнал, что Миша совершенно не принимает спиртное.

— И правильно, — подумал Олег. — Видно там, на Севере он накушался водочки на всю жизнь, а сейчас каждая копейка на счету.

Ребятам очень помогала одна поэтесса. Звали её Ирой. Стихи у неё были отменные, она уже издала две книжицы и была принята в союз писателей. Было ей прилично за тридцать, детей не было, любимый её бросил, как можно было догадаться из стихов. А она была человеком уютным, рассказывала забавные истории, совсем не важничала и была очень приятна в компании. Миша, который водил дружбу с известными поэтами, сочинил несколько песен на

её стихи, одна из них под названием «Небо Парижа» всегда пользовалась на концертах большим успехом. К артистам примкнула еще одна пара, совсем далекая от мира искусства. Он был молодым красавчиком-доцентом из химико-технологического университета, она же была старше и уж совсем малокрасивой, шумной и не очень умной, не ходила на службу, была простой домохозяйкой и заботилась о муже, как о родном ребенке. Детей у них не было, зато была машина «Москвич», что экономило массу времени, когда собирались компанией послушать песни и стихи, поужинать. Они всегда безропотно развозили Иру и Мишу с Галей по домам.

В самом начале артистической карьеры Ира приютила их у себя бесплатно на целый год, да и теперь часто оставляла ночевать, чтобы им не пришлось тащиться, на ночь глядя, за город. Когда она познакомилась с Олегом, ей уже надоело писать стихи и она мечтала выйти замуж за благополучного немца или американца, бросить службу в конторе и пожить в своё удовольствие. После прощального вечера накануне отъезда в Америку Олег распотрошил при гостях свои книжные шкафы и пачками дарил книги на память. К этому времени в обществе совершенно упал интерес к книгам, а Мише с Галей и ставить их было некуда.

Сам он в Америке теперь покупает лишь репродукции, разные красивые научно-популярные книги, а художественную литературу берет в библиотеке. Сейчас просто смешно вспоминать, как они сходили с ума, бегали за книжками, стояли в очередях, прикупали в нагрузку кучи макулатуры и выменивали её на талоны, чтобы снова стоять в очередях и покупать интересные книги. Собирали, собирали, не жалели времени и денег, книг стало в домах столько, что уже за всю жизнь не прочесть. Маразм. Книжный маразм. И вот наказание — настало время, когда никому эти книжки не нужны, и букинисты их не берут. Так Олег и уехал, раздав книги, кому попало...

Интересно, повезло ли наконец Мише и Гале? Пробились ли они на большую сцену?...Вряд ли. А посидеть с ними было бы неплохо. Угостить их чем-нибудь вкусненьким, подарки сделать. Шутка сказать — семь лет прошло. Тоже, небось, постарели. Искусство — это Рим. Если уже добился успеха, то возраст не помеха, а если нет — пропащая твоя жизнь. Так и будешь рублишки по кабакам сшибать.

Миша сочинял песни на стихи признанных поэтов, но однажды вдохновился «Песней о счастье и горе», которую Олег сложил в

память одной ранней смерти, и вот, ребята записали её на диск и прислали в подарок на память. С той поры он сочинил еще десятка три-четыре стишков и рассчитывал некоторые из них предложить Мише озвучить.

Как забавно складывается жизнь. Друзья, встречи, разговоры о работе, о политике, преферанс, раз в неделю настольный теннис в спортзале — и вдруг издал книжку и стал её распространять, и нашел через кого-то литобъединение «Красные Ворота», и прижился там, и стал похаживать и участвовать в микротусовках с людьми, начинающими свой путь в искусстве.

Бывали совершенно анекдотические встречи. Взять хотя бы Бэлу-корабэлу, вдову репрессированного поэта Ковалько. Всех знаменитостей знала, была, как говорится, со всеми на короткой ноге. Олег пригласил её к себе прямо из «Красных Ворот» — уж очень она вкусно обо всех рассказывала. Как вскоре выяснилось, очень любила тертый хрен со свеклой и вообще все острые блюда и чтобы было много. Олег был хозяином запасливым и хлебосольным, так что аппетит Бэлы воспринимал положительно. Неприятным же было то, что у Бэлы явно ехала крыша на почве иудаизма. Она регулярно посещала Любавичскую синагогу на Большой Бронной, читала наравне с мужиками Тору и как многие новообращенные, старалась быть, что называется, большим католиком, чем Римский Папа. Придя однажды к Олегу в пятницу вечером, она попросила Олега зажечь две свечи, чтобы встретить субботу. Олег, как человек далекий от всяких культовых штучек, по простоте душевной притащил две огромных свечи, которые украшали интерьер, и зажег. Когда кончили ужинать, выяснилось, что гасить свечи нельзя по каким-то дурацким законам. Тут Олег затосковал и стал тихонько ненавидеть Бэлу. Свечи были очень красивы и достались в качестве подарка, и к тому же стояла жара, а свечи полыхали, как два факела. Но гостя была неумолима, и Олег, вздохнув, поплелся в спальню. Через семь часов сна Олег вышел в гостиную. Свечи еще горели. В комнате было жарко, как в финской бане. За завтраком Бэла значительно посмотрела на хозяина и сказала, что будет в «Красных Воротах» устраивать презентацию его книги. Олег сразу зажегся и вспылал к ней симпатией. Шутка сказать — презентация! А кто придет? Бэла достала большой потрепанный блокнот и сказала, что в нем вся творческая Москва и Петербург. Тут же была назначена и дата презентации. Олег ходил радостно взволнованный, но дни бежали, недели шли,

месяцы ползли, Бэла регулярно приходила ужинать, держалась надменно и пресекала малейшую попытку узнать, как движется дело. За день до назначенной даты Олег всё-таки осмелился спросить, кто же придет. Бэла обиделась и хрястнула блокнотом о стол, но Олег повторил вопрос. И тут выяснилось, что никого у неё нет. Она тут же начала звонить по редакциям газет и журналов и спрашивать разных людей. Получалось, что большинство отсутствовало, а остальные отказались, так как не были предупреждены заранее. Скорее всего она разыгрывала перед Олегом фарс, понимая, что в телефонную трубку не влезешь. Тогда Олег перехватил инициативу и пригласил своих знакомых. Один из них, Борис Семенович, был человеком опытным, устраивал гастрольные эстрадные звезды, полсотни лет занимался этим делом и неплохо им кормился. Пришло еще человек десять совершенно случайных и тех, кто ошивался возле добрых рук хозяйки литобъединения. Бэла торжественно открыла малолюдное собрание. Всё было тоскливотомительно и бездарно. Олег достал деньги и послал одного из литературных мальчигов за двумя бутылками водки, хлебом, колбасой и селедкой. Пока длилось нудное действо, мальчик обернулся и в союзе с одной пришлой девицей они наворотили бутербродов и достали тарелки и рюмки. Под занавес Бэла зачем-то прочла «Осень» Пушкина, и публика стала расходиться, а приближенные автора стали группироваться вокруг комнатухи, где уже пахло колбасой и селедкой. Борис Семенович после церемонии не остался и лишь шепнул на прощанье: «Беги от этой сумасшедшей бабы как можно скорее. Это что за карикатура на презентацию?!»

Олег и сам давно понял, что попал в сети к типичной приживалке. Решение отделаться от неё созрело и он укрепил его, глотнув водочки, которая помогла ему очистить мозг от интеллигентских сомнений. Бэла пила наравне с мужиками и нагло делала вид, что презентация вполне удалась. Когда она позвонила к нему в очередной раз и стала напрашиваться на ужин, он без стеснения рывкнул ей, что больше в её услугах не нуждается. Она вмиг поняла ситуацию и швырнула трубку...

Олег взглянул на часы — ого! время подвинулось! До посадки в самолет осталось два часа. Ему стало жарко в пальто. Пиджак отсырел. Бедный пиджак, украшение гардероба. Встречать в Москве его должен был Орловский. На сердце скребло. Как-то его встретит Москва? Будут ли придираются к тому, что у него два паспорта — русский и американский? Перед пересечением границы

России он ощущал тревогу и неуверенность. А что если они там выпустили циркуляр отбирать российский паспорт на границе... И как вылетишь обратно? Заставят задним числом оформлять визу, как иностранцу, а день отлета в Америку уже проставлен... Бузи-не-бузи, а если вышел циркуляр, ты как пойманнаямышь.

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, он стал планировать встречу с коллегами с его последней работы. Два раза в жизни он ходил на работу с огромным удовольствием. Первый раз его устроил Сашка Шлемов, родной и близкий человек. Приняли Олега в Институт Кристаллографии. Какие там люди работали! И как работали! Академик Белов, академик Шубников, член-корр. Вайнштейн, незабвенной памяти Борис Николаевич Гречушников, воистину великий ученый и величайший скромник. При институте было огромное хозяйство. Выращивали лазерные кристаллы, изготавливали вакуумные посты для научных целей. Хозяйством ведал Пейсах Резников, которого ценил сам легендарный Папанин. Правда, физики считали Папанина простым завхозом, а стоящим человеком числили физика Федорова.

Придя в лабораторию оптических текстур в шестьдесят третьем году, Олег думал, что попал прямо в рай из шараш-монтаж конторы, где он пристраивал капроновые уплотнения в угольные комбайны на шахтах Донбасса. В лаборатории он работал на японских приборах, до которых народное хозяйство так и не доросло, пока не рухнуло в перестроечные годы. Если бы не жажда денег, сидеть бы ему до конца жизни в этом раю, а потом мирно покоемся рядом с дедушкой на Востряковском кладбище. Но деньги! Деньги! От их отсутствия устаешь так, что жизнь не мила. А надо было всего еще пару сотен в месяц, чтобы на нормальную еду хватало и купить пару костюмов и две пары обуви в год. И вот, ради денег пришлось идти в почтовый ящик и заниматься хрен знает чем двадцать пять лет. Что за рожи там были у начальства! Вся человеческая низость выступала на этих рожах. Точь-в-точь по Гоголю — какие-то свиные рыла вместо лиц!.. Двадцать пять лет псевдоработы.

Когда объявили перестройку, пришел Варяг на место генерального директора. Пришел и стал вылавливать умельцев, которые подарили бы новому хозяину новые изделия, изготовленные по новым технологиям. Очень хотелось Варягу высветиться перед Горбачевым, но, увы, огромное научно-производственное и проектно-технологическое объединение не смогло выдавить из своих недр даже крошечной крошечки. Приходили начальники

отделов, приносили опытные образцы, которым так и не было суждено стать промышленными. Не было у них технологии, не было у них оборудования. На опытном заводе лепили всё те же батарейки образца 1952 года и всё тут. Был еще цех, работающий на космос, который регулярно выдавал девяносто восемь процентов брака.

Через пять лет этот засекреченный монстр развалился на гниющие обломки. Начальство выгнало ученых и начало сдавать огромные помещения новым русским. И тут Олегу снова улыбнулась удача. Устроился он по случайному звонку в один из институтов Газпрома. Кто не знает Газпром? Вся планета знает Газпром! А маленький институтик, который хотел строить подземные хранилища бензина, керосина, метилового спирта и прочего, был никому не известен и слава Богу. Работал там Олег запоем. Всё в нем пело. Всё им удавалось. И деньги платили сносные. Но вот, прозвенел звонок, и понял Олег, что надо ехать, пока пускают, и уехал он в шестьдесят лет за новым счастьем. А сейчас он мечтал о том, как они хорошо посидят и потолкуют о жизни, о работе... Его прямой начальник Иван Иванович, ветеран двух обширных инфарктов, не дожил, сгнил от рака желудка. Жаль. Жаль его безмерно. Был он человеком горячим и искренним. У них была хорошая мужская дружба. По телефону он узнал, что очень ждал его Иван Иванович, сокрушался что Олег никак не едет.

Женщин в лаборатории Олег всегда приветствовал по понедельникам стандартно: «Поздравляю вас с началом рабочей недели!» Они смеялись, но он говорил совершенно искренне. Последние шесть лет перед пенсией он был счастлив и дома, и на работе.

Многие находят счастье в семье, в детях, внуках. Его встречи с женщинами в молодости приносили ему сплошное разочарование. Не желая заводить детей, он женился на молодой женщине с ребенком, развелся через десять лет и к тридцати пяти годам стал убежденным холостяком. Мать приучила его к чистоте и порядку, и он с неприязнью думал, что его чистая и тихая квартира могла бы заполниться болтовней, обидами, жалобами на невнимательность, запахами жареного лука и специй, назойливым шумом телевизионных шоу, писком малышей, потом грубостью подростков — и всё ради чего? Продолжения рода? Да кто он такой, чтобы его продолжить? Князь Юсупов? Что он оставляет потомкам? Свои публикации, которые стареют быстрее газетной бумаги? Нет, к черту! Гедонизм — единственно правильное для него учение. Это его путь, который вскорости прервется. И за это еще

раз слава Всевышнему, которого, разумеется, нет, а есть что-то иррациональное и потому непознаваемое.

Однако боязнь предстоящего одиночества в Америке вновь толкнула его на заключение брака. На сей раз с пятидесятилетней женщиной, имеющей взрослого женатого сына. Союз оказался удачным. Они друг другу не мешали, были увлечены работой, она прекрасно готовила, любила музыку и не устраивала сцен по поводу еженедельных собраний мужчин за преферансом. Однако переезд в Америку оказался тяжелым испытанием для их союза. Настолько тяжелым, что временами Олег раздумывал, правильно ли он сделал, уехав в другую страну.

...Да, надо, надо повидаться с девочками и последним его аспирантом Юрием Павловичем. Здорово ему с ним повезло. Пришел инженер-практик, который все буровые работы попробовал своими руками, был вахтенным инженером на Каспии, потом бурил скважины на воду в Никарагуа. Когда он пришел в институт, местные ученые мужи сразу почувствовали, что их прекраснотным проектам пришел конец. Юрий Павлович не обращал внимания на степени и чины, безжалостно заставляя их сознаваться в некомпетентности. И это в области, где коллеги их считали корифеями!

Они сошлись при решении одной интересной задачи. Нужно было пройти скважину через двухсотметровый слой бишофита, который бешено растворяется в воде и при этом раствор расширяется так, что запросто может смять стальные трубы, словно отварные макароны, и тогда прощайте огромные денежки, затраченные на бурение.

Очень многие знают, что такое бишофит, потому что его продают в аптеках, как средство от радикулита и суставных болей, но мало кто знает, что при смешении с оксидом магния можно прямо под микроскопом наблюдать процесс образования магнезимального цемента, который уступает по прочности знаменитому портландцементу, но зато и не разрушается в растворах бишофита.

Благодаря энергии Юрия Павловича, в лабораторию Олега вскоре стал поступать керн, завернутый в плотную ткань и залитый парафином. Олег разворачивал десятисантиметровые цилиндры керна и раскладывал по эксикаторам, шлифы которых тщательно промазывал вакуумной смазкой, а на дно ставил чашечки с пятиокисью фосфора, чтобы водяные пары не смели разъедать драгоценный материал.

Года за два до того они с Иваном Ивановичем оживили немецкий металлографический микроскоп и разработали методику исследования микроструктуры каменной соли — основного строительного материала подземных хранилищ на большой глубине. Многообразие микромира потрясает новичков прежде всего царящим внутри него безмолвием, зачарованностью и совершенством форм микрокристаллов, их способностью соединяться в сложнейшие узоры. То, что складывалось на протяжении миллионов лет, выпадало из древних рассолов и захватывало по пути пылинки минералов, газовые пузырьки, отмершие и живые микроорганизмы, вдруг под объективом микроскопа превращалось в легко обозримые изображения 13х18 сантиметров.

На этот раз Олег применял комбинацию обследования микроструктуры с химическим микроанализом с помощью электронного зонда. Результаты, хотя и были весьма и весьма интересными, пока годились только для научного журнала, а Юрий Павлович, как заказчик, требовал ответа на практические вопросы. Он нашел изготовителей стальной бомбы, и вскоре Олег начал проводить в ней испытания с бишофитом. За два года они вместе написали и направили в курирующую организацию Газпрома два увесистых отчета. Вскоре после этого Юрий Павлович зашел к Олегу и напрямую спросил, смогут ли они вдвоем сделать на полученном материале диссертацию. Олег понимал, что коллеге для упрочения положения в институте нужна ученая степень, чтобы быть среди начальства на равных и препятствовать сотворению нежизненных проектов, которые потом будут вынуждены внедрять ни в чем не повинные сотрудники. Олег также понимал, что соискатель обязан по условиям присуждения степени сдавать кандидатские экзамены по специальности, философии и иностранному языку, что ему необходимо написать литобзор по теме диссертации со списком цитируемых источников и прочее, и прочее. Олег поделился опасениями со своим будущим аспирантом, что нагрузка рассчитана примерно на два-три года систематической работы и что в связи с этим, может быть, ничего не получится, но Юрий Павлович решительно прервал, сказав, что у него есть дома компьютер, и он собирается справиться с проблемами за полгода, а вопрос лишь в том, согласится ли Олег быть его научным руководителем.

Не досыпая ночами, отрывая драгоценные единичные часы от общения с семьей, он действительно принес через полгода материал, который можно было уже рассматривать, как черновик

будущей диссертации. Он был человеком щепетильным и потому не поручал своим подчиненным работу по оформлению, как это сплошь и рядом практиковали иные начальники. Оппонентов он также нашел себе сам среди специалистов, с которыми был знаком. Защита состоялась. Олег встал и похвалил своего аспиранта. Счетная комиссия нашла лишь один черный шар, общий счет был 17:1. Потом в коридоре родного института, как было положено по традиции, крепко выпили и отменно закусили. Будущий кандидат наук был человеком широким.

В отличие от Олега он умел не только хорошо работать, но и зарабатывать. Он ухитрился заключить договор с другой организацией и продать им часть результатов проведенных с Олегом исследований. Деньги были поделены строго пополам!

После отъезда Олег регулярно звонил ему и с аппетитом слушал институтские новости. Однажды он узнал, что у бывшего коллеги обнаружили и вырезали меланому, вестницу страшного несчастья. Проверка показала, что удаление было сделано хирургом чисто. Смертный приговор откладывался на неопределенное время.

— Мы обязательно повидаемся, — подумал Олег. — Обязательно!

До объявления посадки осталось сорок минут. Олег поднялся и медленно-медленно пошел с русским паспортом к выходу №29. На табло возле стойки, где проверяли билеты, уже горел номер рейса и время отлета. Слава Богу, не откладывается, несмотря на плотную облачность и моросящий дождь.

Самолет компании «Люфтханза» казался совсем крошечным сравнительно с тем гигантом Швейцарских авиалиний, которым он летел до Цюриха. К счастью, место оказалось у окна, так что выигрывалось немного пространства для тела и, главное, можно было упереться головой в стенку, подложив шарф. Олег снял обувь, развернулся на правый бок и накинул пальто. Он стал думать, как бы поскорее заснуть, и действительно заснул и проспал не менее двух часов. До Москвы оставался час с небольшим. Вскоре самолет начал снижение. Вот показались скопления городских огней, потом шелкнуло шасси и спустя десять минут колеса коснулись бетонной полосы. Прилетели.

Теперь уж торопиться некуда. На часах по Москве шесть вечера. Долго не было багажа, но Олег уже настроился на московский

быт, как он его помнил, и решил покорно принимать тот ход событий, который приведет его в итоге обратно в Америку. Оpozнав свой чемодан, на который он заранее наклеил яркoкрасную ленту, он пошел на паспортный контроль. Впереди уже виднелась толпа прибывших перед выкрашенными в грязно-зеленый цвет будками пограничников. Из шести будок работала только одна. Служивые — молодые девки и парни в хаки сновали туда-сюда с деловым видом, мол, не до вас тут, которые ездят и доставляют хлопоты. В конце концов дошла очередь и до Олега. Он протянул в окошко российский паспорт.

— Откуда прилетели?

— Из Америки.

— Раньше с этим паспортом прилетали?

— Нет.

— Всего доброго.

Олег даже не успел поволноваться. Вышел в зал ожидания, оглянулся и тут же увидел старика в высокой меховой шапке-ушанке страшно похожего на Орловского. В тот же момент тот узнал Олега и они расцеловались и помолчали, чтобы не прослезиться. Орловский выхватил из его руки чемодан. Они вышли из здания аэропорта на площадь, и Олег ощутил сырость воздуха, сквозь которую с трудом пробивался свет фонарей, и узрел нечто вроде черной сметаны, которая равномерно покрывала всё окружающее пространство. Все автомобили были покрыты по крышу слоем этой черной сметаны. Лишь там, где работали стеклоочистители-дворники, блестела часть очищенного лобового стекла. Из-за черной сметаны все автомобили казались совершенно неразличимы, и они потратили время, чтобы отыскать свой. В машине было холодно и накурено. Олег уже позабыл, что это за модель такая «ВАЗ», в котором всё было угловато-неудобным. Машина захрюкала.

— Через Окружную ехать нет смысла, — сказал шофер. — Попробуем через центр.

Олег с любопытством глядел через амбразуру, расчищенную дворниками. В черном небе горели лампы фонарей, светились окна многоэтажных домов, краснели сигнальные огни передних машин. Количество транспорта на улицах казалось чудовищным. Движения практически не было.

— Видно, где-то произошел accident, — подумал Олег. — Нет, вряд ли. Ведь и противоположная сторона стоит.

— Что здесь произошло? — спросил он у шофера.

— Предновогодние дни. Очень сильно загружены магистрали. Нам сейчас нужно пройти Садовое кольцо. Дальше должно быть полегче.

Но полегче не стало. Во всю ширину проспекта тесно, как черные буйволы, идущие в стаде, стояли такого же цвета автомобили, зловеще высвечивая фарами тормозные огни стоящих впереди. Временами между машинами образовывалась щель и тогда водитель спешно туда вклинивался, так как им предстоял поворот вправо, и снова пространство вокруг них сжималось. Олег уже отвык за семь лет от обилия продуктов внутреннего сгорания. Сейчас к месту был бы изолирующий противогаз, потому что нормального воздуха нигде в наличии не было. Орловский с водителем, как люди привычные, даже покуривали при этом. Олег не смел просить их хотя бы не дымить — еще подумают, что вот, прилетела заморская птичка, и то ей не так, и это ей не нравится!

То, что они вскоре доедут до места назначения, хозяева не сомневались. Орловского заботило лишь, как шофер будет возвращаться к себе домой. Через два часа сорок восемь минут они уже были во дворе рядом с улицей Гончарова. Друг протянул шоферу две тысячи (около сорока долларов), и они зашли в подъезд, и поднялись на второй этаж. Всё было знакомо до мелочей. Ничто не изменилось к лучшему! Грязная с первого дня творения красная и белая по замыслу керамическая плитка на полу, коробки с мусором вокруг трубы мусоропровода, запах гниющих отходов, стены коридоров, выкрашенные в универсальный грязно-зеленый цвет, двери, отгораживающие лестничные площадки от жилой зоны — жильцы стремились хоть на чуточку увеличить жилое пространство за счет коридора, ведущего к квартирам. На дверях было выведено по четыре звонка по количеству содержащихся внутри квартир. Почему-то номера квартир указаны были не везде.

— Может, из соображений безопасности, — подумал Олег. — Свои знают, а чужим зачем?

Они вступили в крошечное пространство перед входом в квартиру, заставленное старой мебелью, как и семь лет назад. Орловский вонзил ключ в левую дверь. Прибыли!

У Олега было ощущение, что пространство вокруг него продолжает сужаться. Его обыкновенная двухкомнатная квартира, которую русскоязычные в Америке называют однобедрунной,

сейчас казалась ему великолепными хоромами. Здесь, в прихожей буквально негде было поставить ногу. Пока гость разувался и наощупь искал тапочки, хозяин стоял и ждал своей очереди подойти к вешалке. Хозяйка, милая Женечка, строго следила, чтобы пришедшие не тащили грязь с улицы в комнаты. Но вот, наконец, дошла очередь до вещей. Они втащили их в гостиную и обнялись.

Орловские вставали поздно. У них был продленный новогодний праздник. Олег, приняв снотворное, с трудом долежал до половины восьмого. За окнами было черным-черно. Ночью его будили белые лягушки, которые жили в затейливом домике-аквариуме, под елкой. Олег никак не ожидал, что эти безмолвные существа могут производить столь громкий шорох песка о стенки своего домика. Примерно так же шуршали ночью крысы в сенях, когда они ночевали в купленной на Смоленщине избушке. Олег поднялся и на цыпочках пошел в туалет. Душевая была отделена стенкой, но пространства в ней не было никакого. Цилиндрические стенки душевой сдвигались, и ты оказывался в герметичной трубе, где всё было под боком, но развернуться и не стукнуться при этом локтем или коленкой было сложно. Когда Олег полез под душ, он ненароком саданул по мыльнице с таким грохотом, что супруги, наверное, подскочили на своих кроватях. Олег шепотом выругался и впредь старался двигаться по возможности медленно в незнакомом мире.

Вернувшись в комнату, он услышал звон посуды на кухне.

— Доброе утро, Женечка. Я вижу у вас пианино появилось, компьютер. Интернетом пользуетесь?

— Это Ленка к нам завезла. Они купили новую квартиру у метро «Сокол», пока ремонтируются, стоит у нас.

— А я уж подумал, что мы сможем общаться по Интернету.

— Мы пока не умеем, да и некогда нам. Работы, как всегда, очень много.

— Когда же вы на заслуженный отдых?

— Никогда! — она засмеялась. С Орловским придется трубить до конца дней. Она кинула взгляд на появившегося в дверях мужа, разминавшего утреннюю сигарету.

— Нечего нам на пенсии делать! — веско сказал хозяин, разминая сигарету, — Я пойду повоняю, а вы завтрак готовьте.

— Чем помочь, Женечка? — спросил Олег и тут же подумал, — как же в такой тесноте поможешь?

— Да уж посиди, гость. Расскажи, какие у тебя новости.

— Новости? — Вот сестренка моя стала бабушкой и я, стало быть, дедом. Заграничным дедом. Она-то в Германии...

— Не скучно жить в Америке?

— Привык. По друзьям скучаю. Это правда. Вот, приехал поглядаться в последний разок.

— Что так грустно?

— Да не люблю я путешествовать. У нас там все вступили в общество «Хаверим», по-русски значит «Друзья». И за счет богатых спонсоров ездят в путешествия за полцены. Всю Америку объездили, в Мексике были, два раза в Китае. Я как подумаю, что с пятью десятками знакомых рож надо две недели неразлучно таскаться, так нет уж! Пусть я всего за десять миль в знакомый лесок поеду, только бы их, голубчиков не слышать и не видеть.

— Ты вроде бы никогда мизантропом не был, — сказал вошедший хозяин.

— Проблема маленького города. Куда ни пойдешь, везде одни и те же «русские», в смысле, евреи. И всё время как под рентгеном: «Гляди, капусту купил! Кто ему щи варит?» «Гляди, он вчера новые джинсы купил, я его в магазине встретил». «Видел? К нему молодая баба ходит, американка!» — «Нет, это не к нему. Это к моему соседу Грише»...

— Так возвращайся в Москву.

— Поздно. Избаловался я там. Еда обильная, медицина бесплатная, так как я бывший беженец. Одежды навалом, квартира дешевая. Возможностей уйма. Да и ходить на службу не хочется. А приеду сюда — ничего нет, кроме нищенской пенсии.

— А мы сколько лет, Жень? Восемь лет пенсию с книжки не снимали? — Она кивнула. — Там уже тысяч десять на доллары накопилось.

— Так вы купите квартиру побольше, доплатите и купите. Тесно ведь у вас.

— У нас не тесно, — отдельно произнес Орловский. — Нам с Женькой приятно здесь жить. Всё благоустроено. Всякая вещь на своем месте. Тесно? — А две большие кровати в спальне поместились!

— Так там больше ничего и не поставишь.

— И не надо. В спальне спать надо. В гостиной — телевизор смотреть или читать, и вот, на кухне еще один телевизор, чтобы есть и развлекаться одновременно. Правильно я говорю, жена?

— Правильно, правильно. Главное — жить так, как сердце хочет.

— А у тебя там, у мерканцев что за квартира?

— Раза в два больше.

— Ну и ладно. А нам и здесь хорошо.

— Слушайте, други дорогие. Мне надавали поручений купить разных лекарств в Москве. Давайте-ка сегодня в город не мотаться, тем более что я еще не совсем в форме после полета.

— И правильно, Олежек. Давайте прогуляемся до нашей монорельсовой дороги и зайдем погулять на ВВЦ.

— Что это?

— Уже забыл? — Всесоюзный Выставочный Комплекс! Бывшая ВДНХ.

В коридорчике Орловский продемонстрировал новенькую дубленку:

— Нравится?

— Хорошая, — из вежливости похвалил Олег.

— Тридцать тысяч отдал! — самодовольно улыбнулся хозяин. — Пойдем во двор, я покурю, пока жена соберется.

— Представляешь, — продолжал он, спустившись с лестницы. — Мы приходим с Женькой в магазин. Я говорю продавщице, что я хочу эту дубленку, а она мне отвечает, что, мол, дубленка дорогая, стоит тридцать тысяч, и смотрит на меня с сомнением. А я ей — пожалуйста! И пачку на столик. Так представляешь, у них еще полагается приз за покупку, и она мне дарит пару кожаных перчаток за тысячу четыреста! — Орловский с торжеством взглянул на Олега.

— Потрясающе, — пробормотал Олег. — Тоже мне ценность, — подумал он, — дубленка, перчатки. У нас давно никто не обращает внимание на тряпки. Вся Америка ходит в джинсах и кроссовках в рестораны и на концерты. В меховых шубах и шапках зимой ходят только эмигранты из бывшего Союза. Да и непрактично. Америка помешана на чистоте. Куртки и портки, рубашки и носки меняют чуть ли не каждый день, а с пропотевшей шубой и шапкой что делать? Чистить каждый месяц? — Разоришься.

Станция монорельсовой дороги была недалеко от метро. Два вагона ходили строго по расписанию: раз в полчаса. Народу в вестибюле станции и на платформе почти не было. Наверное, мэрия дала промашку. Этот маршрут дублировался общественным

транспортом, который стоил в три раза дешевле, а для туристов не представлял интереса, потому что эстакада шла через жилой массив мимо грязно-серых многоэтажек и грязно-голубоватых высоток-новостроек. По пути Орловский с важностью и обстоятельностью рассказывал о супермаркетах и рынках, которые они проезжали, благо вагон шел на малой скорости:

— Продуктов везде полно и отличного качества, но мы ходим только в два гастронома — «Джамиля» и «Весна», потому как близко и по пути с работы. Мы теперь метро не пользуемся. Идем к трамваю, едем двадцать минут и снова пешком минут двадцать. Приятно и полезно.

— Мне очень понравилась дорога. Так чисто и красиво на станциях, — сказал Олег, когда они вошли на территорию ВВЦ.

Когда-то он бывал здесь очень часто. Их отдел участвовал в выставках в павильоне «Электротехника» по тематике «Электротехника в медицине». Бывший генеральный директор их объединения рассматривал участие в выставках, как случай показать, что тысячи людей, работающих под его началом в Москве, Ереване, Ленинграде, Минске и даже в Ашхабаде, даром хлеб не едят, а двигают вперед советскую науку и производство. Пользуясь покровительством генерального, под предлогом участия в международной или Всесоюзной выставке каждый отдел торопился протолкнуть заказы на опытном заводе вне очереди. В обычном графике можно было состариться и уйти на пенсию, так и не дождавшись своего опытного образца. Всегда были неотложные заказы важнее твоего. В эти ударные дни перед выставками институтские начальники лили море спирта, улещивая работяг. Вечерами с предприятия пёрла пьяная в дым толпа, и встречные никак не могли угадать, по какому поводу праздник.

После открытия экспозиции множество сотрудников с энтузиазмом ездило дежурить возле экспонатов. Еще бы! Куда как лучше, чем сидеть на службе за решеткой и ждать обеденного часа, чтобы выскочить в магазин или подышать свежим воздухом.

Сейчас, в будний предновогодний день под низко свисающей серой бахромой облаков площади ВВЦ были малолюдны. Народ толкался возле аптечного корпуса и тех помещений, которые арендовались торговлей. И в давние времена никаких достижений народного хозяйства там не было. Был лишь ликбез для праздной публики посреди большого зеленого массива. Потом, после начала перестройки и раздрая между Советскими

республиками павильоны Украины, Молдавии, Грузии и прочих потеряли свой политический имидж и фонтан «Дружба Народов» стал просто неработающим фонтаном. Самолет ТУ-104 всё так же стоял на площади перед павильоном «Космос», ржавел. Трапы были давно убраны. Ракета времен Королева тоже тихо ржавела под открытым небом. Правда, в павильоне «Животноводство» кого-то еще содержали. В нескольких местах торговали медом, семенами, травами. В других павильонах торговали сувенирами из дерева, камня, кожи.

Однако гулять было приятно хотя бы потому, что на этом обширном пространстве не воняли автомобили. Когда возникла проблема с туалетом, то выяснилось, что надо возвращаться на площадь напротив павильона «Зерновое хозяйство». В монументальное двухэтажное здание вели две огороженные двери, выкрашенные в голубенькое. Когда Олег вошел, в нос ударила вонь состарившегося за долгие советские годы дерьма и перегорелой мочи, от которых он, оказывается, успел совершенно отвыкнуть за семь лет. Вдоль стены стояли кабины, внутри которых вместо унитазов с сиденьями были сделаны бетонные основания, на которые следовало садиться орлом. Всё фаянсовое было выщерблено и грязно. Освещение в зале было как в одесских катакомбах времен немецкой оккупации. На криво вбитом огромном ржавом гвозде одиноко висел початый рулончик серой бумаги на всех желающих. Бумагу, наверное, делали из газет двадцатых годов, не позже. Строгая тетка за столиком зычно потребовала по десять рублей с носа.

— За что же вы берете десять рублей? — спросил Олег. У вас здесь такая грязь и вонь. Ваши начальники хоть бы дезодорант купили...И повесить пальто не на что. Что же так прямо в пальто и облеγχаться?

— Это не моё дело. Пальто ваше, значит и дело ваше, куда его девать. Зато у нас тепло. Люди могут зайти с мороза и погреться.

— Греться у вас? Вы что же, не чувствуете, как здесь воняет?

— Вот что, господин хороший, — озверела тетка. — Не нравится тебе здесь оправляться — иди домой. Иди и нюхай своё собственное, а тут туалет общественный. Вот ты зашел — и плати!

— Олег, кончай базарить, — вступил Орловский, доставая двадцать рублей. Делай своё дело и шагай на улицу. Люди, которые взяли в аренду этот туалет, не желают вкладывать в него

деньги. А другого туалета здесь нет, — продолжал он, когда вышли на свежий воздух.

— Так пусть администрация ВВЦ или кто там еще, не знаю, сдаст его в аренду приличным людям. Это же стыд перед гостями столицы.

— Бросай свои буржуйские замашки, ты в России, а не в Америке! — Олег почувствовал раздражение в голосе друга. — Сделал своё дело и забыл. Всё! Вон Женька нас ждет.

Новый год Олег встречал в семейном кругу. С возрастом эти празднования выродились в скучнейшее времяпрепровождение. Когда-то собирались, выпивали, пели озорное или полюбившуюся классику, прижимали женщин в танцах, много смеялись от ощущения молодости и силы. Потом танцевали всё реже, а спустя еще лет десять и петь перестали. Наедались и ругали Советскую власть, пили всё меньше, потому что хмель уже не веселил. Экраны чуть не лопались от хохота участников телевизионных шоу, а зрители в своих квартирках смотрели всё равнодушнее и часто просили хозяев убавить звук.

Семейный круг на сей раз состоял из троих. Женечка нервничала из-за внучки, которая обещала подъехать и где-то затерялась. Орловский торжественно распечатал бутылку «Армянского» коньяка, прибавив, что он купил его за восемьсот пятьдесят рублей. За такую цену, мол, магазин гарантирует, что содержимое соответствует наклейке. Наклейка была совершенно незнакома Олегу. За все годы жизни в Москве он никогда не слышал о такой марке коньяка. Кто знает, может быть он целиком уходил за рубеж?.. Олег пробовал угостить их коньяком, который раздавали в самолете Швейцарской авиакомпании, но его попытка была с презрением отвергнута. Даже попробовать не пожелали. Ну, ясно. У нас, российских *собственная гордость, на буржуев смотрим свысока.*

Выпили по рюмке. Потом еще по одной. Женечка тосковала по внучке, тревожилась. Пялились в телевизор. Олегу было скучно, очень хотелось спать. Чтобы развеяться, он спросил у друга, как идут дела в цехе.

— Сейчас дела идут великолепно. От заказчиков отбою нет. На счете больше пяти миллионов.

— Долларов?

— Рублей! — сморщился Орловский. — У нас доллар не в чести.

— Ты ведь уже два года, как переехал на новое место. Что, кстати, была за причина?

— *Причина* одна. Хозяин, он же директор предприятия велел очистить помещение.

— Так ведь он тебя возлюбил и пригреб шесть лет назад, когда ты разругался с братьями Соломоновичами. Это он не дал им вывезти оборудование, на котором ты работал.

— Я тогда не остался в долгу перед директором и за копейки делал ему малые серии для оборонки.

— Сколько же ты потратил на перевозку и установку прессов и каландров, это ж такая тяжесть!

— Почти всё, что имел на счету — около двух с половиной миллионов... Рублей. — Глаза друга полыхнули из-за очковых стекол.

— Я понял, что не долларов, понял, — поспешил Олег. — То есть, ты на новом месте начал практически с нуля?

— Ты не представляешь, Олежек, — вступила Женечка. — Мы в начале месяца часто ломали голову, из чего будем платить рабочим. А у нас их пятьдесят человек. Столько нервов потратили. Слава Богу, всё это позади.

— Значит, вы директору стали не нужны?

— Понимаешь, акционеры нашли покупателя на цеховую площадь, да и подводка — электричество, горячая вода, вентиляция уже были готовы. Там сейчас бассейны, сауна, физкультурный зал. Деньги теперь решают всё, никаких симпатий и антипатий.

— *Всюду деньги, деньги, деньги, Всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, Не годится никуда!* — пропел Орловский.

Наконец, позвонила внучка и сообщила, что приедет утром. Бабушка вздохнула, но лицом посветлела. Выпили еще по рюмке за внучку. Олег уже еле сидел за столом, так хотелось спать. Наконец, Женечка увидела, как он мается и предложила расстилать постели. Сдвинули в сторону обеденный стол, хозяин разложил гостю лежанку, и тот рухнул в постель. И тут сон, как назло, покинул его. Проклиная свой неуправляемый организм, Олег поднялся и нашарил в сумке пакет с лекарствами, нашел снотворное, запил минералкой, оставшейся от пиршества и вскоре уснул без сновидений.

После Нового года Олег связался с Дмитрием, вторым и последним из друзей, оставшихся в Москве. Решили встретиться

возле Третьяковской галереи. Там шли выставки Уистлера и Русского портрета XIX века. Женя идти отказалась. Устала. Ехали на метро, которое подорожало так, что пенсионерам лучше сидеть дома. По дороге Орловский стал хвастать, как его ценят директора предприятий, как они с ним считаются, потому что резиновая промышленность в России дышит на ладан, а о разработке специальных резин для нефтегазовой промышленности и мечтать не приходится. Вот он остался практически единственным, кто способен провести самостоятельное исследование, дать рекомендации и тут же исполнить заказ, причем из уже известных недорогих каучуков. И работают его изделия в экстремальных условиях не хуже заграничных, а порой и лучше.

— Мы экономим на материалах и за счет этого остаются деньги на хорошую зарплату для рабочих.

— А как сам зарабатываешь?

— Мы с Женькой где-то около шестидесяти тысяч имеем в месяц. На всё хватает и даже много остается. Вот дубленку купил хорошую...

— Да, дубленка хороша. А всё-таки, что бы тебе не поменяться на большую квартиру с доплатой?

— Слушай, мне комфортно именно в этой квартире!

— Ну-да, — подумал Олег. — А для чего ему кабинет? Что он там будет творить, когда вся его жизнь в цехе, домой добирается почти на четвереньках от усталости. И Интернет ему не нужен. Достаточно телевизора. Вот пример человека само-достаточного. Ему достаточно самоуважения и плевать, что о нем думают другие. Хотел бы я быть таким уверенным? Хотел бы и еще как! Но не получилось. В этой жизни не получилось, как говорят иные остряки.

Дмитрий превратился за семь лет в осанистого старца с мощной седой бородой, опирался на тяжелую палку, носил большие очки и сванскую серо-черную шапку. С Олегом обнялся, а Орловскому энергично пожал руку. И не скажешь, что полгода провалялся в госпитале с туберкулезом позвоночника...

Джеймс Эбботт МакНейл Уистлер был создателем музыкального жанра в живописи. Его графические работы показались Олегу скучными, но пейзажи, которые он называл то симфониями, то ноктюрнами, очаровывали. Олег ощущал почти то же блаженство, что и сорок семь лет назад на первой выставке импрессионистов в Москве. Он смотрел и удивлялся мастерству художника,

способного создать серебряный тон из сочетания обычных красок. От картин шел поток тишины и спокойного величия природы. Казалось, что можно войти в эту тишину и почувствовать запах моря или реки, ощутить налетающий легкий ветер оттуда, из глубины картин. Раньше бы они тащили друг друга от холста к холсту — ты только посмотри, что за чудо! — и громко радовались бы своим открытиям, а сейчас все предпочитали молчать. Прошло время восторгов, не вернешь.

Поднялись на выставку русского портрета. Живя в Америке, Олег совершенно позабыл об этом уникальном явлении. И вот, они явились перед ним — мужчины в темных фраках, дамы в дорогих нарядах. Лица высветлены, в глазах — мысль! Позы гордые, но не застывшие, как на полотнах Пуссена и других классиков, а в высшей степени подвижные. Казалось, — тронь за плечо — обернется и заговорит. Это было полное торжество реализма без всяких позднейших «сю-сю». Никто никому не льстил. Просто были явлены руками талантливых портретистов примеры для подражания. От картин веяло великой духовной силой. Той самой, что была измельчена и опошлена, а затем задушена и опоганена пришедшими хамами и их вождями в фуражках с красной ленточкой.

— Как удалось им всем выжить? — думал Олег. — Наверное, «отец народов» не видел эти портреты. Почти перед каждым из них он должен был бы испытывать такое унижение, что отдал бы приказ незамедлительно уничтожить или выдворить их из пределов России, как когда-то его «Учитель» выгнал философов.

После выставки они двинулись вниз по мощеному брусчаткой Лаврушинскому переулку к Кадашевской набережной. Напротив здания Третьяковки скульптор Мишанов выставил свои работы в металле, скорее всего, латунное литьё. Полированные поверхности блестели лунно-желтым, а затененные были черно-серыми — великолепное сочетание цветовых оттенков. В работах ощущалась таинственность, а что ещё может быть важнее в настоящем искусстве, чем тайна, недосказанность, неопределенность и возможность неоднозначного толкования? Одна из наиболее понятных скульптур изображала беременную на последнем месяце и называлась «Ожидание», и действительно, стоящая женщина явно прислушивалась к событиям, происходившим в её утробе и была всецело занята этим.

Друзья поднялись на мост, переброшенный через канал, бросили взгляд на Петра Великого работы Зураба Церетели и спустились к «Болоту», где стоял памятник Илье Репину. Выглянуло солнце. Городской пейзаж сразу ожил, и настроение поднялось. На «Болоте» известный скульптор В. создал многофигурную композицию, которая иллюстрировала идею, что негодяи-взрослые развращают детей вином, наркотиками, азартными играми и прочими прелестями цивилизации. Складывалось впечатление, что скульптору позировал сам Мефистофель: от всей группы веяло духом средневековой гравюры под названием «Козни Дьявола», но невинные дети жалости не вызывали.

Дошли до Красной площади и решили ехать к Дмитрию в гости, посидеть-отдохнуть, выпить-закусить, вспомнить прошлое, если захочется. По дороге зашли на рынок, купили большую парную утку, массу овощей и фруктов и на закуску превосходный «Рокфор». Орловский непрерывно старался всунуть продавцам свои деньги, пока не договорились, что он купит коньяк. В былые времена Дмитрий отменно запекал венгерских уток в духовке, и сейчас он не подкачал. Славно поели, немного выпили. Потом Дмитрий поставил для увеселения Норвежские песни начала сороковых — точь-в-точь то же, что тогда пели люди под аккордеон и в Польше, и в Германии, и в России. Слушали с удовольствием, не понимая ни слова. Олег прямо диву давался, какая у Дмитрия техника появилась. Оказывается, сын-электронщик подарил. Пока звучали песенки, Олег медленно бродил по большим помещениям квартиры. Стены были сплошь увешаны работами профессиональных художников, некоторые из них еще до войны входили в семейный круг отца, двоюродная сестра которого оформляла спектакли в Художественном театре. В обстановке квартиры преобладали разномастные книжные шкафы, набитые книгами до предела, а перед ними за стеклом стояли в рамках и без оных многочисленные фотографии ныне покойной родни и безвременно ушедшей супруги, уехавшего брата с семьей и только начинающих школьную жизнь внуков. Сколько раз Олег бывал у Дмитрия, не счесть. Они несколько раз меняли квартиру, но всегда гостиная принимала знакомый до мелочей и потому приятный для глаз вид. Те же шкафы, те же картины, книги неуклонно прибавляющиеся год от года, цветной шерсти вязанные покрывала и скатерти — ручная работа покойной жены Марии...

Он вернулся к друзьям. Дмитрию рассказывать было нечего. Пенсионер. Какие уж там новости. Пытается подрабатывать. Орловский начал было снова рассказывать про свой цех, да замолчал. Стали пытаться Олега, как ему живется *там*. Однако он быстро заметил, что их обоих скорее интересует, насколько, с его точки зрения, они сейчас живут лучше (а также и в сравнении со средними американцами, если не учитывать машин, Интернета и прочих прибабасов, которых у них нет, но они им и не нужны, а, вот, по количеству мобильных телефонов Москва наверняка обогнала Америку).

Олег всё пытался повернуть разговор в область воспоминаний, но они вспоминать не хотели. Тогда он стал рассказывать, как ему постепенно стало нравиться писать о том, что происходило и происходит в его жизни.

Орловский сказал:

— Мне всё был недосуг почитать твои книжки, но недавно я взял их прочел все сразу и понял, что ты набит-нафарширован всякими комплексами, и мне даже стало жалко тебя.

— А мне твои книги, ты только не обижайся, не нравятся, — добавил Дмитрий. — Первую, правда, я перечитал и, вроде бы, она ничего.

— Ну, не могут же книги нравиться абсолютно всем. Вот, мне покойный Лёвка говорил, что ему «Мастер и Маргарита» не нравится. Его право читателя судить. Слушайте, я после школы лет через десять открыл «Евгения Онегина» и стал смотреть Пушкинские примечания к тексту, и в самом конце прочел:

*Пора: перо покоя просит;
Я восемь песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал, —
Хвала вам, девяти камням, и проч.*

Я начал ломать голову над тем, почему редакция не продлила этот чудесный стих до конца и поставила «и проч.». Я стал рыться в Пушкинских вариантах, но ничего не нашел. И только недавно я понял, что сам Пушкин не захотел продолжать и написал «и проч.».

— Ерунда какая-то, — с раздражением сказал Дмитрий. Подошел к шкафу и вытянул копеечное школьное издание

поэмы. — Нет тут ничего! — продолжал он с еще большим раздражением.

— И у писателей наших бывают затмения, — съязвил Орловский.

— Друзья, скажите, а как давно вы брали Пушкина в руки?

— А какое это имеет значение? Мы с Дмитрием отлично помним. Еще со школы.

— И чего они злятся? — подумал Олег, — не трожь нашего Пушкина, американец! Так, что ли?

— Однако пора домой, — сказал Орловский.

Олег уже изрядно устал от тесноты и решил переночевать у Дмитрия.

— Понимаешь, — замялся тот после ухода гостя. — Я тут сдал комнату отца одному парню. Сейчас он поехал на несколько дней к подруге, так что если вернется, я принесу раскладушку в твою комнату...

— No problem, — ответил Олег и вспомнил, как шумно восторгался Дмитрий по телефону его планами посетить Москву, как уверял, что вся квартира будет в его распоряжении. Правда, эти восторги были отчасти связаны с состоянием эйфории, которое наступало у Дмитрия обычно после третьей рюмки водки. Кто-то из друзей внушил ему, что водка есть замечательное средство от диабета.

Олег еще со времен байдарочных походов знал, что Дмитрий жуткий храпун, так что в случае прихода жильца бессонная ночь обеспечена. Знал бы заранее, уехал бы с Орловским.

Стали готовиться ко сну. Олег с грустью оглядывал запущенное хозяйство бобыля. Краны подтекали, ванну хозяин не мыл, наверное, больше года. Полотенца пахли сыростью, прекрасный дубовый паркет был затоптан до черноты. С уходом жены из квартиры ушли опрятность и уют. Зайдя за кружкой на кухню, Олег обратил внимание на заросшую грязью газовую плиту и совершенно черную раковину.

Ночь прошла спокойно. Жилец не приехал. Олег встал рано, почистил зубы и помылся частями. Лезть под душ не хотелось, побрезговал. Пошел на кухню, разыскал щетку, мочалку, питьевую соду и принялся методично оттирать грязь с плиты и раковины. Мыть ванну ему уже было не под силу после операций, да и спина болела.

— И чего бы сыну с невесткой не прийти и не навести порядок и чистоту у отца? — думал он. — Вообще-то ремонт нужен, хороший ремонт, а это, небось, теперь сумасшедших денег стоит. Есть и другой путь. Квартира в центре Москвы, семь минут пешком до метро. Цена, думается, перевалила за двести тысяч долларов. Продали бы эту и свою и съехались с отцом в четырехкомнатной большой квартире, пусть не в центре, но близко от метро, а то сами живут у чорта на куличках, с транспортом мучаются, и Дмитрию тяжело таскаться к ним, тем более, что остаться переночевать у них просто негде.

Одиночество в старости есть прежде всего следствие бедности. Вот, накопил тысячи три книг, если не больше, а что толку? Сашка Шлемов, дорогой друг, однажды сказал во время книжной горячки:

— Всё! Больше книг не покупаю. Есть у меня битком набитый шкаф — начинаю читать. Когда закончу последнюю книгу, могу снова начинать первую, потому что к тому времени забуду, о чем она.

Разумный подход к жизни, ничего не скажешь.

Дмитрий поднялся лишь в десятом часу. Олег перехватил к этому часу пару бутербродов с «Рокфором», которые запил ужасным чаем. Сейчас он наблюдал, как Дмитрий обстоятельно измеряет давление, сахар в крови и принимает лекарства.

— Давление у меня теперь всегда высокое с утра. А началось это в госпитале, где я лежал с позвоночником. Чем-то меня там перекормили.

— У меня тоже давление скачет. Мой кардиолог советовал мне держать порядка сто десять на семьдесят после операции, но у меня это плохо получается, а дать дельный совет он не в состоянии. Кроме образования нужна еще и смекалка.

Пока разговаривали, Дмитрий разогревал овсяную кашу, куда добавил чайную ложку подсолнечного масла. Глядя на скудное питание друга, Олег решил отложить все визиты и сходить с ним на рынок, закупить приличных продуктов.

На рынке (раньше их называли мелкооптовыми) Олег первым делом купил пачку чая «Earl Grey», густой мед, лимоны, сливочное масло и два батона белого хлеба. Прежде всего для себя. Уже много лет его завтрак состоял из четырех кусков хлеба с маслом и медом и хорошего чая с отжатой четвертинкой лимона. В Америке он привык к ежедневным салатам из свежих

овощей, которые всегда заправлял только оливковым маслом и лимонным соком. Дмитрию салаты тоже не помешают. И еще надо бы купить рыбное филе, сварить его в минимальном количестве воды с мелко нарезанным луком, морковью и душистым перцем.

Все покупки они сделали в полчаса, закинули на кухню и поехали в Пушкинский музей на выставку современной графики. Представленные художники были большей частью знакомы Дмитрию. В его коллекции хранилось несколько листов. Олегу понравились иллюстрации Иволгина к романам Кафки.

— Дим, знаешь, мне кажется, он смог передать ощущение вязкого, непреодолимого кошмара и бессилия, которое бывает в дурных снах. Вот, у меня, к примеру, было такое ощущение при чтении «Процесса».

— У Кафки многое связано с тайнами психики или, скорее, с загадками человеческого поведения. Кто только этим не увлекался.

— Меня очень привлекают работы символистов, хотя картины вроде «Клятвы Горациев» или «Плота Медузы» будили воображение еще в детстве, когда и сюжет был неизвестен.

— А мне сейчас ближе итальянские мастера, — сказал Дмитрий.

Спустя час они поднялись на первый этаж. Раньше там висели работы импрессионистов, стояли скульптуры Родена. Теперь же в зале закрывал полстены огромный гобелен четырнадцатого века, напротив несколько картин Пуссена да парочка посредственных скульптур неизвестных французских мастеров, которым было очень далеко до Гудона.

Человек привыкает к обстановке и дома, и музея, куда регулярно ходит на выставки, а изменение в привычном часто вызывает неудовольствие. Олегу хотелось войти в тот же поток и убедиться, что он остался неизменным вопреки утверждению Гераклита, но тот оказался прав. Вернись Олег в Москву через двадцать пять лет, он, пожалуй, вообще ничего бы не узнал, кроме башен Кремля.

Несомненно, древние трактовали поток применительно ко времени, а не к воде. Не зря же они Пожирателя собственных детей называли Кроносом. Время сжирает всё, что порождает Земля. В конце концов оно сожрет и Солнце, и всю окрестную Галактику, а участь Земли будет решена в какие-нибудь пять миллиардов

лет, когда Солнце превратится в красного гиганта и его излучение превратит всё твердое вещество планеты в пар, как испаряет раскаленная сковорода каплю воды.

Скульптуру «Мыслителя» дирекция поставила перед входом в музей. Чем он мешал им в зале, непонятно. Пока его не отправили куда-подальше-с-глаз-долой, Олег попросил приятеля встать рядом для снимка. Ему казалось, что осанистый, седобородый, с тяжелой палкой в правой руке он будет прекрасно выглядеть на фоне черной скульптуры. Мыслитель возле «Мыслителя»... Всё-таки у Родена чувствовался некий перебор. От скульптуры шел ток огромного усилия, а мышление есть процесс спокойный, неторопливый. С таким напряжением мускулов лица и тела человек может скорее обдумывать случившуюся с ним огромную неприятность, нежели многомерную систему Вселенной.

В отсутствии Орловского Дмитрий был совершенно неагрессивным, как говорится, «ручным», общаться с ним было легко, как и в прошлые далекие годы. Олег вспомнил, как Орловский всегда при встречах с Левкой за общим праздничным столом старался его зацепить, и Левка, не испытывая к этому технарю ни малейшего интереса, громко жаловался на весь стол: «Ну что он на меня нападает! Я пришел сюда только выпить пару рюмочек и вкусно покушать». Однако если объектом наскоков становился Олег, Левка обычно молчал, а Дмитрий тут же становился агрессивным и бывало, что его заносило до грубости. Тут уж вступала жена Дмитрия и говорила ему с сарказмом: «Куда это тебя, Дима, понесло? Очнись! Ты же не в своем поганом почтовом ящике, а на дне рождения у своего лучшего друга!» И Дмитрий в миг единый становился шелковым, потому что уважал и боялся...

После чудесного салата из помидоров, тепличных огурчиков, зеленого лука, кинзы и редиски, сдобренных лимонным соком и оливковым маслом, килограмма отварного окуневого филе и крепкого душистого чая друзья расположились в гостиной.

— А ты по-аглицки общаешься свободно? — спросил Дмитрий.

— Куда там! Сказать еще кое-как могу, а понимаю через пятое на десятое. Политические новости по телику и те не успеваю понять. Пока соображаю, что сказано в первом предложении, они уже пятое заканчивают. Плохо у меня с пониманием, плохо. И успехов уже не предвидится. А я ведь когда приехал, думал, что через год заговорю свободно. Столько книг прочел, восемь раз в

неделю занимался. Старческое слабоумие. Не образуются новые языковые связи в мозгу. Американские преподаватели, которые многих из наших учили, считают, что причина чисто возрастная, и относятся к нам терпимо, но общаться-то надо с живыми людьми, а им нет дела до твоего умственного состояния. Часто бывает, что ко мне обращаются, улыбаются, а я тоже улыбаюсь, киваю головой, а спроси меня, о чем речь — не знаю. Вот так-то.

Следующим утром они отправились вместе с Орловскими в сад скульптур, что окружает Дом Художника. Над Москвой всё так же неподвижно висели серые тучи, откуда по временам прыскала бессильная морось. Под ногами даже в центре, напротив знаменитого входа в Центральный Парк Культуры и Отдыха имени Максима Горького, напоминающего триумфальную арку, жирно поблескивала та же черная сметана.

Они вошли в сад скульптур через подземный переход. Тут и там зеленела мокрая трава и стояли в тумане серые лужи, но скульптуры на этом сплошь сером фоне выглядели даже более эффектно. Солнечные блики и листва отвлекали бы и создавали лишние рефлексy. Вот так, скорее всего, они выглядели в мастерской.

Прямо перед белым кубом основного здания чернела групповая скульптура в металле — акт из «Оптимистической трагедии». Крепкая была работа. Матросская вольница. Один ухаре сидел на плечах у другого, свесив ноги, третий только что ударом кулака сбил с ног капитана корабля. Тот лежал внизу, а группа «товарищей» с бабой-комиссаром во главе утвердилась на капитанском мостике. Баба с вороньим горбатым носом, нечесаными патлами под небрежно повязанной косынкой, маузером на правом бедре, выпяченными губами безошибочно прочитывалась, как неопрятная еврейка. Она словно вынюхивала, нет ли поблизости ненавистного одеколона, свидетельствующего о присутствии офицерского состава, который нужно немедленно расстрелять. Ей, наверное, было очень хорошо рядом с гуляющими матросами. Это была вовсе не та красавица-барышня-комиссар из известного в семидесятые годы фильма, в котором матросня едва её не поимела. Нет, на эту ворону никто бы не полез даже с приплатой. Автор скульптуры, человек безусловно талантливый, видимо не жаловал комиссаров, а баб-евреек-комиссаров в особенности.

Олег подумал, что вот, наконец, наступили времена, когда у художников развязаны руки, твори, что можешь, к чему душа лежит.

— Революция, которую многие воспринимали, как страшную трагедию, теперь выглядит, как фарс, — заметил Дмитрий.

— Когда такую сентенцию изрекает Наполеон или Бисмарк, то это звучит солидно, а когда её повторяет Дима, то от неё пахнет банальностью, — резанул Орловский. — Обратите лучше внимание на Впередсмотрящую. Какая хищная поза! Она чувствует врагов революции! Берегись, американец, сейчас она тебя хлопнет из маузера!

Они продолжали потихоньку двигаться от одной работы к другой, обходя лужи.

— Боже, сохрани Россию хотя бы за то, что и по сей день здесь работают такие мастера, — подумал Олег, когда они подошли к бело-желтому камню, на котором был высечен ковчег со святыми старцами, которые вылавливали из житейского моря заблудшие души.

Орденоносные истуканы почти исчезли с выставки. Теперь пришла пора для пиршества замыслов. Вон тонкая, как хворостинка, девушка прильнула к парню в пилотке и плаще, а там парень с домрой в руках поднял лицо к звездам, а вот Наполеон в треуголке, но совершенно голый, с жирными ляжками и складками на боках, как его описывал Толстой.

— Вот это — класс! — вскричал Дмитрий. — Идите сюда.

Возвращение блудного сына было задумано в стиле Рембрандта, но фигуры были сотворены из кусков бетонных плит, сквозь которые проходили ржавые стальные трубы. Только лица и кисти рук были сделаны отливкой. В позе сына прочитывалось раскаяние и поиск прощения, и горе сердца, когда не замечаешь униженности своего положения и нет дела до других, наблюдающих с любопытством — с сочувствием или злорадством.

На выходе из сада стоял памятник красного полированного гранита в честь Нефёдова, того самого, великого скульптора Эрьзи, который добившись успеха и признания в Южной Америке, всё бросил и уехал в Советскую Россию, и умер здесь в нищете и забвении. Эрьзя стоял сбоку от полированного монолита немного растерянный в высоких тяжелых сапогах литой резины, в каких ходят строительные рабочие, шахтеры и колхозники. Куртка на нем была задумана из окисленной бронзы, она ярко зеленела. Рядом притулилась черная собака. *«К нему несправедливо небо, — Он получает камень вместо хлеба»*, — вспомнил Олег.

В конце сада скульптур, отделенные решеткой скопились другие работы. Они еще недавно гордо возвышались на площадях

Москвы. Гигантская фигура Сталина с отбитым носом, рядом торчал черный, как жук-короед, Свердлов в кителе, огромных сапогах и с папкой подмышкой. Сидел в кресле похожий на него, как близнец, Калинин. А за проволочной решеткой внасыпку лежали каменные головы-булыжники — апофеоз смерти сталинских и ленинских лагерей. Черты лиц были лишь намечены на булыжниках, но благодаря пестроте природной окраски, выглядели совершенно индивидуально. Казалось, что все они смотрят из-за решетки на проходящих в парк, и было тяжело и неловко перед ними, как перед живыми.

Моросило по-прежнему. Друзья вошли в здание дома Художников, и Орловский, отогнав друзей от кассы, купил входные билеты по пенсионным удостоверениям. В холле царили шум и суета, всюду носились и кричали дети. Тут Дмитрий вспомнил, что сейчас разгар зимних школьных каникул. Куда же еще в такую погоду поведешь детишек — только в кино или музей.

Перекусив в кафе, где Орловский опять властно за всех расплатился, поднялись в залы.

— Слушай, Дим, я наметил собрать у тебя моих коллег в пятницу. Ребята хорошие. Один из них — мой бывший аспирант... И Орловских пригласим... *о-кей?*

— Конечно. Что за вопрос!

— Тогда пойдем на рынок и в винный. Я хочу, чтобы ты запек баранью ногу, у тебя всегда здорово получалось. Потом нужно много разной зелени. Мой аспирант вырос в Баку и любит всякие травы — базилик, мяту, кинзу. И с горячей бараниной это будет вкусно, да к тому же нам нужна свежая зелень сегодня к обеду.

В главном павильоне рынка добрая половина торговала осетровыми рыбами и красной икрой. Икра за стеклом витрин лежала горой. За прилавком сидели и стояли, как их стали теперь называть, «лица кавказской национальности». Покупателей не было, но «лица» совсем этим не огорчались и вовсе не стремились заполучить вошедшую парочку пенсионеров.

Друзья прошли в центральную часть павильона. Там на прилавках была разложена нарубленная свежати́на. Цены были не ниже, чем в Америке. Олег обстоятельно осмотрел ряды с бараниной и, наконец, выбрал приличную заднюю ногу, которая потянула на три с половиной кило. В мясном отделе тоже работали нерусские лица, скорее всего, «среднеазиатской национальности».

Ни русских, ни евреев не было и в помине. Пока Олег полез за деньгами, продавец исчез и пришлось неприятно-долго ждать его. Потом он появился и, не обращая внимания на покупателя, начал что-то выяснять со своими.

— Послушай, — нетерпеливо прикрикнул на него Олег, — я больше ждать не могу. Ты продаешь баранину или не продаешь?

Парень, почти не оборачиваясь, буркнул:

— Сэмсот пятидесят.

Олег отсчитал ему деньги и раздраженный пошел выбирать зелень.

Позвонив на свою бывшую работу, Олег договорился, что встретит гостей на выходе из метро. И вот, они появились небольшой группкой, всего четверо. Остальные не смогли по тем или иным причинам или не захотели. Позже пришли Орловские с бутылкой коньяка и куском лосося холодного копчения. Все пришли с работы и принялись за угощение с энтузиазмом, который одна из коллег, Валентина Николаевна смешно переиначивала в энтузиазм. Пошел обмен короткими репликами и короткими тостами за здоровье и за встречу. Олег терпеть не мог беготню с переменами блюд, и потому Дмитрий выложил горячую баранью ногу с печеным в жиру картофелем среди холодных закусок.

Утолив голод и жажду, гости стали спрашивать Олега, как он *там* поживает. Но Олег попросил сначала рассказать, что у них новенького на работе. Постепенно разговор стал всеобщим. Да, женщины по-прежнему занимаются анализом рассолов и каменной соли. Юрий Павлович сказал, что институт собирается выполнять проект для Астрахани по блокировке скважин с радиоактивным рассолом. Вспомнили, что Олег занимался этим вопросом еще до отъезда.

Дело заключалось в том, что кому-то пришла в голову мысль: «Зачем создавать подземные хранилища в толщах каменной соли методом растворения? — И времени много, и с рассолом возня, его надо отводить, строить отстойники или трубопроводы, чтобы поставлять соль на химзаводы. А давайте-ка взорвем в соляной толще атомный заряд! Получим идеальную шаровую форму хранилища, притом сухого. И закачивай туда, что хочешь — бензин, керосин, нефть, метиловый спирт...»

И нет, чтобы опробовать идею с одним зарядом и посмотреть, что получится, а вдруг чего-нибудь не учли. Нет! Взорвали аж

целых двенадцать, а потом начали в те, полученные ядерным взрывом емкости, закачивать всякую гадость с химвиропроизводств, поскольку природоохранные законы запрещали сливать эту гадость в природные источники.

А соль-то каменная внизу находится под гигантским давлением, и течет она, как пластилин, хотя и помедленнее. И стали эти хранилища сжиматься, заплывать. И стала сброшенная в них гадость подниматься наверх. И было бы это полбеды, если бы не радиоактивность, которую жидкие отходы нахватили со стенок хранилищ. И стал весь район, где взорвали заряды, зоной опасной для жизни.

Олег до отъезда искал способ, как бы отвердить или, на крайний случай, загустить эту грязь, чтобы она не выпирала наверх. И только теперь выяснилось, что в отчетах организаций, которые пытались справиться с проблемой, сплошное вранье, и только теперь выясняется, сколько и чего было сброшено в хранилища. Так что все усилия Олега пропали даром.

А ведь кое-кто из начальства удостоился больших денег и государственных премий за внедрение столь эффективного метода создания подземных хранилищ!

— Слава Господу за то, что не иссякает Его терпение смотреть, что вытворяют наши люди на одной шестой части суши! — сказал Олег.

Коллеги засмеялись.

— А вам не скучно, Олег Антонович, в вашем городе? Не хочется обратно в лабораторию? — спросила Татьяна Борисовна.

— Очень даже хочется. Работать хочется. Я по приезде в Америку собрался позвонить в одну фирму и послать им наши публикации, ну и себя назвал — такой-то и такой-то ищет с вами рабочих контактов. Взял трубку мужчина. Он мне что-то ответил, а я ничего не понял, попросил повторить. Он повторил, а я снова ничего не понял. И он понял, что я ничего не понял, сказал мне «Sorry» и повесил трубку.

И больше я никуда звонить не осмелился. Решил, что сначала научусь говорить и понимать, а потом буду устраиваться на работу. Увы, язык я так и не освоил.

— Ну, как это может быть! — воскликнула Валентина Николаевна. — Олег Антонович, вы же у нас считались знатоком английского, все к вам бежали за разъяснениями.

— Вот так. Потому что живой язык — это вам не мертвый. А я могу только переводить на русский.

— А что там за люди вокруг вас? — спросил Вишневский. — С кем общаетесь?

— Это люди, которых американцы называют русскими и которые на самом деле — советские евреи. Мне они не очень нравятся. Они почувствовали свободу и безнаказанность и стали вести себя немного разнузданно, что-ли... Причем в основном это касается старшего поколения. Дети и внуки быстро становятся американцами, потому что принимают американские ценности и американский образ жизни. Эти же сохранили совковые манеры. Америка дала нам всё, что может пожелать нормальный человек — жильё, обильное питание, бесплатную медицинскую помощь, библиотеки, музеи. Но если тебе дали всё или почти всё, веди себя достойно, не старайся урвать еще и еще по максимуму. Если ты в свои семьдесят лет водишь машину и бегаешь по рынкам и магазинам, если ты вполне способен вытереть пыль и приготовить себе обед, не пользуйся помощью приходящей прислуги, наемного шофера, помни, что им платит правительство штата из налоговых поступлений и если тебе оказывают бесплатные услуги, то они бесплатные только для тебя. Ведь кто-то нуждается в помощи куда больше тебя, а деньги, выделенные на помощь престарелым и больным, не бесконечны. Не надо также делать запасы продуктов, словно ты собрался в экспедицию в Антарктиду. Можно и отказаться от продуктов в чью-либо пользу. Если ты пошел в колледж бесплатно учиться английскому языку, веди себя скромно, не ори, не перебивай преподавателя и не учи его, как правильно говорить по-английски...

Тут все покатались со смеху, а Дмитрий подошел к шкафу и, выудив сборник стихов, начал зачитывать, посмеиваясь, те из них, где говорилось об евреях с насмешкой:

*Ах, как бы нам за наши штуки
платить по счету не пришлось!
Еврей! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!*

Тут подал реплику Юрий Павлович:

— Я уже давно задавался вопросом, кто эти люди, которые думают по-русски, говорят, пишут и читают почти исключительно по-русски, пьют или стараются пить, как русские, но в паспортах значатся, как евреи. Ведь главное в человеке — это мозг и если мозг функционирует в рамках русского языка, то человек де-факто

является русским, а национальность является категорией скорее политической, чем физиологической.

Нет, подождите, я закончу мысль. Вот, люди разных языков понять друг друга не в состоянии, к примеру, евреи из Эфиопии не могут общаться с советскими евреями, потому что нет общего языка. Так что, если бы не политика — понимайте это сколь угодно широко, в том числе и в религиозном аспекте, все русскоговорящие евреи суть на самом деле русские люди.

— Молодец, Юрий Павлович, хорошая мысль! — воскликнул Вишневский. — Ведь самое главное в человеке — это мозг!

Между тем Дмитрий нашел еще стишок и прочел:

*Когда бы мой еврейский Бог
Был чуть ко мне добрей,
Он так легко устроить мог,
чтоб не был я еврей!*

В этот момент в замке входной двери повернулся ключ и вошел жилец-съемщик, диковатого вида детина лет сорока, заросший бородой до самых глаз и с цыгаркой. Мгновенно оценив ситуацию, Олег сказал Орловскому, что будет ночевать у него.

— Ты чего, Олег? — удивился Дмитрий.

— Посуду мыть не хочется, — шутливо ответил тот.

— Ну, как знаешь, — в голосе Дмитрия чувствовалась обида. И, как бы в отместку, он зачитал:

*Есть мечта — меж евреев она
Протекает подобно реке:
Чтоб имелась родная страна,
И чтоб жить от неё вдалеке.*

Тут Олег взял у него книгу и наугад прочел:

*Всю Россию вверх еврей
В мерзость и неразбериху:
Вот как может воробей
Изнасиловать слониху.*

Олег знал, что всем присутствующим чужд антисемитизм, что у некоторых были предки-евреи по материнской или отцовской

линии, но все-таки зря он затронул тему, которая, пусть косвенно, была связана с болезненным национальным вопросом.

— У меня был однажды неприятный контакт с небезызвестным вам Ицхаком Кандомбергом — сказал он.

— Каким это образом? Подрался с ним на улице? — раздраженно спросил Орловский.

— Нет, конечно. Однажды он должен был выступать в Еврейском культурном центре, что близко от Библиотеки Иностранной Литературы. Приехал, знаете ли, запыхавшись, видимо, только что с самолета или поезда. Представил его Исай Морденин. Вы все его знаете по передаче «Кукль». Кандомберг тогда уже стал гражданином Израиля и свободно мотался по всему миру со своими хохмами, в которых главным было слово «жопо».

Согласитесь, что звание писателя в России всегда неким образом ассоциировалось с понятием «мудрец», «пророк» согласно Пушкинской традиции. Верят писателям и до сих пор, я думаю. Так вот, чтобы отдышаться, он спросил у зала, есть ли вопросы. Это хороший прием, чтобы войти в контакт с теми, кто пришел послушать мудрого человека. И тогда я встал и спросил:

— Могли бы вы, Ицхак, дать совет — ехать ли нам, или оставаться здесь?

Тут он мгновенно разозлился и крикнул:

— Если вы спрашиваете, значит вы уже давно решили!

Тут в зале послышались возражения. Он что же, не знает, какие сейчас у населения настроения? Не слышал о Русском Национальном Единстве, члены которого обещают расправу как с чистыми евреями, так и теми, кто прячется под русскими фамилиями. Я тоже не узрел логики в его ответе.

— Кандомберг абсолютно прав, что умыл тебя, — вспылил Орловский. — Ты сам выбираешь судьбу и нечего тебе перекладывать ответственность на другого, да еще и публично.

Олег взглянул на друга. Тот покраснел от еле сдерживаемого гнева.

— Почему он так на меня злится? — подумал он. — Что в моем поведении и словах такого, что вынуждает его в любой дискуссии повышать голос? В чем причина его неприятия?

— А как вы находите Олега Антоновича спустя семь лет? — спросила Татьяна Борисовна.

— Стал еще говнистее, — ответил Орловский.

Олег вдруг почувствовал себя так, как человек, на голову которого упал кирпич. Человек ещё делает по инерции несколько шагов, но он уже мертв. Олег пробормотал что-то вроде: «Мне кажется, я и раньше был такой...», и — остановился. Между тем, гости начали обсуждать рабочие темы. То ли делали вид, что не слышали, то ли не придавали значения сказанному. Мало ли, что друзья могут себе позволить...

А он ощущал себя подобно ребенку, который с весёлым восторгом кидается в ноги вернувшегося с работы отца, и внезапно получает оплеуху. И стоит этот ребенок, не осознавая, что произошло, и рыдания еще не вырвались из его груди.

Ему стало нехорошо с сердцем. Он встал из-за стола, вышел на кухню и положил под язык таблетку Нитросорбида. Прислушался к бормотанию приемника. Там шел развязный диалог между ведущим и слушателем относительно поборов гаишников.

— Боже, что мне делать! — в отчаянии думал он. — Сказать Орловскому, что я к нему не еду, просто глупо. Он, скорее всего, не осознаёт, что оскорбил меня в присутствии коллег. Вот дурацкая ситуация! Никто не оценит, что я, движимый любовью и воспоминаниями молодости не поленился прилететь к другу, а он оскорбил меня — гостя! И что самое ужасное — я вынужден носить внутри это оскорбление, я не могу устроить скандал. Меня не поймут! Я не могу сказать, что я забираю чемодан и иду спать в гостиницу, потому что Орловские сочтут меня ненормальным. Он ведь просто брякнул. Он даже извиняться не будет! Боже, мне еще десять дней нести в себе эту обиду, а деваться некуда. Некуда! Вот, Левка покойный правильно жил. Не пускал розовые сопли, не раскисал, не позволял другим амикошонствовать, сразу пресекал.

Вернувшись в столовую, он сразу принял участие в разговоре, чтобы сидящие не прочли по его лицу, как он расстроен. Вечер встречи постепенно катился к концу. Дмитрий по старой привычке перебрал, говорил излишне громко и несвязно. Наконец, гости поднялись. На улице была всё та же сырость. Освещение было никудышнее, и следовало идти осторожно, чтобы не набрать грязь в обувь.

Попрощались, поцеловались и разъехались по разным веткам. Олег тащился молча. Ему очень хотелось отплатить за обиду, тогда стало бы легче, но ничего в голову не приходило. Наконец, стоя в вагоне и держась за поручень, он сказал:

— Кстати, по поводу Кандомберга. — Ты и я, словно кошка с собакой. Никогда нам друг друга не понять.

Орловский не понял, что Олег имеет в виду, и стал его поучать, что к людям следует подходить с добром.

— Люди чаще всего творят добро из необходимости, как, скажем, врач «скорой помощи», — начал было Олег и замолк, поняв бессмысленность какого бы то ни было разговора. Перед сном он принял двойную дозу снотворного, ибо знал, что сейчас начнет накручивать себя, как бы он должен был ответить на оскорбление, и сон не будет приходить к нему, и он встанет утром совсем разбитый. Ясно одно — он должен делать вид, что ничего не случилось и спокойно уехать, попрощавшись по-доброму, а там Бог рассудит.

Снотворное действовало до половины седьмого. Олег проснулся, и тут же проснулась его обида. Она грызла его, словно ноющая артритная боль в суставах, когда меняешь положение руки или ноги чтобы избавиться от неё, но через минуту она вновь возвращается.

Орловские проснулись поздно. Позавтракали, когда стало совсем светло. Женечка предложила походить по старой Москве. Пока она собиралась, вышли из подъезда и хозяин, стоя у крыльца и дымя очередной сигаретой, снова начал рассказывать про свои резиновые дела. Выходило, что без его цеха целые отрасли промышленности останутся. Олег молчал и кивал головой. Он понимал, что его друг давно позабыл свою реплику, но оставался вопрос, отражала ли его реплика истинное к Олегу отношение и как это можно установить? Ему хотелось грубо прервать Орловского, сказать, что ему надоело слушать производственную нудятину, и спросить, нет ли у него тем поинтереснее по случаю выходного дня, но он знал, что никогда не сможет так сказать, не хватит воздуха. И вот, он стоял и слушал, вернее делал вид, что слушает, и думал о том, какой он слабый человек, вообще не мужик, что-то аморфное, тряпка, о которую любой может вытереть ноги.

В метро он был рад шуму поезда, чтобы отключиться и не общаться, смотреть на убегающие силовые кабели, считать мелькающие лампочки и думать свою вязкую думу, и копать в своей боли.

Они вышли на площадь Пушкина и спустились к Большой Бронной. Тучи поднялись, и в просветах временами сияло робкое солнышко. Грязь за ночь подсохла. Они пошли узкими

старыми переулками к Патриаршим прудам — Козихинским, Спиридоновскому, Большому Патриаршему и Малому Патриаршему. Показалась покрытая тончайшим ледком гладь прудика, упрятанного в четкий четырехугольник оправы скверика. Олег ожидал увидеть персонажей знаменитого романа Булгакова, но на берегу прудика стоял лишь непропорционально большой памятник Ивану Андреевичу Крылову, вокруг которого теснились персонажи его бессмертных басен. Скверик содержался в чистоте. Здания, окружающие его, и здания вдоль старых переулков были опрятны, не стереотипны. Олег с удовольствием осматривал нарядные подъезды. Часто попадались вывески банков и разных фирм. Судя по вылизанным фасадам, новые русские не жалели денег на имидж. Иностранец, приехавший к ним по делам, должен был понять, что имеет дело с солидным партнером.

Тротуары в переулках были узкими, и Олег шел впереди в метре-двух от Орловских. Разговаривать в таких условиях было трудно. Да ему и не хотелось. Однако Женечка почувствовала его отчуждение и тревожно спросила, всё ли с ним в порядке. Он уверил её, что всё *о-кей*, и тогда она спросила, отчего он такой грустный. Олег ответил ей, что он вообще человек грустный, и это было правдой. Он и там ведет уединенный образ жизни, с удовольствием гуляет один вдоль океана, думает о своём и не очень-то стремится к завязыванию знакомств. И живет он этой жизнью уже семь лет, привык. Он уловил в её глазах сочувствие, и у него немного отлегло от сердца.

Чтобы продлить прогулку, они направились к Арбату. Олег вспомнил свои восторги, когда разрешили, наконец, художникам выставлять свои работы. Сейчас на Арбате было пусто, хотя все магазины были открыты. Отдельными островками посередине улицы стояли лотки с сувенирами и тщетно ждали иностранцев. Справа, за витриной большого магазина подарков громоздились матрешки всех размеров и на любой вкус — от деревенского примитива до генеральных секретарей КПСС и президента.

— Черт бы их всех подрал! — сорвал своё дурное настроение Олег, — неужели в огромной стране нет ничего, кроме набивших оскомину деревяшек.

Орловский словно ждал любой реплики Олега, чтобы тут же выразить противоположное мнение:

— А ты зайди и посмотри, сколько там всего интересного, чтобы не трендеть попусту.

— И не подумаю!

Настроение вновь упало из-за того, что Орловский применил к нему какое-то поганое слово «трендеть». Тут память выхватила, как он много лет назад часто звонил Вовке Лебедеву в связи с его попыткой устроиться в академический институт Геологии старшим научным сотрудником, интересовался по долгу дружбы, как у него дела, а Вовка разговаривал с ним словно сквозь зубы, совсем уж неохотно. В конце концов, Олег обиделся и подумал, что не стоит навязываться. Прошел год, не менее. Вовка не появлялся, и Олег привык к тому, что приятеля у него нет. Обычная житейская ситуация. Однажды сидел он за преферансом с Левкой и Яшей, и тут раздался Вовкин звонок. Явился-не-запылился. Так радостно объявился, будто вчера расстались. Олег холодно спросил его:

— Чего звонишь?

Вовка завелся с пол-оборота:

— Ты что, охренел?

Олег бросил трубку.

Потом, спустя несколько месяцев, Олег неожиданно увидел Вовку на конференции. Тот сделал надменный вид и прошел мимо. Олег стал копаться в себе и понял, что ему жалко Вовку и что он поступил неделикатно. Тогда он сел и написал покаянное письмо, где объяснял, что он ничего не знал об интриге, которая развернулась вокруг подачи на конкурс, что помнит об их совместных работах и жалеет, что был груб.

Вовка вскоре позвонил. Оказалось, что он действительно предполагал, что Олег принимал участие в интригах, потому что был знаком с завлабом Бабиным. Олег только и мог воскликнуть:

— Как же ты мог подумать, что я тебе стану препятствовать, если мы друзья?

И хотя конфликт рассосался, отношения восстановились, прежняя доверительность не вернулась.

— Нет, не поеду к нему. И звонить не буду. Нет настроения.

В начале Арбата поставили памятник Окуджаве. Они неторопливо обошли его. Олег много раз видел его живого, и ему не понравилось мелкое обезьянье личико знаменитого барда. Если даже скульптор добился портретного сходства, то на то оно и искусство, чтобы высветить основное. При таком соотношении головы и корпуса лучше сделать бюст.

— Ну, как тебе памятник? — спросила Женечка.

— Скульптору очень хорошо удались брюки и благодаря им — ощущение ветра.

— А лицо?

— Когда смотришь, догадываешься, что он произошел от грустной обезьяны. А был он аристократичным, надменным, непростым. Ничего этого в портрете нет.

Орловский хмыкнул, но ничего не сказал.

— Ты мог бы соединить меня с Дмитрием? — спросил Олег.

— Пожалуйста.

Дмитрий сразу взял трубку:

— Олег? Мой жилец снова отъехал на неделю. Так что, если хочешь, приезжай. Посуду я домыл еще вчера.

— Хорошо, сейчас приеду. Пока-пока, дорогие мои.

— Как быстро ты собрался! — удивилась Женечка.

— Не горюйте, скоро увидимся, — он помахал им рукой, спеша вниз по эскалатору и предвкушая радость от перемены обстановки.

— Давай навестим Машу, — предложил Дмитрий утром.

Речь шла о его жене. Они отправились сразу после завтрака на Новодевичье кладбище. Теперь-то на нем хоронят исключительно людей выдающихся, но еще в давние времена там покоились останки деда и его сестер, все ушли из жизни рано. Вот и Мария за ними последовала в свои неполные шестьдесят, а свекор дожил до девяноста четырех. Все там будем. Для Дмитрия тоже место обеспечено, рядом с любимой женой.

Олег хотел прикупить цветов, но Дмитрий не позволил. Сам купил. Камень на могиле был хорош, но подпись уж очень безлика: фамилия, имя, отчество, рождение, смерть. Бухгалтерия какая-то. А ведь была она женой и матерью, бабкой пришлось мало побыть, работала, книги читала, в походы байдарочные ходила, классическую музыку любила, готовила отменно. И всё уместилось в два нелепых числа. А кругом высились памятники людям известным и очень известным. Олег подумал о человеческом тщеславии, которое заставляет близких тратить большие деньги, чтобы убедить людей посторонних и безразличных к чужому горю, что родственники помнят и будут помнить ушедшего. Но посторонние заходят редко даже к совсем знаменитым. И что им говорит камень? — Мы были и вот, нет нас! Генералы и адмиралы, артисты, писатели, академики, просто богатые люди. Целый город успокоившихся после суеты.

И в толпе лежащих — прах Марии, покинувшей мир в пятьдесят восемь лет.

Они постояли у камня. Дмитрий положил цветы. Было тихо и безветренно под серым небом. Олег чувствовал пустоту в сердце, а тогда, на похоронах еле мог справиться с рыданиями. Что ушло, то ушло. Если есть загробная жизнь, то зачем памятники краткому посещению негостеприимного мира, если же нет загробной жизни, то смысла еще меньше, потому что через сто лет вообще некому и нечего вспоминать. Вон — могилы участников войны двенадцатого года. Стертые надписи на покосившихся камнях. Полковник Мызов с женой, генерал Телешов с супругой, Ротмистр Вальков. Единицы остаются в Русской истории. Единицы из миллионов. Господи, если Ты есть, научи меня скромности при жизни моей, помоги мне избавиться от пустого тщеславия. Я не прошу у тебя богатства, ибо чем я лучше другого. Я не прошу у тебя долгой жизни, потому что я и так бездарно растратил то, что было мне дано. Я прошу у тебя быстрой смерти. Тут он усмехнулся:

— *Если смерти, то мгновенной, Если раны — небольшой.* — Совсем не глупо.

Обратно ехали пятьдесят вторым автобусом. Дмитрий сказал, что подъедут почти к дому. Ждали минут двадцать. Пришел пустой автобус, садись, где хочешь. Доехали до станции Смоленская. Олег хотел было сказать: смотри, как быстро добрались, но вдруг автобус повернул на сто восемьдесят градусов и поехал, поехал незнамо куда. Олег воспользовался случаем и рассмотрел с разных сторон Садовое кольцо. Ничего интересного он не узрел. Асфальт лоснился грязью, всё вокруг было уныло-серым, плохо одетые пассажиры смотрели неприветливо, водитель курил мерзко воняющие сигареты, и дым заносило в салон. Наконец, приехали и сразу пошли на рынок за зеленью, сыром и рыбой. Дмитрий сказал, что у них напротив метро открылся роскошный универмаг с огромным гастрономом в подвальном этаже. Они зашли и спустились по эскалатору вниз мимо гладко выбритых крепких парней в униформе «секьюрити». Несмотря на огромность торгового зала в мясном и рыбном отделах за витринами валялась малоаппетитная рванина, на металлических разделочных столах стояли лужи крови. Олега передернуло. Три часа дня, а в магазине нет ни свежемороженой рыбы, ни мяса, одни консервы. Опять вернулись на рынок и купили окуневое филе.

После еды Олег решил отснять на память интерьер Диминой квартиры, уж очень он к нему привык со времен молодости.

— Хочешь, я тебе покажу Андрюхины работы? — спросил Дмитрий.

— Давай!

Дмитрий полез за шкафы и начал извлекать увесистые папки с графическими работами Судакова. Был Андрюха художником малоизвестным, пробавлялся случайными заработками, в союзе не состоял, пенсию не получал, как-то жил между небом и землей. Был он человеком не без таланта, было в его работах чарующее зрителя детское удивление перед миром и тайная тайна, словно из стихов Блока: *одинокий и мудрый, как дети...* Однажды даже в Париж к знакомому слетал и продал несколько работ, но всё равно знаменитым не стал. И вот, теперь Дмитрий раскладывал по комнате его листы. Как бы они заиграли в хорошем оформлении! Интересно, помнил ли Андрюха, какая бездна работ хранится у его друга? Возможно, что и не помнил. У Олега язык чесался попросить на память хоть одну. Предлагать цену он считал неэтичным. Кто знает, сколько эти работы стоят?

Дмитрий, между тем, аккуратнейшим образом вложил работы в папки и сунул за шкафы.

— Если не устал, давай еще посмотрим — предложил он.

— С удовольствием!

На сей раз Дмитрий полез под кушетку, на которой Олег ночевал, и вытащил с превеликими предосторожностями огромную и тяжелую папку с работами тетки-художницы и её друга, погибшего на войне. Это были большого формата проекты сцен для пьес, которые шли перед войной и в начале войны, в основном в технике гуаши. Попадались и рисунки углем и сангиной, тоже большого формата. Дмитрий бережно перекладывал листы, некоторые из которых стали совсем ветхими.

— Дим, давай сделаем перерыв, глаза устали, — попросил Олег. — Я вот о чем хочу с тобой поговорить. Я через несколько дней уезжаю. Как раз накануне твоего очередного дня рождения. Вот, я тебе хочу подарить денежки и открытку с поздравлением.

С этими словами он протянул другу двести долларов, и они обменялись крепким рукопожатием.

— Завтра я собираюсь в издательство журнала «Арион» купить у них несколько годовых комплектов. Уж очень мне нравятся поэты, которых публикует Алехин. Когда-то он напечатал

несколько строчек из моего большого стиха. Получилась, на мой взгляд, бессмыслица, но я его уважаю и как поэта (он пишет верлибром), и как редактора. Нечего было мне лезть туда, где печатаются профессионалы.

И еще одно. Подари-ка мне на память что-нибудь из твоих работ. Я повешу у себя в квартире и буду тебя вспоминать.

Дмитрий кивнул, полез в очередной раз за один из книжных шкафов и выудил папку с рисунками и акварелями юношеского периода. Оказалось, что он хранит даже те рисунки, что делал в восьмилетнем возрасте.

— Не надо никаких слов о характере или наклонностях, — подумал Олег. — Достаточно знать, чем человек дорожит.

Дмитрий перебирал свои рисунки, перебирал и перекладывал, и Олег видел, что ему жалко с ними расстаться. Наконец, он протянул рисунок ночного города, сделанный акварелью. Стоявшая подпись свидетельствовала, что Дмитрию тогда было двенадцать лет. Это была детская мазня, и Олегу вмиг стало противно и душно в присутствии скряги. Ему захотелось сказать другу, что все люди делятся на две категории. Одни дарят друзьям и знакомым лучшее, что имеют, а другие — самое худшее, достойное мусорного ведра. Но он, разумеется, ничего такого не сказал, только поблагодарил и обещал взять с собой позже.

После завтрака Олег быстро собрался и сказал Дмитрию, что позвонит ему. Он вышел с твердым намерением больше у него не появляться. Пообщались, подарок подарил. Всё. А ведь пять лет назад Дмитрий позвонил, попросил пятьсот долларов на какую-то авантюру, в результате которой он получил блестящую коленкоровую папку и полтысячи визитных карточек с названием несуществующей фирмы. Олег знал, что отдавать долг тому не из чего, и они условились, что Олег будет дарить ему по сто долларов в год на день рождения, и таким образом долг будет погашен. А сейчас этот жмот!... Неприятное ощущение от контактов с обоими близкими друзьями не проходило. Знал бы — не приезжал.

Он без труда нашел издательство, поднялся на четвертый этаж и застал литсотрудника. Сказал, что приехал из Бостона, что хочет купить выпуски «Ариона» за прошлые годы. Сотрудник, не выпуская изо рта сигарету, быстро вытащил из большого шкафа журналы и новые книжки Алехина. Получилась увесистая пачка, которую Олег еле донес до ближайшего магазина, где равномерно

распихал её по пакетам. Ехать к Орловским пока не хотелось. Олег решил навестить *переулки своего детства*, благо он находился недалеко от Белорусского вокзала. С огорчением он заметил отсутствие памятника Горькому. Кому он мешал? Олег вспомнил, как он в возрасте семи лет ходил кататься на лыжах на крошечный скверик напротив вокзала. Отец сидел на скамейке, курил и учил его переставлять ноги в валенках, вдетых в лыжные ремни. Тогда еще не было жестких креплений. Они появились в продаже много позже. Да. А потом появился на площади памятник Горькому. Великий писатель. За что его не любят? За то, что Ленина возвеличил? За то, что ошибался? За то, что боялся Сталина? Вы бы тогда пожили! Узнали бы почему фунт лиха! Сводят счета с мертвецами! Кровопийце и самодуру Петру Первому поставили памятник, мерзавцу и сталинскому холую Жукову поставили, а Горький их не устраивает.

Олег свернул вправо и поразился. За Грузинским храмом, чудом уцелевшим при большевиках, скорее всего, потому, что там сперва устроили склад, а потом мастерские скульпторов, должны были начаться Лесные переулки, а их не было. Там кипела стройка. Олег даже не пытался выяснить, сохранилась ли школа, где он учился последние два года, когда их объединили в пятьдесят пятом году с девчонками. Ясно, что всё порушили. Так. Малую родину он потерял, а большая стала ему совершенно чужой. Не надо было сюда приезжать, не надо. Нельзя войти дважды в один и тот же поток. Прав древнегреческий философ.

Олег вдруг осознал, что ему никого в Москве не хочется видеть. Он вспомнил вдруг, как горячо любимый шеф лишил его законной чести быть со-руководителем диссертации одной бабенки, которой он написал всё от корки до корки и полгода объяснял, что означают полученные данные. Потом, после защиты, она пригласила его танцевать и, разгоряченная вином, обнимала и шептала, как она ему благодарна, что она знает, сколько он вложил сил в её защиту и прочее, и прочее. Тогда он еще был дурачком-идеалистом, не понимал, что шеф выкинул его из руководителей за одно выступление на кафедре, где он осмелился критиковать дураков-сотрудников, использующих программы расчета электронных оболочек молекул и совершенно не представляющих природы изучаемых соединений. Позже он понял, что погорячился, что посланный им шар попал в голову шефа, который курировал эти работы, но, как физик-теоретик, знать не знал о химии объектов

исследования. Надо было бы уединиться с шефом в кабинете и сказать всё, что думает, и не выносить сор из избы.

И Старцева он тоже не хочет видеть. Когда пришла пора показывать материал на предмет будущей защиты, то первым был бывший коллега, с которым он опубликовал ряд ключевых работ и тем самым сделал возможной *его* защиту. Однако Старцев не торопился помочь Олегу стать доктором. Почему-то ему всегда был важен не только собственный успех, но и сознание, что Олег в доктора не вышел, не потянул. И вот, бывший друг-ревнивец, манежил материал бесконечно долго и когда Олег спрашивал, когда же он посмотрит, тот отвечал, что сейчас очень много работы. Время шло и шло, а состояние «очень много работы» не кончалось. Наконец, дурачок-идеалист прозрел, приехал за своим материалом и тут же его получил без всяких комментариев.

Да и шеф оказался не лучше. Он пришел в лабораторию шефа с плакатами и текстом доклада. Все, вроде бы, знали, ради чего он пришел. Ему дали ключ от огромного актового зала — вперед Олег! И он пошел один-одинешенек искать выключатели, развешивать плакаты и ждать посетителей. Напрыгался вверх-вниз, испачкал в пыли выходной костюм...

Пока он рассказывал немногочисленной аудитории, до чего додумался, шеф болтал со своим любимцем Борей Новосадовым. Когда начались вопросы, Олег обрадовался и стал обстоятельно отвечать, но тут шеф перебил всех и сказал:

— Вот это уравнение второй производной от волновой функции у вас неверно.

Это был удар ниже пояса, ибо шеф был физиком-теоретиком среди дремучих химиков-практиков, разрабатывающих рутинные методы анализа. К его мнению прислушивались. Олег был ошеломлен. Уравнение вывел не он, а известный американский исследователь Генри Клопман. Но не мог же он сказать на весь зал:

— Уважаемый Лев Александрович, это уравнение вывел известный физик Клопман, я его только применил. Я не думаю, что применил его неправильно.

Получился бы скандал, где шеф все равно одержал бы верх. Короче, вместо свадьбы получились похороны. Потом шеф задержался на пару минут и начал вякать, что Олегу надо доработать, переработать, проверить и так далее. Олег тогда сказал ему честно:

— Лев Александрович, мне скоро пятьдесят лет и копать в этом до пенсии я не намерен.

Шеф пожал плечами, и они распрощались надолго. Дальше Олег пошел своим путем, работал в другой области, ему было интересно. Случайно встретил старого знакомого, с которым однажды вместе читал лекции в Биоцентре, что стоит на реке Оке. Посетовал, что забросил диссертацию, а тот заинтересовался и посоветовал обратиться в Менделеевский институт. Там Олег и защитился. Потом виделся с шефом время от времени, получал приглашения участвовать в кафедральных конференциях. Жизнь шла своим чередом. А потом с *перестройкой и ускорением* всё это стало ненужно, потому что сменилась система ценностей. И о чем теперь с шефом говорить? — Не о чем! А Старцев ему вообще неинтересен.

Олег вышел на станции «Тимирязевская» и вспомнил, что не знает кода, чтобы войти в подъезд. Позвонить по автомату оказалось непросто. Тут он сунулся к проходившим мимо с мобильниками. Казалось, вся Москва общается исключительно с их помощью. Однако к кому бы он ни обращался, везде получал отказ. Наконец, ему удалось уговорить одну пожилую женщину, которая сидела на стуле возле закрытого фото-автомата. Он сунул ей десятку и сказал, что будет звонить ровно одну минуту. К счастью, Женечка была дома.

— Какой у вас код? — крикнул он в трубку.

— Ноль восемнадцать.

От радости, что он скоро избавится от поклажи, у него даже поднялось настроение. Орловский задерживался на работе. Олег быстренько залез в душ и с наслаждением вымылся.

Во время ужина смотрели телевизор, где обсуждались экономические проблемы в связи с устаревшим оборудованием многих ТЭЦ. Хозяин с важностью комментировал мнения экспертов и посматривал на Олега, но тот лишь молча кивал головой. В его мозгу сейчас закрутилось, что в обеих маленьких трагедиях Пушкин разными словами выражает в сущности одну и ту же мысль — посредственность, в какой бы области она ни действовала и каких бы успехов ни добивалась, всегда будет завидовать гению именно за то, что гений одним махом, одним прыжком свершает то, на что у посредственности уходит вся жизнь. Вот, кстати, что говорит Скупой Рыцарь:

*Нет, выстрадай сперва себе богатство,
А там посмотрим, станет ли несчастный
То расточать, что кровью приобрел...*

Олег тут же поспешил поделиться этой мыслью с супругами, прибавив, что этот комплекс посредственности очень распространен в науке.

— И в производстве тоже, — добавил он. — Если некто, личность незначительная, займет начальственное место, то тут же начнет теснить людей творческих, зажимать их, не давать ходу их идеям. Не так разве?

То ли друг принял слова на свой счет, то ли всё время копил внутри раздражение на Олега, но снова стал красным от гнева и начал орать, что каждый должен заниматься своим делом, в котором хорошо разбирается, и там должен наводить порядок, а не лезть в другие сферы с аферами.

— Послушай, — повысил голос и Олег. — Я в литературе какой-никакой профессионал: все-таки мои рассказы публиковали вполне авторитетные журналы. И я делюсь с вами своими мыслями не для того, чтобы утереть вам нос и показать, что вы серые. Я ни тебя, ни Женечку таковыми не считал и не считаю. Но я имею право требовать к себе уважения. Ты можешь сказать, что тебя мои мысли не интересуют, хотя это и не совсем вежливо, но прекрати, наконец, орать. Ты ведь не в цеху, а у себя дома, и я твой гость.

— Действительно, — вмешалась Женечка, — чего ты кричишь всё время. Мне, кстати, очень интересно, что рассказывает Олег. Потом, благодаря ему мы видели прекрасную выставку скульптур, по старой Москве прошлись. Ну, чего ты кипятишься?

Орловский успокоился так же быстро, как закипел, сунул сигарету в рот и вышел, как он выражался, «повонять».

— Устает он очень, — словно оправдывая мужа, сказала Женечка. — Нагрузка не по летам, а производство оставить не на кого.

— А как же сынок Ванюша? — спросил Олег, хотя отлично знал, что Ваня был бестолковым студентом, потом бестолковым инженером, и отец взял его к себе и сделал директором для решения вопросов снабжения.

Женечка махнула рукой:

— Знаний по технологии резины нет, подготовка слабая. Вот, взяли толкового парня, и сразу дело пошло легче.

Тут Олег вспомнил, как Орловский пытался создать совместное предприятие с братьями Соломоновичами — Иваном и Василием. Оба были чиновниками в резиновом министерстве до перестройки и сейчас пытались урвать из общего пирога. Орловский их вполне устраивал, как специалист, но у него ничего, кроме знаний по технологии резины не было, ни связей, ни протекции. Вот они и решили устроить синдикат, однако дело шло слабо. Олег решил помочь другу и договорился со своим троюродным братом Эриком, который был заместителем начальника крупного Всесоюзного Главка по снабжению. Они приехали к братьям Соломоновичам на совещание, где Эрик предложил им пустой новенький цех в городе Люберцы под Москвой. Более того, он предложил помочь с подводкой воды, электричества и вентиляции.

— А кто будет директором предприятия? — спросил Василий.

— Я, — ответил Эрик. — Если согласны, я составлю договор, подпишем и принимайтесь за работу. С транспортом я помогу.

Олег сидел рядом с братом и гордился им. — Всё может.

— Хорошо. Составляйте договор, — сказал после паузы Василий. — Держите с нами связь через Орловского и его сына.

Орловские, отец и сын, при этом согласно покивали головами.

Эрик на той же неделе отдал Олегу договор со своей подписью и печатями. Олег передал документы Ванюше. Дело, казалось, было сделано в один присест. Но тут начался крутёж. Шли недели, но никто из будущих партнеров не подавал признаков жизни. Олег позвонил другу и прямо спросил, чего они манежат. Брат Эрик интересуется, поскольку пустой цех нужен не только им. Много есть претендентов... В ответ Орловский мычал что-то невразумительное. Спустя еще неделю Олег позвонил Ванюше и спросил, как поживает договор.

Какой договор? — спросил Ванюша таким голосом, что Олег воочию представил себе, как у Орловского-сынка *глаза съехали от вранья к переносице*.

Ему стало страшно неудобно перед братом и стыдно за своего друга. Преодолев комок в горле, он связался с Эриком и сказал ему, что, скорее всего, ничего из затей не выйдет и что он просит прощения за доставленное беспокойство. После этого Олег долго не звонил Орловскому. Не мог побороть отвращение...

— А ты не думаешь, что вы уйдете на пенсию, и этот парень вытеснит Ванюшу и сам станет директором.

— Не вытеснит! — категорически рубанул Орловский, вернувшийся после курения. — На Ваню оформлена четверть акций, а после нашего ухода у него будет три четверти акций предприятия. Так что он всегда будет хозяином. Ладно, пойдем утречком, прогуляемся по нашему хозтоварному рынку. Ты с нами пойдешь, Жень? Ну, как хочешь. А я покажу гостю, какие мы теперь богатые.

Спускаясь по лестнице, Олег вспомнил, как друг заезжал к нему после работы в былые дни, когда жил с первой женой и ненавидел её, и старался прийти домой попозже. Олег кормил его и по установившейся традиции они принимались обсуждать научные дела Орловского. Он готовился к защите, у него в институте было много оппонентов-недоброжелателей, потому что характер был таким же, как сейчас. Олег тогда достаточно глубоко влез в теорию строения молекул, а другу как раз не хватало теоретической базы, чтобы разбить своих недоброжелателей. Так уж повелось, что Олег наставлял своего друга и укреплял его позицию... И тут Олега осенило — если он начнет развивать какую-нибудь научную идею, его друг отнесется к этому благосклонно и орать не будет.

— Мне тут пришло в голову, — сказал Олег, мгновенно уловив неудовольствие на лице Орловского, — мне пришло в голову, что развитие живой материи на Земле стало возможным, потому что наша планета удачно сочетает расстояние от Солнца и свой собственный размер. Если бы мы были в два раза ближе к Солнцу или Земля была в два раза больше в диаметре, она получала бы тепла во много раз больше, приблизительно пропорционально разности квадратов диаметров. И вода кипела бы при этом, и никакой органической жизни не могло бы возникнуть.

— Странно, ведь количество излучения, падающего на квадратный метр, не изменилось бы, а масса увеличилась бы примерно пропорционально кубу радиуса, и Земля, значит, должна при увеличении в размерах терять тепло...

— Нет, это не так. Солнечное излучение проникает на ничтожную глубину и нагревает лишь поверхностный слой почвы или воды, так что увеличение массы тут не при чем. А вот, общее количество поглощенного излучения растет.

— Может быть, ты и прав. Я тоже считаю, что наша Земля есть уникальный случай во Вселенной, — с жаром поддержал Орловский. — Вариации, конечно, возможны, но в узких пределах. Хотя не исключено, что какая-нибудь другая среда тоже может поддерживать жизнь. Но не белковую. В каком-то фантастическом

рассказе живые существа пьют концентрированную серную кислоту и дышат триоксидом серы...

— Я попал в «яблочко»! — ликовал про себя Олег и с симпатией смотрел на своего вспылчивого друга. — Дело не в нем, а дело во мне. Он желает видеть меня таким, как при расставании семь лет назад. Это его право. Как я не догадывался! А еще писатель!

Хозтоварный рынок представлял собой неухоженное пространство, заставленное плотными рядами сарайчиков, украшенных вывесками разных ТТ, ТО, ООО и прочих. В дверях стояли в основном «лица кавказской национальности», которые навскидку определяли, стоит ли заводить разговор с покупателем. И всё-таки, слава Богу, это был не социализм. Это была новая, хотя и пещерная фаза капитализма, что-то, напоминающее рынок, разрешенный большевиками в начале двадцатых годов. Орловский шел, словно гид в музее искусств и приговаривал:

— Смотри, вот стойматериалы, а вон, налево — электротовары, зайду лампы куплю. Видишь — вот всякий слесарный инструмент. А вот всё, чтобы оборудовать ванную комнату, даже душевая кабина есть.

— Ну да, — подумал Олег, — чтобы сделать такой же вертикальный саркофаг, как у тебя, где всё под рукой, а повернуться невозможно.

Тут он сделал промашку, сказав, что хотел бы посмотреть небольшие тиски для ювелирных поделок. Орловский уцепился за эту мысль и заставил его облазить не менее десяти сарайчиков, пока, наконец, Олег не утомился и не сказал, что вот эти тиски он бы взял. Друг тут же вытащил бумажник и расплатился, не дав даже поторговаться. Олег шел и досадовал на себя, что не удержался и сболтнул. А теперь придется тащить эту тяжесть до самой Америки. Выбрал себе подарок, дурак.

Настроение вновь испортилось. Вспомнил, как получил в Бостоне по почте диск с песнями Гали и Миши, и порадовался за них. Он послал им предпоследнюю, четвертую книгу, в которой были и стихи, послал с нарочным и позвонил тому общему знакомому, доценту, у которого был «Москвич». К телефону подошла его жена, которая узнала Олега, очень мило с ним переговорила и обещала передать мужу телефон, куда надо позвонить и забрать книги. Ничего из обещанного сделано не было. Олег снова звонил, она опять обещала, а книги так и лежали на квартире у добрых людей. Потом Олег отправлял пару раз *Е-мэйл* тому доценту — и

опять никакого результата. Тогда он плюнул и решил отложить встречу до Москвы, чтобы разобраться на месте, в чем дело. Но сейчас, за два дня до отъезда он решил никуда больше не ездить, позвонить издательнице и напомнить о себе, попросить у неё телефон или интернетовский адрес Кости и связаться с ним уже из Бостона. Всё-таки без художественного редактора и раскрутки, хотя бы в Интернете, выпускать книгу для России в твердом переплете — бессмысленная трата денег, которых и так в обрез...

Тут он вспомнил, что очень хотел напоследок поесть антоновских яблок. Рынок был рядом. Антоновка была не совсем та, которую он видел в своих мечтах — мелковата и зеленовата, но аромат, аромат! Нет ничего похожего в Америке! Можно любить страну только из-за Антоновки, которую ел всю свою долгую жизнь, а отнюдь не за русское сало, которое жрал от пуза в голодные годы Сергей Михалков и за которое он написал свою гнусную басню о космополитах.

Впрочем, мать исправно солила сало с чесноком, и в семье Олег любил есть его с горчицей и черным свежим хлебом, а став постарше, научился солить его сам и приносил на работу по случаю торжества, чтобы закусить в хорошей компании перцовую или лимонную настойку на казенном спирте. Правильно сказал Юрий Павлович. Русские мы по всем статьям, кроме пришитой пятой статьи и встречающихся порой явно-семитских внешних черт, которые с течением времени размоются, как об этом ни горюют ортодоксы. Уже сейчас евреи с Кавказа похожи на кавказцев, из Средней Азии похожи на таджиков и так далее. А у нас в Америке тем более. Жить в многонациональном цивилизованном государстве, пользоваться равными гражданскими правами и при этом сохранить генетическую обособленность невозможно. Перед глазами мелькнул образ: многочисленная толпа в черных шляпах и с пейсами удерживает громадный тепловоз. Толпа теряет силы, а тепловозу что? Еще минут десять — и он поедет, потому что человек слаб даже против тех сил, которые сам создал.

Орловский опять начал говорить о работе, о том, что хочет создать лабораторию при цехе, чтобы оперативно решать вопросы оптимальной рецептуры резин специального назначения, но Олег уже не слышал его, только кивал головой, как лошадь. Его вдруг заинтересовал вопрос, чего хочет истинный Бог от человека? Что Он ожидает после того, как дал ему разум? Соблюдение десяти заповедей не ведет верующих никуда. Оно рассчитано на

бесконечное законсервированное существование в мире, где ничто не меняется. В заповедях напрочь отсутствует творческий элемент, поскольку само познание в Библии считается грехом. А что касается воровства, убийства, прелюбодеяния, то это всё есть и среди животных, от которых мы произошли. Олег вспомнил одну из чудесных телепередач в Бостоне, где показывали взаимоотношения в семействе обезьян. Старый и безобразный самец-вожак схватил пробегающую мимо симпатичную молодую самочку и мгновенно овладел ею. Та покорно отдалась и сразу же после этого побежала дальше по своим делам. Тут Олег хмыкнул, и Орловский вопросительно на него посмотрел, поскольку речь шла о возможности применения резин на основе нитрильных каучуков в нефтедобывающей промышленности.

...А ортодоксы ответили бы ему, что есть Тора. Её можно изучать всю жизнь и находить ответы на *все* вопросы, которые, правда зашифрованы так, что только святому и чистому душой они понятны. Вот тебе поле для творчества — очистись от скверны и ищи в Торе. Найдешь. Путь тяжелый. Как очиститься от скверны? В какой момент начнешь читать откровения о тайнах бытия? Встречал ли ты в жизни Знающих?

Никто из твоих друзей и знакомых Их не встречал. Ходят легенды, что в таком-то местечке жил святой человек, мудрец и маг. Жил-жил, поучал желающих учиться, совершал чудеса, а дальше следы теряются, как реки в пустыне — текли, текли и вдруг исчезли. И тайное знание уходит. Слово-то какое красивое придумали — эзотерика!

Всё-таки непонятно, как изучать по Торе вулканическую активность или магнитное поле Земли, куда девать эпоху динозавров, какая судьба ожидает китайцев, которым Яхве до лампочки. Да и самому Завету меньше четырех тысяч лет — капля в океане времени. Вопросов миллион и ответы никак не связаны с поеданием свиного сала или кошерной курочки. Что-то здесь не увязывается, наверное, потому, что перемешано великое и мелкое.

Вот, покойный Левка отрицал прогресс, потому что не избавил он человека от страданий, войн, погромов.

— Человек же не изменился, — говорил Левка, — или изменился к худшему. Придумал новые пытки, лагеря смерти, газовые камеры.

— Новые способы уничтожения — да, согласен. Но и новые виды лечения, уменьшения страданий. Можно ли заставить лю-

дей жить нравственно, согласно десяти заповедям вопреки голоду и болезням, полагая их казнями за грехи?

Я, лично, считаю одним из тяжких грехов безделье и нежелание постигать истинные причины бед и страданий, — думал Олег. — Что за иждивенчество по отношению к Богу. Накорми, вылечи, одень-обуй! Потоп — Он наказывает, землетрясение — Он наказывает, чума — Он наказывает, карает за грехи. Договорились до того, что и Холокост есть кара за грехи.

Время, которое томительно тянулось, вдруг стремительно оборвалось. Завтра вылетать. Олег был человеком малопутешествующим. Он ужасно волновался, придет ли так-си к половине пятого утра, спал урывками, все время глядел на будильник и вскочил в три. Но вот, зазвонил телефон. Такси будет через десять минут. Гость и хозяйева порывисто обнялись, Орловский помог подтащить тяжеленный чемодан к багажнику и опрокинуть его внутрь, еще одно объятие — и Олег встал на доро-гу, ведущую к дому.

Москва спала под пеленой мокрого снега, такси гремело свои-ми металлическими внутренностями. К аэропорту подъехали на удивление быстро. Пассажиры сидели тихие, сонные, дети еле чи-рикали. В книжном киоске стояло несколько книг, отпечатанных на дрянной желтой бумаге, от которой Олег уже успел отвыкнуть. Цены жуткие. Взял Натана Эйдельмана «Друзья мои, прекрасен наш союз...». Славный был писатель. Умница. Читать не хотелось. В самолете, быть может...

Как хорошо, что никто не копался в сумке. Там резиновые спринцовки и лекарства. Чувствовал бы неловкость. Показал аме-риканский паспорт. Пропустили без вопросов. Только печать по-ставили в русском паспорте. Вот и посадку объявили. Всё. Прощай, Москва. Больше не увидимся. Незачем.

В маленьком самолете ему досталось среднее место, но это уже не имело значения, ведь он летел домой. Во время полета ему удалось как-то развернуться на сиденье, так что он уперся лбом в спинку и заснул. Спал никак не меньше двух часов. Проснулся оживленный, отдохнувший, с чувством легкости в сердце. Стал с удовольствием думать, как будет читать многочисленные выпус-ки «Ариона». Приближался Цюрих. Вот, самолет коснулся бетон-ной полосы. Как хорошо, что он летает один. Никуда не торопится, никого не нужно беспокоить о встрече. Поехал на уже знакомый

терминал «А» на электричке. Машиниста нет. Сплошная автоматика. Девять утра. Замечательно! Он шел по терминалу с сумкой на ремне в том же мятом пиджаке. Теперь-то он сдаст его в химчистку, что рядом с гигантом «*Стоп-энд-Шоп*», и получит его на следующий день, как новенький. Настроение стремительно улучшалось. Сквозь стеклянные стены он наблюдал неторопливую деятельность аэропорта на фоне окружающих Альп. Чтобы скоротать время, пошел в буфет и заказал большую порцию «Цезарьского салата», который на английском звучит, как «Сизэр-сэлэд». И вкус, и пропорции салата оставались традиционно те же, что и за Атлантическим океаном. Та же нежная стружка сыра, кусочки куриной грудки, сухарики, листья салата, тот же дрессинг. Долго ел салат, потом долго запивал сельтерской, сидел и наблюдал пассажиров.

— Слушай, — сказал он себе. — Тебя ведь никто силой в Москву не тащил. Что же ты так радуешься, словно вырвался из заключения?

Ах, да. Ведь он дозвонился издательше, та его узнала, хотя прошло девять лет, и обещала связать с рецензентом Костей, который живет в глуши, чуть ли не во Владимирской области. Но Интернет у него есть, так что будущий контакт дело недолгого времени.

Да. А в благословенном Бостоне и его городках-спутниках его книжки не покупают. Судя по тому, что в библиотеках их берут, читательский спрос на них есть, но деньги людям тратить жалко. Вспомнил, как послал рекламную статейку на свою третью книжицу и написал выделенным шрифтом, что все деньги от продажи автор намерен перевести в фонд помощи Израилю. Назначил цену — от десяти долларов и выше, в зависимости от возможностей покупателя. Пообещал, что будет надписывать купленные книги. И что? — Шиш! В том же году некие деятели стали побираться у населения с призывом помочь Израилю. Собрали, по слухам, пять тысяч долларов. Послали одной семье в Хайфу около полутора тысяч. Те в ответ письменно поблагодарили. Это письмо с благодарностью перепечатали в разных изданиях раз двадцать, однако куда делись остальные три с половиной тысячи, никто не ведает.

Американские евреи, в отличие от российских, жертвуют огромные суммы на школы, спортивные комплексы, медицину, искусство, переводят сотни тысяч в Израиль. А принципиальная

разница в том, что российские евреи вообще не евреи, а новая нация — русские совки, и их прыжки и гримасы никак не прикрывают советскую сущность. Обычаев и языка не знают, собратьям не помогают, в Еврейского Бога не верят. Живут новостями Русского радио и телевидения. Вот, и стихи пишут на русском языке. Каждый второй — поэт! А журналистов, писателей еще больше. Читатели стали нарасхват. Вот каков уровень культуры приехавших за последние двадцать пять лет из России! К счастью, почти никто не пишет на английском или иврите, иначе поток халтуры и графомании просто захлестнул бы Америку и Израиль.

— Что это ты так развоевался? — спросил Олег сам себя. — Неужто в Москве лучше? Здесь тебя никто не толкнет, не обзовет. В Москве на второй день так приложили в метро в давке! Какой-то тип кулаками стал отпихивать, хорошо, что не в морду. Олег сказал ему:

— Что ж ты меня-старика толкаешь?

Тот, брызжа слюной из зловонного рта ответил:

— А ты фто толкаефся?

И что Олегу было делать, коль обе руки сумками заняты, а толпа на переходе крутит, как вода в весеннем паводке. А в Америке вообще не надо таскать сумки в транспорте. На то Машина есть. Друг и помощник человека.

Тут он поймал себя на сладком, как патока, вранье. В Америке на транспорте действительно все, вроде бы, предельно вежливы, но в газетах то и дело пишут, как в метро то тут, то там случаются драки с ножами, бывает, что и со стрельбой. И не то, чтобы мафиози сводили счета. Нет. Молодые ребята, накурившись, напившись, разобидевшись на соседнюю компанию, применяют оружие. Достается и тем, кто никакого участия в драке не принимает. Сколько раз было, что шальная пуля уносила жизнь ребенка или беременной женщины.

А вот еще — вышел однажды погулять вечером. Навстречу черный на велосипеде, массивный такой мужик. Когда переходил улицу, слышит, негр харкнул. Пошел в гараж, снял куртку, а на спине здоровая харкотина. За что, спрашивается, обидел старика-эмигранта? За цвет кожи, естественно. Своему бы на спину не харкнул...

Возвратившись в Бостон, Олег с превеликим удовольствием слонялся по квартире, ходил за покупками, обзванивал знакомых.

Позвонил и в Москву, поблагодарил за теплый прием, пообещал прислать фотографии. Через несколько дней он почувствовал, что обида на Орловского еще не рассосалась и что ему просто необходимо высказаться в письме откровенно и полностью. Он не собирался с ним ссориться и говорить грубости, показывать ему свою обиду и взывать к покаянию. Он знал, что приехал в Москву прощаться навсегда и потому не хотел, чтобы мелочные чувства испортили их отношения перед лицом вечности. В народе говорят — Бог рассудит, но Олег считал, что в любом случае нужно ставить точки над *i*.

И вот, он собрался, наконец, и накатал текст, который я на правах близкого друга и редактора привожу с небольшими сокращениями.

МОЙ ДОРОГОЙ ДРУГ!

Я посылаю письмо благодарности за чудесный прием и многие фотографии-свидетельства нашей последней встречи. Я испытал чувство удовлетворения от того, что вы с Женей живете в достатке: хорошо одеты, прекрасно питаетесь, вокруг полно магазинов и не надо, высунув язык, бегать за покупками. Я также с удовольствием наблюдал внучку Ксюшу, такую статную и красивую.

Хотя погода нам не благоприятствовала, тем не менее, мы много гуляли и в своих прогулках видели замечательные скульптуры. Скоро я начну обрабатывать снимки и делать из них фотографии...

*А теперь я хочу поговорить о **серьёзном**. Если ты помнишь, мы возвращались с вечеринки у Дмитрия, и я тебе сказал, что собаке никогда не понять кошку. Теперь я могу расшифровать смысл сказанного.*

Ты знаешь понаслышке о деле «врачей». Это дело сварганили по приказу Сталина и направлено оно было против советских евреев. Тех самых, которые доблестно прошли недавнюю войну, по числу героев СССР они занимают 4 место после русских... В планы вождя входило разжечь ненависть к евреям и затем под видом заботы об их безопасности конвоировать их в район Биробиджана, но с таким расчетом, чтобы до места назначения дошла лишь десятая часть. Мир, как говорится, не без добрых людей, и информация просочилась-таки сначала к

активистам антифашистского комитета, а потом ко всему народу-изгнаннику.

Я из первых рук знаю, что в народе стали деятельно готовиться к вооруженному сопротивлению. Создавались подпольные дружины для защиты жизни и чести. Карателям эта акция должна была нанести изрядный урон. Но судьба была определена — как в Варшавском гетто.

Ты в это время жил с папой в Германии. Кроме того, ты русский, а русским в любом еврейском погроме ничего не грозило, если они не выступали в защиту избиваемых. Лучшие всего эти события изложены в стихах Марка Фельдмана:

*...На «Сортировочной» в те дни
Нас ожидали эшелоны,
И были мы тогда одни,
А злобствовали — миллионы.*

Всё верно — и обстановка и адрес, где ждали пригнанные пустые вагоны, подобные тем, в которых мы ехали в 1957 на целину: 40 чел. — 8 лошадей.

После объявления перестройки был период 1990–1993, когда доморощенные фашисты и погромщики подняли голову. Везде открыто продавалась погромная литература, призывающая решить, наконец, окончательно «еврейский вопрос». Я даже купил в метро довольно увесистую книжицу за 10 рублей и со вниманием её прочел. Тебя такая литература не интересовала — не так ли? Ведь ты русский!

Между тем движение РНЕ всё нарастало. Бритоголовые наступали. Я лично в программе «Русское радио» слышал в открытом эфире с 8 до 9 утра обмен репликами слушателей с молодой дикторшей, где слова «жид» и «долго ли мы будем терпеть жидов?» не смолкали в течение часа. Леонид, мой брат звонил из Америки и с тревогой спрашивал: «Что у вас там происходит?» Я его успокаивал: «Пока ничего не происходит». На самом деле уже многое происходило. По домоуправлениям ходили разные странные люди и собирали информацию, где живут явные и скрытые евреи. Никто не должен был уйти от возмездия! (за что!!?) Их лозунг был — Ни один еврей не должен избежать справедливой расправы. Об этом тоже есть стихи Фельдмана:

*...Москва затихла. За окном капель.
Объявлен день пасхального погрома.
Бандиты нападают на «Апрель»
И списки жертв готовят управдомы.*

Всё здесь до последнего слова — правда! А власть молчала, власть выжидала...

И вот, в это самое время приезжает в Москву из Израиля Ицхак Кандомберг со своими стишками. У него-то двойное гражданство и в случае, если запахнет жареным, он, как гражданин Израиля, сядет в самолет — и был таков! И он, такой довольный, появляется, запыхавшись на сцене. Его представляет Исай Морденин — вот вам ваш любимый Кандомберг! И вопрос к залу (для разгона, так сказать): кто и что хочет спросить?

Я поднимаюсь с места и спрашиваю (от имени всего зала): «Скажите, Ицхак, уезжать нам или не уезжать? — И этот эстрадник отвечает с гневом: «Если вы меня спрашиваете, значит вы уже всё решили!»

Тут в зале раздаются недоуменные голоса — вы что же, не слышали, что здесь происходит, какой разгул антисемитизма и фашизма? Но в программу Ицхака не входила забота о нашей жизни. Ему нужно было заработать денежки, обменять их на доллары и лететь дальше — в Европу, Америку и прочее. Ведь он теперь стал гражданином свободной страны!

А ты? Ведь ты русский, и развитие событий по фашистскому сценарию ни тебя, ни твоих близких не затронуло бы... (до поры, до времени)

Поскольку ты всё это не пережил и потому давно забыл, ты начал на меня орать на вечеринке, красный стал от гнева! Я, должен признаться, твоего возмущения просто не понял. Я вообще не допускаю беседы на повышенных тонах между друзьями, потому что это есть взаимное унижение достоинства и орущего и выслушивающего. Поэтому я дождался окончания вечеринки и сказал тебе про кошку и собаку уже по дороге домой.

Теперь я должен перед тобой повиниться. Когда-то, давным-давно мы сидели в избушке в Дракино возле стола. Ты беспрерывно топил «буржуйку» и натопил так, что уже и дышать было нечем. Уж очень ты любишь, чтобы было жарко! И тут я взорвался (наверное, перегрелся) и накричал на тебя: «Хватит,

наконец, топить! Сколько можно!» Я при этом, правда, не говорил слов: «Ты **дурак**, Орловский!» или «Орловский стал **говнистей** за последние шесть лет». Но я виноват, очень виноват перед тобой и за это прошу у тебя прощения сейчас. Думаю, в этом причина, что вы перестали ездить в Дракино, несмотря на настойчивые мои приглашения.

Ты знаешь, я всё время совершаю бестактности. Я приехал в страну, имея на руках русский паспорт, и вообразил, что это моя страна, поскольку я прожил в ней шестьдесят лет. А вы, мои друзья, точно знали, что это уже не моя страна и что я не имею права судить, что в ней хорошо и плохо, а имею лишь право всё хвалить и всем восхищаться. Так гость, приходя в дом, не имеет права указывать хозяину, как устраивать жизнь и где у него грязь. Не нравится — уходи. У себя дома наводи порядок...

И за это я тоже прошу прощения — за недостаток лояльности.

С тем остаюсь

сердечно вам благодарным Олег Трастанецкий.

Выговорившись в письме, Олег умиротворенный пошел на почту и отправил бандероль с множеством фотографий. Прошел месяц, потом другой. Ну, не могли они не получить бандероли. Позвонил. Взяла трубку Женечка — нет, ничего мы не получали. Как у тебя, Олежек, дела? У нас по-прежнему очень много работы. Звони.

Ясно, что бандероль украли. Послал еще раз спецпочтой с уведомлением о вручении за двадцать с лишком долларов. Нужно, чтобы Орловский обязательно получил письмо и прочел. Следующая бандероль пришла почти через месяц. Теперь всё. Отбой.

Вечерами Олег сидел за журналами «Арион», читая стихи и комментарии о поэтическом творчестве. Не удержавшись, он стал выписывать, как школьник наиболее понравившиеся места с мыслью устроить для коллег-стихотворцев поэтический семинар.

— В девяностых, — читал он у Вадима Перельмутера, — самым неожиданным оказалось то, что не произошло ничего неожиданного. Слишком долго скапливался пар в тесном пространстве идеологически регламентированной словесности. Содержательность формы была понята по-конвойному: шаг вправо, шаг влево. Потом власти стало не до литературы, и котёл, естественно, рвануло.

Когда дым рассеялся, обнаружилось, что взрыв этот, в общем-то, обманул эстетические ожидания, обернувшись очередным витком борьбы за право писать плохо...

...Стихи должны быть хорошо написаны. По определению... А что такое хорошо и что такое плохо, оценивают только мастера. То есть оценивать, конечно, волен всяк, кто пожелает, но только их слово имеет реальный вес.

—...никакого общественного престижа в наше время чтение стихов не обещает,— читал он далее у Алексея Алехина, — а напротив — требует, как и во все времена, серьезного душевного усилия...

— В самую точку, — радовался Олег. Именно душевного, а не умственного, не разгадывания кроссвордов, не решения патолого-математических задач.

Он снова обратился к тексту:

— Да и в другие времена их никогда особенно не читали. Поэзия вообще — для немногих. Востребованность её, сравнительно с другими приманками цивилизации, совсем невелика.

...А десятки тысяч стихотворений, вывешенных в Интернете, только уж совсем наивного новичка введут в заблуждение: сколько-нибудь сносное творение в этих вавилонах — иголки в стогах графомании. Никто их там не найдет...

Он с удовольствием поглядывал на несколько годовых подписок журнала, что сулило ему длительное удовольствие и пищу для размышлений.

Ему очень хотелось узнать у бывших коллег, понравилось ли сидение у Дмитрия. Решил позвонить домой Валентине Николаевне. Она отвечала приветливо, но по отсутствию интереса к разговору он понял, что своим появлением в Москве вполне удовлетворил любопытство, а к их жизни он уже не имеет никакого отношения, жизнь и работа продолжаются без него. Он уже стал воспоминанием.

Помнится, однажды, года через три после отъезда (еще был жив Иван Иванович) он звякнул на работу, и Валентина Николаевна радостно воскликнула:

— Неужели это Олег Антонович! А мы тут так без вас скучаем! И всё время вспоминаем то ваши поздравления с понедельником, то особой крепости чай по-Трастанецкому, то настойку на чесноке с перцем по-Трастанецкому.

Олег тогда чуть не прослезился от чувств. Но не зря говорится: *Уехать — все равно что наполовину умереть.*

Бывает, конечно, радостное и даже окончательное возвращение на родину, если обстоятельства места и времени, в которых жил раньше, сохранились достаточно хорошо, но это не его случай. Нет, не его случай. Не его...

ПРОЩАНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

«Я воздвиг памятник» — так процитировано Александром Пушкиным в эпитафии к знаменитому стихотворению. Мы — люди маленькие и потому, воздвигая себе памятник при жизни, мы вкладываем в это дело сугубо практические соображения. Расходы на похороны всё растут. А в Америке похорониться — это значит разориться, что, кстати, многие и делают. Лично мне после моей кончины абсолютно наплевать, где будут лежать мои кости или горсть пепла. Я согласен быть погребенным в общей могиле для бедняков, как это сделали с Моцартом. На сегодняшний день мои расходы по прижизненному изданию моих книг не перевалили через три тысячи долларов. Как видите, — я обошелся самому себе в скромненькую сумму, причем часть моего памятника уже пылится в библиотеке, которую раньше называли «Имени Ленина» — ВГБИЛ.

Каждый выбирает себе памятник по вкусу. Один предпочитает полированный гранит, другой — лабрадор, третий — мрамор, но если «рукописи не горят», как утверждал Булгаков, то лучше бумаги ничего нет. Можно, конечно, последовать примеру египетских фараонов и отметить себя с помощью иероглифов в камне, но где взять денег? Нет, бумага достаточно долговечна и практична.

Остается вопрос — а к кому же будут приходить дети и внуки? Ну, во-первых, даже ежегодный визит на могилу предка под вопросом. Во-вторых, если даже один раз в год кто-то придет на пятнадцать минут и посадит кустик, то я этого не узнаю. А если вообще не будут ходить на могилку, но будут вспоминать — то лучшего мне и не надо. Вот, еще мои дорогие друзья будут меня помнить, пока живы. Некоторые из сослуживцев, кто помоложе.

Будь я человеком богатым, как Гетти, вопрос о памяти не стоял бы. Но что же я могу оставить потомкам в наследство? От моего дедушки осталось две пары истертых кальсон, три книжки на идише и ящичек с инструментами для ремонта будильников.

Жаль, что я не успел поиграть с ними, когда он умер. Бабушка быстро продала ящик и книжицы такому же бедолаге за копейки. От папы в наследство я получил дубленку, которая ему была велика и которую я оставил в Москве, так как бежал в Америку 31 июля. Было жарко, и к тому же я предполагал, что в Бостоне, который находится примерно на широте Ташкента, еще жарче. Сейчас, вот, у нас в Линне снега по уши, мороз, а я хожу в синтетической дряни, которую сделали в Таиланде. Как только мороз ниже минус десяти по Цельсию, эта шуба на рыбьем меху становится жесткой, как стекло, хрустит, как вафельный стаканчик, и мне кажется, что она вот-вот треснет пополам, и я окажусь голеньким под ледяным ветром. Да, после продажи родительской квартиры я присвоил себе пять тысяч долларов и долго не мог понять, что мне с этой суммой делать. Поэтому, помыкавшись, я добавил в кучку еще пять тысяч, которые сумел заработать, и с помощью хорошего человека перевел эти деньги сыну в Словакию. Дальнейшая судьба «семейного наследства» мне не ясна, да и не интересна.

И вот, я здесь, в Америке, которая меня содержит. Я оставляю людям, лучшее, чем владел при жизни. Я не рассчитываю на детей и внуков: первым некогда читать мои сочинения, а вторые стали американцами и что им российские проблемы прошлого тысячелетия! Я надеюсь на внимание и сочувствие не только друзей и знакомых, но и совершенно неизвестных мне людей. Когда мы относимся со вниманием и сочувствием к другим, мы сами становимся лучше.

Я вынес на основе собственного опыта, что жизнь бессмысленно-жестока. Так называемые, простые люди появляются в потоке жизни и исчезают из него бесследно, оставив, если повезет, лишь свой генетический материал следующему поколению. Жизнь жестока и потому, что ей противопоказана долгая память. Четвертое поколение уже не помнит первого. Жизнь жестока и глупа, еще и потому что она возносит негодяев и проходимцев и одновременно не оказывает поддержки талантам и гениям, когда они бедствуют, с тем, чтобы через пятьдесят лет забыть негодяев и проходимцев и вознести память об ушедших талантах и гениях до небес.

И вот, я воздвиг себе памятник. Сознаю, что скорее всего его ждет судьба памятника моему дедушке на Востряковском

кладбище в Москве. Кости моего дедушки Иосифа Толчинского лежат под большой березой, которая почти закрыла памятник. Муж моей сестры был в Москве недавно и уже не смог найти могилу, а берез на территории кладбища повырастало много. Это хорошо! Дышится там легко, особенно летом. Мне лично покойники никогда не мешали, хотя на кладбище мне нечего делать. Нет у меня любви к отеческим гробам. Иначе, я продолжал бы жить в России с надеждой воссоединения с родными. Что же сказать всем вам на прощание?

Мир вам всем, живущим и ушедшим! Мир вам всем!

Алик Толчинский
Октябрь 2007 года



Главное действующее лицо романа — Олег Трастанецкий, отнюдь не герой, а скорее — антигерой. Человек не умеющий противостоять порокам с малолетства и лишь совершенно случайно не пошедший по дурному пути.

Пришедшее в зрелом возрасте раскаяние ненадолго очищает душу антигероя, хотя ему очень хотелось быть добрым, верным, справедливым, сильным. Изредка ему удастся совершать достойные поступки, но Зло в его душе вновь и вновь побеждает Добро. Он остро чувствует несправедливость по отношению к себе, но сам очень часто бывает несправедлив. Как многие слабые люди, антигерой склонен обвинять в своих пороках общество, власть, семью.

M-Graphics Publishing

www.mgraphics-publishing.com
info@mgraphics-publishing.com

ISBN 978-1-934881-01-9



9 781934 881019

9 0000 >

